

ГИЛБЕРТ К

ЧЕСТЕРТОН



3

ГИЛБЕРТ К.
ЧЕСТЕРТОН

ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ГИЛБЕРТ К.

ЧЕСТЕРТОН

ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ТРЕХ
ТОМАХ



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1990

ГИЛБЕРТ К.

ЧЕСТЕРТОН

ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМ
3

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОН КИХОТА

Роман

РАССКАЗЫ

СТИХИ

Перевод с английского



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1990

ББК 84.4Вл
4-51

GILBERT KEITH CHESTERTON
(1874—1936)

Редколлегия:

С. АВЕРИНЦЕВ, В. СКОРОДЕНКО, Н. ТРАУБЕРГ

Составление

Н. ТРАУБЕРГ

Комментарии

И. ПЕТРОВСКОГО

Оформление и иллюстрации художника

В. НОСКОВА

Ч 4703010100-239 126-90
028(01)-90

ISBN 5-280-01204-1 (Т. 3)

ISBN 5-280-01202-5

© Составление. Трауберг Н. Л. 1990 г.

© Комментарии. Петровский И. М.
1990 г.

© Оформление и иллюстрации. Носков В. А. 1990 г.



ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОН КИХОТА

Роман

Перевод Н. Трауберг

THE RETURN of DON QUIXOTE

1927

Глава I ВЫРОДОК

Зала Сивудского аббатства была залита солнцем, ибо стены ее являли почти сплошной ряд окон, выходящих в сад, уступами спускающийся к парку и освещенный чистым утренним светом. Оливия Эшли и Дуглас Мэррел, почему-то прозванный Мартышкой, спешили использовать свет для живописи, она — для очень мелкой, он — для размашистой. Оливия тщательно выписывала нежные тона, подражая заставкам старинных книг, которые очень любила, как и вообще любила старину, хотя представляла ее себе довольно смутно. Мэррел, верный современности, обмакивал в ведра с яркими красками огромные как швабра кисти и ударял ими по холсту, которому предстояло стать задником любительского спектакля. Ни он, ни она рисовать не умели, и знали это, но она хотя бы старалась, а он — нет.

— Вот вы говорите, диссонансы, — рассуждал Мэррел почти виновато, ибо Оливия не отличалась благодушием. — А ваша манера сужает кругозор. В конце концов задник — та же заставка под микроскопом.

— Ненавижу микроскопы, — отрезала Оливия.

— Однако вам без них не обойтись, — возразил Мэррел. — Для такой мелкой работы вставляю в глаз лупу. Надеюсь, вы до этого не дойдете. Лупа вам не к лицу.

С этим трудно было спорить. Оливия Эшли была хрупкой девушкой с тонким лицом, а изысканное изящество ее зеленого платья отвечало кропотливой строгости занятий. Несмотря на свою молодость, она немного напоминала старую деву. Рядом с Мэррелом валялись тряпки, клочки бумаги и ослепительные образцы неудач, но ее краски и кисточки были разложены в идеальном порядке. Не для нее вкладывали наставления в коробки с акварелью, и не ей приходилось говорить, что кисточку не суют в рот.

— Вы меня не поняли, — сказала она. — Вся ваша наука, весь этот нынешний стиль уродуют и людей, и вещи. Смотреть

в микроскоп — все равно что смотреть в сточную яму. Я вообще не хочу смотреть вниз, оттого я и люблю готику. Там все линии стремятся ввысь и указывают на небо.

— Указывать невежливо,— сказал Мэррел. — И потом, могли бы положиться на нас, небо и так видно.

— Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, — отвечала Оливия, трудясь над рисунком. — Самая суть средневековых людей выразилась в их соборах, в острых сводах.

— И в острых копьях,— кивнул Мэррел. — Если вы что-нибудь делали не так, вас протыкали насквозь. Чересчур остро на мой вкус. Острее остроты.

— Они сами кололи друг друга,— возразила Оливия. — Они не сидели в креслах, пока ирландец бьет чернокожего. Ни за что не пошла бы на бокс! А дамой на турнире стала бы...

— Вы были бы дамой, но я не был бы рыцарем, — печально сказал Мэррел. — Не судьба. Родись я королем, меня утопили бы в бочке. Нет, я родился бы крепостным, или как их там... А может, прокаженным... В общем, кем-нибудь таким, средневековым. Только бы я сунулся в тринадцатый век, меня приставили бы главным прокаженным к королю, и я глядел бы в церковь через такое окошечко, как на вашей картинке.

— Сейчас вы туда вообще не заглядываете, — заметила Оливия.

— Предоставляю это вам, — сказал он и окунул кисть в краску. Писал он тронный зал Ричарда I, используя для этого, к ужасу Оливии, лиловые, багровые и малиновые тона. Ужасаться она была вправе, ибо сама выбрала сюжет и написала пьесу, хотя ее и сбивали более бойкие помощники. Речь в этой пьесе шла о трубадуре, который пел песни и Львиному Сердцу, и многим другим, включая дочь здешнего сеньора, увлекавшуюся любительским театром. Высокородный Дуглас Мэррел легко относился к нынешним неудачам, поскольку проваливался и на других поприщах. Знал он очень много, не преуспел ни в чем. Особенно не повезло ему в политике. Когда-то его прочили в лидеры какой-то партии, но в решительный момент он не уловил связи между налогом на лесные заповедники и применением в Индии карабинов старого образца, вследствие чего племянник эльзасского ростовщика, яснее представлявший себе, в чем дело, его обошел. С тех пор он выказывал любовь к дурному обществу, которая спасла столько аристократов от беды, а нашу страну — от гибели. Любовь эта отразилась на его одежде и манерах — он стал небрежным и грубоватым, словно нерадивый конюх. Его светлые волосы начинали седеть, но он был еще молод, хотя и намного старше своей собеседницы. Лицо его — простое, но не обыденное — почти всегда казалось печальным, и это было смешно, особенно — в сочетании с галстуками, почти такими же яркими, как его краски.

— У меня негритянский вкус, — сообщил он, делая огромный багровый мазок. — Смешанные и серые тона, которые так



ценят мистики, наводят на меня их любимую тоску. Вот, говорят, что надо возродить все кельтское. А почему не эфиопское? В банджо больше того-сего, чем в старинной лютне. Какой исторический деятель сравнится с Туссенем Лувертюром или Букером Вашингтоном? Какой литературный герой — с дядей Томом и дя-дюшкой Римусом? Франты хоть завтра станут чернить себе лица, как пудрили когда-то волосы. Да, я начинаю видеть смысл в моей растроченной жизни. Мое призвание — негритянский оркестр на пляже. В пошлости столько хорошего... Как вы думаете?

Оливия не отвечала, словно и не слышала. Она бывала язвительной, но когда становилась серьезной, лицо ее казалось совсем детским. Тонкий профиль и полуоткрытые губы напоминали не просто ребенка, а заблудившуюся сиротку.

— Я помню негра на старинном рисунке, — наконец проговорила она. — Волхва в золотой короне. Сам он был черен, но одежда его горела как пламя. Видите, и с негром, и с яркими цветами не так уж все просто. Такой краски больше нет, хотя я помню людей, пытавшихся ее сделать. Секрет утерян, как секрет цветного стекла. И золото уже не то. Вчера в библиотеке я видела старый трескун. Вы знаете, что тогда писали золотом Божье имя? Теперь золотили бы только слово «золото».

После этой речи оба они молчали и работали, пока где-то в коридорах не раздался властный и громкий крик: «Мартышка!» Мэррел кротко терпел это прозвище, но его немного коробило, когда так выражался Джулиан Арчер. Дело было не в зависти, хотя Арчер, не в пример ему, повсюду преуспевал. Между простотой и грубостью есть тонкая грань, которую чувствуют люди вроде Мэррела при всем их негритянском вкусе. В Оксфорде Мэррел выбрасывал в окошко только близких друзей.

Джулиан Арчер был одним из тех, кто поспевает всюду, и почему-то всюду нужен. Он не был глуп, никого не обманывал, не лез вперед и оправдывал доверие, когда ему буквально навязывали какое-нибудь дело. Но люди потоньше не могли понять, почему обращались к нему, а не к другому. Когда журнал устраивал дискуссию на тему «Можно ли есть мясо?», высказаться просили Бернарда Шоу, доктора Сэлиби, лорда Даусона и Джулиана Арчера. Когда обсуждали проект национального театра или памятника Шекспиру, речи говорили Виола Три, сэр Артур Пинеро, Каминс Кэпп и Джулиан Арчер. Когда выпускали сборник статей о загробной жизни, в нем выражали свое мнение сэр Оливер Лодж, Мэри Корелли, Джозеф Маккейб и Джулиан Арчер. Он был членом парламента и многих других клубов. Он написал исторический роман, он считался блестящим актером, так что именно ему и полагалось играть главную роль в пьесе «Трубадур Блондель». В том, что он делал, не было ничего дурного или странного. Его книга о битве при Азенкуре была вполне хороша, если рассматривать ее как современную историческую повесть, то есть — как приключения

школьника на маскараде. И мясо, и бессмертие души он снисходительно допускал. Но свои умеренные мнения он высказывал громко и властно, тем звучным голосом, который сейчас гудел в коридоре. Он был из тех, кто способен выдержать молчание, повисшее после сказанной вслух глупости. Зычный голос повсюду предшествовал ему, как и доброе имя, и фотографии в газетах, запечатлевшие темные кудри и смелое, красивое лицо. Мисс Эшли как-то сказала, что он похож на тенора. Мэррел заметил на это, что голос у него погуше.

Джулиан Арчер появился в виде трубадура, если не считать телеграммы, которую он держал. Он релетировал и раскраснелся от воодушевления; хотя телеграмма, по-видимому, несколько сбила его.

— Нет, вы подумайте,— сказал он. — Брейнтри не хочет играть.

— Что ж,— сказал Мэррел, продолжая трудиться. — Я и не думал, что он захочет.

— Конечно, глупо обращаться к такому типу,— сказал Арчер,— но больше никого нет. Я говорил Сивуду, глупо это затевать, когда все разъехались. Брейнтри просто знакомый... Не пойму, как он и этого добился.

— По ошибке, я думаю,— сказал Мэррел. — Сивуд слышал, что он представляет в парламенте какие-то союзы, и позвал его. Когда обнаружилось, что Брейнтри представляет профсоюзы, он удивился, но не поднимать же скандала. Вероятно, он и сам толком не знает, что это такое.

— А вы знаете? — спросила Оливия.

— Этого не знает никто,— отвечал Мэррел. — А какие-то союзы я сам когда-то представлял.

— Я бы не стал отворачиваться от человека за то, что он социалист,— возгласил свободомыслящий Арчер. — Ведь были же... — и он замолк, пытаясь припомнить примеры.

— Он не социалист,— бесстрастно уточнил Мэррел. — Он из себя выходит, когда его назовут социалистом. Он синдикалист.

— А это еще хуже? — простодушно спросила Оливия.

— Все мы интересуемся социальными вопросами и хотим, чтобы жизнь стала лучше,— туманно сказал Арчер. — Но нельзя защищать человека, который натравливает класс на класс, толкует о ручном труде и всяких немислимых утопиях. Я лично считаю, что капитал накладывает обязанности, хотя и дает...

— Ну,— перебил его Мэррел, — тут у меня свое мнение. Посмотрите, я работаю руками.

— Во всяком случае, играть он не будет,— повторил Арчер. — Надо кого-нибудь найти. Роль маленькая, второй трубадур, с ней всякий справится, только бы он был молод. Потому я и подумал о Брейнтри.

— Да, он еще молод,— сказал Мэррел, — и с ним много молодых.

— Ненавижу их все, — с неожиданным пылом сказала Оливия. — Прежде жаловались, что молодые бунтуют потому, что они романтики. А эти бунтуют потому, что они циники — пошлые, прозаичные, помешанные на технике и деньгах. Хотят создать мир атеистов, а создадут стадо обезьян.

Мэррел помолчал, потом прошел в другой конец залы, к телефону, и набрал какой-то номер. Начался один из тех разговоров, слушая которые ощущаешь себя в полном смысле этого слова полоумным; но сейчас все было ясно из контекста.

— Это вы, Джек? — Да, знаю. Потому и звоню. — Да, да, в Сивуде. — Не могу, вымазался, как индеец. — А, ничего, вы же придете по делу. — Ну, конечно... Какой вы, честное слово... — Да при чем тут принципы? — Я вас не съем, даже не выкрашу. — Ладно.

Он повесил трубку и, насивистывая, вернулся к творчеству.

— Вы знакомы с Брейнтри? — удивилась Оливия.

— Вы же знаете, что я люблю дурное общество, — сказал Мэррел.

— Даже социалистов? — не без возмущения спросил Арчер. — Так и до воров недалеко!

— Вкус к дурному обществу не сделает в о р о м , — сказал Мартышка. — Ворами часто становятся те, кто любит высшее общество. — И он принялся украшать лиловую колонну оранжевыми звездами, в полном соответствии с общеизвестным стилем той эпохи.

Глава 2

ВРАГ

Джон Брейнтри был длинный, худой, подвижный человек с мрачным лицом и темной бородкой. По-видимому, и хмурился он, и бороду носил из принципа, как ярко-красный галстук. Когда он улыбался (а он улыбнулся, увидев декорацию), вид у него был приятный. Знакомясь с дамой, он вежливо, сухо и неуклюже поклонился. Манеры, изобретенные некогда знатью, стали обычными среди образованных ремесленников, а Брейнтри начал свой путь инженером.

— Вы попросили, и я пришел, — сказал он Мартышке. — Но толку от этого не будет.

— Нравятся вам эти краски? — спросил Мэррел. — Многие хвалят.

— Не люблю, — отвечал Брейнтри, — когда суеверия и тиранию облачают в романтический пурпур. Но это не мое дело. Вот что, Дуглас, мы условились говорить прямо. Я не хотел бы обижать человека в его доме. Союз Углекопов объявил

забастовку, а я — секретарь Союза. Я приношу вред Сивуду, зачем же мне вредить ему еще, портить пьесу?

— Из-за чего вы бастуете? — спросил Арчер.

— Из-за денег, — сказал Брейнтри. — Когда за хлебец берут двойную цену, мы должны ее платить. Называется это «сложная экономическая система». Но еще важнее для нас признание.

— Какое признание? — не понял Арчер.

— Видите ли, профсоюзы юридически не существуют, — отвечал синдикалист. — Они ужасны, они вот-вот погубят британскую промышленность, но их нет. Только в этом и убеждены их злейшие враги. Вот мы и бастуем, чтобы напомнить о своем существовании.

— А несчастный народ сидит без угля! — воскликнул Арчер. — Ну что ж, вы увидите, что с общественным мнением вам не сладить. Не будете работать, не подчинитесь власти — ничего, мы найдем людей! Я лично ручаюсь за добрую сотню человек из Оксфорда, Кембриджа и Сити. Они пойдут в шахты и сорвут ваш заговор.

— С таким же успехом, — презрительно сказал Брейнтри, — сто шахтеров закончат рисунок мисс Эшли. Шахтеру нужно уменье. Углекоп — не грузчик. Хороший грузчик из вас бы вышел...

— По-видимому, это оскорбление, — предположил Арчер.

— Ну что вы! — ответил Брейнтри. — Это комплимент.

Миролюбивый Мэррел вмешался в разговор.

— Очень хорошо! Сперва грузчик, потом трубочист, все чернее и чернее.

— Вы, кажется, синдикалист? — строго спросила Оливия, помолчала и прибавила: — А что это, собственно, такое?

— Попробую объяснить кратко, — серьезно отвечал Брейнтри. — Мы хотим, чтобы шахта принадлежала шахтерам.

— Как же вы с ними управитесь? — спросила Оливия.

— Смешно, не правда ли? — сказал синдикалист. — Не требуют же, чтобы краски принадлежали художнику!..

Оливия встала, подошла к открытому французскому окну и стала хмуро смотреть в сад. Хмурилась она отчасти из-за Брейнтри, отчасти из-за собственных мыслей. Помолчав минуту-другую, она вышла на посыпанную гравием дорожку и медленно удалилась. Тем самым она выразила неудовольствие; но синдикалист слишком распалился, чтобы это заметить.

— В общем, — сказал он, — мы оставляем за собой право бастовать.

— Не злитесь вы, — настаивал миротворец, просунув между противниками большую красную кисть. — Не буяньте, Джек, а то прорвет королевский занавес.

Арчер медленно вернулся на свое место, а противник его, поколебавшись, направился к французскому окну.

— Не беспокойтесь, — проворчал он, — я не прорву ваших холстов. Хватит с меня того, что я пробил брешь в вашей касте.

Чего вы хотите от меня? Я верю, вы настоящий джентльмен, и люблю вас за это. Но что нам с того, кто настоящий джентльмен, кто поддельный? Вы знаете не хуже моего: когда таких, как я, зовут в такие дома, как этот, мы идем, чтобы замолвить слово за братьев, и вы любезны с нами, и ваши дамы с нами любезны, и все прочие, но приходит время... Как вы назовете человека, который принес письмо от друга и не смеет его передать?

— Нет, посудите сами,— возразил Мэррел. — Брешь в обществе вы пробили, но зачем же бить меня? Мне решительно некого позвать. Спектакль примерно через месяц, но тогда здесь будет еще меньше народу, а сейчас надо репетировать. Почему бы вам не помочь нам? При чем тут ваши убеждения? У меня, например, нет убеждений, я износил их в детстве. Но я не люблю обижать женщин, а мужчин здесь нет.

Брейнтри пристально посмотрел на него.

— Здесь нет мужчин, — повторил он.

— Ну, конечно, есть старый Сивуд,— сказал Мэррел. — Он по-своему не так уж плох. Не ждите, что я буду судить его сурово, как вы. Но трубадуром я его не вижу. А других мужчин и правда нет.

Брейнтри все смотрел на него.

— Мужчина есть в соседней комнате,— сказал он, — и в коридоре, и в саду, и у подъезда, и в конюшне, и на кухне, и в погребе. Что за чертоги лжи вы построили, если вы видите этих людей каждый день и не знаете, что они — люди! Почему мы бастуем? Потому что пока мы работаем, вы забываете о нашем существовании. Велите вашим слугам служить вам, но при чем тут я?

Он вышел в сад и гневно зашагал по дорожке.

— Да,— сказал Арчер, — признаюсь, я не мог бы вынести вашего друга.

Мэррел отошел от декорации и, склонив голову набок, стал разглядывать ее взглядом знатока.

— Насчет слуг он хорошо придумал,— кротко сказал он. — Представьте Перкинса в виде трубадура. Ну, здешнего дворецкого. А лакеи сыграли бы лучше некуда.

— Не говорите ерунды,— сердито сказал Арчер. — Роль маленькая, но нужно делать массу всяких вещей. Он целует принцессе руку!

— Дворецкий сделал бы это как зефир,— ответил Мэррел. — Что ж опустимся ниже. Не подойдет он, пригласим лакея, потом — грума, потом — конюха, потом — чистильщика ножей. Если же не выйдет ни с кем, я спущусь на самое дно и попрошу библиотекаря. А что? Это мысль. Библиотекаря!

С внезапным нетерпением он швырнул тяжелую кисть в другой конец залы и выбежал в сад, а за ним поспешил удивленный Арчер.

Было совсем рано, участники спектакля встали задолго до завтрака, чтобы подучить роли и порисовать, а Брейнтри всегда рано вставал, чтобы написать и отослать свирепую, если не бешеную, статью в вечернюю рабочую газету. Утренний свет еще не утратил в углах и закоулках того бледно-розового оттенка, который побудил поэта надеть зарию перстами. Дом стоял на горе, вокруг которой извивался Северн. Сад спускался уступами, но деревья в белом цвету и большие клумбы, строгие и яркие, как гербы, не скрывали могучих склонов. На горизонте клубами пушечного дыма поднимались облака, словно солнце беззвучно обстреливало возвышенности земли. Ветер и свет накладывали глянец на склоненную траву, и казалось, что Мэррел и Арчер стоят на сверкающем плече мира. Почти у вершины, как бы случайно, серели камни прежнего аббатства, а за ним виднелось крыло старого дома, куда и держал путь Мэррел. Театральная красота и театральная нарядность Арчера выигрывали на фоне прекрасной, как декорация, природы, и эффект достиг апогея, когда в саду появилась еще одна участница спектакля — девушка в короне, чьи рыжие волосы казались царственными и сами по себе, ибо она держала голову и гордо, и просто, не могла стоять при звуке трубы, как боевой конь в Писании, и радостно несла пышные одежды, развеваемые ветром. Джулиан Арчер в обтянутом трехцветном костюме был очень живописен, и рядом с ним по-современному тусклый Мэррел выглядел не лучше, чем конюхи, с которыми он так часто общался.

Розамунда Северн, единственная дочь лорда Сивуда, была из тех, кто с громким всплеском кидаются в любое дело. И красота ее, и доброта, и веселость били через край. Ей очень нравилось быть средневековой принцессой, хотя бы в пьесе; но она не мечтала о старине, как ее подруга и гостья. Напротив, она была весьма современна и практична. Если бы не консерватизм ее отца, она бы стала врачом, а так — стала очень энергичной благотворительницей. Когда-то она увлекалась и политикой, но друзья ее не могли припомнить, отстаивала она или отрицала права женщин.

Увидев издали Арчера, она окликнула его звонким повелительным голосом:

— Я вас ищу. Как вы думаете, не повторить нам нашу сцену?

— А я ищу вас, — перебил ее Мэррел. — Драма в мире драмы. Вы часом не знаете нашего библиотекаря?

— При чем тут библиотекарь? — рассудительно спросила Розамунда. — Конечно, я его знаю. Не думаю, чтобы кто-нибудь знал его хорошо.

— Наверное, книжный червь, — заметил Арчер.

— Все мы черви, — весело сказал Мэррел. — У книжного червя просто вкус потоньше. Но я бы хотел поймать его, как птичка. Розамунда, будьте птичкой, поймайте его. Нет, я серьезно. Ты

знаешь край... то есть, знаете ли вы библиотеку, и можете ли вы изловить живого библиотекаря?

— Я думаю, сейчас он там, — немного удивленно сказала Розамунда. — Пойдите сами, поговорите с ним. Никак не пойму, на что он вам нужен.

— Вы всегда приступаете прямо к делу, — сказал Мэррел. — Какая же вы после этого птичка?

— Райская птица, — вставил любезный Арчер.

— А вы пересмешник, — засмеялась Розамунда.

— Я и червяк, и пересмешник, и мартышка, — согласился Мэррел. — Что поделаешь, эволюция... Но прежде, чем превратиться еще в кого-нибудь, я вам объясню. Гордый Арчер не хочет, чтобы чистильщик играл трубадура, и я унижусь до библиотекаря. Не знаю, как его зовут, но нужен нам кто-нибудь!

— Его фамилия Херн, — не совсем уверенно промолвила дма. — Вы к нему не ходите... То есть, я хочу сказать, он человек приличный и, кажется, очень ученый.

Но Мэррел, со свойственной ему стремительностью, уже завернул за угол, туда, где сверкала стеклянная дверь в библиотеку. Там он остановился, глядя вдаль. На фоне утреннего неба темнели два силуэта — именно те, которые он и представить себе не мог вместе. Один был Джоном Брейнтри, другой — Оливией. Правда, когда он на них смотрел, Оливия отвернулась то ли в гневе, то ли в смущении. Но Мэррела удивило, что они вообще встретились. Его печальное лицо стало на минуту озадаченным; потом он встряхнулся и легко вошел в библиотеку.

Глава 3

БИБЛИОТЕЧНАЯ ЛЕСТНИЦА

Сивудский библиотекарь однажды попал в газеты; но, вероятно, о том не узнал. Было это в 1906 году, во времена великого верблужьего спора, когда профессор Отто Эльк, неумолимый гебраист, смело и рыцарственно бился с Книгой Второзакония и сослался по ходу дела на близкое знакомство безвестного библиотекаря с древними хеттами. Пусть просвещенный читатель не думает, что это — простые хетты; нет, это более древний народ, называвшийся тем же именем. Библиотекарь действительно знал о них очень много, но только (как он добросовестно разъяснял) за период от объединения царства при Пан-Эль-Заге, ошибочно называемом Пан-Уль-Загом, до бедственной битвы при Уль-Замуле, после которой, естественно, нечего и говорить о древнехеттской культуре. В данном случае мы вправе сказать, что никто не знал, что он знает. Он ничего не писал о своих хеттах, а если бы написал, вышла бы целая библиотека. Но никто не смог бы в ней разобраться, кроме него.

В публичном споре он появился внезапно и точно так же из него исчез. По-видимому, у его хеттов существовала какая-то система совершенно особенных иероглифов, которые на взгляд жестокого мира были трещинами и царапинами полуразрушенного камня. Где-то в Писании говорится, что кто-то у кого-то угнал сорок семь верблюдов; но профессор Эльк возвестил человечеству, что в хеттском рассказе о том же событии, согласно изысканиям ученого Херна, упомянуто лишь сорок. Открытие это подрывало основы христианской космологии, а по мнению многих, — самым страшным и многообещающим образом меняло взгляды на брак. Имя библиотекаря замелькало в статьях, и в перечне претерпевших гонения и небрежение произошла приятная перемена: Галилей, Бруно и Дарвин обратились в Галилея, Бруно и Херна. Что-что, а небрежение здесь было, ибо сивудский библиотекарь продолжал трудиться в одиночку над своими иероглифами и разобрал к этому времени слова «и семь». Но не будут же просвещенные люди обращать внимание на такую мелочь.

Библиотекарь боялся дневного света, и ему вполне подобало стать тенью среди библиотечных теней. Высокий, худой, он к тому же держал одно плечо выше другого. Волосы у него были пыльно-белокурые, лицо — длинное, нос — прямой, бледно-голубые глаза — расставлены очень широко, так что казалось, будто у него, собственно, один глаз, а другой неведомо где. В известном смысле так оно и было — другим его глазом смотрел человек, живший десять тысяч лет назад.

В Майкле Херне было то, что кроется в любом ученом под напластованиями учености и помогает вынести ее груз. Когда это выбивается наверх, оно зовется поэзией. Ведомый чутьем, Херн созерцал то, что изучал. Даже пытливые люди, возлюбившие уголки истории, увидели бы в нем лишь пыльного любителя древности, корпящего над горшками, мисками и пресловутым каменным топором, который так хочется закопать обратно. Это было бы несправедливо. Бесформенные предметы были для него не идолами, но орудиями. Глядя на хеттский топорик, он видел, как кто-то убивает им добычу, которую сварит в хеттском горшке; глядя на горшок, он видел, как кипит в нем вода, в которой варится то, что убил топорик. Конечно, он сказал бы точно, что именно там варилось; он мог бы составить хеттское меню. Из скудных обломков он создал древний город, затмивший Ассирию неуклюжим величием. Душа его блуждала под странным золотисто-синим небом, среди людей в головных уборах, высоких, как гробницы, гробниц, высоких, как крепости, и бород, узорных, как рисунок обоев. Когда он смотрел из открытого окна на садовника, подметавшего дорожки, он видел чудищ, как бы вырубленных из скалы, и созерцал их властные лица, огромные, словно город. Наверное, хетты немного сместили его разум. Когда один неосторожный ученый повторил при нем

досужую сплетню о царевне Паль-Уль-Газили, библиотекарь кинулся на него с метелкой для обметания книг и загнал на вершину библиотечной лестницы. Одни считали, что эта история основана на фактах, другие — что ее выдумал Дуглас Мэррел.

Во всяком случае, она была хорошей аллегорией. Мало кто знает, как много буйства и пыла кроется в глубинах самых тихих увлечений. Боевой дух прячется там, как в норе или в закутке, предоставляя равнодушию и скуке более заметные участки человеческой деятельности. Можно подумать, что популярная газета кипит страстями, а «Труды ассирийской археологии» отличаются миролюбием и кротостью. На самом деле все наоборот. Газета стала холодной, фальшивой, полной штампов, а ученый журнал полон огня, нетерпимости и азарта. Херн просто терял самообладание при мысли о нелепой выдумке профессора Пула, утверждавшего, что сандалия существовала до хеттов. Он преследовал противника, вооружившись если не метелкой, то пером, острым, как пика, и тратил на этот неведомый спор истинное красноречие, безупречную логику и небывалый пыл, которые так и останутся скрытыми от мира. Когда он открывал новый факт, с блеском опровергал ошибку или подмечал противоречие, он и на дюйм не приближался к славе, но обретал то, что редко обретают знаменитости. Он был счастлив.

Вообще же родился он в семье бедного священника, в Оксфорде, умудрился сохранить нелюдимость не из отвращения к людям, а из любви к одиночеству, и упорно упражнял не только ум, но и тело, хотя его излюбленные виды спорта не требовали общения, (ходьба и плавание), или отличались старомодностью (фехтование). В книгах он разбирался превосходно и, поскольку ему пришлось зарабатывать себе на жизнь, с радостью согласился смотреть за прекрасной, большой библиотекой, собранной прежними владельцами Сивудского аббатства. Единственный его отдых обернулся тяжким трудом — он поехал на раскопки хеттского города в Аравии; и в мечтах снова и снова возвращался к этим дням.

Он стоял у открытого окна, выходившего на лужайку, и, засунув руки в карманы, рассеянно глядел вдаль, когда зеленую стройность сада нарушили три фигуры, две из которых казались странными, если не страшными. Их можно было принять за нарядные привидения. Даже менее опытный специалист заметил бы, что костюм их — не хеттский, хотя почти такой же нелепый. Только третья фигура, в светлом костюме, успокаивала своей современностью.

— Ах, мистер Херн, — вежливо, но и доверительно сказала дама в рогатом уборе и узком голубом платье с висячими рукавами, — окажите нам услугу! Мы в ужасном затруднении.

Глаза библиотекаря изменили фокус, словно он встал в них другие линзы. Теперь он глядел не вдаль, а сюда, на первый план картины, всецело заполненный удивительной дамой. Веро-

ятно, это произвело на него странное действие — он ненадолго онемел, а потом сказал гораздо мягче, чем можно было ожидать:

— Все, что вам угодно...

— Только сыграйте маленькую роль,— попросила дама. — Даже стыдно вам такую предлагать, но все отказываются, а нам жалко бросать пьесу.

— Что это за пьеса? — спросил он.

— Так, чепуха,— сказала она непринужденно. Называется «Трубадур Блондель», про Ричарда Львиное Сердце. Серенады, принцессы, замки... ну, сами знаете. Нам нужен второй трубадур, который ходит за Блонделем и разговаривает. То есть, он слушает, говорит Блондель. Вы это быстро выучите.

— Он еще бренчит на такой гитаре, — подбодрил его Мэррел. — Вроде средневекового банджо.

— Нам нужен,— серьезно сказал Арчер, — богатый романтический фон. Для этого и написан второй трубадур. Как в «Лесных любовниках» — мечты о прошлом, о странствующих рыцарях, об отшельниках...

— Не очень связный рассказ, но вы поймете, — сказал Мэррел. — Будьте фоном, мистер Херн!

Длинное лицо библиотекаря стало скорбным.

— Мне очень жаль,— сказал он. — Я бы так хотел вам помочь. Но это не мой период.

Все озадаченно взглянули на него, но он продолжал, словно думал вслух:

— Гэртон Роджерс, вот кто вам нужен. Подошел бы и Флойд, но он занимается, собственно, *Четвертым* Крестовым походом. Да, лучше всего обратитесь к Роджерсу из Балиоля.

— Я его немного знаю, — сказал Мэррел, глядя на Херна и криво улыбаясь. — Слушал его лекции.

— Великолепно! — обрадовался библиотекарь. — Чего же лучше?

— Да, я его знаю,— серьезно сказал Мэррел. — Ему еще нет семидесяти трех, он совершенно лысый и такой толстый, что еле ходит.

Дама невежливо фыркнула.

— Господи! — сказала она. — Тащить его из Оксфорда, что-бы так одеть!.. — И она показала на ноги мистера Арчера, относящиеся к довольно неопределенной эпохе.

— Только он знает этот период, — сказал библиотекарь, качая головой. — А что до Оксфорда, другого специалиста пришлось бы везти из Парижа. Есть человека два во Франции и один в Германии. В Англии равного ему историка нет.

— Ну что вы!..— возразил Арчер. — Бэннок самый знаменитый исторический писатель со времен Маколея. Его весь мир знает.

— Он пишет книги, — с некоторым недовольством заметил библиотекарь. — Нет, вам подходит только Гэртон Роджерс.

Дама в рогатом уборе потеряла терпение.

— О, Господи! — воскликнула она. — Да это всего часа на два!

— За это время можно наделать много ошибок, — строго сказал библиотекарь. — Чтобы целых два часа воссоздавать эпоху, нужно поработать гораздо больше, чем вы думаете. Если бы это был мой период...

— Нам нужен ученый, кто же подойдет лучше вас? — победоносно, хотя и не вполне логично спросила дама.

Херн печально посмотрел на нее, перевел взгляд на горизонт и вздохнул.

— Вы не понимаете, — тихо сказал он. — Эпоха, которую человек изучает, — это его жизнь. Надо жить в средневековой росписи и резьбе, чтобы пройти по комнате как средневековый человек. В своей эпохе я все это знаю. Мне говорят, что жрецы и боги на хеттских барельефах кажутся деревянными. А я могу по деревянным позам угадать, какие у них были пляски. Иногда мне кажется, что я слышу их музыку.

Тишина впервые прервала бряцание спора; и ученый библиотекарь как дурак уставился в пустоту. Потом он снова заговорил:

— Если бы я попытался изобразить эпоху, в которую не вложил душу, меня бы тут же поймали. Я бы все путал. Я бы неправильно играл на гитаре, о которой вы говорили. Всякий увидел бы, что я двигаюсь не так, как двигались в конце двенадцатого века. Всякий сразу сказал бы: «Это хеттский жест».

— Да, — выговорил Мэррел, глядя на него, — именно это все бы и сказали.

Он глядел на библиотекаря с искренним восторгом, но убеждался все больше в серьезности происходящего, ибо видел на лице Херна ту хитроватую тонкость, которая свидетельствует о простоте души.

— Да бросьте вы! — взорвался Арчер, словно стряхивая чары. — Это же просто пьеса! Я свою роль выучил, а она куда больше вашей.

— Вы давно ее учите, — не сдался Херн. — И ее, и всю пьесу. Вы много думали о трубадурах, жили в той эпохе. Сами видите, я в ней не жил. Непременно что-нибудь да упустишь... пропустишь, ошибешься, сделаешь неверно. Я не люблю спорить с теми, кто изучил предмет, а вы его изучили.

Он глядел на красивое, но озадаченное лицо дамы, а за ней, в тени, Арчер всем своим видом выражал насмешку и отчаяние. Вдруг библиотекарь утратил отрешенную неподвижность, словно проснулся.

— Конечно, я вам что-нибудь подыщу, — сказал он, поворачиваясь к полкам. — Там, наверху, есть прекрасные французские работы.

Библиотека была очень высокой, потолок ее — сводчатым, как в храме. Вполне возможно, здесь и был когда-то храм или

хотя бы часовня, ибо помещалась она в крыле прежнего, настоящего аббатства. Верхняя полка казалась скорее краем пропасти, и влезть на нее можно было лишь по длинной лестнице, стоявшей тут же. Библиотекарь во внезапном порыве очутился наверху раньше, чем кто-нибудь успел его удержать, и принялся копаться в пыльных книгах, уменьшенных расстоянием. Он вынул большой том из ряда томов и, догадавшись, что на весу читать неудобно, занял его место, словно новый ценный фолиант. Под сводами было темно, но там висела лампочка, и он ее спокойно включил. Наступила тишина. Он сидел на далеком насесте, свесив длинные ноги, и лицо его было скрыто кожаной стеной фолианта.

— Спятил, — тихо сказал Арчер. — Тронулся, а? Про нас он забыл. Уберите лестницу, он и не заметит. Вот вам розыгрыш в вашем вкусе, Мартышка.

— Нет, спасибо, — ответил Мэррел. — Над ним мы смеяться не будем, если не возражаете.

— А что такого? — удивился Арчер. — Вы же убрали лестницу, когда премьер снимал покрывало со статуи. Он проторчал там три часа.

— Это другое дело, — мрачно сказал Мэррел, но не объяснил, в чем разница. Быть может, он и не знал, разве что премьер приходился ему двоюродным братом и сам напросился на издательства, занявшись политикой. Во всяком случае, он разницу чувствовал и, когда резвый Арчер взялся было за лестницу, одернул его почти с яростью.

Но тут знакомый голос позвал его из сада. Он обернулся и увидел в раме окна темный силуэт Оливии, дышащей ожиданием и даже нетерпением.

— Оставьте эту лестницу, — поспешно сказал он, оборачиваясь на ходу, — или я...

— Да? — вызывающе спросил Арчер.

— ...или я опущусь до того, что он назвал бы хеттским жестом, — сказал Мэррел и поспешил к Оливии. Розамунда уже подошла к ней и заговорила, ибо она была чем-то взволнована. Арчер остался наедине с отрешенным библиотекарем и заманчивой лестницей. Он почувствовал то, что чувствует подзадо- ренный школьник. Трусом он не был, тщеславным был. Осторожно отцепил он лестницу от полок, не смахнув ни пылинки на книгах и не задев ни волоска на голове ученого, читавшего толстый том; потом тихо вынес ее в сад и прислонил к стене; потом стал смотреть, где остальные. Они стояли поодаль и беседовали так оживленно, что не заметили преступления, как и сама жертва. Беседовали они о другом; и предмету их беседы выпало положить начало странной повести, обязанной существованием тому, что нескольких человек не оказалось там, где надо, а в библиотеке не оказалось лестницы.

Глава 4

ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЖОНА БРЕЙНТРИ

Человек, прозванный Мартышкой, быстро шел по шелестящей траве к одинокому памятнику или, верней, обломку, торчащему посреди лужайки. Собственно, это был большой кусок, отвалившийся от готических ворот старого аббатства и водруженный на более современный пьедестал. Быть может, лет сто назад кто-то, в порыве романтизма, подумал, что должное количество мха и лунного света обратят все это со временем в вальтерскоттовский вид. При ближайшем рассмотрении (которого он еще не дождался) в обломке можно было угадать довольно гнусное чудище, глядящее вверх выпученными глазами. Вероятно, то был умирающий дракон, а над ним торчали какие-то столбики, по-видимому — человечьи ноги. Однако Дугласа Мэррела влекла к нему не тоска по старине, а нетерпеливая дама, выманившая его из библиотеки. Шагая через сад, он видел, что Оливия Эшли стоит у каменного изваяния, но не так неподвижна, как оно. Наверное, она одна вообще глядела на этот тщательно вытесанный обломок, хотя и признавала, что он уродлив и загадочен. Однако сейчас она на него не глядела.

— Окажите мне услугу, — быстро сказала она прежде, чем он промолвил слово. И не совсем последовательно прибавила: — Не вижу, в чем тут услуга. Мне это безразлично. Это для других... для общего блага.

— Я понимаю, — серьезно и немного ехидно сказал Мэррел.

— Потом, он ваш друг... ну, этот Брейнтри. — Тон ее снова изменился, она повысила голос. — Всё вы виноваты! Это вы его привели.

— А в чем дело? — кротко спросил ее собеседник.

— Терпеть его не могу, — сказала Оливия. — Он вел себя гнусно, грубо, и...

— Позвольте! — воскликнул Мэррел совсем другим голосом.

— Нет, нет, — перебила его Оливия, — я не о том. Не надо с ним драться, он грубил в другом смысле. Просто он упрямый, наглый, нетерпимый, не признает законов, говорит всякие длинные слова из этих жутких иностранных брошюр... ну, всякую ерунду про координированный синдикализм и что-то такое, пролетарское...

— Да, слова эти не для женских уст, — покачал головой Мэррел. — Но я не совсем понимаю, о чем вы. Мне не надо с ним драться за то, что он поминает координированный синдикализм, хотя, по-моему, это прекрасный повод для драки. Чего же вы от меня хотите?

— Я хочу, чтобы его поставили на место, — мстительно и мрачно сказала дама. — Ему нужно вбить в голову, что он ничего не знает. Он же никогда не бывал с образованными людьми. Это видно даже по его одежде, по его походке. Я бы еще его вынесла, если бы он только не задирал эту щетинистую черную бороду. Без бороды он, наверное, похож на человека.

— Значит, — спросил Мэррел, — пойти и побрить его?

— Какая чушь! — нетерпеливо вскричала она. — Мне нужно, чтобы он хоть на минуту пожалел, что не бреется. Мне нужно показать ему, что такое образованный человек. Его бы это очень... очень исправило.

— Значит, определить его в школу? — спросил Мэррел.

— Никто ничему не учится в школе, — отвечала она. — Учатся в мире, людей учит жизнь. Пусть он увидит, что на свете есть вещи поважнее его фантазий. Пусть послушает, как говорят о музыке, об архитектуре, об истории, обо всем, чем живут поистине ученые люди. Конечно, огрубеешь на запыленных улицах, в шумных кабаках, с теми, кто еще темнее его! Среди людей образованных он почувствует себя дураком, на это у него хватит ума.

— Вам понадобился истинно-ученый, утонченно культурный человек, и вы, естественно, подумали обо мне, — одобрительно заметил Мэррел. — Вы хотите, чтобы я привязал его к креслу и угощал чаем, Толстым, Тэппером или кто там в моде. Дорогая моя Оливия, он не придет.

— Я об этом думала, — быстро сказала она, — потому я и говорю об услуге... ему, конечно, и всем вообще. Уговорите лорда Сивуда, чтобы он его позвал по делу, побеседовать о забастовке. Только для этого он и придет, а потом мы его познакомим с людьми, которые выше его... и он подрастет, вырастет. Это очень важно, Дуглас. Он имеет огромное влияние на этих рабочих. Если мы не откроем ему глаза, они... ну, он ведь оратор.

— Я знал, что вы гордая аристократка, — сказал он, разглядывая тоненькую, чопорную даму, — но я не знал, что вы дипломат. Что ж, помогу вам в ваших кознях, если вы ручаетесь, что это — для его же блага.

— Конечно, для его блага, — доверчиво сказала она. — Иначе я бы об этом не подумала.

— Вот именно, — сказал Мэррел и пошел к дому медленней, чем шел от него. Но лестницу он не увидел, иначе наше повествование было бы совсем иным.

К делу он приступил сразу же, со всей серьезностью, и — что очень для него характерно — серьезность эта перекрыла простое и глубокое наслаждение шуткой. Быть может, роль играло и то, над кем он собрался шутить. Пройдя через все крыло насквозь, Мэррел достиг кабинета, где бывали немногие и трудился сам лорд Сивуд. Там он пробыл час и улыбался, когда оттуда вышел.

Вот как получилось, что в тот же день не ведавшего об этих кознях Брейнтри (после важной и загадочно пустой беседы с могущественным капиталистом) вытолкнули в гостиную, полную знатных и ученых людей, призванных завершить его воспитание. Он был растерян, борода его и волосы торчали во все стороны, ему чего-то явно не хватало, когда он стоял, нахмуренный, сутулый и угрюмый, и угрюмость его не смягчалась тем, что он о ней не знал. Он не был уродливым, но сейчас и привлекательным не был. А главное, он был неприветлив, и это он знал. Справедливости ради скажем, что приветливость проявили другие, быть может — даже излишнюю. Особенно сердечным оказался лысый, рыхлый, крупный гость, чье дружелюбие было тем громче, чем доверительней он говорил. Он немного напоминал сказочного властителя, чей шепот оглушительней крика.

— Нам нужно, — сказал он, мягко ударяя кулаком по другой ладони, — нам нужно, чтобы люди разбирались в промышленности, иначе в ней мира не добьешься. Не слушайте реакционеров. Не верьте тому, кто скажет, что рабочих не надо учить. Массы учить надо, и прежде всего их надо учить экономике. Если мы вобьем им в голову простейшие экономические понятия, прекратятся эти склоки, которые губят торговлю и угрожают порядку. Что бы мы ни думали, все мы от них страдаем. К какой бы партии мы ни принадлежали, мы — против них. Это не партийное дело, это выше всех партий.

— А если я скажу, что нужен эффективный спрос, разве это не выше всяких партий? — спросил Брейнтри.

Толстый гость быстро и немного испуганно взглянул на него. Потом сказал:

— Конечно... да, конечно...

Потом он замолчал, потом оживленно заговорил о погоде, потом уплыл молчаливым левиафаном в другие моря. Судя по лысине и многозначительному пенсне, он мог быть профессором политической экономии. Судя по разговору, он им не был. Вероятно, первый шаг Брейнтри на поприще культуры пользы не принес. Но сам он, по своей мрачности, решил — верно ли, неверно, — что поборник экономического просвещения масс не имеет ни малейшего представления о том, что такое «эффективный спрос».

Однако этот провал был не в счет, ибо лысый гость (оказавшийся сэром Говардом Прайсом, владельцем мыловаренных заводов) нечаянно влез в ту узкую область, в которой синдикалист разбирался. В гостиной были люди, отнюдь не расположенные обсуждать экономические проблемы. Стоит ли говорить, что среди них находился и Элмерик Уистер? Нет, говорить не стоит, ибо там, где двадцать или тридцать соберутся во имя снобизма, Элмерик Уистер посреди них.

Человек этот был неподвижной точкой, вокруг которой вращались бесчисленные и почти одинаковые круги социаль-

ной суеты. Он умудрялся пить чай во многих домах сразу, и некоторым казалось, что он и не человек, собственно, а синдикат, целый отряд Уистеров, рассылаемых по гостиним, худых, высоких, элегантных, с запавшими глазами, глубоким голосом и редкими, но довольно длинными волосами. Есть Уистеры и в провинциальных салонах; по-видимому — синдикат посылает их в командировки.

Считалось, что Уистер прекрасно разбирается в живописи, особенно — в проблеме прочности красок. Он был из тех, кто помнит Росетти и может рассказать неизвестный анекдот о Бердсли. Когда его познакомили с синдикалистом, он сразу подметил его багровый галстук и вывел отсюда, что тот в искусстве не разбирается. Тем самым себя он почувствовал еще ученей, чем обычно. Его запавшие глаза укоризненно перебежали с галстука на стену, где висел не то Филиппо Липпи, не то другой ранний итальянец, — в Сивудском аббатстве были не только прекрасные книги, но и прекрасные картины. По какой-то ассоциации идей Уистер вспомнил жалобу Оливии Эшли на то, что теперь утрачен секрет алой краски, которой нарисованы крылья какого-то ангела. Подумать только, выцветает «Тайная вечеря»...

Брейнтри, плохо разбиравшийся в живописи и вообще не разбиравшийся в красках, вежливо кивал. Невежество его или равнодушие дополнило впечатление, основанное на галстуке. Окончательно убедившись, что говорит с полным профаном, знаток, в порыве снисходительности, разразился лекцией.

— Рескин прекрасно пишет об этом, — сказал о н . — Рескину вы можете верить... начните с него хотя бы. Кроме Пейтера, конечно, у нас нет такого авторитетного критика. Да, демократия не жалуется авторитеты. Боюсь, мистер Брейнтри, что она не жалуется и искусства.

— Что ж, если у нас будет демократия, мы как-нибудь разберемся, — сказал Брейнтри.

Уистер покачал головой.

— Мне кажется, — сказал о н , — у нас ее достаточно, чтобы народ утратил уважение к великим мастерам.

В эту минуту рыжеволосая Розамунда провела к ним сквозь толпу молодого человека с таким же простым и выразительным лицом, как у нее. На этом их сходство кончалось, ибо красивым он не был, волосы стриг ежиком и носил усы, напоминающие зубную щетку. Но глаза у него были ясные, как у всех смелых мужчин, а держался он приветливо и просто. Он владел небольшим поместьем в этих краях, звался Хэнбери и много путешествовал. Представив его, Розамунда сказала: «Наверное, мы вам по мешали», — и не ошиблась.

— Я говорил, — небрежно, хотя и не без важности сказал Уистер, — что мы, боюсь, опустились до демократии, и люди измельчали. Нет больше великих викторианцев.

— Да, конечно, — довольно механически откликнулась дама.

— Нет больше великанов, — подвел итоги Уистер.

— Наверное, на это жаловались в Корнуолле, — заметил Брейнтри, — когда там поработал известный Джек.

— Когда вы прочитаете викторианцев, брезгливо сказал Уистер, — вы поймете, о каких великанах я говорю.

— Не хотите же вы, чтоб великих людей убили, — поддержала Розамунда.

— А что ж, это бы неплохо, — сказал Брейнтри. — Теннисона надо убить за «Королеву мая», Браунинга — за одну невысказанную рифму, Карлейля за все, Спенсера — за «Человека против государства», Диккенса — за то, что сам он поздно убил маленькую Нелл, Рескина — за то, что он сказал: «человеку надо не больше свободы, чем солнцу», Гладстона — за то, что он предал Парнелла, Теккеря — за то...

— Пощадите! — прервала его дама, весело смеясь. — Хватит! Сколько же вы читали...

Уистер почему-то обиделся, а может быть — разозлился.

— Если хотите знать, — сказал он, — так рассуждает чернь, ненавидящая всякое превосходство. Она стремится унижить тех, кто выше ее. Потому ваши чертовы профсоюзы не хотят, чтобы хорошему рабочему платили больше, чем плохому.

— Экономисты об этом писали, — сдержанно сказал Брейнтри. — Один авторитетный специалист отметил, что лучшая работа и сейчас оплачивается не выше другой.

— Наверное, Карл Маркс, — сердито сказал знаток.

— Нет, Джон Рескин, отвечал синдикалист, — один из ваших великанов. Правда, мысль эта, и самое название книги, принадлежит не ему, а Христу, а Он, к сожалению, не викторианец.

Коренастый человек по фамилии Хэнбери почувствовал, что беседа коснулась неприличной в обществе темы, и ненавязчиво вмешался.

— Вы из угольного района, мистер Брейнтри? — спросил он.

Брейнтри довольно мрачно кивнул.

— Говорят, — продолжал его новый собеседник, — там теперь беспокойно?

— Наоборот, — отвечал Брейнтри, — там очень спокойно.

Хэнбери на минуту нахмурился и быстро спросил:

— Разве забастовка кончилась?

— Нет, она в полном разгаре, — угрюмо сказал Брейнтри, — так что царит покой.

— Что вы хотите сказать? — воскликнула здравомыслящая дама, которой вскоре предстояло стать средневековой принцессой.

— То, что сказал, — коротко ответил он. На шахтах царит покой. По-вашему, забастовка — это бомбы и взрывы. На самом деле это отдых.

— Да это же парадокс! — воскликнула Розамунда так радостно, словно началась новая игра, и теперь ее вечер удастся на славу.

— По-моему, это избитая истина, то есть — просто правда, — возразил Брейнтри. — Во время забастовки рабочие отдыхают, а надо вам сказать, они к этому не привыкли.

— Разве мы не можем сказать, — глубоким голосом спросил Уистер, — что труд — лучший отдых?

— Можете, — сухо отвечал Брейнтри. — У нас ведь свобода, особенно — для вас. Можете даже сказать, что лучший труд — это отдых. Тогда вам очень понравится забастовка.

Хозяйка смотрела на него по-новому — пристально и не совсем спокойно. Так люди, думающие медленно, узнают то, что нужно усвоить, а быть может — и уважать. Хотя (или потому что) она выросла в богатстве и роскоши, она была проста душой и ничуть не стеснялась прямо глядеть на ближних.

— Вам не кажется, — наконец спросила она, — что мы спорим о словах?

— Нет, не кажется, — отвечал он. — Мы стоим по обе стороны бездны. Маленькое слово разделяет человечество надвое. Если вас действительно это трогает, разрешите дать вам совет. Когда вы хотите, чтобы мы думали, что вы не одобряете забастовки, но понимаете, в чем дело, говорите что угодно, только не это. Говорите, что в шахтеров вселился бес; говорите, что они анархисты и предатели; говорите, что они богохульники и безумцы. Но не говорите, что у них беспокойно. Это слово выдает то, что кроется в вашем сердце. Вещь эта — очень старая, имя ей — рабство.

— Поразительно, — сказал Уистер.

— Правда? — сказала Розамунда. — Потрясающе!

— Нет, это очень просто, — сказал синдикалист. — Представьте, что не в шахте, а в погребке работает человек. Представьте, что он целый день рубит уголь, и вы его слышите. Представьте, что вы платите ему; и честно думаете, что ему этого хватает. Вы тут курите или играете на рояле и слышите его, пока не наступает тишина. Быть может, ей и следовало наступить... быть может, не следовало... но неужели вы не видите, никак не видите, что значат ваши слова: «Мир, мир, смятенный дух!»?

— Очень рад, что вы читали Шекспира, — любезно сказал Уистер.

Но Брейнтри этого не заметил.

— Непрерывный стук в подвале на минуту прекратился, — говорил он. — Что же скажете вы человеку, который там, во тьме? Вы не скажете: «Спасибо, ты работал хорошо». Вы не скажете: «Негодяй, ты работал плохо». Вы скажете: «Успокойся. Продолжай делать то, что тебе положено. Не прерывай мерного движения, ведь оно для тебя — как дыхание, как сон, твоя вторая природа. «Продолжай», как выразился Бог у Беллока. Не надо беспокойства».

Пока он говорил — пылко, но не яростно, — он все яснее замечал, что новые и новые лица обращаются к нему. Взгляды не были пристальными или невежливыми, но казалось, что толпа медленно идет на него. Он видел, что Мэррел с печальной улыбкой глядит на него поверх сигареты, а Джулиан Арчер бросает настороженные взгляды, словно боится, как бы он не поджег замка. Он видел оживленные и наполовину серьезные лица разных дам, всегда ожидающих происшествия. У тех, кто стоял поближе, лица были смутными и странными; но в углу, подальше, очень отчетливо выделялось бледное и возбужденное лицо худенькой художницы, мисс Эшли. Она за ним наблюдала.

— Человек в подвале вам чужой, — говорил о н. — Он вошел туда, чтобы сразиться с черной глыбой, как сражаются с диким зверем или со стихией. Рубить уголь в подвале — трудно. Рубить уголь в шахте — опасно. Дикий зверь может убить того, кто войдет в его берлогу. Битва с этим зверем не дает ни отдыха, ни покоя. Бьющийся с ним борется с хаосом, как путешественник, прокладывающий путь в тропическом лесу.

— Мистер Хэнбери, — сказала, улыбаясь, Розамунда, — только что оттуда вернулся.

— Прекрасно, — сказал Брейнтри. Но если он больше туда не поедет, вы не скажете, что среди путешественников неспокойно.

— Молодец! — весело сказал Хэнбери. — Здорово это вы.

— Разве вы не видите, — продолжал Брейнтри, — что мы для вас — механизм, и вы замечаете нас лишь тогда, когда часы остановятся?

— Кажется, я вас понимаю, — сказала Розамунда, — и не забуду этого.

И впрямь, она не была особенно умной, но принадлежала к тем редким и ценным людям, которые никогда не забывают того, что они усвоили.

Глава 5

ВТОРОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЖОНА БРЕЙНТРИ

Дуглас Мэррел знал свет. Точнее, он знал свой круг, а тяга к дурному обществу не давала ему подумать, что он знает мир. Тем самым он хорошо понимал, что случилось. Брейнтри загнали сюда, чтобы он смутился и замолчал; однако именно здесь он разговорился. Быть может, к нему отнеслись как к чудищу или к дрессированному зверю, — пресыщенные люди тянутся ко всему новому; но чудище имело успех. Брейнтри говорил много, но был не наглым, а всего лишь убежденным. Мэррел знал свет; и знал, что те, кто много говорит, редко бывают наглыми, ибо не думают о себе.

Сейчас Мэррел знал, что будет. Глупые уже сказали свое слово — те, кто непременно спросит у исследователя полярных стран, понравился ли ему Северный полюс, и рады бы спросить у негра, каково быть черным. Старый делец неизбежно должен был заговорить о политической экономии со всяким, кто покажется ему политиком. Старый осел, то есть Уистер, неизбежно должен был прочесть лекцию о великих викторианцах. Самоучка легко показал им, что он ученей их.

Теперь начиналась следующая фаза. Брейнтри заметили люди другого рода: светские интеллектуалы, не говорящие о делах, беседующие с негром о погоде, завели с синдикалистом спор о синдикализме. После его бурной речи послышался мерный гул, и тихоголосые джентльмены стали задавать ему более связанные вопросы, нередко находя более серьезные возражения. Мэррел встряхнулся от удивления, услышав низкий, гортанный голос лорда Идена, надежно хранившего столько дипломатических и парламентских тайн. Он почти никогда не говорил, но сейчас спросил Брейнтри:

— Вам не кажется, что древние кое в чем правы — Аристотель и прочие? Быть может, должен существовать класс людей, работающих на нас в подвале?

Черные глаза его собеседника загорелись не гневом, а радостью — он понял, что его поняли.

— Вот это дело! — сказал он. Многим показалось, что слова его столь же наглы, как если бы он сказал премьеру: «Ну и чушь!» Но старый политик был умен и понял, что его похвалили.

— Если вы примете эту точку зрения, — продолжал Брейнтри, — вы не вправе сетовать на то, что люди, которых вы от себя отделяете, с вами не считаются. Если действительно есть такой класс, стоит ли удивляться, что он обладает классовым сознанием?

— Мне кажется, и другие имеют право на классовое сознание, — с улыбкой сказал Иден.

— Вот именно, — заметил Уистер самым снисходительным тоном. — Аристократ, благородный человек, как говорит Аристотель...

— Позвольте, — с некоторым раздражением прервал Брейнтри. — Я читал Аристотеля в дешевых переводах, но я его читал. А вы все долго учите греческий и не берете в руки греческой книги. Насколько я понимаю, у Аристотеля благородный человек — довольно наглый тип. Но нигде не сказано, что он — аристократ в вашем смысле слова.

— Совершенно верно, — сказал Иден. — Но самые демократические греки признавали рабство. По-моему, можно привести гораздо больше доводов в защиту рабства, чем в защиту аристократии.

Синдикалист почти радостно закивал. Элмерик Уистер растерялся.

— Вот я и говорю, — сказал Брейнтри. — Если вы признаете рабство, вы не можете помешать рабам держаться друг за друга

и думать иначе, чем вы. Как воззовете вы к их гражданским чувствам, если они — не граждане? Я — один из них. Я — из подвала. Я представляю здесь мрачных, неотесанных, неприятных людей. Да, я из них, и сам Аристотель не отрицал бы, что я вправе защищать их.

— И вы их защищаете прекрасно, — сказал Иден.

Мэррел мрачно улыбнулся. Мода разгулялась вовсю. Он узнавал все признаки, сопровождающие перемену общественной погоды, обновившей атмосферу вокруг синдикалиста. Он даже слышал знакомые звуки, наносящие последний штрих — воркующий голос леди Бул: «...в любой четверг... будем так рады...»

По-прежнему улыбаясь, Мэррел повернулся и направился в угол, где сидела Оливия. Он видел, что губы у нее сжаты, а темные глаза опасно блестят; и сказал ей с участием:

— Боюсь, что наша шутка вышла боком. Мы думали, он медведь, а он оказался львом.

Она подняла голову и вдруг улыбнулась сияющей улыбкой.

— Он перешел как кегли! — воскликнула она. — Он даже Идена не испугался.

Мэррел глядел на нее, вниз, и на его печальном лице отражалось смущение.

— Удивительно, — сказал он. — Вы как будто гордитесь вашим протеже.

Поглядев еще на ее неисповедимую улыбку, он добавил:

— Да, женщин я не понимаю. Никто их не понимает. Видимо, опасно и пытаться. Но если вы разрешите мне высказать догадку, дорогая Оливия, я замечу, что вы не совсем честны.

И он удалился, как всегда — добродушно и невесело. Гости уже расходились. Когда ушел последний, Дуглас Мэррел помедлил у выхода в сад и пустил последнюю парфянскую стрелу.

— Я не понимаю женщин, — сказал он, — но мужчин я немного понимаю. Теперь вашим ученым медведем займусь я.

Усадьба лорда Сивуда была прекрасна и казалась отрезанной от мира; однако она отстояла всего миль на пять от одного из черных и дымных провинциальных городов, внезапно выросших среди холмов и долин, когда карта Англии покрылась заплатками угольных копей. Этот город, сохранивший имя Милдайка, уже достаточно почернел, но еще не очень разросся. Связан он был не столько с углем, сколько с побочными продуктами, вроде дегтя; в нем было множество фабрик, обрабатывающих этот ценный продукт. Джон Брейнтри жил на одной из самых бедных улиц и считал это неудобным, но единственно уместным, ибо его политическая деятельность главным образом в том и состояла, чтобы связать профессиональный союз шахтеров как таковых с маленькими объединениями, возникшими в побочных отраслях. К этой улице и повернулся он лицом, повернувшись спиной к большой усадьбе, в которой так странно и так бесцельно побывал. Поскольку Иден и Уистер и прочие



пишки (как он их назвал бы) укатили в собственных машинах, он особенно гордился тем, что направился сквозь толпу к смешному сельскому омнибусу, совершавшему рейс между усадьбой и городом. Он влез на сиденье и с удивлением увидел, что Дуглас Мэррел лезет вслед за ним.

— Не поделитесь ли омнибусом? — спросил Мэррел, опускаясь на скамью прямо за единственным пассажиром, ибо никто больше этим транспортом не ехал. Оба они оказались на передних сиденьях, и вечерний ветер подул им в лицо, как только омнибус тронулся. По-видимому, это пробудило Брейнтри от забытья, и он вежливо кивнул.

— Понимаете, — сказал Мэррел, — хочется мне посмотреть на ваш угольный подвал.

— Вы не хотели бы, чтоб вас там заперли, — довольно хмуро отвечал Брейнтри.

— Да, я предпочел бы винный погреб, — признал Мэррел. — Другой вариант вашей притчи: пустые и праздные кутят наверху, а упорный звук выбиваемых пробок напоминает им, что я неустанно тружусь во тьме... Нет, правда, вы очень верно все сказали, и мне захотелось взглянуть на ваши мрачные трущобы.

Элмерик Уистер и многие другие сочли бы бестактным напоминать о трущобах тому, кто беднее их. Но Мэррел бестактным не был и не ошибался, когда говорил, что немного понимает мужчин. Он знал, как болезненно самолюбивы самые мужественные из них. Он знал, что синдикалист до безумия боится снобизма, и не стал говорить об его успехе в гостинию. Причисляя его к рабам в подвале, он поддерживал его достоинство.

— Тут все больше делают краски, да? — спросил Мэррел, глядя на лес фабричных труб, медленно выраставший из-за горизонта.

— Тут обрабатывают угольные отбросы, — отвечал Брейнтри. — Из них делают красители, краски, эмали и тому подобное. Мне кажется, при капитализме побочные продукты важнее основных. Говорят, ваш Сивуд нажил миллионы не столько на угле, сколько на дегте — вроде бы из него делают красную краску, которой красят солдатские куртки.

— А не галстуки социалистов? — укоризненно спросил Мэррел. — Джек, я не верю, что свой вы покрасили кровью знатных. Никак не представляю, что вы только что резали нашу старую знать... Потом, меня учили, что у нее кровь голубая. Вполне возможно, что именно вы — ходячая реклама красильных фабрик. Покупайте наши красные галстуки. Все для синдикалиста. Джон Брейнтри, маститый революционер, пишет: «С тех пор, как я ношу...»

— Никто не знает, Дуглас, откуда что берется, — спокойно сказал Брейнтри. — Это и называется свободой печати. Может быть, мой галстук сделали капиталисты; может быть, ваш соткали людоеды.

— Из миссионерских бакенбардов, — предположил Мэррел. — А вы миссионерствуете у этих рабочих?

— Они трудятся в ужасных условиях, — сказал Брейнтри. — Особенно бедняги с красильных, они просто гибнут. Мало-мальски стоящих союзов у них нет, и рабочий день слишком велик.

— Да, много работать нелегко, — согласился Мэррел. — Трудно жить на свете... Верно, Билл?

Быть может, Брейнтри немного льстило, что Мэррел зовет его Джеком; но он никак не мог понять, почему он назвал его Биллом. Он чуть было об этом не спросил, когда странные звуки из темноты напомнили ему, что он забыл еще об одном человеке. По-видимому, Уильямом звался кучер, судя по ответному ворчанию, согласный с тем, что рабочий день пролетариата слишком долг.

— Вот именно, Билл, — сказал Мэррел. — Вам-то повезло, особенно сегодня. А Джордж будет в «Дракон»?

— Уж конечно, — медленно выговорил кучер, услаждаясь пренебрежением.— Быть-то он будет, да что с того... — И он замолк, словно посещение «Дракона» иод силу даже Джорджу, но утешения в этом мало.

— Он там будет, и мы там будем, — продолжал Мэррел. — Не поминайте старого, Билл, выпейте с нами. Покажите, что не обиделись за чучело. Честное слово, я только просил его подвезти.

— Ну что вы, сэр!.. — заворчал благодушный Билл в порыве милосердия. — Выпить можно...

— То-то и оно, — сказал Мэррел. — Вот и «Дракон». Надо кому-нибудь туда пойти и разыскать Чарли.

Подбодрив таким образом общественный транспорт, Мэррел скатился с верхушки омнибуса. Упал он на ноги, извернувшись на лету и оттолкнувшись от подножки. Потом он так решительно протиснулся сквозь толпу в ярко освещенный кабаk, названный «Зеленым драконом», что спутники его двинулись за ним. Кучер, чье имя было Уильям Понд, собственно, и не упирался; демократический же Брейнтри шел неохотно, всячески показывая, что ему все равно. Он не был ни трезвенником, ни ханжой и с удовольствием выпил бы пива в придорожном кабачке. Однако «Дракон» стоял в предместье промышленного города и не был ни кабачком, ни таверной, ни даже одним из тех жалких заведений, которые зовутся кафе. Это был именно кабаk — место, где честно и открыто пьют бедняки. Переступив через порог, Брейнтри понял, что такого он не видел, не слышал, не трогал, не нюхал за все пятнадцать лет, отданные агитации. Здесь было что понюхать и послушать, но далеко не все ему хотелось бы тронуть или попробовать на вкус. В кабаке было жарко, тесно и очень шумно, ибо говорили все сразу, причем никто не обращал внимания на то, слушают его или нет. Говорили все с большим пылом, но понять он не мог почти ни слова, как если бы

посетители «Дракона» ругались по-голландски или по-португальски. Время от времени одно из загадочных выражений вызывало отповедь из-за стойки: «Ну, ты, полегче!..» — и провинившийся, видимо, брал свои слова обратно. Мэррел пошел к стойке, кивая направо и налево, постучал медяками по дереву и спросил чего-то на четверых.

Если в этом шуме и хаосе был центр, находился он там же, — люди более или менее тянулись к человеку, стоявшему как раз у стойки, и не потому, что он говорил, а потому что говорили о нем. Все над ним подшучивали, словно он погода, или военное министерство, или другой признанный объект сатиры. Чаще всего его спрашивали прямо: «Что, скоро женишься, Джордж?», но отпускали замечания и в третьем лице, вроде «Джордж все с девчонками гуляет» или «Джордж совсем в Лондоне пропадет». Брейнтри заметил, что все острили безобидно и добродушно. Более того, сам Джордж ничуть не обижался и не удивлялся тому, что по неведомой причине стал человеком-мишенью. Был он толстенный, какой-то сонный, стоял полузакрыв глаза и блаженно улыбался, словно нарадоваться не мог этой странной популярностью. Фамилия его была Картер, он держал неподалеку зеленую лавочку. Почему именно он, а не кто иной, должен был жениться или пропасть в Лондоне, Брейнтри не понял за два часа и не понял бы за десять лет. Просто он, словно магнит, притягивал все шутки, которые без него болтались бы в воздухе. Говорили, что он тоскует, когда им не занимаются. Брейнтри не разгадал его загадки, но нередко вспоминал о нем много позже, когда при нем говорили о жестокой толпе, потешающейся над чужаками и чудаками.

Тем временем Мэррел снова и снова подходил к стойке и болтал с девицей, сделавшей все, чтобы ее волосы походили на парик. Потом он затеял с кем-то бесконечный спор о том, выиграет ли какая-то лошадь, или какой-то номер, или что-то еще. Спор двигался медленно, ибо собеседники повторяли каждый свое с возрастающим упорством. При этом они были весьма учтивы, но беседе их несколько мешал очень высокий, тощий человек с обвисшими усами, пытавшийся передать дело на рассмотрение Брейнтри.

— Я джентльмена сразу вижу, — говорил о н. — А как увижу, так спрошу... так и спрошу, раз он джентльмен...

— Я не джентльмен, — наконец гордо ответил Брейнтри.

Длинный человек ласково склонился над ним, словно успокаивая ребенка.

— Что вы, что вы, сэр, — увещевал о н. — Я его сразу вижу... вот вы нам и скажите...

Брейнтри встал и сразу налетел на рослого землекопа, обсыпанного чем-то белым, который вежливо извинился и сплюнул на посыпанный опилками пол.

Ночь была как страшный сон. Джону Брейнтри она казалась бесконечной, бессмысленной и до безумия однообразной. Мэррел

угощал кучера в одном кабаке за другим. Выпили они немного, гораздо меньше, чем выпивает в одиночестве склонный к портвейну вельможа или ученый; зато они пили под шум и шутки и спорили без конца в прямом смысле этих слов, ибо никакого конца у таких споров не могло быть. Когда шестой кабак огласился криком: «Пора!» и посетителей вытолкали, а ставни закрыли, неутомимый Мэррел пошел обходом по кофейням, с похвальным намерением как следует протрезветь. Здесь он ел толстыми сэндвичи и пил светло-бурый кофе, по-прежнему споря с ближними о лошадях и спорте. Заря занималась над холмами и бахромой фабричных труб, когда Джон Брейнтри вдруг обернулся к приятелю и властно сказал:

— Дуглас, не доигрывайте вашей притчи. Я всегда знал, что вы умны, а теперь я начинаю понимать, как вашей породе удавалось так долго вертеть целой нацией. Но я и сам не очень глуп, я знаю, что вы хотите сказать. Вы не сказали этого сами, за вас сказали сотни других. «Да, Джон Брейнтри,— сказали вы,— ты можешь поладить со знатью, а вот с чернью тебе не поладить. Ты целый час болтал в гостиной о Шекспире и витражах. Потом провел ночь в трущобах. Скажи мне, кто из нас лучше знает народ?»

Мэррел молчал, и Брейнтри заговорил снова:

— Лучшего ответа вы дать не могли, и я на него отвечать не стану. Я мог бы рассказать вам, почему мы чуждаемся таких вещей больше, чем вы. Вам с ними шутки шутить, а мы должны победить их. Но пока я скажу одно: я понял и не обиделся на вас.

— Я знаю, что вы не сердитесь,— отвечал Мэррел. — Наш приятель был неосторожен в выражениях, но он ведь прав, вы — джентльмен. Что ж, будем надеяться, что это моя последняя шутка.

Однако надежды его не оправдались. Когда он возвращался в дом через сад, он увидел у стены библиотечную лестницу. Он остановился, и его добродушное лицо стало почти суровым.

Глава 6

МЭРРЕЛ ИДЕТ ЗА КРАСКАМИ

Мэррел глядел на лестницу, и в его сознании, медленно освобождавшемся от пиршественных паров, возникла догадка об еще одном результате ночной или научной экспедиции. Он вспомнил, что в такой же самый час, когда на траве лежали длинные тени и слабо розовела заря, он бросил живопись, чтобы охотиться на библиотекаря. Библиотекаря он загнал на самый верх полки; а лестница стояла в саду, словно старая утварь, вся в каплях утренней росы, и пауки уже оплетали ее серебряной

пряжей. Что случилось, почему лестница здесь? Он вспомнил шутки Джулиана Арчера, лицо его передернулось, и он вбежал в библиотеку.

Сперва ему показалось, что длинная, высокая комната, уставленная книгами, совершенно пуста. Но вскоре он увидел высоко, в том уголке, куда полез библиотекарь за французскими книгами, голубое светящееся облачко. Он всмотрелся и разглядел, что лампочка еще горит, а туман, ее окружающий, состоит из клубов дыма, ибо тот, кто сидит там, курит очень давно, наверное — целые сутки. Тогда Мэррел разглядел длинные ноги, свисающие с насеста, и понял, что Майкл Херн просидел наверху от зари до зари. К счастью, у него были сигареты; но еды у него не было. «Господи,— пробормотал Мэррел, — он с голоду умирает! А как же он спал? Если бы он заснул, он бы свалился».

И Мэррел тихонько окликнул библиотекаря, как окликают ребенка, играющего у обрыва.

— Все в порядке, — сказал он. — Я принес лестницу.

Библиотекарь кротко взглянул на него поверх книги и спросил:

— Вы хотите, чтобы я спустился?

Тогда и увидел Мэррел последнее чудо этих суток. Не дожидаясь лестницы, Майкл Херн проворно спустился по полкам, как по ступенькам, и прыгнул на пол. Правда, на полу он пошатнулся.

— Вы спрашивали Гэртона Роджерса? — сказал он. — Какой интересный период!

Мэррел редко пугался, но тут ему стало страшновато. Он поглядел бессмысленно на библиотекаря и повторил: «Период? Какой период?»

— Ну, отвечал Херн, полузакрыв глаза, — можно считать, что интереснее всего — от тысяча восьмидесятого года до тысяча двести шестидесятого. А вы как думаете?

— Я думаю, что нелегко столько голодать, — сказал Мэррел. — Господи, вы же совсем извелись! Неужели вы вправду просидели там... два столетия?

— Я чувствовал себя как-то смешно, — признался библиотекарь.

— У меня другое чувство юмора, — сказал Мэррел. — Вот что, пойду принесу вам поесть. Слуги еще спят, но мой приятель, точильщик, показал мне, как лазать в кладовую.

Он выбежал из комнаты и вернулся очень скоро с полным подносом, на котором главное место занимали бутылки.

— Древний британский сыр, — говорил он, расставляя еду на книжной этажерке, — холодная курица, зажаренная не раньше тысяча триста девяностого года. Любимое пиво Ричарда I. Ветчина по-трубадурски. Ешьте скорей! Честное слово, люди ели и пили в любую эпоху.

— Мне столько пива не выпить, — сказал Херн. — Еще очень рано.

— Нет, очень поздно,— сказал Мэррел. — Я тоже с вами выпью, я только что с пира. Лишний стаканчик не повредит, как поется в старой провансальской песне.

— Право, — сказал Херн, — я не совсем понимаю...

— И я не понимаю,— отвечал Мэррел, — но я тоже сегодня не ложился. Занимался научными исследованиями. Не ваш период, другой, да он и без меня описан, социология, знаете, то да се. Вы уж простите, что немного осовел. Я все думаю, неужели один период так отличается от другого?

— Ах ты Господи,— возрадовался Херн, — именно это я и чувствую! Средние века удивительно похожи на мою эпоху. Как интересно это превращение царских или королевских слуг в наследственную знать! Вам не кажется, что вы читаете об изменениях, происшедших после нашествия Замула?

— Еще бы не казалось!..— ответил Мэррел. — Ну, теперь вы нам все объясните про этих трубадуров.

— Да, но вы и ваши друзья сами их изучили, — сказал библиотекарь. — Вы давно ими занимаетесь, только я не совсем пойму, почему вас увлекли трубадуры. На мой взгляд, труверы подошли бы здесь больше.

— Привычка, понимаете ли, ответил Мэррел. — Все привыкли, что серенаду поет трубадур. А если в саду заметят трувера, полицию позовут, кто его там знает...

Библиотекарь несколько удивился.

— Сперва мне казалось, что трувер — вроде зеля, игрока на лютне,— признался он. — Но теперь я пришел к выводу, что он ближе к пани.

— Так я и думал,— печально признался Мэррел. — Но этого не решишь без Джулиана Арчера.

— Да,— смиренно согласился Херн. — Мистер Арчер глубоко изучил эти проблемы.

— Он все проблемы изучил,— сдержанно сказал Мэррел. — А я ни одной... кроме разве пива, я его, кстати, один и пью. Ну, мистер Херн, пейте веселей!.. Может, вы споете застольную хеттскую песню?

— Нет, право,— серьезно отвечал Херн. — Я не сумею, я плохо пою.

— Зато лазаете вы хорошо,— заметил Мэррел. — Я часто скатываюсь с омнибуса, но такого я бы и сам не сделал. Загадочный вы человек. Теперь вы подкрепились, главное — выпили, и я вас спрошу: если вы все время могли слезть, почему вы не пошли спать и не поели?

— Признаюсь, я предпочел бы лестницу, — смущенно сказал Херн. — У меня немножко кружилась голова, и я все же боялся упасть, пока вы меня не подтолкнули. Обычно я так не лазаю.

— И все-таки,— настаивал Мэррел, — как же вы там просидели всю ночь? Спустись, любовь ждет в долине... следовательно, на полку она не полезет. Зачем вы оставались наверху?

— Мне стыдно за себя самого, — печально отвечал ученый. — Вы говорите «любовь», а я совершил измену. Я словно бы влюбился в чужую жену. Человек должен держаться того, с чем он связан.

— Бойтесь, что царица Паль-Уль — как ее там, приревнует вас к Беренгарии Наваррской? — предположил Мэррел. — Прекрасный рассказ... за вами гоняется мумия, подстерегает вас и пугает по ночам в коридорах. Теперь я понимаю, почему вы боялись спуститься. Нет, правда, ведь вас там книги держали.

— Я оторваться не мог, — чуть ли не простонал Херн. — Я никак не думал, что восстановление цивилизации после варваров так интересно и сложно. Возьмите хотя бы вопрос о крепостных. Страшно подумать, что было бы, займись я этим в молодости.

— Наверно, вы пустились бы во все тяжкие, — сказал Мэррел. — Помешались бы на готике, или на старой меди, или на витражах. Впрочем, еще не поздно.

Ответа он ждал минуты две. Библиотекарь как-то странно оборвал беседу; еще более странно смотрел он в открытую дверь на уступы сада, все сильнее пригреваемые утренним солнцем. Он смотрел на длинную аллею, окаймленную яркими клумбами, напоминающими миниатюры на полях старых книг, и на старый камень, стоявший в глубине, над уступами.

— Что таится в этих словах, — сказал он наконец, — которые мы так часто слышим? «Слишком поздно». Иногда мне кажется, что это правда, иногда — что это ложь. Быть может, все уже поздно делать, быть может, — никогда не поздно. Да, слова эти разделяют мечту и действительность. Всякий ошибается; говорят, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. А может быть, мы и ошиблись потому, что не делали ничего?

— Я же сказал вам, — ответил Мэррел, — по-моему, все едино. Эти проблемы интересны для таких, как вы, и пусты для таких, как я.

— Да, — с неожиданной твердостью сказал Херн. — Но предположите, что одна из проблем касается и вас, и меня. Предположите, что мы забыли родного отца, откапывая кости чужого прапрадеда. Предположите, что меня преследует не мумия или что мумия еще не мертва.

Мэррел смотрел на Херна, а Херн упорно смотрел на памятник в глубине аллеи.

Оливия Эшли была странной девушкой. Друзья, каждый на своем диалекте, называли ее занятой старушкой, романтической барышней, удивительным человеком, а самым удивительным в ней было то, с чего мы начали нашу повесть, — она по-прежнему писала миниатюры, когда все занимались пьесой. Она сидела склонившись, если не сгорбившись, над своей микроскопической средневековой работой в самом сердце нелепого театрального

вихря. Выглядело это так, словно кто-то рвал цветы, повернувшись спиной к скачкам. Однако пьесу написала она, и она, а не кто иной, любила средневековье.

— Ну что же это! — говорила Розамунда, в отчаянии разводя руками. — Она получила, что хотела, и ничего не делает. Вот ей, пожалуйста, ее средние века, а ей ничего не нужно! Возится со своими красками, золотит там что-то, а мы трудимся...

— Ну, ну, — отвечал Мэррел, всеобщий миротворец. — Это хорошо, что работаете вы. Вы же такая деловитая. Настоящий мужчина.

Розамунда смягчилась и сказала, что ей часто хочется стать мужчиной. Никто не знал, чего хочет ее подруга, но можно не сомневаться в том, что мужчиной ей стать не хотелось. Розамунда была не совсем права — Оливия ничего никому не навязывала. Скорее, пьесу у нее чуть не вырвали. Правда, они много к ней прибавили и знали это, да и кому же было знать, как не им. Они приспособливали пьесу к сцене. В таком, новом виде она давала Джулиану Арчеру возможность эффектно появляться перед публикой и эффектно исчезать. Но Оливия, как ни жаль, все сильнее чувствовала, что его исчезновения радуют ее больше, чем появления. Она никому в том не признавалась, особенно — ему, ибо могла ссориться с теми, кого любила, но не с теми, кого презирала; и уходила в скорлупу, похожую на те чашечки, в которых держат золотую краску.

Если она хотела нарисовать серебряное дерево, она не слышала над собой громкого голоса, сообщающего ей, что золото куда шикарней. Если она рисовала алую рыбку, она не видела укоризненного взгляда, говорившего: «Я не выношу красного». Дуглас не смеялся над ее башенками и часовнями, даже если они были нелепыми, как в пантомиме. Быть может, они были смешны, но она сама и шутила, то есть радовалась, а не издевалась. Дивный кукольный домик, в котором она играла с крохотными святыми и крохотными ангелами, был слишком мал для ее больших и шумных братьев и сестер. Потому, к их великому удивлению, она и занялась своим прежним, любимым делом. Но сейчас, поработав минут десять, она встала и выглянула в сад. Потом вышла, как заведенная кукла, с кисточкой в руке. Она немного постояла около готического обломка, где они с Мартышкой обсуждали Джона Брейнтри. Наконец сквозь стеклянные двери и окна старого крыла она увидела библиотекаря и того же Мартышку.

По-видимому, именно они пробудили ее. Она приняла решение или поняла то, что решила раньше. Свернув к библиотеке, она поспешила туда и, не замечая, как удивленно здороваются с ней Мэррел, серьезно сказала библиотекарю:

— Мистер Херн, разрешите мне взглянуть на одну книгу.

Херн очнулся и сказал:

— Простите...

— Я хотела с вами о ней поговорить, — продолжала Оливия. — Я видела ее на днях... Кажется, она о святом Людовике. Там есть рисунки на полях, а в них — удивительный алый цвет: яркий, как будто раскаленный, и нежный, как небо на закате. Я нигде не могу найти такой краски.

— Ну что вы! — легкомысленно сказал Мэррел. — Наверняка ее можно найти, если искать умеючи.

— Вы имеете в виду, не без горечи заметила Оливия, — что теперь можно купить все, если есть деньги.

— Хотел бы я знать, — напевно проговорил библиотекарь, — можно ли приобрести за деньги древнехеттский палумон.

— Не уверен, что он висит на витрине, — сказал Мэррел, — но где-нибудь да найдется миллионер, который хочет на нем заработать.

— Вот что, Дуглас, — воскликнула Оливия. — Вы любите всякие пари. Я покажу вам этот алый цвет, вы сравните его с моими красками, а потом пойдите и попробуйте купить такую краску, как в книге.

Глава 7

ТРУБАДУР БЛОНДЕЛЬ

— А... — растерянно промолвил Мэррел. — Да, да... Рад слушать.

Нетерпеливая Оливия влетела в библиотеку, не дожидаясь помощи библиотекаря, все еще глядевшего вдаль светлым, сияющим взором. Она вытащила тяжелый том с одной из нижних полок и раскрыла его на изукрашенной странице. Буквы словно ожили и поползли золотыми драконами. В углу было многоголовое чудовище из Апокалипсиса, и даже легкомысленный Мэррел почувствовал, что оно сияет сквозь века алым светом чистого пламени.

— Вы хотите, — сказал он, — чтобы я изловил вам в Лондоне этого зверя?

— Я хочу, чтобы вы изловили эту краску, — сказала дама. — Вы говорите, что в Лондоне можно достать все, так что вам не придется далеко ходить. На Хеймаркет некий Хэндри продавал как раз такую, когда я была маленькой. А теперь я нигде не найду нежного оттенка, который знали в четырнадцатом веке.

— Я сам не так давно писал красной краской, — скромно сказал Мэррел, — но нежной она не была. Красный — цвет двадцатого века, как галстук у Брейнтри. Я, кстати, говорил с ним о галстук...

— Брейнтри! — гневно воскликнула Оливия. — Он что, вместе с вами кутил всю ночь?

— Не могу сказать, чтобы он был веселым собутыльником,— виновато ответил Мэррел. — Эти красные революционеры плохо разбираются в красном вине. Да, а может, мне лучше найти для вас вино? Принесу вам дюжину портвейна, дюжины две бургундского, кларету, кьянти, испанских вин — и получим этот самый цвет. Смешивая вина, как смешивают краски, мы...

— Что делал мистер Брейнтри? — не без строгости спросила Оливия.

— Учился,— добродетельно ответил Мэррел. — Проходил дополнительный курс, непредусмотренный вами. Вы говорили, его надо ввести в свет, чтобы он послушал споры о неведомых ему вещах. Того, что мы слышали в «Свинье и Свистке», он и точно не ведал.

— Вы прекрасно знаете, — довольно сердито возразила она, — что я не имела в виду этих ужасных мест. Я хотела, чтобы он поспорил с умными людьми...

— Дорогая Оливия,— мирно сказал Мэррел, — неужели вы не поняли? В таких спорах Брейнтри общелкает кого угодно. Он в десять раз яснее видит то, что видит, чем ваши культурные люди. Читал он столько же, и помнит все, что читал. Кроме того, он способен сразу проверить, верно что-нибудь или нет. Быть может, его критерий ложен, но он применяет его и получает результаты. А мы... неужели вы не чувствуете, как у нас все туманно?

— Да,— сказала она уже не так колко. — Он знает, чего хочет.

— Правда, он не всегда знает, чего хотят другие, — продолжал Мэррел,— но в нас-то он разбирается. Неужели вы действительно ждали, что он стучится перед Уистером? Нет, Оливия, нет, если вам надо, чтобы он стучевался, вы бы лучше пошли с нами в «Свинью и Свисток»...

— Я никого не хотела унижать,— сказала она. — Вам не следовало водить его в такое место.

— А как же я? — жалобно спросил Мэррел. — Как же моя нравственность? Разве меня не стоит воспитывать? Разве мою бессмертную душу не нужно спасать? Почему вам безразлично, не испорчусь ли я в «Свинье и Свистке»?

— Всем известно,— сказала она, — что на вас такие вещи не действуют.

— У них красный галстук,— размечтался Мэррел, — а у нас, демократов, красный нос. От Марсельезы — к балагану! Пойду-ка я поищу в Лондоне истинно алый нос, не розовый, не малиновый, не какой-нибудь лиловый и не вишневый, заметьте, а такой самый, четырнадцатого века...

— Найдите краску,— сказала Оливия, — и красьте нос кому хотите. Лучше всего — Арчеру.

Пришло время познакомить долготерпеливого читателя с пьесой о трубадуре Блонделе, без которой не было бы и романа

о возвращении Дон Кихота. В пьесе этой трубадур покидает даму сердца, почему-то — без объяснений, и она ревнует, полагая, что он отправился в Европу, чтобы служить другим дамам. На самом же деле он из чисто политических соображений собрался служить высокому и бравому мужчине. Мужчину этого, то есть короля Ричарда I, играл достаточно высокий и бравый майор Трилони, дальний родственник мисс Эшли, один из тех людей, встречающихся в высшем свете, которые умеют играть, хотя едва умеют читать и совсем не умеют думать. Он был покладист, но очень занят, и к репетициям относился небрежно. Политические же соображения, побудившие трубадура служить ему, отличались неправдоподобным и даже раздражающим бескорыстием. Чистота их граничила с извращенностью. Мэррел не мог слышать спокойно, как самоубийственно-бескорыстные фразы слетают с уст Арчера. Словом, Блондель, исполненный преданности королю и любви к Англии, страстно желал вернуть Англии короля. Он спал и видел, как король наведет в королевстве порядок и разоблачит козни Иоанна — присяжного, полезного и перетрудившегося злодея исторических повестей.

Главная сцена была неплоха для любительской драмы. Когда Блондель наконец находил замок, где томился его властелин, и неизвестно как собирал в австрийском лесу придворных дам, рыцарей, герольдов и прочих, чтобы они должным образом почтили короля, Ричард выходил под звуки труб, становился в середине сцены и прямо перед своим бродячим двором величественно отрекался от трона. Он сообщал, что отныне будет не королем, но лишь странствующим рыцарем. По странствованию он вроде бы достаточно; однако это не излечило его. Странствия по европейским лесам привели к австрийскому плену, но король считал их лучшей порой своей жизни, обличая коварство других властелинов века и общее положение дел. Оливия Эшли совсем неплохо подражала напыщенному елизаветинскому стишу, которым король и выразил, что он предпочитает змей Филиппу Августу, а вепря — политическим деятелям тех времен, и сердечно взывает к волкам и зимним ветрам, умоляя их его приютить, ибо он не собирается возвращаться к родным и советникам. Шекспировским слогом отказавшись от короны, он отбрасывает меч и направляется к правой кулисе, что, естественно, огорчает Блонделя, пожертвовавшего личным счастьем ради общественного долга и видящего, как этот общественный долг уходит в частную жизнь. Своевременное и не совсем вероятное появление Беренгарики Наваррской в том же самом лесу восстанавливает хотя бы личные дела; если читатель знает законы романтической драмы, ему не надо говорить о том, что примирение Блонделя с дамой очень быстро, но успешно содействует примирению короля с королевой. Австрийский лес наполняется надлежащим настроением, тихой музыкой и вечерним светом, действующие лица собираются группами у рампы, публика спешит за шляпами и зонтиками.

Такой была пьеса «Трубадур Блондель», недурной образец сентиментального и старомодного стиля, популярного до войны; и мы пересказываем ее лишь потому, что она сильно повлияла потом на жизнь. Все были этой пьесой заняты, лишь два участника жизненной драмы занимались не ею, что сказалося на их будущей судьбе. Оливия Эшли без зазрения совести корпела над красками и старыми тресками, Майкл Херн поглощал книгу за книгой по истории, философии, теологии, этике и экономике четырех веков, называемых средними, чтобы должным образом произнести пятнадцать нерифмованных строк, отведенных мисс Эшли второму трубадуру.

Честности ради сообщим, что Арчер грудился не меньше Херна. Как два трубадура, они часто работали, сидя рядом.

— Вот что, — сказал однажды Арчер, бросая рукопись, которую он все зубрил. — Этот Блондель что-то крутит. Разве это любовь? Я бы поддал тут жару...

— Действительно, — отвечал второй трубадур, — в провансальском любовном культе была какая-то отрешенность, которая на первый взгляд может показаться искусственной. Суды любви отличались педантичностью, даже крючкотворством. Иногда не было важно, видел рыцарь даму или нет. Таков случай Рюделя и принцессы Триполитанской. Подчас поклонение означало как бы учтивый поклон жене сюзерена, оно совершалось открыто, и муж ему не противился. Однако мне кажется, в те времена бывала и настоящая любовь.

— В этом трубадуре ее маловато, — сказал разочарованный актер. — Все духовность какая-то, сплошная чушь. Я не верю, что он хотел жениться.

— Вы думаете, он был под влиянием альбигойских учений? — серьезно, даже пылко спросил библиотекарь. — Действительно, гнездо этой ереси находилось на юге, и многие трубадуры увлекались такими философскими движениями.

— Да уж, движения у него философские, — сказал Арчер. — Так за женщиной не ухаживают. Кому понравится, что он все топчется? Тянет и тянет.

— По-видимому, уклонение от брака было очень важным для этой ереси, — сказал Херн. — Я заметил, что в хрониках о крестовом походе Монфора и Доминика про обращенных к православию говорится: «iit in matrimonium»¹. Было бы очень интересно сыграть Блонделя как полувосточного пессимиста, как человека, для которого плоть — бесчестие духа в самых своих прекрасных и законных проявлениях. Правда, в тех строках, которые отведены мне, это выражено недостаточно ясно. Быть может, в вашей роли это яснее.

— Какая уж тут ясность... — отвечал Арчер. — Романтическому актеру совершенно нечего играть.

¹ Вступил в брак (лат.).

— Я не разбираюсь в школах и г р ы , — печально сказал библиотекарь. — Хорошо, что мне дали несколько строк.

Он помолчал, а Джулиан Арчер поглядел на него с рассеянной жалостью и пробормотал, что на спектакле все сойдет хорошо. При всей своей хватке Арчер не замечал тонких изменений социальной атмосферы и все еще видел в библиотекаре не то лакея, не то конюха, которому положено сказать «кушать подано» или «карета у ворот». Поглощенный своими обидами, он и не слышал, что библиотекарь продолжает тихо и задумчиво:

— Но мне все кажется, именно романтическому актеру было бы очень интересно передать эту высокую, хотя и бесплодную романтику. Есть пляска, выражающая гнушение плотью, она угадывается во многих азиатских узорах. Ее и плясали провансальские трубадуры — пляску смерти. Ведь дух презирает плоть двумя путями: умерщвляя ее, как факир, или пресыщая, как султан, только бы ее не чтить. Да, вам будет интересно воплотить на сцене этот горький гедонизм, этот дикий, трубный вопль языческого пира, под которым кроется отчаяние.

— Отчаяния хоть отбавляй, — сказал Арчер. — Трилони не ходит на репетиции, Оливия Эшли возится со своими красочками.

Внезапно он понизил голос, обнаружив, что упомянутая им дама сидит в другом углу библиотеки, спиной к нему, и действительно возится с красками. По-видимому, она его не слышала; во всяком случае, она не обернулась, и Джулиан Арчер продолжал оживленно ворчать.

— Вряд ли вы представляете, чем взять публику, — говорил он. — Конечно, освищать нас не освищут, но успеха не будет, если не подбавить перцу в диалог.

Майкл Херн раздваивался: одной половиной сознания он слушал, другая же, как нередко бывало, устремилась в сад, который сейчас походил на карнавал или на видение. Из глубины аллеи, поросшей сверкающей травой, под тонкими деревьями, мерцавшими на солнце, шла принцесса в дивном голубом платье и причудливом рогатом уборе. Дойдя до лужайки, она воздела руки, то ли потягиваясь, то ли взывая к небесам. Широкие рукава забились на ветру, как крылья райской птицы, о которой недавно говорил Арчер.

Когда голубая фигура передвинулась еще на зеленом поле, даже отрешенный библиотекарь понял, что с ней что-то творится. На лице Розамунды отражались то ли досада, то ли смятение. Но сама она сияла здоровьем и доверчивостью, а голос у нее был такой звонкий и твердый, что даже дурные вести в ее устах казались добрыми.

— Хорошенькое дело! — гневно сказала она, взмахивая распечатанной телеграммой. — Хью Трилони не может играть короля.

В некоторых случаях Джулиан Арчер соображал быстро. Он сам сердился; но сейчас сразу прикинул, что возьмет эту роль и успеет ее выучить. Конечно, придется поработать, но он работы



не боялся. Трудно было другое: кто же сыграет тогда Первого трубадура?

Другие еще не глядели в будущее, и Розамунда еще качалась от удара, нанесенного коварным Трилони.

— Ах, надо все бросить! — сказала она.

— Ну, ну, — сказал стойкий Арчер. — Я бы на вашем месте не бросал. Глупо, честное слово, когда мы столько трудились.

Взгляд его сам собой переметнулся в тот угол, где темная головка и прямая спина мисс Эшли упорно склонялись над заставками. Оливия давно ничем другим не занималась; правда, она подолгу гуляла, никто не знал — где именно.

— Да я не раз вставал в шесть утра! — сказал Арчер в доказательство своих слов.

— Как же нам играть? — горестно вскричала Розамунда. — Кто еще сыграет короля? Сколько мы мучились со Вторым трубадуром, пока не согласился мистер Херн!

— Если короля возьму я, — сказал Арчер, — некому играть Блонделя.

— Ну вот, — резко сказала Розамунда. — Надо все бросать.

Все молча глядели друг на друга, пока одновременно не повернули голову туда, откуда раздался голос. Оливия Эшли встала и заговорила. Они удивились, ибо не думали, что она слушает.

— Да, придется все бросить, — сказала она, — если мистер Херн не согласится сыграть короля. Только он понимает, о чем пьеса, и только ему это важно.

— Господи!.. — беспомощно откликнулся Херн.

— Не знаю, что вам всем кажется, — горько говорила Оливия. — Вы превратили все в оперу... нет, в оперетту. Я сама разбираюсь в этом куда хуже, чем мистер Херн, но я хоть что-то имею в виду. Нет, не думаю, что могу это выразить... старые песни выражают это гораздо лучше... «Когда-то он вернется» или «Вернулся наш король»...

— Это песни яacobитские, — мягко поправил Арчер. — Немного перепутали периоды, а?

— Я не знаю, какой король должен был вернуться, — упрямо сказала Оливия. — Король Артур, король Ричард, король Карл или кто еще. Но мистер Херн понимает, чем был для тех людей король. Я бы хотела, чтобы он стал королем Англии.

Джулиан Арчер закинул голову и захохотал. Хохотал он слишком громко, почти неестественно, как те, кто встречал смехом пророчества.

— Нет, правда! — возразила практичная Розамунда. — Если мистер Херн будет играть короля, кто-то должен играть его теперешнюю роль, из-за которой мы столько намучились.

Оливия Эшли снова отвернулась и занялась красками.

— Ну, это я улажу, — отрывисто сказала она. — Один мой друг возьмется, если вы не против.

Все удивленно воззрились на нее, и Розамунда сказала:
— Может, спросим лучше Мартышку? Он знает столько народу...

— Ты прости,— сказала Оливия, не отрываясь от красок. — Я его послала с поручением. Он согласился купить мне краску.

И впрямь, пока свет, к удивлению Арчера, обсуждал коронацию Херна, общий друг Дуглас Мэррел отправлялся в экспедицию, которая оказала немалое влияние на жизнь его друзей. Оливия попросила узнать, продается ли одна краска; но он по-холостяцки весело любил приключения, особенно же — приготовления к ним. В ночной обход с Джоном Брейнтри он вышел так, словно ночь продлится вечно; а сейчас выходил так, словно поиски приведут его на край света. Собственно, они и привели его туда, где кончался свет или начинался новый. Он взял из банка много денег, набил карманы табаком, фляжками вина и перочинными ножами, как будто бы собрался на Северный полюс. Самые умные люди играют в эти игры, но он играл с особенной серьезностью и вел себя так, словно думал встретить на улицах чудищ и драконов.

Чудище он встретил, едва миновал готические ворота. Когда он выходил из аббатства, в него входил кто-то очень знакомый и совсем незнакомый. Мучительно, как в кошмаре, Мэррел тшился понять, кто же это, пока не понял, что это Джон Брейнтри, сбивший бороду.

Глава 8

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ МАРТЫШКИ

Мэррел остановился, взглядываясь в силуэт, темневший на зеленом фоне; и в воображении его, обычно — неосознанном, закопошились почти зловещие образы. Ни черная кошка, ни белая ворона, ни пегая лошадь не так опасны, как бритый синдикалист. Тем временем Брейнтри, несмотря на их взаимную приязнь, глядел на него строго, если не сердито; он больше не мог выставить вперед бороду, но выставил подбородок, и тот казался таким же воинственным, как она.

Однако Мэррел приветливо сказал: «Идете нас выручать?» Он был тактичен и не стал говорить: «Ага, идете выручать нас!»; но сразу словно в озарении, понял, что случилось. Он понял, куда ходила Оливия Эшли, и почему она стала рассеянной и к чему привел ее социальный эксперимент. Бедного Брейнтри, павшего духом после эксперимента трактирного, взяли врасплох. Пока он чувствовал, что ворвался в замок во главе мятежников, ему было нетрудно бросать вызов ей, как и прочим аристократам. Когда же Мэррел заронил в нем сомнения в том, демократ ли он сам,

Брейнтри превратился в одинокого, ранимого, копающегося в себе человека, которого нетрудно пленить приветливостью и деликатным сочувствием. Мэррел понял все, кроме разве конца; но ничем этого не выдал.

— Да,— неловко ответил Брейнтри. — Мисс Эшли попросила меня помочь. Почему вы сами не помогли ей?

— Какой из меня помощник! — откликнулся Мэррел. — Я им сразу сказал, декорации писать буду, но ниже не опускаюсь. К тому же мисс Эшли дала мне другое поручение.

— В самом деле,— сказал Брейнтри, — вид у вас такой, будто вы идете попытать счастья на золотых россыпях.

— Да,— сказал Мэррел. — Вооружен я до зубов. А иду я на подвиг... пли в бой. Собственно, я иду в магазин.

— А . . . — сказал удивленный Брейнтри.

— Прощайтесь за меня с друзьями, — не без волнения продолжал Мэррел. — Если я паду в первой битве, у кассы, передайте им, что я неотступно думал об Арчере. Положите камешек там, где я упал, и вспоминайте меня, когда запоят весенние птички. Прощайте и будьте счастливы.

И, взмахнув палкой в знак благословения, он зашагал по дороге, оставив темный силуэт в несколько растерянном виде.

Весенние птички, которых он так трогательно вспомнил, действительно пели на тонких деревьях, чьи легкие зеленые листья казались взборошенными перьями. Было то недолгое время года, когда мир обретает крылья. Деревья поднимались на цыпочки, словно собирались взлететь к бело-розовому облаку, плывшему перед ним геральдическим херувимом. Детские воспоминания пробудились в нем, и он представлял себя принцем, а свою неуклюжую палку — мечом. Потом он вспомнил, что путь его лежит не в леса и долины, а в лабиринт обыденных, людных улиц; и его простое, приятное, умное лицо исказила насмешливая улыбка.

Сперва он направился в город, где проводил свой опыт с Брейнтри. Сейчас его не влек ночной мир; и строгий его дух был достоин холодного утреннего света. «Дело есть д е л о , — сказал он сурово. — Теперь, когда я человек деловой, надо смотреть на вещи трезво. Насколько я знаю, все деловые люди произносят перед завтраком: «Дело есть дело». Что тут еще скажешь! Хотя, собственно, это простой повтор...»

Начал он с длинного ряда вавилонских зданий, называвшихся «Универсальным магазином», о чем сообщали золотые буквы величиной с окна. Шел он туда намеренно, хотя сделать что-либо иное было бы нелегко, ибо здания эти занимали всю сторону улицы и половину другой ее стороны. Толпы пытались выйти оттуда, толпы пытались войти, а самая густая толпа стояла тихо и глядела на витрины, не помышляя о покупках.

Внутри, через равные промежутки времени, Мэррел натывался на упитанных мужчин, отсылавших его дальше мягким маном-

вением руки, и ему все сильнее хотелось ударить один из любезных межевых столбов своей тяжелой палкой; однако он чувствовал, что это оборвет его подвиг в самом начале. Сдерживая бешенство, он сообщал название нужного отдела, вежливый мужчина название повторял, взмахивал рукой, и Мэррел шел дальше, скрежеща зубами. По-видимому, все здесь думали, что где-то в золоченых чертогах и переходах кроется посвященный художникам отдел; но никто не знал, где он и как туда добраться при нынешнем состоянии цивилизации. Время от времени возникал колоссальный колодец лифта, и становилось просторнее, ибо одни взмывали вверх, другие исчезали в чреве земли. Мэррелу, как Энню, пришлось спуститься в подземный мир. Здесь началось такое же нескончаемое странствие, несколько скрашиваемое приятным сознанием, что ты глубоко под улицей, как бы в огромном угльном погребу.

«Однако это удобно, — весело думал Мэррел. — Чем бегать по улице, иди себе и иди из магазина в магазин».

Человек, прозванный Мартышкой, был вооружен не только дубинкой или ножом. В сущности, все это было ему не так уж чуждо — он ходил и раньше по таким же коридорам, отыскивая для кого-нибудь ленты или галстуки нужного цвета. Оливия не первой послала его в поход; он был из тех, кому дают небольшие и важные поручения. Именно его просили присмотреть за чужой собакой, именно у него стояли чемоданы, которые Билл и Чарли должны были забрать по пути из Месопотамии в Нью-Йорк; именно ему доверяли багаж и, должно быть, доверили бы ребенка. При этом он не терял достоинства, которое было в нем очень глубоким и прочным; более того — он не терял свободы. Вид у него бывал такой, словно все это ему нравится, и те, кто потоньше, подозревали, что так оно и есть. Он умел обратить поручения в смешные приключения и сейчас серьезно извлек из бумажника кусок старой бумаги, твердой и потемневшей, как пергамент, на которой тонкой, но четкой линией был очерчен контур птичьего крыла. Быть может, это был эскиз крыла ангельского, ибо несколько перьев пламенели удивительным алым цветом, который не угас на поблекшем рисунке и запыленной бумаге.

Надо было знать, что значил этот клочок для Оливии, чтобы понять, какое важное дело она доверила Мэррелу. Рисунок был сделан давно, в ее детстве, а рисовал ее отец, человек замечательный во многих отношениях, но главным образом — как отец. Благодаря ему она с самого начала мыслила в красках. Все, что для многих зовется культурой и приходит исподволь, она получила сразу. Готические очертания и сияющие краски пришли к ней первыми, и по ним она судила падший мир. Именно это она пыталась выразить, восставая против прогресса и перемен. Самые близкие ее друзья удивились бы, узнав о том, что у нее захватывает дух при мысли о волнистых серебряных линиях или

сине-зеленых зубцах узора, как у других захватывает дух при воспоминании о былой любви.

Вместе с этим обрывком бумаги Мэррел вынул другой, поновее, на котором было написано: «Краски Хэндри для книжных миниатюр. 15 лет назад продавал на Хеймаркет. Не «Хэнри и Уотсон»! Эти были в стеклянных баночках. Дж. А. думает, теперь он скорей в провинции, чем в Лондоне».

Воодушевившись этими сведениями, Мэррел, зажатый между незлобивым мужчиной и очень злобной дамой, поплыл по течению к прилавку. Мужчина соображал медленно, дама быстро, а молодая продавщица разрывалась между ними. Она бросала на даму дикие взгляды, паковала что-то для мужчины и раздраженно отвечала кому-то еще, скрывавшемуся за ее спиной.

«Никогда ничего не бывает в о время, — покорно размышлял Мэррел. — Ну можно ли сейчас рассказывать о раннем детстве Оливии, о том, как она мечтала у огня об огненном херувиме, или хотя бы о том, как сильно влиял на нее отец? Однако я не знаю, чем другим объяснить им наше рвение. А все моя широта взглядов, каждого я понимаю!.. Когда я говорю с Оливией, я вижу, что для нее верная и неверная краска так же реальны, как правда и ложь, тусклый оттенок красного — как тень на добром имени или намеренный обман. Когда я смотрю на эту девицу, я понимаю, что она вправе благодарить небо, если не продала шести мольбертов вместо шести альбомов, и не всучила тушь тому, кто спрашивал скипидар».

Мэррел решил свести объяснения к минимуму и дополнить их позже, если он останется живым. Твердо сжимая свои бумажки, он посмотрел на продавщицу взором укротителя и сказал:

— Есть у вас краски Хэндри для книжных миниатюр?

Девица несколько секунд глядела на него так, словно он обратился к ней по-русски. Она даже забыла на время механическую, безжалостную вежливость, которая сопровождает обычно наши быстрые торговые операции. Она не переспросила и не извинилась, она просто вымолвила: «А?..» тем резким, режущим, жалобным и сварливым тоном, к которому и сводится мещанский говор.

Труден путь современного романиста; хуже того — он легок или, вернее, мягок. Ты словно идешь по песку, когда хочешь прыгать с утеса на утес. Ты хотел бы обрести крылья голубки, улететь и успокоить душу мирным убийством, кораблекрушением, мятежом, пожаром, но нет, тащись по пыльной дороге через чистилище мелочей, пока не выйдешь в небеса беззаконий. Реализм скучен; именно это имеют в виду, говоря, что только он способен правильно изобразить нашу бурную и высокую цивилизацию. Так, например, лишь долгий перечень однообразных деталей может показать читателю, какой была беседа между Дугласом Мэррелом и девицей, продававшей или верней не продававшей краски. Для начала мы должны были бы напечатать десять раз подряд один и тот же вопрос, превращая страницу в узорные обои. Еще труднее, пользуясь выборочным методом романтиков,

показать, как менялось обалделое лицо продавщицы и какие она отпускала замечания. Разве изобразит наш краткий очерк лик и повадки Большого Бизнеса? Разве передаст, как его служительница кивнула и вынула коробку акварели, а потом покачала головой и сказала, что красок для книжных иллюстраций у них нет и вообще не бывает? Как она пыталась всучить покупателю пастель, уверяя, что это то же самое. Как она отрешенно промолвила, что сейчас хорошо идут красные и зеленые чернила. Как она спросила, не для детей ли покупает он краски, безуспешно пытаясь сбыть его в детский отдел. Как впала она в горький агностицизм, от чего у нее открылся насморк, и отвечала на все «Де здаю».

Все это заняло бы столько же места, сколько заняло времени, пока читатель понял бы, почему покупатель больше не мог выдержать. Протест против бессмысленности накапливался в нем, и праведный гнев перекипал в насмешку. Наконец он почти нагло оперся на прилавок и сказал:

— Где Хэндри? Куда вы дели Хэндри? К чему утайки, к чему зловещее молчание? Не обольщайте меня пастелью, не загораживайтесь мелками! Что с Хэндри, куда вы дели его?

Он едва не прибавил свистящим шепотом: «Или то, что от него осталось», когда ему стало стыдно, и добрые чувства вернулись к нему. Его охватила жалость к жалобному, испуганному автомату, он остановился на полуслове, замялся и попробовал подойти иначе. Быстро порывшись в кармане, он вынул конверты и карточки, на которых стояло его имя, и вежливо, если не смиренно, спросил, нельзя ли повидать заведующего отделом. После чего вручил карточку продавщице и сразу об этом пожалел.

У многострадального Мэррела была слабая сторона, напад на которую каждый мог вывести его из равновесия; вероятно, только такой напасти он и боялся. Ему противно было пользоваться привилегиями своего положения. Нельзя сказать, что он вообще его не ощущал, скорее уж он слишком сильно ощущал его. Но он глубоко и твердо знал, что оправдать это положение можно только его не замечая. Кроме того, он стыдился и даже терзался: с одной стороны, ему нравилось, что он по случайности рожден в узком кругу избранников, с другой — как все мужчины, по-настоящему хотел равенства. Словом, смирить его могло именно такое напоминание, и он сразу пожалел, что на карточке есть и титул его отца и название клуба. Хуже того, они оказали свое действие. Девушка направилась к загадочному существу, которому посылала раньше сварливые фразы, существо тоже изучило карточку — вероятно, глаз его был зорче простых смертных, — и после суеты, подвластной лишь перу реалиста, Дугласа Мэррела ввели в кабинет какой-то важной особы.

— Удивительно у вас учреждение! — весело сказал Мэррел. — А все организация, организация. Если захотите, вы можете сравняться с мировыми фирмами.

Заведующий при всем своем уме легко поддавался лести и прежде, чем разговор свернет в сторону, объяснил, что они и так известны во всем мире.

— Этот Хэндри,— сказал Мэррел, — был человек замечательный. Я его не знал, но моя приятельница, мисс Эшли, говорила мне, что он дружил с ее отцом и с многими художниками из круга Уильяма Морриса. Он изучал краску и с научной, и с художественной стороны. Кажется, прежде он был ученым, химиком, а потом увлекся изготовлением именно тех красок, которыми писали в средние века. У него была маленькая лавочка, там вечно толклись его друзья-художники. Он знал почти всех знаменитых людей, со многими из них дружил. Сами понимаете, такой лавочник вряд ли исчезнет без следа. Как по-вашему, можно разыскать его или его товар?

— М-да,— медленно сказал заведующий. — Наверное, он где-нибудь служит, у нас или в другой фирме.

— А . . . — вымолвил Мэррел и задумчиво замолчал.

Потом он произнес:

— Иногда думаешь, куда пропал какой-нибудь мелкий помещик. А он, глядишь, служит лакеем у герцога...

— Ну это не совсем т о . . . — смущенно сказал заведующий, не зная, надо ему смеяться или нет. Потом он пошел в соседнюю комнату, чтоб справиться в адрес-календарях, предоставляя посетителю думать, что он ищет Хэндри на букву «Х», тогда как он искал Мэррела на букву «М». Результаты исследований расположили его в пользу посетителя. Он снова нырнул в справочники, стал звонить в другие отделы и, потрудившись безвозмездно, попал на след. Надо отдать ему справедливость, пошел он по следу с энергией и отвагой книжного сыщика. Прошло немало времени, прежде чем он вернулся к Мэррелу, победоносно потирая руки и широко улыбаясь.

— Вы не зря хвалили нас, мистер Мэррел, — весело сказал он. — Организация — великая вещь.

— Надеюсь, я не внес дезорганизацию,— сказал Мэррел. — Просьба моя не из обычных. Мало кто спрашивает вас о друге умерших прерафаэлитов. Спасибо вам за хлопоты.

— Поверьте,— сказал любезный заведующий, — поверьте, нам только приятно, что наша система произвела на вас хорошее впечатление. Итак, я могу дать вам справку об этом Хэндри. Здесь служил такой человек. Работал он неплохо и много знал. Однако все это кончилось печально. Вероятно, он был немного не в себе... жаловался на головную боль и тому подобное. Во всяком случае, он пробил заведующим картину, стоявшую на мольберте. Насколько мне известно, ни в тюрьму, ни в больницу его, как ни странно, не посадили. Мы ведь зорко следим за жизнью наших служащих, проверяем, как у них что с полицией, и я думаю, он просто сбежал. Конечно, к нам его не возьмут, таким людям помогать бесполезно.

— Вы не знаете, где он живет? — мрачно спросил Мэррел.

— Нет. Кажется, отчасти в этом и было дело, — отвечал заведующий. — Почти все наши служащие тогда здесь и жили. Говорят, он ходил в «Пегую Собаку», а это само по себе плохо — мы предпочитаем, чтобы наши люди столовались в приличных местах. Вероятно, пьянство его и погубило. Такие не выпраются.

— Интересно, — сказал Мэррел, — что стало с его красками...

— О, с того времени техника ушла вперед! — сказал его собеседник. — Я был бы рад вам услужить, мистер Мэррел. Надеюсь, вы не подумаете, что я навязываю свой товар, но вряд ли вы найдете что-нибудь лучшее, чем наш «Королевский Иллюстратор». Он практически вытеснил другие наборы. Вы, конечно, и сами повсюду его видели. Он и полнее, и удобнее, и лучше всех прежних.

Он подошел к полке и почти беспечно вручил Мэррелу какие-то пестрые листки. Мэррел на них взглянул, и брови его кротко, но быстро поднялись, ибо он увидел имя толстого дельца, с которым беседовал Брейнтри, большую фотографию Элмера Уистера и его подпись, удостоверяющую, что лишь эти краски способны утолить жажду красоты.

— Как же, я с ним знаком, — сказал Мэррел. — Он вечно говорит о великих викторианцах. Интересно, знает ли он, что случается с их друзьями?

— Сейчас справлюсь, — откликнулся заведующий.

— Спасибо, — мечтательно проговорил Мэррел. — Лучше я куплю мелки, которые мне предлагала эта милая барышня.

И, вернувшись к ней, он важно и вежливо купил мелки.

— Что я еще могу для вас сделать? — с беспокойством спросил заведующий.

— Ничего, — с необычайной для себя мрачностью ответил Мэррел. — Вы действительно ничего не можете сделать. А, черт!.. Наверное, вообще ничего сделать нельзя.

— Простите? — заволновался заведующий.

— Голова у меня разболелась, — объяснил Мэррел. — Наследственное, должно быть. Я не хотел бы повторить ту ужасную сцену... кругом картины... нет, спасибо. До свиданья.

И он, далеко не в первый раз, направился к «Пегой Собаке». В этом старом заведении ему неожиданно повезло. Он умело подвел беседу к разбитым стаканам, ощущая, что такой человек, как Хэндри, что-нибудь да разбил. Встретили Мэррела хорошо. Его простота и приветливость быстро создали именно ту атмосферу, в которой расцветают воспоминания. Девица за стойкой помнила джентльмена, который часто бил стаканы; хозяин помнил его еще лучше, ибо ему приходилось требовать за это деньги. Вдвоем они набросали удачный портрет бедно одетого человека с лохматыми волосами и длинными, подвижными пальцами.

— Вы не помните, — небрежно спросил Мэррел, — куда переехал мистер Хэндри?

— Он себя звал доктором Хэндри, — медленно сказал хозяин. — Не знаю почему... Наверное, была в его красках какая-то химия. Только он очень гордился, что он настоящий доктор, как в больнице. Да, не хотел бы я у него лечиться... Отравил бы красками.

— Конечно, по случайности? — мягко спросил Мэррел.

— Ну да, — все так же медленно признал хозяин и прибавил позвонче: — А не все равно, случайно вас отравят или нет?

— Все равно, — кивнул Мэррел. — Интересно, куда он дел свои краски.

Тут девица вдруг стала общительной и сказала, что мистер Хэндри ясно называл один городок у моря. Она даже помнила улицу; и с этими сведениями путешественник почувствовал, что ему пора. Он дал беседе скатиться к болтовне и отправился в путь.

Однако прежде он зашел в банк, и к одному другу, и к своему адвокату. От каждого из них он выходил на одну ступень мрачнее.

День спустя он стоял на улице приморского городка, круто спускавшегося к морю. Ряды серых крыш походили на круги водоворота, словно море всасывало в себя сумрачный город, стремящийся к самоубийству. Так чувствует сломленный человек, что его смывает волна мира.

Мэррел дошел до самого крутого спуска, кидавшегося вниз в тихий водоворот улиц. Быть может, лучше назвать это тихим землетрясением. Ряды крыш поднимались, как гребни волн на уступах земли, так что трубы одной улицы шли вровень с решетками и тротуаром другой, и казалось, что город уходит в воронку. Вокруг вздымались и опадали зеленые холмы, но они не вызывали того тошнотворного чувства, как нагромождение ровных, будничных улиц. Если бы улицы эти были красивей, они были бы пошлее. Если бы домики были разные и цветные, они походили бы на кукольный театр. Но холодные, серые жилища стояли на уступах, чья мрачность мешала им стать величественными. Крыши были и блестящими и тусклыми, словно в таком respectable месте всегда шел дождь. От сочетания одноцветной скуки с причудливостью рельефа Мэррел чувствовал себя как в дурном сне. Ему казалось, что приморский город болен морской болезнью; и у него кружилась голова.

Глава 9

ТАЙНА СТАРОГО КЕБА

За водоворотом крыш лежало море. Город словно бы корчился в предсмертной муке и море пришло как раз вовремя, чтобы его спасти. Охваченный мрачными фантазиями, Мэррел взглянул вверх и увидел название улицы — то самое, которое было ключом к его поискам.

Тогда он взглянул вниз, на резкий изгиб угрюмой улицы, но увидел лишь три признака жизни. Один стоял совсем рядом и был молочным кувшином, выставленным за дверь, вероятно, век тому назад. Другой был бродячим котом, не столько печальным, сколько ко всему безразличным, словно пес или странник, бредущий сквозь город мертвых. Третий, самый интересный, был кебом, и отличала его все та же почти зловещая старомодность. В провинции кебы еще не стали музейной редкостью; но этот вполне мог стоять в музее бок о бок со старинным паланкином, и даже походил на паланкин. Такие кебы еще встречаются в глуши — из темного полированного дерева, выложенные изнутри узором деревянных дощечек. Кузов был срезан под необычным углом, а створчатые дверцы с обеих сторон создавали такое ощущение, словно ты заперт в старинном комоде. И все же это был именно кеб, неповторимый экипаж, в котором зоркий и чужой взгляд Дизраэли увидел гондолу Лондона. Все мы теперь знаем, что слово «усовершенствовали» означает «лишили неповторимых черт». У каждого есть автомобиль, но никто и не подумал приделать мотор к кебу; а с неповторимой его формой исчезло особенное очарование (вероятно, и вдохновившее Дизраэли): в кебе хватало места лишь двоим. Хуже того, исчезла особенность поистине дивная и английская: кучер вознесен почти в небеса. Что бы ни говорили о капитализме в Англии, оставался хотя бы один немыслимый экипаж, где бедняк сидел выше богача, как бы на троне. Где еще приходится нанимателю открывать в отчаянии окошко, словно он заперт в камере, и взывать, будто к неведомому богу, к невидимому пролетарию? Где еще отыщем мы такую точную притчу о нашей зависимости от низших классов? Никто не посмеет назвать низшим обитателя олимпийских высот. Всякому ясно, что он — властелин нашей судьбы, ведущий нас свыше. В спине человека, сидящего на насесте козел, всегда есть что-то особенное; было оно и в спине этого кучера. Мэррел видел широкие плечи и кончики усов, вторившие провинциальной старомодности всей сцены.

Когда Мэррел подошел поближе, кучер, словно утомившись ожиданием, осторожно слез с насеста и остановился, глядя куда-то вниз. К той поре Мэррел развил до предела сыщицкий нюх в общении с великой демократией и сразу начал оживленную беседу, наиболее подходящую к случаю. Три ее четверти не имели ни малейшего отношения к тому, о чем Мэррел хотел узнать. Он давно открыл, что именно это — кратчайший путь к цели.

Мало-помалу он стал узнавать интересные для него вещи. Выяснилось, что кеб был музейной редкостью еще в одном смысле: он принадлежал вознице. Мэррел вспомнил первый разговор Оливии и Брейнтри о том, что шахта должна принадлежать шахтеру, как краски художнику, и подумал, не потому ли кеб сразу обрадовал его, что в нем заключена какая-то правда. Однако выяснилось не только это. Мэррел узнал, что вознице

очень надоел его нынешний ездук, но он этого седока и боится. Надоело ему торчать подолгу то перед одним, то перед другим домом, а боится он потому, что возит человека, который вправе заходить в чужие дома, словно он из полиции. Двигались они очень медленно, а сам седок был торопливым или, как сказали бы теперь, деловым. Можно было угадать, что он кликнул, а не позвал этот кеб. Он очень спешил, но у него хватало времени на то, чтобы застревать в каждом доме. Из всего этого можно было вывести, что он или американец, или начальство.

В конце концов выяснилось, что он врач, облеченный официальными полномочиями. Возница, конечно, не знал его имени, но не его имя было важно, а другое, которое возница как раз знал. Следующая остановка ползучего кеба была назначена чуть ниже, у дома, где жил один чужак, некий Хэндри, которого возница нередко встречал в кабачке.

Добившись окольным путем того, к чему он стремился, Мэррел бросился вниз по улице, как спущенная с поводка собака. Добежав до нужного дома, он постучал, подождал и очень нескоро услышал, что дверь медленно отпирают.

Наконец дверь чуть приоткрылась, и Мэррел прежде всего увидел неснятую цепочку. За нею, во мраке высокого и темного дома, слабо виднелось человеческое лицо. Оно было худое и бледное, но что-то подсказало Мартышке, что это женщина, даже девушка. Когда же он услышал голос, он понял и другое.

Правда, голос он услышал не сразу. Сперва, увидев вполне приличную шляпу, девушка попыталась захлопнуть дверь. Она достаточно имела дела с приличными людьми и могла им ответить только так. Но Мэррел, как опытный фехтовальщик, заметивший слабое место, вонзил в щелку клинок слова.

Наверное, только эти слова могли спасти положение. Девушка, на свою беду, знала людей, сующих в щель ногу. Умела она и захлопнуть дверь так, чтобы ногу им прищемить или хотя бы спугнуть их. Но Мэррел вспомнил беседу в кабачке и сказал то самое, что никогда не слышали на этой улице, а сама девушка слышала очень давно:

— Дома ли доктор Хэндри?

Не хлебом единым жив человек, но вежливостью и уважением. Даже голодные живут вниманием к себе и умирают, его утратив. Хэндри очень гордился своим титулом, соседи в него не верили, а дочь была достаточно взрослой, чтобы его помнить. Волосы падали ей на глаза перьями погребальной колесницы, передник на ней был засаленный и рваный, как у всех в этом квартале, но когда она заговорила, Мэррел сразу понял, что она помнит и что воспоминания ее связаны с твердостью традиций и жизнью духа.

Так Дуглас Мэррел оказался в крохотной передней, где стояла только уродливая подставка без единого зонтика. Потом его повели по крутой и тесной лестнице почти в полной тьме, и он

внезапно очутился в душной комнате, обставленной вещами, которые уже нельзя продать и даже заложить. Там и сидел человек, которого он искал, как Стенли искал Ливингстона.

Голова доктора Хэндри походила на серый одуванчик; так и казалось, что она вот-вот облетит, и грязноватый пух поплывет по ветру. Сам же ученый был опрятней, чем можно было ожидать, наверное — потому, что аккуратно и тщательно застегивался до самого ворота; говорят, это принято у голодных. Он долгие годы жил в нищете, но все еще сидел почти на краешке стула, то ли по брезгливости, то ли из скромности. Забыться и накричать он мог, но, когда себя помнил, бывал безукоризненно вежлив. Заметив Мэррела, он сразу вскочил, словно марионетка, которую дернули за веревочку.

Если его тронуло обращение, его вконец опьянила беседа. Как все старики и почти все неудачники, он жил прошлым; и вдруг это прошлое ожило. В темной комнате, где он был заперт и забыт, словно в склепе, он услышал человеческий голос, спрашивающий краски для книжных миниатюр.

Пощатываясь на тонких ногах, он молча подошел к полке, где стояли самые несовместимые друг с другом предметы, взял старую жестянку, понес ее к столу и стал открывать дрожащими пальцами. В ней стояли две или три широкие и низенькие склянки, покрытые пылью. Увидев их, он снова обрел дар речи.

— Разводить их надо вот этой жидкостью, — говорил о н . — Многие пытаются развести их маслом или водой... — хотя уже лет двадцать никто не пытался разводить их чем бы то ни было.

— Я скажу моей приятельнице, чтобы она была осторожна, — с улыбкой сказал Мэррел . — Она хочет работать по-старому.

— Вот именно!.. — воскликнул старик, вскидывая голову . — Я всегда готов дать совет... да, любой полезный совет . — Он откашлялся, и голос его стал на удивление звучным . — Прежде всего надо помнить, что краски этого рода по своей природе непрозрачны. Многие путают сверканье с прозрачностью. Видимо, им припоминаются витражи. Конечно, и то, и другое — типично средневековое искусство, Моррис любил их одинаково. Но, помнится, он приходил в ярость, когда забывали, что стекло прозрачно. «Того, кто сделает на стекле непрозрачный рисунок, — говорил о н , — надо посадить на это стекло».

Тут Мэррел снова задал вопрос:

— Вероятно, доктор Хэндри, ваши познания в химии помогли вам сделать эти краски?

Старик задумчиво покачал головой.

— Одна химия не помогла бы, — сказал о н . — Тут и оптика, и психология . — Он уткнулся бородой в стол и громко прошептал: — Больше того, тут патология.

— Вон что!.. — откликнулся гость, ожидая, что будет дальше.

— Знаете ли вы, — спросил Хэндри, — почему я потерял покупателей? Знаете ли вы, почему я до этого дошел?

— Насколько я могу судить, — сказал Мэррел, сам удивляясь своему пылу и своей уверенности, — вас подло обошли люди, которым хотелось сбыть собственный товар.

Ученый ласково улыбнулся и покачал головой.

— Это научный вопрос, — сказал он. — Нелегко объяснить его профану. Ваша приятельница, если я вас правильно понял, дочь моего друга Эшли. Таких родов осталось мало. По-видимому, их не коснулось вырождение.

Пока ученый с назидательной и даже высокомерной снисходительностью произносил эти загадочные фразы, посетитель смотрел не на него, но на девушку, стоявшую за ним. Лицо ее было много интересней, чем ему показалось в темноте. Черные локоны она откинула со лба. Профиль у нее был орлиный и такой тонкий, что поневоле вспоминалась птица. Все в ней дышало тревогой, а глаза смотрели настороженно, особенно — в эту минуту. Несомненно, девушке не нравилась тема разговора.

— Есть два психологических закона, — объяснял тем временем ее отец, — которые я никак не мог растолковать своим коллегам. Первый гласит, что болезнь иногда поражает почти всех, даже целое поколение, как поражала чума целую округу. Второй учит нас, что болезни пяти чувств родственны так называемым душевным болезням. Почему же слепоте к краскам быть исключением?

— Вот что! . . . — опять воскликнул Мэррел, внезапно выпрямляясь на стуле. — Вот оно что. Так.. Слепота к краскам.. По вашему мнению, почти все ослепли.

— Лишь те, — мягко уточнил ученый, — на кого воздействовали особые условия нынешнего исторического периода. Что же до длительности эпидемии и ее предполагаемой цикличности, это другой вопрос. Если вы взглянете на мои заметки..

— Значит, — перебил Мэррел, — этот магазин на целую улицу построили в припадке слепоты? И бедный Уистер поместил портрет на тысячах листов, чтобы все знали, что он ослеп?

— Совершенно очевидно, что наука в силах установить причину этих явлений, — отвечал Хэндри. — Мне кажется, пальма первенства принадлежит моей гипотезе..

— Скорее она принадлежит магазину, — сказал Мэррел. — Вряд ли барышня с мелкими знает о научной причине своих поступков.

— Помню, мой друг Поттер говорил, — заметил ученый, глядя в потолок, — что научная причина всегда проста. Скажем, в данном случае всякий заметит, что люди сошли с ума. Только сумасшедший может решить, что их краски лучше моих. В определенном смысле так оно и есть, с ума люди сошли. Задача ученого — определить причину их безумия. Согласно моей теории безошибочный симптом слепоты к краскам..

— Простите,— сказала девушка и вежливо, и резко. — Отцу нельзя много говорить. Он устает.

— Конечно, конечно... — сказал Мэррел и растерянно встал. Он двинулся было к дверям, когда его остановило поразительное преобразование девушки. Она все еще стояла за стулом своего отца. Но глаза ее, и темные, и сверкающие, обратились к окну, а каждая линия худого тела выпрямилась, как стальной прут. За окном, в полной тишине, слышался какой-то звук, словно громоздкий экипаж подъезжал к дому.

Растерянный Мэррел открыл дверь и вышел на темную лестницу. Обернувшись, он с удивлением заметил, что девушка идет за ним.

— Вы знаете, что это значит? — сказала она. — Этот скот опять приехал за отцом.

Мэррел стал догадываться, в чем дело. Он знал, что новые законы, применяемые лишь на бедных улицах, дали врачам и другим должностным лицам большую власть над всеми, кто не угоден владельцам больших магазинов. Автор теории о повальной слепоте вполне мог подпасть под эти правила. Даже собственная дочь сомневалась в его разуме, судя по ее неудачным попыткам отвлечь его от любимой темы. Словом, все обращались с чудачком как с безумцем. Он не был ни чудачковатым миллионером, ни чудачковатым помещиком, выбыл из числа чудачковатых джентльменов, и причисление его к сумасшедшим не представляло трудности. Мэррел почувствовал то, чего не чувствовал с детства — полное бешенство. Он открыл было рот, но девушка уже говорила стальным голосом:

— Так всегда. Сперва толкают в яму, а потом обвиняют за то, что ты там лежишь. Это все равно что колотить ребенка, пока он не превратится в идиота, а потом ругать его дураком.

— Ваш отец, — сказал Мэррел, — совсем не глуп.

— Конечно, — отвечала она. — Он слишком умен, и это доказывает, что он безумен. Они всегда найдут, куда ударить.

— Кто это они? — спросил Мэррел тихо, но с неожиданной для него грозностью.

Ответил ему глубокий, гортанный голос из черного колодца лестницы. Шаткие ступеньки закрипели и даже затряслись под тяжестью человека, а освещенное пространство заполнили широкие плечи в просторном пальто. Лицо над ними напомнило Мэррелу то ли моржа, то ли кита; казалось, чудище выплывает из глубин, выставляя на свет круглую как луна морду. Взглянув на пришельца получше, Мэррел понял, что просто волосы у него почти бесцветны и очень коротко подстрижены, усы торчат как клыки, а круглое пенсне отражает падающий свет.

То был доктор Гэмбрел, прекрасно говоривший по-английски, но все же ругавшийся, спотыкаясь, на каком-то другом языке. Мэррел послушал секунду-другую и скользнул в комнату.

— Почему у вас света нет? — грубо спросил доктор.

— Наверное, я сумасшедшая? — спросила мисс Хэндри. — Пожалуйста; я согласна стать такой, как отец.

— Ну, ну, все это очень грустно, — сказал доктор с каким-то тупым сочувствием. — Но проволочками дела не выправишь. Лучше пустите меня к отцу.

— Хорошо, — сказала она. — Все равно придется.

Она резко повернулась и распахнула дверь в комнату, где находился Хэндри. Там не было ничего необычного, кроме разве беспорядка; врач тут бывал, а девушка почти не выходила оттуда лет пять. Однако даже врач почему-то озирался растерянно; а девушка изумленно осматривалась.

Дверь была одна; Хэндри сидел на том же месте; но Дуглас Мэррел исчез.

Прежде чем врач это понял, бедный химик вскочил со стула и пустился не то в оправдания, не то в гневные объяснения.

— Поймите вы, — сказал он, — я категорически протестую против вашего диагноза. Если бы я мог изложить факты ученому миру, я бы легко опроверг ваши доводы. По моей теории общество наше, благодаря особому оптическому расстройству...

Доктор Гэмбрел обладал той властью, которая больше всех властей на свете. Он мог ворваться в чужой дом, и разбить семью, и сделать с человеком что угодно; однако и он не мог остановить его речь. Лекция о слепоте к краскам заняла немало времени. Собственно, она длилась, пока врач тащил химика к двери, вел по лестнице и выволакивал на улицу. Тем временем совершались дела, неведомые его вынужденным слушателям.

Возница, сидевший на верхушке кеба, был терпелив, и не мог иначе. Он довольно долго ждал у дома, когда случилось самое занимательное событие в его жизни.

Сверху, прямо на кеб, упал джентльмен, но не скатился на землю, а ловко выпрямился и оказался, к удивлению возницы, его недавним собеседником. Посмотрев на него, а потом на окно, возница пришел к выводу, что свалился он не с неба. Таким образом, явление это было не чудом, а происшествием. Те, кто видел полет Мэррела, могли догадаться, за что его прозвали Мартышкой.

Еще больше возница удивился, когда Мэррел улыбнулся ему и сказал, словно они не прерывали беседы:

— Так вот...

Теперь, после всего, что было с той поры, не нужно вспоминать, что он говорил, но очень важно, что он сказал. После первых учтивых фраз он твердо уселся верхом на крыше кеба, вынул бумажник, отважно склонился к вознице и доверительно произнес:

— Значит, я куплю у вас кеб.

Мэррел кое-что знал о новых законах, определивших течение последнего акта трагедии о красках. Он вспомнил, что даже

спорил об этом с Джулианом Арчером, прекрасно в них разбиравшимся. Джулиан Арчер обладал качеством, незаменимым для общественного деятеля: он искренне возгорался интересом к тому, о чем пишут в газетах. Если албанский король (чья частная жизнь, увы, несовершенна) не ладил с шестой германской принцессой, вышедшей замуж за его родственника, Джулиан Арчер сразу же обращался в рыцаря и готов был ехать через всю Европу, чтобы ее защитить, нисколько не заботясь о пяти принцессах, не привлечших внимания публики. Мы не поймем ни его, ни всего этого типа людей, если сочтем такой пыл фальшивым или наигранным. В каждом случае красивое лицо над столом горело истинным возмущением. А Мэррел сидел напротив и думал, что никто не станет общественным деятелем, если не способен горячиться одновременно с прессой. Думал он и о том, что сам он — человек безнадежно-частный. Он всегда ощущал себя частным человеком, хотя родные его и друзья занимали важные посты; но особенно, почти до боли сильно он это чувствовал, когда оставался мокрой льдинкой в пылающей печи.

— Как вы можете спорить? — кричал Арчер. — Мы просто хотим, чтобы с сумасшедшими лучше обращались!

— Да, да, — невесело отвечал Мэррел. — Лучше-то лучше, но, знаете, многие вообще не стремятся в сумасшедший дом.

Вспомнил он и то, что Арчер и пресса особенно радовались частному характеру процедуры. Медик-чиновник решал все дело по-домашнему.

— Это завоевание цивилизации, — говорил Арчер. — Как с публичной казнью. Раньше человека вешали на площади. А теперь все тихо, прилично...

— Все ж неприятно, — ворчал Мэррел, — когда твои близкие исчезнут неизвестно куда.

Мэррел знал, что Хэндри везут к такому самому чиновнику. Хэндри, думал он, безумец английский, он заглушил горе увлечением, любимой гипотезой, а не вендеттой и не отчаянием. Хэндри, создавший краски, погиб; но он ведь счастлив, как Хэндри, создавший теорию. Теория была и у Гэмбрела. Называлась она спинномозговым рефлексом и доказывала умственную неполноценность тех, кто сидит на краешке стула. Гэмбрел собрал хорошую коллекцию бедняков и мог доказать с кафедры, что поза их говорит о шаткости их сознания. Но в кебе ему не давали это доказывать.

Было что-то зловещее в том, как полз экипаж по серым приморским улицам. Мэррелу часто представлялось в детстве, что кеб может подползти сзади и проглотить тебя разверстой пастью. Лошадь была какой-то угловатой, темное дерево напоминало о гробе. Дорога спускалась книзу все круче и как бы давила на кеб, а кеб — на лошадь. Наконец они остановились перед воротами и увидели меж двух столбов серо-зеленое море.

Глава 10

ВРАЧИ РАСХОДЯТСЯ В МНЕНИЯХ

Дом, к которому подполз ползучий кеб, мало отличался от прочих домов. Нынешние учреждения стараются выглядеть как можно приватней. Чиновник особенно всемогущ именно потому, что не носит особой формы. Привезти человека в такой вот дом можно и без насилия; он и сам знает, что с его стороны всякое насилие бесполезно. Врач привык возить пациентов прямо в кебе, и они не сопротивлялись. До такого безумия они не доходили.

Новомодный сумасшедший дом появился в городе недавно; прогресс не сразу добрался до провинции. Служители, тихо томившиеся в вестибюле, чтобы открыть ворота и двери, были новичками если не в деле своем, то в этой местности. А начальник, сидевший где-то внутри, изучая папку за папкой, был новее всех. Он давно работал в таких домах и привык действовать быстро, тихо и четко. Но он старел, зрение его слабело, и слышал он хуже, чем ему казалось. Был он отставным военным хирургом, носил фамилию Уоттон, тщательно закручивал седые усы и глядел на мир сонным взглядом, ибо достиг вечера жизни, а в данном случае — и вечернего времени суток.

На столе у него лежало много бумаг, в том числе — несколько записок о том, что надо сделать в этот день. Из своего удобного кабинета он не слышал, как подъехал кеб, и не видел, как тихо и быстро кто-то управился с сидоками. Тот, кто это сделал, был так вежлив, что никто и не спросил его о полномочиях: служащим он показался отполированным винтиком их машины, и даже врач подчинился движению его руки, указавшей ему путь в боковую комнатку. Если бы они чуть раньше посмотрели в окно и увидели, как безупречный джентльмен скатывается с кеба, они бы, вероятно, обеспокоились. Однако они не смотрели, и врач обеспокоился лишь тогда, когда джентльмен, с которым он вроде бы где-то встречался, не только закрыл за ним дверь, но и запер.

Начальник ничего не слышал, все совершалось с той беззвучной быстротой, с какой крутится волчок бюрократической рутины. Услышал он только стук в дверь и голос: «Сюда, доктор». Так оно обычно и бывало; сперва врач беседовал с начальством, а потом (гораздо короче) — с жертвой. В этот вечер начальник надеялся, что обе беседы будут краткими. Не поднимая головы, он сказал:

— Случай девять тысяч восемьсот семьдесят первый... скрытая мания...

Доктор Хэндри с чрезвычайным изяществом склонил голову набок.

— Да, манию эту, как правило, скрывают, — сказал он. — Но не в том суть. Причина ее чисто физиологическая... чисто физио-

логическая... — Он изысканно откашлялся. — Стоит ли в наше время напоминать, что болезни органов чувств влияют на мозг? В данном случае я считаю, что все началось с самого обычного заболевания зрительного нерва. Путь, которым я пришел к такому заключению, интересен сам по себе.

Минуты через четыре стало ясно, что начальник так не думает. Он все еще глядел в бумаги и тем самым не видел посетителя. Если бы он взглянул вверх, его бы смутила удивительно ветхая одежда. Но он только слышал удивительно культурный голос.

— Нам незачем входить в подробности, — сказал он, когда посетитель изложил подробностей сто и собирался излагать их дальше. — Если вы уверены, что мания опасна, этого достаточно.

— За всю мою долгую практику, — торжественно сказал доктор Хэндри, — я ни в чем не был так уверен. Вопрос становится все серьезнее. Положение поистине угрожающее. Вот сейчас, когда мы тут беседуем, умалишенные гуляют на свободе и даже высказывают свое научное мнение. Не далее, как вчера...

Его напевную, убедительную речь заглушили странные звуки, словно какое-то грузное тело стало биться об дверь. Когда удары затихали, можно было услышать и крики, хотя голос осип от ярости.

— О, Господи! — воскликнул Уоттон, проснувшись и подняв голову. — Что это такое?

Доктор Хэндри изящно и скорбно поник головой, но улыбался по-прежнему.

— Печальны ваши обязанности, — сказал он. — Мы видим низшие, худшие проявления падшей природы человеческой... Уничужденное тело, как говорится в Писании. Вероятно, это один из несчастных, которых общество вынуждено охранять.

В эту минуту уничиженное, но тяжелое тело бросилось на дверь с особой прытью. Начальнику это не понравилось. Пациентов или узников (или как зовутся нынешние жертвы порядка) нередко запирали в соседней комнатке, но их стерегли служители, не позволявшие выражать нетерпение так живо. Оставалось предположить, что нынешняя жертва, по своей живости, просто убила служителя.

Что-что, а храбрым старый хирург был. Он встал из-за стола и пошел к двери, сотрясавшейся под ударами. Поглядев на нее секунду-другую, он ее открыл, не выказывая страха; однако ловкость выказать ему пришлось, иначе его смело бы то, что вылетело из двери. У предмета этого были глаза, но они торчали как рога, и Уоттону показалось, что это подтверждает мнение о глазной болезни. Были у него и усы, необычайно взъерошенные, и такие волосы, словно он безуспешно подметал ими стену. Когда он выскочил в полосу света, Уоттон заметил белый жилет и серые брюки, каких не носят ни моржи, ни дикари.

— Что ж, он хотя бы одет, — пробормотал хирург. — Но не совсем здоров.

Грузный человек, ворвавшись в дверь, затих и дико озирался. Усы его торчали еще боевитей, чем прежде. Вскоре оказалось, что дара речи он не утратил. Правда, первые его замечания на неизвестном языке можно было принять за нечленораздельные звуки, но двое ученых различили в потоке слов научные термины. На самом деле врач отчитывался перед начальством, хотя догадаться об этом было трудно.

Положение у врача было нелегкое, и добрые, мудрые люди не станут защищать козней, жертвой которых он пал, а лишь порадуются в тиши. Он тоже создал теорию о том, почему его ближние сходят с ума. Он тоже мог описать психологию и физиологию своего пациента. Он мог поведать о спинномозговом рефлексе не хуже, чем поведал Хэндри о слепоте. Но условия у него были хуже. Когда волей Мэррела он оказался в ловушке, он вел себя так, как повел бы всякий полнокровный и самоуверенный человек, если бы с ним случилось то, что он считает невозможным. Именно благодушные, бойкие, важные люди с треском разбиваются о препятствия. С Хэндри все было наоборот. Он жалобно держался за свои изысканные манеры, ибо только этот обломок былого пронес сквозь унижения, и привык говорить с кредиторами мягко, а с полисменами — чуть снисходительно. Потому и случилось, что доктор-чиновник сопел, пыхтел и ругался, а доктор-изгой, склонив голову набок, тихо курлыкал, сокрушаясь о падшей природе человеческой. Хирург глядел на одного и на другого, потом остановил взгляд на беспокойном, как останавливал его на многих опасных безумцах. Так встретились трое крупных ученых.

Перед домом, на улице, взбиравшейся вверх, словно в приступе безумия, Дуглас Мэррел сидел на верхушке кеба и глядел в небеса, как глядит человек, достойно выполнивший дело. Шляпа на нем была грязная и потрепанная. Он купил ее вместе с кебом, хотя и за деньги мало кто согласился бы ее носить. Однако она просто и блестяще сослужила ему службу. Когда все одеты одинаково, положение определяют по шляпе; и в ней Мэррел сходил за возницу старого кеба. Потом он снял ее, и, видя его гладкие волосы и безупречные манеры, служители не сомневались в том, что он — из господ. Здесь, на верхушке кеба, он снова ее надел, как надевает победитель лавровый венец.

Он знал, что будет, и спокойно ждал. Не досматривая на месте действия об изловленном чиновнике, он решил, что поговорит с властями, если оно зайдет слишком далеко, и почтительно покинул свое совершенное творение. Вскоре оказалось, что расчеты его правильны.

Доктор Хэндри, известный некогда среди художников, появился между столбами ворот. Он был свободен, как чайка. Изящество его стало почти угрожающим, и весь его вид говорил о том, что он не выдаст доверенных ему профессиональных тайн. Натянув невидимые перчатки, он как ни в чем не бывало сел



в кеб. Мудрый возница надвинул пониже шляпу и быстро повез его по крутым каменистым улицам.

Летописец не станет сейчас рассказывать, что было дальше в больнице. Даже сам Мэррел почему-то не хотел об этом думать. Он любил розыгрыши, но мы не пойдем перемены в его жизни, если решим, что он просто подшутил над чужеземным врачом и этому радовался. Он радовался другому, и радость его была очень сильной, словно главное лежало впереди, а не позади; словно освобождение бедного безумца символизировало иную свободу и лучший, иной мир. Когда он свернул за угол, крутую улицу прорезал солнечный луч, весомый, как лучи, прорезавшие весомые тучи на старых иллюстрациях к Библии. Мэррел посмотрел на окно высокого, узкого дома и увидел дочь Хэндри.

Девушка, глядевшая из окна, появляется в нашей повести впервые. До сих пор она была скрыта тенью, окутана мраком крутой лестницы и темного дома. Она была облечена в лишения; надо жить в таком месте, чтобы знать, как меняют лишения облик человека. Она стала бледной, как растение, в темноте и темноте дома, где нет даже тех зеркал, которые зовутся лицами. О наружности своей она давно забыла и очень удивилась бы, если бы сейчас увидела себя с улицы. Однако удивилась она и глядя на улицу. Красота ее расцвела, как волшебный цветок на балконе, не только потому, что на нее упал солнечный луч. Ее украсило то, что прекрасней всего на свете; быть может, лишь это на свете и прекрасно. Ее украсило удивление, утраченное в Эдеме и обретаемое на небе, где оно столь сильно, что не угасает вовек.

Чтобы объяснить, почему она удивилась, надо было бы рассказать ее историю, а история эта иная, чем наша повесть; она похожа на те научные, реалистические романы, которые мы не вправе называть романами. С того дня, как отца ее обокрали мерзавцы, слишком богатые, чтобы их наказать, она спускалась по ступенькам в тот мир, где всех считают мерзавцами и наказывают по очереди, а полиция ощущает себя стражей тюрьмы без крыши. Она давно к этому притерпелась; ей казалось естественным все, что толкало вниз. Если бы отца ее повесили, она горевала бы и гневалась, но не удивлялась.

Когда же она увидела, что он едет улыбаясь в кебе, она удивилась. Никто еще на ее памяти не выходил из этой ловушки, и ей показалось, что солнце повернуло к Востоку, или Темза, остановившись в Гринвиче, потекла обратно, в Оксфорд. Однако ее отец улыбался, раскинувшись в кебе, и курил невидимую сигару, как натягивал немного раньше невидимые перчатки. Глядя на него, она видела краем глаза, что возница снимает перед ней шляпу, и благородство его движений к этой шляпе не подходит. И тут удивление ее достигло расцвета, ибо ей явились бесцветные, тщательно приглаженные волосы недавнего гостя.

Доктор Хэндри по-юношески ловко выскочил из кеба и машинально сунул руку в пустой карман.

— Что вы, не надо, — быстро сказал Мэррел, надевая шляпу. — Это мой собственный кеб, и езжу я для удовольствия. Искусство для искусства, как говорили ваши старые друзья.

Хэндри узнал вежливый голос, ибо есть вещи, которых человек не забывает.

— Дорогой мой друг, — сказал он, — я очень вам благодарен. Зайдите, пожалуйста.

— Спасибо, — сказал Мэррел, слезая с него. — Мой скакун меня подождет. Он столько раз спал у моего шатра. Кажется, скакать он не хочет.

Он снова поднялся по темной и крутой лестнице, по которой, словно чудовище, выплывал недавно из глубин прославленный психиатр. Психиатра он на минуту вспомнил, но решил, что теперь довольно трудно поправить дело.

— А он не вернется за отцом? — спросила девушка.

Мэррел улыбнулся и покачал головой.

— Нет, — сказал он. — Уоттон — честный человек. Он понял, что отец ваш гораздо нормальнее, чем врач. А врач не захочет оповестить мир о том, как удачно он подражал буйно-помешанному.

— Тогда вы спасли нас, — сказала она. — Это удивительно.

— Гораздо удивительней, что вас вообще пришлось спасать, — сказал Мэррел. — Не пойму, что творится. Безумец ловит безумца, как вор ловит вора.

— Я знавал воров, — сказал доктор Хэндри, с неожиданной яростью закручивая ус, — но их еще не поймали.

Мэррел взглянул на него и понял, что рассудок вернулся к нему.

— Может, мы и воров поймаем, — сказал он, не зная, что произносит пророчество о своем доме, и о своих друзьях, и о многом другом. Далеко, в Сивудском аббатстве, обретало форму и цвет то, что он счел бы выдумкой. Он об этом не знал; но и душа его обретала цвета, сияющие и радостные, как краски Хэндри. Ощущение победы достигло апогея, когда он взглянул вверх и увидел девушку в окне. Сейчас, в комнате, он наклонился к ней и сказал:

— Вы часто смотрите из окна? Если кто пройдет мимо...

— Да, — отвечала она. — Из окна я смотрю часто.

Глава 11

БЕЗУМНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ

Далеко, в Сивудском аббатстве, отыграли пьесу «Трубадур Блондель». Прошла она с небывалым успехом. Ее играли два вечера кряду; на третий день дали утреннее представление, чтобы не обижать школьников; и наконец усталый Джулиан Арчер

с облегчением сложил доспехи. Злые языки говорили, что устал он от того, что успех выпал не на его долю.

— Ну, в с е , — сказал он Херну, который стоял рядом с ним в зеленом облачении изгнанного короля. — Надену что-нибудь поудобней. Слава Богу, больше мы так не нарядимся.

— Да, наверное, — сказал Херн и посмотрел на свои зеленые ноги, словно видел их в первые. — Наверное, не нарядимся.

Он постоял минуту, а когда Арчер исчез в костюмерной, медленно пошел в свою комнату, прилегавшую к библиотеке.

Не он один оставался после спектакля в каком-то оцепенении. Автор пьесы не мог поверить, что сам ее написал. Оливии казалось, что она зажгла в полночь спичку, а та разгорелась полунощным солнцем. Ей казалось, что она нарисовала золотого и алого ангела, а он изрек вещие слова. В чудаковатого библиотекаря, обернувшегося на час театральным королем, вселился бес; но бес этот был похож на алого и золотого ангела. Из Майкла Херна так и хлестало то, чего никто и не мог в нем подозревать, а Оливия в него не вкладывала. Он с легкостью брал высоты, ведомые смиренному поэту лишь в самых смелых мечтах. Она слушала свои стихи, как чужие, и они звучали, как те стихи, которые она хотела бы написать. Она не только радовалась, она ждала, ибо в устах библиотекаря каждая строчка звучала лучше предыдущей; и все же это были ее собственные жалкие стишки. И ей, и менее чувствительным людям особенно запомнились минуты, когда король отрекается от короны и говорит о том, что злым властителям он предпочитает странствия в диком лесу.

Что может заменить певучий лепет
Древесных листьев утренней порой?
Я презираю все короны мира
И властвовать над стадом не хочу.
Лишь злой король сидит на троне прочно,
Врачуя стыд привычкой. Добродетель
Для знати ненавистна в короле.
Его вассалы на него восстанут,
И рыцарей увидит он измену,
И прочь уйдет, как я от вас иду ¹.

На траву упала тень, и Оливия, как ни была она задумчива, поняла, какой эта тень формы. Брейнтри, в прежнем своем виде и в здравом уме (который многие считали не совсем здравым), пришел к ней в сад.

Прежде, чем он заговорил, она взволнованно сказала:

— Я поняла одну вещь. Стихи естественней, чем проза. Петь проще, чем бормотать. А мы всегда бормочем.

— Ваш библиотекарь не бормотал, — сказал Брейнтри. — Он почти пел. Я человек прозаический, но мне кажется, что я слушал

¹ Перевод Л. Слонимской.

хорошую музыку. Странно это все. Если библиотекарь может так играть короля, это значит, что он играл библиотекаря.

— Вы думаете, он всегда играл,— сказала Оливия, — а я знаю, что он не играл никогда. В этом все объяснение.

— Наверное, вы правы,— отвечал он. — Но правда ведь, казалось, что перед вами великий актер?

— Нет,— воскликнула Оливия, — в том-то и дело! Мне казалось, что передо мной великий человек.

Она помолчала и начала снова:

— Не великий в искусстве, совсем другое. Великий оживший мертвец. Средневековый человек, вставший из могилы.

— Я понимаю, о чем вы,— кивнул он, — и согласен с вами. Вы хотите сказать, что другую роль он бы сыграть не мог. Ваш Арчер сыграл бы что угодно, он — хороший актер.

— Да, странно все это,— сказала Оливия. — Почему библиотекарь Херн... вот такой?

— Мне кажется, я знаю, — сказал Брейнтри, и голос его стал низким, как рева. — В определенном, никому не понятном смысле он принимает это всерьез. Так и я, для меня это тоже серьезно.

— Моя пьеса? — с улыбкой спросила она.

— Я согласился надеть наряд трубадура,— ответил он, — можно ли лучше доказать свою преданность?

— Я хотела сказать,— чуть поспешно сказала Оливия, — принимаете ли вы всерьез роль короля?

— Я не люблю королей, — довольно резко ответил Брейнтри. — Я не люблю рыцарей, и знать, и весь этот парад вооруженных аристократов. Но он их любит. Он не притворяется. Он не сноб и не лакей старого Сивуда. Кроме него я не видел человека, который способен бросить вызов демократии и революции. Я это понял по тому, как он ходил по этой дурацкой сцене и...

— И произносил дурацкие стихи, — засмеялась поэтесса с беспечностью, редкой среди поэтесс. Могло даже показаться, что она нашла то, что ее интересует больше поэзии.

Одной из самых мужественных черт Брейнтри было то, что его не удавалось сбить на простую болтовню. Он продолжал спокойно и твердо, как человек, который думает со сжатыми кулаками:

— Вершины он достиг и владел всем и вся, когда отрекался от власти и уходил с копьем в лес. И я понял...

— Он тут,— быстро шепнула Оливия. — Самое смешное, что он еще бродит по лесу с копьем.

Действительно, Херн был в костюме изгнанника — по-видимому, он забыл переодеться, когда ушел к себе, и сжимал длинное копье, на которое опирался, произнося свои монологи.

— Вы не переоденетесь к завтраку? — воскликнул Брейнтри.

Библиотекарь снова посмотрел на свои ноги и отрешенно повторил:

— Переоденусь?

— Ну, наденете обычный костюм, — объяснил Брейнтри.

— Сейчас уже не стоит, — сказала дама. — Лучше переодеться после завтрака.

— Хорошо, — отвечал отрешенный автомат тем же деревянным голосом и ушел на зеленых ногах, опираясь на копые.

Завтрак был не очень чинным. Все прочие сняли театральные костюмы, но прежние они еще не обжили. Дамы находились на полпути к вечернему блеску, ибо в Сивуде намечался прием, еще более пышный, чем тот, где воспитывали Брейнтри. Нечего и говорить, что присутствовали те же замечательные лица и еще многие другие. Был здесь сэр Говард Прайс, если не с белым цветком непорочности, то хотя бы в белом жилете старомодной деловой честности. Недавно он непорочно переметнулся от мыла к краскам, стал финансовым столпом в этой области и разделял коммерческие интересы лорда Сивуда. Был здесь Элмерик Уистер в изысканном и модном костюме, украшенный длинными усами и печальной улыбкой. Был здесь мистер Хэнбери, помещик и путешественник, в чем-то совершенно приличном и совершенно незаметном. Был лорд Иден с моноклем, и волосы его походили на желтый парик. Был Джулиан Арчер, в таком костюме, который увидишь не на человеке, а на идеальном создании, обитающем в магазине. Был Майкл Херн, в зеленой потрепанной одежде, пригодной для короля в изгнании и непригодной здесь.

Брейнтри не любил условностей, но и он воззрился на эту ходячую загадку.

— Я думал, вы давно переоделись, — сказал он.

Херн, к этому времени довольно унылый, спросил:

— Во что я переоделся?

— Да в самого себя, — ответил Брейнтри. — Сыграйте со свойственным вам блеском роль Майкла Херна.

Майкл Херн резко поднял свою почти разбойничью голову, несколько секунд пристально смотрел на Брейнтри и направился к дому, наверное — переодеваться. А Джон Брейнтри сделал то, что он только и делал на этих неподходящих ему сборищах: пошел искать Оливию.

Беседа их была долгой и, в основном, частной. Когда гости ушли и вдали замаячил обед, Оливия надела необычайно нарядное лиловое платье с серебряным шитьем. Они встретились снова у сломанного памятника, где спорили в первый раз; но теперь они были не одни.

Библиотекарь Херн зеленой статуей стоял у серого камня. Его можно было принять за позеленевшую бронзу; но это был человек, одетый лесным отшельником.

Оливия сказала почти машинально:

— Вы никогда не переоденетесь?

Он медленно повернулся к ней и посмотрел на нее бледно-голубыми глазами. Потом, когда голос вернулся к нему с края света, он хрипло проговорил:

— Переоденусь?.. Не переоденусь?.. Не сменю одежд?..



Она что-то увидела в его остановившемся взгляде, вздрогнула и отступила в тень своего спутника, а тот властно сказал, защищая ее:

— Вы наденете обычный костюм?

— Какой костюм вы называете обычным?

Брейнтри неловко засмеялся.

— Ну, такой, как у меня, — сказал он, — хотя я и не очень модно одеваюсь. — Он мрачно улыбнулся и прибавил: — Красный галстук можете не носить.

Херн внезапно нахмурился и негромко спросил, в упор глядя на него:

— А вы считаете себя мятежником, потому что носите красный галстук?

— Не только поэтому, — ответил Брейнтри. — Галстук — это символ. Многие люди, которых я глубоко уважаю, полагают, что он смочен кровью. Да, наверное, потому я и стал его носить.

— Так, — задумчиво сказал библиотекарь. — Поэтому вы носите красный галстук. Но почему вы вообще носите галстук? Почему все его носят?

Брейнтри, который всегда был искренен, ответить не смог, и библиотекарь продолжал, серьезно глядя на него, как глядит ученый на дикаря в национальном костюме.

— Ну вот... — все так же мягко говорил он. — Вы встаете... моетесь...

— Да, этих условностей я придерживаюсь, — вставил Брейнтри.

— Надеваете рубашку. Потом берете полоску полотна, оборачиваете вокруг шеи, как-то сложно пристегиваете. Этого мало, вы берете еще одну полоску, Бог ее знает из чего, но такого цвета, какой вам нравится, и, странно дергаясь, завязываете под первой особым узлом. И так каждое утро, всю жизнь. Вам и в голову не приходит сделать иначе или возопить к Богу и разорвать свои одежды, словно ветхозаветный пророк. Вы поступаете так, потому что в такое же время суток многие предаются этим удивительным занятиям. Вам не трудно, вам не скучно, вы не жалуетесь. И вы зовете себя мятежником, потому что ваш галстук — красный!

— В чем-то вы правы, — сказал Брейнтри. — Значит, из-за этого вы и не торопитесь снять ваш фантастический костюм?

— Чем же он фантастический? — спросил Херн. — Он проще вашего. Его надевают через голову. Когда пронесишь его день-другой, понимаешь, какой он удобный. Вот, например, — он нахмурившись посмотрел в небо, — пойдет дождь, подует ветер, станет холодно. Что вы сделаете? Побежите в дом и принесете всякие вещи, огромный зонтик, сущий балдахин, и плащ, и накидку для дамы. Но в нашем климате почти всегда нужно только закрыть голову. Вот и натяните капюшон, — он натянул свой, — а потом откиньте. Очень хорошо его носить, — тихо прибавил он. — Это ведь символ.

Оливия глядела вдаль, на уступчатые склоны, исчезающие в светлой вечерней дымке, словно беседа огорчила или утомила ее; но тут она обернулась, как будто услышала слово, способное проникнуть в ее мечты.

— Какой именно символ? — спросила она.

— Если вы смотрели из-под арки, — сказал Х е р н , — пейзаж был прекрасным, как потерянный рай. Дело в том, что он отделен, очерчен, словно картина в рамке. Вы отрезаны от него, и вам позволяют на него взглянуть. Поймите, мир — окно, а не пустая бесконечность! Окно в стене бесконечного небытия. Сейчас мое окно — со мной. Надевая капюшон, я говорю себе: такой мир видел и любил Франциск Ассизский. Отверстие капюшона — готическое окно.

Оливия посмотрела на Джона Брейнтри и сказала:

— Помните, что говорил бедный Дуглас?.. Нет, это было как раз перед вами.

— Передо мной? — обеспокоился Брейнтри.

— Ну, перед тем, как вы пришли сюда впервые, — объяснила она, краснея и снова глядя на холм. — Он сказал, что ему бы пришлось смотреть в окошко для прокаженных.

— Самое средневековое окно... — язвительно сказал Брейнтри.

Человек в маскарадном костюме вспыхнул, словно ему бросили вызов.

— Покажите мне короля, — вскричал о н , — короля милостью Божьей, который служил бы прокаженным, как Людовик Святой!

— Я не стану, — отвечал Бр е й н т р и , — оказывать услуги королю.

— Тогда народного вождя, — настаивал Х е р н . — Святой Франциск был народным вождем. Если вы увидите здесь прокаженного, побежите вы к нему? Обнимете его?

— Скорее, чем мы с в а м и , — ответила Оливия.

— Вы правы, — сказал Х е р н , мгновенно трезв е я . — Наверное, никто из нас на это не способен... А что, если миру нужны такие деспоты и такие демагоги?

Брейнтри медленно поднял голову и пристально посмотрел на него.

— Такие деспоты... — начал он, замолчал и нахмурился.

Глава 12

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЖ

На этом повороте спора сад огласился бодрим голосом Джулиана Арчера. Бывший трубадур, в ослепительном вечернем костюме, шел быстро, но вдруг остановился, глядя на Майкла Херна, и закричал:

— Вы что, никогда не переоденетесь?

Должно быть, шестое повторение этой фразы и свело библиотекаря с ума. Во всяком случае, он повернулся и возопил на весь сад:

— Нет! Никогда не переоденусь!

Он постоял, поглядел и продолжал немного тише:

— Вы любите все менять, вы живете переменами, а я меняться не хочу. Из-за перемены вы пали, и падаете все ниже. Вы знали счастливое время, когда люди были простыми, здоровыми, здоровыми, настолько близкими к Божьему миру, насколько это возможно. Оно ушло от вас, а если возвращается на миг, вам не хватает разума удержать его. Я его удержу.

— Что он такое говорит? — спросил Арчер, словно речь шла о животном или хотя бы о ребенке.

— Я понимаю, что он говорит, — угрюмо сказал Брейнтри и . — Но он не прав. Мистер Херн, неужели вы сами в это верите? Почему вы называете здоровыми ваши средние века?

— Потому, — отвечал Х е р н , — что в них была правда, а вы погрязли во лжи. Я не думаю, что тогда не было греха и страданий. Я только думаю, что и грех, и страдания так и называли. Вы вечно толкуете о деспотах и вассалах, но ведь и у вас есть и насилие, и неравенство, только вы не смеете назвать их по имени. Вы защищаете их, давая им другие имена. У вас есть король, но вы говорите, что ему не разрешается править. У вас есть палата лордов, но вы сообщаете, что она не выше палаты общин. Когда вы хотите подольститься к рабочему или крестьянину, вы зовете его джентльменом, а это то же самое, что назвать его виконтом. Когда вы хотите подольститься к виконту, вы хвалите его за то, что он обходится без титула. Вы оставляете миллионеру миллионы и хвалите его за простоту, то есть за унылость, словно в золоте есть что-нибудь хорошее, кроме блеска. Вы терпите священников, когда они на священников не похожи, и бодро заверяете нас, что они могут играть в крикет. Ваши ученые отрицают доктрину, то есть — учение, ваши богословы отрицают Бога. Повсюду обман, малодушие, низость. Все существует лишь потому, что само не признает себя.

— Быть может, вы и правы, — сказал Брейнтри. — Но я вообще не хочу, чтобы все это существовало. И если уж дошло до проклятий и пророчеств, ручаюсь, что многое умрет раньше вас.

— У м р е т , — сказал Херн, глядя на него большими светлыми глазами, — а потом оживет. Жить — совсем не то, что существовать. Я не уверен, что король снова не станет королем.

Синдикалист что-то увидел во взгляде библиотекаря, и настроение его изменилось.

— Вы считаете, — спросил о н , — что настала пора сыграть Ричарда I?

— Я считаю, — отвечал Х е р н , — что настала пора сыграть Львиное Сердце.

— Вот как! — проговорила Оливия. — Вы хотите сказать, что нам недостает единственной добродетели Ричарда?

— Единственная его добродетель в т о м , — сказал Брейнтри , — что он покинул Англию.

— Быть может, — сказала Оливия. — Но и он, и добродетель могут вернуться.

— Если он вернется, он увидит, что страна его изменилась, — сердито сказал синдикалист. — Нет крепостных, нет васалов; даже крестьяне смеют смотреть ему в лицо. Он увидит то, что разорвало цепи, раскрылось, вознеслось. То, что наводит страх и на львиное сердце.

— Что же это такое? — спросила Оливия.

— Сердце человека, — ответил он.

Оливия переводила взгляд с одного на другого. Один воплощал все, о чем она грезила, и даже был одет в соответствующий костюм. Другой тревожил ее еще больше, ибо о том, что воплощал он, она не грезила никогда. Сложные ее чувства нашли исход в довольно странном восклицании:

— Хоть бы Дуглас вернулся!

Брейнтри недоверчиво взглянул на нее и спросил почти ворчливо:

— Зачем это?

— Вы все очень изменились, — сказала она . — Вы говорите как в пьесе. Вы благородны, возвышенны, смелы, у вас нет здравого смысла...

— Вот не знал, что у вас он е с т ь , — сказал Брейнтри.

— У меня его нет, — отвечала она . — Розамунда меня за это ругает. Но у любой женщины его больше, чем у вас.

— Кстати, она идет сюда, — угрюмо сказал Брейнтри. — Надеюсь, она вас поддержит.

— Конечно, — спокойно согласилась Оливия. — Безумие заразительно, и зараза распространяется. Никто из вас не может выбраться из моей пьески.

Розамунда Северн и впрямь неслась по газону, решительно, как ветер, который вот-вот обратится в бурю. Буря эта бушевала часа два, и мы расскажем только об ее конце. Розамунда совершила то, на что почти никогда не решались ни она, ни кто другой, и за последнее время решился один лишь Дуглас Мэррел: она ворвалась в кабинет своего отца.

Лорд Сивуд поднял глаза от кипы писем и спросил:

— В чем дело?

Говорил он виновато и даже нервно, но, услышав его, все начинали нервничать и чувствовали себя виноватыми.

Однако Розамунда никогда не нервничала и не знала за собой вины. Она пылко вскричала:

— Какой ужас! Библиотекарь не хочет раздеваться!

— И прекрасно, — сказал Сивуд, терпеливо ожидая разъяснений.

— Это не шутка! — быстро продолжала его дочь. — Это Бог знает что! Он все еще в зеленом...

— Строго говоря, ливрея у нас синяя, — задумчиво произнес вельможа. — Но теперь это не так уж важно. Да и кто его видит, библиотекаря? В библиотеку ходят редко. А сам он... если не ошибаюсь, он очень тихий человек. Никто его и не заметит.

— Да? — с каким-то вещим спокойствием переспросила Розамунда. — Ты думаешь, его никто не заметит?

— Конечно,— сказал лорд Сивуд. — Сам я никогда его не замечал.

До сей поры лорд Сивуд оставался за кулисами пьесы и за гобеленами аббатства лишь потому, что он сторонился увеселений и, в полном смысле этих слов, блистал своим отсутствием. Причин тому было много, главные же — две: к несчастью, он постоянно хворал и был государственным мужем. Такие люди сужают свой мир, чтобы расширить сферу влияния. Лорд Сивуд жил в очень тесном миреке из любви к большим проблемам. Он увлекался геральдикой, историй знатных родов, и ему очень нравилось, что во всей Англии только человека два разбирались в этом. Точно так же относился он к политике, к обществу и ко многому другому. Он никогда не говорил ни с кем, кроме знатоков, другими словами — доверял лишь меньшинству. Исключительные люди давали ему исключительно важные сведения, но он не знал, что делается у него дома. Иногда он замечал какие-то перемены, но не останавливал на них внимания. Если бы он заметил библиотекаря на верхней полке, он не стал бы его спрашивать, зачем он туда полез. Он вступил бы в переписку с знатоком полок, но лишь тогда, когда убедился бы, что это самый лучший знаток. Ссылаясь на греческую этимологию, он любил доказывать, что аристократ обязан владеть всем самым лучшим; и, отдадим ему справедливость, действительно держал в доме только лучшие сигары и лучшее вино, хотя здоровье и мода не позволяли ему ни пить, ни курить. Он был невысок, тщедушен, угловат, но умел пристально взглянуть на собеседника, что ошеломляло всякого, кто принимал его поначалу за дурака. Мы рассказываем об его скрытности, об его сосредоточенности и отрешенности, ибо, не понимая всего этого и этому не сочувствуя, нельзя будет понять того, что случилось с ним. Наверное, лишь он один мог не видеть, что творится в его собственном доме и как далеко это зашло.

Однако приходит час, когда и отшельник видит с горы флаги в долине. Приходит час, когда рассеянейший из ученых видит из мансарды иллюминацию. Лорд Сивуд понял, что в его доме произошел переворот. Произойди переворот в Гватемале, он узнал бы о нем первым от гватемальского посла. Произойди он в Северном Тибете, он связался бы с Бигглом, ибо только тот *действительно* там побывал. Но когда переворот бушевал в его собственном саду, он не очень верил слухам, опасаясь, что они окажутся преувеличенными.

Недели через две он сидел в беседке и разговаривал с премьер-министром. Во всем саду он видел только премьера. Снобизма тут не было и в малейшей мере — себя он считал и знатнее, и важнее любых министров, хотя нынешний был графом Иденом. Но он умел сосредоточиться на том, чем был занят, и сейчас с торжественным благодушием слушал новости из внешнего мира. Послушать лорда Идена стоило; он был наделен тем чувством юмора, которое граничит с цинизмом, и смотрел на факты прямо сквозь хитросплетения слов. Его светлые волосы так не подходили к морщинистому худому лицу, что казались желтым париком. Говорил в основном он, а хозяин слушал, как слушают донесения в главном штабе.

— Беда в том, — говорил лорд Иден, — что на их стороне появились убежденные люди. Это, в сущности, нечестно. Мы знали рабочих политиков. Они были точно такие же, как все. Их невозможно было оскорбить, их легко было подкупить, мы льстили им, хвалили их речи, находили им выгодное местечко — и все. А теперь пошли какие-то другие. Конечно, профсоюзы — те же самые. Они понятия не имеют, за что голосуют...

— Само собой, — величественно и грациозно кивнул лорд Сивуд. — Полные невежды...

— ...как и мы, и вообще весь парламент, — продолжал лорд Иден. — Ни одно собрание не знает, чего хочет. Так вот, они называли себя социалистами или еще как-нибудь, а мы называли себя империалистами или как-нибудь еще, и все шло тихо. А теперь явился Брейнтри, он говорит всю их чушь по-новому, и нашей чушью его не проймешь. Обычно мы играли на Империи, но что-то разладилось. Повсюду люди из колоний, все их видят, сами знаете... Они ничуть не хотят за нас умирать, и с ними никто не хочет жить. В общем, эта романтика пошла прахом, и как раз тогда, когда у рабочих замаячило что-то романтическое.

— В этом Брейнтри есть романтика? — спросил лорд Сивуд, не подозревавший, что принимал его в своем доме.

— Есть ли, нет ли, они ее видят, — отвечал премьер-министр. — Собственно, не столько сами шахтеры, сколько другие союзы обрабатывающей промышленности. Потому я с вами и советуюсь. Оба мы интересуемся дегтем не меньше, чем углем, и я был бы счастлив услышать ваше мнение. Делу вредит масса мелких союзов. Вы знаете о них больше всех — кроме Брейнтри, пожалуй. Его не спросишь. А жаль...

— Действительно, — сказал лорд Сивуд, склоняя голову, — я получаю некоторый доход от здешних предприятий. Большинство из нас, как вам известно, пришлось заняться и делами. Предки наши ужаснулись бы, но это все же лучше, чем потерять земли. Должен признаться, что мои интересы больше связаны с побочными продуктами, чем, так сказать, с сырьем. Тем печальнее, что мистер Брейнтри избрал полем сражения эту область.

— Именно, полем сражения,— мрачно отвечал премьер. — Убивать они не убивают, но все прочее при них. То-то и плохо. Если бы они и впрямь восстали, их было бы легко усмирить. Но что сделаешь с бунтовщиком, если он не бунтует? Сам Макиавелли не ответил бы на такой вопрос.

Лорд Сивуд сложил длинные пальцы и откашлялся.

— Я не считаю себя Макиавелли, — с подчеркнутой скромностью сказал он, — но осмелюсь предположить, что вы спрашиваете у меня совета. Конечно, такие обстоятельства требуют немалых знаний, но я немного занимался этой проблемой, особенно — параллельными явлениями в Австралии и на Аляске. Начнем с того, что обработка отходов угольной промышленности...

— Господи! — воскликнул лорд Иден и пригнулся, словно в него кинули камень. Восклицание его было оправдано, хотя хозяин дома заметил причину позже, чем следствие.

Длинная оперенная стрела вонзилась в дерево беседки и трепетала над головой премьера. Сам премьер заметил ее раньше, когда она влетела из сада и пронеслась над ним, жужжа, как большое насекомое. Оба аристократа вскочили и с минуту глядели на нее. Потом более практичный политик увидел, что к ней привязана записка.

Глава 13

СТРЕЛА И ВИКТОРИАНЕЦ

Стрела, влетевшая с пением в беседку, открыла владельцу поместья, что мир изменился. Он не мог бы определить, почему и как изменился мир, да и мы почти не можем это описать. Собственно, началось с сугубо личного безумия одного мужчины; но, как нередко бывает, развитием своим все было обязано сугубо личному здравомыслию одной женщины.

Библиотекарь наотрез отказался сменить костюм.

— Да не могу я! — кричал он в отчаянии. — Не могу, и все. Я почувствовал бы себя так глупо, словно я...

— Словно в ы? . . . — повторила Розамунда, глядя на него круглыми глазами.

— Словно я на маскарде, — закончил он.

Розамунда рассердилась меньше, чем можно было ожидать.

— Вы хотите с к а з а т ь, — медленно, как бы в раздумье, произнесла она, — что в этом костюме вы чувствуете себя естественней?

— Конечно!.. — возрадовался он. — Гораздо естественней! Сколько в нем естественных вещей, которых я и не знал! Естественно держать голову прямо, а я вечно сутулился. Я ведь держал руки в карманах, тут поневоле пригнешься. Сейчас я закладываю

руки за пояс и чувствую, что вырос. И потом, посмотрите на это копые.

Херн еще не расстался с копыем, которое Ричард, лесной обитатель, носил всегда с собою; и сейчас он воткнул его в поросшую травой землю.

— Возьмите его, — воскликнул о н , — и вы поймете, почему люди носили длинные палки — копые, пику, посох паломника и пастуха. Их можно держать, вытянув руку и закинув голову, словно на ней вырос гребень. На современную трость опираются, как на костыль. Нынешнему миру пристали костыли, ибо он — калека!

Вдруг он замолчал и посмотрел на нее во внезапном смущении.

— Но вы... я сейчас подумал, что вам пристало носить не копые, а скипетр... Простите меня... если вам все это не нравится...

— Я не з н а ю , — медленно и растерянно сказала она, утратив обычную решительность. — Я не совсем уверена, что мне это не нравится.

Ему сразу стало легче, но это не так уж легко объяснить. Дело в том, что при всем львином величии, при всей отрешенности и гордом спокойствии его нового обличья, в нем не было ни малейшего вызова или, попросту говоря, наглости. Он просто робел, просто терялся при виде прежнего своего костюма. Словом, он так же не мог надеть его, как прежде не мог сменить.

Когда Розамунда неслась по газону к Херну, Оливии и Брейнтри, все на свете, включая самих спорщиков, сказали бы, что она мигом покончит с нелепым спором. Все сказали бы, что она отправит библиотекаря переодеться, словно непослушного ребенка, свалившегося в воду. Но странные, почти невероятные создания, люди, почти никогда не делают того, чего от них ждут. Если бы разумный человек представил себе заранее эту безумную повесть, он знал бы, какая из двух женщин больше рассердится на безумца. Он знал бы, что склонная к старине Оливия Эшли примет безумие, лишь бы оно было старинным, а ее современная рыжая подруга и разбираться не станет, старина это или нет, и увидит одно безумие.

Но разумный человек ошибся бы, что с ним нередко бывает. Оливия вечно мечтала; Розамунда жаждала двух вещей: простоты и действия. Думала она медленно — и потому любила простоту. Загоралась она быстро — и любила действие.

Розамунда Северн была достойна короны и родилась под сенью короны, хотя и маленькой. Судьба определила ей действовать на фоне дивной декорации — реки, уступчатых холмов, старинного замка, — и средневековый маскарад не удивил ее. Отрешенному взору библиотекаря она казалась принцессой и в средневековом платье, и в современном. Но случайные дары рождения и даже красоты сбивают с толку. Если бы Херн лучше знал жизнь, он узнал бы довольно обычный характер. Сквозь

зеленую долину и серое аббатство он увидел бы столы, машинки и скучные доклады. Сквозь простое прекрасное лицо и честные серые глаза он увидел бы невзрачных женщин, которых очень много в наши дни. Такая женщина возникает повсюду, где надо поддержать мечтателя-мужчину. Секретарем Морского Общества она твердо объясняет длинной веренице любопытных, что они не выживут без моря. Деятельницей Асфальтовой Компании она доказывает, что при новых тротуарах не нужны ни новые туфли, ни летний отдых. Только ее пылом держатся те, кто открыл нам, что «Потерянный рай» написал не Мильтон, а Карл II. Если бы не она, не узнало бы успеха устройство для проветривания шляп. Всегда и везде ее отличают могучая простота и наивная одержимость. Всегда и везде она очень честна и не ведает сомнений.

Розамунду не только удивляло, но и утомляло душевное гостеприимство Мартышки. Она не могла понять, как он дружит и с Оливией, и с Брейнтри. Ей хотелось, чтобы кто-то что-то делал; а Мэррел не делал ничего. Когда же кто-то действительно сделал что-то, она обрадовалась и забыла подумать о том, что же именно он делает.

Внезапно, почти случайно, ее единственному оку открылось то, что и она могла понять, чему и она могла следовать. Несомненно, понять она это могла и потому, что это было как-то связано с традициями, хранить которые ее учили с детства. В отличие от отца она не интересовалась геральдикой; собственно, она не всегда замечала, что у нее есть отец. Но она была рада геральдике не меньше, чем отцу. Те, кто опирается на историю, помнят это хотя бы подсознательно. Как бы то ни было, вскоре все заметили, что она поддерживает безумие библиотекаря.

Мы уже знаем, что новость поистине поразила Сивуда, как гром с ясного неба. Точнее, то была молния, влетевшая во мрак беседки и трепетавшая над головой гостя, пока хозяин не вынул ее. Оба лорда глядели в привязанную к ней записку, один — с большим терпением, другой — с меньшим. Авторы записки предлагали создать новый рыцарский орден; и аристократов волею судьбы коробило, что самовольные аристократы то и дело взывали к кастовой гордости. Предлагались и различные испытания, которые помогут миру серьезно принять рыцарство, хотя мы скажем, честности ради, что слова «самурай» здесь не было. Авторы объясняли, что лишь призыв к древней доблести и верности восстановит в стране порядок. Объясняли они и многое другое; но, с точки зрения двух престарелых политиков, все же не оправдывали самой стрелы.

Лорд Иден молчал; казалось, что он изучает документ внимательней, чем нужно. Лорд Сивуд издал несколько невнятных восклицаний и, повинувшись какому-то чутью, обернулся к двери. То, что он увидел в саду, на другой стороне газона, поразило его не меньше, чем поразили бы златокрылые ангелы.

Однако то были люди в старинных одеждах, многие из них держали луки, а главное — впереди стояла его собственная дочь в чудовищном, рогатом, как буйвол, уборе и широко улыбалась.

Он никогда не думал, что здесь, рядом с ним, что-то может пойти неправильно, тем более — свихнуться; и чувствовал себя так, словно его ударил собственный ботинок или удушил галстук.

— Господи! — вскричало он. — Что это такое?

Чтобы понять его чувства, представьте себе, что кто-то выстрелил из рогатки и чуть не разбил бесценную вазу в доме коллекционера. Вазы могли крошиться вокруг него, не вызывая никаких чувств. Пристрастия человеческие загадочны и многочисленны. Лорд Сивуд коллекционировал премьер-министров. Беседка была для него священна, как храм, ибо в ней витали призраки политиков. Много раз судьба Империи решалась в этом игрушечном шалаше. Лорд Сивуд любил беседовать с общественными деятелями частно и даже тайно. Он был слишком горд и тонок, чтобы желать заметки в газете о том, что премьер-министр посетил его поместье. Но он просто холодел при мысли о заметке, сообщающей, что премьер-министр потерял в Сивуде глаз.

На мальчишек с рогатками он взглянул и бегло, и, конечно, презрительно. Он едва заметил, что одно лицо выделялось почти отталкивающей серьезностью. То было худое лицо одержимого библиотекаря, по сравнению с которым все прочие казались пошлыми и даже смешными. Одни улыбались, кто-то смеялся, но это лишь углубило и негодование, и презрение аристократа. Конечно, друзья Розамунды снова ввели какую-нибудь глупую моду. Ну и друзья у нее, однако!..

— Надеюсь, вы заметили, — холодно, но спокойно сказал он, — что чуть не убили премьер-министра. Изберите себе другую забаву.

Он повернулся и пошел в беседку, удержав себя в границах приличия с незваными гостями. Но когда в тени плетеной крыши он увидел острый бледный профиль, все еще склоненный над бумагой, гнев его снова вырвался наружу. Ледяное лицо дышало бесконечным презрением, которое великий государственный муж только и может испытывать к низкой, но меткой шутке. Молчание походило на ледяную пропасть, куда канули бы без ответа любые мольбы о прощении.

— Просто не знаю, что сказать, — в отчаянии проговорил Сивуд. — Я их выгоню с девчонкой вместе... Все, что в моих силах...

Премьер-министр не поднял глаз. Он все так же холодно глядел в бумагу. Иногда он хмурился, иногда — поднимал брови, но губы его не шевелились.

Лорда Сивуда охватил ужас, неведомый ему самому. Ему показалось, что он нанес оскорбление, которого не смыть и кровью. Молчание мучило его, и он заговорил:

— Бога ради, бросьте вы эту пакость! Конечно, это очень смешно, но мне-то не смешно, в моем доме... Вы же не думаете,

что я разрешу оскорблять моих гостей, тем более — вас. Скажите, чего вы хотите, я все сделаю.

— Т а к , — сказал премьер-министр и медленно положил бумагу на круглый стол. — Вот она, последняя надежда!

— Простите? — переспросил его растерянный друг.

— Наша последняя надежда, — повторил Иден.

В сумрачной беседе воцарилась такая тишина, что стали слышны и жужжанье мухи, и голоса бунтовщиков. Воцарилась она случайно, но Сивуд возмутился всей душой, словно в тишине творилась судьба и надо было разрушить чары.

— Что вы хотите сказать? — спросил он. — Какая надежда?

— Та самая, о которой вы толковали десять минут тому назад, — с мрачной улыбкой отвечал премьер. — Я ведь об этом и говорил, когда стрела влетела, словно голубь с масличной ветвью. Я говорил, что бедная старая Империя совсем выдохлась и нужно что-то новое. Я говорил, что Брейнтри с его демократией надо противопоставить такой же явственный идеал. Ну вот.

— Что вы такое говорите? — спросил Сивуд.

— Я говорю, что их надо подержать! — крикнул премьер-министр и ударил кулаком по столу с силой, почти оскорбительной в таком сухоньком создании. — Надо им дать коней, людей, оружие, а лучше всего — деньги, деньги и деньги! Надо помочь, как мы еще никому не помогали. Господи, да ведь я, старик, дожил до этого! Мне дано увидеть, как дрогнут ряды врага и кавалерия пойдет в атаку! Надо помочь им, и чем раньше, тем лучше. Где они?

— Неужели вы думаете, — воскликнул удивленный Сивуд, — что эти дураки на что-нибудь годятся?

— Предположим, что они дураки, — сказал Иден. — Но я-то не дурак и знаю, что без дураков не обойтись.

Лорд Сивуд сдержался, но все же глядел удивленно.

— По-видимому, вы хотите сказать, что новая полиция... народная или, вернее, — антинародная...

— И то, и то, — откликнулся премьер. — А что тут такого?

— Не думаю, — сказал Сивуд, — что народ выкажет интерес к этим сложным и даже ученым рассуждениям о рыцарстве.

— А вы думали когда-нибудь, — спросил премьер-министр, — о том, откуда во многих языках произошло слово «рыцарь»?

— В переносном смысле? — спросил Сивуд.

— В конском смысле, — отвечал Иден. — Людям нравится человек на коне, что бы он ни делал. Дайте народу развлечения — турниры, скачки, *rapem et circenses*¹ — и он полюбит полицию. Если бы мы могли мобилизовать бег, мы бы предотвратили потоп.

— Я немного начинаю понимать, — сказал Сивуд, — что вы имеете в виду.

— Я имею в виду, — отвечал его друг, — что народу гораздо важнее конское неравенство, чем людское равенство.

¹ Хлеба и зрелищ (лат.).

Быстро переступив через порог, он пошел по саду внезапно помолодевшей походкой, и его хозяин еще не успел шевельнуться, когда услышал звонкий голос, подобный голосу великих викторианских ораторов.

Так библиотекарь, отказавшийся сменить одежду, изменил страну. Из этого ничтожного и нелепого случая и родилась революция или, вернее, реакция, изменившая лик Англии и повернувшая ход истории. Как и все английские революции, особенно — консервативные, она бережно сохранила те силы, которые силу утратили. Самые старенькие консерваторы говорили даже о конституционной борьбе с конституцией. Монархический строй оставался как был, но на практике страну поделили между тремя или четырьмя властелинами поменьше, которые правили огромной областью вроде наместников и назывались, во вкусе времени, боевыми королями. Они обладали и священной неприкосновенностью герольдов, и властью государей; а под их началом находились отряды молодых людей, называвшиеся рыцарскими орденами и выполнявшие функции йоменов или ополченцев. Королевский двор вершил высший суд, в соответствии с разысканиями Херна. Все это было не только карнавалом, но сюда устремилась та народная страсть, которая порождает некогда карнавалы; тот голод очей и воображения, с которым так долго пытались справиться и пуританство, и новый, промышленный уклад.

Это было не только карнавалом, значит — было не только модой, но, подобно моде, знало ступени и неожиданные повороты. Вероятно, главный поворот произошел тогда, когда Джулиан Арчер (теперь — сэра Джулиан, рыцарь) понял как следует, что должен *вести* моду, если не хочет от нее отстать. Все мы, видевшие много поветрий, знаем этот неопределимый, но очень определенный миг. Он бывает везде, от женских прав до женских причесок, и отделяет новую моду от моды как таковой. До него модных людей может быть сколь угодно много, но они заметны; после него заметен только тот, кто моды не принял. Сэр Джулиан появляется именно в этот миг, как появился он и сейчас, сверкающим и бесстрашным рыцарем.

Рыцарь этот был слишком тщеславен, чтобы не быть простодушным, и слишком простодушен, чтобы не быть искренним. Изменения в обществе, называемые модой, и возможны лишь потому, что в людях есть две смешные черты. Во-первых, с каждым человеком так много случается, что он всегда вспомнит хоть что-нибудь, предвещавшее нынешний поворот. Во-вторых, почти все неправильно видят прошлое, и в смещенной памяти эта деталь кажется необычайно важной.

Как мы уже говорили, Джулиан Арчер написал когда-то совершенно детскую повесть о битве при Азенкуре. Он делал очень много другого, и гораздо успешней. Но теперь ему все больше казалось, что новую моду породил он.

— Меня не стали бы слушать, — говорил он, печально качая головой. — Я пришел слишком рано... Конечно, Херн много

читает, это его дело... Он видит все книги, какие только выйдут. А чутья у него хватит, чтобы подхватить мысль...

— Вот оно что!.. — сказала Оливия, в тихом удивлении поднимая черные брови. — Никогда бы не подумала.

И она стала грустно и насмешливо размышлять о своей любви к старине, которой сперва дивились, потом подражали, чтобы забыть о ней теперь.

То же самое произошло и с сэром Элмериком Уистером, отважным, хотя и престарелым рыцарем. Прежде этот эстет превозносил в гостиных великих викторианцев, которые, в свою очередь, превозносили великих художников средневековья. Теперь он превозносил этих художников сам. Он с легкостью убедил себя, что былая снисходительность его к Чимабуэ, Джотто и Боттичелли была гласом вопиющего в пустыне, пролагавшим дорогу помазаннику Нового средневековья.

— Дорогой мой,— доверительно говорил он, — тогда царил чудовищный, варварский вкус. Не знаю, как я и выжил... Но я был тверд, и, сами видите, усилия мои не ушли бесследно. Если бы не я, все просто не знали бы, как одеться... погибли бы самые картины, с которых теперь берут костюмы. Вот что значит сказать вовремя слово...

Даже лорд Сивуд изменился примерно так же. Почти незаметно для него увлечения его сместились. Он больше говорил о геральдике, меньше — о политике; меньше восхвалял Пальмерстона, больше — Черного Принца, к которому возводил свой род. Как и все, он трогательно верил в то, что именно он породил Львиную Лигу и воскресил Львиное Сердце. Особенно поддерживало в нем эту веру новое установление — Щит Чести, которым намеревались вскоре наградить отважнейшего из рыцарей в его собственном парке.

Не менялся лишь один Херн. Как многие мечтатели, он мог быть счастливым в полной безвестности, но не мог измерить или понять собственной славы. Прежде он ходил на край сада; почему же не дойти ему до края света? Он не ведал ступеней величия. Теперь он был вождем, и переход от одиночества к власти очень радовал его. Но он не различал власти в доме и власти в стране; тем более что именно в доме глядел на единственное лицо, чьи изменения были для него подобны восходу и закату солнца.

Глава 14

ВОЗВРАЩЕНИЕ СТРАНСТВУЮЩЕГО РЫЦАРЯ

Когда под давлением Брейнтри и его партии начались всеобщие выборы, Майкл Херн отправился на избирательный пункт, вошел в кабинку и прочно застрял там. Он никогда не голосовал, ибо хетты не знали голосования; но когда ему объяснили, что

надо поставить крестик против имени любезного тебе кандидата, пришел в восторг. Конечно, хеттов он теперь оставил и занимался одним средневековьем; однако он выделил время для почти пустой формальности, хотя мог бы стрелять из лука в голову сарацина. Через час-другой Арчер и его присные начали волноваться. Они принялись колотить в дверь ногами и наконец ворвались в кабинку, где увидели длинную, неподвижную спину, склоненную, как у исповедальни. Пришлось грубо нарушить беседу гражданина с его гражданским долгом, потянув избирателя за край камзола. Это не помогло, и они, в самом недемократическом, но анархическом духе, заглянули избирателю через плечо. Тогда и обнаружилось, что он расставил на полочке одолженные у Оливии краски — золотую, серебряную, всех цветов радуги — и, словно средневековый монах, терпеливо рисует светлый, сияющий крест. По одну его сторону плыли три синих рыбы, по другую летели три алых птицы, внизу цвели цветы и вершили свой ход планеты. По-видимому, Херн взял за образец славословие святого Франциска. Когда его прервали, он удивился, но только вздохнул, узнав, что голос его недействителен, так как он испортил бюллетень.

Однако людям на улице казалось, что и крестика было бы много. Странность этих выборов в том и состояла, что они были очень важны, потому что другое было важнее; они будоражили ум и сердце, потому что все думали о другом. Такими были бы выборы во время революции; собственно, такими они и были, революция началась.

Штаб забастовки, объединившей тех, кто работал в красильной промышленности, а частью — и тех, кто был связан с углем и дегтем, находился в Милдайке; вождем забастовки был Джон Брейнтри. Но она никак не была ограниченной и местной. Она не была одной из тех забастовок, на которые обеспеченный класс ворчит так часто, что неудобства их стали для него привычнее удобств. Такого еще не бывало, и обеспеченный класс вполне обоснованно и даже разумно лопался от злости.

В тот самый час, когда Херн рисовал крест в кабинке, Брейнтри оглашал громовой речью главную площадь Милдайка. То была лучшая его речь, сенсационная не только по форме, но и по содержанию — Брейнтри требовал уже не признания, а контроля.

— Ваши хозяева твердят вам, — говорил о н , — что вы жадные материалисты. Они правы. Ваши хозяева твердят вам, что у вас нет идеалов, нет тяги к славе, воли к власти. Они правы. Вы — рабы для них, вьючный скот, ибо вы только жуете и не ведаете ответственности. Они правы, и будут правы, пока вы требуете денег, пищи, честной оплаты. Покажем им, что мы поняли их урок. Покаемся; исправимся; отрешимся от мелочного любостязания. Скажем им, что у нас есть воля к власти. Скажем, что у нас есть идеалы, что мы жаждем и алчем ответственности.

Радость и слава наша в том, чтобы править праведно, где они правили неправедно, и устроить, что они расстроили. Мы, товарищи и рабочие, будем прямо и просто управлять нашей собственной промышленностью, которая служила прежде лишь тому, чтобы несколько паразитов жили в роскоши своих дворцов.

После этой речи между Брейнтри и дворцами разверзлась бездна. Более того: такие требования восстановили против него многих людей, во дворцах не обитавших. Столь явная и безумная мятежность могла найти отклик лишь в тех, кто и прежде считал себя мятежником; а истинных мятежников мало. Общее мнение выразил приятель Розамунды, Хэнбери, человек добродушный и разумный: «Да ну их, честное слово! Я за высокую плату, сам хорошо плачу лакею и шоферу. Но при этом контроле шофер повезет меня в Маргейт, когда я хочу в Манчестер. Лакей чистит мой костюм и может мне что-то посоветовать. Но при этом контроле я обязан носить желтые брюки с розовым жилетом, если ему захочется».

На следующей неделе пришли вести о результатах двух выборов. Во вторник Херн узнал, что огромным большинством, состоящим из рабочих, выбран Брейнтри. А в четверг, ослепленный внутренним светом, он услышал о том, что рыцарские ордена и выборные коллегии единодушно и восторженно избрали его самого боевым королем западных английских земель. Как во сне прошел он, ведомый эскортом, к высокому трону, на зеленое плоскогорье парка. По правую руку от него стояла Розамунда Северн, дама нового ордена. Она держала сердцевидный Щит Чести, украшенный золотым львом и предначиненный рыцарю, который совершит самый отважный подвиг. Стояла она как статуя, и немногие догадались бы, как хлопотала она и распоряжалась вплоть до этого часа и как походили ее хлопоты на прежние, театральные. По левую руку стоял ее приятель, которого она некогда познакомила с Брейнтри. Вид у него был важный, он уже миновал пору смущения, и средневековый костюм стал для него естественным, как офицерская форма. Держал он так называемый меч св. Георгия, причем — рукояткой вверх, ибо Майкл в одном из своих прозрений сказал: «Человек недостойн носить меч, если не держит его за лезвие. Пусть рука его истекает кровью; зато он видит крест». Херн сидел на троне, над геральдической толпой, и взор его витал над холмистой далью. Так многие фанатики витали высоко над столь же нелепыми сценами; так Робеспьер в голубом камзоле шествовал на праздник Верховного Существа. Лорд Иден уловил отрешенный взор светлых глаз, сияющих, как тихая гладь озера, и подумал: «Он сумасшедший. Для таких людей опасно осуществление их мечты. Но безумием одного можно спасти многих».

— Ах, хорошо! — вскричал сэр Джулиан и шлепнул по рукоятке меча с тем апломбом, который так радовал и утешал его собеседников. — Ну и денек! Мир услышит о нем. Они там узна-

ют, что мы взялись за дело! Брейнтри и его бездельники разбегутся как мыши!

Розамунда стояла улыбающейся статуей, а подруга за ее плечом казалась ее тенью. Но сейчас Оливия заговорила.

— Он не бездельник, — сказала она, и голос ее зазвенел. — Он инженер, и знает больше, чем вы. Кто вы такие, если уж на то пошло? По-моему, инженер не хуже библиотекаря.

Настало мертвое молчание. Джулиан развел руками и взглянул вверх, словно ожидая кары небесной за такое кощунство; но дамы и рыцари глядели вниз, на свои остроносые башмаки, ибо они знали, что это — дурной тон, который хуже любых кощунств.

Король не покидал трона и не замечал оскорбившей его женщины. Он грозно взглянул на Джулиана Арчера, и невольный трепет подсказал всем, что, по крайней мере, один человек верит в королевскую власть.

— Сэр Джулиан, — строго сказал король, — вы не поняли рыцарских уставов. Вы не знаете, что вернулись те прекрасные дни, когда противника не поносили. Олень и благородный вепрь, царственные звери, могли обратиться и растерзать охотника. Мы почитаем наших врагов, даже если они — звери. Я знаю Джона Брейнтри; я не знаю человека отважнее его. Неужели, сражаясь за свою веру, мы будем издеваться над тем, кто сражается за свою? Идите и убейте его, если посмеете. Если же он убьет вас, смерть вас прославит, как обесчестил язык.

Особое ощущение (или наваждение) околдовало всех хотя бы на минуту. Он говорил совершенно свободно, сам от себя, но всем показалось, что это — воскресший король средних веков. Точно так же Ричард Львиное Сердце мог бы говорить рыцарю, оскорбившему Саладина.

Но еще удивительней было другое. Бледное лицо Оливии Эшли вспыхнуло, а из уст ее вырвался не то возглас, не то вздох:

— Ах, и правда началось!..

И с этой минуты она стала двигаться легко, словно сбросила бремя. Она как бы очнулась, увидела впервые прекрасный танец, подобный прежним ее мечтам, и присоединилась к нему. Темные глаза ее сияли, будто она что-то вспомнила. Чуть позже она заговорила с подругой и прошептала ей, как секрет:

— Он так и думает! Он все понимает! Он не прислужник и не хвастун, он верит в добрые старые дни... и в добрые новые дни.

— Конечно, так и думает! — гневно воскликнула Розамунда. — Конечно, верит! Если бы ты знала, что было со мной, когда я увидела *дела*. У нас ведь только болтали, и Дуглас, и Джулиан, все. И прав, что верит! Как можно над ним смеяться? Уродливые костюмы смешней красивых. Смеяться надо было тогда, когда мужчины носили брюки! — И она долго защищала его с тем пылом, с каким практичная женщина повторяет чужие мысли.

Оливия смотрела между тем с зеленой высоты на длинную дорогу, растворявшую свое серебро в меди и золоте заката.

— Как-то меня спросили,— сказала она, — верю ли я, что вернется король Артур. Сейчас, в такой вечер... представь себе, что вдали, на дороге, появится рыцарь и привезет нам весть от него...

— Странно, что ты это говоришь, — сказала разумная Розамунда. — Там и правда кто-то едет... кажется, он на коне.

— Скорей за конем,— тихо сказала Оливия. — Солнце, ничего не разглядишь... Какая-то римская колесница... Кажется, Артур был римлянин?

— Удивительный у него вид... — сказала Розамунда, и голос ее тоже изменился.

Вид у королевского вестника и впрямь был удивительный. По мере его приближения изумленным взорам средневековой толпы все четче являлась дряхлая колесница кеба, увенчанная человеком в дряхлой шляпе. Наконец возница снял ее, приветствуя собрание, и все увидели простое лицо Мартышки.

Дуглас Мэррел снова надел набекрень засаленную шляпу и скатился с кеба. Не всякий скатится с кеба -достоинo, но ему это удалось. Шляпа слетела, он ловко поймал ее и направился прямо к Оливии.

— Ну вот,— сказал он без малейшего смущения. — Краску я вам привез.

Собрание взирало на его брюки, воротничок и галстук (особенно занимательные на лету), и чувство у всех было такое, какое бывает, когда увидишь старомодный костюм. Примерно это ощущал и он, впервые увидев кеб, хотя кебы совсем недавно ползали по Лондону. Мода затвердевает быстро, и быстро приывают люди.

— Мартышка! — чуть не задохнулась Оливия. — Где же вы были? Неужели вы ничего не слышали?

— Такую краску сразу не найдешь, — скромно ответил Мэррел. — А с тех пор, как у меня кеб, я подвозил людей по дороге. Но краску я достал, вот она.

Только тут он заметил, как странно все вокруг, хотя контраст был так велик, словно он, подобно пресловутому янки, скатился из современной жизни во двор короля Артура.

— То есть она в кебе,— продолжал он. — Такая самая, как вы хотели. Господи, неужели они еще играют? «Назад к Мафусилу», а? Я знал, что перо у вас плодовитое, но чтобы играть больше месяца...

— Это не пьеса, — отвечала она, не сводя с него удивленного вора. — Началось с пьесы, но теперь мы уже не играем.

— Очень жаль,— сказал Мэррел. — Я тоже повеселился, но были и не очень веселые дела. Где премьер? Я бы хотел поговорить с ним.

— Всего сразу не расскажешь! — почти нетерпеливо вскричала она. — Неужели вы не знаете, что больше нет никаких премьер-министров? Тут правит король.

Дуглас Мэррел принял это спокойнее, чем можно было ожидать; вероятно, он вспомнил беседу в библиотеке. К средневековому властелину он обратился по всей форме. Он отвесил поклон, нырнул в кеб и вынырнул, держа в одной руке неуклюжий сверток, а в другой шляпу. Развязать пакет одной рукой ему не удалось. Тогда он повернулся к трону.

— Простите, Ваше Величество,— сказал он.— Кажется, мой род издавна имеет право не снимать шляпы в присутствии короля. Что-то такое нам дали, когда мы безуспешно пытались спасти из темницы принцессу. Понимаете, шляпа мне мешает, хотя я ее нежно люблю.

Если он ожидал хотя бы ответа шутки на лице одержимого, он его не дождался. Властелин ответил с полной серьезностью:

— Наденьте шляпу. Суть вежливости— в ее цели. Я не думаю, что кто-либо осуществлял такую привилегию. Помнится, один король сказал наделенному ею вельможе: «Вы вправе оставаться в шляпе при мне, но не при дамах». Поскольку в данном случае вы служите даме, вы вправе шляпу надеть.

И он обвел присутствующих взглядом, словно был уверен, что логика его убедила всех так же, как его самого; а Мэррел торжественно надел шляпу и принялся разворачивать многослойный сверток.

Когда он развернул его, там оказалась круглая, очень грязная баночка, испещренная загадочными узорами и письменами; когда же он вручил баночку Оливии, он увидел, что поиски его не напрасны. Мы не знаем, почему так действует на нас самый вид не виданных с детства предметов; но, увидев грязный низенький флакончик с широкой пробкой и маркой— условными рыбами, Оливия сама удивилась, что глаза ее полны слез. Она словно услышала снова голос отца.

— Как же вы их нашли?— воскликнула она, хотя сама же просила зайти в магазин здесь, рядом, в городе. Восклицание это открыло и ей, и ему бессознательный пессимизм ее мечтаний о старине. Она не верила, что воскреснет хоть одна из любимых ею вещей. Краска лишь завершила доверие, возникшее в ней, когда Херн укорял Арчера. И краски, и укор были настоящими. Все эти костюмы и церемонии могли оказаться и пьесой. Но краски для книжных миниатюр были жизнью, такой же реальной, как кукла, когда-то потерянная в саду. С этой минуты Оливия точно знала, на чьей она стороне.

Однако мало кто в цветистой толпе разделял ее чувства. Никто, кроме нее, не ощутил, как странно, что Мэррел уехал рассыльным, а вернулся рыцарем. На взгляд модных людей он рыцарем не был. Тела их привыкли к новым одеждам, глаза— к новым краскам. Они уже не думали о живописности своих костюмов, но остро ощущали, что Мэррел портит картину. Он мешал, как пятно на пейзаже, как пробка на шумной улице, когда дружелюбно гладил свою чудовищную лошадь, которая неуклюже отвечала на ласку.

— Поразительно! — с обычным своим пылом сказал Арчер молодому оруженосцу, державшему меч. — Он ведь просто *не видит*, что ему здесь не место. Как трудно с такими людьми...

Он погрузился в угрюмое молчание, поневоле слушая, как и его соратники, беседу пришельца с королем. Все нервничали, и не без причины, ибо все понимали, как раздражает фарсовая сцена мечтателя на троне. Особенно тревожила подчеркнутая, почти балаганная куртуазность Мартышки, который — за отсутствием и премьер-министра, и хозяина этих земель — рассказывал нынешнему властителю о странствиях одряхлевшего кеба в неведомых краях. До невежливости вежливые фразы слились в нескончаемый монолог, отчасти походивший на рассказ путешественника при дворе сказочного короля. Но, устало вслушавшись, Арчер простился с этой романтической мечтою. Мэррел рассказывал об истинных происшествиях, к тому же — очень глупых.

Сперва он пошел в магазин. Потом в другой магазин или в другой отдел того же магазина. Потом в кабак. Вот так он всегда, рано или поздно, попадает в кабак, и скорее рано, чем поздно, словно тебе не могут все тихо подать тут же, дома. За этим последовал пересказ какой-то кабацкой беседы, в ходе которой Мартышка, весьма неуместно, изображал прислугу. Потом он попал в трущобы какого-то приморского города и почему-то свел знакомство с кучером. Потом он впутался в какую-то историю. Всякий знает, что Мартышка любит розыгрыши, но, надо отдать ему справедливость, раньше он ими не хвастался, да еще так нудно. Кажется, он разыграл какого-то доктора, и того заперли вместо сумасшедшего. Жаль, что они не разобрались и не заперли Мартышку. Но какое отношение все это имеет к Брейнтри? О, Господи, он опять говорит! Появилась девушка. Вот в чем дело!.. А всегда притворялся закоренелым холостяком... Только зачем он делится этим теперь, когда надо приступить к ритуалу Щита и Меча? Почему застыл на месте король? Наверное, сердится. А может, заснул.

Однако прочие, в том числе оруженосец с мечом, не были столь чувствительны к дурному вкусу. Неуместность рассказа терзала их души меньше, чем чуткую душу Арчера. Но принимали они рассказ ничуть не более серьезно. Одни постепенно заулыбались, другие — засмеялись, но неловко, словно смеются в церкви. Никто не понимал, о чем говорит Мэррел, и почему он об этом говорит. Тех, кто хорошо его знал, поражала его точность. А король не шевелился, и никто не ведал, окаменел он от гнева или оглох.

— Вот и в с е , — доверительно и легко закончил Мэррел, нарушая стиль рыцарского р о м а н а . — Вы скажете, оба они слепые, но слепота бывает разная. Как говорится, есть слепцы, которые из чрева родились так, а есть слепцы, которые ослеплены от людей. По-моему, Хэндри просто ослепили, — мучили, мучили, и он ослеп. А другой врач слепым родился, слепота ему нравится. Так



что мне все равно, запрут его или нет... да не запрут, я потом заходил, смотрел... И давай бог ноги, чтоб полицейский не поймал. Сел в кеб, и понеслись мы стрелой... Вот и все.

Речь эта канула в бездну; однако самые нервные заметили, что статуя пошевелилась. Когда же она заговорила, голос ее не походил на божий гром. И слова ее, и тон напоминали скорее спокойное распоряжение судьбы.

— Х о р о ш о , — сказал к о р о л ь . — Дайте ему щит.

Именно в эту минуту сэр Джулиан Арчер выпустил Движение из своих многоопытных рук. Позже, когда разразилась беда, он часто говорил с печальной пронизательностью своим друзьям по клубу, что всегда понимал, как ложен был самый путь. На самом деле он и растерялся оттого, что ничего не понял; все выскользнуло вдруг из его отважной длани, словно воздушный шарик внезапно вырос и оборвал веревку. Сэр Джулиан легко и элегантно сменил модный костюм на средневековый наряд; но так поступил весь его круг, не говоря уж о дочери лорда. Ему было труднее вытерпеть все, что внесли в атмосферу кеб и шляпа. Но когда Майкл Херн поднялся и заговорил, не переводя дыхания, он перестал понимать что бы то ни было. Он чувствовал себя так, будто попал в мир нелепицы, где события ничем не связаны. Да, понять нельзя было ничего, кроме одного: Херн сердился. Конечно, кто не рассердится, увидев такую шляпу. Однако шляпа долго маячила темным пятном, а король на нее и не глядел. О чем Херн говорит, сэр Джулиан понять не мог, но подозревал, что тот рассказывает какую-то историю. Рассказывал он ее странно — и возвышенно, и грубо, как бывает в Писании и всяких таких книжках. Никто не догадался бы, что эту же историю уже рассказал Дуглас Мэррел. Во всяком случае, Джулиан Арчер слышал ее впервые.

Размеренная речь сменилась на сей раз быстрой, слова подгоняли друг друга, Херн очень спешил, будто ему дали подзатыльник, но Арчер кое-как разобрал, что рассказывает он о каком-то старике и об его дочери, которая преданно сопровождала отца, когда его обокрали воры и он узнал беду (тут перед внутренним его взором замелькали картинки из старинных детских книг, изображающие очень оборванную дочь и длиннородого старца). Ни у дочери, ни у отца не было никого на свете; мир забыл их; они никому не мешали; никому не причиняли вреда. Но в их убогой норе их нашли чужие люди, чью холодную злобу не очеловечил даже пыл ненависти. Они изучили старика, словно подопытное животное, и утащили его, словно труп. Им не было дела до горестных добродетелей, над которыми они посмеялись, и белых цветов верности, которые они втоптали в грязь.

— Вы, — кричал король отсутствующим в р а г а м , — вы, обвиняющие нас в том, что мы вернули тиранию и золото корон! Где вы читали, чтобы короли вершили такие дела? Где вы читали такое даже про тиранов? Делал ли так Ричард I? Делал ли так его брат? Вы знаете о феодалах самое худшее. Вы знаете Иоанна

Безземельного по «Айвенго» и приключенческим романам. Он — предатель; он — деспот; он грешен всем; в чем же его грехи? В том, что он убил принца. В том, что обманул лордов. В том, что он вырвал зуб у банкира, вредил отцу, изгнал брата. Опасно жилось в тот век! Опасно быть принцем, опасно быть лордом, опасно подойти к водовороту королевского гнева. Тот, кто шел во дворец, не мог поручиться, что выйдет. Он входил в логовище льва, даже если там обитал прозванный Львиным Сердцем. Тогда говорили: горе богатым, ибо они возбуждают королевскую зависть. Горе знатым. Горе счастливым.

Но кто и когда говорил о том, чтобы могучий ловец перед Господом или пред Сатанюю, бросив охоту, выворачивал камни, дабы украсть личинки у наскомых, или лазал по лужам, дабы оторвать головастика от лягушки? Была ли у тех королей мелочная злоба, которой убогий гнуснее гордого, которая велит мучить всех и наводняет мир соглядатаями, чтобы помешать влюбленному рабу, и посылает воинства, чтобы разлучить нищего с его ребенком? Короли бросали бедным проклятие или монету. Они не останавливались, чтобы разъять на части их жалкий дом и ввергнуть человеческие души, живущие печальной привязанностью, в последнюю, тягчайшую скорбь. Добрые короли ухаживали за нищими, как слуги, даже если нищие эти были прокаженными. Злые короли давили их по дороге и оставляли много денег на мессы и милостыню. Но они не заковывали в цепи слепого, как заковали сейчас старика, толкующего о слепоте. Вот какой паутиной бед и бедности вы облекли всех несчастных, ибо вы, прости нас Господи, такие гуманисты, такие либералы, такие филантропы, что не можете и помыслить о короле.

Вы обвиняете нас, когда мы хотим вернуть былую простоту. Вы обвиняете нас, когда мы скажем, что человек мог бы не делать того, что делают ваши машины, если он станет не машиной, а человеком. Что же противостоит нам, кроме машин? Что возразит нам Брейнтри? Что мы сентиментальны, что мы не признаем общественных наук, экономических наук, объективных, строгих, логических наук — словом, той науки, которая оторвала старика, словно прокаженного, от всего, что он любил. Мы ответим Брейнтри, что знаем науку. Мы ответим Брейнтри, что знаем о ней слишком много. Мы ответим Брейнтри, что с нас хватит и науки, и просвещения, и общественного строя, который держится ловушками машин и смертельным лучом знания. Передайте Джону Брейнтри весть: все кончается, и это кончилось. А для нас этот конец — начало. На заре новой жизни, в собрании рыцарей, среди лесов Веселой Англии, я вручаю щит тому, кто совершил единственный подвиг наших дней: покарал хотя бы одного злодея и спас хотя бы одну женщину.

Он быстро сошел с трона, выхватил у Хэнбери меч, взмахнул им — тот засверкал огнем, как меч Архистратига, — и над застывшей толпой прозвучали старые слова, посвящающие человека Богу и беззащитным.

Глава 15

ПЕРЕКРЕСТОК

Когда Оливия уходила после этой гневной речи, она была бледней, чем обычно, не только от волнения, но и от боли, которую сама причинила себе. Ей казалось, что она дошла до края, до конца, до распутья, где делают выбор. Такие женщины мучают себя, если дело идет о нравственности. Она не могла жить без веры, особенно — без алтаря и жертвы. Кроме того, у нее был очень четкий ум, и она воспринимала идеи как реальность. Теперь она ясно увидела, что больше нельзя поддерживать романтическое перемирие, если не хочешь честно перейти на сторону врага. Если бы она перешла, она бы не вернулась, и многое осталось бы позади. Будь это весь мир, то есть высший свет, она бы знала что делать; но это была Англия, это была верность, это была просто нравственность. Будь новое движение ученой причудой, или красивым зрелищем, или даже тешащим чувства возвратом к старине, о котором она мечтала, она легко покинула бы все это. Но теперь, всем умом и всем сердцем, она понимала, что уход — измена знамени. Особенно убедило и тронуло ее обличение тех, кто обидел Хэндри. Дело Херна стало делом ее отца. А покинуть Брейнтри, как это ни смешно, ей помогли слова о нем его отважного врага. Никому ничего не сказав, она вышла за ворота и направилась к городу.

Медленно бредя сквозь мрачные предместья к еще более мрачному центру, Оливия поняла, что пересекла границу и движется в незнакомом мире. Конечно, она сотни раз бывала в таких городах, и в этом городе, ибо он лежал рядом с поместьем, где жила ее подруга. Но граница, которую она пересекла, была не пространственной, а временной; нет, духовной. Словно открывая еще одно измерение, Оливия узнавала, что рядом с ее миром есть и всегда был другой, неведомый ей мир, о котором она ничего не читала в газетах и даже не слышала после обеда от политиков. Как ни странно, политики и газеты особенно мало сообщали о нем именно тогда, когда, по всей видимости, о нем говорили.

Забастовка, начавшаяся где-то на шахтах, продолжалась уже не меньше месяца. И Оливии, и ее друзьям она казалась революцией, и знали они немногочисленную, но четко очерченную группу главарей. Но сейчас Оливию удивила не революция. Ее удивило, что все это ничуть на революцию не похоже. По глупым фильмам и пьесам о французской революции она думала увидеть ревущую толпу полуголых бесов. То, что она видела сейчас, одни описывали страшной, другие — безобидней, чем на самом деле. Для наемных писак одной партии это был бунт кровавых бандитов против Бога и Подснежника, для наемных писак другой это было досадное недоразумение, которое уладят со дня на день добрые министры. Оливия слышала всю жизнь разговоры

о политике, хотя никогда в них не вникала. Однако она верила, что это и есть современная политическая жизнь, и «заниматься политикой» значит «заниматься вот этим». Она верила, что премьер-министр, парламент, министерство иностранных дел, министерство торговли — политика, все остальное — революция. Но, проходя мимо людей, собравшихся кучками на улицах, а потом — в коридорах учреждений, она постепенно поняла совсем иное.

Она поняла, что существует неведомый ей премьер-министр, и это — знакомый ей человек. Она поняла, что существует неведомый парламент, где человек этот недавно произнес историческую речь, которая не войдет в историю. Здесь было и министерство торговли, и другие министерства, стоявшие вне государства, точнее — против государства. Здесь была бюрократия; здесь была иерархия; здесь была армия. Система эта обладала всеми недостатками систем, но никак не походила на дикую чернь из фильмов. Оливия слышала разные имена, как слышала их в гостиниой, но не знала никого, кроме Брейнтри и еще одного политика, осмеянного своевольной прессой. О государственных деятелях этого сокрытого государства здесь говорили просто и спокойно, и ей казалось, что она свалилась сюда с луны. Джимсон, в сущности, был молодец; Хитчинс когда-то умел работать, но теперь совершал ошибки; а с Недом Брюсом приходилось держать ухо востро. Брейнтри упоминали часто, иногда — ругали, что очень огорчало Оливию; когда же его хвалили, ей становилось страшно. Хэттона, которого в газетах изображали каким-то поджигателем, почти все осуждали за излишнюю осторожность и даже дружбу с хозяевами. Некоторые говорили, что он подкуплен.

Да, профсоюзное движение было скрыто от умной и тонкой английской леди куском бумаги, куском газеты. Оливия ничего не знала о разнице между профсоюзами; об истинных недостатках профсоюзов; о людях, за которыми шло не меньше народу, чем за Наполеоном. Улица кишела незнакомыми, и особенно чужими казались лица, которые Оливия уже видела. Она заметила толстого кучера, приятеля Мартышки. Он слушал других, и его широкое, доброе лицо сияло, словно он со всеми соглашался. Если бы мисс Эшли побывала с Мэррелом в ночных кабаках, она узнала бы старого Джорджа, кротко ухмылявшегося под стрелами политического спора, как ухмылялся он под стрелами остроумия. Если бы она лучше знала, чем живет народ, она поняла бы, что означает присутствие в уличной толпе сонных и благодушных бедняков. Но она сразу же забыла о них, когда проникла во внешний двор храма (очень похожий на приемную какого-нибудь учреждения), и услышала голос в коридоре, а потом — шаги.

Джон Брейнтри вошел в комнату, и Оливия увидела, словно в ярком свете, все, что ей нравилось в нем, и все, что ей не нравилось в его одежде. Он еще не отрастил бороду; худым он

был всегда, но из-за стремительности своей казался изможденным; силы в нем не убавилось. Когда он увидел Оливию, он окаменел. Забота исчезла из его глаз, осталась сияющая печаль. Ведь заботы — всего лишь заботы, что бы мы им не отдавали, а печаль — обратная сторона радости. Оливия встала и заговорила с непривычной простотой.

— Что мне сказать? — начала она. — Наверное, нам надо расстаться.

Так признали они впервые, что были вместе.

Существует много неверных мнений о дружеском разговоре, тем более — о душевной беседе. Люди редко говорят правду, когда они, даже скромно, говорят о себе; но многое открывают, когда говорят о чем-нибудь ином. Оливия и Брейнтри так долго и часто разговаривали о чем угодно, кроме самих себя, что понимали друг о друге все, и по замечанию о Конфуции могли догадаться, что думает собеседник об еде. Сейчас, когда они неожиданно и, казалось бы, беспричинно дошли до перелома, они говорили притчами; и понимали друг друга.

— Боже мой! — сказал Брейнтри.

— Вы это говорите, — сказала Оливия, — а я это думаю.

— Я не атеист, — невесело улыбнулся Брейнтри. — Но я не вправе сказать «мой». А вам, наверное, Бог принадлежит, как и много других хороших вещей.

— Неужели вам кажется, — спросила она, — что я не отдала бы многого ради вас? Но есть в душе такое, чего не отдашь ни за кого.

— Если бы я не любил вас, я бы мог солгать, — сказал он, и снова они не заметили, что впервые звучит это слово. — Как бы я лгал вам, как укорял бы за то, что вы сбивали меня с толку, и просил бы не лишать меня нашей интеллектуальной дружбы, и требовал объяснений!.. Господи, ну что бы мне стать настоящим политиком! Только настоящий политик скажет, что политика — не в счет. Как хорошо и легко говорить обычные, привычные, газетные фразы: конечно, мы расходимся во взглядах, но... мы на разных позициях, однако... лично я посмею сказать, что никогда... Англия гордится тем, что никакие политические споры не в силах помешать добрым отношениям... о, черт их дери, какая чушь! Я понимаю и себя и вас. Мы с вами — из тех, кто не может забыть о добре и зле.

Он долго молчал, потом сказал еще:

— Значит, вы верите в Херна и в его рыцарей? Значит, вы верите, что это — рыцарственно, и даже понимаете почему?

— Я не верила в его рыцарство, — отвечала она, — пока он не сказал, что верит в ваше.

— Очень мило с его стороны, — серьезно сказал Брейнтри. — Он хороший человек. Только боюсь, что его похвалы повредят мне в моем лагере. Для многих наших людей такие слова стали символами.



— Я могла бы ответить вашим людям, — сказала она, — как вы ответили мне. Да, меня считают старомодной, а они не отстают от времени. Я сержусь на них, я могла бы их оскорбить, назвать модными, но я не стану, хотя моде они следуют. Они ведь не меньше умных дам верят в женскую независимость, и равноправие, и прочее. И вот, они скажут, что я старомодна, словно я — рабыня в гареме. А я брошу им вызов из той беды, в какую я теперь попала. Они толкуют о том, что женщина должна сама избрать свой путь. Часто ли жены социалистов нападают на социализм? Часто ли невесты депутатов голосуют или выступают против них? Девять десятых революционерок идут за революционерами. А я независима. Я выбрала свой путь. Я живу своей собственной жизнью, и жизнь эта очень печальна, потому что я не пойду за революционером.

Они снова молчали; такое молчание длится потому, что и ненужно, и невозможно что-нибудь спросить. Потом Брейнтри подошел к ней ближе и сказал:

— Что ж, и мне плохо. Это логично, но жизнь — такая зверская штука, что логику и не опровергнешь. Легко ругать логику, но альтернатива ей — ложь. А еще говорят, что женщины нелогичны, потому что они не тратят логики на пустяки! Господи, как же вырваться из логики?

Всякому, кто не понимал, как они изучили друг друга, беседа эта показалась бы цепочкой загадок; но Брейнтри заранее знал разгадки. Он знал, что Оливия верит, а вера — это отказ. Он знал, что, пойдя она за ним, она не жалела бы жизни, помогая ему. Но она не могла ему помогать — и не шла за ним, тоже не жалея жизни. Их распря, родившаяся из глупых фраз и ответов наугад в зале Сивуда, преобразилась, углубилась, просветлела, а главное — обрела четкость, ибо они узнали самое лучшее друг о друге и поднялись на высоты разума, который он так почитал. Люди смеются, читая о таких вещах в рассказах о римской добродетели, но значит это, что сами они никогда не любили одновременно и друга, и истину.

— Что-то я знаю лучше, чем вы, — наконец сказала она. — Вот вы подшучивали над моими рыцарями. Не думаю, что вы будете над ними шутить, когда с ними боретесь, но вы бы шутили, если бы мы вернулись в те веселые дни. Смешного и даже веселого тут мало. Стихи бывают проще, чем проза, а кто-то сказал: «сердца наши — любовь, и вечное прощенья». Вы читали у Мэлори о том, как прощались Ланселот и Гиневра?

— Я читаю это на вашем лице, — сказал он и поцеловал ее, и они простились, как те, что любили друг друга в Камелоте.

За стенами на темных улицах густела толпа и полз шепоток затянувшегося ожидания. Как все в неестественной жизни, навязанной забастовкой, рабочие нуждались в происшествиях, хороших или плохих, которые бы их подстегивали. В этот вечер

ожидалось большое представление. Еще нельзя было сказать, что кто-то запаздывал, но люди ощущали какую-то неточность. Однако Брейнтри вышел на балкон всего на пять минут позже, чем думал. И толпа разразилась приветственными криками.

Он еще не сказал десяти слов, когда стало ясно, что говорит он не так, как принято среди английских политиков. То, что он хотел сказать, требовало иного слога. Он не признавал суда; и само это трогало эпические глубины толпы. Нельзя восхищаться тем, в чем нет завершенности. Потому и не овладевали ни одной толпой идеи о постепенном нравственном изменении или прогрессе, ведущем неведомо куда.

Новое правительство решило судить забастовщиков особым судом. Забастовка охватила теперь красильную промышленность; и промышленники надеялись, что удастся уладить дело проще и прямее, чем улаживали его компромиссы профессиональной политики. Но улаживать их собирались; на этом настаивали новые правители; с этим не соглашался Брейнтри.

— Без малого сотню лет, — говорил он, — от нас требовали, чтобы мы уважали конституцию, и короля, и палату лордов, и даже палату общин (смех). Нам полагалось ее уважать, нам одним, больше никому. Мы поклялись, мы послушны, мы принимаем всерьез лордов и короля. А они свободны. Когда им надоедает конституция, они развлекаются переворотами. Они в одни сутки перевернули правительство и сообщили нам, что отныне мы не в конституционной монархии, а на маскараде. Где король? Кто у нас король? Библиотекарь, занимающийся хеттами (смех). И мы должны предстать перед его судом (крики) и объяснить, почему нас сорок лет мучили, а мы не устроили переворота (громкие крики). Пусть слушают библиотекаря, если им хочется. Мы не тронем древнего рыцарского ордена, которому десять недель от роду; мы будем уважать старинные идеалы, родившиеся лишь вчера. Но суда мы слушать не будем. Мы не подчинились бы законным консерваторам — с чего же нам подчиняться консерваторам беззаконным? А если эта антикварная лавка вызовет нас в суд, ответ наш будет прост: «Мы не придем».

Брейнтри сказал, что Херн занимается хеттами, хотя прекрасно знал и нередко говорил, что теперь он занимается средневековьем. Однако сейчас он бы удивился тому, как много Херн занимается. Они непрестанно вели спор, как ведут его два противоположных типа правдоискателей. Одни правдоискатели с самого начала знают, чего хотят; поле их зрения, пусть ограниченное, ослепительно-ясно, а все прочее или соответствует ему, или нет. Другие могут поглотить целые библиотеки, не догадываясь, какого они духа, и создают сказочные страны, в которых сами невидимы или прозрачны. Брейнтри знал с самого начала, почти с самой ссоры в длинном зале, как нелепо его сердитое восхищение. Он знал, как удивительна и невозможна его любовь. Бледное, живое и гордое лицо с острым подбородком врезалось в его

мир, как меч. Ее мир он ненавидел особенно сильно, ибо не мог ненавидеть ее самое.

У Майкла Херна все шло наоборот. Он и не замечал, чьи романтические чары вдохновили его романтический мятеж. Он чувствовал только, как растет в нем радость, мир расширяется и светлеет, словно восходит солнце или начинается прилив. Сперва любимое дело стало для него праздником. Потом праздник стал пиром или торжественным действием во славу божества. Лишь в глубине его сознания теплилась догадка, что это — богиня. У него не было близких, и когда любовь захватила его, он о ней не догадался. Он сказал бы, что ему помогают прекраснейшие люди, он говорил бы о них, как о сонме ангелов, — но если бы Розамунда поссорилась с ним и ушла, он бы все понял.

Это случилось; и, вполне естественно, случилось всего через полчаса после того, как былые враги, а потом Друзья, расстались возлюбленными. Когда они говорили слова прощания под шум и лязг политических споров, тот, кто разлучил их, хотя и как символ, открыл, что в этом мире мужчине выпало быть не только символом. Он увидел Розамунду на зеленом уступе, и земля преобразилась.

Весть о вызове, брошенном Брейнтри, смутила и огорчила самых благодушных из рыцарей, но Розамунду она разгневала. Пустая трата времени больше значила для нее, чем измена принципу; и забастовка бесила ее прежде всего как заминка. Многим кажется, что женщины привнесли бы в политику кропотливость или чувствительность. Но женщина опасна в политике тем, что она слишком любит мужские методы. На свете очень много Розамунд.

Она не могла разрядить раздражение с окружавшими ее мужчинами, хотя они относились к Брейнтри хуже, чем она. Отец растолковал ей ситуацию, которую, по его мнению, легко исправил бы, растолковав мятежникам. Но поскольку слова его укачали даже дочь, она в этом усомнилась. Лорд Иден говорил короче. Он сообщил ей, что время покажет, и возложил надежду на экономические трудности в мятежном стане. Намеренно или нет, он ничего не сказал о движении, которое сам поддержал. Все вели себя так, словно на сверкающий строй упала тень. За парком, за воротами рыцарского края, современный дракон, промышленный город, с дерзкой насмешкой извергал в небо черный дым.

— Они выдохлись, — жаловалась Розамунда Мартышке, которому жаловались все. — Вы не могли бы их расшевелить? Столько хвастались, трубили...

— Это называется «моральный подъем», — ответил он. — Хотя зовут это и пустозвонством. Можно приставить каждого к флагу, но бороться флагами трудно.

— Да вы знаете, что сделал Брейнтри? — гневно вскричала Розамунда. — Он бросил нам вызов, оскорбил короля!..

— Что же еще ему делать? — спросил Мэррел. — Я бы на его месте...

— Вы не на его месте! — воскликнула она. — Вам не кажется, Дуглас, что пора выбрать свое место?

Мэррел устало улыбнулся.

— Да, — сказал он, — я вижу обе стороны вопроса. Вы, конечно, скажете, что я просто обхожу его...

— Нет! — в ярости выговорила она. — Того, кто видит обе стороны вопроса, я бы ударила по обоим щекам.

Чтобы не поддастся этому порыву, она понеслась ураганом по лугам и уступам к старому саду, где когда-то играли пьесу «Трубадур Блондель». В этом зеленом покинутом театре стоял, как тогда, отшельник в зеленой одежде и, закинув львиную голову, глядел вверх долины на город, извергающий дым.

Розамунда застыла на месте, словно ее опутали воспоминания, словно она любила и утратила то, чего на свете нет. Звуки и краски спектакля вернулись к ней и усмирили ее на миг, но она смела их, как паутину, и твердо сказала:

— Ваши мятежники бросили нам вызов. Они не придут на суд.

Он обвел парк близоруким взглядом. Только пауза показала, что он почувствовал, услышав ее голос.

— Я получил письмо, — негромко ответил он. — Оно написано мне. Оно написано ясно. На суд они придут.

— Придут! — взволнованно повторила она. — Значит, Брейнтри сдался?

— Да, придут, — кивнул он. — Брейнтри не сдался. Я и не ждал, что он уступит. Я за то его и уважаю, что он не уступил. Он человек последовательный и храбрый. Такого врага приятно иметь.

— Не понимаю, — сказала она. — Как же так? Не уступит и придет...

— Новая конституция, — объяснил он, — предусматривает подобные случаи, как, вероятно, и все конституции на свете. Примерно это называлось у вас принудительным приводом. Не знаю, сколько человек мне понадобится. Я думаю, хватит нескольких дружин.

— Как! — закричала она. — Не приведете же вы их силой?

— Приведу, — отвечал он. — Закон совершенно ясен. Я — только исполнитель, моей воли тут нет.

— У вас больше воли, чем у них у всех вместе взятых, — сказала она. — Послушали бы вы Мартышку!

— Конечно, — с научной честностью прибавил он, — я предполагаю, а не предсказываю. Я не могу ручаться за чужие действия и успехи. Но они придут, или я больше не придду.

Его темная речь проникла наконец в ее сознание, и она вздрогнула.

— Вы хотите сказать, что будет сражение? — спросила она.

— Мы будем сражаться, — ответил он, — если будут сражаться они.

— Вы единственный мужчина в этом доме! — воскликнула она и ощутила, что он дрожит.

Он так быстро потерял власть над собой, словно его сломили, и странно закричал.

— Не говорите мне этого! — промолвил о н . — Я слаб. Я слабее всего сейчас, когда мне надо быть сильным.

— Вы не сла бы , — сказала она, обретая прежний голос.

— Я безумен , — сказала о н . — Я вас люблю.

Она онемела. Он схватил ее руки, и его руки задрожали, словно их до плеча пронзил электрический ток.

— Что я делаю, что говорю? — воскликнул о н . — Вам, которой так часто это говорили... Что вы скажете мне?

Она прямо глядела ему в лицо.

— То, что сказала, — ответила о н а . — Вы — единственный мужчина.

Больше они не говорили; за них говорили могучие уступы, поднимавшиеся к угловатым скалам, и западный ветер, качавший верхушки деревьев, и весь Авалон, видевший некогда и рыцарей, и влюбленных, полнился ржаньем коней и звоном труб, которые оглашают долину, когда короли уходят в битву, а королевы остаются и правят вместо них.

Так стояли они на вершине мира, на вершине доступного людям счастья, почти в те же самые минуты, когда Оливия и Джон простились в темном и дымном городе. И никто не угадал бы, что печальное прощанье скоро сменится более полным согласием, а над яркими силуэтами, сверкающими даже на золотом фоне заката, нависла черная туча разлуки, скорби и судьбы.

Глава 16 КОРОЛЕВСКИЙ СУД

Лорд Иден и лорд Сивуд сидели в своей любимой беседке, куда не так давно лучом рассвета влетела стрела. Судя по их виду, они думали скорее о закате. Застывшее лицо Идена могло обозначать многое, но Сивуд безутешно качал головой.

— Если бы они спросили меня, — говорил о н , — я бы им объяснил, надеюсь, что они в тупике. Конечно, восстановлению старины сочувствует всякий культурный человек. Но нельзя же сражаться устарелыми методами с реальной опасностью! Что сказал бы Пиль, если бы кто-нибудь предложил использовать алебарды дворцовой стражи вместо полиции? Что сказал бы Пальмерстон, если бы кто-нибудь предложил разгонять бунтовщиков парламентской булавой? Мы не вправе проецировать на будущее славные деяния прошлого. Все это могло бы обернуться шуткой, но нынешнее поколение лишено чувства юмора.

— Наш друг король уж точно лишен,— проворчал Иден. — Иногда я думаю, что оно и лучше.

— С этим я никак не соглашусь,— твердо сказал Сивуд. — Настоящий, английский юмор...

В эту минуту на пороге появился лакей, пробормотал ритуальные слова и протянул хозяину записку. Когда хозяин ее прочитал, печаль на его лице сменилась удивлением.

— Господи помилуй! — сказал он.

На записке большими и смелыми буквами было написано, что в ближайшие дни Англия изменится, как не менялась сотни лет.

— Или наш молодой друг страдает галлюцинациями, — сказал наконец Сивуд, — или...

— Или,— сказал Иден, глядя в плетеный потолок, — он взял Милдайк и ведет мятежников на суд.

— Поразительно! — сказал Сивуд. — Кто вам сообщил?

— Никто, — отвечал Иден. — Но я это предполагал.

— А я никак не предполагал,— сказал Сивуд. — Более того, я считал это невозможным. Чтобы такая бутафорская армия... нет, любой культурный человек скажет, что их оружие устарело!

— Скажет,— согласился Иден. — Ведь культурные люди не думают. Образование в том и состоит, чтобы узнать, принять и больше не думать. Так и тут. Мы выбрасываем копьё, потому что ружье сильнее, потом отказываемся от ружья, этого варварского пережитка, и удивляемся, когда нас проткнут копьём. Вы говорите, мечи и алебарды теперь не годятся. Они очень хорошо годятся, если противник безоружен. Вы говорите, оружие устарело; все ж это оружие, а наши политики только и делают, что от оружия отказываются, словно их охраняет кольцо невидимых копий. И так во всем. Мы путаем свою утопию, которой никогда не будет, с викторианской безопасностью, которой уже нет. Ничуть не удивлюсь, что бутафорская алебарда сбила их с помоста. Я всегда считал, что для переворота достаточно ничтожной силы, если противник вообще не умеет своей силой пользоваться. Но у меня не хватало смелости. Тут нужен не такой человек.

— Конечно,— сказал лорд Сивуд. — Мы не унизимся до драки.

— Вот именно, — сказал лорд Иден. — Дерутся смиренные.

— Я не совсем вас понимаю, — сказал лорд Сивуд.

— Сам я слишком грешен, чтобы драться, — сказал лорд Иден. — Только дети шумят и дерутся. Но кто не умалится, как дитя...

Неизвестно, понял ли его теперь родовитый викторианец, но больше он не объяснял, ибо глядел на дорогу, ведущую к воротам парка. Дорогу эту и ворота сотрясал тот радостный шум, о котором он говорил, и песня рыцарей, возвращающихся с поля боя.

— Я прошу у Херна прощения, — сказал великодушный Арчер. — Он сильный человек. Я всегда говорил, что Англии нужен сильный человек.

— Я видел силача в цирке, — припомнил Мэррел. — Наверное, многие просили у него прощения...

— Вы меня прекрасно понимаете, — незлобиво сказал Арчер. — Государственный деятель. Тот, кто знает, чего он хочет.

— Что ж, и сумасшедший это знает, — отвечал Мэррел. — Государственному деятелю хорошо бы знать, чего хотят другие.

— Дуглас, что с вами? — спросил Арчер. — Вы грустите, когда все радуются.

— Хуже радоваться, когда все грустят, — сказал Мэррел. — Оскорбительней. Но вы угадали, я не слишком ликую. Вот вы говорите, Англии нужен сильный человек. Я помню только одного, беднягу Кромвеля — и что из этого вышло? Его выкопали из могилы, чтобы повесить, и сходили с ума от радости, когда власть вернулась к слабому человеку. Нам не подходит твердая рука, революционная ли, реакционная. Итальянцы и французы оберегают свои границы и чувствуют себя солдатами. Повиновение не унижает их, властелин для них — просто человек, и правит он потому, что такое у него дело. Мы не демократы, нам диктатор не нужен. Мы любим, чтобы нами правили джентльмены. Но никто не вынесет власти одного джентльмена. Даже подумать страшно!..

— Ничего не пойму, — сказал Арчер. — Зато Херн знает, чего он хочет, и покажет этой швали.

— Дорогой мой, — сказал Мэррел, — миру нужны разные люди. Я не так уж люблю джентльменов, они все больше дураки. Но им долго удавалось править этим островом, потому что никто не знал, чего они хотят. Сегодня ошибутся, завтра исправят, никто ничего не заметит. Прибавят слева, прибавят справа, и все как-то держалось. Но ему обратного пути нет. Для вас он герой, для других — тиран. Аристократия тем и жива, что тиран не казался тираном. Он грабил дом и забирал землю, но не мечом, а парламентским актом. Если он встречал ограбленного, он спрашивал его о ревматизме. На этом и стояла наша конституция. Того, кто бьет людей, вспомнят иначе, прав он или неправ. А Херн далеко не так прав, как он думает.

— Да, — заметил Арчер, — вы не слишком пылкий соратник.

— Я вообще не знаю, соратник ли я, — мрачно сказал Мэррел. — Но я не ребенок. А Херн — ребенок.

— Опять вы за свое! — огорчился Арчер. — Пока он ничего не делал, вы его защищали.

— А вы его обижали, пока он был безвреден, — ответил Мэррел. — Вы называли его сумасшедшим. Очень может быть. Я сумасшедших люблю. Но мне не нравится, что вы перешли на его сторону, когда он стал буйным.

— Он слишком удачлив для сумасшедшего, — сказал Арчер.

— Только удачливый сумасшедший и о п а с е н , — сказал Мэррел . — Потому я и назвал его ребенком; а детям оружия не дают. Для него все просто, он видит лишь белое и черное. С одной стороны — святое рыцарство, добрый порядок, иерархия, с другой — слепая анархия, варварство, гнусный хаос. Он победит, он уже победил. Он соберет свой двор, и свершит свой суд, и погасит мятеж, а вы не заметите, как началась поистине новая история. Прежде история мирила наших вождей; статуи Питта и Фокса стоят бок о бок. Теперь вы кладете начало двум историям: одну расскажут победители, другую — побежденные. Власть имущие будут вспоминать праведный суд Херна, как мы вспоминаем суд Мэнсфилда. Мятежники будут вспоминать последнее слова Брейнтри, как мы вспоминаем последнее слово Эммета. Вы творите новое — меч разделяющий и разделенный щит. Это не Англия, это не мы. Это Альба, герой католиков и чудище протестантов; это Фридрих, отец Пруссии, палач Польши. Когда ваш суд осудит Брейнтри, вы и не заметите, что вместе с ним осудят многое из того, что сами вы любите не меньше, чем я.

— Вы социалист? — спросил Арчер, удивленно глядя на него.

— Я последний ли б е р а л , — ответил Мэррел.

Майкл Херн относился серьезно ко всем своим обязанностям, но вскоре все заметили, что к одной из них он относится со скорбью. Во всяком случае, это заметила Розамунда и угадала причину. В ней было много материнского — такие женщины часто привязываются к таким безумцам. Она знала, что он принимает всерьез, без капли юмора, внешние свои обязанности и может повести рыцарей в бой, а потом — вершить суд, ни разу не помыслив об опереточных королях. Она знала, что он может снять шлем и кирасу и надеть поверх зеленого камзола пурпурную мантию, не вспомнив о том, как любил менять форму германский император. Но сейчас он был не только серьезен. Во-первых, он очень много работал. День и ночь сидел он над книгами и бумагами, все больше бледнея от напряжения и усталости. Она понимала, что он должен приспособить феодальные законы, чтобы уладить нынешние беспорядки. Это ей нравилось; собственно, это ей и нравилось больше всего. Но она и не подозревала, что ему придется так много корпеть над старыми документами. Однако тут были и документы новые, самые удивительные, на каком-то из них она даже увидела подпись Дугласа Мэррела. Все это очень утомляло верховного судью; но Розамунда знала, что скорбь его вызвана другим.

— Я поняла, что с вами, Майкл, — сказала она . — Тяжело обижать тех, кого любишь. А вы любите Брейнтри.

Он обернулся через плечо, и ее поразило выражение его лица.

— Я не знала, что вы любите его так с и л ь н о , — сказала она.

Он отвернулся. Вообще он был резок на этот раз.

— Но я знаю о вас и другое,— продолжала она. — Вы будете справедливы.

— Да,— отвечал он. — Справедливым я буду. — И опустил голову на руки.

Из почтения к его разбитой дружбе она молча ушла.

Минуты через две он снова взял перо и принялся что-то выписывать. Но прежде он поглядел на высокий потолок зала, где он так долго работал, и взор его задержался на полке, куда он некогда вскарабкался.

Джон Брейнтри не питал почтения к романтическим карнавалам, даже тогда, когда их любила та, кого он любил; и уж никак не восхищался, когда к ним присоединились ужасы суда. Увидев символические топорики и пышные одежды, он преисполнился презрения, а презрение нельзя презирать, когда им защищается побежденный. Его спросили, не хочет ли он что-нибудь сказать суду, и он повел себя дерзко, как Карл I.

— Я не вижу никакого суда,— сказал он. — Я вижу людей, разрядившихся валетами и королями. Я не стану признавать разбойников за то, что они — ряженные. По-видимому, придется вытерпеть эту комедию, но сам я не скажу ничего, пока вы не притащите дыбу или испанский сапог, а там и разложите костер. Надеюсь, вы их воскресили. Человек вы ученый, и дадите нам подлинное средневековье.

— Вы правы,— серьезно сказал Херн. — Мы хотим восстановить средневековую систему, хотя и не во всех деталях, ибо никто не станет защищать во всех деталях какую бы то ни было систему. Однако вы не сделали ничего, что заслуживало бы сожжения. Такой вопрос даже и не вставал.

— Весьма обязан,— любезно сказал Брейнтри. — Нет ли тут лицепрятия?

— Где порядок? — гневно вскричал Джулиан Арчер. — Работать невозможно! Где уважение к суду?

— Но за поступки, которые могли повредить многим людям,— продолжал судья, — вы несете ответственность, и суд будет вас судить. Это не я говорю. Это говорит Закон.

И он взмахнул рукой, словно мечом, обрывая восторженные крики. Крики утихли, но молчание было таким же восторженным. А Херн продолжал ровным голосом:

— Мы пытаемся восстановить старый порядок. Конечно, приходится его в чем-то менять, и тем самым создавать новые законы. Великий век, источник нашей жизни, был разнороден и знал исключения; мы же должны вывести общее, оставляя в стороне противоречащие друг другу детали. В данном случае речь идет о неурядицах, возникших в так называемой угольной промышленности, особенно — в той, что занята превращением

дегтя в красители и краски, и мы должны обратиться к общим положениям, которым подчинялся некогда человеческий труд. Положения эти отличны от тех, которые возникли позже, в менее спокойное, даже беззаконное время. Главное в них — порядок и повиновение.

Толпа одобрительно загудела, Брейнтри засмеялся.

— В цехах и гильдиях,— продолжал Х е р н , — подмастерья и поденщики безусловно подчинялись мастерам. Мастером считался тот, кто сделал образцовую работу, так называемый «шедевр». Другими словами, человек сдавал цеху нелегкий экзамен. Обычно он работал на свои деньги, со своим материалом, своими инструментами. Подмастерье — это ученик, поденщик — тот, кто, еще не выучившись, нанимается к разным мастерам и нередко странствует по разным местам. Каждый из них мог стать мастером, сработав свой шедевр. Такова в общих чертах старая организация труда. Применяя ее к данному случаю, мы видим следующее. Мастера здесь три, ибо лишь трое владеют сырьем, деньгами и орудиями труда. Я проверял все это и убедился, что владеют они ими сообща. Один из них — сэр Говард Прайс, прежде — мастер-мыловар, внезапно перешедший в цех красильщиков. Другой — Артур Северн, барон Сивуд. Третий — Джон Генри Имс, граф Иден. Но я не нашел ни слова об их образцовых работах, о личном участии в труде и обучении подмастерьев.

Мэррел весело улыбался, на других лицах проступило недоумение, а на тонком лице сэра Джулиана оно уже сменялось негодованием и достигло той степени, когда вот-вот выльется в слова: «Ну, знаете ли!»

— Здесь нужна особая осторожность,— говорил судья. — Мы не вправе искажать самый принцип мнениями и чувствами. Я не вспомню, как говорил здесь вождь рабочих, тем более — как говорил он со мной. Но если он считает, что ремеслом должны владеть те, кто им владеет, я скажу без колебаний, что он с большою точностью воспроизводит средневековый идеал.

Впервые за все это время Брейнтри удивился. Если это был комплимент, он не знал, как принять его с должной учтивостью. Толпа гудела все громче, а Джулиан Арчер, еще не дошедший до того, чтобы прервать оратора, возмущенно шептал что-то Мэррелу.

— Конечно,— продолжал Х е р н , — лорд Иден и лорд Сивуд вправе представить работу на суд цеха. Не знаю, выберут ли они ремесло, которым занимались в неведомые мне времена, или поступят подмастерьями к какому-нибудь рабочему.

— Простите, — медленно проговорил здравомыслящий Хэнбери, — шутка это или нет? Я просто спрашиваю, шутки я люблю.

Херн посмотрел на него, и он умолк. А судья неуклонно продолжал:

— Признаюсь, третий случай мне не так ясен. Я не совсем уразумел, как именно переменял свое ремесло сэр Говард. Это

было очень трудно при том порядке, который мы пытаемся восстановить. Однако здесь мы касаемся иного вопроса, о котором я буду вынужден говорить и позже, и суровой. В первых же двух случаях решение неоспоримо. Суд признает: требование Джона Брейнтри, чтобы ремеслом всецело ведали и правили ремесленники-мастера, не противоречит нашим традициям и справедливо само по себе, а потому должно быть принято.

— Что за черт!.. — сказал Хэнбери, не утратив флегматичности.

— Да что же это такое! — вскричал Арчер вполне рассудительно, хотя и сбиваясь на визг.

— Решение принято, — промолвил судья.

— Нет, — начал Арчер, — нельзя же, честное слово...

— Где порядок? — спросил Мэррел. — Работать невозможно! Где уважение к суду?

Никто не заметил этих реплик, но все, кто глядел на судью, видели, что серьезность его переходит в суровость, ибо ему нелегко и сохранять напряжение, и оставаться бесстрастным.

Глава 17

ОТРЕЧЕНИЕ ДОН КИХОТА

В этой суматохе два поименованных аристократа сидели неподвижно, как мумии, хотя причины их неподвижности, вероятно, были разными. Лорд Сивуд просто обомлел; такое выражение лица было бы у головы, если бы из-под нее выдернули тело. Конечно, судья вправе пошутить; но судьи шутят не так. А если это не шутка, что же это? Лорд Иден, как ни странно, улыбался, словно все это ему нравилось. Судья тем временем заговорил снова.

— Нужно правильно понимать такие вещи, — сказал он. — Если мы определяем или описываем цехи и гильдии, закон таков и другого мы не ищем. Но прежний порядок признавал и другие права, в том числе — право частной собственности. Ремесленник работал, торговец торговал, и собственность у них была. В случаях, подобных нынешнему, приходится признать, что абстрактная власть принадлежит рабочим, материалы же и доходы принадлежат тем, кого я назвал.

— Ну, это еще ничего!.. — хором выдохнули сторонники Арчера, а старый Сивуд закивал, как болванчик. Но Иден сидел неподвижно.

— Если говорить в общих чертах, — продолжал Херн, — средневековая нравственность и средневековое право вникали в принцип частной собственности глубже, чем более поздние системы. Скажем, тогда знали, что человек иногда владеет тем, чем владеть не вправе, ибо приобрел это способом, несовместимым с христианской нравственностью. Существовали законы против тех, кто отдавал деньги в рост или придерживал товары, чтобы

повысить цену. Такие преступления карались позорным столбом и даже виселицей. В других же, честных случаях дозволялось владеть имуществом. Насколько мне известно, в красильную промышленность вложены деньги поименованных мною лиц. Деньги эти — основная часть их имущества, ибо земли, которыми владеют двое из них, частью заложены и приносят все меньше дохода. Богатством своим наши истцы обязаны успешной деятельности Красильной Компании, пайщиками которой состоят. Деятельность эта столь успешна, что во всем охваченном промышленностью мире продаются лишь те краски и красители, которые производят здесь. Остается узнать, какими способами достигла Компания такого успеха.

Со слушателями произошла странная перемена. Большинство, убаюканное знакомыми фразами реклам и отчетов, мерно кивало. Лорд Сивуд улыбался; лорд Иден хранил серьезность.

— Благодаря приключению или, вернее, подвигу одного из отважнейших наших рыцарей мы узнали правду о типичном случае, из которого и будем исходить. Перед нами предстала судьба настоящего мастера. Он сам, по своему разумению изготовлял краски, которые восхваляли живописцы его времени и тщетно пытаются заменить нынешние живописцы. Красильная Компания не продает этих красок. Мастер в Компании не служит. Что же случилось с образцовой работой и с самим мастером?

Из донесений, представленных рыцарем, я смог это уяснить. Мастера довели до нищеты. Отчаяние настолько сломило его, что его признали безумным. Способы, при помощи которых его лишили и ремесла, и дома, не согласны с нравственностью; это — скупание нужных материалов и намеренное понижение цен. За такие дела наши предки вешали или ставили к столбу. Делали это пайщики Компании, нынешние мастера.

Он твердо повторил имена и титулы, но на слове «Сивуд» голос его дрогнул. Ни на одно лицо в толпе он не смотрел.

— Итак, суд полагает, что частная собственность, вложенная в эти предприятия, приобретена бесчестным путем и не пользуется защитой закона. Ремеслом должны вестись ремесленники, подчиняющиеся правилам честности; в данном же случае собственники не имеют права на иск. Мы предписываем гильдии...

Сивуд вскочил, словно мумию гальванизировали. Простодушное тщеславие, которое лежит глубже викторианской спеси, выплыло, хватая ртом воздух. Он даже забыл, что снобы боятся снобизма.

— Я думал, — проговорил он, заикаясь от волнения, — что вы возрождаете почтение к знати. Я не знал, что эти лавочные правила относятся и к нам.

— А, — тихо и как бы в сторону сказал Херн, — вот оно наконец...

Он впервые заговорил человеческим голосом, и это было особенно странно, ибо сказал он так:

— Я не человек. Я здесь лишь для того, чтобы разъяснить закон, не знающий лицеприятия. Но я прошу вас, пока не поздно, не ссылайтесь на титулы! Не предьявляйте прав аристократа и пэра.

— Почему это? — спросил неугомонный Арчер.

— Потому, — отвечал смертельно бледный Херн, — что у вас хватило глупости поручить мне и здесь поиски правды.

— Что он такое говорит? — крикнул Арчер.

— Ни черта не пойму, — отозвался флегматичный Хэнбери.

— О, да!.. — сказал судья. — Вы не простые ремесленники. Вы не учились составлять краски, вы не пачкали рук. Вы прошли через высшие испытания, хранили честь меча, в бою заслужили шпоры. Ваши титулы и гербы достались вам от давних предков, и вы не забыли своих имен.

— Конечно, мы не забыли имен, — брюзгливо сказал Иден.

— Как ни странно, — сказал судья, — именно их вы и забыли.

Снова все замолчали, только Хэнбери с Арчером грозно, почти громко глядели на судью, чей голос опять удивил собрание, ибо обрел свинцовую судебскую тяжесть.

— Применяв научные методы к геральдике и генеалогии, мы обнаружили, что все обстоит не так, как думают непосвященные. Чрезвычайно малая часть нынешней знати может быть названа знатью в феодальном смысле слова. Те, кто действительно принадлежит к знати, бедны, неприметны и не относятся даже к так называемому среднему классу. В трех графствах, вверенных мне, аристократы не имеют ни малейшего права на знатность.

Он произнес это безжизненным и бесстрастным тоном, словно читал лекцию о хеттах. Быть может, тон был слишком бесстрастным и для лекции.

— Поместья они приобрели недавно, и такими способами, которые плохо согласуются с нравственностью, не говоря уж о рыцарстве. Мелкие дельцы и крючкотворы помогали им скупать выморочные и заложенные земли. Приобретая поместья, эти люди присваивали не только титул, но и фамилию древнего рода. Фамилия Иденов — не Имс, а Ивенс. Фамилия Сивудов — не Северн, а Смит.

При этих словах Мартышка Мэррел, с состраданием глядевший на бледное лицо, что-то вскрикнул и все понял.

Кругом стоял страшный шум. В крик он еще не слился, но все говорили разом, а выше, над ними, звучал твердый голос:

— В этой части графства претендовать на знатность могут лишь два человека, возница омнибуса и зеленщик. Никто не имеет права на звание *armiger generosus*,¹ кроме Уильяма Понда и Джорджа Картера.

¹ Благородный рыцарь (лат.).

— Боже мой, старый Джордж! — воскликнул Мэррел и звонко рассмеялся. Смех его порвал путы, всю толпу охватил хохот, прибежище англичан. Даже Брейнтри вспомнил важную улыбку в «Зеленом Драконе» и улыбнулся сам.

Однако, как верно подметил Иден, король был лишен юмора.

— Не понимаю, — сказал о н , — что здесь смешного. Насколько мне известно, он ничем не запятнал щита. Он не общался с вором, чтобы разорить праведника. Он не давал денег в рост, не прирезал поля к полю, не служил сильным, как пес, и не пожирал слабых, как ястреб. Но вы, кичащиеся перед бедным вашей родовитостью, а теперь — и рыцарством, кто вы такие? Вы живете в чужом доме, вы носите чужое имя, чужой герб на вашем щите и на ваших воротах. Ваша повесть — повесть о человеке, рдящемся в чужое платье. И вы требуете, чтобы я попрам правду ради ваших доблестных предков!

Смех улегся, шум усилился, и смысл его был ясен. Выклики слились в крик негодующей толпы. Арчер, Хэнбери и еще человек десять повскакивали со своих мест; но выше, над криками, звучал спокойный голос:

— Итак, запишем третий приговор, отвечающий на третий пункт иска. Три истца требовали власти над производством и повиновения рабочих. Мы рассмотрели дело. Они ссылаются на власть, но они не мастера. Они ссылаются на собственность, но ею не владеют. Они ссылаются на знатность, но они не дворяне. Все три иска признаны неосновательными. Мы их отвергаем.

— Так! — проговорил Арчер. — А до каких пор мы будем терпеть все это?

Шум утих, словно устал, и все глядели друг на друга, как бы спрашивая, что же будет дальше.

Лорд Иден неспешно поднялся, не вынимая рук из карманов.

— Здесь говорили о том, — сказал о н , — что одного человека признали сумасшедшим. Мне очень жаль, но придется это повторить. Не пора ли кому-нибудь вмешаться?

— Пошлите за доктором! — дико закричал Арчер.

— Вы сами поддержали его, Иден, — сказал Мэррел.

— Все мы ошибаемся, — признал мудрый Иден. — Сумасшедший меня провел. Но дамам лучше бы всего этого не видеть.

— Да, — сказал Брейнтри. — Дамам лучше не видеть, чем кончились ваши клятвы верности.

— Кончилась ваша верность мне, — спокойно сказал судья, — но я верен вам, точнее — закону, которому присягал. Мне ничего не стоит сойти с трона, но здесь я обязан говорить правду, и мне безразлично, как вы ее примете.

— Вы всегда были актером, — сердито крикнул Джулиан Арчер.

Бледный судья улыбнулся странной улыбкой.

— Вы ошибаетесь,— сказал о н . — Я не всегда был актером. Я был очень тихим, скучным человеком, пока не понадобился вам. Актером меня сделали вы, но пьеса ваша оказалась живее вашей жизни. Стихи, которые вы читали на этой самой лужайке, необычайно походили на жизнь. А как похожи они на то, что происходит теперь! — голос его не изменился, только речь потекла быстро и плавно, словно стихи были для него естественной прозы:

Я презираю все короны мира
И властвовать над стадом не хочу.
Лишь злой король сидит на троне прочно,
Врачуя стыд привычкой. Добродетель
Для знати ненавистна в короле.
Его вассалы на него восстанут,
И рыцарей увидит он измену,
И прочь уйдет, как я от вас иду.

Он встал и показался выше, чем был до сей поры.

— Я больше не король и не судья,— вскричал о н , — но рыцарем я остался! А вы останетесь лицедеями. Плуты и бродяги, где вы украли ваши шпоры?

Лицо старого Идена свела судорога, словно он неожиданно испытал унижение, и он сказал:

— Хватит.

Конец мог быть только один. Брейнтри угрюмо ликовал, сторонники его понимали так же мало, как противники, но издавали дерзкие выкрики. Рыцари отвечали ропотом на призыв бывшего вождя, откликнулись лишь двое: из дальних рядов медленно, как принцесса, вышла Оливия и, бросив сияющей темный взгляд на предводителя рабочих, встала у трона. На белое, окаменевшее лицо своей подруги она смотреть не могла. Вслед за ней поднялся Дуглас Мэррел и, странно скривившись, встал по другую руку судьи. Они казались карикатурой на оруженосца и даму, державших щит и меч в достопамятный день.

Судья ритуальным жестом разорвал одежды сверху донизу. Пурпурная с черным мантия упала на землю, и все увидели узкий зеленый камзол, который он носил с самого спектакля.

— Я ухожу,— сказал о н . — Большая дорога — место разбоя, а я пойду туда вершить правду, и это вменяет мне в преступление.

Он повернулся к зрителям спиной, и дикий его взор с минуту блуждал у трона.

— Вы что-нибудь потеряли? — спросил Мэррел, глядя в полные ужаса глаза.

— Я все потерял, — ответил Херн, схватил копьё и зашагал к воротам.

Мэррел смотрел ему вслед и вдруг побежал за ним по тропинке. Человек в зеленом обернул к нему бледное, кроткое лицо.

— Можно мне с вами? — спросил Мэррел.



— Зачем вам идти со мной? — спросил Херн не резко, а от-
решенно, словно обращался к чужому.

— Неужели вы меня не знаете? — воскликнул Мэррел. — Не-
ужели вы не знаете моего имени? Да, наверно, не знаете.

— О чем вы? — спросил Херн.

— Меня зовут Санчо Панса, — ответил Мэррел.

Минут через двадцать из парка выехал экипаж, как бы созданный для того, чтобы показать связь нелепицы с романти-
кой. Дуглас Мэррел побежал за какой-то сарай, появился оттуда на верхушке прославленного кеба, склонился, как вышколенный слуга, и пригласил господина войти. Но великому и смешному было суждено подняться еще выше: рыцарь в зеленом вскочил на коня и вскинул вверх копьё.

Всесокрушающий смех еще затихал, как гром, а в озарении молнии немногим явилось видение, такое яркое, словно из гроба встал мертвец. Все было здесь — и худое лицо, и пламя бородки, и впалые, почти безумные глаза. Оборванный человек верхом на кляче потрясал копьём, над которым мы смеемся триста лет; за ним зияющей тенью, хохочущим левиафаном вставал кеб, словно его преследовал дракон, как преследует смех красоту и доблесть, как набегают волна сего мира; а с самой вышины тот, кто и меньше, и легче, жалостливо глядел на высокого духом.

Нелепица тяжкой ношей загромыхла за рыцарем, но ее навсегда смело и смыло страстное благородство его лица.

Глава 18

ТАЙНА СИВУДСКОГО АББАТСТВА

Многие удивились, когда пророк, пришедший благословить, проклял и удалился. Но больше всех удивился тот, кого он не проклинал. Джону Брейнтри казалось, что законы каменного века выкопали и вручили ему, словно каменный топорик. Чего бы он ни ждал — феодальной ли мести, рыцарского ли великодушия — такого он услышать не думал. Когда он оказался самым средневековым из всех, ему стало не по себе.

Он растерянно взирал на завершение торжественного дейст-
ва, когда вперед вышла Оливия. Тогда он застыл на минуту, собрался и с коротким смешком направился к пустому трону. Положив ей руки на плечи, он сказал:

— Ну вот, моя дорогая. Кажется, мы помирились.

Она медленно улыбнулась.

— Мне очень жаль, — сказала она, — что вы не примете его суда. Но я радуюсь всему, что нас помирило.

— Вы уж меня простите, — сказал Брейнтри. — Я только ра-
дуюсь, мне не жаль. Те, кто с ним, должны быть теперь со
мною — то есть те, кто поистине с ним, как вы.

— Мне не так уж трудно быть с вами, — сказала она. — Мне было очень трудно без вас. Особенно когда вы проигрывали.

— Теперь мы выиграем, — сказал он. — Мои люди приободятся. Да и сам я, как орел из псалма... юность обновилась. Но причиной тому не Херн.

Она смутилась и сказала:

— Наверное, кто-то займет его место.

— Какое там место! — воскликнул Брейнтри. — Неужели вы верите, что нас победило движение? Нас победил человек и те, кто за ним пошли. Неужели вам кажется, что я буду бороться с теми, кто его бросил? Я говорил, что не боюсь боевых топоришков, и не боялся, и уж никак не побоюсь, если на меня захватится старый Сивуд. Как же, они будут доигрывать пьесу! Мы еще услышим о том, какой блестящий судья и великодушный властелин сэр Джулиан Арчер. Но неужели вы думаете, что мы не прорвемся сквозь бумажный круг? Душа ушла, душа скачет по дороге за милою отсюда.

— Вы правы, — не сразу сказала Оливия. — Дело не только в том, что Херн — человек великий. Они утратили честь, утратили невинность. Они слышали правду и знают, что это правда. Но одного из них, нет — одну мне очень жаль.

— И мне жалко многих, — сказал Брейнтри, — но вы...

— Такой беды не случилось ни с кем, — перебила она. — Нам было гораздо легче.

— Я не совсем понимаю, — сказал он.

— Конечно, не понимаете! — вскричала она. Он растерянно смотрел на нее, она пылко продолжала: — Как вам понять! Я знаю, вам было трудно... и мне было трудно. Но мы не прошли через то, через что прошли они... проходит она. Мы расстались, потому что каждый из нас думал, что другой — враг истине. Но мы, слава Богу, не стали врагами друг другу. Вам не пришлось оскорблять моего отца, мне не пришлось это терпеть. Я не знаю, что бы я сделала. Наверное, умерла бы. Каково же ей?

— Простите, — сказал он, — кто это «она»? Розамунда Северн?

— Конечно, Розамунда! — сердито воскликнула Оливия. — Он даже имени ей не оставил. Что вы смотрите? Неужели вы не знали, что Розамунда и Херн любят друг друга?

— Я вообще знаю мало, — сказал он. — Если так, это ужасно.

— Мне надо пойти к ней, — сказала она, — а я не пойму, что делать.

Она пошла к дому через покинутый сад, оглянувшись по пути на серый обломок. И вдруг она увидела странные вещи. В ослепительном свете счастья и беды она разглядела их впервые.

Она осмотрелась, словно пугаясь тишины, так быстро сменившей суматоху. Лужайка, окаймленная с трех сторон фасадом и крыльями старого дома, всего час назад кишела сердитыми людьми, а сейчас была пуста, как город мертвых.

Уже смеркалось, всходила круглая луна, и слабые тени ложились на старый камень, утративший яркие тени, отбрасываемые солнцем. Старые камни здания менялись в меняющемся свете, а в душе Оливии становилось все четче то, чего она не понимала, хотя ей и надо было понять это раньше всех. Стрельчатые окна и своды, о которых она так легко говорила когда-то с Мэррелом, и витражи, чей густой и яркий цвет можно увидеть лишь изнутри, поведали ей странную весть. Внутри были свет и цвета, снаружи — тьма и свинец. Кто же там, внутри?.. Ей показалось, что стены с самого начала следят за всеми безумствами, совершавшимися здесь, следят — и чего-то ждут.

Вдруг она увидела, что в воротах стоит Розамунда. Она не могла и не решалась взглянуть на трагическую маску, но взяла подругу за руку и проговорила:

— Не знаю, что тебе сказать...

Ответа не было, и она начала иначе:

— За что это тебе? Ты всем делала добро. Как можно было так говорить?

Розамунда глухо сказала:

— Он всегда говорит правду.

— Ты самая благородная женщина в мире! — воскликнула Оливия.

— Нет, самая несчастная, — сказала Розамунда. — Никто не виноват. Это место как будто проклято.

Именно тогда все и открылось Оливии в слепящем свете. Она поняла, почему ей было страшно в тени подстерегающих стен.

— Конечно, проклято! — вскричала она. — Проклято, потому что благословенно. Нет, это не то, о чем мы все время говорили. Это не то, о чем говорил он. Не имя твое проклято, каким бы оно ни было, старым или новым. Проклятие лежит на имени этого дома.

— На имени дома, — повторила ее подруга.

— Ты сотни раз видела его на своей писчей бумаге, — продолжала Оливия, — и не замечала, что это — ложь. Не важно, знатен твой отец или нет. Этот дом, все это место не принадлежит ни старым семьям, ни новым. Оно принадлежит Богу.

Розамунда застыла, словно камень, но всякий бы увидел, что у нее есть уши, чтоб слышать.

— Почему развеялись наши рыцарские выдумки? — спросила Оливия. — Почему рухнул наш круглый стол? Потому что мы начали не с начала. Мы не поняли, на чем он стоит. Мы не подумали о том, ради чего, ради Кого все это делалось. На этом самом месте сотни две человек думали только об этом.

Она остановилась, вдруг догадавшись, что сама начала не с начала, и отчаянно попыталась объяснить свои слова.

— Понимаешь, нынешние люди вправе быть такими, нынешними... Наверное, многим действительно нужны только мак-

леры и банки... многим нравится Милдаик. Твой отец и его друзья по-своему правы... ну, не так виноваты, как нам казалось, когда он их обличал... ах, зачем же это он, хоть бы тебя предупредил!

Каменная статуя заговорила снова; вероятно, она могла произносить лишь каменные слова защиты:

— Он предупреждал. Это хуже всего.

— Разреши, я скажу то, что пытаюсь сказать, — жалобно проговорила Оливия. — У меня такое чувство, будто это — не мое, и я должна отдать это тебе. Есть люди, которым и не стоит говорить о цвете рыцарства, все равно получится что-то вроде цветов жестокости. Но если мы хотим, чтобы рыцарство снова расцвело, надо найти его корень, хотя он зарос шипами богословия. Надо иначе смотреть на свободную волю, на суд, на смерть, на спасение. Ты понимаешь, это как с народным искусством. Все можно обратить в моду — и пляски, и процессии, и гильдии. Но наши отцы, сотни людей, самых обычных, не безумцев, просто *делали* все это. Мы вечно думаем о том, как они это делали. А надо подумать о том, почему они делали это. Розамунда, вот поэтому! Здесь Кто-то жил. Они Его любили. Некоторые любили Его очень сильно... Нам ли с тобой не знать, чем поверяется любовь? Они хотели остаться с Ним наедине.

Розамунда пошевелилась, словно решила уйти, и Оливия вцепилась ей в руку.

— Ты думаешь, я сошла с ума. Как можно тебе это говорить, когда тебе так плохо? Ты пойми, эта весть прожигает меня... Она больше, чем мир и скорбь. Розамунда, есть на свете радость. Не развлечение, а радость. Развлекаются тем или этим, тут — оно само, главное. Мы видим это лишь в зеркале, а зеркала разбиваются. Но здесь это обитало. Вот почему они не хотели больше ничего, даже самого лучшего... И оно ушло. Добро ушло отсюда. Нам осталось лишь зло, и слава Богу, что мы хотя бы ненавидим его.

Она указала на серый обломок. Трещины его и выпуклости четко обрисовал свет луны, и казалось, что сверкающее чудище вышло наконец из морских глубин.

— Нам остался дракон. Я сотни раз глядела на него, и ненавидела его, и не понимала. Над ним стоял Архистратиг или святая Маргарита, они побеждали его — и вот, исчезли. Мы их и представить себе не можем. Мы плясали вокруг него и думали о чем угодно, кроме них. Здесь, на этом самом лугу, пылал костер любви, его видели за сотни миль духовным взором, грелись его теплом. Теперь у нас одни пустоты. Мы страдаем, что чего-то нет в мире. Люди борются за правду — а ее нет. Люди борются за честь — а ее нет. Они тысячу раз правы, но кончается тем, что правда и честь борются друг с другом, как боролись Майкл и бедный Джон. Мы и представить себе не можем места, где правда и честь — в мире, где они не искажены.

Я люблю Джона, Джон любит правду, но он видит ее не там. Надо увидеть ее, найти — и полюбить.

— Где она? — тихо спросила Розамунда.

— Откуда же нам знать? — вскричала Оливия. — Мы выгнали единственного человека, который мог сказать нам.

Бездна молчания разверзлась между ними. Наконец Розамунда тихо сказала:

— Я очень глупая. Попробую подумать о том, что ты говоришь. А сейчас — ты не обижайся, больше говорить не надо.

Оливия медленно пошла через сад и в тени серых стен нашла Джона Брейнтри, который ее ждал. Они пошли вместе и довольно долго молчали. Потом Оливия произнесла:

— Как это все странно... Ну, все это, с того дня, когда я послала Мартышку за краской. Я так злилась на вас и на ваш галстук, а это ведь был один и тот же цвет. Ни я, ни вы об этом не знали... но именно вы пытались вернуть цвет, за которым я гонялась, как ребенок за облачком. Именно вы хотели отомстить за друга моего отца.

— Я вернул бы ему его права, — отвечал Брейнтри.

— Вечно вы о правах, — сказала она и нетерпеливо, но тихо засмеялась. — А бедная Розамунда... Да, вы вечно толкуете о правах... но точно ли вы знаете, на что человек имеет право?

— Узнать я успею, а пока мое дело — бороться, — отвечал неумолимый политик.

— Как по-вашему, — спросила она, — есть ли право на счастье?

Он засмеялся, и они вышли на пыльную дорогу, ведущую в Милдайк.

Глава 19

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОН КИХОТА

Быть может, когда-нибудь расскажут, как новый Дон Кихот и новый Санчо Панса бродили по английским дорогам. Холодный и насмешливый взор англичан видел лишь кеб, ползущий сквозь сцены и пейзажи, в которых кебы редко увидишь. Но вдохновенный летописец мог бы порассказать, как вознице и седоку удавалось утешать угнетенных. Он поведал бы о том, как они подвозили бродяг и катали детей; о том, как они обращали кеб и в передвижной ларек, и в шатер, и в купальню; о том, как простые душой кальвинисты принимали его за бродячую кафедру и слушали поучительные проповеди Дугласа Мэррела; о том, как Мэррел вторил Херну, читавшему лекции по истории, разъясняя неясное и собирая деньги к неудовольствию лектора. Возможно, рыцарю и оруженосцу не хватало важности, но добро они

творили. К ним вязалась полиция, а это само по себе свидетельствует о праведности; они бросали вызов только тем, кто сильнее; и Херн понемногу убеждался, что общественную пользу приносит лишь частная борьба. Он был и печальней, и в своем роде мудрее оруженосца, и в долгих беседах доказывал ему, что Дон Кихоту пора вернуться. Особенно долгой была их беседа в холмах Сассекса.

— Говорят, что я отстал от века, — сказал Херн, — и живу во времена, о которых грезил Дон Кихот. Но сами они тоже отстали столетия на три и живут во времена, когда Сервантес грезил о Дон Кихоте. Они застряли в Возрождении. Тогда казалось, что многое рождается заново; но ребенок трехсот лет от роду немного недоразвит. Ему надо бы родиться еще раз, в ином обличье.

— Почему же, — спросил Мэррел, — он должен родиться в обличье странствующего рыцаря?

— Что тут невозможного? — в свою очередь спросил Херн. — Человек Возрождения родился в обличье древнего грека. Сервантес считал, что романтика гибнет, и место ее занимает разум. Сейчас гибнет разум, и старость его более убога, чем старость романтики. Нам нужно проще и прямее бороться со злом. Нам нужен человек, который верит в бой с великанами.

— И бьется с мельницами, — сказал Мэррел.

— Вы никогда не думали, — спросил Херн, — как было бы хорошо, если бы он их победил? Ошибался он в одном: надо было биться с мельниками. Мельник был средневековым буржуа, он породил наш средний класс. Мельницы — начаток фабрик и заводов, омрачивших нынешнюю жизнь. Сервантес свидетельствует против самого себя. Так и с другими его примерами. Дон Кихот освободил пленников, а они оказались ворами. Теперь нельзя так ошибиться. Теперь в кандалах нищие, вору — на свободе.

— Вы не думаете, — спросил Мэррел, — что современная жизнь слишком сложна, чтобы подходить к ней так просто?

— Я думаю, — отвечал Херн, — что современная жизнь слишком сложна, чтобы подходить к ней сложно.

Он встал и принялся шагать по дороге. Взгляд у него был отрешенный и огненный, как у его прототипа, и говорил он с трудом.

— Как вы не поймете? — вопрошал он. — В этом вся суть. Ваша техника стала такой бесчеловечной, что уподобилась природе. Да, она стала второй природой, далекой, жестокой, равнодушной. Рыцарь снова блуждает в лесу, только вместо деревьев — трубы. Ваша мертвая система так огромна, что никто не знает, где и как она сломается. Все рассчитано, и потому ничего нельзя рассчитать. Вы приковали человека к чудовищным орудиям, вы оправдали наваждение Дон Кихота: мельницы ваши — великаны.

— Есть ли выход? — спросил его друг.

— Да,— ответил Х е р н . — Вы сами нашли его. Когда вы увидели, что врач безумнее пациента, вы не рассуждали о системах. Вы не Санчо Панса. Вы тот, другой.

Он простер вперед руку, как в былое время.

— Что я сказал с трона, скажу у дороги. Только вы родились снова. Вы — возвратившийся рыцарь.

Дуглас Мэррел сильно смутился. Должно быть, лишь эти слова могли вырвать у него признание, ибо под шутковством его лежала сдержанность, более глубокая, чем сдержанность его касты. Он несмело взглянул на Херна и сказал:

— Вот что, вы не очень мне верьте. Не такой уж я рыцарь. Надеюсь, я помог старому ослу, но мне понравилась девушка... очень понравилась.

— Вы сказали ей об этом? — прямо, как всегда, спросил Херн.

— Как же я мог? — удивился Мэррел. — Она ведь была мне обязана.

— Дорогой Мэррел! — воскликнул Х е р н . — Это чистое донкихотство!

Мэррел вскочил и засмеялся.

— Вот лучшая шутка за три столетия! — вскричал он.

— Не вижу, в чем тут шутка,— задумался Х е р н . — Разве можно пошутить нечаянно? Что же до ваших слов, не думаете ли вы, что по кодексу самообуздания вы уже вправе попытаться? Вы хотели бы... вернуться на Запад?

Мэррел снова смутился.

— Откровенно говоря, я избегал тех мест,— сказал о н . — Я думал, и вы...

— Да,— сказал Х е р н . — Я долго не мог глядеть в ту сторону. Мне хотелось повернуться спиной к западному ветру, и закат жег меня, как раскаленное железо. Но с годами становишься мудрей, если и не станешь веселее. Сам я не мог бы пойти туда, но я был бы рад узнать... обо всех.

— Если вы поедете со мной,— сказал Мэррел, — я пойду и все разузнаю.

— Вы сможете,— почти робко спросил Х е р н , — войти... в Сивудское аббатство?

— Да,— сказал Мэррел. — В другой дом мне было бы труднее войти.

Немногословно, хотя и не совсем молчаливо, они решили, как и что делать дальше; и вскоре увидели то, чего боялись так долго — зеленые уступы, деревья и готические крыши, освещенные вечерним солнцем. И совсем уж нечего было говорить, когда Майкл спрыгнул с коня и взглянул на друга через плечо. Тот кивнул и пошел легким шагом по крутой тропинке. Сад был такой же, как прежде, разве что аккуратней и тише; но главные ворота были заперты.

Мэррел не страдал суеверием, но ему стало не по себе, когда он впервые в них постучался, а потом позвонил в колокол. Ему

казалось, что это сон; еще ему казалось, что близко пробуждение. Но какими бы странными ни были его предчувствия, действительность их превзошла.

Примерно через полчаса он вышел из ворот и спокойно направился вниз, но друг почувствовал что-то странное в его спокойствии. Заговорил Мэррел не сразу.

— Странная штука случилась с аббатством, — сказал о н . — Оно не сгорело, вон, стоит и даже лучше выглядит, чем прежде. В материальном, метеорологическом смысле его не поразил гром небесный. Но с ним случилась странная штука.

— Что же с ним? — спросил Херн.

— Оно стало аббатством, — отвечал Мэррел.

— Что вы хотите сказать? — вскричал его друг.

— То, что сказал. Оно стало аббатством. Я говорил с аббатом. Хотя он и ушел от мира, он поведал мне много новостей, потому что знает тех, кто жил тут раньше.

— Значит, здесь монастырь, — сказал Х е р н . — Что же поведал аббат?

— Началось с того, — отвечал М э р р е л , — что год назад умер Сивуд. Все перешло его наследнице, а она, как говорится, спятила. Она стала христианкой, и самой странной: отдала поместье другу моему аббату и его веселому воинству, а сама ушла работать в какой-то монастырский приют. Он в доках, на Лаймхаусском участке...

Библиотекарь побледнел и вскочил со всюю силой странствующего рыцаря. Глядел он не на башни Сивуда.

— Я еще не совсем понял, — сказал о н , — но это меняет все, хотя не очень облегчает. Нелегко пойти в доки и справиться...

— ...о родовой Розамунде Северн, — закончил его д р у г . — Нет, она зовется иначе. Вы найдете ее, если спросите мисс Смит.

При этих словах безумие, словно гром небесный, поразило библиотекаря. Он перепрыгнул через изгородь и побежал на восток, к лесу, отделявшему его от доков и мисс Смит.

Прошло месяца три прежде, чем кончилось его паломничество, а с ним — и наша повесть. Уже не бегом он преодолел лабиринт Лаймхауса и вечером, в зеленом тумане, подобном парам ведовского зелья, свернул в узкую улочку, где светился бумажный фонарь. Немного дальше горел еще один фонарь. Подойдя к нему, Херн увидел, что он — железный, с цветным стеклом, на котором довольно грубо изображен святой Франциск и алый ангел за его спиной. Эта прозрачная картинка показалась ему знаком всего, что сам он искал когда-то так яростно, Оливия Эшли — так тихо. Но была и разница: фонарь светился изнутри.

Он жадно пил цвет, осветивший его жизнь, из пламенной чаши символа, сияющего сквозь мрак улицы, и не удивился, что Розамунда стоит перед ним, словно в его снах или в трагической

мелодраме былого. Рыжие волосы пылали огненной короной, а платье было длинное, темное, но вполне обычное.

Со свойственной лишь ему неловкой быстротой он сказал:

— Вы няня, а не монахиня.

Она улыbnулась и отвечала:

— Мало вы знаете о монахинях, если думаете, что наша... наша история могла бы кончиться так. В монастырь не уходят с горя.

— Вы хотите сказать... — начал он.

— Я хочу сказать, — продолжила она, — что не рассталась с надеждой на меньшую радость. Должно быть, это очень часто говорят, но это правда: я знала, что вы меня найдете.

Она помолчала и начала снова:

— Не будем вспоминать старых ссор. Отец гораздо меньше виноват, чем вы думали, и гораздо больше, чем думала я. Но не мне и не вам его судить. Не он породил то зло, от которого пошли все беды.

— Я знаю, — сказал он. — Меня это мучило, пока я не понял, какова мораль этой повести. Но во всей повести нет ничего лучше вас и вашего подвига. Быть может, ученые сочтут вас легендой.

— Первой поняла Оливия, — серьезно сказала Розамунда. — Она умнее меня и все увидела. А я ушла и долго думала, и вот — пришла сюда.

— Оливия тоже... пришла сюда? — медленно спросил Майкл.

— Да, — отвечала Розамунда. — И знаете, Брейнтри доволен. Они теперь женаты и согласны во всем. Я часто думаю, стоило ли так много спорить.

— Все женятся, — сказал он.

— Даже Мэррел женился, — сказала она. — Словно конец света. Нет, скорее начало. Одно я знаю точно, хотя многие посмеялись бы. Когда возвращаются монахи, возвращается брак.

— Мэррел поехал к морю и женился на мисс Хэндри, — объяснил Майкл. — Мы расстались в аббатстве. Он отправился на запад, я — на восток. Мне было очень одиноко.

— Вы сказали «было», — улыbnулась она, и они шагнули друг к другу, как тогда, в пламенном молчании сада. Теперь молчание нарушил Майкл.

— Я, наверное, еретик, — быстро и неловко сказал он.

— Посмотрим, — спокойно и величаво ответила она.

Он вспомнил свой нелепый разговор с Арчером об альбигойцах и не меньше минуты сводил концы с концами. Потом на узкой улице случилось небывалое: впервые в жизни Майкл Херн намеренно пошутил. Как ему и подобало, никто не понял его единственной шутки.

— Ну, что ж, — сказал он. — Iit in matrimonium.



РАССКАЗЫ

TALES OF THE LONG BOW

1925

Из сборников:

THE SECRET OF FATHER BROWN

1927

THE POET AND THE LUNATICS

1929

FOUR FAULTLESS FELONS

1930

THE SCANDAL OF FATHER BROWN

1935

THE PARADOXES OF MR.POND

1937

Охотничьи рассказы

НЕПРИГЛЯДНЫЙ НАРЯД ПОЛКОВНИКА КРЕЙНА

В этих рассказах речь пойдет о делах, которые невозможно совершить, в которые невозможно поверить и о которых, как воскликнет измученный читатель, невозможно читать. Если мы без пояснений скажем: «Все это — правда», вы вспомните о корове, перепрыгнувшей через луну, и о глубоком человеке, проглотившем самого себя. Словом, рассказы эти невероятны; тем не менее лжи в них нет.

Само собой разумеется, невероятные события начались в самом чопорном и скучном уголке света, в самое скучное время, а первым их героем стал самый скучный из людей. Место действия — прямая дорога в лондонском пригороде, разделяющая два ряда надежно защищенных коттеджей. Время действия — без двадцати одиннадцать, то есть как раз тот момент, когда процессия местных жителей, одетых по-воскресному, торжественно шествует в церковь, а герой по фамилии Крейн — весьма почтенный полковник в отставке, тоже направлявшийся в церковь, как направлялся он всегда в этот час. Между ним и его соседями не было заметной разницы; пожалуй, только, он был еще незаметней, чем они. Так, его дом звался Белой Хижиной, что все же звучит не столь заманчиво, как Рябиновая Заводь или Вересковый Склон. В церковь он оделся как на парад; но он вообще одевался так хорошо, что никто не назвал бы его хорошо одетым. Он был довольно красив, хотя и несколько иссушен, как бы прожарен солнцем. Его выгоревшие волосы могли сойти и за блекло-русые, и за седые, а светло-голубые глаза смотрели чуть сумрачно из-под приспущенных век. Полковник был своего рода пережитком. На самом деле ему едва пошел пятый десяток, и последние ордена он получил на последней войне. И все же он был военным довоенной поры — той поры, когда на каждый приход полагалось по одному полковнику. Было бы несправедливо назвать его ископаемым; скорей уж он окопался и хранил традиции так же терпеливо и твердо, как не покидал окопов. Он

просто не любил менять привычки и слишком мало думал об условностях, чтобы их нарушать. Привычек у него было много: так, он ходил в церковь к одиннадцати, не предполагая, что несет с собой дух добрых традиций и английской истории.

В то утро, выйдя из дому, он вертел в руках клочок бумаги и против обыкновения хмурился. Он не пошел прямо к калитке, а прошелся по садику, размахивая черной тростью. Потом постоял немного, глядя на красную маргаритку, притаившуюся в углу клумбы; наконец его бронзовое лицо оживилось, и глаза засветились весельем, что, впрочем, заметили бы немногие. Он сложил записку, сунул в жилетный карман и направился за коттедж, в огород, где старый слуга по имени Арчер, мастер на все руки, трудился в тот час над грядками.

Арчер тоже был пережитком. Оба они пережили многое, что прикончило других людей. Они вместе прошли войну и были очень преданы друг другу, но Арчер так и не утратил удручающей лакейской важности и выполнял обязанности садовника с достоинством дворецкого. Выполнял он их прекрасно, быть может — потому, что для умного горожанина огород и сад весьма привлекательны. Но всякий раз, когда он сообщал: «Я высадил рассаду», казалось, что он говорит: «Я подал херес», а вопрос: «Нарвать морковки?» звучал как «Еще вина, сэр?».

— Надеюсь, вы не работаете по воскресеньям? — сказал полковник, улыбаясь куда приветливее, чем всегда, хотя и вообще был человеком вежливым. — Вы слишком увлеклись огородом. Скоро станете заправским крестьянином.

— Я собирался обследовать капусту, с э р , — страдальчески четко выговорил крестьянин. — Ее вчерашнее состояние не показалось мне удовлетворительным.

— Хорошо, что вы не остались при ней на ночь, — сказал полковник. — Впрочем, вы очень кстати занялись капустой. Я как раз хотел о ней потолковать.

— О капусте, сэр? — почтительно переспросил слуга.

Но полковник как будто забыл о ней и, рассеянно замолчав, пристально глядел куда-то. Сад и огород полковника, как и шляпа его, и пальто, и манеры, были ненавязчиво безупречны. Там, где росли цветы, царил какой-то старый, старее коттеджа, дух. Аккуратная живая изгородь была густа, как в дворцовом саду, и самая ее искусственность напоминала скорее о королеве Анне, чем о королеве Виктории. Пруд, выложенный по краю камнем и окруженный ирисами, казался классическим озерцом, а не искусственной лужей. Стоит ли гадать о том, почему душа человека и уклад его жизни так влияют на обстановку? Как бы то ни было, душа Арчера пропитала огород. Арчер был человек дела и свое новое занятие воспринял на редкость серьезно. В отличие от сада, огород выглядел не искусственным, а по-сельски живым. Даже деревенские хитрости были тут: клубнику покрывала сетка от птиц, висели крест-накрест усаженные перьями

веревки, а посреди самой большой грядки торчало старое пугало. Его одиночество разделял и оспаривал другой самозванный гость — на самом краю огорода стоял божок из тропиков, уместный тут не больше, чем скребок для чистки обуви. Полковник не был бы таким законченным служакой, если бы не отдал дань любви к путешествиям. Когда-то он увлекался этнографией и привез этого божка. Однако сейчас он смотрел не на божка, а на пугало.

— Кстати, Арчер, — сказал о н , — вам не кажется, что пугалу нужна новая шляпа?

— Не уверен, с э р , — серьезно сказал садовник.

— Нет, посудите сами, — возразил х о з я и н , — что такое пугало? В теории, увидев его, простодушная птица должна подумать, что я гуляю в огороде. Вот то существо в непотребной шляпе — это я! Не совсем точный портрет. Я бы сказал, в духе импрессионизма. Тот, кто носит такую шляпу, никогда не будет строг к воробью. Борьба характеров, то-се — и, поверьте, воробей победит. Кстати, что это за палка там привязана?

— По-видимому, сэр, — сказал Арчер, — она изображает ружье.

— Под таким углом ружье не держат, — заметил К р е й н . — И вообще существо в подобной шляпе непременно промахнется.

— Прикажете приобрести новую шляпу, сэр? — спросил терпеливый Арчер.

— Ну, что вы! — беззаботно ответил х о з я и н . — Я отдам бедняге свою. Как святой Мартин отдал плащ.

— Отдадите свою . . . — нетвердо, но почтительно повторил Арчер.

Полковник снял блестящий цилиндр и надел на божка, стоявшего у его ног. Камень как будто ожил, и щеголеватый карлик ослабил на зелень огорода.

— Что-то она слишком ц е л а я , — озабоченно сказал полковник . — Пугала таких не носят. Посмотрим, что тут можно сделать.

Он раскрутил трость над головой и обрушил ее на цилиндр. Тот осел до пустых глазниц идола.

— Смягчена прикосновением времени, — заметил полковник, протягивая слуге атласные о с т а н к и . — Наденьте ее на пугало, друг мой. Сами видите, мне она не годится.

Арчер взял шляпу послушно, как автомат, но глаза его заметно округлились.

— Поспешим, — весело сказал полковник. — Я чуть было не отправился в церковь слишком рано, а теперь боюсь опоздать.

— Вы намерены посетить церковь без шляпы, сэр? — спросил Арчер.

— Как можно! — сказал полковник. — Каждый должен снять шляпу, входя в храм. А если шляпы нет, что снимешь? Ай-ай-ай, где сегодня ваш разум? Выкопайте, пожалуйста, кочанчик.

Вышколенный слуга повторил «кочанчик» не столько четко, сколько сдавленно.

— А теперь, будьте другом, дайте мне к о ч а н , — сказал полковник. — Уже пора. Кажется, одиннадцать пробило.

Арчер тяжело побрел к капустной грядке с кочанами самых чудовищных форм и сочных красок, которые достойней философовского раздумья, чем нам, легкомысленным, кажется. Овощи причудливы и не так уж будничны. Если бы мы назвали капусту кактусом, мы увидели бы в ней немало занятого.

Эти истины открывались полковнику, пока он, опередив колеблющегося Арчера, извлекал из земли громадный зеленый кочан с длинным корнем. Потом, вооружившись садовым ножом, он обрезал корень, вылушил середину кочана и, перевернув его, с серьезным видом водрузил себе на голову. Наполеон и другие военные вожди любили короны — и полковник, подобно кесарям, увенчал себя зеленью. Историк, склонному к философии, пришли бы в голову и другие сравнения, если бы он взглянул отвлеченно на капустную шляпу.

Прихожане глядели на нее, но никак не отвлеченно. Шляпа казалась им даже слишком конкретной. Ни одному философу не выразить того, что думали, взирая на полковника, обитатели Рябиновой Заводы и Верескового Склона. Что скажешь, когда один из самых достойных и уважаемых соседей, образец хороших манер, если не вкуса, торжественно шествует в церковь с капустой на голове?

Однако никто не посмел выразить протест вслух. Обитатели этого мира не способны объединиться, чтобы восстать или высмеять. С уютных и чистеньких столов не соберешь гнилых яиц, и не таким людям швырять кочерыжками в капусту. Быть может, в трогательных названиях коттеджей и скрывалась доля истины. Действительно, каждый дом здесь — приют уединения.

Когда полковник приближался к паперти, собираясь почти-тельно снять свой овощной убор, его окликнули чуть сердечней, чем полагалось в этих краях. Он спокойно ответил и остановился ненадолго. Окликнул его врач по имени Хорес Хантер — высокий, хорошо одетый и несколько развязный. Лицо у него было неприметное, волосы — рыжие, но полагалось считать, что в нем что-то есть.

— Здравствуйте, полковник, — сказал он своим звучным голосом. — Какая з-з-замечательная погода!

Звезды кометами сорвались с мест, и миру открылись неизвестные пути, когда доктор Хантер проглотил слова: «Зверская шляпа».

Почему он так сказал и что при этом думал, описать нелегко. Было бы ошибкой предполагать, что все дело в длинном сером автомобиле у ворот Белой Хижины, в даме на ходулях, в мягком воротничке или уменьшительном имени. И тем не менее все это промелькнуло в мозгу нашего медика, когда он спешно справлялся с собой. Разгадка в том, что Хорес Хантер был честолюбив,

что голос его был звонок, а вид самонадеян, ибо он твердо решил занять свое место в мире, точнее — в свете.

Ему нравилось, что на воскресном смотре его видят за дружеской беседой с полковником. Тот был небогат, но знал Кое-кого. А тем, кто Кое-кого знает, известно, что Кое-кто делает; тем же, кто не знает — остается только гадать. Дама, явившаяся с герцогиней на благотворительный базар, сказала полковнику: «Здравствуйте, Джим», — и доктору показалось, что такая фамильярность свидетельствует не о небрежности, а о родстве. Та же герцогиня ввела состязания на ходулях, которые переняли позже Вернон-Смиты с Верескового Склона. Нельзя же растеряться, если миссис Вернон-Смит спросит: «А вы на ходулях ходите?» Никогда не угадаешь заранее, что им взбредет на ум. Как-то доктор счел немодным идиотом человека в мягком воротничке, а потом так стали ходить все, и он понял, что это самая мода и есть. Странно предположить, что скоро все наденут капустные шляпы, но ручаться ни за что нельзя, а ошибаться он больше не намерен. Сперва ему, как врачу, захотелось дополнить костюм полковника смирительной рубашкой, но Крейн не выказывал признаков безумия. Не походил он и на шутника — он вел себя вполне естественно. Ясно было одно: если это новая мода, надо принять ее так же просто, как принял полковник. И вот доктор сказал, что погода замечательная, и убедился, к своей радости, что возражений нет.

Все местные жители, как и врач, оказались на распутье, и все согласились с Хантером — не потому, что эти добрые люди были так же честолюбивы, а потому, что они вообще предпочитали осторожность. Они вечно боялись, как бы их кто не потревожил, и у них хватало ума не тревожить других. Кроме того, они чувствовали, что тихого, сдержанного полковника особенно и не проймешь. Вот почему он с неделю щеголял в своей зверской зеленой шляпе и ничего не услышал. Только к концу недели (в течение которой доктор вглядывался в горизонт, высматривая коронованных капустой) запретные слова прозвучали, и все разрешилось.

Нужно сказать, полковник словно и забыл о своей шляпе. Он надевал ее, снимал и вешал на крюк в темной прихожей, где на двух других крюках висела его шпага рядом со старинной картой. Он вручал капусту Арчеру, когда тот, из любви к порядку, настаивал на своих правах; конечно, чистить ее слуга не решался, но все же встряхивал, недовольно хмурясь. Все это стало для Крейна одной из условностей, а он слишком мало думал о них, чтобы их нарушать. Очень может быть, что все дальнейшее удивило его не меньше, чем соседей. Во всяком случае, развязка (или подобная взрыву разрядка) произошла так.

Мистер Вернон-Смит, вересковый горец, маленький, проворный, всегда испуганный (хотя чего, собственно, бояться такому основательному человеку?), дружил с Хантером и, как пассивный

сноб, смиренно поклонялся снобу активному, прогрессивному, парящему в сферах. Людям типа Хантера нужны такие друзья — надо же перед кем-то красоваться. И что еще удивительней, людям типа Смита нужны Хантеры, которые насмешливо и благосклонно красуются перед ними. Как бы то ни было, Вернон-Смит намекнул, что шляпа его соседа не совсем модна и прилична. Доктор же Хантер, гордясь своей недавней ловкостью, высмеял его замечание. Многозначительно помахивая рукой, он дал понять, что весь общественный уклад развалится, если скажут хоть слово на эту деликатную тему. Вернон-Смиту казалось теперь, что полковник взорвется при самом отдаленном намеке на овощ или на шляпу. Как всегда бывает в таких случаях, запретные слова так и бились в его мозгу. Ему хотелось называть все на свете шляпами и овощами.

Выйдя в тот день из сада, Крейн увидел между кустом и фонарем своего соседа и его дальнюю родственницу. Девушка эта училась живописи, что не совсем укладывалось в кодекс Вересковского Склона, а значит — и Белой Хижины. Она стригла темные волосы, а полковник не любил стрижек. Но лицо у нее было милое, честные темные глаза — широко расставлены, в ущерб красоте, но не честности. Кроме того, у нее был очень звонкий, какой-то свежий голос; полковник часто слышал, как она выкрикивает счет, играя в теннис по ту сторону ограды, и почему-то чувствовал себя старым или, быть может, слишком молодым. Только теперь, у фонаря, он узнал, что ее зовут Одри Смит, и обрадовался такой простоте. Знакомя их, Вернон-Смит чуть не ляпнул: «Разрешите познакомить вас с моей капустой», но вовремя сказал: «...кузиной».

Полковник невозмутимо сообщил, что погода прекрасная, а его сосед, радуясь, что обошел опасность, поддержал его встревоженно и бодро, как поддерживал всегда на собраниях местных обществ.

— Моя кузина учится живописи,— начал он новую тему. — Гиблое дело... Будет рисовать на мостовой и протягивать прохожим... э-э-э... поднос. Наверное, надеется попасть в академию...

— Надеюсь не попасть,— пылко сказала Одри Смит. — Уличные художники куда честнее.

— Ах, если бы твои друзья не набивали тебе голову идеями! — воскликнул Вернон-Смит. — Одри знает с ужасным сбродом... с вегетарианцами и... социалистами. — Он решил, что вегетарианец все же не овощ, а ужас перед социалистами полковник разделяет. — В общем, с поборниками равенства. А я всегда говорю: мы не равны и равны не будем. Если вы разделите поровну собственность, она вернется в те же руки. Это — закон природы. Тот, кто думает обойти закон природы, безумен, как... э-э-э...

Стараясь изгнать навязчивый образ, он вспомнил было мартовского зайца, но девушка раньше закончила фразу. Спокойно улыбнувшись, она сказала:

— Как шляпник полковника Крейна.

Мы будем только справедливы, если скажем, что Вернон-Смит бежал, как от взрыва. Но мы не скажем, что он бросил даму в беде, — в отличие от него она ничуть не растерялась. Двое оставшихся не обратили на него внимания; они смотрели друг на друга и улыбались.

— По-моему, вы храбрее всех в Англии, — сказала О д р и . — Я не о войне и не об орденах. Да, я кое-что про вас знаю. Одного я не знаю: зачем вы это делаете?

— По-моему, это вы храбрее всех, — отвечал о н . — Во всяком случае, тут, у нас. Я хожу неделю как последний дурак и жду. А они молчат. Кажется, они боятся сказать не то.

— Они безнадежны, — заметила мисс С м и т . — Они не носят капустных шляп, но вместо головы у них репа.

— Нет, — мягко сказал полковник, — у меня здесь много добрых соседей, в том числе и ваш кузен. Поверьте мне, в условностях есть смысл, и мир умней, чем кажется. Вы молоды, а потому нетерпимы. Но вы не боитесь борьбы, а это лучшее в нетерпимости и молодости. Когда вы сказали про шляпника, честное слово, вы были как Бритомарта.

— Это кто, суфражистка из «Королевы фей»? — спросила девушка. — Боюсь, я забыла литературу. Понимаете, я художница, а это, кажется, сужает кругозор. Ну, что за лошенные пошляки! Вы только подумайте, как он говорил о социалистах.

— Да, он судил немного поверхностно, — улыбнулся полковник.

— Вот почему, — закончила о н а , — я восхищаюсь вашей шляпой, хотя и не знаю, зачем вы ее носите.

Этот обычный разговор странно повлиял на полковника. Какое-то тепло охватило его и чувство резкой перемены, которого он не испытывал с войны. Внезапное решение сложилось в его уме, и он сказал, словно шагнул через границу:

— Мисс Смит, могу ли я просить вас еще об одной услуге? Это не принято, но вы ведь не любите условностей. Если вы окажете мне честь и придете ко мне завтра, в половине второго, вы услышите всю правду. Вернее, увидите.

— Конечно, приду, — сказала противница условностей. — Спасибо вам большое.

Полковник проявил особый интерес к предстоящему завтраку. Как многие люди его типа, он умел угостить друзей. Он понимал, что молодые женщины плохо разбираются в винах, а эмансипированные — тем более. Он был добр и радушен и любил порадовать гостей едой, как радуют ребенка елкой. Почему же он волновался, словно сам стал ребенком? Почему не мог уснуть от счастья, как дети перед Рождеством? Почему допоздна бродил по саду, яростно попыхивая сигарой? Когда он смотрел на пурпурные ирисы и на серый ночной пруд, чувства его переходили от серого к пурпурному. Ему недавно перевалило за сорок, но он не знал, что легкомысленная дерзость лишь увяла

и выцвела на время, пока не почувствовал, как растет в нем торжественное тщеславие юности. Порой он смотрел на чересчур живописные очертания соседней виллы, темневшей на лунном небе, и ему казалось, что он слышит голос, а может, и смех.

Друг, посетивший наутро полковника, никак на него не походил. Рассеянный, не очень аккуратный, в старом спортивном костюме, он тщетно приглаживал прямые волосы того темно-рыжего цвета, который называют каштановым, и как-то странно вдвигал в галстук тяжелую, чисто выбритую челюсть. Фамилия его была Гуд, занимался он юриспруденцией, но пришел не по делу. Спокойно и приветливо поздоровавшись с Крейном, он улыбнулся старому слуге, как улыбаются старой остроте, и выказал признаки голода.

День был очень теплый, светлый, и все в саду сверкало. Божок приятно ухмылялся, пугало щеголяло новой шляпой, ирисы у пруда колыхались на ветру, и полковник подумал о флагах перед боем.

Она появилась неожиданно, из-за угла. Платье на ней было синее — темное, но яркое и очень прямое, хотя не слишком эксцентричное. В утреннем свете она меньше походила на школьницу и больше на серьезную женщину под тридцать. Она стала старше и красивей, и эта утренняя серьезность умилила Крейна. Он с благодарностью вспомнил, что чудовищной шляпы больше нет. Столько дней он носил ее, ни о ком не думая, а в те десять минут у фонаря почувствовал, что у него выросли ослиные уши.

День был солнечный, и стол накрыли под навесом веранды. Когда все трое уселись, хозяин взглянул на гостью и сказал:

— Не сочтите меня одним из тех, кого не любит ваш кузен. Надеюсь, я не испорчу вам аппетита, если ограничусь зеленью.

— Как странно! — удивилась она. — Вы совсем не похожи на вегетарианца.

— В последнее время я похож на идиота, — бесстрастно сказал он, — а это лучше, чем вегетарианец. Нет, сегодня особый случай. Впрочем, пускай объяснит Гуд, это скорей его касается.

— Меня зовут Роберт Оуэн Гуд, — не без усмешки сказал гость. — Наводит на всякие мысли. Но сейчас важно другое: мой друг смертельно оскорбил меня, обозвал Робин Гудом.

— Мне кажется, это лестно, — сказала Одри Смит. — А почему он вас так назвал?

— Потому что я настоящий лесной житель.

Тут Арчер внес огромное блюдо и поставил перед хозяином. Он уже подавал и другие блюда, но это он нес торжественно, как несут на Рождество свиную голову. На блюде лежал вареный кочан капусты.

— Мне бросили вызов, — продолжал Гуд. — Мой друг сказал, что я кое-чего не сделаю. В сущности, все так думают, но я это сделал. А, надо заметить, этот самый друг, в пылу насмеш-

ки, употребил опрометчивое выражение. Вернее, он дал опрометчивый обет.

— Я сказал,— торжественно пояснил полковник, — что, если он это сделает, я съем свою шляпу.

Он наклонился и принялся ее есть. Затем рассудительно произнес:

— Видите ли, обет надо исполнять буквально или никак. Можно спорить о том, насколько точно выполнял свой обет мой друг. Но я решил быть точным. Съесть одну из моих шляп я не мог. Пришлось завести шляпу, которую можно съесть. Одежду есть трудно, но еда может стать одеждой. Мне казалось, что позволительно считать шляпой свой единственный головной убор. Дурацкий вид — не такая уж большая плата за верность слову. Когда даешь обет или держишь пари, всегда чем-нибудь рискуешь.

Он попросил у гостей прощения и встал из-за стола.

Девушка тоже встала.

— По-моему, это прекрасно,— сказала она. — Так же нелепо, как легенды о Граале.

Встал и юрист — довольно резко — и, поглаживая подбородок, поглядывал на друга из-под нахмуренных бровей.

— Ну вот, ты и вызвал свидетеля,— сказал он, — а теперь я покину зал суда. Мне надо уйти по делу. До свидания, мисс Смит.

Девушка машинально попрощалась, а Крейн очнулся и устремился за своим другом.

— Оуэн,— быстро сказал он, — жаль, что ты уходишь. Ты правда спешишь?

— Да,— серьезно ответил Гуд. — Мое дело очень важное. — Углы его рта дрогнули. — Понимаешь, женюсь.

— О, черт! — воскликнул полковник.

— Спасибо за поздравления,— сказал ехидный Гуд. — Да, я серьезно обдумал. Я даже решил, на ком женюсь. Она знает, ее предупредили.

— Прости,— растерянно сказал Крейн, — конечно, я тебя поздравляю, а ее — еще больше. Я очень рад. Понимаешь, я просто удивился. Не потому...

— А почему? — спросил Гуд. — Наверное, ты думал, что я останусь старым холостяком? Знаешь, я понял, что дело тут не в годах. Такие, как я, старятся по собственной воле. В жизни куда больше выбора и меньше случайностей, чем думают нынешние фаталисты. Для некоторых судьба сильнее времени. Они не потому холосты, что стары; они стары, потому что холосты.

— Ты не прав,— серьезно сказал Крейн. — Я удивился не этому. Я совсем не вижу ничего странного... скорее, наоборот... как будто все правильной, чем думаешь... как будто... в общем, я тебя поздравляю.

— Я скоро тебе все расскажу,— сказал Гуд. — Пока важно одно: из-за нее я это сделал. Я совершил невозможное, но поверь — невозможнее всего она сама.

— Что же, не буду тебя отрывать от столь невозможного дела, — улыбнулся Крейн. — Право, я очень рад. До свидания.

Трудно описать, что он чувствовал, взирая сзади на квадратные плечи и рыжую гриву гостя. Когда он повернулся и поспешил к гостю, все стало каким-то новым, неразумным и легким. Он не мог бы сказать, в чем тут связь, он даже не знал, есть ли она вообще. Полковник был далеко не глуп, но привык глядеть на вещи извне; как солдаты или ученые, он редко в себе копался. И сейчас он не совсем понял, почему все так изменилось. Конечно, он очень любил Гуда, но любил и других, и они женились, а садик оставался прежним. Будь тут дело в дружбе, он скорее беспокоился бы, не ошибся ли его друг, или ревновал бы к невесте. Нет, причина была иная, не совсем понятная, и непонятого становилось все больше. Мир, где коронуют себя капустой и женятся очертя голову, казался новым и странным, и нелегко было понять живущих в нем людей — в том числе самого себя. Цветы в кадках стали яркими и незнакомыми, и даже овощи не огорчали его воспоминанием. Будь он пророком или ясновидящим, он увидел бы, как зеленые ряды капусты уходят за горизонт, словно море. Он стоял у начала повести, которая не закончилась, пока зеленый пожар не охватил всю землю. Но он был человеком дела, а не пророком и не всегда понимал, что делает. Он был прост, как древний герой или патриарх на заре мира, не знавший, как велики его деяния. Сейчас он чувствовал, что занялась заря — и больше ничего.

Одри Смит стояла довольно близко — ведь, провожая гостя, Крейн отошел недалеко, — но он увидел ее в зеленой рамке сада, и ему показалось, что ее платье еще синее от дали. А когда она заговорила, ее голос звучал иначе — приветливо и как бы издали, словно она окликает друга. Это растрогало его необычайно, хотя она только и сказала:

— Где ваша старая шляпа?

— Она уже не моя, — серьезно ответил он. — Пришлось, ничего не поделаешь. Кажется, пугало в ней ходит.

— Пойдемте посмотрим на пугало! — воскликнула она.

Он повел ее в огород и показал его достопримечательности — от Арчера, важно опиравшегося на лопату, до божка, ухмылявшегося у края грядки. Говорил он все торжественней и не понимал ни слова.

Наконец она рассеянно, почти грубо прервала его, но ее карие глаза смотрели ясно и радостно.

— Не говорите вы так! — воскликнула она. — Можно подумать, что мы в глуши. А это... это просто рай... У вас так красиво...

Именно тогда потерявший шляпу полковник потерял и голову. Темный и прямой на причудливом фоне огорода, он в самой традиционной манере предложил даме все, чем владел, включая капусту и пугало. Когда он называл капусту, смешное воспоминание бумерангом возвратилось к нему и стало возвышенным.



— И лишнего тут много,— мрачно заключил он . — Пугало, и божок, и глупый человек, опутанный условностями.

— Особенно когда выбирает шляпу , — сказала она.

— Боюсь, это исключение,— серьезно возразил он . — Вы редко такое увидите, у меня очень скучно. Я полюбил вас, иначе не мог, но вы — из другого мира, где говорят, что думают, и не понимают ни наших умолчаний, ни наших предрассудков.

— Да, мы наглые,— признала она , — и вы простите меня, если я скажу, что думаю.

— Лучшего я не заслужил, — печально ответил он.

— Я тоже, кажется, вас полюбила, — спокойно сказала она . — Не знаю, при чем тут время. Вы самый поразительный человек, какого я видела.

— Господи помилуй! — почти беспомощно воскликнул он . — Боюсь, вы ошибаетесь. Что-что, а на оригинальность я никогда не претендовал.

— Вот именно! — подхватила она . — Я видела очень многих людей, претендующих на оригинальность. Конечно, они готовы одеться в капусту. Они бы и в тыкву залезли, если бы могли. Они бы ходили в одном салате. Ведь они это делают ради моды, неумолимой богемной моды. Отрицание условностей — их условность. Я и сама так могу, это очень занятно, но я всегда распознаю смелость и силу. У них все зыбко, все бесформенно. А истине сильный может создать форму и разбить ее. Тот, кто жертвует ради слова двадцатью годами условности — настоящий человек и властелин судьбы.

— Какой там властелин! — сказал Крейн . — Интересно, когда же я перестал владеть своей судьбой — вчера или вот сейчас?

Он стоял перед ней, как рыцарь в тяжелых доспехах. Да, этот старый образ тут очень уместен. Все стало так непохоже на то, чем он прежде жил, на рутину его бесконечных будней, что дух его не сразу взорвал броню. Если бы он поступил, как поступает в такую минуту всякий, он не мог бы испытать высшей радости. Он был из тех, для кого естественен ритуал. Почти неуловимая музыка его души напоминала не пляску, а чинный старинный танец. Не случайно он создал этот сад, и выложенный камнем пруд, и высокую живую изгородь. Полковник склонился и поцеловал даме руку.

— Как хорошо! — сказала она . — Вам не хватает парика и шпаги.

— Простите,— сказал он . — Ни один современный мужчина не достоин вас. Надеюсь, я все-таки не совсем современный.

— Никогда не носите эту шляпу! — воскликнула она, указывая на проломленный цилиндр.

— По правде говоря,— кротко ответил он , — я и не собирался.

— Какой вы глупый! — сказала она . — Не эту самую, а вообще... Ничего нет красивой капусты.

— Ну, что в вы, — начал он, но она смотрела на него совершенно серьезно.

— Вы же знаете, я художница и мало смыслю в литературе. У книжных людей слова стоят между ними и миром. А мы видим вещи, не имена. Для вас капуста смешная, потому что у нее смешное, глупое имя вроде «пусто» или «капут». А она совсем не смешная. Вы бы это поняли, если бы вам пришлось ее писать. Разве вы не знаете, почему великие художники писали капусту? Они видели цвет и линию — прекрасную линию, прекрасный цвет.

— Может быть, на картине... — неуверенно начал он.

Она громко рассмеялась.

— Ох, какой вы глупый! — повторила она. — Неужели вы не понимаете, что это было красиво? Тюрбан из листьев, а кочерыжка — острие шлема. Как у Рембрандта — шлем, окутанный тюрбаном, и бронзовое лицо в зеленой и пурпурной тени. Вот что видят художники, у которых голова свободна от слов! А вы еще просите прощения, что не надели эту черную трубу. Вы же ходили как царь в цветной короне. Вы и были тут царем — все вас боялись.

Он попытался возразить, но она засмеялась чуть задорнее.

— Если бы вы еще продержались, они бы все надели овощные шляпы. Честное слово, мой кузен стоял недавно над грядкой с лопатой в руке.

Она помолчала и спросила с прелестной непоследовательностью:

— А что такое сделал мистер Гуд?

Но рассказы эти — шиворот-навыворот и рассказывать их надо задом наперед. Те, кто хочет узнать ответ на ее вопрос, должны пойти на скучнейший из подвигов и прочитать второй рассказ.

А в перерыве между пытками пусть отдохнут.

НЕЖДАННАЯ УДАЧА ОУЭНА ГУДА

Подвижники, прочитавшие до конца рассказ о неприглядном наряде, знают, что деяния полковника были первыми в ряду деяний, которые обычно считают невозможными, как подвиги рыцарей короля Артура. Сейчас полковник будет играть второстепенную роль, и мы скажем, что ко времени вышеизложенных событий его давно знали и чтили как уважаемого и темнотицаго офицера в отставке, который живет в предместье Лондона и изучает первобытные мифы. Однако загар и знание мифов он приобрел раньше, чем уважаемость и дом. В молодости он был путешественником, беспокойным и даже отчаянным; и в рассказе появляется потому, что принадлежал в ту пору к кружку молодых людей, чья отвага граничила с сумасбродством. Все они были чудаками, причем одни исповедовали мятежные взгляды, другие — отстаые, а третьи — и те, и другие. Среди последних был Роберт Оуэн Гуд, не совсем законопослушный законник, герой нашего рассказа.

Гуд больше всех дружил с Крейном и меньше всех на него походил. Он был домоседом, Крейн — бродягой; он не терпел условностей, Крейн их любил. Имена «Роберт Оуэн» свидетельствовали о семейной традиции, но вместе с мятежностью он унаследовал немного денег и мог наслаждаться свободой, скитаясь и мечтая в холмах между Северном и Темзой. Особенно он любил удить на одном островке. Здесь, в верховьях Темзы, часто видели странного человека в старом сером костюме, с рыжей гривой и тяжелым наполеоновским подбородком. В тот день, о котором пойдет речь, над ним стоял его добрый друг, отправившийся в одну из своих одиссей по южным морям.

— Ну, — укоризненно спросил нетерпеливый путешественник, — поймал что-нибудь?

— Ты как-то спрашивал меня, — ответил рыболов, — почему я считаю тебя материалистом. Вот поэтому.

— Если надо выбирать между материализмом и безумием, — фыркнул Крейн, — я за материализм.

— Ты неправ,— отвечал Гуд. — Твои причуды безумнее моих, да и пользы от них меньше. Когда вы видите у реки человека с удочкой, вы непременно спросите, что он поймал. А вот вас, охотников на крупную дичь, никто ни о чем не спрашивает. Ваш слоновый улов велик, но незаметен; наверное, сдаете на хранение. Все у вас скромно скрыто песком, прахом и далью. А я ловлю то, что неуловимей рыбы: душу Англии.

— Скорей ты схватишь тут насморк,— сказал Крейн. — Мечтать — неплохо, но всему свое время.

Тут вещая туча должна бы скрыть солнце, как окутала тень тайны это место рассказа. Ведь именно тогда Джеймс Крейн изрек славное пророчество, на котором и зиждется наша невероятная повесть. Минуту спустя, должно быть, он и не помнил своих слов. Минуту спустя странная туча уже сползла с солнца.

Пророчество обернулось поговоркой (в свое время многотерпеливый читатель узнает, какой именно). В сущности, вся беседа состояла из поговорок и словиц; их любят такие, как Гуд, чье сердце — в английской деревне. Однако на сей раз первым был Крейн.

— Ну хорошо, ты любишь Англию,— сказал он. — Но если ты думаешь ей помочь, не жди, пока у тебя под ногами вырастет трава.

— Этого я и хочу,— отвечал Гуд. — Об этом и мечтают твои измученные горожане. Представь, что бедняга клерк идет и видит, как у него из-под ног растет волшебный ковер. Ведь это сущая сказка.

— Он не сидит камнем, как ты,— возразил Крейн. — У тебя скоро ноги обовьет плющ. Тоже вроде сказки. Жаль, поговорки такой нет.

— Ничего, поговорок у меня хватит! — засмеялся Гуд. — Напомню тебе о камне, который мхом не обрастет.

— Да, я катящийся камень,— ответил Крейн. — Я качусь по земле, как земля катится по небу. Но помни: мхом обрастает только один камень.

— Какой, о мой шустрый камневед?

— Могильный, — сказал Крейн.

Гуд склонил длинное лицо над бездной, отражавшей чащи. Наконец он сказал:

— Там не только мох. Там и слово «Resurgam»¹.

— Может, и воскреснешь, — великодушно согласился Крейн. — Трубе придется нелегко, пока она тебя разбудит. Опоздаешь к Суду!

— В настоящей пьесе,— сказал Гуд, — я ответил бы, что лучше опоздать тебе. Но христианам не к лицу так прощаться. Ты правда сегодня уезжаешь?

— Да, вечером,— ответил Крейн. — Конечно, тебя не тянет к моим людодам на острова?

¹ Да воскресну (лат.).

— Предпочитаю мой собственный о с т р о в , — сказал Оуэн Гуд.

Друг его ушел, а он, не двигаясь, смотрел на тихий перевернутый мир в зеленом зеркале речки. Рыболовы часто сидят так, но нелегко было понять, интересуется ли рыбой наш одинокий законник. Он гордо носил в кармане томик Исаака Уолтона, потому что любил старые английские стихи не меньше, чем старые английские ландшафты. Но рыболовом он был не слишком искусным.

Дело в том, что Оуэн Гуд поведал другу не о всех чарах, влекущих его к островку в верховьях Темзы. Если бы он сказал, что надеется поймать столько же рыбы, как апостолы, или морского змия, или кита, проглотившего Иону, он выражался бы довольно точно. Оуэн Гуд ловил то, что редко ловят рыболовы, — юношеский сон, давнее чудо, случившееся в этих пустынных местах.

За несколько лет до того он удил как-то вечером на островке. Сумерки сменились тьмой, солнце оставило по себе две-три широкие серебряные ленты за черными стволами. Улетели последние птицы, исчезли все звуки, кроме мягкого плеска воды. Вдруг — бесшумно, как призрак — из леса на другом берегу вышла девушка. Она что-то сказала, он не понял и что-то ответил. Была она в белом и держала охапку колокольчиков. Прямая золотистая челка закрывала ее лоб; лицо было бледно, как слоновая кость, и бледные веки тревожно вздрагивали.

Он ощутил, что непроходимо глуп, но говорил, кажется, связно — она не уходила, и даже занятно — она засмеялась. И тут случилось то, чего он так и не понял, хотя любил копаться в себе. Она взмахнула рукой и выронила синие цветы. Вихрь подхватил его; ему стало ясно, что начались чудеса, как в сказке или в эпосе, и все земное — их ничтожный знак. Еще не понимая, где он, он стоял весь мокрый на берегу — по-видимому, он бросился в воду и спас цветы, как ребенка. Из всех ее слов он запомнил одну только фразу: «Вы же насмерть простудитесь».

Простудиться он простудился, но не умер, хотя мысль о смерти была ровень с его чувствами. Врач, которому пришлось кое-что рассказать, весьма заинтересовался тем, что удостоился услышать. Он увлекался генеалогией и судьбой знатных семейств и, поднапрягшись, вывел, что таинственная дама — Элизабет Сеймур из Марли-Корта. О таких вещах он говорил почтительно, даже подобострастно, носил фамилию Хантер и позже поселился неподалеку от Крейна. Как и Гуд, он восхищался ландшафтом и считал, что тот обязан своей прелестью заботам и умению владельцев Марли-Корта.

— Такие помещики и создали Англию, — сказал о н . — Хорошо радикалам болтать, но где бы мы были без них?

— Я тоже за помещиков, — не без усталости ответил Г у д . — Я так их люблю, что хотел бы их размножить. Побольше, побольше помещиков! Сотни и тысячи...

Не знаю, разделял ли доктор Хантер его пыл и понял ли его слова. Сам же Гуд вспоминал поздней эту беседу, если вообще мог вспоминать какие-нибудь беседы, кроме одной.

Не буду скрывать от умного, но утомленного читателя, что все это и побудило Гуда сидеть часами на островке, глядя на другой берег. Шли годы, уходила молодость, приближался средний возраст, а Гуд все возвращался сюда, ждал и не дождался. Впрочем, заглянув поглубже, мы даже и не посмеем сказать, что он ждал. Просто этот уголок стал хранилищем святости, и Гуд хотел увидеть все, что бы здесь ни случилось. Так и вышло, он все увидел; а еще задолго до конца нашей повести случились здесь дела довольно странные.

Однажды утром из лесу вышел пыльный человек, тащивший пыльные доски, и принялся сколачивать деревянный щит, на котором огромными буквами было написано «Продается». Впервые за это время Гуд бросил удочку, встал и громко спросил, в чем дело. Человек отвечал ему терпеливо и добродушно, но, кажется, решил, что говорит с беглым сумасшедшим.

Так началось то, что стало для Гуда истинным кошмаром. Перемены шли неспешно, годами, и ему казалось, что он беспомощен и связан, как во сне. Он зловеще смеялся, вспоминая, что теперь человека считают властелином своей судьбы, а он не может охранить воздух от яда и тишину от адских звуков. Что-то есть, мрачно думал он, в простодушных восторгах Хантера. Что-то есть в самой грубой и даже варварской аристократии. Феодалы совершали набеги, надевали на рабов ошейники, а порой и вешали кого-нибудь. Но они не вели упорной войны против наших пяти чувств.

Бесформенное чудище пухло, росло и даже размножалось без явного деления клеток. И вот на берегу оказалась целая толпа черных строений, увенчанных высокой трубой, из которой шел дым прямо в безответное небо. На земле валялись лом и мусор, а ржавая балка лежала как раз там, где стояла, выйдя из леса, девушка с колокольчиками.

Он не покинул острова. При всей романтической склонности к оседлой сельской жизни он недаром родился в семье старого мятежника. Отец недаром нарек его Робертом Оуэном, а друзья называли Робин Гудом. Правда, иногда сердце у него падало, но чаще он воинственно шагал по острову, радуясь, что лесные цветы реют так близко от гнусных построек, и бормотал: «Выкинем флаги на гребень стены!»

Как-то утром, когда восход еще сиял за темной глыбой фабрики и свет атласным покровом лежал на реке, по атласу заскользило что-то потемнее и поглубже — тонкая струйка жидкости, не смешивающаяся с водой, но извивающаяся по ней, как червь. Оуэн Гуд смотрел на нее, как смотрят на змею. Подобно змее, она поблескивала матово и довольно красиво, но для него воплощала зло, словно змий-искуситель, заползший в рай. Через

несколько дней змеи размножились: несколько ручейков поползли по реке, не смешиваясь с ней, как не смешиваются с водой зловещие зелья ведьм. Позже появилась темная жидкость, уже не претендующая на красоту, — бурые, тяжелые, широкие пятна.

Гуд до самого конца смутно представлял себе назначение фабрики. В деревне говорили, что производят тут краски для волос, но пахло скорее мыловаренным заводом, и он предположил, что здесь нашли золотую середину между краской и мылом — какое-то сверхученое косметическое средство. Такие средства особенно вошли в моду с тех пор, как профессор Хейк написал свой труд о лечебной пользе косметики, и Гуд часто видел теперь на лужайках своего детства большие плакаты: «К чему стариться?», с которых недостойно скалилась какая-то дама.

Решив разузнать побольше, Гуд стал наводить справки. Очень долго он писал без ответа; крупные фирмы так же неделовиты, как государственные учреждения, толку от них не больше, а манеры у них куда хуже. Но в конце концов он добился свидания и встретился с теми, кого хотел увидеть.

Одним из них был сэръ Сэмюел Блисс, не оказавший еще тех услуг, благодаря которым все мы знаем его под именем лорда Нормантауэrsa. Вторым был его управляющий, мистер Лоу; тучный, толстоносый, в толстых перстнях, он глядел на всех подозрительным, налитым обидой взором, словно боялся суда. Третьим был наш старый друг, доктор Хорес Хантер; он стал теперь медицинским инспектором и отвечал за санитарное состояние округа. Четвертый же удивил Гуда больше всего: их собеседование почтил присутствием сам профессор Хейк, совершивший переворот в современном уме своими открытиями о связи румянца со здоровьем. Когда Гуд узнал, кто это, мрачная улыбка осветила его лицо.

Для данного случая профессор припас еще более интересную теорию. Говорил он последним и теорию свою изложил как окончательный приговор. Управляющий уже заверил, что нефть просто не может течь в воду, так как на фабрике ею мало пользуются. Сэръ Сэмюел сообщил — сердито и даже небрежно, — что он открыл для народа несколько парков и построил рабочим бараки, обставленные с большим вкусом, так что никто не вправе обвинить его в равнодушии к красоте. Тут-то профессор и изложил учение о предохранительной пленке. Если тонкий слой нефти, сказал он, и появился в воде, это не важно, с водой он не смешивается, она только станет чище. Нефть — своего рода капсула; так заливают желатином пищу, чтобы ее сохранить.

— Интересная теория... — заметил Гуд.

Сэръ Сэмюел Блисс поджался и ошетинился.

— Надеюсь, — выговорил он, — вы не сомневаетесь в опытности нашего эксперта?

— Ну что вы! — серьезно ответил Гуд. — Я верю, что он опытен, и верю, что он ваш.

Профессор заморгал, но под его тяжелыми веками что-то засветилось.

— Если вы намерены так разговаривать... — начал он, но Гуд его перебил и обратился к Хантеру тоном веселым и грубым, словно пинок:

— А вы что скажете, дражайший доктор? Когда-то вас не меньше моего умиляли эти места. Вы говорили, что только старинные семьи сохраняют прелесть Англии.

— Из этого не следует, — ответил врач, — что не надо верить в прогресс. То-то и плохо с вами, Гуд: вы в прогресс не верите. Нужно попевать за временем, а кто-нибудь всегда от этого страдает. И вообще все не так уж страшно. Когда пройдет новый билль, придется пользоваться фильтром Белтона.

— Понимаю... — задумчиво сказал Гуд. — Сперва вы мутите воду ради денег, а потом вынуждаете очищать ее и ставите это себе в заслугу.

— Не пойму, о чем вы говорите, — запальчиво сказал Хантер.

— Сейчас я думал о мистере Белтоне, — ответил Гуд. — Хорошо бы его пригласить. Такая теплая собралась компания.

— Не вижу смысла в этом нелепом разговоре! — сказал сэр Сэмюел.

— Не называйте нелепой теорию бедного профессора! — возмутился Гуд. — Вы ведь не считаете, что эти вещества перемерзят всю рыбу?

— Конечно нет, — резко ответил Хантер.

— Она приспособится к масляной среде, — мечтательно продолжал Гуд. — Полюбит нефть...

— Ну, знаете, мне некогда слушать глупости! — сказал Хантер и хотел было идти, но Гуд преградил ему путь, прямо глядя на него.

— Не называйте глупостью естественный отбор, — сказал он. — О нем я знаю все. Я не берусь судить, попадут ли масла в воду, — я не разбираюсь в технике. Я не разберу, гремят ли ваши чертовы машины, — я не изучал акустики. Я не пойму, сильно воняет или нет, — я не читал вашей книги «Обоняние». Но о приспособлении к среде я знаю все. Я знаю, что некоторые низшие организмы изменяются вместе с условиями. Я знаю, что есть существа, которые приспособляются к любой грязи и пакости. Когда кругом затишье, они притихают; когда кругом кипит, они кипят; когда кругом гнусно, они гнусны. Спасибо, что вы меня в этом убедили.

Не ожидая ответа, он поклонился и поспешно вышел. Так пришел конец знаменитой дискуссии о правах жителей прибрежной полосы, а может — и чистоте Темзы, и всей старой Англии со всем хорошим и плохим, что в ней было.

Широкая публика так и не узнала подробностей — по крайней мере, до тех пор, пока не разыгралась катастрофа. Правда, об этом немного поговорили через месяц-другой, когда доктор

Хорес Хантер выставил свою кандидатуру в парламент. Человека два поинтересовались, как он предотвращает загрязнение воды. Величайший из современных гигиенистов, профессор Хейк, написал в интересах науки, что врач может поступить только так, как поступил Хантер. По счастливой случайности промышленный заправила этих мест, сэр Сэмюел Блисс, серьезно взвесив все за и против, решил голосовать за Хантера. Знаменитый организатор вел себя как истый философ, но мистер Лоу, его управляющий, оказался практичнее и настойчивей. И вот голубые ленты — знак хантерианцев — украсили железные балки, деревянные столбы фабрики и тех, кто сновал между ними и звался «рабочими руками».

Гуд выборами не интересовался, но участие в них принял. Все же он был юристом — ленивым, но знающим. Без всякой надежды, из чистого духа противоречия, он подал иск и защиту своих интересов взял на себя. Ссылаясь на закон Генриха III, он требовал привлечь к ответственности тех, кто распугивает рыбу, принадлежашую подданным короля, живущим в долине Темзы. Судья похвалил его умелость и знания, но ходатайство отклонил, ссылаясь на прецеденты. Он указал, что еще нет способа определить, налицо ли тот «плотский страх», о котором идет речь в законе. Толкуя закон Ричарда II против ведьм, пугавших детей, крупные авторитеты считали, что ребенок «должен явиться в суд и лично поведать о своем страхе». Поскольку ни одна рыба не явилась, судья склонился на сторону ответчика. В сущности, судья умел оценить и свою, и чужую логику, но предпочел свою. Ведь наши судьи не связаны сводом законов — они прогрессивны, как Хантер, и, по велению принципа, не отстают от новых сил века, особенно от тех, которые можно встретить на званом обеде.

Однако этот неудачный процесс повлек за собой то, что затмило его сиянием славы. Оуэн Гуд вышел из суда и свернул к вокзалу. Шел он, как всегда, мрачно задумавшись, но видел много лиц, и впервые ему пришло в голову, что на свете живет очень много народу. И на перроне мелькали лица, а он рассеянно скользил по ним взглядом, как вдруг увидел одно, и оно поразило его, как лицо покойника.

Она спокойно вышла из буфета; в руке у нее, как у многих других, был саквояж. По непонятной извращенности ума, хранящего святыню, Гуд не мог представить себе, чтобы она была не в белом и выходила не из леса. Сейчас он совсем смешался — синее шло ей не меньше белого, а в том лесу недоставало буфета и перрона.

Она остановилась; дрожащие, бледные веки поднялись, и он увидел серо-голубые глаза.

— Господи! — сказала она. — Вы тот мальчик, который прыгнул в реку.

— Я уже не мальчик, — сказал Гуд, — но в реку готов броситься.

— Только не бросайтесь под поезд! — сказала она.

— По правде говоря,— сказал он , — я думал броситься в поезд. Вы не возражаете, если я брошусь в ваш?

— Я еду в Биркстед, — растерянно сказала она.

Ему было безразлично, куда она едет; но тут он вспомнил, какой полустанок есть на этом пути, и поспешно устремился в вагон. Замелькали ландшафты, а путники довольно глупо смотрели друг на друга. Наконец она улыбнулась.

— Я слышала о вас от вашего друга,— сказала она . — Тогда он пришел в первый раз. Вы ведь знакомы с Хантером?

— Да,— ответил Оуэн, и тень омрачила его счастье. — А вы... вы хорошо его знаете?

— Довольно хорошо, — сказала Элизабет Сеймур.

Мрак, окутавший его душу, быстро сгущался, Хантер — если вспомнить слова Крейна — был не из тех, у кого трава растет под ногами. Он вполне мог использовать тот случай, чтобы втереться к Сеймурам. Все на свете было для него ступенькой лестницы; камень островка стал ступенькой к их дому, а дом, быть может, еще одной ступенькой? Гуд понял, что до сих пор злился отвлеченно. До сих пор он не знал, что такое ненависть.

Поезд остановился у станции.

— Пожалуйста, выйдите здесь со мной, — резко сказал Гуд . — У меня к вам большая просьба.

— Какая? — тихо спросила она.

— Соберите букет колокольчиков, — глухо ответил он.

Она вышла из вагона, и, не говоря ни слова, они пошли по извилистой деревенской дороге.

— Помню! — сказала она в друг . — С этого холма виден ваш островок и лес, где росли колокольчики.

— Пойдем посмотрим, — сказал Оуэн.

Они поднялись на холм и остановились. Внизу черная фабрика изрыгала в воздух зловещий дым, а там, где некогда был лес, стояли коробки домов из грязного кирпича.

Гуд заговорил:

— «Итак, когда увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте», тогда и настанет конец света. Пусть бы кончился сейчас, пока мы здесь, на холме.

Она смотрела вниз, полуоткрыв рот и побледнев еще сильнее. На ближайшем из ящиков пестрели плакаты, и самый большой гласил: «Голосуйте за Хантера». Гуд вспомнил, что наступил последний, ответственный день выборов. И тут Элизабет спросила:

— Это тот самый Хантер? Он хочет в парламент?

Камень, лежавший на его душе, вспорхнул ввысь, как орел. Холм, на котором он стоял, показался выше Эвереста. Во внезапном озарении он понял: она знала бы, хочет ли Хантер в парламент, если... если бы его опасения были правдой. Ему стало так легко, что он посмел сказать:

— Я думал, вы слышали. Я думал... Ну, я думал, вы его любите... не знаю почему.

— И я не знаю,— сказала Элизабет. — Говорят, он женится на дочке Нормантауэrsa. Они ведь купили наше имение.

Роберт Оуэн Гуд помолчал; потом сказал громко и весело:

— Что ж, голосуйте за Хантера. Чем он плох? Милый, старый Хантер! Надеюсь, он попадет в парламент. Надеюсь, он станет премьером. Господи, да пускай его будет императором Солнечной системы!

— За что это ему? — удивилась она.

— За то, что вы не любите его, — ответил Гуд.

— Вот как! — проговорила она, и легкая дрожь ее голоса проникла ему в душу как звон серебряных колокольчиков.

Во вдохновении веселья голос его стал звонче, лицо живей, моложе и строже, а профиль еще больше похож на молодого Наполеона. Его широкие плечи, ссутулившиеся над книгами, выпрямились, и рыжие волосы упали назад с открытого лба.

— Я скажу вам кое-что о нем,— начал он, — и о себе тоже. Друзья говорят, что я неудачник, мечтатель, и трава растет у меня под ногами. Я скажу вам, почему я ей не мешал. Через три дня после нашей встречи я виделся с Хантером. Конечно, он ничего не знал. Но он человек практичный, очень практичный, не какой-нибудь мечтатель. По его тону я понял, что он хочет использовать тот случай — для себя, а может, и для меня, он ведь добрый... да, он добрый. Если бы я понял его намек и вступил, так сказать, в компанию, я бы узнал вас намного раньше, и вы были бы не воспоминанием, а... знакомой. И я не смог. Судите меня как хотите — не мог, и все. Я не мог прийти к вам, когда дверь передо мной распахивал этот угодливый лакей. Я не мог, чтобы этот самодовольный сноб играл такую роль в моей жизни. А когда мой лучший друг изрек пророчество, я ему поверил.

— Какое пророчество? — рассеянно спросила она.

— Сейчас это не важно,— сказал он. — Странные вещи творятся со мной, и, может быть, я еще что-нибудь сделаю. Но прежде всего я должен объяснить, кто я и зачем жил. Есть на свете такие люди — я не считаю, что они лучше всех, но они есть, назло здравомыслящим современным писателям. Я ходил по миру слепым, я смотрел внутрь — на вас. Если вы мне снились, я долго был сам не свой, словно встретил привидение. Я читал серьезных, старых поэтов — только они были достойны вас. А когда я вас увидел, я решил — настал конец света, и мы встретились в том мире, который слишком хорош, чтобы верить в него.

— Я не думаю,— сказала она, — что в это не надо верить.

Он взглянул на нее, и радость пронзила его, словно молния. Даже в лучшую пору ее близорукие глаза трогательно мигали, но сейчас она моргала беспомощно, как слепая, по другой причине. Глаза ее блестящие и слепли от слез.

— Вы говорили о неудачниках, — ровным голосом сказала она. — Наверное, многие так назовут и меня, и мою семью. Во всяком случае, сейчас мы бедны. Не знаю, известно ли вам, что

я даю уроки музыки. Должно быть, нам полагается исчезнуть — мы не приносили пользы. Правда, некоторые из нас старались не приносить и вреда. А теперь я скажу вам о тех, кто очень, очень старался. Современные люди считают, что это все старомодно, как в книге. Ну и пускай. Они знают нас мало, как и мы их. Но вам, когда вы так говорите... я должна сказать... Если мы сдержаны, если мы холодны, если мы осторожны и нелепы — это все потому, что в самой глубине души мы знаем: есть на свете верность и любовь, которых стоит ждать до конца света. Только очень страшно, если теперь... когда я дождалась... страшно вам, еще страшнее мне... — Голос ее пресекался, и молчание сковало ее.

Он шагнул вперед, словно ступил в сердце вихря, и они встретились на вершине холма, как будто пришли с концов света.

— Это — как эпос, — сказал он. — Действие, а не слово. Я слишком долго жил словами.

— О чем вы? — спросила она.

— Я стал человеком дела, — ответил он. — Пока вы были прошлым, не было настоящего. Пока вы были сном, не было яви. Но теперь я совершу то, чего никто не совершал.

Он повернулся к долине и выбросил вперед руку, словно взмахнул мечом.

— Я нарушу пророчество, — крикнул он. — Я брошу вызов оракулу, посмеюсь над злой звездой. Тот, кто звал меня неудачником, увидит, что я сделал невозможное.

Он кинулся вниз и позвал Элизабет так беспечно, словно они играли в прятки. Как ни странно, она побежала за ним. Все дальнейшее еще меньше соответствовало ее тонкости, скромности и достоинству. Она никогда не могла описать жуткой бессмыслицы выборов, но у нее осталось смутное чувство клоунады и конца света. Однако фарс не оскорблял ее, трагедия — не пугала. Она не была возбуждена в обычном смысле слова; ее держало то, что прочней терпения. За всю свою одинокую жизнь она не чувствовала так сильно стен из слоновой кости, но теперь в башне было светло, словно ее осветили свечами или выложили чистым золотом.

Гуд стремительно притащил свою даму на берег реки. Навстречу им вышел мистер Лоу в отороченном мехом пальто, застегнутом на все пуговицы. В глазах его польхнуло удивление — или недоверие, — когда Гуд сердечно предложил ему помощь. Тут на него налетел один из агентов с пачкой телеграмм. Не хватало агитаторов, не хватало ораторов, в каком-то местечке заждалась толпа, Хантер задерживался... В своей беде агент готов был схватить хоть клоуна и доверить ему дело Великой Партии, не вдаваясь в нюансы его политических взглядов. Ведь вся деловитость и беготня наших дней срывается в последнюю минуту. В тот вечер Роберту Оуэну Гуду разрешили бы идти куда угодно и говорить что угодно. Интересно, что думала об этом его дама, — быть может, ничего. Как во сне, проходила она через

уродливые, плохо освещенные конторы, где метались, словно кролики, маленькие сердитые люди. Стены были покрыты плакатами, изображающими Хантера в единоборстве с драконом. Чтобы люди не подумали, что Хантер бьет драконов спорта ради, на драконе было написано, кто он такой. По-видимому, он был «Национальной расточительностью». Чтобы знали, чем именно сражает его Хантер, на мече стояло «Бережливость». Все это мелькало в счастливом, испуганном сознании Элизабет, и она невольно подумала, что ей пришлось учиться бережливости и бороться с искушением расточительности, но она не знала, что это бой с большим чешуйчатым чудовищем. В самом главном центре они увидели и кандидата в цилиндре, но он забыл о нем и не снял, здороваясь с дамой. Ей было немного стыдно, что она думает о таких пустяках, но она обрадовалась, что не выходит замуж за кандидата в парламент.

— В трущобы ехать не к чему, — сказал доктор Хантер. — Там толку не дождешься. Надо бы их уничтожить, да и народ заодно.

— А у нас был прекрасный митинг, — весело вставил агент. — Нормантауэрс рассказывал анекдоты, и ничего, выдержали.

— Да, — сказал Оуэн Гуд, бодро потирая руки, — как у вас насчет факелов?

— Каких еще факелов? — спросил агент.

— Как? — строго сказал Гуд. — В этот славный час путь победителя не будут освещать сотни огней? Понятно ли вам, что народ в едином порыве избрал своего вождя? Что жители трущоб готовы сжечь последний стул в его честь? Да хоть бы этот...

Он схватил стул, с которого встал Хантер, и принялся рьяно его ломать. Его успокоили, но ему удалось увлечь всех своим предложением.

К ночи организовали шествие, и Хантера в голубых лентах повели к реке, словно его хотели крестить или утопить, как ведьму. Быть может, Гуд хотел ведьму сжечь — он размахивал факелом, окружая сиянием растерянную физиономию доктора. У реки он вскочил на груды лома и обратился к толпе с последним словом:

— Сограждане, мы встретились у Темзы, той Темзы, что для нас, англичан, как Тибр для римлян. Мы встретились в долине, воспетой английскими поэтами и птицами. Нет искусства, столь близкого нам, как акварельные пейзажи; нет акварелей, столь светлых и тонких, как изображения этих мест. Один из лучших поэтов повторял в своих раздумьях: «Теки, река, пока не кончу петь».

Говорят, кто-то пытается загрязнить эти воды. Ложь! Те, кто сейчас встал вровень с нашими певцами и художниками, хранят чистоту реки. Все мы знаем, как прекрасны фильтры Белтона. Доктор Хантер поддерживает мистера Белтона.

Простите, Белтон поддерживает Хантера. Теки, река, пока не кончу петь.

Да и все мы поддерживаем доктора Хантера. Я всегда готов и поддержать его, и выдержать. Он — истый прогрессист, и очень приятно смотреть, как он прогрессирует. Хорошо кто-то сказал: «Лежу без сна, средь тишины, и слышу, как он ползет все выше, выше, выше!» Его многочисленные местные пациенты объединяются в радости, когда он уйдет в лучший мир, то есть в Вестминстер. Надеюсь, все меня правильно поняли. Теки, река, пока не кончу петь.

Сегодня я хочу одного: выразить наше единство. Быть может, некогда я спорил с Хантером. Но, счастлив сказать, все это позади — я питаю к нему самые теплые чувства по причине, о которой говорить не буду, хотя мог бы сказать немало. И вот, в знак примирения, я торжественно бросаю факел. Пусть наши распри угаснут в целительной влаге мира, как гаснет пламя в чистых прохладных водах священной реки.

Раньше, чем кто-нибудь понял, что он делает, он закрутил факел над головой сверкающим колесом и метнул его метеором в темные глубины.

И тут же раздался короткий крик. Все лица до одного повернулись к воде. Все лица были видны — освещены зловещим пламенем, поднявшимся над Темзой. Толпа глядела на него, как смотрят на комету.

— Вот, — крикнул Оуэн Гуд, хватая Элизабет за руку. — Вот оно, пророчество Крейна!

— Да кто такой Крейн? — спросила она. — И что он предсказывал?

— Он мой друг, — объяснил Гуд. — Просто старый друг. Ему не нравилось, что я сижу над книгой или с удочкой, и он сказал на том самом островке: «Может, ты и много знаешь, но Темзы тебе не поджечь, готов съесть свою шляпу!»

Повесть о том, как Крейн съел шляпу, читатели могут вспомнить, оглянувшись на тяжкий пройденный путь.

ДРАГОЦЕННЫЕ ДАРЫ КАПИТАНА ПИРСА

Тем, кто знаком с полковником Крейном и юристом Гудом, будет интересно (или неинтересно) узнать, что рано поутру они ели яичницу с ветчиной в кабаке «Голубой боров», стоящем у поворота дороги, на лесистом холме. Тем, кто с ними незнаком, мы сообщим, что полковник, сильно загорелый и безупречно одетый, и казался, и был молчаливым; а юрист, рыжий и как бы немного ржавый, молчаливым казался. Крейн любил хорошо поесть, а в этом кабаке кормили лучше, чем в кабачке богемном, и несравненно лучше, чем в дорогом ресторане. Гуд любил фольклор и сельские красоты, а в этой долине было так прохладно и тихо, словно западный ветер попал здесь в ловушку, приручился и стал летним воздухом. Оба любили красоту — и в женщине, и в пейзаже, — хотя (или потому что) были романтически преданы своим женам; но девушкой, служившей им — дочерью кабатчика, — залюбовался бы всякий. Она была тоненькая, тихая, но часто вскидывала голову, неожиданно и живо, словно коричневая птичка. Держалась она с неосознанным достоинством, ибо отец ее, Джон Харди, был кабатчиком старого типа, который сродни если не джентльмену, то йомену. Он немало знал, много умел и лицом походил на Коббета, которого нередко читал зимними вечерами. Гуд, сохранивший, как и он, устарелую склонность к мятежу, любил с ним потолковать.

И в долине, и в сияющем небе царил тишина, хотя время от времени над головой пролетал аэроплан. Мужчины обращали на него не больше внимания, чем на муху, но девушка по всем признакам его замечала. Когда никто не глядел на нее, она смотрела вверх; когда же на нее глядели, старательно смотрела вниз.

— Хороший у вас бекон, — сказал полковник.

— Лучший в Англии, — подхватил Гуд, — а ведь по части завтраков Англия — истинный рай. Не пойму, зачем гордиться империей, когда у нас есть яйца и ветчина. Надо бы изобразить

на гербе трех свинок и трех кур. Именно они подарили нашим поэтам утреннюю радость. Только тот, кто позавтракал, как мы, способен написать: «Сгорели свечи, и веселый день...»

— Значит, бекон и впрямь создал Шекспира, — сказал полковник.

— Конечно, — сказал юрист и, увидев, что девушка их слышит, прибавил: — Мы хвалим ваш бекон, мисс Харди.

— Его все хвалят, — сказала она с законной гордостью. — Но скоро это кончится. Скоро запретят держать свиней.

— Запретят свиней! — воскликнул потрясенный юрист.

— Глупые свиньи, — сердито сказал полковник.

— Выбирай слова, — сказал Гуд. — Человек ниже свиньи, если он ее не ценит. Нет, что творится! Как же новое поколение проживет без ветчины? Кстати, о новом поколении, где ваш Пирс? Он обещал сюда приехать, поезд пришел, а его нет.

— Простите, сэр, — несмело и вежливо вставила Джоан Харди. — Капитан Пирс наверху.

Это могло обозначать, что тот — в доме, на втором этаже, но Джоан привычно взглянула в синюю бездну неба. Потом она ушла, а Оуэн Гуд долго глядел туда же, пока не заметил наконец аэроплана, сновавшего, как ласточка.

— Что он там делает? — спросил юрист.

— Себя показывает, — объяснил полковник.

— Зачем ему показывать себя нам? — удивился Гуд.

— Незачем, — ответил Крейн. — Он показывает себя ей — Помолчал и прибавил: — Хорошенькая девушка.

— Хорошая девушка, — серьезно поправил Гуд. — Ты уверен, что он ведет себя порядочно?

Крейн помолчал и поморгал.

— Что ж, времена меняются, — сказал он наконец. — Я человек старомодный, но скажу тебе как твердолобый тори: он мог выбрать и хуже.

— А я как твердолобый радикал, — ответил Гуд, — скажу тебе: вряд ли он мог выбрать лучше.

Тем временем своевольный авиатор спустился на полянку у подножья холма и направился к ним. Походил он скорее на поэта и, хотя весьма отличился во время войны, был из тех, кто стремится победить воздух, а не врага. С той героической поры его светлые волосы заметно отрасли, а синие глаза стали не только веселее, но и воинственней. У свиарника он немного задержался, чтобы поговорить с Джоан Харди, и, подходя к столу, просто пылал.

— Что за чушь? — орал он. — Что за мерзость? Нет, больше терпеть нельзя! Я такого натворю...

— Вы достаточно сегодня творили, — сказал Гуд. — Лучше позавтракайте с горя.

— Нет, вы смотрите... — начал Пирс, но Джоан тихо появилась рядом с ним и несмело вмешалась в беседу.

— Какой-то джентльмен,— сказала она, — спрашивает, можно ли ему с вами поговорить.

Джентльмен этот стоял чуть подальше вежливо, но так неподвижно, что человек слабонервный мог бы испугаться. На нем был столь безукоризненный английский костюм, что все сразу признали в нем иностранца, но тщетно обрыскали мыслью Европу, пытаясь угадать, из какой он страны. Судя по неподвижному, лунообразному, чуть желтоватому лицу, он мог быть и азиатом. Но когда он открыл рот, они сразу определили его происхождение.

— Простите, что помешал,— сказал американец.— Барышня говорит, вы самые лучшие специалисты по этим местам. Я вот хожу, ищу древности, а их нет и нет. Покажите мне, пожалуйста, всякие ваши средние века, очень буду обязан.

Они не сразу оправились от удивления, и он терпеливо пояснил:

— Я — Енох Оутс. В Мичигане меня все знают. А тут, у вас, я купил участок. Посмотрел я нашу планетку, подумал и решил: если у тебя завелся доллар-другой — покупай землю в таком месте. Вот я и хочу узнать, какие тут самые лучшие старинные памятники. Эти, средневековые.

Удивление Хилари Пирса сменилось не то восторгом, не то яростью.

— Средневековые! — возопил он. — Памятники! Вы не прогадали, мистер Оутс. Я вам покажу старинное здание, священное здание, такое древнее, что его бы надо перевезти в Мичиган, как пытались перевезти аббатство Гластонбери.

Он кинулся в угол огорода, размахивая руками, а американец послушно и вежливо пошел за ним.

— Смотрите, пока этот стиль не погиб! — закричал Пирс, указывая на свинарник. — Средневековой некуда! Скоро их не будет. Но с ними падет Англия, и сотрясется мир.

По лицу американца невозможно было понять, насмешливо или наивно он спросил:

— Вы считаете эту постройку очень древней?

— Без всяких сомнений,— твердо ответил Пирс. — Мы вправе предположить, что в таком самом здании держал своих питомцев Гурт-Свинопас. Более того! Я убежден, что данный памятник много древнее. Крупнейшие ученые полагают, что именно здесь недооцененные создания посоветовали блудному сыну вернуться домой. Говорят, мистер Оутс, что такие памятники скоро исчезнут. Но этого не будет! Мы не подчинимся вандалам, покусившимся на наши святыни. Свинарник восстанет во славе! Купола его, башни и шпили возвестят победу священной свиньи над нечестивым тираном!

— Мне кажется,— сухо сказал Крейн, — мистеру Оутсу следует осмотреть церковь у реки. Викарий разбирается в архитектуре и объяснит все лучше, чем мы с вами.

Когда чужеземец ушел, полковник сказал своему молодому другу:

— Некрасиво смеяться над людьми.

Пирс обратил к нему пылающее лицо.

— Я не смеялся, — сказал он и засмеялся, но лицо его все так же пылало. — Я говорил всерьез. Аллегориями, быть может, но всерьез. Серdito, может быть... Но, поверьте, пришло время рассердиться. Мы слишком мало сердились. Я буду бороться за возвращение, за воскресение свињи. Она вернется и диким вепрем ринется на своих гонителей.

Он вскинул голову и увидел на вывеске голубого борова, похожего на геральдических зверей.

— Вот наш герб! — вскричал он. — Мы пойдем в бой под знаменем Борова!

— Бурные аплодисменты, — сказал Крейн. — На этом и кончайте, не надо портить собственную речь. Оуэн хочет посмотреть местную готику, как Оутс. А я посмотрю вашу машину.

Каменистая тропинка вилась меж кустов и клумб, словно садик вырос по краям лестницы, и на каждом повороте Гуд спорил с упирающимся Пирсом.

— Не оглядывайтесь на ветчинный рай, — говорил он, — не то обратитесь в соляной... нет, в горчичный столп. Творец создал для услады глаз не одних свиней...

— Эй, да где же он? — спросил полковник.

— Свињи, свињи... — мечтательно продолжал Гуд. — Необоримо их очарование в раннюю пору нашей жизни, когда мы слышим в мечтах цокот их копытца, и хвостики их обвивают нас, как усики винограда.

— Ну что ты несешь! — сказал полковник.

Хилари Пирс действительно исчез. Он нырнул под изгородь, вскарабкался вверх по другой, более крутой тропинке, продрался сквозь кусты, вспрыгнул на забор и увидел оттуда свинарник и Джоан Харди, спокойно идущую к дому. Тогда он спрыгнул на дорожку, прямо перед ней. В утреннем свете все было четким и ярким, как в детской книжке. Пирс стоял, вытянув руки вперед, его желтые волосы совсем растрепались в кустах, и похож он был на дурака из сказки.

— Я не могу уйти, пока я с вами не поговорю, — сказал он. — Ухожу я по делу... да, именно по делу. Когда люди уходили в поход, они сперва... вот и я... Конечно, не для всех свинарник — высокий символ, но я, честное слово... В общем, вы сами знаете, что я вас люблю.

Джоан Харди это знала, но, словно концентрические стены замка, ее окружали древние деревенские условности, прекрасные и строгие, как старый танец или тонкое шитье. Самой скромной и гордой из всех дам, вытканых на ковре наших рыцарских рассказов, была та, кого мир и не назвал бы дамой.

Она молча глядела на него, он — на нее. Головка у нее была птичья, профиль — соколиный, а цвет ее лица не определишь, если мы не назовем его ослепительно-коричневым.

— Вы и впрямь спешите,— сказала она. — Я не хочу, чтобы со мной объяснялись на бегу.

— Простите,— сказал он. — Да, я спешу, но вас я не тороплю. Я просто хотел, чтобы вы знали. Я ничего не сделал, чтобы заслужить вас, но я нашел себе дело. Вы ведь сами считаете, что в мои годы нужно трудиться.

— Вы поступите на службу? — простодушно спросила она. — Я помню, вы говорили, у вас дядя служит в банке?

— Надеюсь, не все мои разговоры были на таком уровне, — сказал он, не подозревая ни о том, что она помнит каждое его слово, ни о том, как мало знает она об идеях и мечтах, которые казались ему такими важными. — Не то чтоб на службу... Скорее, это служение... Честно говоря, я займусь торговлей и торговать буду свиньями.

— Тогда не приезжайте к нам,— сказала она. — Здесь их скоро запретят, и соседи...

— Не бойтесь,— сказал он. — Я стану деловым и коварным. Что же до того, чтобы сюда не приезжать... Пишите мне хотя бы каждый час. А я буду присылать вам подарки.

— Не думаю, что отец разрешит мне принимать их, — сказала она.

— Попросите его подождать,— серьезно сказал Пирс. — Пусть он сперва на них посмотрит. Я не думаю, что он их отвергнет. Они ему понравятся. Он одобрит мой скромный вкус и здравые деловые принципы. А вы не пугайтесь, я не буду вас беспокоить, пока всего не совершу. Только знайте, что для вас я бросаю вызов миру.

Он вспрыгнул на стену и исчез, а Джоан молча вернулась в кабачок.

В следующий раз три друга встретились за завтраком в совсем другом месте. Полковник пригласил их в свой клуб, хотя сам ходил туда довольно редко. Первым явился Оуэн Гуд, и лакей, как ему велели, провел его к столику у окна, за которым расстился Грин-парк. Зная военную пунктуальность полковника, Гуд подумал, что сам спутал время, и полез в карман, где была зажигалка. Там оказалась и газетная заметка, которую он сам, смеха ради, вырезал на днях. Говорилось в ней вот что:

«В Западных графствах, особенно — на шоссе, ведущем в Бат, мотоциклисты все чаще превышают дозволенную скорость. Как ни странно, нарушителями оказываются в последнее время богатые и респектабельные дамы, прогуливающие домашних животных, которым, по словам хозяек, необходима для здоровья большая скорость, вызывающая сильный приток воздуха».

Он рассеянно проглядывал эти строки, когда вошел полковник с газетой в руке.

— Просто смешно! — воскликнул Крейн. — Я не революционер, не то, что ты, но эти правила и запрещения переходят все границы. Вот, бродячие зверинцы запретили. Опасно, видите ли. Деревенские мальчишки не увидят льва, потому что раз в пятьдесят лет кто-нибудь сбегает из клетки. Но это еще что! Ты знаешь, недавно завели особые поезда, которые перевозят больных в санатории. Так вот, их тоже запретили, заразы боятся. Если так пойдет, я сбешусь, как Хилари.

Хилари Пирс тем временем пришел и слушал его, странно улыбаясь. Улыбка эта удивляла Гуда не меньше, чем газетные заметки. Он переводил глаза с Пирса на газету и с газеты на Пирса, а тот улыбался все загадочней.

— Сегодня вы не так уж беситесь, — сказал ему Оуэн Гуд. — Раньше бы вы от таких запретов разнесли крышу.

— Да, запреты неприятные, — сдержанно отвечал Пирс. — Очень не ко времени. Разрешите взглянуть?

Гуд протянул ему вырезку, и он закивал, повторяя:

— Вот, вот, за это меня и схватили!..

— Кого схватили? — удивился Гуд.

— Меня, — сказал Пирс. — Респектабельную даму. Но я убежал. Хорошее было зрелище, когда дама перемахнула через изгородь и поскакала по лугам.

Гуд взглянул на него из-под нахмуренных бровей.

— А что это за домашние животные?

— Свинки, — бесстрастно пояснил Пирс. — Я им так и сказал: «Домашнее животное, вроде мопса».

— Ах, вон что! — сказал Гуд. — Хотели провезти их на большой скорости, а вас задержали...

— Сперва я думал одеть их миллионерами, — благодушно поведал автор. — Но когда присмотришься, сходство не такое уж большое...

— Насколько я понимаю, — сказал полковник, — с другими законами было то же самое?

— Да, — сказал Пирс. — Я их нарушил, я и создал.

— Почему же газеты об этом не пишут? — спросил Крейн.

— Им не разрешают, — ответил Пирс. — Власти не хотят меня рекламировать. Когда случится революция, в газетах о ней не напишут.

Он помолчал, подумал и начал снова:

— Потом я повез бродячий зверинец, оповещая всех, что в клетках — самые опасные хищники. Потом я возил больных. Свинки скучали, но условия у них были хоть куда, я нанял сиделок...

Крейн, рассеянно глядевший в окно, медленно повернулся к друзьям и резко спросил:

— Чем же это кончится? Дальше выкидывать такие штуки невозможно...

Пирс вскочил, и к нему вернулось то романтическое самозабвение, с которым он давал обет у свинарника.

— Невозможно! — воскликнул он. — Вы и сами не знаете, что сказали! Все, что я делал до сих пор, возможно и банально. Теперь я совершу невозможное. Везде, во всех книгах и песнях, сказано, что этого быть не может. Если под вечер, в четверг, вы придете к каменоломне, напротив кабачка, вы увидите самый символ невозможного, и он будет таким явным, что даже газеты не сумеют его утаить.

На склоне дня, в то место, где сосновую рощу перерезал шрам каменоломни, пришли два еще нестарых человека, не утративших страсти к приключениям, и расположились там, как на пикник. Оттуда, словно из окна, выходящего на долину, узрели они то, что походило на видение или, точнее, на комическое светопреставление. Небо на западе сияло лимонным светом, выцветавшим в прозрачно-зеленый, и два-три облачка у горизонта были ярко-алыми. Лучи заходящего солнца золотили все и вся, и кабачок казался сказочным замком.

— Вот тебе для начала небесное знамение, — сказал Оуэн Гуд. — Странно, но это облако очень похоже на свинью...

— Или на кита, — откликнулся Крейн и было зевнул, но, поглядев на небо, встряхнулся. Художники давно заметили, что облака весомы и объемны; однако не до такой же степени.

— Это не облако, — резко сказал он. — Это дирижабль...

Странная глыба все росла, и чем четче она становилась, тем невероятней.

— Господи, милостивый! — закричал Гуд. — Да это свинья!

— Дирижабль в виде свиньи, — уточнил полковник.

Над «Голубым бором» воздушное чудище встало, и от него оторвались яркие точки.

— Парашютисты, — сказал полковник.

— Какие странные... — заметил юрист. — Господи, да это не люди!

С такого расстояния странные парашютисты походили на ангелов средневековой миниатюры, а небо — на золотой фон, символизирующий вечность. Спустившись пониже, они обрели большее свиноподобие. Наконец они исчезли за деревьями, и путники, взглянув на садик у кабачка, в котором они вот-вот должны были приземлиться, увидели Джоан Харди. Она стояла у свинарника, подняв птичью головку, и глядела в небо.

— Станный способ ухаживания! — сказал Крейн. — Наш влюбленный друг преподносит просто невозможные дары.

— Да! — закричал Гуд, очнувшись. — Вот оно, это слово!

— Какое слово? — спросил Крейн.

— «Невозможно», — отвечал Гуд. — И он, и мы этим словом живем. Разве ты не видишь, что он сделал?

— Как не видеть! — сказал полковник. — Но я не вижу, к чему ты ведешь.

— Он нарушил еще одну поговорку, — объяснил Оуэн. — Свиньи летают.



— Это удивительно,— признал полковник, — но еще удивительней, что им не разрешают ходить по земле.

Они пошли по крутому склону холма вниз, в лесной полумрак, теряя ощущение высоты и сверкающей нелепицы облаков, словно им и вправду было видение; и голос Крейна звучал в полумгле так, словно он рассказывал свой сон.

— Я другого не пойму,— говорил о н . — Как Хилари это сделал?

— Он удивительный человек,— откликнулся Г у д . — Ты сам рассказывал, что он творил на фронте. Это не труднее...

— Гораздо труднее,— возразил К р е й н . — Там все были вместе, здесь он один.

— Что ж,— сказал Г у д , — человек творит чудеса, когда очень захочет, даже если с виду он похож на плохого поэта. Кажется, я знаю, чего хочет он. Да, он ее заслужил... это — час его славы...

— Все равно не понимаю,— сказал полковник, и эту часть дела он не понимал еще долго, пока не случилось много других интересных вещей.

А тем временем Хилари Пирс спустился как Меркурий во впадину каменоломни и направился к Джоан Харди.

— Сейчас не до ложной скромности,— сказал о н . — Я победил. Я принес вам Золотое руно, вернее — золотую щетину. Я превратил свинью в Пегаса. Я пришел к вам во славе...

— Вы в грязи,— улыбаясь, сказала о н а . — Эту красную глину трудно чистить. Щетка ее не возьмет, надо сперва...

— О Господи! — воскликнул П и р с . — Неужели ничто не вырвет вас из будней? Неужели вы не воскликнете хотя бы: «О, дай мне крылья свиньи!» Что бы вы сказали, если бы я перевернул землю или поверг себе под ноги солнце и луну?

— Я сказала бы,— все так же улыбаясь, ответила Д ж о а н , — что вас нельзя оставлять без присмотра.

Он глядел на нее минуту-другую, словно не сразу понял, потом засмеялся внезапно и радостно, словно увидел что-то наконец и удивился, как же он не видел этого раньше.

— Однако и стучаешься же об землю, когда упадешь с неба,— сказал о н , — об землю крестьян и свиней... простите, это комплимент. Что за штука — здравый смысл, и насколько он тоньше поэтических выдумок! Особенно когда ему сопутствует все, что очищает небо и смягчает з е м л ю , — красота, и смелость, и достоинство. Да, Джоан, вы правы. Согласны вы смотреть за мной?

Он схватил ее за руки, и она ответила, улыбаясь:

— Да... только вы идите... вот ваши друзья...

Действительно, Крейн и Гуд шли к ним сквозь сетку тонких деревьев.

— Поздравьте меня! — крикнул Хилари П и р с . — А я покажусь вам и расскажу новости.

— Какие новости? — спросил Крейн.

Хилари Пирс широко улыбнулся и махнул рукой, указывая на свинок с парашютами.

— Правду сказать,— признался он, — это просто фейерверк в честь победы или поражения, как назовете. Больше нет нужды доставлять их тайно, запрет сняли.

— Сняли? — воскликнул Гуд. — Что ж это? Нелегко выдержать, когда сумасшедшие внезапно выздоравливают.

— Сумасшедшие тут ни при чем, — спокойно ответил Пирс. — Перемена произошла гораздо выше или гораздо ниже. Словом, на той неисповедимой глубине, где Большие Люди вершат Большие Дела.

— Какие? — спросили Гуд и Крейн.

— Старый Оутс,— отвечал Пирс, — занялся чем-то другим.

— При чем тут Оутс? — удивился Гуд. — Это тот янки, который ищет старинные развалины?

— Да,— устало сказал Пирс. — Я тоже думал, что он ни при чем. Я думал, это наши дельцы и вегетарианцы. Но нет, они были невинным орудием. Суть в том, что Енох Оутс — самый крупный в мире поставщик свинины, и это он не хотел конкуренции. А его воля — закон, как сам он сказал бы. Теперь, слава Богу, он изобрел какое-то другое дело.

Если неукротимый читатель хочет узнать, какое же дело изобрел мистер Оутс, он, как это ни печально, должен терпеливо прочитать историю об его исключительной изобретательности, а ей предшествует еще одна повесть, без которой здесь не обойтись.

ЗАГАДОЧНЫЙ ЗВЕРЬ ПАСТОРА УАЙТА

В летописях содружества странных людей, творивших невозможное, говорится о том, что Оуэн Гуд, ученый юрист, и Джеймс Крейн, полковник в отставке, сидели как-то под вечер на маленьком острове, послужившем некогда подмостками для начала любовной истории, с которой терпеливый читатель, по-видимому, знаком. Оуэн Гуд часто удил здесь рыбу, но теперь, оторвавшись от любимого дела, беседовал и ел. Был тут и третий друг, помоложе — светловолосый, живой, даже как бы встрепанный человек, на чьей свадьбе недавно побывали и полковник, и юрист.

Все трое слыли чудаками; но чудачества пожилых людей, бросающих миру вызов, непохожи на чудачества юных, надеющихся изменить мир. Хилари Пирс собирался мир перевернуть, а старшие друзья смотрели на это, как смотрели бы на милого им ребенка, играющего ярким шариком. Быть может, именно поэтому один из них вспомнил об очень старом друге, и улыбка осветила его длинное, насмешливое, печальное лицо.

— Кстати, — сказал Оуэн Гуд, — я получил письмо от Уайта. Бронзовое лицо полковника тоже осветилось улыбкой.

— И прочитал? — спросил он.

— Да, — ответил Гуд, — хотя и не все понял. Вы не знакомы с ним, Хилари? Значит, эта встряска еще впереди...

— А что в нем такого? — заинтересовался Пирс.

— Да ничего... — отрывисто ответил Крейн. — Начинает он подписью, кончает обращением.

— Вы не прочитаете нам его письмо?... — спросил бывший летчик.

— Пожалуйста, — согласился юрист. — Тайны тут нет, а была бы — ее все равно не обнаружишь. Дик Уайт — сельский священник. Многие зовут его Диким Уайтом. Когда он был молод, он был похож на вас. Попробуйте представить себя пятидесятилетним пастором, если воображение выдержит...

Мы уже говорили, что нашу летопись надо читать задом наперед; и письмо преподобного Ричарда Уайта прекрасно для этого годится. Когда-то у пастора был смелый и красивый почерк, но спешка и сила мысли превратили его в истинную клинопись. Содержание письма было такое:

«Дорогой Оуэн! Я все твердо решил. Знаю, что ты возразишь, но здесь ты будешь неправ, потому что бревна — из других мест и ни к нему, ни к его прислужникам отношения не имеют. Вообще я все сделал один, вернее — почти один, хотя такая помощь ни под какой закон не подходит. Надеюсь, ты не обидишься. Конечно, ты мне хочешь добра, но пора нам наконец поговорить начистоту».

— Вот и м е н н о , — сказал полковник.

«Мне надо многое тебе рассказать, — продолжал Оуэн Г у д . — Знаешь, все вышло лучше, чем я думал. Сперва я боялся — все же, сам понимаешь, как рыбе зонтик, белый слон, пятая нога и что там еще. Однако на свете больше того-сего, и прочее, и прочее, в общем — Бог свое дело знает. Иногда просто чувствуешь себя в Азии».

— Да? — спросил полковник.

— Что он имеет в виду? — воскликнул Пирс, теряя последнее терпение.

«Конечно, — продолжал Г у д , — здесь сильно переполошились, а всякие мерзавцы — просто испугались. Чего от них, собственно, и ждать... Салли сдержанна, как всегда, но она все в Шотландии да в Шотландии, так что сам понимаешь. Иногда мне очень одиноко, но я духом не падаю. Наверное, это смешно, а все же скажу, что со Снежинкой не соскучишься».

— Мне давно не до с м е х а , — печально проговорил Хилари П и р с . — Какая еще снежинка?

— Девочка, н а в е р н о е , — предположил полковник.

— Да, наверное, девочка, — сказал П и р с . — У него есть дети?

— Н е т , — сказал полковник. — Не женат.

— Он долго любил одну женщину из тех к р а е в , — пояснил Г у д . — Так и не женился. Может быть, Снежинка — ее дочь от «другого»? Совсем как в фильме или в романе. Хотя тут вот что написано:

«Она пытается мне подражать, они всегда так. Представляешь, как все перетрусят, если она научится ходить на двух ногах».

— Что за чушь! — закричал полковник Крейн.

— Мне кажется, — сказал Г у д , — что это пони. Сперва я подумал было, что собака или кошка, но собаки служат, да и кошки поднимаются на задние лапы. Вообще «перетрусят» для них слишком сильное слово. Правда, тут и пони не очень подходит, вот слушайте:

«Я научил ее, и она мне приносит все, что я скажу».

— Да это же обезьяна! — обрадовался Пирс.

— Думал так и я, — сказал Г у д . — Тогда было бы понятно про Азию... Но обезьяна на задних лапах — еще обычной, чем

собака. Кроме того, Азия здесь значит что-то большее. Вот он что пишет: «Теперь я чувствую, что разум мой движется в новых, точнее — в древних просторах времени или вечности. Сперва я называл это восточным духом, но было бы вернее назвать это духом восхода, рассвета, зари, который никак не похож на жуткий, неподвижно-вязкий оккультизм. Истинная невинность сочетается здесь с величием, сила могучей горы — с белизной снегов. Мою собственную веру это не колеблет, а укрепляет, но взгляды мои, что ни говори, становятся шире. Как видишь, и я сумел опровергнуть поговорку».

— Последняя фраза мне понятна, — сказал Гуд, складывая письмо. — Все мы опровергаем поговорки.

Хилари Пирс вскочил на ноги и пылко заговорил:

— Ничего страшного нет, когда пишут задом наперед. Многие думают, что объяснили все в письме, которого и не писали. Мне безразлично, каких он любит зверей. Все это — добрые английские чудачества, как у мечтательных лудильщиков или спятивших сквайров. Оба вы творите Бог знает что именно в таком роде, и мне это очень нравится. Но я толкусь среди нынешних людей, видел нынешние чудачества, и, поверьте, они хуже старых. Авиация — тоже новая штука, я сам ею увлекаюсь, но теперь есть духовная авиация, которой я боюсь.

— Простите, — вставил Крейн. — Никак не пойму, о чем вы.

— Конечно! — радостно ответил Пирс. — Это мне и нравится в вас. Но мне не нравится, как ваш друг рассуждает о широких взглядах и восточных восходах. Многие шарлатаны рассуждали так, а вторили им дураки. И вот что я вам скажу: если мы поедем к нему, чтобы посмотреть на эту Снежинку, мы очень удивимся.

— Что же мы увидим? — спросил Крейн.

— Ничего, — ответил Пирс.

— Почему? — снова спросил Крейн.

— Потому, — сказал Пирс, — что ваш Уайт беседует с пустотой.

И Хилари Пирс, охваченный сыщицким пылом, принялся расспрашивать всех, кого только можно, о преподобном Ричарде Уайте.

Он узнал, что Уайт служит в самых глубинах западной части Сомерсетшира, на землях некоего лорда Арлингтона. Священник и помещик не ладили, тем более что священник был гораздо мятежней, чем положено. Особенно возмущала Уайта нелепость или аномалия, вызвавшая столько гнева в Ирландии и в других местах: он никак не соглашался понять, почему дома, построенные или улучшенные арендаторами, юридически принадлежат землевладельцу. В знак протеста он построил себе хижину на холме, у самой границы Арлингтоновых земель. Этим объяснялись некоторые фразы — скажем, о бревнах и о приспешниках. Но многое оставалось тайной, и прежде всего Снежинка.

Как выяснилось, некоторые слышали от священника примерно те же слова, которые были в письме: «Сперва я боялся, что это и впрямь обуза»... Никто не помнил этих слов точно, но все соглашались в том, что речь шла о какой-то ненужной, обременительной вещи. Вряд ли это могла быть Снежинка, о которой он говорил с тем умилением, с каким говорят о ребенке или котенке. Вряд ли это было новое жилище. По-видимому, в его путаной жизни существовало еще что-то, третье, слабо мерцавшее сквозь хитросплетения строк.

Полковник Крейн никак не мог вспомнить, что же именно писал его друг.

— Ну, как это... — почти сердился о н . — Обуза... неудобство... пятая нога... Кстати, я тоже получил письмо. Покороче и, кажется, по проще. — И он протянул письмо Гуду, который и начал его читать.

«Никогда не думал, что даже здесь, в наших краях, в самом Авалоне, люди так запуганы помещиками и крючкотворами. Никто не посмел помочь мне, когда я переносил свой дом, одна Снежинка помогла, и мы с ней управились дня за три. Теперь я вообще не на его земле. Придется ему признать, что на свете всякое бывает».

— Нет, постойте! — прервал себя Гуд и заговорил медленней, как бы размышляя. — Все это очень странно... Не вообще странно, а для странных людей... для этого странного человека... Я знаю Уайта лучше, чем вы. Фактов он придерживается твердо, как все склочные люди. Понимаете, он способен перебить у помещика окна, но никогда не скажет, что их было шесть, если их было пять. Какая же точность может быть здесь? Как могла эта Снежинка перенести целый дом?

— Я уже говорил, что я думаю, — сказал П и р с . — Кто бы она ни была, увидеть ее невозможно. Друг наш стал духовидцем, и Снежинкой он зовет духа или как их там, подопытный призрак. Для духа — сущие пустяки перенести какой-то дом. Но если человек в это верит, мне его искренне жаль.

Собеседники его вдруг стали старше: быть может, сейчас они впервые могли бы показаться старыми. Он заметил это и быстро заговорил:

— Вот что... я с ним увижусь и все разузнаю!.. Сейчас и двинусь.

— Это очень далеко, — покачал головой полковник. — Вам ведь завтра надо в министерство...

— Ничего, — сказал П и р с . — Я туда полечу.

Исчезая, он легко взмахнул рукой, словно Икар, первый человек, оторвавшийся от земли.

Наверное, летящий силуэт так сильно запечатлелся в их памяти потому, что на следующий день Пирс был совсем другим. Когда они пришли, чтобы встретить его, к Министерству авиации, они увидели, что сам он стал тише, а взгляд его — безумней,

чем обычно. В соседнем ресторане, за завтраком, все говорили сперва о пустяках, но наблюдательный полковник понимал, что с Пирсом что-то случилось. Пока они думали, с чего бы начать, Пирс проговорил, глядя на горчицицу:

— Вы в духов верите?

— Не знаю,— ответил Оуэн Гуд. — По-гречески меня называли бы агностиком... Неужели у бедного Уайта в приходе водятся духи?

— Не знаю, — в свою очередь сказал Пирс.

— Вы что, серьезно? — воскликнул Гуд.

— Вот он, агностик! — улыбнулся Пирс. — Не выносит истинного агностицизма... Я не знаю, водятся ли там духи. Я не знаю, что там такое, если они не водятся...

Он помолчал, потом заговорил спокойней:

— Лучше расскажу по порядку. Вы помните, что в тех краях так и чувствуешь славу Гластонбери, и тайну Артуровой могилы, и пророчества Мерлина... Когда я добрался до деревни, мне показалось, что она — западней заката. Дом пастора еще западней, в заброшенных полях, за которыми стоит глухой лес. Именно дом, Уайт его покинул, осталась пустая раковина, холодная, как классический храм из тех, что украшали когда-то сельские усадьбы. Дом этот — к западу от прихода, но живет ваш Уайт еще намного западней, если он вообще где-нибудь живет.

Солнце уже скрылось, когда я опустил на лугу, у деревни, и пошел дальше пешком. Пока я шел, темнело, и я боялся, что не доберусь засветло до места. Крестьяне, которых я спрашивал, отвечали уклончиво, но я все же понял из их слов, что Уайт поселился на холме, возвышавшимся над лесом. Дойти туда нелегко, но я дошел и стал пробираться сквозь чащу, карабкаясь по холму. Подо мной шумели вершины; из моря деревьев, словно купол, вставал одинокий холм, а на вершине его, на темном фоне туч, темнела какая-то постройка. Выглянул месяц, минуточку я видел ее лучше, и она показалась мне очень простой и легкой. Стояла она на четырех колоннах, словно христианский священник избрал себе пристанищем языческий храм четырех ветров. Чтобы взглядеться получше, я потянулся вверх, соскользнул вниз по склону, в самую чащу, и она поглотила меня, как море. Примерно полчаса я продирался сквозь низкие ветви и переплетенные корни, под двойным покровом ночной и лесной тьмы, пока не оказался наконец на голой вершине.

Да, на голой. Ветер колыхал редкую траву, словно волосы на лысеющей голове, и больше ничего там не было. Дом исчез, как исчезает сказочный дворец. Сквозь лес, немного в стороне, к вершине шла просека, но она не вела никуда. Когда я увидел это, я сдался. Что-то мне подсказало, что я ничего не найду. Я пошел назад, спустился побыстрее с холма, но когда я снова нырнул в море листьев, раздался жуткий звук. Таких звуков на земле нет — это был и вой, и хохот... в общем, я такого не слышал... как

будто ржал огромный конь... или кричал человек, и в крике этом слышались издевка и торжество.

Улетел я сразу — мне надо было утром в министерство, но, кроме того, я хотел поскорее вам все рассказать. Помните, я боялся, что ваш друг не в себе... Теперь я боюсь, что он прав.

Оуэн Гуд резко встал и ударил кулаком по столу.

— Вот что, — крикнуло он. — Едем туда все вместе!

— Вы надеетесь что-то выяснить? — мрачно спросил Пирс.

— Нет, — сказал Гуд. — Я и так знаю. Дик Уайт — человек точный. Даже слишком точный, в том и вся тайна. Он скучно, нудно, педантично твердил нам правду. Но и я иногда бываю точным. Посмотрим-ка расписание поездов.

Когда они прибыли на место, селение до смешного не походило на то, что видел недавно Хилари Пирс. Такие селения мы называем сонными, забывая при этом, что они относятся совсем не сонно к своим делам, особенно — к праздникам. Пикадилли-Серкус выглядит почти одинаково и в будни, и на Рождество; деревенская рыночная площадь преобразается в день ярмарки. Когда Пирс побывал здесь впервые, ему явились в ночном лесу достойные Мерлина загадки; когда он приехал во второй раз, он очутился в самой сердцевине праздничной сутолоки. По-видимому, всем распоряжалась высокая дама благородной внешности, с которой Оуэн Гуд, на удивление друзьям, сердечно поздоровался и, отойдя в сторону, вступил в оживленную беседу. Как ни занята она была, говорили они долго, но Пирс услышал только последние слова:

— Он обещал что-то привезти... Вы же знаете, он всегда держит слово.

Вернувшись к друзьям, Гуд сказал им:

— Вот на этой даме Уайт и хотел жениться. Теперь я понял, почему они поссорились, и думаю, что не все потеряно. Другое плохо — здесь полицейские, с инспектором во главе. По-видимому, они ждут Уайта. Надеюсь, до скандала не дойдет...

Надежда его не оправдалась. То, что произошло, можно назвать скандалом только из вежливости. Через десять минут на площади творилось такое, для чего нет слова в языке. Гоняясь по лесу за неуловимым храмом, Пирс думал недавно, что достиг пределов фантазии. Но то, что явилось ему во мраке и одиночестве, было не так поразительно, как то, что он увидел на многолюдной, светлой площади.

Из леса, покрывавшего холм, показалось что-то, похожее на белый омнибус. Но это был не омнибус. Двигалось оно быстро, и все скоро увидели, что это — огромный слон, серебрищийся на солнце. Сидел на слоне пожилой человек в черной пасторской одежде; он гордо поворачивал голову то вправо, то влево, и в солнечных лучах сверкали его серебряные волосы и резкий орлиный профиль.

Инспектор сделал один шаг и застыл как статуя. Священник на слоне ворвался в толпу так спокойно и властно, как врывается на арену умелый дрессировщик, и направился к одному из лотков.

— Видите, я сдержал слово, — громко и весело сказал он высокой даме. — Привел вам белого слона.

Потом он помахал рукой Гуду и Крейну.

— Вот хорошо, что приехали! — крикнул он. — Вы одни все знали, я вам писал...

— Так оно и было, — сказал Гуд, — только мы думали, что это — метафора...

— Нет, постойте, — вмешался оправившийся инспектор. — Я этих ваших метафор не понимаю, мое дело — закон. Мы вас сколько раз предупреждали, а вы уклоняетесь...

— Уклоняюсь? — радостно переспросил Уайт. — Что подразумеешь, слон... Они такие... чуть что — уклонятся, убегут, испарятся, словно росинка... нет, Снежинка... Эй, Снежинка, пошли!

Он ласково ударил слониху по спине, и, прежде чем инспектор хоть что-то понял, она плавно, словно водопад, ринулась сквозь толпу. Если бы полицейские погнались за ней на мотоциклах, они бы на нее не влезли. Револьверов у них не было, но ее все равно не взяла бы револьверная пуля. Белое чудовище быстро удалялось по белой дороге, и, когда оно обратилось в черную точку, народ подумал было, что все это — наваждение; но тут раздался трубный, торжествующий глас, который так напугал Пирса в ночном лесу.

Когда друзья снова встретились в Лондоне, Крейн и Пирс нетерпеливо ждали полного разъяснения событий, ибо Оуэн Гуд опять получил письмо.

— Теперь мы все знаем, — весело сказал Пирс, — и все пойдем.

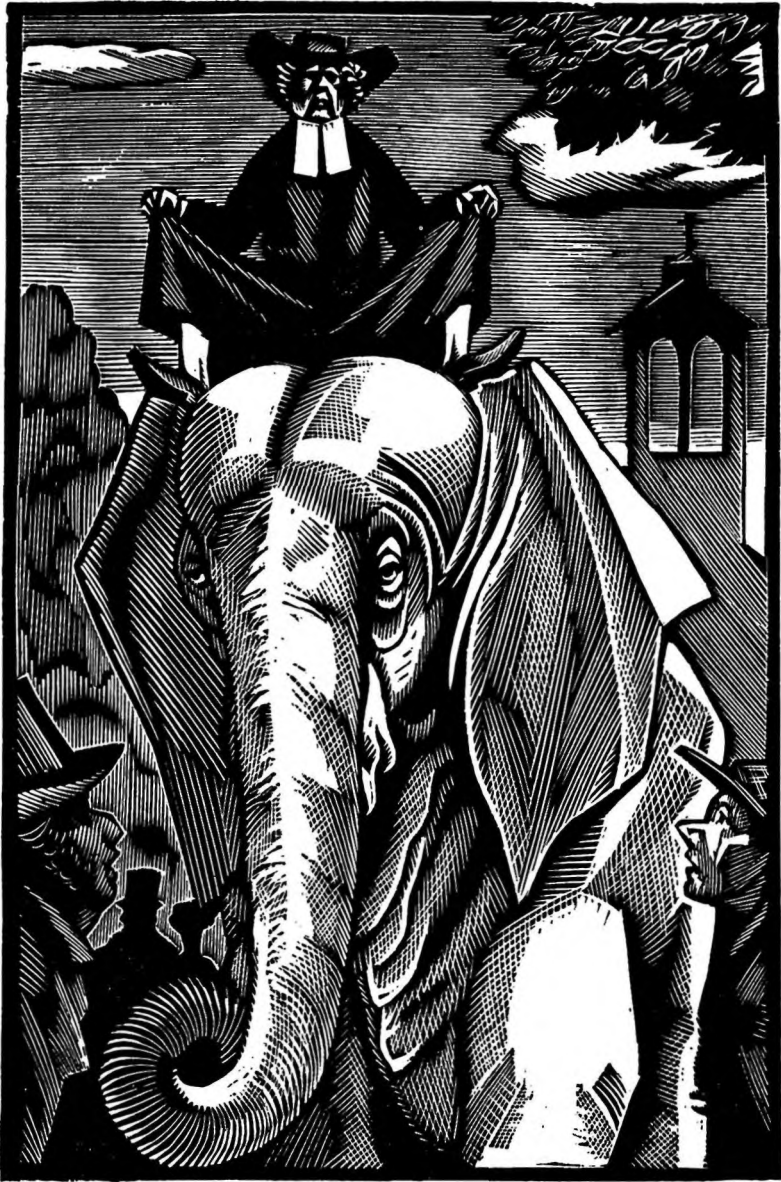
— Конечно, — согласился Гуд. — Читаю: «Дорогой Оуэн, большое тебе спасибо. Ты не сердись, что я ругал папки и перья».

— Простите, что он ругал? — спросил Пирс.

— Папки и перья, — повторил Гуд. — Итак, продолжим: «Понимаешь, они тут распоясались, потому что я вечно говорил, что у меня его нет и не будет. Когда они увидели, что он у меня есть, и еще какой, они сразу пошли на попятный».

— О чем, собственно, речь? — спросил полковник. — Это какая-то игра в слова.

— Что ж, я выиграл, — сказал Гуд. — Пропущено слово: «юрист». Полиция приставала к Уайту, думая, что у него нет юриста. Когда я взялся за дело, я обнаружил, что они нарушали законы не меньше, чем он. В общем, я ему помог, и он меня благодарит. Дальше речь идет о более личных делах, и очень интересных. Надеюсь, вы помните даму, за которой он много лет



ухаживал, в том примерно духе, в каком сэр Роджер де Каверли ухаживал за вдовой. Еще я надеюсь, что вы меня поймете, если я назову ее величественной. Она прекрасный человек, но совсем не случайно у нее такой грозный и важный вид. Эти чернобровые Юоны умеют распоряжаться и властвовать, и чем больше размах, тем им лучше... а когда все обрушивается на одну деревушку, результаты бывают поразительные. Вы видели, как она царствовала над ярмаркой и не испугалась слона. Если бы ей довелось править целым стадом слонов, она бы не пала духом. А этот белый слон не только не напугал ее, — он ее обрадовал, снял бремя с души...

— Теперь вы сами впали в его стиль, — сказал Хилари Пирс. — Что вы имеете в виду?

— Опыт учит меня, — отвечал юрист, — что сильные, деловые люди гораздо застенчивей мечтателей. Самый их стоицизм велит им скрывать свои чувства. Они не понимают тех, кого любят, и не решаются в том признаться. Они страдают молча, а это страшная привычка. Словом, сделать они могут что угодно, но не умеют сидеть без дела. Блаженные теоретики, вроде Пирса...

— Нет уж, простите! — вознегодовал Пирс. — Да я нарушил больше законов, чем вы прочитали!.. Если этот психологический экскурс должен все разъяснить, лучше я послушаю Уайта.

— Пожалуйста, — согласился Гуд. — В его изложении события выглядят так: «Теперь все в порядке, я очень счастлив, но, ты подумай, как осторожно нужно подбирать слова! Кто бы догадался, что ей примерещится...»

— Мне кажется, — вежливо перебил Крейн, — лучше тебе снова заняться переводом. Что ты говорил о застенчивых практиках?

— Я говорил, — ответил юрист, — что там, на ярмарке, я увидел над толпой властное, невеселое лицо и вспомнил многое. Мы не виделись десять лет, но я сразу понял, что она страдает, и страдает молча. Давно, когда она еще была обыкновенной помещицкой дочкой, охотящейся на лисиц, а Дик — чудаковатым помощником викария, она сердилась на него два месяца за какую-то ошибку, которую можно было объяснить в две минуты.

— Что же случилось сейчас? — спросил Пирс.

— Неужели вам еще не ясно? — удивился Гуд. — Она была в Шотландии, он ей писал, и она его не поняла. В сущности, как ей понять, если и мы не поняли? Теперь они снова в раю, и, надеюсь, больше у них недоразумений не будет, ведь это — плод разлуки. А хобот-искуситель и впрямь похож на змия...

— Значит, она... — начал Пирс.

— Не поняла, кто такая Снежинка, — закончил Гуд. — Мы подумали о пони, о ребенке, о собаке — а она подумала о другом.

Все помолчали, потом Крейн улыбнулся.

— Что ж, я ее не виню,— сказал он . — Какая мало-мальски изысканная дама решит, что ей предпочли слоницу?

— Удивительно! — сказал Пирс . — Откуда же эта слоницу взялась?

— Сейчас узнаете,— ответил Гуд . — «Хотя это и не был, в точном смысле слова, зверинец капитана Пирса...»

— Черт! — вскричал Пирс . — Это уж слишком! Помню, я увидел свою фамилию в голландской газете и все думал, что там еще за слова — одни ругательства, или нет...

— Хорошо, я сам объясню,— сказал терпеливый Гуд . — Как я вам уже говорил, преподобный Уайт скрупулезно точен. Он сообщает, что слон попал к нему не из вашего, свиного, зверинца, а из настоящего. Но все же это с вами связано. Иногда мне кажется, что все эти приключения связаны не случайно... что у наших кунштюков есть особая цель. Не всякий подружится с белым слоном...

— Не всякий подружится с нами,— вставил Крейн . — Мы и есть белые слоны.

— Так вот...— продолжал Гуд , — когда вы, Пирс, решили возить в клетках своих свиней, власти стали разгонять повсюду бродячие зверинцы, и Уайт защитил зверей, которых везли через его приход. В благодарность ему подарили белого слона.

— Как странно,— заметил Крейн , — брать гонорар слонами...

Все снова помолчали, потом Пирс задумчиво произнес:

— И еще странно, что все это вышло из-за моих свинок. Гора родила мышь, а здесь — наоборот, свинья родила слоницу.

— Она еще не родит , — сказал Оуэн Гуд.

С чудищами, которых в дальнейшем родила свинья Пирса, читатель познакомится только тогда, когда одолеет рассказ об исключительной изобретательности Еноха Оутса.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ ЕНОХА ОУТСА

«С тех пор как полковник съел свою шляпу, наш сумасшедший дом лишился фона».

Добросовестный летописец не вправе надеяться, что фраза эта понятна без объяснений. Однако, чтобы объяснить и ее, и породившие ее обстоятельства, он вынужден подвергнуть читателя новому испытанию и отбросить его ко временам, когда достигшие средних лет герои этой летописи были совсем молодыми.

В те времена полковник был не полковником, а Джимми Крейном, и не ведал еще ни дисциплины, ни скромной элегантности. Роберт Оуэн Гуд только начал изучать право и знал законы лишь настолько, чтобы ловчее их нарушить, а друзьям приносил то и дело новый план революции, призванной уничтожить все и всякие суды. Ричард Уайт недавно обрел веру, но каждую неделю менял вероисповедание и рвался обращать соотечественников то в католичество, то в мусульманство, то в древний друидизм. Хилари Пирс готовился к будущим занятиям, пуская змеев. Словом, это было давно, и старшие из наших героев начинали свою долгую дружбу, собираясь вместе почти каждый день. Сборища эти, по здравом размышлении, они стали называть Сумасшедшим Домом.

— В сущности,— сказал при этом Г у д , — нам бы надо обедать по отдельности, в палатах, обитых чем-нибудь помягче...

Уайт, проходивший строго-аскетическую фазу, сообщил к случаю, что особенно святые монахи вообще не выходят из кельи. Отклика это не встретило, и Гуд предложил другой вариант: поставить мягкое кресло, символизирующее обитую изнутри одиночную палату. Кресло это займет тот, кто окажется самым безумным.

Джимми Крейн не говорил ничего и расхаживал по комнате, как белый медведь по льдине. Так бывало всегда, когда его особенно сильно тянуло к льдинам и к медведям или к тому, что

соответствует им в южных широтах. Он был пока что самым безумным из друзей, во всяком случае, именно он внезапно исчезал неведь куда и внезапно появлялся; увлекался же он первобытными мифами, которые гораздо причудливей сменяющих друг друга вер молодого Уайта. Кроме того, он был серьезней всех. В одержимости будущего пастора было что-то мальчишеское, как и в его диком взоре, и в резком профиле. Когда он хвастался, что вот-вот откроет тайну Изида, все понимали, что он ее не сохранит. Что же до Крейна, он сохранил бы любую тайну, даже если то была бы шутка. И когда он отправился в долгое путешествие, чтобы поглубже изучить мифы, никто его не удерживал. Уехал он в потертом костюме, почти без багажа, но с большим револьвером и большим зеленым зонтиком, которым решительно размахивал на ходу.

— Вернется он еще безумней, чем бы л , — говорил Ричард Уайт.

— Дальше некуда... — качал головой Оуэн Г у д . — Африканский колдун не сделает его безумней.

— Сперва он поехал в А м е р и к у , — сказал священник.

— Да, — согласился ю р и с т , — но не к американцам, а к индейцам. Может быть, приедет в перьях...

— А может, с него сняли с к а л ь п , — с надеждой предположил Уайт.

— Вообще-то он больше интересуется Тихим океаном , — сказал Г у д . — Там скальпов не снимают, там тушат людей в кастрюльках.

— Тушенный он вряд ли приедет... — огорчился У а й т . — Знаешь, Оуэн, мы бы так не говорили, если бы не были уверены, что с ним ничего не случится.

— Да, — серьезно сказал Г у д . — Конечно, он вернется целым и невредимым. Но вид у него, наверное, довольно странный...

Гуд получал от него письма, все больше о мифологии; потом, одна за другой, пришли несколько телеграмм; и, наконец, они узнали, что Крейн прибыл и вот-вот придет. Минут за пять до обеда раздался стук в дверь.

— Сейчас нам понадобится трон! — засмеялся Оуэн Гуд и посмотрел на большое мягкое кресло, стоящее во главе стола.

Пока он смотрел, в комнату вошел Джеймс Крейн в безупречном вечернем костюме, гладко причесанный, с небольшими подстриженными усиками, сел за стол, приятно улыбнулся и заговорил о погоде.

Развить эту тему ему не удалось; зато удалось удивить друзей. Именно в тот вечер изложил он им свою веру, которой так и не изменил.

— Я жил среди тех, кого называют дикарями, — сказал о н , — и открыл наконец одну истину. Вот что, друзья мои, вы можете толковать сколько угодно о независимости и самовыражении, но я узнал, что самым честным, и самым смелым, и самым

надежным оказывается тот, кто пляшет ритуальный танец и носит в носу кольцо там, где это принято. Я много развлекался и никому в том не помешаю, но теперь я увидел, чем держатся люди, и вернулся к своему племени.

Так началось действо, закончившееся появлением Еноха Оутса, и мы обязаны коротко рассказать вам первый акт прежде, чем перейдем ко второму. Не покидая своих эксцентричных друзей, Крейн твердо придерживался условностей, и новые его знакомые представить его не могли никем, кроме суховатого джентльмена в черном и белом, скрупулезно точного и вежливого в мелочах. Тем самым Хилари Пирс, бесконечно его любивший, никогда его, в сущности, не понимал. Он не знал его молодым, не догадывался о том, какое пламя дремлет под камнем и снегами; и удивился происшествию с капустой гораздо больше, чем Гуд или Уайт, прекрасно видевшие, что полковник почти не стареет. Удивление это росло по мере того, как происходило все, поведенное летописцем, — горела Темза, летали свиньи, врвался на сцену белый слон. Теперь, когда друзья собирались вместе, полковник, повинувшись этикету, надевал капустную корону, а самому Пирсу предложили привести к обеду свинью.

— Я давно думаю, — сказал Г у д , — почему свиней не держат дома, как собак.

— Что ж, — сказал П и р с , — если у вас хватит такта и вы не будете есть свинины, я готов, приведу.

— Снежинку, к сожалению, привести т р у д н о , — заметил полковник.

Пирс посмотрел на него и в который раз почувствовал, как не подходит ритуальная капуста к его благородной голове. Полковник недавно женился и помолодел до смешного, но все же что-то здесь было неверно, и летчик огорченно вздохнул. Именно тогда и произнес он слова, послужившие началом достоверному, хотя и скучному рассказу.

— С тех пор как полковник съел свою шляпу, — сказал о н , — наш сумасшедший дом лишился фона.

— Ну, знаете! — вознегодовал полковник. — Прямо в лицо называть меня фоном!

— Темным фоном, — успокоил его П и р с . — Что здесь обидного? Глубоким и загадочным, как ночь, в которой сверкают звезды. Только на этом фоне видны причудливые очертания и пламенные цвета. Ваши безупречные манеры и безупречные костюмы оттеняли наш карнавал. У нашей эксцентричности был центр... нельзя быть эксцентричным без центра.

— По-моему, Хилари прав, — серьезно сказал Г у д . — Нельзя сходить с ума всем сразу. Сумасшествие лишается нравственной ценности, если никто ему не дивится. Что же нам делать теперь?

— Я знаю, что делать! — воскликнул Пирс.

— Да и я знаю, — сказал Г у д . — Надо найти нормального человека.

— Где его найдешь!.. — вздохнул полковник.

— Нет, я хочу сказать, человека глупого, — объяснил Оуэн Гуд. — Не выдумщика, вроде тебя, а такого, который и не знает ничего, кроме условностей. Важного, практичного, делового... Ну, в общем — прекрасного, круглого, цельного дурака. В его невинном лице, как в чистом зеркале, отразятся наши безумства.

— Знаю! Знаю! — закричал Пирс, чуть не размахивая руками. — Енох Оутс!

— Кто это такой? — спросил пастор.

— Неужели владыки мира сего пребывают в неизвестности? — удивился Гуд. — Енох Оутс — это свинина и почти все прочее. Я тебе рассказывал, как Хилари напал на него у свинарника.

— Он нам и нужен! — не унимался Пирс. — Я его притащу! Он миллионер — значит, невежа. Он американец — значит, важный. Кого-кого, а его мы удивим!

— Я не допущу шуток над гостями, — сказал полковник.

— Ну, что ты! — возразил Гуд. — Мы не обидим его, да он и сам не обидится. Видел ты американца, которого не тянет к зрелищам? А если уж ты не зрелище в этой капусте, я и не знаю...

— И вообще, — вмешался Пирс, — тут есть разница. Я бы в жизни не пригласил этого Хореса Хантера...

— Сэра Хореса Хантера... — почтительно прошептал Гуд.

— ...потому что он подлец и сноб, — продолжал Пирс, — и мне очень хочется его обидеть. А Енох мне нравится, то-то и смешно. Хороший такой человек, простой, темный. Конечно, он разбойник и вор, но он об этом не знает. Я его приглашу, потому что он на нас непохож, но он и не хочет стать на нас похожим. Что тут плохого? Мы его покормим, а он побудет для нас фоном...

Когда Енох Оутс, принявший приглашение, явился на званный обед, юрист и священник сразу вспомнили, как за годы до этого вошел в эту же дверь безупречно вежливый человек в вечернем костюме. Однако между новым фоном и старым была заметная разница. Манеры Крейна отличались поистине английской, аристократической простотой; миллионер, как это ни странно, напоминал скорее знатного француза или итальянца, который постоянно обороняется от натиска демократии. Он был очень вежлив, но как-то скован, держался слишком прямо, на стул опустился тяжело. Правда, и весил он немало, а широким красноватым лицом напоминал погрузневшего индейца. Смотрел он отрешенно и вдумчиво жевал сигару. Казалось бы, все это предвещает склонность к молчанию. Но если такая надежда и возникла, она не оправдалась.

Монолог мистера Оутса не отличался блеском, зато и не прерывался. Поначалу Пирс развлекал гостя, как развлекают ребенка заводной игрушкой, рассказывая ему о полковнике

и капусте, о капитане и свиньях, о пасторе и слоне. Осталось неизвестным, как воспринял все это гость, — быть может, просто не слышал. Но стоило Пирсу остановиться, он заговорил сам и вскоре опроверг ходячее мнение о живой, точной и быстрой речи американцев. Говорил он неспешно, глядел в стену, а из потока слов выделялись только нудные ряды каких-то цифр. Правда, в одном отношении он оправдал надежды: деловым и скучным он был. Однако хозяева все сильнее ощущали, что он не столько фон, сколько главное действующее лицо.

— ...понял, что идея первый сорт,— говорил о н . — Конечно, пришлось вложить тридцать тысяч, но ведь сэкономил сто двадцать, а сырье, можно сказать, даром. Оно и понятно, куда их девать, все равно что обгорелые спички. В общем, дело пошло, и на первом перегоне я выручил семьсот пятьдесят одну тысячу чистой прибыли.

— ...семьсот пятьдесят одну тысячу... — прошептал Хилари Пирс.

— Им, дуракам, и в голову не приходило, — продолжал мистер Оутс, — зачем я это скупаю. Когда я работал со свининой, я им, конечно, спуску не давал, а сейчас нам нечего делить, им это и даром не нужно. Вот, например, с ваших крестьян я собрал девятьсот двадцать пять тысяч ушей, на зиму хватит.

Оуэн Гуд, привыкший к речам свидетелей-дельцов, слушал гораздо внимательнее, чем поэтический Пирс, упивавшийся самими звуками.

— Простите,— вмешался о н . — Я не ослышался? Вы сказали «ушей»?

— Вот именно, мистер Г у д , — кивнул терпеливый Оутс.

— Простите еще раз,— продолжал Г у д . — Насколько я понимаю, вы скупаете за бесценок свиные уши?

— Ну конечно! — снова согласился О у т с . — Для рекламы главное — удивить. Скажешь людям, что ты сделал невозможное, — и бери их голыми руками. Сперва мы написали просто: «А мы можем!» Целую неделю все гадали, что бы это значило.

— Надеюсь,— вкрадчиво сказал П и р с , — что нам вы откроете это сразу?

— Конечно! — повторил О у т с . — Мы научились делать шелк из свиной кожи и щетины. Так вот, через неделю мы выпустили новую рекламу: «Лучшая женщина в мире ждет у очага, что вы принесете ей кошелек из свиного уха!»

— Кошелек из уха... — повторил Пирс.

— Именно! — кивнул невозмутимый делец. — Мы назвали его «Свиной шепот». Помните? «Любила девушка свинью...» Самый был лучший плакат... Принцесса что-то шепчет свинье на ухо. Теперь ни одна женщина в Штатах не обойдется без нашего кошелька. А все почему? Потому, что мы опровергли поговорку. Вот, смотрите.

Хилари Пирс вскочил и вцепился ему в руку.

— Нашли! — закричал он. — Дождались! Сюда, сюда!.. Прощу вас, умоляю, пересядьте в кресло!..

— В кресло? — удивился миллионер. — Не знаю, за что мне такая честь. Ну что ж, если вы просите...

Трудно сказать, что Пирс просил. Он тащил гостя к трону, пустовавшему много лет, издавая странные крики:

— Вы!.. Вы один!.. Nonogis causa!.. Нашли короля!.. Сумасшедший дом!..

Тут вмешался полковник и навел порядок. Мистер Енох Оутс благополучно отбыл, но мистер Хилари Пирс никак не мог успокоиться.

— Вот вам и фон! — причитал он горестно. — А мы еще думали, что вы не в себе! Господи помилуй! Да перед ним мы просто звери полевые! Современный бизнес безумней всего, что ни выдумай!

— Ну,— благодушно возразил Крейн, — мы и сами, бывало...

— Куда нам! — закричал Пирс. — Мы знали, что делаем глупости! А этот дивный человек совершенно серьезен. Он думает, что так и надо. Нет, далеко нам до безумия, которого достиг современный бизнесмен!

— Может, они такие в Америке,— предположил Уайт. — Юмора нет...

— Чепуха! — резко сказал Крейн. — У американцев юмор не хуже нашего.

— Как же нам повезло,— благоговейно проговорил Пирс, — что в нашу жизнь вошло это богоподобное создание!..

— Вошло и вышло,— вздохнул Гуд. — Придется Крейну служить фоном...

Полковник о чем-то думал, а при этих словах нахмурился. Потом он вынул изо рта сигару и отрывисто спросил:

— А вы не забыли, как я им стал?

— Давно это было,— откликнулся Гуд. — Хилари еще ходил в длинном платье...

— Я сказал вам тогда,— напомнил Крейн, — что узнал в своих странствиях важную вещь. Вы думаете, я — старый тори, но я ведь и старый путешественник... Я предан традициям, потому что много видел. Когда я приехал домой, я сказал, что вернулся к своему племени. И еще я сказал, что лучшие люди — те, кто племени верен. Те, кто носит в носу кольцо.

— По мню, — промолвил Гуд.

— Нет, ты забыл,— почти сердито возразил Крейн. — Ты это забыл, когда смеялся над Енохом Оутсом. Я, слава Богу, политикой не занимаюсь, и не мое дело, кинете ли вы в него бомбу за то, что он миллионер. Кстати, деньги он почитает меньше, чем Нормантауэрс, тот не стал бы говорить о них всуе. Но вы не бросаете бомбу в богача. Вы издеваетесь над американцем. Вам смешно, что он — хороший член племени, что у него в носу кольцо.

— Американцы... они.. вообще-то, — вставил Ричард Уайт. — Знаешь, ку-клукс-клан...

— А у тебя что, нет кольца? — закричал, не слыша его, полковник, и так громко, что священнослужитель машинально пощупал нос. — Над тобой бы не смеялись? Да чем англичанин лучше, тем он смешней... и очень хорошо.

Полковник не говорил так пылко с тех пор, как вернулся из тропиков, и те, кто знал его тогда, смотрели на него с любопытством. Даже самые старые его друзья не понимали, как свято он чтит законы гостеприимства.

— Так и бедный Оутс, — продолжал Крейн. — Его странно-сти, его мнения, его грубость и нелепость оскорбляют вас... а меня — еще больше, чем вас. Но вы, мятежники, думаете, что у вас — особенно широкие взгляды, тогда как взгляды у вас узкие, просто вы этого не знаете. Мы, консерваторы, хотя бы знаем, что наши вкусы — это вкусы. И еще мы знаем — во всяком случае, я знаю, — что такой вот Оутс гораздо лучший друг, лучший муж, лучший отец, чем нью-йоркский сноб, играющий в Лондоне лорда, а во Флоренции — эстета.

— Не говорите «муж»! — взмолился Пирс. — Как вспомню эту рекламу... «Ждет у очага»... Неужели вам это нравится?

— Мне дурно от этого, — сказал полковник. — Я бы скорее умер. Но что с того? Я — другого племени.

— Нет, не понимаю, — заговорил Гуд. — Невозможно вынести эту вульгарную, пошлую, ханжескую болтовню. Это же неприлично! Куда смотрит полиция?

— Ты неправ, — сказал полковник. — Это неприлично, и вульгарно, и пошло, если хочешь, но лицемерия здесь нет. Он говорил искренне. Не веришь — спроси его об его собственной жене. Он не обидится, то-то и странно. Он скажет то же самое.

— К чему вы клоните? — спросил Пирс.

— К тому, — отвечал Крейн, — что вам надо попросить у него прощения.

Так в действе об Енохе Оутсе, кроме пролога, появился эпилог, послуживший, в свою очередь, прологом следующих действ. Новая цепь событий началась в те минуты, когда полковник вынул изо рта сигару, ибо слова его тронули сердце капитана, а слова капитана тронули сердце богача.

Несмотря на всю свою драчливость Хилари Пирс был очень добр и ни за что на свете не обидел бы нарочно безобидного человека; кроме того, он глубоко, почти тайно, почитал Крейна. По этим причинам он вошел наутро в высокие золоченые двери роскошнейшего отеля, постоял минутку, а затем сообщил свое имя каким-то людям в золоте, важным, как немецкие генералы. Ему стало легче, когда американец спустился, чтобы его встретить, и протянул ему большую руку так сердечно, словно между

ними никогда не бывало недоразумений. По-видимому, вчерашние безумства, как и средневековый свинарник, казались миллионеру обычными для нашей феодальной страны, а Сумасшедший Дом — одним из ее бесчисленных клубов. Быть может, Крейн был прав, предполагая, что для каждого народа все другие народы — сумасшедшие.

Наверху, в номере, Енох Оутс проявил еще больше радушия, угощая гостя коктейлями самых странных цветов и названий, хотя сам пил только теплое молоко. Пирсу он доверился сразу, и тот сильно страдал, словно, пролетев пятнадцать этажей, шлепнулся прямо в спальню едва знакомого человека. При малейшем намеке на извинения миллионер открыл свое сердце, как бы раскрыл объятия, и заговорил своим трубным голосом так же легко, как вчера:

— Я женат на самой лучшей женщине в мире, — сообщил он. — Это они с Богом вместе меня и создали, но ей, знаете ли, пришлось труднее, чем Богу. Когда я начинал, у нас ничего не было, и я бы сдался, если бы не она. Таких, как она, больше на свете и нет. Вот, посмотрите.

С поразительной быстротой он достал цветное фото, и Пирс увидел чрезвычайно царственную и нарядную даму со сверкающими глазами, в тщательно уложенной короне золотых волос.

— Она мне говорила: «Я верю в твою звезду», — мечтательно сказал Оутс. — «Держись свинины, Енох!» Так мы и выстояли.

Пирс подумал было о том, как трудно вести нежную беседу, вставляя в нее имя «Енох», но ему стало стыдно, когда Свиная Звезда засияла в глазах его нового друга.

— Тяжело нам было, но я держался свинины. Я знал, что жене виднее... Так оно и вышло, привалило счастье и мне, я повернул одну махинацию, вывел конкурентов из строя... и дал ей наконец то, чего она заслуживает... Сам я развлечений не люблю, но просто сердце радуется, когда позвонишь ей поздно вечером, а у нее гости...

Перед его величавой простотой не могла устоять насмешка, свойственная более утонченной культуре. Нетрудно было заметить, как нелепы его слова, но это ничего не меняло. Быть может, именно так определяется все великое.

— Вот, говорят, «романтика деловой жизни», — продолжал Оутс. — Как у кого, а у меня и правда это целый роман. Мы решили расширять дело, перекинулся я и на Англию... Правда, с вашими властями пришлось немного повозиться... ну, ничего, они везде одинаковы...

Многие считали Пирса не вполне нормальным, и он нередко оправдывал это мнение. Но если он и был сумасшедшим, то английским. Он просто дрожал при одной мысли, что можно говорить о своих чувствах, да еще чужому человеку, в отеле, потому что это к слову пришлось. И все же чутье подсказало ему, что именно теперь надо воспользоваться возможностью, хотя он не очень ясно понимал, к чему это приведет.

— Простите,— неловко проговорил он . — Я хочу вам сказать важную вещь.

Он помолчал и начал снова, упорно глядя в стол:

— Вы говорите, что женаты на лучшей женщине в мире. Как ни странно, я тоже. Это часто бывает. А вот и другое совпадение: мы с ней тоже держались свинины. Когда я встретил ее, она разводила свиней во дворе деревенского кабачка. Но получилось так, что пришлось отказаться от свиней... а может быть, и от кабачка, и от свадьбы. Мы были так же бедны, как были вы вначале, а для бедных такой приработок решает все. Нам грозила нищета... и все потому, что вы держались свинины. Но наши свиньи были живые, они ходили по земле, мы стелили им солому, мы их кормили, а вы покупали и продавали только имя, фантом, призрак свиньи, и призрак этот чуть не убил и наших свиней, и нас. Как по-вашему, справедливо ли, чтобы ваша романтика погубила нашу? Нет ли тут ошибки?

Енох Оутс долго молчал.

— Это надо обсудить, — сказал он наконец.

К чему привели обсуждения, несчастный читатель узнает, когда соберет силы и сможет выдержать повесть об учении профессора Грина — которую, правда, можно читать и отдельно.

УДИВИТЕЛЬНОЕ УЧЕНИЕ ПРОФЕССОРА ГРИНА

Если эта часть нашей летописи покажется лишь идиллией, интерлюдией, романтическим эпизодом и вы не найдете в ней той глубины и того величия, которые придают значительность и злободневность другим рассказам, мы попросим вас не спешить с осуждением, ибо в небольшой истории о любви Оливера Грина отразились, как в притче, первые симптомы свершения и суда, увенчавших все, о чем мы пишем.

Начнем ее с того летнего утра, когда солнце засияло поздно, но ярко, тучи рассеялись, серые дали стали сиреневыми, а на узкой дороге, прорезавшей холмы, показались два силуэта.

Оба путника были высоки ростом, оба служили когда-то в армии, и все же они совсем не походили друг на друга. Один мог быть сыном другому, и этому не противоречило то, что он говорил без умолку, а старший молчал. Но они не состояли в родстве и, как то ни странно, шли вместе потому, что дружили. Всякий кто читал о них где-нибудь, сразу узнал бы полковника Крейна и капитана Пирса.

По-видимому, Пирс хвастался тем, что обратил богатого американца.

— Да,— говорил он, — я горжусь. Убийцу обратит всякий, а вот миллионера!.. Правда, он и раньше был ничего. Он пуританин, не признает ни выпивки, ни борьбы, ни нации—словом, одни отказы. Но сердце у него на месте. Потому я его и обратил.

— К чему же именно? — спросил полковник.

— К частной собственности,— ответил П и р с . — Он никогда о ней не слышал, он ведь — миллионер. А я ему все популярно объяснил, и он в общем понял. Я ему сказал, чтобы он не грабил в большом масштабе, а давал хотя бы в малом. Ему это показалось очень мятежным, но понравилось. Понимаете, он купил здешние земли и думал устроить образцовое поместье, где всех бреют под машинку и выпускают по воскресеньям в свой собственный садик, только не на газон. А я ему говорю: «Хотите

сделать людям подарок, так и делайте. Когда вы дарите даме цветок, вы же не посылаете к ней инспектора из общества охраны растений. Когда вы дарите другу сигары, вы не требуете отчета о том, как и где он их курит. Почему бы вам не прибавить доброты к вашим добрым делам? Почему не пустить свои деньги на то, чтобы стало больше свободных, а не рабов? Почему не отдать арендаторам их земли?» Он все так и сделал, создал сотни землевладельцев, изменил самый облик этих краев. Вот я и хочу, чтобы вы посмотрели на одну из ферм.

— Судовольствием, — сказал Крейн. — А что это там?

Они уже приблизились к ферме, стоявшей на склоне холма, и увидели огород, а над ним — соломенную крышу, простроченную старинными окошками. Одно из окошек было открыто, а из него торчала длинная труба, черневшая в утреннем небе.

— Пушка! — вскричал Пирс. — На что она ему, Господи?

— Кому? — спросил Крейн.

— Они сдают комнату под крышей, — отвечал Пирс. — Такому Грину, он вроде отшельника, а может — и сумасшедший...

— Во всяком случае, помешался он не на разоружении, — сказал Крейн. — Ах нет, я вижу, что это такое!

— Что же это? — спросил Пирс.

— Телескоп, — сказал Крейн.

— А не бывает пушек-телескопов? — с надеждой спросил Пирс. — Есть же поговорка «палить по звездам». Может, он на них и охотится вместо уток...

Беседуя таким странным образом, они увидели, что сквозь зеленый, мерцающий сумрак сада к ним приближается меднорыжая девушка с широким, прекрасным лицом. Пирс изысканно поклонился ей. Он считал, что новые землевладельцы ни в чем не должны уступать прежним.

— Я вижу, — сказал он, — у вашего постояльца телескоп.

— Да, сэр, — отвечала девушка. — Наш мистер Грин — знаменитый ученый.

— Вряд ли вам нужно говорить мне «сэр», — задумчиво промолвил Пирс. — Лучше бы «гражданин»... Кстати, разрешите представить вам гражданина Крейна.

Крейн учтиво склонился перед ней, не выражая особой радости от своего титула; а Пирс продолжал:

— Нет, нельзя называть гражданами тех, кто живет не в городе. Моррис предлагал звать друг друга соседями... А вы не согласитесь говорить мне «дед»?

— Если не ошибаюсь, — вставил Крейн, — ваш астроном гуляет в саду.

— Он там часто гуляет, — сказала девушка, — и на лугу, и у коровника. Идет и разговаривает сам с собой. Он и с другими разговаривает, объясняет свою теорию всем, даже мне, когда я дою корову.

— А вы нам ее не объясните? — заинтересовался Пирс.

— Ну, куда мне! — засмеялась девушка. — Там что-то вроде четвертого измерения... Он вам сам объяснит. Простите, меня корова дожидается.

— Крестьяне всегда живут приработками, — сказал Пирс. — Вы подумайте, получать доход с коровы, кур и звездочета!

Тем временем звездочет приближался к ним по той дорожке, по которой ушла девушка. Глаза его были скрыты большими темными очками — он берег зрение, чтобы лучше видеть звезды, — и от этого его простодушное лицо казалось довольно зловещим. Хотя он сильно сутулился, хилым он не был; но рассеянным, несомненно, был. Глядел он под ноги и хмурился, словно земля ему не нравилась.

Начал он, как обычно, с того, что его теорию очень легко объяснить. По-видимому, так оно и было, ибо он непрестанно ее объяснял; но он считал, что ее и понять легко, и сильно преувеличивал. Как раз в тот день он должен был изложить ее на астрономическом конгрессе, который собирался неподалеку от Бата; отчасти потому он и поселился у Дэйлов, в Сомерсетских холмах. Он думал, что ему безразлично, где он живет, и не ошибался; но воздух и цвета этих мест медленно проникали в его душу.

Поговорив с пришельцами, профессор Грин печально и терпеливо вздохнул. Даже самые умные люди приносили ему разочарование. Реплики их были интересны, но никак не связаны с темой, и он все больше ощущал, что предпочитает тех, кто слушает молча. Цветы и деревья тихо стояли, слушая час за часом, как он разоблачает ошибки нынешней астрономии. Молчала и корова; молчала и девушка, а если и говорила, то мягко и весело, не претендуя на ум. И он, как обычно, направился к коровнику.

Девушку, о которой идет речь в нашем рассказе, было бы несправедливо назвать коровницей. Марджерид Дэйл училась в школе и немало узнала прежде, чем вернулась на ферму, где принялась за сотни дел, которым она могла бы обучить своих учителей. Быть может, Грину почудилось сейчас, что он — один из них.

И небо, и землю уже тронули вечерние тени. Светящееся небо за яблонями стало яблочно-зеленым, ферма потемнела, потяжелела, и Грин впервые заметил, как странно меняет ее очертания его телескоп. Ему показалось, что с этого могла бы начаться сказка. Посмотрев на штокрозы, он удивился, что цветы бывают такими высокими, словно ромашка или одуванчик догнали ростом фонарный столб. И это казалось началом сказки — сказки о Джеке и бобовом стебле. Грин плохо понимал, что с ним творится, но ясно чувствовал, как из глубин его души встает что-то почти забытое — то, что он знал, когда не умел еще ни читать, ни писать. Смутно, словно прежнее воплощенье, он видел темные полосы полей под летними тучами и ощущал, что цветы

драгоценны, как самоцветы. Он вернулся домой, в ту деревню, которую помнит каждый городской мальчик.

— Сегодня у меня доклад, — сказал он. — Надо бы мне еще подумать...

— Вы ведь всегда думаете, — сказала девушка.

— Да, конечно... — неуверенно проговорил он и впервые понял, что сейчас, собственно говоря, не думает.

— Вы такой умный, — продолжала Марджери. — Понимаете всякие трудные вещи...

— И вы бы поняли, — возразил он, — то есть, вы тоже, конечно, умная... вы все на свете поймете...

— Ну, нет!.. — улыбнулась она. — Я понимаю только про корову или про эту скамеечку...

— Мою теорию можно связать и с ними, — оживился Грин. — Точкой отсчета может быть что угодно. Вас учили, что Земля вращается вокруг Солнца. Составим формулу иначе. Примем, что Солнце вращается вокруг Земли.

— Я так и думала!.. — обрадовалась Марджери.

— Точно так же, — продолжал он, — можно принять и математически выразить, что Земля вращается вокруг Луны. Тем самым любой предмет на земле тоже будет вращаться вокруг Луны... Как видите, мы принимаем Луну за центр, а дугу, описываемую коровой...

Марджери откинула голову и засмеялась — не насмешливо, а счастливым, детским смехом.

— Ой, как хорошо! — вскричала она. — Значит, корова перепрыгнула через Луну!

Грин поднес руку к виску, помолчал и медленно проговорил, словно вспоминая греческую цитату:

— Да... я где-то об этом слышал... Там еще собачка засмеялась...

Тогда и произошло то, что в мире идей поразительней смеха собачки. Астроном засмеялся. Если бы видимый мир соответствовал миру невидимому, листья свернулись бы в благоговейном страхе и птицы рухнули с неба. Ощущение было такое, словно засмеялась корова.

Потом астроном снова помолчал; рука его, поднятая к виску, сорвала синие очки, и миру явились синие глаза. Вид у профессора был мальчишеский и даже детский.

— Я все удивляюсь, зачем вы их носите, — сказала Марджери. — Месяц для вас был совсем синий... Какая это поговорка про синий месяц?

Он бросил очки на землю и раздавил ногой.

— Господи! — вскричала она. — Что ж вы их так! Я думала, вы их будете носить, пока весь мир не посинеет.

Он покачал головой.

— Мир прекрасен, — сказал он. — Вы прекрасны.

Марджери хорошо справлялась с молодыми людьми, отпуская ей комплименты, но сейчас она и не подумала о том,

что надо защищаться — так беззащитен был ее собеседник, — и не сказала ничего. А он сказал очень много, и слова его по ходу дела не становились умнее. Тем временем в соседнем селенье Гуд и Крейн обсуждали с друзьями новую теорию. Лекционный зал в Бате был готов с ней ознакомиться. Но создатель ее о ней забыл.

— Я много думал об этом астрономе, — сказал Хилари Пирс. — Мне кажется, он человек свой, и мы с ним скоро подружмся... или, вернее, он подружится с нами. Да нет, я знаю, что с нами дружить накладно, а сейчас — тем более. Я чувствую, что-то будет... как будто я астролога спросил... как будто астроном — Мерлин нашего Круглого стола. Кстати, учение у него занятное.

— Чем же? — удивился Уайт. — Да и смыслите ли вы в таких делах?

— Больше, чем он думает, — ответил Пирс. — Знаете, это ведь не теория, это аллегория.

— Аллегория? — переспросил Крейн.

— Да, — сказал Пирс. — Притча о нас. Мы все время разыгрывали ее, сами того не зная. Когда он говорил, я понял, что же с нами было.

— Что вы такое несете? — возмутился Крейн.

— Он принимает, — задумчиво продолжал Пирс, — что движущиеся предметы неподвижны, а неподвижные движутся. Вот вы считаете меня слишком подвижным, а многие считают таким вас. На самом же деле мы стоим как вкопанные, а вокруг все движется, мечется, суется...

— Так, — промолвил Оуэн Гуд. — Начинаю понимать...

— Во всех наших приключениях, — говорил Пирс, — мы держались чего-то, как бы трудно нам ни было, а противники наши ничего не держались, даже собственных взглядов. Мы стояли, они двигались. Полковник носил капусту и съел ее, а его соседи тем временем вообще потеряли представление о том, что можно носить, что нельзя. Мода слишком воздушна, слишком неуловима, чтобы стать точкой опоры. Гуд восхищался английской природой, Хантер — английскими помещиками. Но Хантер перекинулся к новым властителям, потому что консерватором был из снобизма, а снобизм — опора ненадежная. Я решил ввозить сюда свиней и ввозил; Енох Оутс перекинулся на кошельки, а потом, к нашему счастью, стал раздавать землю, ибо деловой человек суетен и даже на праведный путь встает слишком легко. И так во всем, даже слона Уайт завел — и держал, а власти мигом отстали, когда увидели, что у него есть юрист. Мораль ясна: нынешний мир плотен, но не прочен. В нем нет ничего, что в нем хвалят или порицают — ни неумолимости, ни напора, ни силы. Это не камень, а глина, вернее — грязь.

— Вы правы, — сказал Оуэн Гуд, — и я сделаю вывод. В нынешней Англии все так суетно и смутно, что революции быть не

может. Но если она произойдет, она победит. Все прочее слишком слабо и зыбко.

— По-видимому, — предположил полковник, глядя на Пирса, — вы собираетесь сделать какую-то глупость.

— Да, — сказал Пирс. — Я пойду на лекцию по астрономии.

Какой именно степени достигла глупость Хилари Пирса, нетрудно определить по газетной статье, которую друзья его читали наутро.

ПОТРЯСАЮЩЕЕ ПРОИСШЕСТВИЕ НА НАУЧНОМ КОНГРЕССЕ ДОКЛАДЧИК СОПЕЛ С УМА И ИСЧЕЗ

На третьем съезде Астрономического общества, собравшемся в Бате, произошло прискорбное и непонятное событие. Многообещающий ученый, профессор Оливер Грин, намеревался прочитать доклад на тему: «Теория относительности и движение планет». Примерно за час до начала заседания участники съезда получили телеграмму, сообщающую, что докладчик меняет тему, т. к. только что открыл неизвестное науке небесное тело. Все были радостно взволнованы, но чувства эти сменились удивлением, когда начался самый доклад. Сообщив, что в системе одной из звезд существует неизвестная доселе планета, профессор Грин стал описывать ее с фотографической точностью. По его словам, жизнь на этой планете приняла чрезвычайно причудливые формы, в частности — некие живые объекты тянутся вверх, непрерывно дробясь на отростки, которые, в свою очередь, покрыты зелеными полосками или языками. Когда он описывал еще более невероятную форму жизни — движущийся объект на четырех цилиндрических подпорках, увенчанный несколько изогнутыми конусами, один из присутствующих, и до того привлекавший внимание неуместными репликами, крикнул: «Да это же корова!», на что докладчик отвечал: «Конечно, корова! А вы тут и коровы не заметите, хоть она перепрыгни через Луну!» Дальнейшие высказывания, сводившиеся, насколько удалось понять, к совершенно неуместному восхвалению женской красоты, были прерваны, т. к. председательствующий послал за медицинской помощью. К счастью, на съезде присутствовал сэр Хорес Хантер, крупный физиолог, интересующийся астрономией, который и установил на месте, что профессор Грин страдает нервным расстройством, что подтвердил местный врач. Тем самым больного можно было увезти без ненужных проволок; однако человек, подававший неуместные реплики, вскочил и заявил, что профессор Грин — единственный нормальный человек в зале, после чего столкнулся со сцены сэра Хореса Хантера и с поразительной быстротой увел больного. Как ни странно, погнавшиеся за ними ученые не обнаружили перед зданием никого».

Спустилась ночь. Звезды стояли над фермой Дэйлов, а телескоп втуне целился в них. Огромные стекла отражали луну, о которой их владелец втуне говорил своим ученым собратьям, а самого владельца дома не было. Хозяева решили, что вполне естественно ему заночевать в Бате.

— В конце концов,— сказала миссис Дэйл, — не маленький же он. — Однако ее дочь не была в этом уверена.

Наутро она встала раньше, чем обычно, и принялась за работу, которая по неизвестным причинам показалась ей довольно трудной. Вполне естественно, что наедине с собой, в утренние часы, она вспоминала вчерашние действия астронома.

«Как же, не маленький,— думала она. — Спасибо, если не больной... В гостинице его обсчитают...»

Чем будничней и скучнее казалось ей в дневном свете все, что ее окружало, тем больше тревожила ее участь человека, глядевшего на синее небо сквозь синие очки. Она беспокоилась о том, опекают ли его в должной мере родные или близкие, о которых, к стати сказать, никогда от него не слышала. Она вообще не видела, чтобы он с кем-нибудь разговаривал, кроме капитана Пирса, который жил за холмом, потому что года два назад женился на ее старой подруге, с которой они вместе учились и были когда-то неразлучны. Вероятно, друзьям нужно пройти фазу неразлучности, чтобы безболезненно разлучиться.

— Пойду-ка я спрошу Джоан,— сказала она. — Кто-кто, а ее муж что-нибудь да знает.

После этого она вернулась в кухню и приготовила завтрак. Сделав все, что она только могла, для еще не появившейся семьи, она вышла в сад и постояла у ворот, глядя на лесистый холм, отделявший ее от кабачка. Она подумала, не запрячь ли пони; и пошла по дороге, к вершине холма.

По карте судя, кабачок и ферма были почти рядом, и Марджери могла бы пройти раз в десять больше. Но карты, как и все ученые бумаги, очень неточны. Гребень холма был крут, как горный кряж, и дорога, безмятежно бежавшая мимо фермы, внезапно превратилась в истинную лестницу. Марджери долго взбиралась на нее под навесом низких деревьев и очень устала. Наконец между кронами сверкнуло белое небо, и она взглянула в долину, как смотрят в другой мир.

Мистер Енох Оутс любил в приливе чувств поговорить о «просторе прерий». Мистер Розвуд Лоу, прибывший в Лондон из Йоганнесбурга, нередко упоминал в своих речах «бескрайний вельд». Однако ни американская прерия, ни африканский вельд не больше на вид, чем английская долина, когда на нее смотришь с холма. Ничто не может быть дальше дали — дальше линии, которую небо ставит предел человеческому зрению. На нашем небольшом острове очень много бесконечных пространств, словно остров этот таит семь сокровенных морей. Глядя на долину, Марджери дивилась и бескрайности ее,

и укромности. Ей казалось, что деревья растут, когда она на них смотрит. Вставало солнце, и весь мир вставал вместе с ним. Даже небо медленно поднималось, словно его, как балдахин, убирали в сияющую бездну света.

Долина у ее ног была расцветена как карта в атласе. Прямоугольники травы, земли или колосьев были так далеко, что она могла бы счесть их королевствами только что созданного мира. Но на склоне холма, над сосновым лесом, она различила белый шрам каменоломни, а чуть пониже — сверканье речки, у которой стоял «Голубой боров». Подходя к нему, она все четче видела треугольный луг, усеянный черными точками свиней, среди которых была и яркая точка — ребенок. Ветер, погнавший ее в путь, сдвинул все линии, и они стремились теперь только к этой точке.

Когда дорожка пошла ровнее, ветер немного улегся, и Марджери обрела вновь тот здравый смысл, который помогал ей управляться с хозяйством. Ей даже стало неудобно, что она тревожит занятую женщину по такой глупой причине, и она принялась убеждать себя, что всякий должен бы беспокоиться о беспомощном и больном человеке.

Подругу она окликнула тем бодрым голосом, который так раздражает всех в рано вставших людях. Марджери была немного моложе и намного веселее Джоан, которая к тому же познала бремя и напряжение заботы о детях. Однако чувства юмора Джоан не утратила и слушала подругу с настороженной улыбкой.

— Мы просто хотим узнать, что с ним случилось, — сравнительно беспечно говорила Марджери. — А то еще нас будут ругать, мы же видели, что он такой...

— Какой? — спросила Джоан.

— Ну, тронутый, — объяснила пришелица. — Ты бы слышала, что он говорил про деревья, и корову, и новую планету...

— Хорошо, что ты пришла ко мне, — спокойно сказала Джоан. — Наверное, больше никто на земле не знает, где он сейчас.

— Где же он? — спросила Марджери.

— Не на земле, — отвечала Джоан Харди.

— Он... умер? — неестественным голосом проговорила Марджери.

— Он летает, — объяснила Джоан Пирс. — Они его хотели схватить, а Хилари спас его и увез на аэроплане. Конечно, они спускаются поесть, когда опасности нет...

— Спас! Схватить! Опасности! — закричала Марджери. — Что это значит?

— Понимаешь, — отвечала ей подруга, — кажется, он рассказал ученым то же самое, что тебе. А они решили, что он сумасшедший, — для чего же еще на свете ученые? И хотели отправить в больницу, а Хилари...

Дочь фермера встала во гневе и славе, и потолок поднялся, как поднималось недавно сверкающее небо.

— Отправить его в больницу! — воскликнула она. — Да как они смеют? Это им там место! У него в ногах больше ума, чем во всех их лысых черепушках! Ух, стукнула бы я их головами! Лопнули бы, как скорлупки, а у него не голова — чугун! Он же их всех обскакал в этой ихней науке!

То, что она не имела представления ни об именах, ни о самом существовании вышеупомянутых естествоиспытателей, не помешало ей сильными мазками дополнить их портрет.

— Старые усатые пауки! — определила она. — Им бы только кого словить. Спятили, вот и злятся на здорового человека.

— Ты считаешь, что он вполне здоров? — серьезно спросила Джоан.

— То есть как? — удивилась Марджери. — Здоровей некуда. Джоан великодушно помолчала.

— Ты за него не беспокойся, — сказала она наконец. — Хилари его в обиду не даст. А где мой муж, там и борьба, так что твоих врагов, может, и стукнут головами. Тут у нас такое творится... Я думаю, много случится всякого, и здесь, и по всей стране...

— Да? — рассеянно спросила Марджери Дэйл, не интересовавшаяся политикой. — А это твой Томми там бегает?

И они заговорили о ребенке и о других будничных вещах, ибо прекрасно поняли друг друга.

Если же читатель, как это ни странно, хочет узнать, что же творилось тогда и что случилось впоследствии, ему придется одолеть повествование о причудливых постройках майора Блейра, которое приблизит его к долгожданному концу.

ПРИЧУДЛИВЫЕ ПОСТРОЙКИ МАЙОРА БЛЕЙРА

Граф Иден в третий раз стал премьер-министром, и внешность его была всем знакома и по карикатурам, и по выступлениям. Светлые волосы и худоба придавали ему молоджавость, но лицо, если вглядеться, оказывалось морщинистым, старым, чуть ли не дряхлым. Политиком он был умелым и опытным и как раз недавно победил социалистов, составлявших кабинет; добивался он этого, главным образом, тем, что употреблял вовремя удачные лозунги (которые, к большому своему удовольствию, выдумывал по вечерам). Особенно прославился лозунг: «Не национализация, а рационализация»; он, собственно, и привел Идена к победе. Однако в те дни, с которых начинается очередная повесть, премьер-министр думал о другом. Он только что получил три письма, по одному от трех столпов своей политики, и каждый просил его о немедленной встрече — и лорд Норманта-уэрс, и сэр Хорес Хантер, и мистер Розвуд Лоу. Перед ними встала труднейшая проблема, связанная с тем, что один из могущественных миллионеров внезапно сошел с ума.

Премьер-министр видел много американских миллионеров, включая самых диких, непохожих ни на миллионера, ни на американца. Но Енох Оутс, свиной король, стал непохож и на них самих. Судя по сбивчивым рассказам трех столпов, прибывших к нему в поместье, в Сомерсет, мистер Оутс был до времени самым обычным представителем своего типа. Как и подобает богачу-иностранцу, он купил добрую четверть графства, и все, естественно, ждали, что он будет ставить там те сельскохозяйственные и медицинские опыты, для которых так подходят жители английской деревни. Но он сошел с ума и отдал землю крестьянам. Никто не удивлялся, когда чужеземные богачи увозили из Англии картины, древности, замки и даже скалы. Но отдать англичанам английскую землю — это такое безумие, что виновного призвали к ответу. И вот он сидел за круглым столом, словно на скамье подсудимых.

— Мистер Оутс, — говорил премьер-министр мрачному миллионеру, — не думайте, я вполне сочувствую романтическим порывам. Но к нашему климату они не подходят. Да, *et ego in Arcadia*¹... все мы мечтали о сельской идиллии. Надеюсь, вы достаточно умны, и пастушки пляшут под вашу дудку.

— Рад сообщить, что это не так, — проурчал Оутс. — Под свою собственную.

— Я бы не стал спешить, — мягко продолжал лорд Иден. — Мне кажется, разумный компромисс еще в нашей власти. Конечно, вы составили дарственную... Но я как раз беседовал недавно с крупными юристами...

— И они объяснили, — прервал его Оутс, — как нарушить закон за хорошие деньги.

— Люблю грубоватый американский юмор! — улыбнулся лорд Иден. — Я хотел сказать, что у нас, в Англии, много способов поправить наши неизбежные ошибки. Для этого есть и термин. Историки называют это гибкостью неписаной конституции.

— Термин есть и у нас, — сказал Оутс. — Мы называем это мошенничеством.

— Вот не знал, что вы так щепетильны! — ехидно и нетерпеливо вставил Нормантауэрс.

— Что-то вы таким не были! — добродетельно добавил Розвуд Лоу.

Енох Оутс медленно встал из-за стола, словно левиафан из глубин моря. Его большое невеселое лицо не изменилось, но сонным оно уже не было.

— Да, — промолвил он, — да, бывало, я и сам мошенничал... нарушал, можно сказать, Нагорную Проповедь. Я разорял людей, но тех, которые разорили бы меня, а если кто из них был беден, он все равно только и думал, как меня убить или уничтожить. А вот таких, как вы, у нас бы линчевали или выкатили в перьях, если бы вы только заикнулись о том, что можно отобрать у людей их законную землю. Может быть, климат у вас и другой, но мне это не мешает.

И он медленно выплыл из комнаты, оставив четверым неразрешимую загадку.

— Что же теперь делать? — мрачно спросил Хорес Хантер.

— Кажется, он прав, — горько сказал Нормантауэрс. — Сделать уже ничего нельзя.

— Можно, — произнес премьер-министр.

Все посмотрели на него; но никто ничего не прочитал на изрезанном морщинами лице, оттененном светлыми волосами.

— Ресурсы цивилизации не исчерпаны, — сказал премьер. — Именно это говорили прежние власти, прежде чем стрелять в народ. Я прекрасно понимаю, господа, что вам бы очень хотелось пострелять. Вам кажется, что и собственные ваши владения вот-вот развалятся на кусочки. Что будет с правящим

¹ И я [был] в Аркадии (*лат.*).

классом, если он лишится земли? Не волнуйтесь, сейчас я вам все объясню. Я знаю, что нам делать.

— Что? — проговорил сэр Хорес.

— Национализировать землю, — ответил премьер-министр.

— Да это же настоящий социализм! — закричал лорд Нормантауэрс.

— Именно настоящий, — проворковал лорд Иден. — Так и назовем: «настоящий»... нет, «истинный социализм». Именно то, что нужно для выборов. Хорошо запоминается. У них — простой социализм, а у нас — истинный.

— Что ж это такое? — закричал Хантер в порыве чувств, заглушивших весь его снобизм. — Вы поддерживаете большевиков?

— Нет, — сказал Иден и улыбнулся, как сфинкс. — Большевики меня поддержат.

Он помолчал и заговорил спокойней:

— Конечно, чувства это ранит... Наши старые замки и поместья, жилища знати, станут общественной собственностью, как почты... Когда я вспоминаю счастливые часы в Нормантауэрсе... — Он улыбнулся владельцу. — И у вас, сэр Хорес, есть прекрасный замок, и у вас, мистер Лоу... не припомню, как же они называются...

— Розвудский замок... — угрюмо проговорил Лоу.

— Нет, — снова вскочил сэр Хорес, — что же будет с нашим лозунгом? «Не национализация...»

— Ничего, — легко ответил лорд Иден. — Теперь мы скажем: «Не рационализация, а национализация». Какая разница? В конце концов мы же патриоты, мы — национальная партия.

— Ну, знаете ли!... — начал Нормантауэрс, но премьер ласково перебил его:

— Компенсируем... все компенсируем... Да, компенсация — великая вещь!.. Приходите сюда через неделю... ну, скажем, ровно в четыре часа. Думаю, к тому времени я все подготовлю...

Когда через неделю они снова собрались в солнечном саду премьер-министра, тот действительно подготовил все: стол на освещенном солнцем газоне едва виднелся из-под карт и документов. Юстес Пим, один из многочисленных секретарей, колдовал над ними, а лорд Иден, сидевший во главе стола, сосредоточенно читал какую-то бумагу.

— По-видимому, вы хотите узнать, на каких условиях совершится национализация, — сказал он. — Как ни жаль, все мы вынуждены чем-нибудь жертвовать ради прогресса...

— А, черт с ним, с прогрессом! — закричал Нормантауэрс. — Вы что, всерьез считаете, что мое поместье...

— Сейчас, сейчас... — сказал премьер, глядя в бумагу. — Оно входит в раздел четвертый, «Старинные замки и аббатства». По новому законопроекту такие поместья находятся под охраной. Поручается она так называемому лорду-хранителю округа. В данном случае... так, так... вы и есть лорд-хранитель.

Взъерошенный Нормантауэрс глядел на него, и взгляд его неглупых глазок медленно менялся.

— С поместьем сэра Хореса,— сказал премьер,— дело обстоит иначе. В тех местах недавно свирепствовала свинка, и потому их нельзя оставлять без специального врачебного присмотра, который и осуществляет санитарный инспектор. Это, конечно, исключительный случай; в случаях же нормальных, скажем, в вашем, мистер Лоу, поместье и самый дом охраняет государственный чиновник. Учитывая ваши общественные заслуги, мы решили выдвинуть вас на этот пост. Конечно, в любом случае при национализации земли бывший владелец получит существенную сумму. Лицам же, ответственным за охрану, государство будет платить жалованье и отпускать специальные дотации, чтобы поместья содержались в достойном виде.

Он замолчал, словно ожидая аплодисментов, но сэр Хорес раздраженно крикнул:

— Нет, что же это такое! Мой замок...

— Вот кретины! — сказал премьер-министр, впервые теряя такт и терпение.— Да вы же выгадываете вдвое! Сперва вам заплатят за то, что у вас отобрали замок, а потом — за то, что вы в нем живете.

— Милорд,— смиренно проговорил Нормантауэрс,— прошу прощения за все, что я говорил или думал. Мне надо бы знать, что передо мной — великий государственный деятель.

— О, это пустяки! — честно признался Иден.— Смотрите, нас не выбили из седла демократические выборы. Мы сумели управиться с палатой общин не хуже, чем с палатой лордов. Так и социализм. Мы останемся у власти, только звать нас будут не аристократами, а бюрократами.

— Понял! — закричал Хантер.— Ну, теперь конец этой демагогии!..

— И я так думаю,— сказал с улыбкой премьер-министр и принялся складывать большие карты.

Когда он складывал самую большую, последнюю, он вдруг остановился и сказал:

— Что это?

В самой середине стола лежал запечатанный конверт.

— Это вы положили, Юстес? — спросил премьер.

— Нет,— удивился мистер Пим.— Я его и не видел. В утренней почте его не было.

— Оно вообще не пришло по почте,— сказал лорд Иден.— Как же оно сюда попало?

Он вскрыл конверт и довольно долго глядел на листок письма. Видел он следующее:

«4 сентября 19..»

Дорогой лорд Иден!

Мне стало известно, что вы заняты будущей судьбой наших древних замков. Я был бы весьма признателен, если бы Вы

сообщили мне, каковы Ваши планы в отношении замка Туч, принадлежащего мне, чтобы я мог заранее подготовиться.

Искренне Ваш

Лорд Туч».

— Кто такой Туч? — спросил озадаченный политик. — Пишет он так, будто мы знакомы, но я его не помню. И где этот замок? Надо взглянуть на карты.

Они глядели на карты много часов, перерыли Берка, Дебретта, «Кто есть кто», атласы и справочники, но не нашли вежливого и твердого помещика. Лорд Иден был огорчен — он знал, что в глуши иногда таятся очень важные особы, с которыми не оберешься хлопот. Он знал, что аристократы, его собственный класс, должны быть с ним во время переворота, и очень старался не обидеть ни одного чудака или самодура. Но, как он ни огорчался, он бы утешился, если бы не то, что случилось через некоторое время.

Однажды утром он вышел в сад и направился к известному нам столу, чтобы мирно выпить там чаю, как вдруг увидел в траве новое письмо. Оно тоже было без штемпеля, и почерк был тот же самый, но тон изменился.

«Замок Туч

6 октября 19..

Милорд!

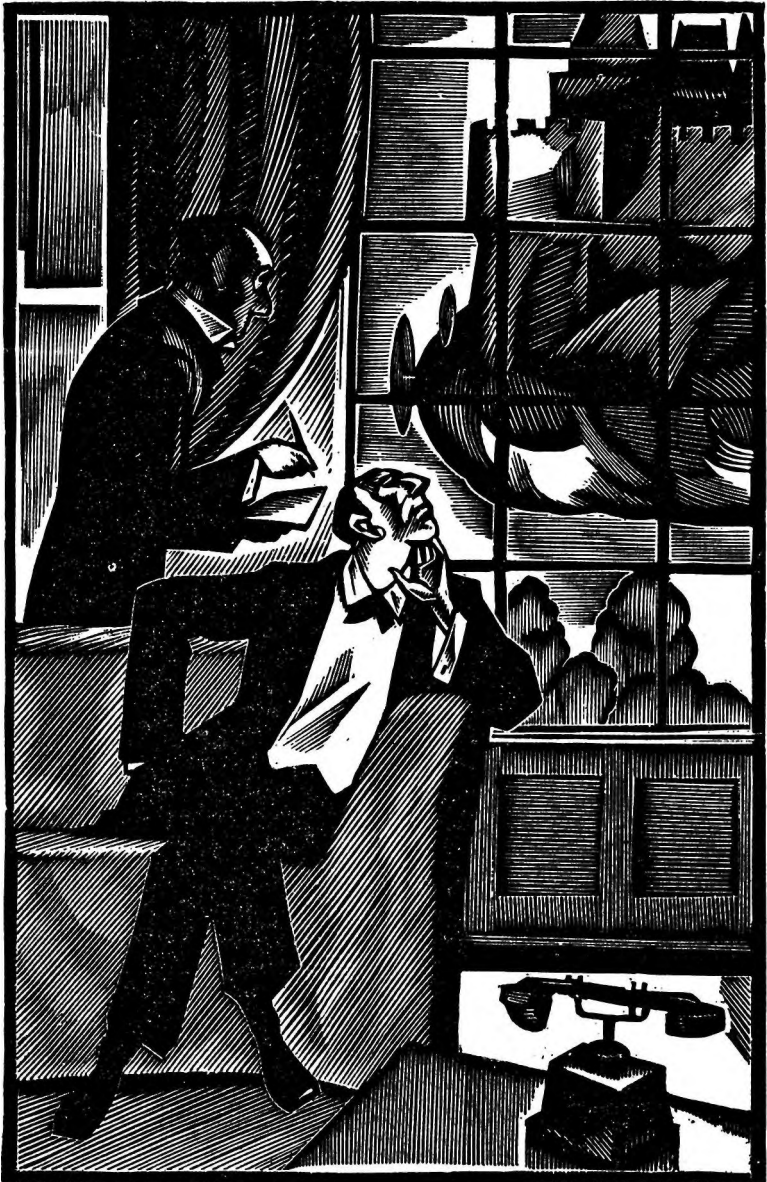
Поскольку Вы разрабатываете свой проект, ни в малой степени не учитывая исторических заслуг и героических традиций замка Туч, я вынужден сообщить Вам, что собираюсь защищать до последней капли крови крепость моих предков. Кроме того, я призыву на помощь английский народ. В следующий раз Вы услышите обо мне, когда я к нему обращусь.

Искренне Ваш

Лорд Туч».

Заслуги и традиции упомянутого замка приковали на неделю двенадцать секретарей к энциклопедиям, хроникам и ученым трудам. Но самого премьера больше беспокоило другое: как попадает письмо в дом, точнее — в сад? Никто из слуг ничего не знал. Более того — премьера незаметно и тщательно охраняли, особенно с тех пор, как вегетарианцы сообщили, что будут убивать всех, кто санкционирует убийство животных. У каждого входа в его дом и сад кишели полисмены в штатском, и каждый из них клялся, что письма пронести никто не мог. Однако письма пришли. Лорд Иден долго об этом думал и сказал наконец, вставая с кресла:

— Надо поговорить с мистером Оутсом.



Юмор или справедливость побудили его пригласить на эту беседу все тех же трех влиятельных лиц. Не совсем ясно, мистер ли Оутс предстал перед их судом, или они — перед судом мистера Оутса. Лорд Иден долго говорил о пустяках, подходя все ближе к теме, и вдруг небрежно спросил:

— Кстати, вы ничего не знаете об этих письмах?

Американец ответил не сразу. Сперва он молчал, потом сам задал вопрос:

— А почему вы думаете, что я о них знаю?

— А потому, — не выдержал Хорес Хантер, — что вы связались с этой шайкой... С этими сумасшедшими...

— Что ж, — спокойно сказал Оутс, — спорить не буду, они мне нравятся. Вы говорите, они сумасшедшие. Но в их безумии есть метод. Они люди верные и дельные. Помните, Пирс спас профессора. Я знаю Айру Блейра, который ему помогал, и уж он-то, поверьте мне, вполне здоров. Он крупнейший специалист по воздухоплаванию, а перешел вот к ним, значит, есть в них что-то, чем-то они его купили. Он им помогает, он сделал для Пирса эту свинью, и...

— Ну, вот! — закричал Хантер. — Уж если это не сумасшествие...

— Я помню майора Блейра по военным временам, — спокойно сказал Иден. — Его называли Аэрблейр. Превосходно работал. Но я, собственно, хотел спросить о другом: не известно ли вам, мистер Оутс, где находится замок Туч?

— Да, мистер Оутс, — вставил слово Нормантауэрс. — Где этот замок?

— Как вам сказать... — задумчиво проговорил американец. — Собственно, везде. Эй, да вот он!

— Так, — промолвил премьер-министр. — Я знал, что мы чего-нибудь дождемся.

— Чего же мы дождались? В чем дело? — закричали его гости.

— Сейчас мы увидим, — сказал премьер, — откуда приходят письма.

Над деревьями сада появилось огромное облако, светящееся теплым светом, как облака на закате; точнее всего назвать это матовым пламенем. Чем ближе оно подплывало, тем невероятней становилось, тем огромней, тем очерченней, и наконец все ощутили, что оно вот-вот раздавит деревья. Когда люди глядят на облака, им кажется, что они видят крепости и замки. Но увидь они в небе настоящий замок, они бы закричали от ужаса. Однако светящаяся глыба, плывущая над садом, была замком и ничем иным, с башнями и бойницами, как в сказке.

— Смотрите, милорд! — закричал Оутс громким, носовым голосом. — Вы говорили, что я мечтатель. Вот он, воздушный замок!

Замок проплыл над столом, и от него оторвался крохотный белый прямоугольник.

И сразу же вслед за ним вниз посыпались десятки листков, покрывая газон преждевременным снегом. Двенадцать секретарей

бросились их собирать и приводить газон в порядок. Потом они их разобрали, и оказалось, что это, большей частью, предвыборные листовки. Внимательнее всего лорд Иден изучил такую:

«Дом англичанина больше не крепость!

Переселимся в воздушные замки!

Если это кажется вам нелепым, мы вам скажем, что лишиться дома на земле несравненно нелепее».

За этим следовали менее связанные фразы, в которых проницательный читатель угадал бы руку поэтического Пирса. Он восклицал: «Они украли землю, так разделим же небо!», предлагал обучить ласточек и ворон, чтобы те изображали изгороди и межи в «голубых дугах», и прилагал рисунок, где изобразил пунктиром ряды послушных птиц. Окончились его призывы кратким выразительным лозунгом: «Три акра и ворона».

Но Иден читал дальше, и на лице его отражались чувства, которые вряд ли могла вызвать такая умилительная утопия. Вот что он читал:

«Не удивляйтесь, что воздух, общественная собственность, станет собственностью частной, когда земля, частная собственность, стала общественной. Так уж оно теперь, общественные и частные дела поменялись местами.

Вот, например, все мы видели в газетах, как сэр Хорес Хантер улыбается любимому какаду. Казалось бы, дело частное, но мы его знаем. Однако мы не знаем, что сэру Хоресу будут платить из государственной казны по три тысячи фунтов за то, что он останется в собственном доме.

Видели мы и лорда Нормантауэрс в свадебной поездке и читали об его новом браке, который именуют Великой Любовью. Тоже вроде бы частное дело; но мы его знаем. Однако мы не знаем, что деньги налогоплательщиков потоком потекут в его карман и за то, что он лишится замка, и за то, что он его не лишится.

Известно нам и то, что мистер Розвуд Лоу бьется над улучшением породы болонок, — и, видит Бог, они в том нуждаются!.. Но дело тоже частное, и мы его знаем, не зная, однако, что мистеру Лоу заплатят дважды за один и тот же дом. Более того: мы не знаем, что милостью этой он обязан своей удивительной щедрости, побуждающей его снабжать деньгами нашего премьер-министра».

Упомянутый премьер улыбнулся еще угрюмей и бегло проглядел другие воззвания. Походили они на предвыборные, хотя выборов не предвиделось.

«ГОЛОСУЙТЕ ЗА КРЕЙНА!

ОН СКАЗАЛ, ЧТО СЪЕСТ СВОЮ ШЛЯПУ, И СЪЕЛ.

ЛОРД НОРМАНТАУЭРС ОБЕЩАЛ ОБЪЯСНИТЬ, КАК ПРОГЛОТИЛИ АНГЛИЧАНЕ ЕГО НЕБОЛЬШУЮ КОРОНУ, НО ВСЕ НЕ СОБЕРЕТСЯ».

«ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПИРСА!
ОН СКАЗАЛ, ЧТО СВИНЬИ ПОЛЕТЯТ, И ОНИ ПОЛЕТЕЛИ.
РОЗВУД ЛОУ СКАЗАЛ, ЧТО ПОЛЕТЯТ АЭРОПЛАНЫ НО-
ВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИНИИ, НО ПОКА ЧТО ПОЛЕТЕЛИ
ТОЛЬКО ВАШИ ДЕНЬГИ».

«ГОЛОСУЙТЕ ЗА ТЕХ, КТО ТВОРИТ И ГОВОРИТ ЧЕПУХУ!
ТОЛЬКО ОНИ ГОВОРЯТ И ТВОРЯТ ПРАВДУ».

Лорд Иден перевел взгляд на уплывающий замок, и взгляд этот был странным. Лучше ли это, хуже ли для души, но было в нем что-то, чего не могли понять деловые и трезвые люди.

— Да, поэтично!.. — сухо сказал он. — Это кто, Виктор Гюго что-то такое говорил о политике и облаках? Не у него ли сказано: «Поэт всегда в небесах, но там же и молния»?

— Молния! — презрительно произнес Нормантауэрс. — Да эти идиоты пускают фейерверк.

— Конечно, — кивнул Иден. — Но я боюсь, что пускают они его в пороховой погреб.

И он все вглядывался в небо, хотя воздушный замок давно исчез.

Если бы взгляд его и впрямь последовал за замком, он был бы удивлен, ибо скепсис еще не вытравил в нем удивления. Причудливая постройка проплыла закатным облаком к закату, словно тот замок из сказки, который стоит западней луны. Оставив за собой зеленые сады и красные башни Херефорда, она перекочевала туда, где нет садов, а нерукотворные башни держат могучую стену Уэллса. Там, среди утесов и скал, она скользнула в расщелину, по дну которой черной рекою шла темная полоса. То была не река, а трещина, замок в нее опустился и по круглому, словно котел, дуплу проник в полумрак огромной пещеры.

Там и сям, словно упавшие в бездну звезды, светились искусственные огни; на деревянных помостах и галереях стояли ящики и даже какие-то сараи; а у каменных стен колыхались самые причудливые аэростаты, похожие на гигантских ископаемых или на первобытные наскальные рисунки. Тому, кто попал сюда впервые, могло показаться, что здесь заново творится мир. Человек, приведший воздушный замок, бывал тут и раньше и обрадовался огромной свинье, как радуются, войдя в дом, любимой собаке. Звали его Хилари Пирс, и эта свинья играла большую роль в его жизни.

Посередине пещеры стоял стол, заваленный бумагами, как и стол в саду премьер-министра, но здесь бумаги были испещрены значками и цифрами, а над ними о чем-то спорили два человека. В том, кто повыше, ученый мир узнал бы профессора Грина, которого мир этот искал, как недостающее звено между обезьяной и человеком — так же безуспешно, так же рьяно и тоже ради науки. В том, кто пониже, очень немногие узнали бы Айру Блейра, которого мы вправе назвать мозгом английской революции.

— Я не надолго, — сказал Пирс.

— Почему это? — спросил Блейр, набивая трубку.

— Не хочу мешать вашей беседе, — отвечал авиатор. — Не хочу я ее и слушать. Я знаю, что бывает, когда вы оба разойдетесь. Профессор тонко заметит: «920, 05», а вы скажете с мягким юмором: «75,007». На это грех не возразить: «982,09». Грубовато, конечно, но чего не бывает в пылу полемики...

— Майор Блейр, — промолвил профессор, — оказал мне большую честь, разрешил ему немного помочь...

— Это вы мне оказали честь, — возразил инженер. — С таким математиком я сделаю все в десять раз быстрее.

— Ну что ж, — вздохнул Пирс, — если вы так довольны друг другом, не стану вам мешать. Правда, было у меня поручение от хозяйки профессора, мисс Дэйл... да что там, в другой раз!..

Грин с неожиданной прытью вынырнул из бумаг.

— Поручение? — воскликнуло он. — Неужели мне?

— 8282,003, — холодно ответил Пирс.

— Не обижайтесь, — сказал Блейр. — Передайте профессору, что вас просили, а потом уж идите.

— Мисс Дэйл была у моей жены, — сказал Пирс, — искала вас. Вот и все. Надеюсь, этого хватит.

По-видимому, этого хватило, ибо Грин, сам того не замечая, скомкал одну из драгоценных бумаг, словно пытался побороть какие-то чувства.

— Теперь я пойдю, — весело сказал Пирс. — Дела, дела...

— Постойте, — окликнул его Блейр почти у выхода. — А других новостей у вас нет?

— В математическом выражении, — сказал, не оборачиваясь, Пирс, — новости $\pi_1 + \pi_2 = \pi_n$. П-сьмо уже на земле, его прочитали.

И он полез в свой воздушный замок, а Оливер Грин увидел скомканную бумагу и принялся ее расправлять.

— Мистер Блейр, — сказал он, — мне очень стыдно. Вы тут живете как отшельник, служите великой идее, а я впутываю вас и ваших друзей в свои мелкие дела!.. То есть для меня они не мелкие, но вам, наверное, все это кажется ничтожным.

— Я не совсем точно знаю, — отвечал Блейр, — что за дела у вас. Поистине, это дело ваше. Но я очень рад вам, именно вам, а не только идеальной счетной машине.

Айра Блейр, последний и, в обычном смысле слова, самый умный из героев нашей саги, был не очень молод, невысок, но так подвижен, что его коренастая фигура в кожаной куртке напоминалась сильнее, чем его лицо. Однако, если он сидел и курил, можно было обнаружить, что лицо у него скорее неподвижное, нос короткий и прямой, а задумчивые глаза гораздо светлее черных густых волос.

— Просто Гомер какой-то, — говорил он. — Две армии сражаются за тело звездочета. Вы — вроде знака, вроде символа,

ведь все это безумие началось с того, что вас признали безумным. А личные ваши дела не касаются никого.

Последняя фраза пробудила Грина, и он — застенчиво, но многоречиво — рассказал своему другу историю своей любви. Завершил он этот рассказ такими словами:

— Вы скажете, что за телячьи нежности, и будете правы. Наверное, те, кто служит великому делу, должны пожертвовать...

— Не вижу, чего тут стыдиться, — прервал его Блейр. — Может быть, в некоторых делах это действительно мешает, но не здесь. Открыть вам тайну?

— Если вам не трудно, — сказал Грин.

— Корова не прыгает через луну, — серьезно сказал Блейр. — Этим занимаются быки.

— Простите, не совсем понял... — проговорил ученый.

— Я хочу сказать, — объяснил Блейр, — что в нашем деле без женщин не обойдешься, потому что мы боремся за землю. Воздушный замок могут защищать одни мужчины. Но когда крепость защищают свои фермы и дома, женщины очень важны. Вот слушайте, я вам расскажу. В конце концов, почему бы и мне не исповедаться, тем более что моя история — с моралью? Вы мне — о корове и луне, я вам — о воздушном замке.

Он покурил, помолчал и начал снова:

— Наверное, вы думали, почему бы это такой прозаичный шотландский инженер построил этот замок, радужный, как связка детских шариков. Все потому же, мой друг... да, потому, что иногда мужчина становится непохожим на самого себя. Довольно давно я выполнял один государственный заказ в пустынных местах, на западном берегу Ирландии. Там почти не с кем было поговорить, кроме дочери обедневшего сквайра, и я разговаривал с ней довольно часто. Был я сухарь сухарем, настоящий механик, и вечно возился с грязными машинами. А она была принцессой из кельтской саги, в золотисто-рыжей огненной короне, с прозрачным, светящимся лицом, и даже когда она молчала, казалось, что слышишь песню. Я пытался развлекать ее рассказами о чудесах науки, о новых летательных аппаратах, но она говорила: «Что мне до них! Я каждый вечер вижу на небе сказочные замки», — и показывала на алые облака или лиловые тучи, плывущие в зеленом сиянии над океаном.

Вы бы сказали, что я сошел с ума, если бы сами с ума не сошли. Я по-детски обижался и все думал, как бы ей доказать, что она неправа. Мне хотелось, чтобы моя наука побила ее облака на их собственном поле, и я трудился, пока не создал прекрасный, как радуга, замок. Может быть, я мечтал создать ей дом там, в небе, где она и жила, словно ангел. Пока я работал, мы сближались все больше, но об этом я вам рассказывать не буду, расскажу сразу конец, то есть — самую мораль. Мы готовились к свадьбе, и я спешил закончить свой замок, чтобы унести ее в небо. Но тут Шейла повела меня за город и показала мне

кирпичный домик, который сняла очень дешево и прекрасно обставила. Я заговорил было о воздушных замках, но она мне сказала, что ее замок благополучно опустился на землю. Запомните: женщина, особенно ирландская, в высшей степени практична, когда речь идет о браке. Она не прыгает через луну, она крепко стоит посреди трех акров. Вот почему в нашем деле без женщин не обойтись, особенно — без таких, как те, которых полюбили вы и Пирс. Когда миру нужен Крестовый поход во имя небесных идеалов, тут нужны мужчины, и ничем не связанные, вроде францисканцев. Когда надо бороться за свой дом, нужны женщины, нужны семьи. Нужен прочный христианский брак. Мелкую собственность не сохранишь со всем этим зыбким многоженством, с этим гаремом, у которого даже нет стен.

Грин кивнул и встал.

— Когда надо бороться... — произнес он. — Вы считаете, что уже надо?

— Не я считаю, лорд Иден, — отвечал Блейр. — Другие не совсем понимают, что делают, но он-то понимает.

И Блейр выбил трубку, и тоже встал, чтобы вернуться к работе как раз в ту минуту, когда Иден, очнувшись от раздумья, закурил сигару и вошел в дом.

Он не стал объяснять окружающим его людям, о чем он думает. Только он один понимал, что Англия — уже не та страна, которую он знал в молодости и которая обеспечивала ему роскошь и покой. Он знал, что многое изменилось и к лучшему, и к худшему, и одна из перемен была простой, весомой и грозной. Появилось крестьянство. Мелкие фермеры существовали и держались за свои фермы, как держатся везде. Лорд Иден не мог поручиться, что хитроумные проекты, разработанные в его саду, подойдут к этой, новой Англии. Был ли он прав, усталый и сломленный читатель узнает из повести о победе, после которой сможет наконец удалиться на покой.

ПОБЕДА ЛЮБИТЕЛЕЙ НЕЛЕПИЦЫ

Роберт Оуэн Гуд прошел через библиотеку с большим пакетом в руке и вышел в светлый сад, где его жена накрывала на стол, ожидая к чаю гостей. Даже на свету она не казалась постаревшей, хотя много нелегких лет прошло с тех пор, как он встретил ее в долине Темзы. Ее близорукие глаза по-прежнему глядели немного испуганно, и это трогательно оживляло ее прозрачно-золотистую красоту. Элизабет еще не была старой, но всегда казалась старомодной, ибо принадлежала к той забытой всеми знати, чьи женщины двигались по своим усадьбам не только с изяществом, но и с достоинством. Муж ее стал морщинистей, но прямые рыжие волосы остались такими же, как были, словно он носил парик. Он тоже страдал старомодностью, несмотря на мятежное имя и недавнее участие в успешном мятеже; и одной из самых старомодных черт его была гордость за свою жену, истинную леди.

— Оуэн,— сказала она, встревоженно глядя на него, — ты опять накопил старых книг!..

— Нет, новых,— возразил он. — Хотя вообще-то они по древней истории.

— По какой именно? — спросила она. — Наверное, о Вавилоне?

— Нет,— сказал Оуэн Гуд. — О нас.

— Ну, что ты!.. — снова встревожилась Элизабет.

— То есть о нашей революции,— сказал ее муж.

— Слава Богу,— мягко сказала Элизабет. — Нашу с тобой историю нельзя ни написать, ни напечатать. Помнишь, как ты прыгнул в воду за колокольчиками? Тогда ты и поджег Темзу.

— Нет, Темза меня подождала,— отвечал Гуд. — А ты всегда была духом воды и феей долины.

— Ну, я не такая старая... — улыбнулась она.

— Вот, послушай,— произнес он, листая книгу, — «Недавний успех аграрного движения...».

— Потом, потом, — перебила его она. — Гости идут.

Гостем оказался преподобный Ричард Уайт, игравший в недавнем мятеже роль ветхозаветного пророка. В частной жизни он был все таким же порывистым, сердитым и непонятным.

— Нет, ты смотри! — крикнул он. — Это идея... Ну, сам знаешь... Оуте пишет из Америки... а он молодец... Но он все же из Америки, ему что... Сам понимаешь, не так все просто... легко сказать «Соединенные Штаты»...

— Ну, зачем нам Штаты! — отмахнулся Гуд. — Я больше за гептархию, нас как раз семеро. А вот ты послушай, что пишут: «Успех аграрного движения...»

Но тут снова пришли гости — молчаливый Крейн и шумный Пирс с молодой застенчивой женой. Жена Уайта редко покидала деревню, жена Крейна была занята в своей мастерской, где сейчас рисовала мирные плакаты, а недавно — мятежные.

Гуд был из тех, кого книги поистине глотают, словно чудище с кожистой пастью. Не будет преувеличением, если мы скажем, что он проваливался в книгу, как проваливается в болото неосторожный путник, и не пытался оттуда вылезти. Он мог замолчать в середине фразы и углубиться в чтение или, наоборот, вдруг прервать молчание, читая вслух какой-нибудь отрывок. Никак не отличаясь невежливостью, он был способен пройти через чужую гостиную прямо к полкам и раствориться в них подобно домашнему привидению. Проехав в поезде много миль, чтобы повидаться со старым другом, он проводил весь визит над пыльным фолиантом, неизвестным ему до той поры. Сам он этого не замечал, и жене его, сохранившей старомодные представления о любезности и гостеприимстве, приходилось то и дело быть вежливой и за него и за себя.

— «Недавний успех аграрного движения...» — бодро начал он, но Элизабет быстро встала, встречая новых гостей. То были неразлучные профессор Грин и механик Блейр — самый непрактичный и самый практичный из наших героев.

— Какой у вас красивый сад! — сказал Блейр хозяйке. — Редко увидишь такие клумбы... Да, старые садовники знали свое дело.

— Тут почти все старое, — отвечала Элизабет. — А дети ваши здоровы?

— «Недавний успех аграрного движения...» — звонко проговорил ее муж.

— Ну, Оуэн, — улыбнулась она, — какой ты смешной! Зачем же читать об этом людям, которые сами все знают?

— Простите, — сказал полковник. — Невежливо возражать даме, но вы ошибаетесь. Участник событий никогда не знает, что именно произошло. Он узнает это на следующий день из утренних газет.

— Если Оуэн начнет, он никогда не кончит, — слабо запротестовала хозяйка.

— Может, правда,— поддержал ее Блейр, — нам бы лучше...

— «Недавний успех аграрного движения, — властно сказал Гуд,— обусловлен в немалой степени экономическими преимуществами крестьянства. Оно может кормить город, может и не кормить; и давно этим пользуется в европейских странах. Что же до нас, все мы помним первые дни восстания. Горожане, привыкшие к тому, как мерцают в сером предутреннем свете ряды бидонов, не увидели их, и бидоны эти засверкали в их памяти, словно украденное серебро. Когда сэр Хорес Хантер занялся этим делом, оказалось, что ему ничего не стоит обеспечить каждую семью новым, более изящным бидоном. Однако население отнеслось к этому без должного энтузиазма, требуя в придачу еще и молока, и пришло к выводу, что иметь корову лучше, чем иметь бидон. Слухи же о том, что Хантер выдвинул лозунг «Три метра и бидон» не подтвердились и, по-видимому, пущены его врагами.

Большую роль сыграло и то, что сэр Хорес Хантер, совместно с профессором Хейком, широко развернули в сельской местности научную деятельность и проверяли на местных жителях свои гипотезы в области здорового распорядка дня, гигиенической одежды и правильного питания. Чтобы проверить, как выполняются их распоряжения, они посылали специальных инспекторов, что неоднократно приводило к прискорбным сценам. Однако и это не все; роль сыграло и состояние общества. По прежним понятиям, граф Иден был почти идеальным политиком, но к тому времени, когда он бросил вызов крестьянству, выдвинув проект национализации, он достиг преклонного возраста, и претворять проект в жизнь пришлось его помощникам типа Хантера или Лоу. Вскоре стало ясно, что многие иллюзии его эпохи уже не существуют.

Нельзя отрицать, что намеченные мероприятия страдали с самого начала некоторой призрачностью в силу определенных условностей политической жизни, принимавшихся прежде как должное. Скажем, шадя чувства незамужних молодых дам, премьер-министр посылал вместо себя в провинцию своих секретарей, дополнявших невинную иллюзию легким гримом. Когда обычай этот распространился и на личную жизнь, положение несколько усложнилось. Если верить слухам, в последние дни правительства Ллойд Джорджа на митингах выступали одновременно не меньше пяти премьер-министров; что же до министра финансов, он действовал в трех лицах, одновременно наслаждаясь заслуженным отдыхом на озере Комо. Когда в результате прискорбного просчета администрации на платформе появились сразу два одинаковых министра, аудитория сильно развеселилась, но почтение ее к властям заметно упало. Конечно, слухи о том, что рано утром целая колонна премьер-министров расходится парами по своим постам, в немалой степени преувеличены, но пользовались они большим успехом с легкой руки капитана Хилари Пирса, некогда служившего в авиации.

Если свою роль сыграли такие пустяки, то еще больше значили явления серьезные, например — программы и посулы традиционных партий. Все знают, что обычный лозунг «Каждому — по миллиону!» давно стал простой условностью, своего рода узором. Однако постоянное его употребление при полном невыполнении постепенно ослабляло веру в слово. Это бы еще ничего, если бы наши политики им и ограничились. К несчастью, борьба вынудила их давать новые обещания.

Так, лорд Нормантауэрс, жертвуя своим принципом трезвости, неосмотрительно пообещал рабочим по бутылке шампанского к завтраку, обеду и ужину. Несомненно, намерения у него были весьма высокие, но выполнить их он не смог. Когда рабочие военных заводов обнаружили, что в бутылках, аккуратно обернутых лучшей фольгой, — кипяченая вода, они внезапно забастовали, что остановило выпуск снарядов и обеспечило первые, поистине невероятные победы мятежников.

Так началась одна из самых удивительных в истории войн — односторонняя война. Одна сторона не могла бы, конечно, ничего, если бы другая хоть что-нибудь могла. Меньшинство боролось бы недолго, если бы большинство боролось вообще. Все существующие институты полностью утратили доверие и потому не действовали никак. Что пользы было обещать рабочим большее жалованье, когда те немедленно ссылались на шампанское лорда Нормантауэрса? Что пользы было премьер-министру клясться своей честью, когда никто не был уверен, что перед ним — премьер-министр? Правительство вводило новые налоги, но их никто не платил. Оно мобилизовало армии, но те не сражались. Никто не хотел производить новые виды оружия и пользоваться ими. Все мы помним, как профессор Хейк предложил сэру Хоресу Хантеру, который был тогда министром, новое взрывчатое вещество, способное изменить геологическое строение Европы и утопить в Атлантическом океане наши острова, но ни кебмен, ни клерки, как он их ни уговаривал, не помогли ему перенести это вещество из кеба в кабинет.

Анархии нарушенных обещаний противостояли только те, кого в народе прозвали врунами, а в ученых кругах — апологетами абсурда, потому что они, как правило, сулили самые нелепые и невероятные вещи. На них работало все больше людей, ибо они делали то, что обещали; и прозвище их стало символом достоинства и благородства. Небольшое сообщество, породившее такое явление, чрезвычайно гордилось тем, что выполняет со скрупулезной точностью самые дикие свои обещания. В сущности, с самого начала они буквально осуществляли все, что издавна признается невозможным. Когда же дело дошло до крестьянской собственности, которую они же сами и воскресли, убедив американского миллионера подарить фермерам свою землю, они стали так же буквально и точно выполнять более серьезные обеты. Враги смеялись над ними и над их лозунгом: «Три акра

и корова». Они отвечали: «Да, это — миф, утопия, чудо; но мы видели чудеса, и наши мифы оказывались правдой».

Необъяснимая и невероятная победа их мятежа объясняется, повторим, прежде всего тем, что на сцену вышло новое крестьянство, получившее землю в собственность согласно дарственной, подписанной Енохом Оутсом в феврале 19.. г. Лорд Иден и его кабинет попытались вернуть землю путем национализации, но этому помешало новое и загадочное препятствие: дух крестьянства. Оказалось, что крестьян нельзя двигать с места на место, как жителей города, которых просто переселяют, чтобы проложить на месте их домов новую улицу; крестьяне подобны не пешкам, а растениям, у которых крепкие корни. Когда же лорд Иден решил пустить в ход весь сложный механизм насилия, поднялось крестьянское восстание, которого Англия не видела со средних веков.

Оговоримся сразу: восставшие не считали себя ни мятежниками, ни изгоями, ни нарушителями закона. С их точки зрения они были законными владельцами своей земли, а чиновники, пытавшиеся ее отобрать, — преступниками и ворами. И вот они вышли на тех, кто проводил так называемую национализацию земель, как шли их отцы на пиратов или на волков.

Правительство приняло срочные меры. Оно немедленно ассигновало мистеру Лоу 50 000 фунтов на подавление мятежа, и он попытался оправдать доверие, выбрав из всех своих племянников даровитого финансиста, мистера Линарда Крэмпа, и поручив ему командование правительственными силами. Однако тонкий ум и деловая хватка не возместили мистеру Крэмпу элементарного знакомства с военным искусством, которым обладали Крейн и Пирс.

И все же успехи вышеупомянутых военачальников не были бы так велики, если бы на их стороне не оказался гениальный инженер. Выдающиеся открытия Айры Блейра в области воздухоплавания были совершенно неизвестны обществу, ибо он не пытался извлечь из них денежную выгоду. Такое донкихотство сосуществовало с исключительным здравым смыслом, но резко противостояло тому духу деловитости и стяжательства, которые побуждали других изобретателей широко рекламировать свои изобретения. Майор Блейр лишь в шутку демонстрировал раза два свои летательные аппараты, самое же главное скрывал в ущельях Уэллса. Обычно изобретателю мешает отсутствие капитала — важнее открыть миллионера, чем новый закон науки. Но в данном случае помешал бы именно миллионер, неотделимый от рекламы и совершенно неспособный к смирению и неизвестности. Что еще важнее, успех Блейра обнажил ошибку, лежащую в основе коммерции. Мы говорим о конкурирующих сортах мыла, варенья или какао, имея в виду лишь торговое, а не истинное соперничество. Никто не берет двух подопытных покупателей и не кормит их насильно вареньем двух сортов, чтобы

определить по их улыбке, какое лучше. Никто не поит их какао и не смотрит, какой сорт легче выдержать. Оружие действительно спорит друг с другом; и оружие Блейра победило. Однако и это не было главной, самой глубокой причиной успеха.

Все ученые согласны в том, что и Крейн, и Пирс грубо нарушали основные законы стратегии. Они и сами признавали это, одержав очередную победу, но было уже поздно исправлять ошибки. Чтобы понять, в чем тут дело, необходимо остановиться на странных обстоятельствах, сложившихся к тому времени.

Так, например, общепризнана военная роль дорог. Но всякий, кто заметил, что делалось на лондонских улицах начиная примерно с 1924 года, догадается, что понятие «дороги» не так статично и однозначно, как думали римляне. Правительство уже ввело повсюду знакомый нам всем новый материал для покрытия дорог, обеспечив тем самым и удобство путешественников, и благосостояние мистера Хэгга. Поскольку в деле участвовали и некоторые члены кабинета, официальная поддержка была надежно обеспечена. Одно из преимуществ этого материала — то, что его надо полностью сменять каждые три месяца. Случилось так, что как раз к началу восстания все западные и многие лондонские трассы полностью вышли из строя. Это уравнило силы, вернее — дало перевес мятежникам, передвигавшимся по лесам, под прикрытием деревьев. Двигаться с места на место в это время мог только тот, кто тщательно избегал дорог.

Другой пример. Всем известно, что лук — устаревшее оружие; тем обидней, если тебя из него убьют. Когда стреляли из леса, из-за деревьев, лук и стрелы оказались исключительно удобными. С точки зрения механики современное оружие и современные средства передвижения несравненно выгодней и удобней старых. Но механический фактор зависит от фактора морального. Скажем, подвезти изготовленные прежде снаряды было практически невозможно не только из-за дорог, но и потому, что владельцы грузовиков кому-то чего-то недоплатили, и больше никто не хотел им помогать; таким образом, снова все сорвалось из-за нарушенного слова. У мятежников же снабжение было идеальным. С помощью кузнецов и дровосеков они могли производить свое устарелое оружие в неограниченном количестве. Именно в связи с этим капитан Пирс произнес известные слова: «Ружья на деревьях не растут, лук и стрелы — растут».

Самым невероятным, почти легендарным событием стала Битва Луков Господних, обязанная своим названием странному пророчеству знаменитого Уайта, игравшего в этом новом робингудовом войске роль брата Тука. Явившись на переговоры к сэру Хоресу Хантеру, пастору Уайт, если верить слухам, угрожал министру чем-то вроде чуда. Когда тот справедливо указал ему, что лук — устаревшее оружие, он ответил: «Да, устаревшее. Но будут у нас и луки, созданные Самим Господом и годные для Его великих ангелов!»

Для историков в вышеназванной битве есть много неясного, словно над угрюмым ноябрьским днем нависла темная туча. Всякий, кто знает те края, заметил бы, что самый их ландшафт изменился. Лес на фоне неба стал низким и круглым, словно горб. Но по карте там значился просто лес, и, согласно плану, правительственные силы продвигались к нему, не обращая внимания на какие-то нелепые странности.

Тогда и случилось то, чего не смогли описать даже свидетели и участники. Деревья внезапно выросли вдвое, как в страшном сне, словно лес птичьей стаей поднялся с земли и ревущей волной покатил на противника. Те, кто увидел хоть что-то, увидел именно это, а потом уж никто ничего не видел толком, ибо на правительственные войска посыпались с неба камни. Многие верят, что мятежники использовали деревья как пращи или катапульты. Если так оно и было, это значит, что пророчество пастора Уайта осуществилось, завершая ряд осуществившихся нелепиц».

— А знаете, что он мне тогда сказал? — прервал его легко возбудимый пастор.

— Кто и когда? — спросил терпеливый Гуд.

— Этот ваш Хантер, — отвечал священнослужитель. — Ну, про луки.

Оуэн Гуд помолчал и закурил сигарету.

— Да, — сказал он потом. — Знаю. Слава Богу, я лет двадцать с ним встречался. Начал он так: «Я не считаю себя религиозным человеком...»

— Именно! — закричал Уайт, подпрыгивая в кресле. — «Не считаю, но все же, говорит, не утратил благопристойности и вкуса. Я не смешиваю религии с политикой». А я ему сказал: «Оно и видно».

Тут мысли его перескочили на другой предмет.

— Да, кстати, — снова возопил он, — Енох Оутс очень даже смешивает... конечно, религия у него такая... американская. Вот, предлагает мне познакомиться с литовским пророком. Кажется, в Литве началось какое-то движение, хотят образовать Всемирную Крестьянскую Республику, но пока только одна Литва и есть. Этот пророк думает, не подцепить ли Англию, раз уж у нас победили аграрии.

— Ну, что вы все толкуете о Всемирных государствах? — прервал Гуд. — Сказано вам, я за гептархию.

— Как вы не понимаете? — взволнованно обратился к пастору бывший аэронавт. — Что у нас общего со всемирными республиками? Англию мы можем перевернуть вверх дном, но мы любим именно ее, хотя бы и в перевернутом виде. Да сами наши обеты, сами поговорки никто никогда не переведет. Англичанин кланется съесть шляпу, испанец и не думает жевать сомбреро. Темзу поджечь можно, Тибр или Ганг — нельзя, потому что об этом и не помышляют в соответствующих странах. Стоит ли

говорить французу про белых слонов? Никто не размышляет о том, летают ли чехословацкие свиньи и прыгают ли через луну югославские коровы. То, что по-английски шутка, может оказаться по-литовски настоящей, истинной бессмыслицей.

— У нас все началось с шуток, — сказал Оуэн Гуд, глядя на серые и серебряные кольца дыма, тянущиеся от его сигареты к небу, — ими и кончится. Рассказы о нас станут довольно смешными легендами, если не исчезнут совсем, и никто никогда не примет их всерьез. Они развеются, как вот этот дымок, покружившись немного в воздухе. Догадается ли хоть один из тех, кто улыбнется им или зевнет над ними, что нет дыма без огня?

Никто не ответил. Потом полковник Крейн встал и серьезно попрощался с хозяйкой. Начинало смеркаться, и он знал, что жена его, известная художница, уже собирается домой из студии. Он всегда старался быть в доме к ее приходу, но на сей раз все же зашел на минутку в огород, где слуга его, Арчер, стоял, опираясь на лопату, как стоял до потопа.

Постоял в огороде и полковник. Тихоокеанский идол был все там же, чучело по-прежнему носило цилиндр, а капуста была такая же зеленая и весомая, как в то утро, когда начал меняться мир.

— Хилари прав, — сказал Крейн. — Иногда разыгрываешь притчу, сам того не зная. Я и сам не знал, что делал, когда выкопал тот кочан. Я и не знал, что страдаю ради символа. А вот дожил, увидел Британию в капустной короне! Легко сказать, «правь морями» — она не умела править собственной землей. Но пока есть капуста, есть надежда. Арчер, друг мой, вот вам мораль: страна, которая думает обойтись без капусты, добром не кончит.

— Да, сэръ, — почтительно проговорил Арчер. — Выкопать еще кочанчик?

Полковник вздрогнул.

— Нет, спасибо, — поспешно сказал он. — Революция еще туда-сюда, но этого бы я снова не вынес.

Обогнув дом, он увидел, что окна светятся теплым светом, и пошел в комнату, к жене.

Арчер остался в саду один, чтобы все как следует прибрать и доделать, и одинокая его фигура становилась все темнее по мере того, как закат и сумерки спускались на землю серым покровом с малиновой каймой. Окна — уже освещенные, но еще открытые — украшали газон и дорожки золотым узором. Быть может, Арчеру и подобало остаться в одиночестве, ибо только он не изменился среди перемен. Быть может, ему не случайно довелось стоять черным силуэтом на фоне сияющего сумрака, ибо его невозмутимая респектабельность была таинственной мятежа. Ему предлагали и сад, и ферму, но он не желал приноравливаться к новому миру и, нарушая законы эволюции, не спешил вымирать. Он был пережитком и выказывал странную склонность к выживанию.

Вдруг одинокий садовник обнаружил, что он в саду не один, — над изгородью горели отрешенные голубые глаза. Многие заметили бы, что неожиданный гость чем-то похож на Шелли. Арчер такого поэта не знал, но гостя узнал, ибо тот был другом его хозяина.

— Простите, если ошибусь, — с трогательной серьезностью сказал Хилари Пирс. — Я все думаю, в чем тайна вашей неподвижности. Быть может, вы — божество садов, прекраснее вон того идола и благопристойнее Приапа? Быть может, вы — Аполлон, служащий Адмету, и успешно... да, очень успешно скрывающий свои лучи? — Он подождал ответа, не дождался и заговорил тише: — А может быть, ваши стрелы попадают не в голову, а в сердце, сеют не смерть, а жизнь, расцветают деревцами, как ростки, которые вы сажаете в саду? Не вы ли ранили нас, одного за другим, пробуждая любовью к мятежу? Я не назову вас Амуром, — и виновато, и чопорно сказал он, — не назову Амуром, Арчер, потому что вы не языческий бог, а тот, просветленный, одухотворенный, почти христианский Амор, которого знали Чосер и Боттичелли. Ведь это вы в геральдических одеждах трубили в золотую трубу, когда Беатриче кивнула Данте? Ведь это вы дали каждому из нас *Vita Nova*?¹

— Нет, сэр, — отвечал Арчер.

* * *

Так летописец подошел к концу темных и бесплодных своих трудов, не дойдя, однако, до начала. Вероятно, читатель надеялся, что эта повесть, подобно мирозданию, объяснит, когда окончится, зачем же она была создана. Но собственный труд сломил его, он заснул, а летописец слишком вежлив, чтобы его спросить, не узнал ли он разгадки во сне. Летописец не знает, крепко ли он спал и видел ли что-нибудь, кроме крылатых башен или белых храмов, шагающих по лугам сквозь сумерки, или свиней, подобных херувимам, или пламенной реки, текущей во тьму. Образы нелепы и ничего не значат, если не тронули сердца, а летописец недалек, но все же не станет защищать своих видений. Он пустил стрелу наугад, и не думает смотреть, попала она в ствол дуба или в сердце друга. Лук у него игрушечный; а когда мальчик стреляет из игрушечного лука, трудно найти стрелу, не говоря о мальчике.

¹ Новую жизнь (*лат.*).

ЧЕЛОВЕК О ДВУХ БОРОДАХ

Эту историю отец Браун рассказал профессору Крейку, прославленному криминалисту, после обеда в клубе, на котором их представили друг другу как людей с одинаковым безобидным хобби, имеющим прямое отношение к убийствам и грабежам. Поскольку отец Браун значительно преуменьшил свою роль в изложенных ниже событиях, мы излагаем их более беспристрастно. Разговор начался с шутливой перепалки, в которой рассуждения ученого были строго научными, а высказывания священника — весьма скептическими.

— Милостивый государь, — негодовал профессор, — разве вы не считаете криминалистику наукой?

— Я просто не уверен... — отвечал отец Браун. — А вы считаете наукой агиографию?

— Что это такое? — резко спросил профессор.

— Обычно ее путают с географией, — улыбаясь, сказал священник. — Но это — наука о праведниках, о святых. Видите, темный век попытался создать науку о хороших людях, наш же, гуманный и просвещенный, интересуется только людьми плохими. По-моему, опыт показал, что убийцами бывали самые разные люди.

— Ну, мы считаем, что убийц можно неплохо классифицировать, — заметил Крейк. — Список длинный и скучный, но, мне кажется, исчерпывающий. Во-первых, все убийства можно подразделить на сознательные и бессознательные, и сначала мы займемся последними, поскольку они значительно реже встречаются. Существует такая вещь, как мания убийства, тяга к кровопролитию. Существует и бессознательная антипатия, хотя к убийству она приводит крайне редко. Теперь перейдем к убийству с реальными мотивами, но сперва отметим, что некоторые из них не вполне осознанны, другие же — романтичны и окрашены фантазией. Чистая месть — это месть безнадежная. Влюбленный убивает соперника, которого ему не удалось вытеснить; мятежник убивает тирана после того, как тот победил и поработил его.

Однако подобные действия диктуются и сознательной надеждой, и тогда убийства мы должны причислить к другому, обширному разряду: «сознательные преступления». Они, в свою очередь, подразделяются на два вида. Человек убивает, чтобы украсть или унаследовать то, чем владеет другой, либо предотвратить то или иное действие. Сюда же отнесем убийство шантажиста или политического противника, а также устранение с пути более пассивного препятствия — жены или мужа, которые нам мешают. Мне кажется, это довольно тщательно разработанная классификация, она охватывает все случаи, если ею правильно пользоваться. Боюсь, однако, что она показалась вам очень скучной. Надеюсь, что не слишком утомил вас.

— Нисколько, — возразил отец Браун. — Простите меня, если я показался несколько рассеянным; дело в том, что я думал о человеке, которого знал когда-то. Он был убийцей, но я не могу определить его место в вашем музее. Он не был ни сумасшедшим, ни монотаном. Он не испытывал ненависти к человеку, которого убил, и, едва зная его, не имел причин для мести. Убитый не обладал ничем, чего мог бы пожелать убийца. Он убийце не мешал и помешать не мог; он не мог даже хоть как-то повлиять на него. В дело не замешана женщина. В дело не замешана политика. Человек убил ближнего, которого фактически не знал, и убил по весьма странной причине. Возможно, это единственный случай на свете.

И отец Браун непринужденно рассказал эту историю. Пусть она начнется на вполне респектабельном фоне — за завтраком, в доме достойной, хотя и богатой семьи Бенкс, в тот момент, когда обычное обсуждение газеты прервали толки о таинственном событии в их округе. Таких людей иногда обвиняют в том, что они сплетничают о своих ближних; однако именно о самых ближних они не знают ничего. Сельские жители рассказывают о своих соседях правдивые и выдуманные истории; но любопытные обитатели современного пригорода верят всему, что говорится в газетах о безнравственности римского папы или о страданиях царька тихоокеанских островов, и взволнованные этими сообщениями, совершенно не представляют себе, что происходит в соседнем доме. Однако в данном случае две разновидности сплетен совпали, и от этого совпадения просто дух захватывало. Дело в том, что их пригород упомянули в их любимой газете, и это как бы подтвердило их собственное существование. Можно было подумать, будто до этого они были невидимы и неосязаемы и только теперь стали так же подлинны, как многострадальный царек.

В газете сообщалось, что некогда знаменитый преступник, известный под именем Майкла-Лунатика, а также под множеством других имен, ему не принадлежащих, недавно отбыл длительный срок заключения за многочисленные кражи со взломом. Сообщалось также, что он, по всей видимости, поселился в при-

городе, о котором идет речь и который мы для удобства назовем Чишем. В газете были также перечислены самые известные и дерзкие подвиги и побег. Надо сказать, что для таких газет, адресованных таким читателям, характерна непоколебимая уверенность в том, что читатели эти начисто лишены памяти. Крестьянин веками помнит Робин Гуда или Роб Роя; клерк вряд ли вспомнит имя преступника, о котором спорил в трамвае и метро два года назад.

Однако грабитель, прозванный Лунатиком, действительно чем-то напоминал о геройских приключениях Роб Роя и Робин Гуда. Он был достоин того, чтобы обратиться в легенду, а не просто в газетные новости. Он был слишком одаренным взломщиком, чтобы стать убийцей. При его огромной физической силе и при той легкости, с которой он сбивал полисменов, как кегли, он никогда никого не убивал, только оглушал людей, связывал их и затыкал им рот; а это внушало страх и окутывало тайной его образ. Казалось даже, что он был бы больше похож на простого смертного, если бы убивал.

Мистер Саймон Бенкс, отец семейства, крепкий человек с седой бородкой и лицом, покрытым морщинами, был начитаннее и старомоднее остальных. Он питал склонность к жизнеописаниям и мемуарам и отчетливо помнил те времена, когда лондонцы лежали по ночам, прислушиваясь к шагам Майкла, как они прислушиваются теперь к шагам Джека Быстроногого. Была здесь и его жена, худая смуглая дама, одетая с какой-то язвительной элегантностью. Ее семья могла похвастать гораздо большим состоянием, чем семья мужа (хотя и гораздо меньшим образованием), и сама она владела дорогим изумрудным ожерельем, хранившимся наверху, что давало ей право на ведущую роль в разговоре о ворах. Была здесь и дочь по имени Опал, тоже худая и смуглая, но одаренная духовидением; во всяком случае, она сама так считала, родные же ее не особенно поддерживали. Пламенно-потусторонним душам благоразумнее не материализоваться в большой семье. Был здесь и брат ее Джон, рослый молодой человек, который особенно шумно демонстрировал полное безразличие к ее общению с духами. Не считая этого, его интересовали только автомобили. Создавалось впечатление, будто он вечно продает одну машину и покупает другую, причем по какому-то закону, который вряд ли смог бы объяснить ученый экономист, всегда ухитрялся купить гораздо лучший автомобиль, продав поврежденный или устаревший. Был здесь и другой брат, Филип, молодой человек с темными волнистыми волосами, отличавшейся повышенным вниманием к своему туалету. Несомненно, это входит в число обязанностей биржевого клерка; однако, как порой намекал его хозяин, они этим не ограничиваются. И, наконец, за столом сидел его друг Дэниел Девайн, тоже темноволосый и изысканно одетый, но с бородкой, подстриженной по иностранной моде и потому внушавшей легкое опасение.

Именно Девайн завел разговор о газетной статье, тактично прибегнув к столь действенному способу, чтобы предотвратить семейную ссору, назревавшую из-за того, что юная духовидица начала описывать бледные лица, проплывавшие в ночи у нее за окном, а Джон Бенкс еще более бурно, чем обычно, откликнулся на это откровение потустороннего мира.

Упоминание о новом и, возможно, небезопасном соседстве довольно быстро отвлекло обоих спорщиков.

— Какой ужас! — воскликнула миссис Бенкс. — Наверно, он совсем недавно приехал. Кто бы это мог быть?

— Я не припомню, чтобы кто-нибудь приехал совсем недавно, — отозвался ее муж, — разве что сэр Леопольд Пулмен в Бичвуд-Хаусе.

— Мой дорогой, — отвечала жена, — какие нелепости ты говоришь! Сэр Леопольд!.. — она помолчала и добавила: — Вот если бы кто-нибудь сказал, что это его секретарь — тот, с бакенбардами... Я всегда говорила, с тех пор, как его взяли на место, которое должен был получить Филип...

— Ничего не поделаешь, — томно сказал Филип, единственный раз вступивший в беседу. — Да и место так себе.

— Единственный, кого я знаю, — заметил Девайн, — это человек по фамилии Карвер, который поселился на ферме у Смита. Он ведет очень спокойную жизнь, но с ним интересно побеседовать. Кажется, у Джона были с ним какие-то дела.

— Немного разбирается в автомобилях, — признал одержимый одной страстью Джон. — Будет разбираться еще лучше, когда прокатится в моей новой машине.

Девайн слегка улыбнулся — все уже побывали под этой угрозой — и заметил:

— Вот странно! Он хорошо разбирается в автомобильном спорте, в путешествиях, вообще — в живых занятиях, а сам вечно сидит дома и возится с ульями старого Смита. Говорит, он интересуется только пчелами, потому и живет на пасеке. Мне кажется, это слишком спокойное хобби для такого человека. Однако не сомневаюсь, что твоя машина немного встряхнет его.

Когда в тот вечер Девайн возвращался от Бенксов, его смуглое лицо выражало сосредоточенное раздумье. Возможно, эти мысли и заслуживают нашего внимания, однако отметим лишь, что под их влиянием он решил нанести безотлагательный визит мистеру Карверу, жившему у мистера Смита. Идя в этом направлении, он встретил Бернарда, долговязого секретаря из Бичвуд-Хауса, с большими бакенбардами, которые миссис Бенкс воспринимала как личное оскорбление. Молодые люди были едва знакомы, беседа была краткой и случайной; однако Девайн, по-видимому, почерпнул в ней пищу для дальнейших размышлений.

— Простите, что я спрашиваю, — неожиданно сказал он, — но правда ли, что у леди Пулмен есть какие-то знаменитые

драгоценности? Я не профессиональный вор, но я как раз слышал, что тут один околачивается.

— Я предупрежу, чтобы она за ними присмотрела, — ответил секретарь. — По правде говоря, я уже позволил себе предостеречь ее. Надеюсь, что она позаботится о них.

В этот момент позади раздался кошмарный вой автомобильной сирены, и около них остановилась машина, за рулем которой восседал сияющий Джон Бенкс. Когда он услышал, куда направляется Девайн, он заметил, что ехал туда же, однако, судя по его тону, он просто не мог отказать себе в удовольствии и должен был подвести кого-нибудь. Пока они ехали, он непрерывно хвалил машину, главным образом — за то, что ее можно приспособить к любой погоде.

— Закрывается плотно, как коробка, — говорил он, — а открывается легко — ну, скажем, как рот.

Однако в данный момент рот Девайна не так уж легко открывался, и они подъехали к ферме Смита под неумолчный монолог. Пройдя через ворота, Девайн сразу же нашел того, кого искал. По саду, заложив руки в карманы, прогуливался длиннотлицый человек с крупным подбородком, в большой мягкой соломенной шляпе. Тень, падавшая от ее широких полей на верхнюю часть лица, слегка походила на маску. На заднем плане виднелся ряд освещенных солнцем ульев, вдоль которых прохаживался другой человек, плотный, по-видимому, мистер Смит, и еще один, низенький, неприметный, в черном одеянии священника.

— Послушайте! — вскричал неугомонный Джон, не дав Девайну поздороваться. — Я пригнал ее, чтобы вас прокатить. Вот увидите, она лучше, чем «молния»!

Губы мистера Карвера сложились в улыбку, которая, по-видимому, была любезной, но выглядела довольно мрачно.

— Боюсь, что сегодня вечером мне не до развлечений, хлопот по горло.

— «Как хлопотливая пчела», — продекламировал Девайн. — Должно быть, ваши пчелы очень хлопотливы, раз они не отпускают вас весь вечер. А вот скажите мне...

— Да? — произнес Карвер с каким-то холодным вызовом.

— Говорят, что надо косить сено, пока солнце светит, — продолжал Девайн. — Может быть, вы собираете мед, пока светит луна?

В тени широкополой шляпы что-то сверкнуло — должно быть, глаза Карвера.

— Может, тут и не обходится без лунного света, — промолвил он, — но помните, мои пчелы не только дают мед — они жалят.

— Так вы поедете в машине? — нетерпеливо спросил переминавшийся с ноги на ногу Джон. Но хотя в Карвере не осталось и тени зловещей многозначительности, окрасившей ответы Девайну, он вежливо, но решительно отказался.

— По-видимому, я не смогу поехать, — ответил он. — Надо написать много писем. Может быть, вы будете так любезны

прокатить кого-нибудь из моих друзей, если уж вам нужен компаньон. Это мистер Смит и отец Браун.

— Конечно! — воскликнул Бенкс. — Пускай все едут!

— Большое спасибо, — ответил отец Браун. — Боюсь, что я не смогу: через несколько минут мне надо уходить.

— Тогда возьмите Смита, — сказал Карвер почти нетерпеливо. — Смотрите, он жаждет прокатиться.

Смит широко ухмылялся и, по всей видимости, не жаждал ничего. Это был деятельный маленький старичок в очень откровенном парике — одном из тех париков, которые ничуть не более естественны, чем шляпа. Желтый оттенок искусственных волос не вязался с бледностью лица.

— Помню, — сказал Смит с каким-то благодушным упрямством, — ехал я по этой дороге десять лет назад в одной из таких штук. Возвращался от сестры, из Холмгейта, а с тех пор ни разу не ездил тут в машине. Ну и тряска была, скажу я вам!

— Десять лет назад! — насмешливо воскликнул Джон. — Две тысячи лет тому назад ездили в повозках, запряженных волами. Вы думаете, автомобили не изменились за десять лет? А дороги? В моей машине даже не чувствуешь, как вращаются колеса. Кажется, что летишь по воздуху.

— Я уверен, что Смит очень хочет полетать, — сказал Карвер. — Это мечта его жизни. Поезжайте в Холмгейт, Смит, навстите сестру. Да вы просто обязаны с ней повидаться! Поезжайте и оставайтесь на ночь, если хотите.

— Ну, обычно я добираюсь пешком и потом остаюсь ночевать, — сказал старый Смит. — Не стоит из-за этого затруднять молодого человека.

— Вы только представьте себе, как обрадуется ваша сестра, если вы прикатите на машине! — воскликнул Карвер. — В самом деле, надо поехать. Не будьте таким эгоистом.

— Вот именно, — с бодрой благожелательностью подхватил Бенкс. — Не будьте таким эгоистом. Машина вас не укусит. Вы же не боитесь ее, а?

— Ну что ж, — сказал Смит, задумчиво моргая. — Я не хочу быть эгоистом и думаю, что не боюсь.

И они отъехали вдвоем под приветственные взмахи и возгласы, благодаря которым маленькая группа казалась целой толпой. Однако и Девайн, и священник, присоединившиеся к этой церемонии из вежливости, почувствовали, что именно выразительный жест хозяина придал ей законченный характер. И им показалось, что он умеет себе подчинить; что ему трудно противиться.

Когда автомобиль скрылся из виду, Карвер повернулся к ним и порывисто, как бы извиняясь, промолвил:

— Ну вот! — Он произнес это с той занятой сердечностью, которая являет оборотную сторону гостеприимства. Такое радужие равносильно намеку на то, что пора и честь знать.

— Мне надо идти,— сказал Девайн. — Не будем мешать хлопотливой пчеле. К сожалению, я очень мало знаю о пчелах— порой с трудом отличаю пчелу от осы.

— Я разводил и о с , — ответил таинственный Карвер.

Когда гости прошли по улице несколько ярдов, Девайн, сам не зная почему, обратился к своему спутнику:

— Довольно странная сцена, вам не кажется?

— Да , — ответил отец Браун. — А вам что кажется?

Девайн взглянул на низенького человека в черном, и в его больших серых глазах вновь что-то сверкнуло.

— Мне кажется,— сказал он , — что Карвер всеми силами старался остаться сегодня вечером один в доме. А у вас подозрения не возникли?

— Возможно, и возникли,— ответил священник, — но я не уверен, что они совпадают с вашими.

Когда в тот вечер в саду, окружавшем особняк, совсем сгустились сумерки, Опал Бенкс бродила по темным пустым комнатам еще отрешенней, чем всегда. Если бы кто-нибудь взглянул на нее внимательно, то заметил бы, что ее обычная бледность усилилась. Несмотря на буржуазную роскошь дома, от него веяло унынием, той безотчетной грустью, которую вызывают не старинные, а старые вещи. В доме царили устаревшие моды, а не исторические стили; он был полон предметов настолько недавнего рисунка, что сразу видно было, как они старомодны. То здесь, то там в сумерках поблескивало цветное стекло; комнаты казались узкими из-за высоких потолков, а в конце гостиной, по которой она проходила, было одно из тех круглых окон, которые встречаются в зданиях этой поры. Дойдя примерно до середины комнаты, Опал остановилась и слегка покачнулась, как будто ее ударила по лицу невидимая рука.

Через минуту раздался стук в парадную дверь, приглушенный вторыми, закрытыми дверями. Она знала, что домочадцы на втором этаже, но вряд ли смогла бы объяснить, что побудило ее открыть дверь самой. На пороге стоял приземистый обтрепанный человечек, в котором она узнала католического священника по фамилии Браун. Она не была с ним близко знакома, но он ей нравился. Он ничуть не поддерживал ее точку зрения на духов, но он не отмахивался и не смеялся, а серьезно с ней спорил. Можно сказать, что он сочувствовал ее взглядам, но не соглашался с ними. Все эти мысли пронеслись у нее в голове, когда она сказала, не поздоровавшись и не выслушав его самого:

— Как хорошо, что вы пришли! Я видела привидение.

— Не стоит расстраиваться,— ответил он . — Это часто бывает. Большинство привидений— вовсе и не привидения, а те немногие, которые, возможно, и подлинны, совершенно безобидны. Ваше привидение какое-нибудь особенное?

— Нет,— сказала она, и ей стало легче. — Дело не столько в нем самом... Понимаете, атмосфера была очень страшная... как

будто все разлагается, гниет. Я увидела лицо в окне. Бледное, с выпученными глазами, совсем как у Иуды.

— Ну что ж, бывают люди с такой внешностью, — задумчиво произнес священник, — и иногда они заглядывают в окна. Можно мне посмотреть, где это произошло?

Однако когда она вернулась в комнату, там уже собрались другие члены семейства, которые, будучи менее склонны к общению с духами, зажгли свет. В присутствии миссис Бенкс отец Браун вспомнил об общепринятых условностях и извинился за вторжение.

— Боюсь, что слишком бесцеремонно ворвался в ваш дом, миссис Бенкс, — сказал он. — Мне очень трудно объяснить, каким образом то, что произошло, касается вас. Я только что был у Пулменов, и вдруг мне позвонили и попросили прийти сюда, чтобы встретиться с человеком, который должен сообщить вам новость, возможно, для вас интересную. Я бы не пришел сюда, если бы не был нужен как свидетель событий в Бичвуд-Хаусе. Фактически именно мне пришлось поднять тревогу.

— Что случилось? — спросила хозяйка.

— Бичвуд-Хаус ограбили, — серьезно сказал отец Браун. — Что хуже всего, исчезли драгоценности леди Пулмен, а ее несчастный секретарь, мистер Бернارد, найден в саду. Очевидно, его застрелил убегающий взломщик.

— Это тот человек! — воскликнула хозяйка. — Наверно, он... — Тут она встретила печальный взгляд священника и замолчала, сама не понимая почему.

— Я связался с полицией, — продолжал он, — и с другими властями, для которых это дело представляет интерес. Они говорят, даже при первом осмотре удалось обнаружить следы и отпечатки пальцев и другие приметы известного преступника.

В этот момент беседу на минуту прервало появление Джона Бенкса, вернувшегося после неудавшейся поездки. Судя по всему, старый Смит оказался неважным пассажиром.

— Струсил в последнюю минуту, — объяснил он с негодованием. — Удрал, пока я осматривал проколотую шину. В жизни больше не свяжусь с этими деревенскими простофилями...

Но жалобам не вняли, ибо в центре внимания был отец Браун и его новость.

— Сейчас явится человек, который снимет с меня ответственность, — продолжал священник все с той же значительной сдержанностью. — Когда вы встретитесь с ним, мой долг свидетеля будет выполнен. Мне остается сказать, что служанка в Бичвуд-Хаусе видела лицо в одном из окон.

— Я видела лицо в одном из наших окон, — сказала Опал.

— А, ты вечно видишь лица, — обрезал ее брат Джон.

— Не так уж плохо видеть факты, даже если это лица, — спокойно сказал отец Браун. — Я полагаю, что лицо, которое вы видели...

Снова раздался стук в парадную дверь, и через минуту на пороге появился человек, при виде которого Девайн привстал со стула.

Он был высокий, прямой, с длинным бледным лицом и тяжелым подбородком. Огромный лоб и живые синие глаза Девайн плохо разглядел днем из-за широкополой соломенной шляпы.

— Прошу вас, не вставайте, — отчетливо и учтиво произнес Карвер, но во взбудораженном мозгу Девайна эта учтивость обрела зловещее сходство с учтивостью бандита, направившего на вас пистолет.

— Сядьте, пожалуйста, мистер Девайн, — сказал Карвер, — и, с позволения миссис Бенкс, я последую вашему примеру. Я должен объяснить свой приход. По-видимому, вы подозревали, что я — знаменитый взломщик.

— Подозревал, — мрачно ответил Девайн.

— Как вы заметили, — сказал Карвер, — не всегда легко отличить осу от пчелы.

После паузы он продолжал:

— Что до меня, я — одно из более полезных, хотя и в равной степени несносных насекомых. Я сыщик и сюда пришел, чтобы выяснить, не возобновил ли свою деятельность преступник, именующий себя Майклом-Лунатиком. Он специализировался на краже драгоценностей, а сейчас обокрали Бичвуд-Хаус, и, судя по анализам, это его работа. Дело не только в отпечатках пальцев, но и в маскировке — той самой, которой он пользовался, когда был арестован последний раз, а также, по-видимому, и в других случаях. Вы, наверно, слышали об этой простой, но удачной выдумке: он надевал рыжую бороду и большие очки в роговой оправе.

Опал Бенкс в ужасе рванулась вперед.

— Это оно! — вскричала она. — Это лицо, которое я видела! Большие очки, рыжая косматая борода, как у Иуды. Я думала, что это привидение.

— Такое самое привидение видела служанка в Бичвуд-Хаусе, — сухо сказал Карвер.

Он положил какие-то бумаги и свертки на стол и начал их бережно разворачивать.

— Как я сказал, — продолжал он, — меня прислали сюда для того, чтобы разузнать о преступных планах Майкла-Лунатика. Вот почему я заинтересовался пчелами и поселился у мистера Смита.

Воцарилось молчание, и затем Девайн промолвил:

— Вы действительно хотите сказать, что этот милый старичок...

— Считали же вы, мистер Девайн, — улыбнулся Карвер, — что улей моя ширма. Почему бы и ему не выбрать такую?

Девайн мрачно кивнул, и сыщик склонился к своим бумагам.

— Я подозревал Смита и хотел без него осмотреть его вещи. Поэтому я поддержал любезное предложение Бенкса. Обыскивая

дом, я обнаружил кое-какие любопытные предметы, которые странно видеть в доме престарелого сельского жителя, интересующегося только пчелами. Вот один из них.

Из развернутого пакета он извлек длинный волосатый предмет почти алого цвета — такие бутафорские бороды носят в любительских спектаклях. Рядом с ней лежали тяжелые очки в роговой оправе.

— Но я наткнулся на одну вещь, которая имеет более непосредственное отношение к этому дому и оправдывает мое сегодняшнее вторжение. Это записка. В ней указаны названия и предположительная стоимость драгоценностей, владельцы которых живут в вашей местности. Сразу же после тиары леди Пулмен стоит изумрудное ожерелье миссис Бенкс.

Миссис Бенкс, которая до сих пор созерцала нашествие посетителей в надменном замешательстве, при этих словах насторожилась. Ее лицо сразу постарело лет на десять и стало гораздо осмысленнее. Но не успела она вымолвить и слова, как Джон стремительно поднялся во весь рост.

— Тиара уже пропала! — взревел он, как с л о н . — А ожерелье? Посмотрим, что с ожерельем!

— Неплохая м ы с л ь , — сказал Карвер, когда он ринулся из комнаты. — Хотя мы, разумеется, держим ухо востро. Я не сразу расшифровал записку, и когда я заканчивал, позвонил Браун из Бичвуд-Хауса. Я попросил его поспешить сюда и сказать, что последую за ним, а...

Его речь была прервана воплем. Поднимаясь со стула, Опал указывала на круглое окно.

— Вот он, опять! — кричала она.

На какое-то мгновение всем им представилась картина, снятая с мисс Опал обвинения во лжи и истерии, часто возводившиеся на нее. Лицо, вынырнувшее из синей мглы за окном, было бледным или, возможно, побледнело из-за того, что оно прижалось к стеклу, а большие пристальные глаза, окруженные кольцами, придавали ему сходство с рыбой, заглядывающей из темно-синего моря в иллюминатор корабля. Жабры или плавники этой рыбы были медно-красными. В следующую секунду лицо исчезло.

Девайн одним махом очутился у окна, и тут раздался истошный крик, покачнувший весь дом. Он был настолько оглушительен, что слова слились воедино; однако, услышав его, Девайн понял, что случилось.

— Ожерелье исчезло, — заорал, появившись в дверях, запыхавшийся Джон Бенкс и тотчас же исчез сам, рванувшись, как идущий по следу пес.

— Вор только что был у окна! — крикнул сыщик, устремившись в сад за неистовым Джоном.

— Будь осторожен! — причитала хозяйка. — У них пистолеты!..

— У меня т о ж е , — прогремел голос неустрашимого Джона из темных глубин сада.

Девайн заметил, когда молодой человек пробежал мимо него, что тот вызывающе размахивает револьвером, и от всего сердца пожелал, чтобы это оружие не пришлось пустить в ход. Не успел он это подумать, как раздались два выстрела, вспугнувшие бешеную стаю отзвуков в тихом пригородном саду.

— Джон умер? — спросила Опал тихим, дрожащим голосом.

Отец Браун, который продвинулся дальше в темноту и стоял к ним спиной, глядя вниз, ответил ей:

— Нет, это другой.

К нему подошел Карвер, и какое-то время два человека, высокий и низенький, заслоняли картину, освещенную мерцающим и тревожным светом луны. Когда они отошли в сторону, все увидели маленькую сухую фигурку, которая лежала, выгнувшись как бы в последнем усилии. Фальшивая красная борода торчала вверх, насмешливо указуя в небо, а лунный свет играл в больших бутаторских очках человека, которого прозвали Лунатиком.

— Какой конец... — бормотал сыщик Карвер. — После всех его приключений застрелили в пригородном саду, чуть ли не случайно, и кто? Биржевой маклер...

Маклер, естественно, относился к своей победе с большей торжественностью, хотя и с некоторым беспокойством.

— Ничего не поделаешь... — проговорил он, все еще дыша с т р у д о м. — Мне очень жаль. Он стрелял в меня.

— Конечно, будет следствие, — мрачно сказал Карвер. — Но полагаю, вам не о чем беспокоиться. В пистолете, выпавшем у него из рук, не хватает одного патрона; конечно, он не мог стрелять после вас.

К этому времени они снова собрались в комнате, и сыщик сворачивал свои бумаги, готовясь уйти. Отец Браун стоял напротив него, глядя на стол в мрачном раздумье. Затем он внезапно заговорил:

— Мистер Карвер, вы блестяще распутали это сложное дело. Я, признаться, догадывался о ваших занятиях, но не ожидал, что вы так быстро все свяжете — пчел, и бороду, и очки, и шифр, и ожерелье, словом, все.

— Всегда испытываешь удовлетворение, когда доводишь дело до конца, — сказал Карвер.

— Да, — отозвался отец Браун, все еще созерцая стол. — Я просто восхищен. — И добавил смиренно, почти испуганно: — Справедливости ради надо сказать, что я не верю ни единому слову.

Девайн наклонился вперед, неожиданно заинтересовавшись:

— Вы не верите, что это взломщик Лунатик?

— Я знаю, что он взломщик, но этого ограбления он не совершал, — отвечал отец Браун. — Я знаю, что он не приходил сюда, ни в тот большой особняк, чтобы похитить драгоценности и умереть. Где драгоценности?

— Там, где они обычно бывают в таких случаях, — ответил Карвер. — Он или спрятал их, или передал сообщнику. Это ограбление совершено не одним человеком. Разумеется, мои люди обыскивают сад...

— Может быть, — предположила миссис Бенкс, — сообщник украл ожерелье, когда он заглядывал в окно?

— А почему он заглядывал в окно? — спокойно спросил отец Браун. — Зачем ему понадобилось заглядывать в окно?

— Ну, а вы как считаете? — бодро воскликнул Джон.

— Я считаю, — сказал отец Браун, — что ему вовсе и не понадобилось заглядывать в это окно.

— Тогда почему он заглянул? — спросил Карвер. — Какой смысл в таких голословных утверждениях? Все это разыгрывалось на наших глазах.

— На моих глазах разыгрывалось много вещей, в которые я не верил, — ответил священник. — Как и на ваших — в театре, например.

— Отец Браун, — проговорил Девайн, и в голосе его послышалось почтение, — не расскажете ли вы нам, почему вы не верите собственным глазам?

— Попытаюсь рассказать, — мягко ответил священник. — Вы знаете, кто я такой и кто мы такие. Мы не очень надоедаем вам. Мы стараемся быть друзьями всем нашим ближним. Но не думайте, что мы ничего не делаем. Не думайте, что мы ничего не знаем. Мы не вмешиваемся в чужие дела, но мы знаем тех, кто нас окружает. Я очень хорошо знал покойного — я был его духовником и другом. Когда сегодня он отъезжал от своего сада, я видел его душу так ясно, насколько это дано человеку, и душа его была, как стеклянный улей, полный золотых пчел. Сказать, что его перерождение искренне, — значит не сказать ничего. Это был один из тех великих грешников, чье раскаяние приносит лучшие плоды, чем добродетель многих других. Я сказал, что был его духовником, однако на самом деле это я ходил к нему за утешением. Общество такого хорошего человека приносило мне пользу. И когда я увидел, как он лежит в саду мертвый, мне послышалось, что над ним звучат удивительные слова, произнесенные давным-давно. И они действительно могли бы прозвучать, ибо, если когда-нибудь человек попадал прямо на небо, это был он.

— А, черт, — нетерпеливо сказал Джон Бенкс. — В конце концов, он всего-навсего осужденный вор.

— Да, — ответил отец Браун, — и в этом мире только осужденный вор услышал: «Нынче же будешь со мною в раю».

Все почувствовали себя неловко в наступившей тишине, и Девайн резко сказал:

— Как же вы объясните все это?

Священник покачал головой.

— Пока я еще не могу объяснить, — ответил он просто. — Я заметил несколько странностей, но они мне неясны. У меня еще

нет никаких доказательств, я просто знаю, что он невиновен. Но я абсолютно уверен в своей правоте.

Он вздохнул и протянул руку за большой черной шляпой. Взяв ее, он остановился, по-новому глядя на стол и склонив набок круглую голову. Можно было подумать, что из его шляпы, как из шляпы фокусника, выскочило диковинное животное. Но другие не увидели на столе ничего, кроме документов сыщика, безвкусной бутафорской бороды и очков.

— Боже мой! — пробормотал отец Браун. — Ведь он лежит в саду мертвый, в бороде и в очках!

Вдруг он повернулся к Девайну:

— Вот за что можно ухватиться, если хотите! Почему у него было две бороды?

И он торопливо и, как всегда, неловко вышел из комнаты. Девайн, которого теперь съедало любопытство, последовал за ним в сад.

— Сейчас я еще не могу вам ничего сказать, — говорил отец Браун. — Я не уверен и не знаю, что делать. Заходите ко мне завтра, и, может быть, я вам все расскажу! Возможно, все уже уляжется у меня в голове. Вы слышали шум?

— Это автомобиль, — отвечал Девайн.

— Автомобиль Джона Бенкса, — сказал священник. — Наверно, он очень быстро ездит.

— Во всяком случае, он так думает, — ответил Девайн, улыбаясь.

— Сегодня он будет ехать быстро и уедет далеко, — заметил Браун.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил его собеседник.

— Я хочу сказать, что он не вернется, — отвечал священник. — Из моих слов Джону Бенксу стало ясно, что я что-то знаю. Джон Бенкс уехал, а вместе с ним — изумруды и все драгоценности.

На следующий день Девайн застал отца Брауна, когда тот печально, но умиротворенно прогуливался взад и вперед перед роем ульев.

— Я заговариваю пчел, — сказал он. — Видите ли, кто-то должен заговаривать пчел, «поющих зодчих этих крыш золотых». Какая строка! — и он прибавил отрывисто: — Его бы огорчило, если бы пчелы остались без присмотра.

— Полагаю, его бы огорчило, если бы на людей не обращали никакого внимания, когда они всем роем гудят от любопытства, — сказал молодой человек. — Вы были правы, Бенкс уехал, прихватив драгоценности. Но я не представляю себе, как вы догадались и о чем вообще можно было догадаться.

Отец Браун блаженно прищурился на улы и сказал:

— Бывает, как будто спотыкаешься обо что-то, а в этом деле с самого начала был камень преткновения. Меня озадачило, что в Бичвуд-Хаусе застрелили бедного Бернарда. Ведь даже

когда Майкл был профессиональным преступником, для него было вопросом чести, даже вопросом тщеславия никого не убивать. Мне показалось невероятным, чтобы теперь, почти святым, он совершил грех, который презирал грешником. Над всем остальным я ломал голову до самого конца. Я ничего не мог понять, кроме одного — все это неправда. Затем, с некоторым опозданием, меня осенило, когда я увидел бороду и очки и вспомнил, что вор явился с другой бородой и в других очках. Конечно, у него могли быть запасные, однако по меньшей мере странно, что он не надел ни старые очки, ни старую бороду, которые были в хорошем состоянии. Правда, не исключено, что он вышел без них и ему пришлось доставать новые; но это маловероятно. Ничто не заставляло его ехать с Бенксом; если он действительно собирался совершить ограбление, он легко мог уместить эти принадлежности в кармане. К тому же бороды не растут на деревьях. Ему было бы нелегко быстро их раздобыть. Словом, чем больше я думал об этом, тем больше чувствовал: что-то нечисто с этой новенькой бородой. И тогда до моего сознания начала доходить та истина, которую я уже чувствовал. У него и в мыслях не было уезжать с Бенксом. Он и не думал надевать личину. Кто-то другой заранее смастерил ее и потом надел на него.

— Надел на него! — повторил Де в а й н . — Как же это удалось?

— Вернемся назад, — сказал отец Б р а у н , — и взглянем на вещи через окно, в котором девушка увидела привидение.

— Привидение! — повторил другой, слегка вздрогнув.

— Она назвала его привидением, — спокойно сказал маленький человек, — и, возможно, она не так уж заблуждалась. Она действительно ощущает духовные вещи. Ее единственное заблуждение в том, что она связывает это со спиритизмом. Некоторые животные чувствуют мертвецов... Во всяком случае, у нее болезненная чуткость, и она не ошиблась, почувствовав, что лицо в окне окружено ореолом смерти.

— Вы имеете в виду... — начал Девайн.

— Я имею в виду, что в окно заглядывал мертвец, — ответил отец Б р а у н . — Мертвец бродил вокруг домов и заглядывал не в одно окно. Правда, мороз по коже подирает? Однако это было привидение наоборот: не гротеск души, освобожденной от тела, а гротеск тела, освобожденного от души.

Он снова прищурился на улы и продолжал:

— Мне сдается, самый краткий способ все объяснить — это взглянуть на вещи глазами человека, который это сделал. Вы знаете его. Это Джон Бенкс.

— Вот уж кого я заподозрил бы в последнюю очередь, — сказал Девайн.

— Я заподозрил его в первую очередь, — возразил отец Б р а у н . — Насколько я вообще вправе подозревать человека. Мой друг, нет хороших или плохих социальных типов и профессий.

Любой человек может стать убийцей, как бедный Джон, и любой человек, даже тот же самый, может стать святым, как бедный Майкл. Но есть один социальный тип, представители которого иногда бывают безнравственней, чем другие, и это — довольно неприятный класс дельцов. У них нет социального идеала, не говоря уже о вере; у них нет ни традиций джентльмена, ни классовой чести тред-юниониста. Когда он хвастал выгодными сделками, он ведь хвастал тем, что надул людей. Его насмешки над жалким спиритизмом сестры были отвратительны. Конечно, ее мистицизм — абсолютная чушь, но он не выносил разговоров о духах только потому, что это разговоры о духовном. Во всяком случае, он был театральным злодеем, которого привлекало участие в весьма оригинальной и мрачной постановке. Действительно ново и совершенно необычно использовать труп в качестве реквизита — что-то вроде ужасной куклы или манекена. Когда они ехали, он решил убить Майкла в машине, а потом привезти его домой и притвориться, будто убил его в саду. А фантастические завершающие штрихи возникали у него в мозгу при мысли о том, что у него, в закрытой машине, ночью находится мертвое тело известного взломщика, которого легко можно узнать. Он мог оставить отпечатки его пальцев и следы, мог прислонить знакомое лицо к окну и убрать его. Вспомните, что Майкл «появился» и «исчез», когда Бенкс вышел из комнаты посмотреть, на месте ли изумрудное ожерелье.

И наконец ему осталось только швырнуть труп на лужайку и выстрелить из обоих пистолетов. Никогда бы никто ничего не обнаружил, если бы не две бороды.

— Почему ваш друг Майкл хранил старую бороду? — задумчиво спросил Девайн. — Это кажется мне подозрительным.

— Мне, который знал его, это кажется естественным, — ответил отец Браун. — Все его поведение было как парик, который он носил. Его личина ничего не скрывала. Ему больше не нужна была старая маска, но он ее не боялся, и для него было бы фальшью уничтожить фальшивую бороду. Это было бы все равно что спрятаться, а он не прятался. Он не прятался от Бога, он не прятался от себя. Он был весь на виду. Если бы его снова посадили в тюрьму, он был бы все равно счастлив. Он не обелился, а очистился. В нем было что-то очень странное, почти такое же странное, как гротескный танец смерти, в котором его протащили мертвым. Даже когда он, улыбаясь, прогуливался среди ульев, он был мертв в самом лучезарном и сияющем смысле слова. Он был недосягаем для суждения этого мира.

Они смущенно помолчали, затем Девайн сказал:

— И мы снова возвращаемся к тому, что пчелы и осы очень похожи.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ВОДРИ

Сэр Артур Водри, в светло-сером летнем костюме и своей любимой белой шляпе, которая на его седой голове выглядела слишком смело, бодро прошагал по дороге вдоль реки от своего дома к нескольким домишкам неподалеку, которые были почти что его собственными службами, и там, среди них, вдруг пропал, словно его унесли феи.

Его исчезновение было тем более поразительным, что произошло при самых обыденных и невероятно простых обстоятельствах. Ту горстку домиков даже трудно было бы назвать деревней—это была одна-единственная и до странности ото всего отъединенная улочка. Посреди плоской и открытой равнины цепочкой выстроились всего четыре-пять лавчонок, служивших нуждам соседей—нескольких фермеров да обитателей усадьбы. На углу стояла лавка мясника, у которой, судя по всему, в последний раз и видели сэра Артура. Видели же его там двое молодых людей, тоже из усадьбы: Ивен Смит, исполнявший обязанности его секретаря, и Джон Дэлмон, как считали, жених его воспитанницы. Дальше стоял магазин, который, как часто бывает в деревнях, совмещал самые различные функции: там неприметная пожилая женщина торговала бумагой, клеем, веревками, тростями и сладостями, мячами для гольфа и залежалой галантереей. Следующим был табачный магазин, куда и направлялись те двое молодых людей, когда в последний раз мельком видели своего хозяина перед мясной лавкой. Потом шла обшарпанная портняжная мастерская, которую держали две женщины, а завершала улочку бесцветная и вылизанная закусочная, где прохожему предлагали огромные бокалы тускло-зеленого лимонада. Поодаль, на некотором расстоянии по дороге, стояла единственная на всю округу пристойная и достойная этого названия гостиница. Между нею и деревушкой был перекресток; находившиеся там в это время полицейский и служащий автомобильного клуба оба утверждали, что сэр Артур не проходил мимо них.

Был очень ранний час лучезарного летнего дня, когда он беззаботно вышел из дому, помахивая тростью и похлопывая желтыми перчатками. Он был щеголь хоть куда — этот джентльмен, пожилой, но, особенно для своего возраста, очень крепкий и энергичный человек. Подвижность его и сила как будто не убывали с годами: даже волнистые волосы казались просто белокуроыми и лишь похожими на седину, а вовсе не изжелта-седыми. Гладко выбритое лицо выделялось мужественной красотой, и нос с высокой переносицей делал его похожим на герцога Веллингтона. Но самой выдающейся особенностью его лица были глаза, причем не только в переносном смысле слова: очень выпуклые, почти навывкат, они, пожалуй, одни только и портили правильность черт. Губы же были нервные, плотно сжатые, будто даже несколько нарочито. Он был крупнейшим землевладельцем округа, и эта деревушка принадлежала ему. В таких местах все не только знают друг друга, но и знают обычно, кто где в данное время находится. Сэр Артур мог дойти до деревни, сказать, что нужно, мяснику, или еще кому угодно, и вернуться в усадьбу в течение получаса, как те двое молодых людей, которые ходили купить сигарет. Однако же на обратном пути они никого не видели; в пределах видимости не было ни души, если не считать некоего доктора Эббота, также гостившего у сэра Артура, — он сидел на берегу реки, широкой спиной к ним, и терпеливо удил рыбу.

Когда все трое гостей вернулись домой к завтраку, они как-то не обратили внимания на затянувшееся отсутствие хозяйина. Но час проходил за часом, он раз и другой не вышел к столу, и они, естественно, с удивлением отметили это обстоятельство, а Сибилла Грей, которая была в доме за хозяйку, стала тревожиться всерьез. В деревню на розыски отправлялась одна экспедиция за другой, но они не находили никаких следов; наконец, когда спустилась темнота, усадьбу охватил настоящий испуг. Тогда девушка послала за отцом Брауном, старым своим знакомым, который когда-то выручил ее в трудную минуту, и он, видя, что положение скверно, согласился остаться в доме на случай, если понадобится его помощь.

Наступил рассвет следующего дня — ничего нового не произошло; в это время отец Браун был уже на ногах и бдительно наблюдал. Его черная приземистая фигурка виднелась на садовой дорожке по-над берегом реки; он двигался там взад и вперед и близорукими, как будто сонными, глазками озирал окрестность.

Он увидел, что по берегу ходит, причем не менее беспокойно, еще один человек, и окликнул его по имени. Это был Ивен Смит, хозяйский секретарь, высокий и белокурый; он казался весьма удрученным, что было бы и неудивительно в эти тревожные часы, однако в нем и всегда было что-то тоскливое. Возможно, это особенно бросалось в глаза потому, что он обладал сложением

и повадкой атлета, а также львиной масти волосами и усами, которые сопутствуют (непрерывно — в романах, а иной раз — и в действительности) прямодушию и жизнерадостности «молодого англичанина». Но вид у него был измученный, а глаза глубоко запали, что не вязалось с высоким ростом и романтической шевелюрой и накладывало на его облик зловещую печать. Впрочем, отец Браун вполне дружелюбно улыбнулся ему, а затем сказал — уже более серьезно:

— Как это все тяжело!

— Особенно тяжело для мисс Грей, — угрюмо отвечал молодой человек. — И я не вижу причин скрывать, что именно это и тяготит меня больше всего, пусть девушка и помолвлена с Дэлмоном. Вы поражены?

Отец Браун как будто не был особенно поражен, но лицо у него и вообще было мало выразительным. Он лишь мягко заметил:

— Мы все, естественно, разделяем ее тревогу. Нет ли у вас новостей или своих соображений по поводу этой истории?

— Новостей, собственно, никаких, — ответил Смит, — по крайней мере, из внешнего мира. А соображения... — Он замялся и подавленно замолчал.

— Я был бы очень рад выслушать ваши соображения, — твердо сказал священник и нахмурил брови, отчего его глубоко сидящие глаза погрузились в тень.

— Что ж, будь по-вашему, — помолчав, сказал молодой человек. — Все равно кому-нибудь придется рассказать, а вам, мне кажется, можно довериться.

— Вы знаете, что произошло с сэром Артуром? — спросил Браун так спокойно, как будто речь шла о чем-то самом незначительном.

— Да, — жестко отвечал секретарь. — Полагаю, что знаю.

— Чудесное утро! — перебил его приятный голос совсем рядом. — Какое чудесное утро и какой печальный разговор!

Секретарь дернулся так, точно его подстрелили, а на тропинку, ярко освещенную уже высоким солнцем, легла обширная тень доктора Эббота. Он был еще в халате; этот роскошный восточный халат, весь в красочных цветах и драконах, походил на пышную клумбу, взращенную под пышущим солнцем тропиков. На ногах у него были широкие комнатные туфли без каблука, поэтому он, несомненно, и подошел к ним совершенно неслышно. Столь невесомое, прямо-таки воздушное появление никак не вязалось с его наружностью, ибо это был очень крупный, дородный и грузный человек; его энергичное и доброжелательное лицо покрывал густой загар и обрамляли буйно разросшиеся старомодные седые бакенбарды, а патриархальную голову украшала роскошная седая волнистая грива. Длинные глаза-щелки казались сонными; да и в самом деле, пожилому человеку вставать было еще рановато. Впрочем, выглядел он одновременно и по-

трепанном, и закаленным, словно старый фермер или капитан корабля, которому не раз приходилось противостоять суровым ветрам. Из всех гостей он был единственным старым другом и ровесником сквайра.

— Происшествие просто ни на что не похоже, — сказал он, качая головой. — Эти домишки в деревне — они как кукольные, со всех сторон насквозь все видно; там никого не спрячешь, даже если захочешь. Да никто и не хотел, я уверен. Мы с Дэлмоном вчера учинили там расследование. Это в основном тихие старые женщины — такие и мухи не обидят. Мужчины почти все сейчас в поле, остался только мясник, но ведь видели, как Артур вышел от него. А на берегу реки по пути сюда ничего не могло случиться, я сам сидел там с удочкой весь день.

Тут он взглянул на Смита, и в его прищуренных глазах, прежде как будто лишь сонных, мелькнуло лукавство.

— Ведь вы с Дэлмоном можете подтвердить, — прибавил он, — что видели меня там и когда шли туда, и когда возвращались?

— Да, — коротко ответил Смит, которому, видимо, не терпелось продолжить прерванную беседу.

— Единственное, что мне приходит в голову... — неторопливо продолжил было доктор, но тут его в свою очередь тоже прервали. Через зеленую лужайку, между веселыми цветочными клумбами, шагал человек, одновременно крепкий и легкий в движениях — это был Джон Дэлмон; он держал бумажку. Он был аккуратно одет, смуглое лицо было квадратно, как у Наполеона, а глаза — очень печальны, так печальны, что казались почти мертвыми. Он был еще довольно молод, но черные волосы преждевременно поседели на висках.

— Я получил телеграмму из полиции, — сказал он. — Я телеграфировал туда вчера вечером, и они сообщают, что немедленно пришлют человека. Вы не знаете, доктор Эббот, с кем бы нам следовало связаться теперь? Может быть, с родственниками или кем-нибудь еще?

— Да, конечно, у него есть племянник, Вернон Водри, — ответил старик. — Дойдемте, я дам вам адрес и... и еще кое-что расскажу о нем.

Доктор Эббот и Дэлмон направились к дому, и, когда они отошли на достаточное расстояние, отец Браун проронил так, точно их и не прерывали:

— Итак?

— Как вы хладнокровны, — заметил секретарь. — Это, наверно, оттого, что привыкли выслушивать исповеди. Вот и я тоже вроде бы собираюсь исповедаться. Конечно, когда такой слон подползает к вам сзади, как змея, то места для исповедальности уже не остается. Но раз уж я начал — буду продолжать, хотя в сущности это исповедь вовсе и не моя. — Он остановился на мгновение, хмурясь и подергивая ус, а затем без предисловий заявил:

— По-моему, сэр Артур просто сбежал. И по-моему, я знаю почему.

Последовало молчание, а затем он опять воскликнул:

— Понимаете, я в гнуснейшем положении; многие и скажут, что я поступил гнусно. Я оказываюсь в роли доносчика и дряни, хотя, по-моему, я лишь выполняю свой долг.

— А вы будьте судьей,— веско ответил отец Браун. — Ну, так в чем же ваш долг?

— Роль моя неприглядна тем, что я вынужден наговорить на своего соперника, притом соперника счастливого, — горько проговорил молодой человек. — Только мне больше ничего не остается. Вы спросили о причинах исчезновения Водри. Я совершенно убежден, что эта причина — в Дэлмоне.

— Не хотите ли вы сказать, — спросил священник хладнокровно, — что Дэлмон убил сэра Артура?

— Ах, нет! — с неожиданной горячностью воскликнул Смит. — Тысячу раз нет! Ни в коем случае, что бы еще другое он ни сделал! Он-то никак не убийца. Лучшего алиби, чем у него, не придумаешь: его свидетель — человек, который его ненавидит. Мне ли клясться в любви к Дэлмону, но я могу заявить любому суду, что вчера он просто не мог ничего сделать со стариком. Мы были с ним вместе весь день; в деревне он купил сигареты, здесь курил их и читал в библиотеке — и больше ничего. Нет, по-моему, он преступник, но Водри он не убивал. Я даже больше скажу: именно потому, что он преступник, он Водри не убивал.

— Так, — терпеливо вставил священник, — и что же это значит?

— Видите ли, — отвечал секретарь, — его преступление совсем другое. И для успеха необходимо, чтобы Водри был жив.

— Гм, понимаю, — задумчиво проронил отец Браун.

— Сибиллу Грей я знаю хорошо, и ее характер играет в этой истории важную роль. Это натура деликатная — в обоих смыслах этого слова: то есть и благородная, и чувствительная. Она из тех невероятно совестливых людей, у которых не вырабатывается защитной привычки или спасительного здравого смысла, как у многих других совестливых людей. Она почти до безумия чувствительна и вместе с тем совершенно лишена эгоизма. Жизнь у нее сложилась необычно: она осталась буквально без гроша, точно подкидыш, и сэр Артур взял ее к себе и очень о ней заботился, что многих удивляло, потому что это, по совести говоря, мало на него похоже. Но накануне ее семнадцатилетия все разъяснилось, и она была потрясена: ее опекун сделал ей предложение. Дальше начинается самое необыкновенное в этой истории. Сибилле было откуда-то известно (я подозреваю — от старика Эббота), что сэр Артур в своей бурной молодости совершил преступление или, по крайней мере, очень неблагоприятный поступок, из-за которого у него были большие неприятности. Не знаю, что там было такое. Но для девушки в нежном, чувст-

вительном возрасте это превратилось в кошмар; благодетель стал в ее глазах чудовищем, во всяком случае, настолько, что не могло быть и речи о таких близких отношениях, как брак. То, как она ответила, до невероятия свойственно ей. С беспомощным страхом — и героическим бесстрашием — она сама, дрожащими губами, сказала всю правду. Она признала, что ее отвращение, возможно, болезненно; она созналась в нем как в тайном безумии. К ее удивлению и облегчению, он принял отказ спокойно и учтиво и больше, по-видимому, к этой теме не возвращался. А последующие события еще больше убедили ее в великодушии старого опекуна.

— В ее одинокую жизнь вошел еще один, такой же одинокий человек. Он поселялся время от времени отшельником на острове выше по реке и, может быть, привлек ее внимание этой таинственностью, хотя, конечно, он и без того довольно привлекателен: он человек воспитанный и остроумный, хотя и очень печальный; впрочем, это, пожалуй, только придавало ему романтичности. Это, разумеется, был Дэлмон. Я по сей день не знаю, насколько благосклонно в действительности она отнеслась к нему, но так или иначе, он получил разрешение встретиться с ее опекуном. Можно представить себе, с каким мучительным страхом ждала она этой встречи и гадала, как воспримет появление соперника старый селадон. Но она опять убедилась, что она несправедлива к своему опекуну. Он принял молодого человека с сердечным радушием и, казалось, был в восторге от складывающейся партии. Они с Дэлмоном вместе ходили на охоту и рыбную ловлю и были в наилучших отношениях, когда однажды ей пришлось пережить новое потрясение. Как-то в разговоре Дэлмон обмолвился, что старик «за двадцать лет почти не переменялся». Так ей вдруг открылась правда об их удивительной дружбе. И это нынешнее их знакомство, и сближение были притворством: они явно были знакомы и раньше. Потому-то молодой человек и заявился в эти места столь скрытно. Потому-то и старый ее опекун с такой готовностью помогал устройству брака. Ну, и на что это, по-вашему, похоже?

— На что это похоже по-вашему, я з н а ю, — улыбнулся отец Браун. — Что ж, вполне логично. На прошлом Водри лежит какое-то пятно. Тут появляется таинственный пришелец, который ходит за ним как тень и добивается всего, чего захочет. Короче говоря, вы считаете, что Дэлмон — шантажист.

— Совершенно верно, — ответил его собеседник, — как это мне ни гадко.

Отец Браун задумался на минуту, а затем сказал:

— Пойду-ка я поговорю с доктором Эбботом.

Час или два спустя он вышел из дома. Возможно, он и беседовал там с доктором, только появился он в обществе Сибиллы Грей, бледной девушки с рыжеватыми волосами и тонким, почти хрупким профилем. Увидев ее, можно было поверить словам

молодого человека о ее необыкновенном чистосердечии. Тут на ум невольно приходили и леди Годива, и сказания о непорочных мученицах; лишь скромные люди могут отбросить стыдливость, когда велит совесть. Смит пошел им навстречу, и с минуту они разговаривали, стоя посреди лужайки. С самого рассвета не было ни облачка на небе, и теперь оно дышало зноем и ослепительно сверкало; однако священник не расставался со своим зонтиком, похожим на бесформенный черный ком, и шляпой, напоминавшей черный зонтик, да и вообще он словно застегнулся на все пуговицы в предвиденье бури. Но возможно, он лишь невольно производил такое впечатление; возможно, также, что он предвидел бурю нематериальную.

— Как отвратительно,— говорила удрученная Сибилла, — что уже пошли разные толки да пересуды. Все друг друга подозревают. Джон и Ивен хоть могут быть свидетелями друг для друга. Но у доктора Эббота произошла гадкая сцена с мясником, который думает, что обвиняет его, и поэтому сам всех обвиняет.

Ивен Смит нервничал и наконец не выдержал:

— Послушайте, Сибилла, многое пока непонятно, но, кажется, все это вообще пустое. Дела, конечно, прескверные, но нам представляется, что никакого э-э... насилия не было.

— Значит, у вас есть уже теория? — Девушка метнула взгляд на священника.

— Меня ознакомили с одной теорией,— ответил тот, — и весьма убедительной, по-моему.

С сонным видом он смотрел в сторону реки, а Смит и Сибилла завели между собою, не повышая голоса, быстрый разговор. Священник, глубоко задумавшись, побрел по берегу. В одном месте берег выступал небольшим навесом, и на нем примостилась поросль молодых деревьев. Жаркое солнце пронизывало жиденький полог мелкой листвы, колыхавшейся, словно зеленые язычки пламени, и все птицы расщебетались так, будто у каждого дерева было сразу тысяча языков. Через минуту или две Ивен Смит услышал, как из зеленой гущи его тихонько, но вполне отчетливо зовут по имени. Он было сделал несколько шагов в том направлении, но отец Браун уже сам вынырнул оттуда и, понизив голос, сказал:

— Сделайте так, чтобы дама не ходила сюда. Лучше бы она вообще ушла. Позовите ее к телефону или придумайте сами что-нибудь; а потом возвращайтесь.

Смит повернулся к девушке, отчаянно стараясь быть беспечным, и что-то ей сказал, но ее нетрудно было занять чем-нибудь нужным для других. Она скоро вернулась в дом, а Смит последовал за отцом Брауном, который опять скрылся в густых зарослях. Там, за деревьями, было что-то вроде крошечного овражка, где поверхностный слой почвы провалился и оказался вровень с песчаным берегом реки. Браун стоял на краю этой ямы и смотрел вниз, причем — случайно ли, сознательно ли, но шляпу он держал в руке, хотя солнце немилосердно пекло ему голову.

— Лучше, чтобы вы увидели это с а м и , — с трудом проговорил о н , — как возможный свидетель. Только предупреждаю — будьте готовы.

— К чему? — спросил секретарь.

— К самому страшному, что я видел в своей жизни.

Ивен Смит подошел к краю обрыва, и ему стоило труда подавить крик или скорее вопль. Снизу на него глядел, ухмыляясь, сэр Артур Водри; его лицо было обращено вверх, так что на него можно было наступить. Голова была запрокинута назад, копна желтовато-седых волос оказалась под самыми их ногами, и Смит видел лицо в перевернутом виде. Такое могло привидеться только в кошмаре, когда грезятся люди с головами набекрень. Что же он здесь делал? Можно ли вообразить, чтобы сэр Артур ползал по каким-то рытвинам и промоинам в такой неестественной позе, прятался да еще скалился оттуда? Тело казалось горбатым и кособоким, будто его изувечили. Правда, вскоре стало ясно, что дело тут в искажении видимых пропорций сведенных вместе рук и ног. Что, если он безумен? Сошел с ума? Смит все смотрел на него, и все более застывшей казалась ему эта фигура.

— Вам отсюда не видно, — сказал отец Браун, — но у него перерезано горло.

Смит содрогнулся.

— Да уж верно, ничего ужасней в жизни не увидишь, — выговорил о н . — Это оттого, что лицо перевернуто. Я видел это лицо за завтраком, за обедом каждый день, лет десять подряд, всегда такое приятное, любезное. А вот переверните его, и перед вами сущий дьявол.

— И ведь он действительно улыбается, — спокойно и рассудительно сказал Браун, — это озадачивает само по себе. Люди нечасто улыбаются, когда им перерезают глотку, даже если они сами перерезают ее. Несомненно, это жуткое впечатление вызывает усмешка в сочетании с глазами навывкат. Но что верно, то верно — вверх ногами все предстает в ином виде. Художники часто переворачивают рисунки, чтобы проверить их точность. Иногда, если трудно перевернуть сам объект (скажем, гору), они даже становятся на голову или хотя бы наклоняются и смотрят, раздвинув ноги.

Священник говорил легкомысленным тоном, чтобы успокоить нервы молодого человека, но заключил он уже более серьезно:

— Я вполне понимаю, как вы расстроены. К несчастью, расстроилось и еще кое-что.

— Что вы имеете в виду?

— Расстроилась вся наша безупречная теория, — ответил Браун и стал осторожно спускаться по склону на узенький песчаный берег реки.

— Однако, может статься, что он покончил с с о б о й , — вдруг сказал С м и т . — В конце концов, это ведь тоже бегство, и тогда все

вполне согласуется с нашей теорией. Ему нужно было спокойное место, он пришел сюда и перерезал себе горло.

— Нет,— возразил священник, — он, во всяком случае, попал сюда не при жизни и не по земле. Его убили не здесь: слишком мало крови. Солнце уже изрядно высушило волосы и одежду, но сохранилось два следа от волн. Как раз сюда доходит морской прилив, который образует водоворот, — он втянул тело в эту заводь, где оно и осталось потом, когда прилив стал спадать. Но сперва его должно было принести по реке, как можно догадаться, от деревни, поскольку она задворками выходит на берег. Нет, бедняга Водри нашел смерть в деревне. Я все-таки не допускаю, что он покончил с собой; но вот вопрос — кто и как мог убить его в этом крошечном селеньице?

Он принялся чертить на песке своим неказистым зонтиком.

— Давайте-ка подумаем. В каком порядке стоят там лавки? Первая — это лавка мясника. Конечно, мясник с огромным секачом вроде бы вполне подходит на роль убийцы. Но вы же сами видели, как Водри вышел от него; да и трудно себе представить, что он смиренно стоит перед прилавком, пока мясник говорит: «Доброе утро. Позвольте, я вам перережу горло. Благодарю вас. Что вам еще угодно, сударь?» Сэр Артур не похож на участника такой сцены, да еще с приятной улыбкой на устах. Он был человеком сильным и решительным, с неукротимым нравом. Кто же еще, кроме мясника, мог бы с ним справиться? В следующей лавчонке сидит пожилая женщина. Ее сосед, торговец табаком, разумеется, мужчина, но, как я слышал, он очень робок. Дальше идет портняжная мастерская, портнихи там — две старые девы; а потом — нечто вроде закусочной, хозяин которой как раз сейчас в больнице и оставил дела на свою жену. Еще есть двое-трое деревенских парней — приказчиков да рассыльных, — но и их послали куда-то с поручением. Закусочной улица заканчивается. А по дороге к гостинице стоял полисмен.

Он поставил концом зонта точку на своем чертеже там, где был полицейский пост, и задумался, вперив взгляд в речную даль. Потом он сделал неопределенный жест рукой и, шагнув в сторону, наклонился к мертвому телу.

— А-а! — протяжно выдохнул он, вы прямляясь. — Табачник! Как же я не подумал о табачнике!

— Что с вами? — несколько раздраженно спросил Смит, поскольку отец Браун нелепо вытаращил глаза и что-то забормотал; слово «табачник» он произнес так, будто нашел в нем какое-то зловещее значение.

— Вы не заметили, — помолчав, сказал священник, — чего-нибудь особенного у него в лице? — и указал на труп.

— Отцы святые! Особенного? — воскликнул Ивен, передернувшись от ужаса. — Ничего себе, если у человека перерезана глотка...

— Я сказал — в лице, — спокойно поправил священник. — И кроме того, вы заметили, что у него порезан палец?

— Ну, это к делу отношения не имеет, — быстро ответил И в е н . — Это произошло раньше и совершенно случайно. Он поранился разбитым чернильным пузырьком, когда мы работали вместе.

— Нет, все-таки и это имеет отношение к делу, — возразил отец Браун.

Они долго молчали, и священник понуро бродил по песку, волоча за собою зонт, и время от времени бормотал слово «табачник», пока от самого его звука у Смита по телу не забегали мурашки. Потом он вдруг поднял зонт и указал им на лодочную будку в камышах.

— Скажите, это хозяйская лодка? — спросил о н . — Покатайте-ка меня немного. Мне нужно взглянуть на эти домики со стороны реки. Времени терять нельзя. Тело могут обнаружить, но придется рискнуть.

Смит уже правил вверх по реке в сторону деревни, когда отец Браун снова заговорил:

— Кстати, я разузнал у доктора Эббота, что за проступок числится за беднягой Водри. Началось с того, что какой-то египетский чиновник оскорбил его, сказав, кажется, что порядочному мусульманину с англичанами, как и со свиньями, делать нечего, хотя свиньи все же лучше, — словом, была какая-то бестактность. Что бы там ни случилось в действительности, но ссора возымела продолжение несколько лет спустя, когда тот чиновник оказался в Англии. Водри, обуреваемый гневом, приволок его в свинарник на какой-то усадьбе, затолкал туда, сломав ему руку и ногу, и бросил до утра. Разумеется, вышел скандал, но многие считали, что Водри действовал в простительном порыве патриотизма. Однако не может же человек из-за этого молчать десятки лет и смертельно бояться шантажа.

— Значит, вы полагаете, что эта история никак не связана с тем, над чем мы сейчас думаем? — задумчиво спросил секретарь.

— Я полагаю, что эта история донельзя близко связана с тем, над чем думаю сейчас я, — ответил Браун.

Они плыли в-это время вдоль невысокой стенки; за нею, от домиков деревни к реке, спускались по крутому склону грядки огородов.

Отец Браун внимательно пересчитал дома, подняв острый зонтик, и когда дошел до третьего, то снова проговорил:

— Табачник! Что, если табачник?.. Впрочем, буду уж действовать, как подсказывает догадка, а там посмотрим. Скажу только, что показалось мне странным в лице сэра Артура.

— Что же? — спросил его товарищ, перестав на несколько секунд грести.

— Он всегда очень следил за собой, — сказал отец Браун, — а сейчас выбрит лишь наполовину. Давайте-ка тут причалим. Лодку можно привязать к этому столбу.

Через минуту или две они уже перелезли через низенькую стенку и взбирались по крутой булыжной дорожке между грядок с овощами и цветами.

— Видите — табачник выращивает картофель, — говорил отец Браун. — Тут, можно сказать, витает дух сэра Уолтера Рэли. Вон сколько и картошки, и картофельных мешков. Деревенские торговцы не совсем еще порвали с крестьянскими привычками; они часто совмещают в хозяйстве два-три занятия. У табачников в деревне очень часто есть еще одно ремесло, но я как-то не подумал об этом, пока не рассмотрел подбородка Водри. В девяти случаях из десяти их лавку называют табачной, но одновременно это еще и парикмахерская. Водри порезал руку и не мог побриться сам — вот почему он пошел сюда. Это вам ничего не подсказывает?

— Подсказывает, конечно, и много чего, — ответил Смит. — Но вам, наверно, это подсказывает гораздо больше.

— Не подсказывает ли это вам, например, — продолжал Браун, — при каких обстоятельствах мог улыбаться отнюдь не беззащитный господин непосредственно перед тем, как ему перерезали горло?

Несколько секунд спустя они шли темным коридором в задней части дома и вскоре оказались во внутренней комнате; скудный свет проникал в нее из следующего помещения, да поблескивало запыленное, треснувшее зеркало. Тут стоял зеленый полумрак, как на дне озера, но все же можно было разглядеть нехитрые парикмахерские инструменты и панически бледное лицо парикмахера.

Глаз отца Брауна обшарил комнату, которую, видно было, незадолго перед тем тщательно вычистили и прибрали, и наконец напал на нечто в пыльном углу за дверью. Там висела шляпа, белая шляпа, столь хорошо знакомая всем в деревне. И тем не менее, всегда приметная на улице, здесь она казалась одной из тех мелких вещей, о которых иные люди порой совершенно забывают, когда старательно выскабливают пол и уничтожают испачканные тряпки.

— Сэр Артур Водри, полагаю, брился здесь вчера утром, — ровным голосом произнес отец Браун.

На парикмахера, низенького лысого человечка в очках, по фамилии Уикс, внезапное появление двух посетителей из глубины его собственного дома произвело такое впечатление, словно это два призрака восстали из склепа под полом. Но страх его, очевидно, имел причиной не только причуды суеверия. Он съежился и, если можно так выразиться, вжался в темный угол; и все в нем как-то сразу стало невидным, кроме огромных, как глаза домового, очков.

— Скажите мне одно, — спокойно продолжал священник. — У вас были причины ненавидеть сквайра?

Человечек в углу пролепетал что-то, чего Смит не расслышал, но священник кивнул.

— Знаю, что были,— сказал он. — Вы ненавидели его; из этого мне ясно, что вы его не убивали. Ну, расскажите сами, что тут произошло, или мне рассказать?

Настала тишина, в которой слышалось лишь слабое тиканье часов на кухне; затем отец Браун заговорил:

— Произошло вот что. Мистер Дэлмон, войдя с улицы в вашу дверь, спросил каких-то сигарет, выставленных на витрине. Вы на секунду ступили за порог, как делают торговцы, чтобы посмотреть, на что он показывает. И в этот момент он увидел во внутренней комнате бритву, которую вы отложили, и седую голову сэра Артура на спинке кресла: на них, вероятно, как раз падал свет из того оконца в глубине. В одно мгновение он успел схватить бритву, полоснуть ею сквайра по горлу и вернуться к прилавку. Несчастный даже не всполошился, когда увидел руку с бритвой. Он умер, улыбаясь своим мыслям. О, что это были за мысли! Сам Дэлмон тоже мог не тревожиться. Он проделал все быстро и тихо — даже мистер Смит, стоявший на улице, поклялся бы в суде, что они не расставались ни на минуту. Причина для тревоги была только у одного человека — у вас. Вы не ладили с помещиком из-за задолженности по ренте и еще из-за чего-то, и вот вы обнаруживаете, что ваш недруг зарезан у вас в лавке вашей же собственной бритвой. Вполне понятно, вы пришли в отчаяние от того, что вам не отмыться от обвинения, и решили, пока не поздно, смыть пятна с пола, а тело ночью бросить в реку, положив его в картофельный мешок; только вы плохо завязали его. Хорошо еще, что в определенные часы ваша парикмахерская закрывается, и у вас было достаточно времени. И вы ничего как будто не забыли — кроме вот этой шляпы... Однако не бойтесь: я забуду все, в том числе и о шляпе, — закончил он и как ни в чем не бывало вышел на улицу. Смит, пораженный до глубины души, последовал за ним, а парикмахер лишь глядел оторопело им вслед.

— Понимаете ли, — сказал отец Браун своему спутнику, — это тот случай, когда побудительный мотив слишком слаб, чтобы обвинить человека, но слишком силен, чтоб оправдать. Такой робкий и нервный человек не способен убить сильного и решительного из-за каких-то денежных дрызг. Но именно такой человек будет смертельно бояться, как бы его не обвинили в этом... Да что говорить, у настоящего виновника мотив был уж куда более серьезный!

Он погрузился в размышления, почти пристально глядя в пустоту перед собой.

— Какой ужас, — простонал Ивен Смит. — Всего час-два назад я клеймил Дэлмона как подлеца и шантажиста, но все же не укладывається в голове, что он совершил такое.

Священник все еще был словно в трансе, как человек, заглянувший в пропасть. Наконец его губы дрогнули, и он пробормотал скорее как молитву, нежели как проклятье:

— Всемиловейший Господь! Какая ужасная месть.

Его спутник что-то спросил, но он продолжал говорить как бы про себя:

— Сколько же тут было ненависти! Какое жестокое возмездие одного смертного червя другому! Возможно ли проникнуть до дна в бездонное человеческое сердце, в котором могут таиться столь чудовищные страсти! Упаси нас Господи от гордыни, но не мне постичь такую ненависть и такое возмездие.

— Да,— вставил С м и т , — мне так и вообще не постичь, за чем он убил Водри. Если Дэлмон — шантажист, то ведь куда естественнее было бы для Водри убить его. Конечно, это, как вы сказали, ужасная месть, но...

Отец Браун заморгал, будто проснувшись, и торопливо возразил:

— Ах, вы об этом! Нет, я говорил о другом. Я имел в виду не убийство в парикмахерской, когда... ну, когда ужаснулся возмездию. Тут было кое-что другое, страшнее, хотя, конечно, и это убийство тоже достаточно страшно. Но это-то постичь гораздо легче: почти каждый способен на такое. Это ведь была, собственно, почти что самозащита.

— Что?! — не поверил своим ушам секретарь. — Человек подкрадывается к другому сзади и перерезает ему глотку, когда тот беззаботно улыбается в потолок, сидя в кресле у парикмахера, и вы называете это самозащитой!

— Я не утверждаю, что это оправданная мера самозащиты,— отвечал священник. — Но многие пошли бы на это, чтобы защитить себя, столкнувшись с вопиющей подлостью, которая сама по себе тоже вопиющее преступление. Об этом-то, другом преступлении я сейчас и думал. Начать с вопроса, которым вы задались, — ну, зачем бы шантажисту убивать. Видите ли, тут целая куча превратных мнений и привычного смешения в е щ е й . — Он помолчал, точно приводя в порядок мысли после недавнего смятения, и продолжал обычным тоном: — Вы видите, что двое мужчин, старый и молодой, завязывают дружбу и строят matrimониальные планы; но причина их дружбы темна и кроется в прошлом. Один из них богат, другой — беден, и вы подозреваете шантаж. Что ж, покамест вы правы. Но вы неверно решаете, кто шантажирует кого. Вы предполагаете, что бедный шантажирует богатого. На самом деле богатый шантажировал бедного.

— Но это же нелепость! — возразил секретарь.

— Это гораздо хуже, чем нелепость, но ничего необычного тут нет. Политика наших дней наполовину состоит в том, что богачи шантажируют народ. Ваше мнение, что это — нелепость, основано на нелепых же иллюзиях. Одна из них — это что богатые не хотят стать богаче; другая — что шантажировать можно только из-за денег. В нашем случае деньги не играют роли. Сэр Артур Водри искал не корысти, а мести. И он замыслил самую отвратительную месть, о какой я только слышал.

— Но за что бы ему мстить Джону Дэлмону? — спросил Смит.

— Он мстил не Джону Дэлмону, — сумрачно отвечал священник.

Какое-то время они молчали; затем отец Браун опять заговорил, но как будто о другом:

— Помните, когда мы обнаружили тело покойного, его лицо оказалось перед нами в перевернутом виде. Вы тогда еще сказали, что у него лицо сущего дьявола. А не приходило ли вам в голову, что убийца тоже увидел это лицо перевернутым, когда подошел к креслу?

— Мало ли что скажешь, когда ты не в себе, — воспротестовал его спутник. — Уж очень я привык видеть его лицо как следует.

— А вы, может, никогда и не видели его как следует, — ответил на это Браун. — Я же рассказывал вам, что художники ставят картину как не следует, если хотят как следует ее рассмотреть. Может быть, в эти десять лет за завтраком и чаем вы просто привыкли видеть лицо дьявола?

— К чему это вы ведете? — нетерпеливо прервал Смит.

— Я выражаюсь иносказательно, — сумрачно пояснил Браун. — Разумеется, сэр Артур не дьявол в буквальном смысле. Он был человеком, и характер его от природы был таков, что мог бы обратиться и к добру. Но вспомните его вытаращенные подозрительные глаза, его плотно сжатые и постоянно вздрагивающие губы; они многое могли бы вам сказать, если бы вы не настолько привыкли видеть их. Знаете, есть больные, у которых на теле раны не заживают. Такова была душа сэра Артура. Она была как бы лишена кожи; он страдал лихорадочной самолюбивой настроенностью. Его недоверчивые глаза были неусыпно на страже его достоинства. Чувствительность — это не обязательно эгоистичность. Сибилла Грей, например, тоже не толстокожа, однако ей удается быть при этом чуть ли не святой. Но у Водри эта черта характера обратилась пагубной для него гордостью, гордостью, которая даже не могла дать ему защиты и самоуспокоения. Любая царапина на поверхности его души превращалась в гнойную рану. Вот чем объясняется тот случай с избиением египтянина в свинарнике. Если бы он избил его сразу, когда его назвали свиньей, это было бы понятной вспышкой гнева. Но там не было свинарника — в этом-то все и дело. Водри много лет помнил это глупое оскорбление, пока ему не удалось невероятное — добиться приезда своего обидчика на усадьбу с хлевом, и тогда он отомстил, как он считал, справедливо и артистично. Ничего не скажешь, он любил, чтоб месть была справедливой и артистичной.

Смит с любопытством поглядел на него:

— А ведь вы сейчас думаете не об истории со свинарником.

— Да, — ответил отец Браун, — я думаю о другом. — Он подавил дрожь в голосе и продолжал: — Памятуя о том фантастическом и терпеливом замысле мести, достойной оскорбления, обратимся теперь к нашей истории. Не припомните ли вы, чтобы кто-нибудь еще оскорбил Водри или же дал повод считать себя смертельно оскорбленным? Конечно! Его оскорбила женщина.

В глазах Ивена забрезжил смутный ужас; он напряженно слушал.

— Девушка, почти еще ребенок, отказала ему, потому что он совершил в свое время нечто вроде преступления. Он пробыл некоторое время в тюрьме за избиение египтянина. И тогда, в отчаянии, этот обезумевший человек сказал себе: «Так пусть она станет женой убийцы».

Они шли берегом реки к усадьбе. Некоторое время они молчали, а затем отец Браун заговорил снова:

— Водри имел возможность шантажировать Дэлмона потому, что тот когда-то совершил убийство. Может быть даже, он знал и о каких-нибудь других преступлениях удалых товарищей его юности. Вероятно, это было какое-то шальное преступление — ведь шальные убийства совсем не самые худшие. А Дэлмон, по-моему, все-таки способен на раскаяние, даже и в убийстве Водри. Но он был во власти Водри, и они, действуя сообща, очень ловко опутали девушку сватовством, как сеть: один стал ухаживать за нею, а другой великодушно поощрял их. Но Дэлмон и сам не знал — это было открыто лишь с а т а н е, — что на уме у старика.

— И вот, несколько дней назад, Дэлмон сделал страшное открытие: он оказался орудием чужой воли, его использовали, а теперь, как выяснилось, собирались сломать и выкинуть. Он наткнулся в библиотеке на какие-то бумаги Водри, из которых, хотя это и не было сказано прямо, понял, что готовится донос в полицию. Ему стал ясен весь адский замысел старика, и он остолбенел так же, как я, когда догадался о нем. Немедленно после венчания жених был бы арестован и затем повешен. Щепетильная невеста пренебрегла тем, кто побывал в тюрьме, и вышла бы за того, кому дорога на эшафот. Вот каким образом сэр Артур Водри собирался артистично подвести черту под этой историей.

Ивен Смит, смертельно бледный, молчал. А тем временем вдали на дороге показалась высокая фигура и широкая шляпа доктора Эббота, который приближался к ним, и даже издали заметно было, что он сильно взволнован. Но они и сами еще не оправались от потрясения явленным им страшным откровением.

— Вы говорите, что ненависть отвратительна, — нарушил молчание И в е н . — И знаете, одно, по крайней мере, отрадно для меня. Вся моя ненависть к несчастному Дэлмону улетучилась теперь, когда я узнал, как он дважды стал убийцей.

Они шли в молчании, пока не встретились с доктором, который как бы в отчаянии размахивал на ходу своими длинными руками в перчатках; седую его бороду вовсю трепал ветер.

— Ужасная новость! — сказал о н . — Найдено тело Артура. По-видимому, смерть настигла его в саду.

— Боже мой! — как-то механически проронил отец Б р а у н . — Как страшно!

— Это еще не все, — задыхаясь, продолжал до к т о р . — Джон Дэлмон уехал, чтобы встретить Вернона Водри, племянника Артура, но тот его и в глаза не видел. Похоже, что теперь исчез и Дэлмон.

— Боже мой! — пробормотал отец Б р а у н . — Как странно.

АЛАЯ ЛУНА МЕРУ

Все были согласны в том, что благотворительный базар, устроенный в Мэллоувудском аббатстве (конечно, с согласия леди Маунтигл), удался на славу. Качели, карусели и панорамы вовсю развлекали народ; я отметил бы и самую благотворительность, если бы кто-нибудь из присутствующих там лиц объяснил мне, в чем она состояла.

Как бы то ни было, нам придется иметь дело далеко не со всеми этими лицами, прежде всего — с тремя из них, а именно с одной дамой и двумя джентльменами, которые, громко споря, проходили между главными павильонами или, точнее, палатками. Справа от них помещался прославленный провидец, чье малиновое обиталище испещряли черные и золотые божества, многорукие, как спруты. Быть может, они свидетельствовали о том, что не оставят его своєю помощью; быть может, попросту воплощали мечту любого хироманта. Слева стоял шатер френолога, украшенный, не в пример скромнее, на удивление шишковатыми черепами Сократа и Шекспира. Как и подобает истинной науке, здесь были только белая и черная краски, только числа и чертежи; малиновая же палатка, где царила тишина, завлекала таинственным темным входом. Френолог по фамилии Фрозо — юркий, смуглый человек с неправдоподобными черными усами — стоял у своего святилища и объяснял неведомо кому, что любая голова окажется такой же значительной, как у Шекспира. Едва показалась дама, он кинулся на нее и со всей старомодной учтивостью предложил пощупать ее череп.

Дама отказалась до грубости вежливо, но мы простим ей это, ибо она была увлечена спором. Простим мы и потому, что она была хозяйкой, самую леди Маунтигл. Никто не назвал бы ее неприметной; глубокие темные глаза светились каким-то голодным блеском, а бодрая, даже яростная улыбка несколько противоречила изможденному лицу. Наряд ее был причудлив, согласно тогдашней моде, ибо происходило это задолго до вой-

ны, так успешно научившей нас серьезности и собранности. Одежды походили на палатку провидца, в них было что-то восточное, их испещряли диковинные, тайные символы. Но все знали, что Маунтиглы свихнулись, то есть, в переводе на язык науки, что они занимаются восточной культурой и восточными верованиями.

Диковинные свойства дамы оттеняли совершенную пристойность обоих джентльменов. Как велела та допотопная мода, все в них было строго и безукоризненно, от белых перчаток до сверкающего цилиндра. Однако различались и они; Джеймс Хардкасл сочетал пристойность с изысканностью, Томми Хантер — с пошловатостью. Хардкасл был многообещающим политическим деятелем, хотя в свете интересовался чем угодно, кроме политики. Можно конечно сказать, что каждый политик много обещает. Но, будем справедливы, Хардкасл немало и делал. Однако малиновые шатры не вызвали в нем прилива деятельности.

— На мой взгляд, — говорил он, вставляя в глаз монокль, оживлявший своим сверканьем его суровое лицо, — прежде, чем спорить о магии, мы должны установить пределы еще непознанных сил. Несомненно, силы такие есть, даже у весьма отсталых людей. Факиры творят поразительные вещи.

— Вы хотели сказать, жулики? — с наивным видом спросил второй джентльмен.

— Томми, не говори глупостей, — сказала дама. — Вечно ты споришь о том, чего не знаешь! Словно школьник, честное слово, который обличает фокусника. Этот мальчишеский скепсис так устарел... Что же до непознанных сил, я полагаю...

В этот миг дама увидела кого-то, кто был ей нужен, — неуклюжего человека в черном, стоявшего у павильона, где дети бросали обручи в уродливейшие фигурки, — и кинулась к нему, крича:

— Отец Браун, а я ищу вас! Мне нужно с вами посоветоваться. Вы верите в предсказания?

Тот, к кому она воззвала, беспомощно смотрел на обруч в своей руке.

— Я не совсем понял, — сказал он, — в каком смысле вы употребили слово «верить». Конечно, если это шарлатанство...

— Нет, нет! — вскричала дама. — Учитель совсем не шарлатан! Для меня большая честь, что он пришел. Он провидец, пророк. Предсказывает он не какую-нибудь удачу в делах. Он открывает глубокие духовные истины о нас самих, о нашей подлинной сути.

— Вот именно, — сказал отец Браун. — Если это шарлатанство, я ничего против не имею. Мало ли шарлатанства на таких базарах, да никто и не примет их всерьез! Но если дело дошло до духовных истин, я считаю, что это бесовская ложь, от которой надо держаться подальше.

— Ваши слова парадоксальны, — с улыбкой заметил Хардкасл.

— Никак не пойму, что такое парадокс, — задумчиво сказал священник. — По-моему, они очень просты. Если кто-нибудь притворится шпионом и станет лгать противнику, вреда не будет. Но если человек действительно работает на врага...

— Вы думаете... — начал Хардкасл.

— Да, — отвечал священник. — Я думаю, что ваш провидец связан с Врагом рода человеческого.

Томми Хантер захихикал от удовольствия.

— Что ж, — сказал он, — если так, этот темнокожий субъект просто святой!

— Мой кузен неисправим, — вздохнула леди Маунтигль. — Он и сюда приехал, чтобы обличать Учителя. Поистине, он бы стал разоблачать Будду или Моисея.

— Нет, дорогая сестрица, — улыбнулся Томми. — Я приехал, чтобы тебе помочь. Когда эти обезьяны тут, я за тебя беспокоен.

— Ну вот, опять! — сказала леди. — Помню, в Индии, сначала, все мы недолюбливали темнокожих. Но когда я убедилась в их поразительных духовных силах...

— У нас с вами разные взгляды, — сказал священник. — Вы прощаете темную кожу, потому что кто-то достиг высшей мудрости. Я прощаю высшую мудрость, потому что кто-то другого цвета, чем я. По правде говоря, меня не так уж волнуют духовные силы, мое дело — духовные слабости. Но я никак не пойму, чем плох человек, если он того прекрасного цвета, что бронза, или кофе, или темное пиво, или северный ручей, пробивающийся сквозь торф. В сущности, и фамилия моя означает этот самый цвет, так что я немного к нему пристрастен...

— Ах, вон что! — победительно воскликнула леди Маунтигль. — Я так и знала, что вы шутите.

— М-да... — промывчал Томми Хантер. — Когда говорят серьезно, это мальчишеский скепсис. Скоро он начнет гадать?

— В любую минуту, — отвечала дама. — Это не гаданье, а хиромантия. Но для тебя ведь все едино...

— Мне кажется, есть и третий путь, — сказал, улыбаясь, Хардкасл. — Многое можно объяснить естественно. Вы пойдете к нему? Признаюсь, я сильно заинтригован.

— Не выношу чепухи! — сердито сказал скептик, и его круглое лицо побагровело от злости. — Идите гадайте, а я пойду катать кокосы.

Френолог, маячивший неподалеку, кинулся к нему.

— Простите, — сказал он, — череп устроен гораздо интересней. Никакой кокос не сравнится хотя бы с вашим...

Хардкасл нырнул тем временем в темное отверстие палатки, и изнутри послышались неясные голоса. Том Хантер резко отвечал френологу, выказывая прискорбное равнодушие к превосходству и вполне точных наук, а кузина его собиралась продолжить спор с коротышкой пастором, как вдруг в удивлении замолчала.

Джеймс Хардкасл вышел из палатки, и, судя по сверканью монокля и сумрачности лица, удивление его было не меньше.

— Вашего индуса нет, — отрывисто сказал он. — Он исчез. Какой-то черномазый старик прошамкал, что Учитель не желает продавать священные тайны.

Леди Маунтигл, сияя, повернулась к своим гостям.

— Вот видите! — вскричала она. — Говорила я вам, он много выше всего, что вам померещилось! Он ненавидит суету и ушел в одиночество.

— Простите, — серьезно сказал отец Браун. — Может быть, я был к нему несправедлив. Вы знаете, куда он ушел?

— Кажется, знаю, — отвечала хозяйка. — Когда он хочет побыть один, он уходит в монастырский дворик. Это в самом конце левого крыла, за кабинетом моего мужа и за нашим музеем. Вы слышали, наверное, что здесь когда-то и вправду был монастырь.

— Слышал, — сказал священник, едва заметно улыбаясь.

— Если хотите, — сказала его собеседница, — пойдемте туда. Вам непременно надо посмотреть коллекцию моего мужа, особенно — «Алую луну». О ней вы слышали? Это огромный рубин.

— Меня интересуют все экспонаты, — сказал Хардкасл, — в том числе Учитель.

И они свернули на дорожку, ведущую к замку.

— А я, — проворчал неверный Фомма, — хотел бы знать, зачем этот субъект сюда явился...

Неукротимый френолог попытался остановить его в последний миг и чуть не схватил за фалды.

— Ваш череп... — начал он.

— ...сейчас треснет, — сказал Хантер. — Так всегда бывает, когда я приезжаю к Маунтиглам. — И он успешно ускользнул от ученого.

По пути во дворик гости прошли длинный зал, отведенный хозяином под азиатские диковинки. За открытой дверью сквозь готические арки виднелось светлое небо над квадратным двориком, по которому и гуляли когда-то монахи. Но взорам пришедших явилось нечто более поразительное, чем вставший из могилы монах.

То был немолодой человек, одетый во все белое, в бледно-зеленой чалме, но с английским румянцем и седыми полковничьими усами; иначе говоря — хозяин замка, воспринимавший чары Востока серьезней или безрадостней, чем его жена. Говорить он мог только о восточной культуре и философии и, показывая свои экспонаты, явно радовался больше всего не цене их и даже не редкости, а скрытому в них смыслу. Даже когда он принес огромный рубин, — быть может, единственную вещь, которой и впрямь цены не было, он гордился именем ее, а не размером.

Неправдоподобно большой камень горел, как горел бы когтер сквозь кровавый дождь. Но лорд Маунтигл, беспечно катая

его по ладони, глядел в потолок, пространно рассказывая о том, какое место занимает гора Меру в мифологии гностиков.

Когда он уже изобличил демиурга и провел исчерпывающую параллель между гностиками и манихеями, даже тактичный Хардкасл думал, как бы переменить тему. Наконец он спросил, нельзя ли рассмотреть камень, и, поскольку в комнате уже смеркалось, направился к двери, ведущей во дворик. Только тогда он и ощутил, что близко, почти рядом, все время стоял Учитель.

Дворик был такой самый, как обычно бывает в монастырях, но готические колонны соединялись снизу, так что арки были скорее не дверями, а окнами. Вероятно, стенки эти сложили давно; однако было здесь и новшество — над ними, между колоннами, висели занавеси в восточном вкусе, сделанные то ли из каких-то бусин, то ли из легкого тростника. Они совсем не подходили к серому камню и не очень хорошо пропускали свет, но все это было не самой главной из несообразностей, на которые, каждый по-своему, взирали гости.

Посередине дворика стоял темно-зеленый фонтан, в котором плавали водяные лилии и золотые рыбки. Над ними возвышалось изваяние. Сидело оно спиной, и в такой позе, словно у него и головы нет, но даже в сумерках, по одним его очертаниям, было сразу видно, что создали его не христианские монахи.

Неподалеку, на светлых плитах двора, стоял тот, кого называли Учителем. Его тонкое лицо походило на бронзовую маску, а седая борода, расхолодившаяся веером, казалась ярко-синей. Одежды его были синевато-зелеными; бритую или лысую голову венчал странный убор, напоминавший скорее об Египте, чем об Индии. Широко открытые глаза — совсем такие, какие рисуют на саркофагах, — глядели не то в пустоту, не то на идола. Как ни удивителен он был, гости тоже глядели скорее на идола, чем на него.

— Странная статуя, — сказал Хардкасл, немного сдвинув брови. — Никак не подходит к монастырскому дворнику.

— От вас я этого не ждала, — сказала леди Маунтигл. — Мы именно и хотели соединить великие религии, Будду и Христа. Вы понимаете, конечно, что все религии одинаковы.

— Тогда зачем же, — кротко спросил отец Браун, — искать их так далеко?

— Леди Маунтигл хочет сказать, — начал Хардкасл, — что это — разные грани, как у этого камня (и, увлекшись новой темой, он положил рубин на каменную перемычку или, если хотите, подоконник между колоннами). Но из этого не следует, что мы вправе смешивать стили. Можно соединить христианство с исламом, но не готику с арабским стилем, не говоря уж об индусском.

Тем временем Учитель вышел из оцепенения, медленно перешел на другое место и встал прямо перед ними, за аркой, лицом к идолу. По-видимому, он постепенно обходил полный круг, как

часовая стрелка, но не сразу, а по кусочку, останавливаясь для молитвы или созерцания.

— Какой же веры он? — спросил Хардкасл с едва заметным нетерпением.

— Он говорит, — благоговейно отвечала хозяйка, — что вера его древнее индуизма и чище буддизма.

— А . . . — протянул Хардкасл, неотрывно глядя в монокль на загадочного Учителя.

— Существует предание, — назидательно и мягко сказал хозяин, — что такое же божество, но гораздо больше, стоит в одной из пещер священной горы...

Но мерное течение лекции прервал голос, раздавшийся из-за плеча лорда Маунтигла, из тьмы музея. При звуке этого голоса Хардкасл и Хантер сперва не поверили себе, потом рассердились, потом засмеялись.

— Надеюсь, не помешал? — учтиво спросил френолог, неутомимо служивший истине. — Я подумал, что вы, наверное, уделите минутку недооцененной науке о шишках человеческого черепа...

— Вот что, — крикнул Томми Хантер, — у меня шишек нет, а у вас они сейчас будут!..

Хардкасл удержал его, но все секунду-другую смотрели не во дворик, а в комнату.

Тогда это и произошло. Первым реагировал все тот же подвижный Томми, на сей раз — не зря. Никто еще ничего толком не понял, Хардкасл еще не вспомнил, что оставил рубин на широкой перемычке, а Хантер уже прыгнул ловко, как кошка, наклонился между колоннами и огласил дворик криком:

— Поймал!

Но в короткое мгновение, перед самым его криком, все увидели то, что случилось. Из-за одной колонны выскользнула рука цвета бронзы или старого золота и исчезла, мгновенно, словно язычок муравьеда. Однако рубин она слизнула. На камнях перемычки ничего не сверкало в слабом свете сумерек.

— Поймал, — повторил, отдуваясь, Томми Хантер. — Трудно его держать. Зайдите-ка спереди, помогите!

Мужчины повиновались ему — кто кинулся к лестничке, кто перепрыгнул через низкую стенку, — и все, включая мистера Фрозо, окружили Учителя, которого Томми держал за шиворот одной рукой и встряхивал время от времени, не считаясь с прерогативами провидцев.

— Ну, теперь не уйдет, — сказал герой дня. — Общем-ка его, камень тут где-нибудь.

Через сорок пять минут Хантер и Хардкасл, уже не в таком безукоризненном виде, как прежде, отошли в сторону и посмотрели друг на друга.

— Вы что-нибудь понимаете? — спросил Хардкасл. — Удивительная тайна...

— Какая тайна! — вскричал Хантер. — Мы же все его видели.

— Да, — отвечал Хардкасл, — но мы не видели, чтобы он положил или бросил рубин. Почему же мы ничего не нашли?

— Где-нибудь эта штука лежит, — сказал Хантер. — Надо лучше осмотреть фонтан.

— Рыбок я не вскрывал, — сказал Хардкасл, вставляя монокль. — Вам вспомнился Поликратов перстень?

Оглядев в монокль круглое лицо, он убедился в том, что его собеседнику не пришли в голову параллели из греческой мифологии.

— Может, он сам его проглотил, — сказал Хантер.

— Вскроем Учителя? — сказал Хардкасл. — А вот и наш хозяин.

— Как это все неприятно, — проговорил лорд Маунтигл, крутя седой ус немного дрожащей рукой. — Кража, в моем собственном доме!.. Я никак не разберу, что он говорит. Пойдемте, может, вы поймете.

Они вернулись в залу. Хантер шел последним, и отец Браун, бродивший по дворику, обратился к нему.

— Ну и сильный же вы! — весело сказал священник. — Вы держали его одной рукой, а он тоже не слаб. Я это почувствовал, когда мы пустили в ход восемь рук, как эти божества.

Беседуя, они обошли дворик раза два и вошли в залу, где сидел уже сам Учитель на положении пленника, но с видом великого царя.

Действительно, понять его было нелегко. Говорил он спокойно и властно, по-видимому развлекаясь при каждой очередной догадке, и уж никак не раскаивался. Скорее он смеялся над тем, как они бьются впустую.

— Теперь вам приоткрылись, — с неподобающей снисходительностью говорил он, — законы времени и пространства, которые никак не может постигнуть ваша наука. Вы даже не знаете, что такое «спрятать». Более того, вы не знаете, что такое «видеть», иначе бы вы видели так же ясно, как я.

— Вы хотите сказать, что камень здесь? — резко спросил Хардкасл.

— «Здесь» — непростое слово, — отвечал мистик. — Но я не хотел этого сказать. Я сказал, что вы не умеете видеть.

И он размеренно продолжал в сердитой тишине:

— Если бы вы научились истинному, глубокому молчанию, вы бы услышали крик на краю света. Там сидит изваянье, подобное горе. Говорят, даже иудеи и мусульмане почитают его, ибо оно создано не человеком. Перед ним благоговейно застыл паломник. Он поднял голову... Он вскрикнул, увидев алую, гневную луну в выемке, пустовавшей веками.

— Я знал, что вы наделены великой духовной силой, но это!.. — вскричал лорд Маунтигл. — Неужели вы перенесли его отсюда к горе Меру?

— Б ы т ь м о ж е т , — сказал Учитель.

Хардкасл нетерпеливо зашагал по комнате.

— Я смотрю на это иначе, чем вы, — обратился он к хозяину, — но вынужден признать... О, Господи!

Монокль упал на пол. Все повернулись туда, куда глядел политик, и лица озарило живейшее удивление.

«Алая луна» лежала на каменном подоконнике, точно там же, где и прежде. Быть может, то была искра от костра или лепесток розы, но упал он точно на то же место, куда его положили.

На сей раз Хардкасл не взял его, но повел себя странно. Медленно повернувшись, он снова пошел по комнате, уже не в нетерпении, а с каким-то особым величием. Подойдя к скамье, на которой сидел индус, он поклонился, улыбаясь немного горькой улыбкой.

— Учитель, — сказал он, — мы должны просить у вас прощения, и, что много важнее, мы поняли ваш урок. Поверьте, я никогда не забуду, какими силами вы наделены и как благородно ими пользуетесь. Леди Маунтигл, — и он обернулся к хозяйке, — вы простите меня за то, что я сперва заговорил с Учителем, а не с вами; но именно вам я имел честь предлагать недавно объяснение. Я говорил вам, что есть непознанные силы, гипноз. Многие считают, что им и объясняются рассказы о мальчике, который лезет в небо по веревке. На самом деле ничего этого нет, но зрители загипнотизированы. Так и мы видели то, чего на самом деле не было. Бронзовая рука как бы приснилась нам; и мы не догадались посмотреть, лежит ли на месте камень. Мы перевернули каждый лепесток водяной лилии, мы чуть не дали рыбкам рвотного, а рубин все время был там же, где и прежде.

Он посмотрел на улыбающегося Учителя и увидел, что улыбка его стала шире. Что-то было в ней, от чего все вскочили на ноги, как бы стряхивая смущение и неловкость.

— Как хорошо все кончилось, — несколько нервно сказала леди Маунтигл. — Конечно, вы совершенно правы. Я просто не знаю, как молить прощения...

— Никто не обидел меня, — сказал Учитель. — Никто меня не коснулся.

И, радостно беседуя, все ушли за Хардкаслом, новым героем дня; лишь усатый френолог направился к своей палатке и удивился, заметив, что священник идет за ним.

— Разрешите ощупать ваш череп? — нерешительно и даже насмешливо спросил мистер Фрозо.

— Зачем вам теперь щупать? — добродушно сказал священник. — Вы ведь сыщик, да?

Мистер Фрозо кивнул.

— Леди Маунтигл пригласила меня на всякий случай. Она не дура, хоть и балуется мистикой. Вот я и лез ко всем, как маньяк. Если бы кто-нибудь согласился, пришлось бы срочно листать энциклопедию...

— «Шишки черепа», смотри «Фольклор», — сказал отец Браун. — Да, вы порядком лезли к людям, но на благотворительном базаре это ничего.

— Какое дурацкое происшествие! — сказал бывший шишковед. — Подумать странно, что рубин так и лежал.

— Да, очень странно, — сказал священник, и интонация его поразила сыщика.

— Что с вами? — воскликнул тот. — Почему вы так смотрите? Вы не верите, что он там лежал?

Отец Браун поморгал и медленно, растерянно ответил:

— Нет... как же я могу?.. Нет, что вы!..

— Вы зря не скажете, — не отставал сыщик. — Почему вы не верите, что он лежал там все время?

— Потому что я сам его положил, — сказал отец Браун.

Собеседник его открыл рот, но не произнес ни слова.

— Точнее, — продолжал священник, — я уговорил вора, чтобы он отдал мне его, а потом положил. Я рассказал ему то, что угадал, и убедил, что еще не поздно покаяться. Вам я признаться не боюсь, да Маунтиглы и не поднимут дела, когда камень вернулся, тем более — против этого вора.

— Конечно, Учитель... — начал бывший Фрозо.

— Учитель не крал, — сказал отец Браун.

— Ничего не понимаю! — вскричал сыщик. — За окном стоял только он, а рука появилась оттуда.

— Рука появилась оттуда, но вор был в комнате, — сказал отец Браун.

— Опять какая-то мистика! Нет, так не пойдет. Я человек простой. Скажите мне прямо: если с рубином все было в порядке...

— Я знал, что не все в порядке, — сказал отец Браун, — когда еще и не слышал о рубине.

Он помолчал и продолжал неспешно:

— Вам скажут, что теории неважны, что логика и философия не связаны с жизнью. Не верьте. Разум — от Бога, и далеко не безразлично, разумно ли то, что происходит. Если оно неразумно, что-то не так. Вспомните тот спор. Какие там были теории? Хардкасл не без высокомерия назвал учеными именами философские загадки, как водится. Хантер считал, что все — сплошной обман и рвался это доказать. Леди Маунтигл сказала, что он для того и приехал, чтобы встретиться с этим Учителем. Приезжает он редко, с Маунтиглом не ладит, но когда он услышал, что будет индус, он поспешил сюда. Прекрасно. Однако в палатку пошел Хардкасл, а не он. Он сказал, что не терпит чепухи, хотя у него хватило терпения на то, чтобы приехать ради нее. Что-то не сходится. Как вы помните, он сказал «гаданье», а наша хозяйка объяснила ему, что это — хиромантия.

— Вы думаете, то была отговорка? — спросил растерянный собеседник.

— Думал сначала, — ответил священник, — но теперь я знаю, что это и есть истинная причина. Он не мог пойти к хироманту, потому что...

— Ну, ну! . . . — нетерпеливо вставил сыщик.

— Потому что не хотел снять перчатку, — сказал отец Браун.

— Перчатку? — переспросил тот.

— Если бы он ее снял, — незлобно сказал священник, — все бы увидели, что у него выкрашена рука. Да, конечно, он приехал из-за индуса. И хорошо приготовился.

— Вы хотите сказать, — воскликнул сыщик, — что это была его рука? Да он же стоял по эту сторону!

— Пойдите туда, попробуйте сами, и вы увидите, что это нетрудно, — сказал священник. — Он наклонился во дворик, сдернул перчатку, высунул руку из-за колонны, другой рукой схватил индуса и закричал. Я сразу заметил, что он держит жертву одной рукой, тогда как любой нормальный человек держал бы двумя. Другую он засунул камень в карман.

Наступило молчание; потом сыщик медленно заговорил:

— А все же загадка остается. Почему старый колдун так странно себя вел? Если он не крал, какого черта он не сказал прямо?! Почему не сердился, когда его обвиняли и обыскивали? Почему он сидел и улыбался, и говорил намеками?

— Вот! — звонко воскликнул священник. — Наконец-то мы дошли до сути! Они никак не хотят понять одного. Леди Маунтигль говорит, что все религии одинаковы. Как бы не так! Они бывают настолько разными, что лучший человек одной веры и не пошевелится в том случае, который глубоко заденет человека другой веры. Я сказал, что я не очень жалую духовные силы, потому что они подчеркивают силу, а не духовность. Не думаю, что этот Учитель стал бы красть камень, скорее — нет, зачем это ему? У него другие соблазны, например — украсть чудо, которое принадлежит ему не больше, чем алая луна. Этому соблазну, этому искушению он и поддался. А вопрос о том, чей это камень, ему в голову не пришел. Он не думал: «Можно ли красть?», он думал: «Достаточно ли я силен, чтобы перенести рубин на край света?» Такие вещи я и имею в виду, когда говорю, что религии различны. Индус гордится духовной силой. Но то, что он зовет духовным, совсем не совпадает с тем, что мы зовем праведным. Это значит скорее: «Не относящийся к плоти» или «властвующий над материей», словом — относится не к нравственности, а к магии, господству над стихиями. Ну, а мы — не такие, даже если мы не лучше, даже если мы много хуже. Мы — хотя бы потомки христиан и родились под готическими сводами, сколько ни украшай их восточной бесовщиной. Мы другого стыдимся и другим гордимся. Каждый из нас испугался бы, что его заподозрят в воровстве; он — испугался, что не заподозрят. Когда мы бежали от преступления, как от змеи, он подманивал его, как заклинатель. Но мы не разводим змей! Эта проверка сразу ставит все на

место. Можно увлекаться тайной мудростью, носить чалму и длинные одежды, ждать вести от махатм, но стоит камешку пропасть из вашего дома, стоит подозрению упасть на ваших друзей — и окажется, что вы просто английский джентльмен. Тот, кто совершил преступление, скрыл его, потому что он тоже английский джентльмен. Нет, лучше: он — христианский вор. Я верю и надеюсь, что можно назвать его раскаявшимся вором, благонамеренным разбойником.

— У вас получается, — засмеялся сыщик, — что христианский вор и языческий жулик противоположны друг другу.

— Будем милостивы и к тому, и к другому, — сказал отец Браун. — Английские джентльмены крали и раньше, и закон покрывал их. Запад тоже умеет затуманить преступление многозначительными словесами. Другие камни сменили владельцев — драгоценнейшие камни, резные, как камень, и яркие, как цветок.

Сыщик глядел на него, и он показал на темневший в небе могильный камень аббатства.

— Это очень большой камень, — сказал священник. — Он остался у воров.

ДИКОВИННЫЕ ДРУЗЬЯ

Кабачок «Восходящее солнце», судя по его виду, должен был называться солнцем заходящим. Стоял он в треугольном садике, скорее сером, чем зеленом; обломки изгороди поросли печальными камышами, сырые и темные беседки совсем обвалились, а в грязном фонтане сидела облупленная нимфа, но не было воды. Самые стены не столько украшал, сколько пожирал плющ, сжимая в кольцах, словно дракон, старый кирпичный костяк. Перед кабачком шла пустынная дорога. Пресекая холмы, она вела к броду, которым почти не пользовались с тех пор, как ниже по течению построили мост. У входа стояли стол и скамья, над ними висела потемневшая вывеска, изображавшая бурое солнце, а под вывеской маялся кабатчик, уныло глядя на дорогу. Черные, прямые волосы оттеняли нездоровый багрянец его лица, мрачного, как закат, но не такого красивого.

Единственный человек, проявляющий признаки жизни, собирався в дорогу. За много месяцев тут не останавливался никто, кроме него, а теперь и сам он уезжал, чтобы вернуться к своим врачебным обязанностям. Молодой врач был уродлив и приятен на вид. Его острое лицо светилось юмором, а рыжие волосы и кошачья ловкость движений не подходили к тупому покою заброшенного кабачка. Сейчас он пытался затянуть ремни докторского саквояжа. Ни хозяин, стоявший за шаг от него, ни слуга, топтавшийся за дверью, не пытались помочь ему — то ли от уныния, то ли потому, что просто отвыкли.

Долго стояла тишина. Он трудился, они томились, пока не раздался один за другим два резких звука. Ремень лопнул, врач сердито и весело чертыхнулся.

— Ну и дела... — сказал доктор Г а р т. — Придется его чем-нибудь перевязать. Есть у вас тут веревка?

Задумчивый кабатчик неспешно повернулся и пошел в дом. Вскоре он вынес длинную, пыльную веревку, завязанную петлей. Должно быть, ею привязывали осла или теленка.

— Другой нету, — сказал он. — Я и сам теперь в петле.

— Что-то у вас нервы расшатались, — заметил врач. — Вам нужно попринимать тонизирующую микстуру. Может, мой чемодан для того и открылся, чтобы я вам подобрал лекарство.

— Мне бы синильной кислоты, — отвечал владелец восходящего солнца.

— Я ее обычно не прописываю, — весело откликнулся Гарт. — Что и говорить, снадобье приятное, но мы не можем гарантировать полного выздоровления. Однако вы и впрямь приуныли. Вы даже не очнулись, когда я, по чудачеству, оплатил счет.

— Спасибо вам, сэр, — невесело ответил кабатчик. — Много нужно оплатить счетов, чтобы спасти мое заведение. Все шло хорошо, пока за рекой была дорога. Нынешний помещик ее закрыл, и люди ездят через мост, а не через нашу переправу. Никого нету, кроме вас. Да и зачем...

— Говорят, помещик и сам почти что разорился, — сказал доктор Гарт. — Историческое возмездие!.. Они с сестрой живут в настоящем замке, но, как я слышал, жить им не на что. Да и вся округа приходит в упадок. А вы зря сказали, — вдруг прибавил он, — что тут никого нет. Вон на холме двое, они сюда идут.

Дорога бежала к реке через долину, а за рекой, за переправой, поднималась по холму к воротам Уэстермейнского аббатства, черневшего на фоне бледных облаков или, вернее, мертвенно-бледных туч. Но с этой стороны, над долиной, небо было чистое и сияло так, словно не вечер наступал, а разгоралось утро. По белой дороге шли двое, и даже издали было видно, что они непохожи друг на друга.

Когда путники приблизились, это стало еще виднее, и особенно бросалось в глаза оттого, что шли они совсем рядом, чуть ли не под руку. Один из них был коренастый и маленький, другой — тощий и на удивление высокий. Волосы у обоих были светлые, но тот, что пониже, гладко причесывал их на пробор, а у того, кто повыше, они причудливо торчали во все стороны. Лицо у низенького было квадратное, а глаза — такие яркие и маленькие, что острый носик казался клювом. Он и вообще походил на воробья, во всяком случае — на городскую, а не на сельскую птичку. Одет он был аккуратно и незаметно, как клерк, и в руке держал небольшой портфель, словно шел на службу. Высокий нес на плече рюкзак и мольберт. Лицо у него было длинное, бледное, глаза — рассеянные, подбородок торчал вперед, словно принял какое-то решение, к которому непричастен отсутствующий взор. Оба были молоды, оба без шляпы — видимо, им стало жарко от ходьбы, но маленький держал соломенное канотье, а у высокого торчало из рюкзака серое фетровое ухо.

У кабачка они остановились, и коренастый бодро сказал своему спутнику:

— Ну, тут вам раздолье!

Потом он живо и вежливо спросил две кружки эля, а когда, мрачный кабатчик скрылся в мрачных недрах своего увеселительного заведения, с той же живостью обратился к врачу.

— Мой друг — художник, — объяснил он, — и при том особый. Если хотите, он маляр, но не в обычном смысле слова. Он — член академии, но не из тех, важных, а из молодых, и чуть не самый талантливый. Его картины висят на всех этих нынешних выставках. Но сам он считает, что главное его дело не выставки, а вывески. Да! Он обновляет кабацкие вывески. Вы не каждый день встретите гения с такой причудой. А как ваш кабак называется?

Он приподнялся на цыпочки, вытянул шею и вгляделся в почерневшую вывеску с каким-то буйным любопытством.

— «Восходящее солнце», — сказал он, резко оборачиваясь к своему молчаливому спутнику. — Прямо знамение! Мой друг — поэтическая натура, — объяснил он. — Утром он говорил, что, если мы возродим настоящий английский кабачок, над Англией снова взойдет солнце.

— Говорят, над Британской империей оно никогда и не садится, — весело заметил врач.

— Я про империю не думал, — откликнулся художник так просто, словно размышлял вслух. — Трудно себе представить кабака на вершине Эвереста или на берегу Суэцкого канала. Но стоит потратить жизнь на то, чтобы наши мертвые кабаки очнулись и снова стали английскими. Если бы я мог, я бы ничего другого и не делал.

— Кто же и может, как не вы! — вмешался его спутник. — Когда такой художник напишет на вывеске картину, кабак прославится на всю округу.

— Значит, — уточнил доктор Гарт, — вы действительно тратите все свои силы на кабацкие вывески?

— На что же их еще тратьте? — спросил художник, явно напавший на любимую тему. Он был из тех, кто или отрешенно молчит, или пылко спорит. — Неужели достойней писать надутого мэра с золотой цепью или миллионершу в бриллиантах, чем великих английских адмиралов, которым приятно глядеть, как пьют доброе пиво? Неужели лучше изображать старого олуха, получившего по знакомству орден Георгия, чем самого святого в схватке с драконом? Я обновил шесть Георгиев и даже одного одинокого дракона. Кабак так и назывался — «Зеленый Дракон». Можно себе представить, что он — гроза и ужас тропических лесов. А «Синяя Свинья»? Куда как поэтично! Вроде звездной ночи... Большой Медведицы... или огромного кабана, который воплощал для кельтов первозданный хаос.

Он потянулся за кружкой и стал жадно пить эль.

— Мой друг не только художник, он и поэт, — объяснил коренастый, по-хозяйски глядя на него, словно дрессировщик, водящий редкого зверя. — Вы, наверное, слышали о стихах

Гэбриела Гейла с его собственными иллюстрациями? Если они вас интересуют, я вам достану экземплярчик. Я — его агент, Харрел, Джеймс Харрел. Нас прозвали Небесными Близнецами, потому что мы неразлучны. Я не спускаю с него глаз. Сами знаете, эксцентричность — сестра таланта.

Художник оторвался от пивной кружки.

— Нет! — с боевым пылом начал он. — Талантливый человек должен стремиться к центру. Его место — в самом сердце мироздания, а не на дальних окраинах. Считается, что звание эксцентрика — это лесть, комплимент. А я скажу: дай мне, Господи, центричность, сестру таланта!

— Все подумают, — сказал доктор Гарт, — что вы, напившись пива, невнятно произносите слова. Да, обновлять старые вывески очень романтично. Но я мало смыслю в романтике.

— Это не только романтика! — с живостью возразил Харрел. — Это и практично, это деловая идея! Вы уж мне поверьте, я человек деловой. Выгода не нам одним, выгода всем — и кабатчику, и крестьянам, и лорду, всем. Вы взгляните на эту заштатную пивную! Но если мы приналяжем, тут все через год загудит, как улей. Помещик обновит дорогу, пустит смотреть свой замок, построит мост, мы повесим картину самого Гейла, и культурные люди кинутся сюда со всей Европы, а завтракать будут здесь.

— Глядите-ка! — воскликнул врач. — Кто-то вроде бы уже едет. Наш меланхолический хозяин жаловался на безлюдье, но я смотрю, тут прямо фешенебельный отель.

Все стояли спиной к дороге, лицом к кабачку, но еще до того, как доктор заговорил, поэт и художник почувствовали чье-то приближение. А может быть, он просто увидел на земле длинные тени двух людей и лошади. Он оглянулся; и не смог повернуть голову обратно.

По дороге ехала двуколка. Поводья держала темноволосая девушка в лайковых перчатках и синем, не очень новом костюме. Рядом с ней сидел мужчина лет на десять старше, но совсем старый с виду. Его тонкое лицо осунулось, как у больного, а большие серые глаза глядели тревожно и затравленно.

Минуту царило молчание, потом звонкий девичий голос как бы откликнулся на слова доктора:

— Конечно, позавтракать тут можно. — Девушка легко спрыгнула на землю и встала рядом с лошадьёю, а спутник ее слез медленно и без особой решимости. Светлый костюм не совсем подходил к его изнуренному лицу, и улыбался он криво и жалобно, когда сказал Харрелу:

— Надеюсь, вы не подумаете, что я подслушивал. Вы ведь не очень тихо говорили...

Поскольку Харрел орал, как зазывала на ярмарке, он улыбнулся и благодушно ответил:

— Я говорил то, что всякий скажет: помещик может много выжать из такой собственности. А кому интересно, пусть слушает, я не против.

— Мне интересно, — отвечал новоприбывший. — Я... я помещик, если они теперь бывают.

— Простите, — сказал Харрел, все еще улыбаясь.

— Ничего, я не обижаюсь, — отвечал помещик. — Честно говоря, я думаю, вы правы.

Гэбриел Гейл глядел на девушку в синем больше, чем предписывает вежливость, но художникам и рассеянным людям это иногда прощают. Он очень рассердился бы, если бы Харрел заговорил о сестре таланта, и еще не доказано, что его интерес мы вправе назвать эксцентричным. Леди Диана Уэстермейн украсила бы любую вывеску и даже возродила бы угасшую славу академической живописи, хотя давно прошло время, когда ее семья могла бы заказать ее портрет. Волосы у нее были странного цвета — черные в тени, а на свету почти рыжие; темные брови немного хмурились, а в огромных серых глазах было меньше тревоги, чем у брата, и больше скорби. Гейл подумал о том, что ее снедает духовный, а не плотский голод, и о том, что голод — признак здоровья. Думал он это в те минуты, когда не помнил о вежливости; а вспомнив, повернулся к остальным. Тогда девушка стала глядеть на него, правда — не так восторженно.

Тем временем Джеймс Харрел буквально творил чудеса. Не как ловкий зазывала, а как искусный дипломат он оплетал помещика паутиной заманчивых предложений. Он и впрямь напоминал тех одаренных воображением дельцов, о которых мы столько слышим, но нигде их не видим. Человек вроде Уэстермейна и представить себе не мог, что такие дела ведут не через юристов, не в письмах, не месяцами, а сразу, на месте. Новый мост, украшенный лучшей резьбой, уже перекинулся к обновленной дороге, по всей долине запестрели поселки художников, приносящие немалый доход, а золотое солнце с подписью самого Гейла сверкало над головой, знаменуя утреннюю зарю надежды.

Все опомниться не успели, как самым дружеским образом усаживались в зале за накрытый стол, словно за круглый стол переговоров. Харрел рисовал планы прямо на столешнице, подсчитывал что-то на листках бумаги, складывал, вычитал, округлял, ловко отбивал возражения и с каждой минутой становился бодрей и деловитей. Он всех заморозил, все верили ему, потому что он сам себе так явно верил; и помещик, не видевший таких людей, не мог бороться с ним, даже если бы хотел. Только леди Диана, не поддавшись суете, глядела через стол на Гейла, и Гейл откровенно глядел на нее.

— А вы что скажете, мистер Гейл? — наконец спросила она, но Харрел ответил за своего подопечного, как отвечал за всех и за все:

— Вы его о делах не спрашивайте! Он у нас — статья дохода, он к нам пригонит художников. Да и сам он — великий художник,

а художники смыслят только в живописи. Не бойтесь, он не обидится. Ему все равно, что я говорю и что другие говорят. Он по часу не отвечает.

Однако на сей раз художник ответил много раньше:

— Надо бы спросить хозяина, — сказал он.

— Ладно, ладно! — крикнул Харрел и вскочил с места. — Спрошу, если хотите. Я сейчас.

— Мистер Харрел — очень живой человек, — улыбнулся помещик. — Но именно такие люди и делают дела. Я хотел сказать, дела практические.

Его сестра, слегка хмурясь, снова глядела на художника; быть может, ей стало жалко, что он так непрактичен. А он улыбнулся ей и сказал:

— Да, в практических делах я разбираюсь плохо...

И тут раздался крик. Доктор Гарт вскочил. За ним вскочил Гейл, а потом все кинулись через дом к входным дверям. Добежав до них, Гейл загородил их и громко сказал:

— Даму не пускайте!

То, что помещик увидел над его плечом, было и впрямь страшно. На вывеске, изображавшей солнце, висел человек.

Черная фигурка не больше минуты виднелась на фоне неба — доктор Гарт перерезал веревку. Ему помогал Харрел, который, вероятно, и дал сигнал тревоги. Врач склонился над несчастным кабатчиком, выбравшим такую замену синильной кислоте. Повозившись немного, Гарт вздохнул с облегчением и сказал:

— Жив. Сейчас оправится. Ну зачем я оставил веревку! Надо было затянуть саквояж, а я обо всем забыл в этой суете. Да, мистер Харрел, для него солнце могло и не взойти.

Харрел и врач перенесли кабатчика в кабак. Гейл рассеянно шагал по садику и хмурился, глядя на вывеску, которая чуть не стала виселицей (стол, по-видимому, сыграл роль пресловутого стула). Вид у художника был не столько огорченный, сколько озадаченный.

— Какая беда... — сказал помещик. — Конечно, я здесь мировой судья и все прочее, но мне бы очень не хотелось вызывать полицию. Жаль его, беднягу.

При слове «полиция» Гэбриел Гейл резко обернулся.

— А я и забыл! — громко и грубо сказал он. — Конечно, его надо запереть, чтобы он понял, как прекрасна жизнь и как весел и светел мир.

Он засмеялся, нахмурился, подумал и отрывисто произнес:

— Вот что... окажите мне услугу... довольно странную. Разрешите мне с ним поговорить, когда он придет в себя. Оставьте нас на десять минут, и я обещаю вылечить его от тяги к самоубийству лучше, чем полисмен.

— Почему именно вы? — спросил врач с естественной досадой.

— Потому что я не смыслю в практических делах, — отвечал Гейл, — а вы все вышли сейчас за их пределы.

Ему никто не возразил, и он продолжал с той же непонятной властью:

— Вам нужен непрактичный человек. Он всегда нужен в беде, он — последняя надежда. Что тут сделает практичный человек? Будет бегать за ним день и ночь и снимать его с вывесок? Будет прятать от него все веревки и бритвы? Вы запретите ему умереть, большего вы сделать не можете. Убедите ли вы его жить? Вот тут-то и выходим мы. Только тому, кто витает в облаках, под силу такое практическое дело.

Остальные все больше удивлялись ему — он словно взял власть, заполнил сцену; и не перестали удивляться, когда минут через двадцать он снова вышел к ним и весело сказал, что кабатчик больше не повесится. Потом он вскочил на стол и принялся рисовать мелом на буром лице восходящего солнца.

Леди Диана глядела на него настороженно и невесело. Она была умнее прочих и поняла все то, что казалось им чудачеством поэта. Она поняла, с какой иронией посоветовал он обратиться к хозяину. Они и впрямь подумали обо всем и обо всех, кроме владельца обреченного кабачка. Она видела, что поэт действительно оказался полезней полисмена. Но она чувствовала, что сам поэт занят еще чем-то, его что-то мучает, что-то тревожит, хотя на вид он так легок и весел. Однако он рисовал смело, даже лихо, когда она обратилась к нему.

— Неужели вам не страшно? — спросила она. — Ведь он вешался здесь как Иуда.

— Ужасно предательство Иуды, а не его самоубийство, — отвечал Гейл. — Я как раз придумал для вывески похожий сюжет. Глядите! В центре — большая голова. — Он несколько раз ударил мелом по солнцу, намечая тени. — Лицо закрыл руками, за ним занимается заря... Тут, сбоку, — багряные облака, тут — багровый петух. Величайший святой, величайший грешник в ореоле восходящего солнца и петух, призвавший его к покаянию.

Он говорил, рисовал, и ей казалось, что неведомая тень больше не падает на него. Яркое предзакатное солнце залило ослепительным светом и его, и вывеску, выглянув из темнеющих предгрозовых туч. На фоне их зловещей синевы и зловещего багрянца он походил на мастера из легенды, облаченного в золото и расписывающего фресками золотую часовню. Сходство стало еще больше, когда голова и сияние апостола проступили из-под его руки. Леди Диана представляла себя порой в былых веках, о которых, надо признаться, знала не слишком много, и сейчас ей показалось, что она видит воочию священное ремесло средневековья.

К несчастью, между ней и солнцем встала тень, ничуть не напоминающая о средних веках. Практичный Джеймс Харрел в шляпе набекрень вскочил на стол и сел почти у самых стоп художника, болтая ногами и нагло пыхтя сигарой.

— Глаз да глаз! — сказал он, обращаясь к д а м е . — Смотрю, как бы чего не выкинул.

Голос его и поза как-то не вязались со старым священным ремеслом.

Диана Уэстермейн толково объяснила себе самой, что сердиться не на что, и все же сердилась. Ее разговор с Гейлом не был тайным, но когда в него вмешался третий, она сочла это дерзостью. Она никак не могла понять, зачем рыцарственному художнику таскать за собой такого развязного человека. Кроме того, ей хотелось послушать еще об апостоле Петре или о чем-нибудь другом. Плюхнувшись на стол, делец пробормотал что-то вроде «конечно, мы люди маленькие...». Если бы он вдруг повис на вывеске, трудно ручаться, что леди сняла бы его.

Вдруг над ее ухом раздался наконец вполне нормальный голос: — Простите, можно с вами поговорить?

Она обернулась и увидела врача. Он держал чемоданчик.

— Перед отъездом,— сказал о н , — я должен предупредить вас.

Они прошли немного по дороге, и он торопливо и резко обернулся к ней.

— Мы, врачи,— начал о н , — часто попадаем в щекотливое положение. Я обязан поговорить с вами на довольно деликатную тему. С вами, а не с вашим братом, потому что у него нервы в гораздо худшем состоянии. Эти люди, обновляющие вывески, кажутся мне подозрительными.

Оттуда, где они стояли, леди Диана видела вывеску, обновляющуюся на глазах, и высокого, чуть не пляшущего человека, залитого солнечным светом, и маленькую черную фигурку у его ног. Ей казалось, что она видит Того, кто творил чистые цвета на заре мира.

— Их прозвали Небесными Близнецами,— говорил в р а ч , — потому что они не расстаются. Много есть неразлучных пар и много причин не расставаться, но одна пара, одна причина — по моей части, и мне неприятно, что это коснулось вас.

— Я ничего не п о н и м а ю , — сказала леди Диана.

— А что, если это сумасшедший и санитар? — спросил доктор и быстро ушел по дороге, не дожидаясь ответа.

Теперь леди Диане показалось, что она летит в бездну с высокой башни; и еще ей показалось, что башня не очень высока и бездна не очень глубока. Эти мысли ее и чувства прервал голос брата, быстро приближавшегося к ней.

— Я пригласил их к нам,— сказал о н . — Обсудим все как следует. Давай поедем, надвигается гроза, и вода прибывает. Ехать придется по двое, коляска наша мала.

Словно во сне, она отвязала лошадь и взяла поводья. Словно во сне, слышала голос, раздражавший ее: «Небесные Близнецы, да... никогда не расстаемся», и голос брата: «Ну, это на минутку... я пошлю за вами Уилсона. Вы простите, только двое помещаются...» Брат и делец разговаривали у дверей кабачка, а Гейл уже спрыгнул со стола и стоял у двуколки.

Она почему-то потеряла терпение и сказала так, словно иначе и быть не может:

— Вы поедете первым, мистер Гейл?

Художник побелел, словно белый свет молнии осветил его лицо. Он оглянулся, вскочил на сиденье, и лошадь, вскинув голову, направилась к броду. Выше по течению уже шел дождь, вода доходила лошади до колен, и леди Диане казалось, что и она, и ее спутник переходят Рубикон.

Конюх Уилсон — один из немногих обитателей замка — отошел в свое время к праотцам, так и не зная, какую роль он сыграл в тревожных событиях того вечера. Хотя его жизнь интересна, как жизнь всякого образа Божия, с этой историей она больше ничем не связана. Достаточно будет сказать, что он был глуховат и, по обыкновению конюхов, лучше разбирался в лошадях, чем в людях. Леди Диана зашла к нему в конюшню, стоявшую у самой реки, и велела отвезти обратно двуколку. Говорила она торопливо и торопила его, потому что в грозу брод исчезал; и мысли его полностью обратились к лошади. Он тронулся в путь под темнеющим небом и у кабачка услышал громкие возбужденные голоса. Ему показалось, что кто-то спорит или ссорится, а его хозяин крикнул ему, что сейчас не до него. Тогда, от греха подальше, он вернулся на свою конюшню, радуясь, что его любимице не пришлось пробираться сквозь бурный поток. Потом он занялся чем-то своим, предоставив судьбе довершать его дело.

Тем временем Диана Уэстермейн, выйдя из конюшни, пыталась нагнать гостя и шла наперерез, через заросли цветов. Взглянув вверх, она увидела, что летучий остров или материк грозовой тучи выплывает из-за темного леса, окаймлявшего долину. Чистые цвета сада стали мертвенными в предгрозовом свете, но выше, у замка, газон еще сверкал золотом, и на золотом фоне четко выделялся тот, кого она хотела догнать. Она узнала светло-коричневый костюм, позолотевший в последних ярких лучах, но сама фигура показалась ей странной. Гейл вроде бы размахивал поднятыми руками, и ее удивило, что руки у него такие длинные. На миг ей показалось, что он — урод, хуже того — безголовое чудовище. Но страшное видение сменилось нелепым: художник перевернулся и, смеясь, встал на ноги. Он просто стоял на голове или, скорее, на руках.

— Простите, — сказал он, — я так часто делаю. Пейзажисту надо увидеть пейзаж вверх ногами. Тогда он видит все таким, как оно есть. Это верно и в философии, не только в живописи.

Он помолчал и прибавил:

— Когда ангел висит вниз головой, мы знаем, что он отсюда, с неба. Только тот, кто приходит снизу, высоко держит голову.

Хотя говорил он весело, она с опаской подошла к нему и не успокоилась, когда он сказал потише:

— Открыть вам тайну?

Над ними тяжело загрохотал гром, и голос Гейла стал похож на звонкий шепот.

— Мир висит головой вниз. Мы все висим вниз головой. Мы — мухи на потолке и не падаем только по неизреченной милости.

Сумерки озарились ослепительным светом, и леди Диана с огорчением увидела, что Гейл не смеется.

— Что вы такое говорите... просто бред какой-то... — раздраженно начала она, и голос ее заглушил грохот грома, в котором ей слышалось «бр-р-ред», «бр-р-ред», «бр-р-ред». Сама того не сознавая, она сказала вслух то, о чем и думать боялась.

В саду еще не было дождя, хотя он лил над рекой. Но если бы он лил и здесь, Гейл бы, наверное, его не заметил. И в более спокойные минуты он умел говорить о своем, не слыша ничего.

— Мы с вами вспоминали апостола Петра, — говорил о н, — а он ведь распят вниз головой. Я часто думаю о том, что в награду за свое смирение он увидел, умирая, прекрасную страну детства. Ему тоже открылся истинный пейзаж — цветы звезд, горы туч и люди, висящие вниз головой на ниточке милости Божией.

Тяжелые капли дождя упали на него, он их заметил. Он очнулся, чуть не подпрыгнул, словно его укусила оса, и сказал иначе, совсем просто:

— Господи, где Харрел? Что они там делают?

Сама не зная почему, Диана побежала сквозь кусты и цветы на ближайший пригорок и посмотрела туда, где стоял приют восходящего солнца. И увидела, что между ним и ею течет река, непроходимая, как река смерти.

Почему-то ей показалось, что это важнее и страшнее, чем перспектива остаться наедине с сумасшедшим. Ей показалось, что само безумие — неприятная случайность, отделяющая ее от какой-то великой радости. Темная река текла между ней и ее волшебным царством.

Гэбриел Гейл страшно закричал. Он тоже увидел, что брода больше нет.

— Вы правы, — сказал о н. — Вы говорили об Иуде, а я посмел говорить о Петре. Я богохульствовал, и мне нет прощенья. Теперь я — предатель. — Он помолчал и прибавил тише: — Да, я — человек, предавший Бога.

Ей стало так больно, что она очнулась. Она слышала, что сумасшедшие иногда обвиняют себя в чудовищных грехах. Храбрость вернулась к ней, она была готова сделать что угодно, но не понимала, что делать. Об этом она и думала, пока ее собеседник не подсказал ей ответ: он побежал к реке.

— Доберусь вплавь, — говорил о н. — Нельзя было его оставлять. Бог знает, что может случиться.

Она побежала за ним и с удивлением увидела, что он свернул к конюшне. Не понимая толком, на каком она свете, она глядела, как он укрощает упирающуюся лошадь, и почему-то радовалась,

что он такой сильный, хотя знала, что безумцы сильны. Сама она пришла в себя, и достоинство не позволяло ей смотреть сложа руки, как он идет на верную смерть. Хотя он и сумасшедший, думала она, сейчас он прав, ему нельзя оставаться без санитаря. Она не вправе допустить, чтобы безрассудство болезни обрекло на гибель последний проблеск разума.

— Править буду я, — звонко сказала Диана, — меня она слушается.

Солнце скрылось за холмами, и стало вдвойне темно — и от вечернего мрака, и от грозы. Двуколка тяжело погрузилась в воду по ступицу колеса, и леди Диана смутно видела, как бегут по реке волны, словно бесплотные тени пытаются переплыть реку смерти и вернуться в мир живых. Слова «река смерти» не звучали теперь иносказанием. Смерть то и дело подступала к коляске и к лошади; гром гремел в уши, и не было другого света, кроме блеска молнии. Спутник ее говорил и говорил, и обрывки его речи казались ей страшнее грома. Разум и реализм подсказывали ей, что он в любую минуту может ее растерзать. Но за этим всем жило что-то другое, невысказанное, порождавшее и доброту ее, и отвагу. Оно лежало глубоко в ее смятенной душе, и она не знала, что это — ликующая радость.

Когда они добрались до берега, лошадь чуть не упала, но Гейл выскочил из двуколки и удержал ее, стоя по колено в воде.

Сквозь грохот грозы леди Диана слышала голоса, высокие и резкие, словно ссора, которую слышал конюх, поднялась высоко, как вода в реке. Потом что-то упало, наверное — стул. Гейл вытащил лошадь на сушу с поистине бесовской силой, бросил поводья и кинулся к кабачку.

И сразу же в дверях одинокой и мрачной таверны раздался страшный крик. Он прокатился по реке, замер в камышах, подобных погибшим душам у Стикса, и самый гром замолк и затаил дыхание, услышав его. Сверкнула молния, и в мгновенном белом свете четко выступили все мелочи пейзажа, от веточек в лесу, за долиной, до клевера у реки. С той же четкостью леди Диана увидела на секунду гнусную, невероятную, но знакомую картину, вернувшуюся в мир яви, как возвращается в мир сна измучивший нас кошмар. На алой и золотистой виселице вывески висела черная фигурка. Но это был не кабатчик.

На секунду Диане показалось, что теперь она сошла с ума, что это ей мерещится, а на самом деле у нее просто пляшут перед глазами черные точки. И все же одна из этих точек была ее братом, висевшим на вывеске, а другая, и впрямь плясавшая, — деловитым мистером Харрелом.

Стало темно, и в темноте она услышала мощный голос Гейла. Она и не знала, что у него может быть такой голос.

— Не бойтесь! — кричал он, заглушая ветер и гром. — Он жив!

Она еще ничего не понимала, но поняла одно: они приехали вовремя.

Не понимая ничего, она прошла сквозь бурю, и очутилась в зале, и увидела в тусклом свете керосиновой лампы трех персонажей неудавшейся трагедии. Брат ее сидел или лежал в кресле, перед ним стоял стакан джина. Гэбриел Гейл, очень бледный, говорил с Харрелом тихо, спокойно и властно, как говорит человек с провинившимся псом.

— Посидите у о к н а , — говорило н . — Придите в себя.

Харрел послушно сел у окна и глядел на грозу, не слыша и не слушая прочих.

— Что это все значит? — спросила наконец Д и а н а . — Я думала... честно говоря, доктор мне сказал, что вы двое — сумасшедший с санитаром.

— Как видите, так оно и есть, — ответил Г е й л . — Только санитар вел себя гораздо хуже, чем сумасшедший.

— Я думала, это вы сумасшедший, — просто сказала она.

— Н е т , — отвечало н , — я преступник.

Теперь они стояли у дверей, голоса их заглушал гром бури, и они были одни, как там, за рекой. Она вспомнила, как странно говорил он тогда, и неуверенно сказала:

— Вы говорили ужасные вещи, потому я и думала... Я не могла понять, зачем вы себя обвиняете.

— Да, я говорю иногда вещи дикие, — сказал о н . — Может, вы и правы, я — свой среди безумцев, потому они меня и слушаются. Во всяком случае, этот безумец слушается меня одного. Это долго рассказывать, я вам расскажу в другой раз. Он, бедняга, меня спас, я обязан теперь за ним присматривать и оберегать его от жестоких как бесы должностных лиц. Понимаете, говорят, что у меня особый дар — воображение богатое, что ли. Я всегда знаю, что безумец подумает или сделает. Я их много видел — и религиозных маньяков, которые считали себя Богом или худшим из грешников, и революционных маньяков, которые поклонялись динамиту или нагоде, и философских маньяков, которым казалось, что они живут в другом мире, чем мы... да они в нем и жили, собственно. Но самым безумным из моих безумцев оказался деловой человек.

Он печально улыбнулся, и печать трагедии снова легла на его лицо.

— А что до обвинений, я сказал меньше, чем надо бы. Ведь я покинул пост, бросил друга в беде, предал Бога. Правда, раньше у нас такого не бывало; но я заподозрил неладное еще тогда, с кабатчиком. Кабатчик и сам хотел умереть, Харрел ему только помог, но идея засела у него в голове. Я не думал, что он тронет вашего брата, иначе бы я... Да что извиняться, когда извинений мне нет! Я слушался себя одного, пока дело не дошло до убийства. Это меня надо повесить на вывеске, хотя заслужил я худшего.

— Почему же . . . — не подумав, начала она и резко замолчала, словно глазам ее открылся неведомый мир.

— Почему! — повторил он. — Вы и сами знаете. Вы помните, ради чего часовые покидали пост. Вы помните, ради чего Троиц покинул Трою, а может — и Адам покинул рай. Мне не нужно вам объяснять, да я и не вправе.

Она глядела во тьму, и на ее лице застыла странная улыбка.

— Вы обещали мне рассказать ту, другую историю, — сказала она. — Вот и расскажете, если мы встретимся.

Диковинные друзья ушли наутро, когда солнце взошло над дорогой. Гроза покинула долину, дождь улегся, пели птицы. Странные вещи случились до того, как Диана снова встретила с Гейлом; но сейчас ей стало легко, и она погрузилась в созерцание. Она вспоминала его слова о мире, перевернутом головой вниз, и думала о том, что за прошлый вечер мир несколько раз перевернулся. Почему-то ей показалось, что теперь он стоит так, как надо.

ТЕНЬ АКУЛЫ

Достоинo внимания, что покойный Шерлок Холмс лишь дважды отверг разгадку как совершенно невозможную; и оба раза его почтенный родитель признал впоследствии, что ничего невозможного здесь нет. Великий сыщик сказал, что преступление нельзя совершить с воздуха. Артур Конан Дойл, патриот и военный историк, повидал с той поры немало таких преступлений. Сыщик сказал, что убийцей не может быть дух, привидение, призрак — словом, один из тех, с кем теперь так успешно общается сэр Артур. С новой точки зрения любимого нами писателя собака Баскервилей вполне может быть исчадием ада (если, конечно, присущий спиритам оптимизм допускает существование столь неприятных тварей). Мы отметили это недоразумение лишь потому, что убийство, о котором пойдет речь, ученые пытались свалить на авиаторов, спириты — на духов; хотя не ясно, что же хорошего, если дух или авиатор станет убийцей.

Это убийство, быть может, еще помнят; в свое время оно потрясло всех. Погиб сэр Оуэн Крам, чудаковатый богач, помогавший поэтам, художникам и ученым. Его нашли на мокром песке, у моря, но следов убийцы там не было. Врачи определили, что такую рану он не мог нанести себе сам, но никто не понимал, чем же и как ее нанесли. Подозрения, повторю, падали на духов и авиаторов, причем и поборники науки, и поборники спиритизма гордились, что их подопечные так хорошо работают. На самом же деле убийца вышел не за пределы природы, а за пределы нравственности. Чтобы читатель сам это понял, отступим к той сцене, с которой все началось.

Перенесемся на лужайку перед приморской виллой сэра Оуэна.

Амос Бун когда-то проповедовал дикарям и до сих пор одевался как миссионер. Он носил бороду, сюртук и широкополую шляпу, что выглядело и нелепо, и экзотично. Лицо у него было темное, борода — черная, он вечно хмурился, а один его

глаз становился иногда больше другого, и это придавало зловещую загадочность его заурядным чертам. Проповедовать он не хотел, ибо, по его словам, взгляды его стали шире. Многие подозревали, что он имеет в виду нравственность, — люди нередко эмансипируются на дальних островах. На самом деле он просто исследовал и любил обычаи дикарей. В путешествия он не брал ничего, кроме огромной Библии, и затвердил наизусть сперва заповеди, потом — противоречия; ведь обличитель Библии — тот же начетчик, только он стоит вверх ногами. Бун вечно доказывал (а это нетрудно), что Давид и Саул не всегда вели себя образцово, и завершал свои речи похвалой филистимлянам. Филистимляне эти стали притчей во языцех у его молодых, непочтительных знакомых, которые спорили с ним или над ним шутили.

Сейчас под началом сэра Оуэна шел полушутливый спор о науке и поэзии. Препирались молодые гости, хозяин слушал. Он был невелик, подвижен, седоус, а волосы на его большой голове стояли хохолком. Легкомысленным гостям он напоминал краба; и впрямь, он как будто полз сразу во все стороны. Он был дилетантом во всем и часто сменял свои пылкие пристрастия. Все деньги он в порыве чувств завещал на устройство музея естественной истории, а сам немедленно увлекся ландшафтной живописью. Люди, собравшиеся у него, олицетворяли разные его увлечения. Сейчас молодой художник, занимавшийся и поэзией, отстаивал красоту перед врачом, занимавшимся биологией.

— Разговоры о цветах надоели, — рассуждал он, — но не сами цветы. В наше время на них смотрят как на узор обоев. «Цветы вообще» действительно скучны и слащавы, но если вы увидите цветок, он поразит вас. Говорят, падающая звезда — к добру. Насколько же лучше звезда живая!

— Почему? — благодушно спросил ученый, молодой человек в пенсне по фамилии Уилкс. — Боюсь, мы уже не умеем так смотреть. Цветок — растение; оно не лучше и не хуже животного. У насекомых бывают такие же яркие узоры. Мне цветы интересны, как, скажем, спруты, которых вы сочтете чудовищами.

— Не скажите, — возразил поэт. — Можно все повернуть иначе: не цветок уродлив, как спрут, а спрут прекрасен, как цветок. В сущности, чудища морские — цветы особого, сумеречного сада. Наверное, Творец любит акул, как я люблю лютиком.

— Ну, что до Творца, дорогой мой Гейл... — начал ученый и вдруг заговорил с уше. — Я всего лишь человек, хуже того — биолог, а для вас это пониже осьминога. Мне акула интересна тем, что я могу ее резать.

— Вы видели акулу? — внезапно вмешался в беседу Амос Бун.

— В гостях не встречал, — веселым и вежливым тоном ответил поэт, но лицо его вспыхнуло. Он был высок, долговяз, звался Гэбриелом Гейлом, и картины его славились больше, чем стихи.

— Вероятно, вы видели их в музее, — продолжал Бун, — а я видел их в море. Я видел акул в их собственном царстве, где им поклоняются как Богу. Я и сам готов им поклоняться, чем они хуже богов?

Гэбриел Гейл молчал, ибо он всегда мыслил образами. Ясно, как в видении, созерцал он кишашее чудищами море. Но в беседу вступил еще один гость — студент-богослов по имени Саймон, обломок теологических увлечений хозяина, худой, темноволосый, молчаливый, с каким-то диковатым взором. Из осторожности или из гордости он предоставил право спора склонному к спорам поэту; но сейчас заговорил.

— Неужели они поклоняются акуле? — спросил он. — Какая ограниченная вера!

— Вера! — гневно повторил Бун. — Что вы о ней знаете? Вы протягиваете руку, сэр Оуэн дает деньги, и вы строите молельню, где старый краснобай проповедует старым девам. Вот мои дикари, те веру знают. Они приносят ей в жертву животных, детей, жизнь. Вы бы позеленели от страха, если бы хоть краем глаза увидели их веру. Это — не рыба в море, а море, где живет рыба. Они обитают в вере, словно в синей туче или в зеленой воде.

Все повернулись к нему. Лицо его было еще значительней, чем слова. Сад, раскинувшийся под сенью меловой горы, окутывали сумерки, но последние лучи золотили зелень газона и переливались на фоне моря, сине-лилового вдаль, бледно-зеленого поближе. У горизонта проползла большая странная туча, и лохматый человек в широкополой шляпе воздел к ней руки.

— Я знаю край, — воскликнул он, — где тень этой тучи назвали бы тенью акулы, и тысячи людей пали бы ниц, готовые к посту, борьбе и смерти. Видите темный плавник, подобный вершине горы? А вы обсуждаете акулу, как удачный удар в гольфе. Один готов ее резать, как пирог, другой — рад, что какой-то Ягве снизойдет и погладит ее, как кролика.

— Ну, ну, — нервно вмешался сэр Оуэн, — зачем кошунствовать!

Бун покосился на него грозным взглядом, именно взглядом, ибо одно его око расширилось и сверкало, как у циклопа. Он властно выпрямился, черный на пылающем зеленом фоне, и всем показалось, что они слышат, как бушует его борода.

— Берегитесь! — возопил он. — Это вы кошунствуете!

И, прежде чем кто-нибудь шевельнулся, зашагал прочь от дома, черный на фоне золота. Шагал он так решительно, что все на миг испугались, как бы он единым духом не взлетел на вершину; но он вышел в калитку, взошел на холм по склону и спустился по тропинке в рыбацью деревню.

Сэр Оуэн стряхнул оцепенение, словно короткую дремоту.

— Мой старый друг чудаковат, — сказал он. — А вы, друзья мои, не уходите, не давайте ему расстроить нашу беседу. Еще совсем рано.

Но сумерки сгущались, всем было не по себе, и беседа не шла. Только Саймон, Гейл и противник их, Уилкс, остались к обеду. Когда стемнело, они вошли в дом и сели за стол, на котором, как всегда, стояла бутылка шартреза — сэр Оуэн тратился не только на чудачества, но и на им самим установленные ритуалы. Говорливый поэт молчал, глядя на зеленую жидкость, как в зеленые глубины моря. Хозяин оживленно хвастался.

— Да, — говорил он, — куда вам до меня, лентяям! Весь день просидел за мольбертом на берегу. Пытался написать этот чертов холм так, чтобы вышел мел, а не сыр.

— Я вас видел, — сказал Уилкс, — но не хотел мешать. Я ведь ищу там экспонаты для музея. Наверное, люди думают, что я просто шлепаю по воде здоровья ради. А я вот набрал много хорошего. Заложил основы музея, во всяком случае, морского отдела. Потом я разбираю свои находки, так что ленью меня не попрекнешь. И Гейл там гулял. Он, правда, ничего не делал, а сейчас ничего не говорит, что гораздо удивительнее.

— Я писал письма, — сказал аккуратный Саймон. — Это — не пустяк. Письма бывают и ужасными.

Сэр Оуэн взглянул на него. Никто не говорил, пока не зазвенели бокалы. Это Гейл ударил по столу кулаком.

— Дагон! — вскричал он в каком-то озарении.

Не все его поняли. Быть может, хозяин и ученый решили, что так ругаются поэты; но темные глаза богослова посветлели, и он поспешно кивнул.

— Ну, конечно, — сказал он. — Потому он и любит филистимлян.

В ответ на удивленные взгляды он тихо пояснил:

— Филистимляне пришли с Крита на палестинский берег. Быть может, они — греки. Они поклонялись божеству, возможно Посейдону, которое враги их, израильтяне, именуют Дагоном. Символ его — рыба.

Сведения эти пробудили к жизни угасший было спор.

— Признаюсь, ваш Бун меня огорчил, — сказал Уилкс. — Считает себя рационалистом, изучает тихоокеанский фольклор, а сам разводит суету вокруг какого-то фетиша, просто рыбы...

— Нет, — пылко перебил его Гейл. — Лучше поклоняться рыбе! Лучше заклать себя и всех прочих на ее ужасном алтаре! Да что угодно лучше, чем страшное кошунство: назвать ее «просто рыбой». Это так же страшно, как слова «просто цветок».

— И тем не менее, — отвечал Уилкс, — цветок и есть «просто цветок». Глядя на все это беспристрастно, извне...

Он замолчал и прислушался. Другим показалось, что его тонкое бледное лицо стало еще бледней.

— Что там в окне? — спросил он.

— В чем дело? — встревожился хозяин. — Что вы увидели?

— Лицо, — ответил ученый, — но... но не человеческое. Пойду погляжу.

Гэбриел Гейл кинулся за ним и тут же застыл на месте. Он увидел это лицо; и, судя по глазам обоих других, они его тоже видели.

За темным стеклом слабо светилась огромная морда, похожая на театральную маску. Глаза ее окружали круги, как у сов, но покрыта она была не перьями, а чешуей.

Она тут же исчезла. В быстром воображении поэта пронеслись, как в кино, диковинные образы. Он увидел огромную рыбу, пролетевшую сквозь пену волн и вырвавшуюся в тихий воздух, застывший над пляжем и над крышами рыбацкого поселка. Он увидел, как самый этот воздух позеленел, сгустился, стал жидким, чтобы морские чудища могли в нем плавать. Он почувствовал, что дом — на дне моря и рыбы снуют у его окон, как у иллюминаторов погибшего корабля.

Тут за окном раздался громкий голос:

— Рыба умеет бегать!

Это уж было совсем жутко. Но страх развеялся, когда в раме дверей показался веселый, задыхающийся Уилкс.

— Бегает она быстро! — сказал он. — Заяц, а не рыба! Но я разглядел, что это — человек. Кто-то над нами издевается, вот вам и вся тайна.

Он поглядел на сэра Оуэна и улыбнулся недоброй улыбкой.

— Одно мне ясно, — заключил он. — У вас есть враг.

Про бегущую рыбу скоро забыли, тем и без нее хватало. Каждый думал о своем, все спорили, даже тихий Саймон втянувшись в споры и проявил в них ловкость, граничащую с цинизмом. Сэр Оуэн писал, по-дилетантски пылко, Гейл ленился, Бун ругал Библию, Уилкс корпел над обитателями моря, как вдруг поселок потрясла беда, и все английские газеты заговорили о ней.

Гейл карабкался по зеленому склону к белой меловой вершине, и мысли его звучали в лад штурмовавшему небеса рассвету. Облака, окруженные сиянием, пронеслись над ним, словно сорвавшись с огненного колеса, а на вершине он увидел то, что видят редко: солнце было не сверкающим кругом на сверкающем небе, а пламенным очагом, извергающим свет. Наступил час отлива, и море бирюзовой полоской лежало внизу, странно и даже страшно поблескивая. Ближе шла полоска желто-розовая — песок еще не высох, еще ближе — мертвенно-охряная пустыня, все больше бледнеющая в первых лучах. Когда она стала бледно-золотой, Гейл взглянул вниз и увидел в самой ее середине три черных пятна: маленький мольберт, складной стул и распростертое тело.

Тело не двигалось, но вскоре Гейл обнаружил, что кто-то движется к нему по пескам. Вглядевшись, он узнал Саймона и тут же понял, что лежит сэр Оуэн. Он кинулся вниз, подбежал к студенту, но оба они взглянули не друг на друга, а на своего

хозяина. Гейл уже не сомневался, что Крам умер. Однако он сказал:

— Нужен врач. Где Уилкс?

— Врач не нужен, — сказал Саймон, глядя на море.

— Уилкс признает то, чего мы боимся, — сказал Гейл. — А может, еще и объяснит, что именно случилось.

— Верно, — сказал студент. — Пойду позову.

И быстро пошел по холму, ступая в собственные следы.

Гейл смотрел на следы и ничего не понимал. Он видел свои, видел следы Саймона, видел отпечатки ботинок несчастного Крама, ведущие к самому мольберту, — и все. Песок был влажен, любой след отпечатался бы на нем; вода сюда не доходила; но, судя по следам, сюда не приходил никто. Однако под челюстью сэра Оуэна зияла страшная рана. Орудия рядом Гейл не видел, Краму просто нечем было убить себя.

Гэбриел Гейл любил здравый смысл, хотя бы в теории. Он твердил сам себе, что рассуждать надо, исходя из следов (или их отсутствия) и из особенностей раны. Но часть его сознания не поддавалась, она вечно перечила ему, подсовывая ничтожные и ненужные предметы. И сейчас внимание его непрестанно тревожило совсем другое: у левой ноги несчастного Крама лежала морская звезда. То ли поэта привлек ее ярко-оранжевый цвет, то ли она ему о чем-то напомнила, то ли распластавшееся тело повторяло ее очертания, хотя и без пятого луча. Как бы то ни было, Гейл не мог отделаться от навязчивой мысли, что тайна очень проста и маленькая морская тварь тесно с ней связана.

Он поднял голову и увидел, что идет Саймон с врачом, вернее, с двумя врачами. Вторым оказался доктор Гарт, невысокий человек с худым приветливым лицом. Он был другом Гейла, но поэт кивнул ему довольно безучастно. Гарт и Уилкс осмотрели тело и установили смерть. До прихода полиции они не могли шевелить убитого, но и так увидели достаточно. Не распрямляясь, Гарт сказал коллеге:

— Странная рана. Удар — почти прямо вверх, словно его нанесли снизу. Но сэр Оуэн очень мал ростом. Трудно предположить, что убийца еще меньше.

— Уж не морская ли это звезда? — воскликнул Гейл.

— Нет, не звезда, — сказал Гарт. — Что с вами?

— С ума, наверное, схожу, — отвечал поэт и медленно пошел вдоль берега.

Время все больше подтверждало его диагноз. Образ морской звезды преследовал его, являясь ему в снах, и был отчетливей и ужасней, чем мертвое тело. Тело это он сперва увидел сверху и теперь видел таким же, только на вертикальном, а не горизонтальном фоне. Иногда песок становился золотой стеной, тело — расплостертой на ней фигурой мученика; иногда оно было восточным иероглифом, застывшим в пляске божеством; звезда о пяти лучах его не покидала. Она походила на древний багровый

рисунок, и весь живой багрец сосредоточивался в ней. Очертания человека становились все абстрактней, все суше, звезда — все живее, и, казалось, она вот-вот зашевелит огненными пальцами, пытаясь объяснить, что же произошло. Порой человек стоял на голове, а звезда, как ей и положено, сверкала над ним.

— Я назвал цветок живой звездой, — говорил себе Гейл, — а на самом деле — вот она, живая звезда. Нет, я и правда скоро свихнусь. Чего-чего, а этого я никак не хочу. Какой от меня прок моим сумасшедшим собратьям, если я упаду с веревки, натянутой над бездной?

Он думал долго; а когда все понял, удивился, что долго думал. Все было так просто, что он посмеялся над собой и пошел в деревню.

— Бун с акулой, я — со звездой... — бормотал он на пути. — Аквариум получше, чем у этого Уилкса! Пойду пораспрошу рыбаков...

Он расспросил их, и под вечер, когда он возвращался, вид у него был вполне спокойный. «Мне всегда казалось, — думал он, — что следы тут — самое простое. Есть вещи и посложней».

Он поднял голову и увидел вдалеке, в тихом предвечернем свете, странную шляпу и коренастую фигуру Амоса Буна.

Встречаться с ним он не хотел и свернул к тропинке, ведущей на вершину холма. Бун что-то чертил зонтиком на песке, как ребенок чертит замок, но вряд ли у него была такая благородная цель. Гейл часто заставлял его за каким-нибудь бессмысленным занятием; но когда он дошел до вершины, наваждение снова овладело им. Он твердил, что все его дело — идти по веревке над пропастью, в которую свалилось много других людей. Однако он взглянул вниз, на песок, плывущий под ним, и увидел, что линии сложились в рисунок, плоский, как узор на обоях. Дети часто рисовали на песке свинью; но этот рисунок был другим, древним, как наскальные изображения. Бун изобразил не свинью, а осклизшую акулу с торчащим вверх плавником.

Не только Гейл смотрел на нее. У невысоких перил, наверху, стояли три человека. Еще снизу, с лестницы, поэт узнал обоих врачей и инспектора полиции.

— Добрый вечер, Гейл, — сказал Уилкс. — Разрешите вас познакомить с инспектором Дэвисом.

Гейл кивнул.

— Насколько я понимаю, — заметил он, — инспектор тут по делу.

— И дело это не терпит, — добродушно сказал Дэвис. — Пойду в деревню. Кто со мной?

Уилкс пошел с ним, а Гарт придержал за рукав его друг.

— Гарт, — сказал он, — простите меня. Я встретил вас вчера не так, как встречают друга. Нам с вами довелось распутывать странные дела, и я хочу с вами поговорить об этом деле, нынешнем. Сядем на скамейку, хорошо?

Они сели на железную скамью, с которой были видны и пляж, и море, и Гейл прибавил:

— Расскажите мне, пожалуйста, как вы додумались до того... ну, до чего додумались.

Гарт долго глядел на море, потом сказал:

— Вы приглядывались к Саймону?

— Да, — ответил поэт. — Значит, вы подозреваете его?

— Понимаете, — начал Гарт, — расследования показали, что он знает больше, чем говорит. Туда он явился раньше вас и не хотел сообщать поначалу, что же он видел. Мы догадались, что он боится сказать правду.

— Саймон вообще немногословен, — задумчиво сказал Гейл. — Он мало говорит о себе, значит — много о себе думает. Такие люди всегда скрытны — не потому, что они преступны, и не потому, что они коварны, а просто от мрачности. Он из тех, над кем издеваются в школе, а они никому не жалуются. О том, что его мучает, он говорить не может.

— Не знаю, как вы угадали, — сказал Гарт, — но так оно и есть. Поначалу думали, что молчание его — знак вины. Оказалось, что все сложнее, все у него перепуталось самым роковым образом. Когда он начал подниматься на холм, он увидел то, что поразило его сумрачную душу. Амос Бун стоял над обрывом, черный на фоне зари, и странно размахивал руками, словно собирался взлететь. Саймон решил, что он сам с собой разговаривает или что-то поет. Потом Бун ушел в деревню, скрылся в сумерках; а когда Саймон влез на вершину, он увидел, что внизу, на песке, лежит наш мертвый хозяин.

— С тех пор, — предположил Гейл, — Саймон повсюду видит акул.

— И тут вы правы, — сказал Гарт. — И тень на занавеске, и туча на небе кажутся ему акулой с поднятым плавником. За такую акулу примешь что угодно. Любой длинный предмет с треугольником наверху перепугает человека в его состоянии. Пока он думал, что Бун убил беднягу издали, заклятием, мы не могли ничего из него выжать. Нам нужно было его убедить, что мистики тут нет. И мы его убедили.

— Что же вы придумали? — спросил поэт.

— Ничего особенно конкретного, — ответил врач. — Но я и сам верю, что Бун мог убить сэра Оуэна каким-то естественным образом. Смотрите: он долго жил среди дикарей, в том числе на островах там, за Австралией. Мы знаем, что у этих вроде бы невежественных людей есть удивительное оружие. Они убивают на большом расстоянии, дуя в какие-то трубки, они умеют загарпунить и заарканить то, что очень далеко. Наконец, они изобрели бумеранг. Бун вполне может все это знать. Мы с доктором Уилксом осмотрели рану. Она весьма необычна. Нанесена она острым, слегка изогнутым орудием, причем, заметьте, не просто изогнутым, а с каким-то крючком на конце. Это похоже на заморское оружие, и свойства у него могут быть самые

удивительные. К тому же наша гипотеза объясняет еще одну загадку. В этом случае ясно, почему нет следов.

Гейл долго смотрел на море, потом сказал:

— Очень умно... Правда, я и так знаю, почему нет следов. Все было гораздо проще.

Гарт посмотрел на него и серьезно спросил:

— Разрешите узнать, что же придумали вы?

— То, что я придумал,— ответил Гейл,— многие назовут простыми домыслами или поэтическими мечтаниями. Почти все современные люди, как ни странно, очень любят теории, но совершенно не связывают их с жизнью. Они вечно толкуют о типах нервной системы, об окружении, о случайности. На самом же деле человека создает мировоззрение. Многие, очень многие убивают и женятся, творят и тоскуют по вине той или иной теории. Вот я и не могу начать мой рассказ так, как хотели бы вы, врачи и сыщики. Я не могу перейти «прямо к делу», я вижу сперва сознание, а уж потом внешность. Начать я могу только с рассказа о душе, о которой, как это ни жаль, рассказать почти невозможно. Убийца, или безумец, как хотите, должен в нашем случае обладать рядом свойств. Взгляды его дошли до безумной простоты, в этом смысле — он дикарь; но я не думаю, что дикость эта перекинулась и на средства. С дикарем он сходен тем, что все и вся видит обнаженным. Он не понимает, что одежда, облачение бывает реальней человека, даже предмета. Человек — неполон, он как бы «не в себе», когда при нем нет символа его общественного достоинства. Голые люди — не совсем люди. Относится это и к вещам, и к животным. Об ауре наговорили много ерунды, но есть в этом учении и правда. Все на свете окружено сиянием, даже мелкие твари, которых он изучал.

— Каких это Бун изучал мелких тварей? — удивился Гарт. — Людоедов?

— Я говорю не о Буне, — сказал Гейл.

— О ком же? — чуть не закричал врач. — Да Буна вот-вот схватят!

— Бун — хороший человек, — спокойно сказал Гейл. — Он очень глуп, потому он и разуверился в вере. Бывают и умные атеисты, сейчас мы к ним перейдем, но этих, глупых, гораздо больше, и они гораздо лучше. Бун хороший человек, он не мыслит зла, а говорит всю эту чушь, потому что считает себя мучеником идеи. Сейчас он, наверное, немного не в себе, ум его не выдержал путешествий. Считается, что путешествия развивают ум, но для этого ум надо иметь. А Бун сам не знает, что к чему, как очень многие люди. Но я не удивлюсь, если небо набито такими атеистами, и они, почесывая за ухом, никак не поймут, куда попали.

И хватит про Буна. Речь не о нем. Тот, о ком я хочу говорить, гораздо страшнее. Он думал не о жертвоприношениях; он думал об убийстве — простом, бесчеловечном, тайном, как ад.

Я понял это, когда спорил с ним впервые, и он сказал, что не видит красоты в цветке.

— Ну, вы у ж . . . — начал доктор Гарт.

— Я не хочу сказать,— великодушно допустил поэт, — что человек, исследующий ромашку, на пути к виселице. Но я хочу сказать и скажу, что тот, кто так думает, вступил на ведущий к виселице путь. Этот ученый хотел глядеть на все извне, видеть все в пустоте, знать лишь мертвые тела. Это не только не похоже на Буна или Иова, это прямо им противоположно. Иов и Бун ошеломлены тайной; тот человек тайну отрицает. Не пугайтесь, это не богословие, а психология. Много прекрасных атеистов и пантеистов толкуют о чудесах природы; но тот человек не знает чудес, он ничему не удивляется. Неужели вы не видите, что этот безжалостный свет срывает, как личину, и тайну нравственную, ощущение святости жизни? Любой прохожий для таких людей — только организм. Им не страшно прикоснуться к человеческому телу, и вечность не смотрит на них из человеческих глаз.

— Хорошо, в чудеса он не верит,— сказал Г а р т , — но он их творит. Как бы иначе он сумел пройти, не оставив следов?

— Он шел по в о д е , — ответил Гейл.

— Так далеко от нее?

Гейл кивнул.

— Вот этому я и удивился, пока не увидел на песке одну штуку. Когда я ее увидел, мысли мои изменились, и я спросил рыбаков, какие здесь бывают приливы. Все очень просто. Перед тем как мы нашли тело, был прилив. Вода дошла до того самого места, где сидел Крам, почти до него. Так и вылезла из моря акула в человеческом облике. Так и пожрала она несчастного. Убийца шлепал по мелкой водице, как ребенок в летний день.

— Кто шлепал по водице? — спросил Гарт и вздрогнул.

— Кто ловил каждый вечер морских тварей? — вопросом на вопрос ответил Г е й л . — Кто унаследовал деньги? Кому нужны они, чтобы поразить всех музеем и вознестись до высот науки? С кем говорил я в саду и кто сказал «просто цветок»?

— Придется вас понять,— мрачно проговорил Г а р т . — Вы имеете в виду человека по имени Уилкс.

— Чтобы понять Уилкса, надо многое п о н я т ь , — продолжал его д р у г . — Надо, как говорится, воссоздать преступление. Посмотрите на длинную линию моря и песка, где пробегают багровые отсветы заката. Сюда он ходил каждый вечер, в этой кровавой мгле он искал живых тварей. Он создавал музей, как некий космос, где будет все — от ископаемого до летающей рыбы. Он тратил на него много денег и незаметно запутался в долгах. Он убедил Крама оставить все музею; ведь для него Крам был просто старый олух, который рисует, хотя не умеет рисовать, и говорит о науке, хотя ничего в ней не смыслит. Такому существу положено одно: умереть и спасти дело. Каждое утро Уилкс протирал свои витрины, потом шел на холм искать своих

ископаемых, потом сгружал их в свой мешок, разворачивал сеть и принимался ловить морских тварей. Теперь взгляните на темно-красный песок, и вы увидите все. Никогда ничего не поймешь, пока не увидишь картины внутренним взором. Он проходил мили вдоль моря и давно привык видеть на песке мертвые существа — морского ежа, морскую звезду, краба... Я уже говорил, что он дошел до того состояния, когда на ангела смотрят глазами орнитолога. Как же смотрел он на человека, да еще на такого? Ведь сзади бедный Крам выглядел как краб или как морская звезда: маленький, скрюченный, усы торчат, ноги в стороны... Да, две ноги у него, три у складного стула, — морская звезда! Уилксу оставалось присоединить к коллекции и этот образчик, чтобы ее спасти.

Он выбросил вперед сачок — палка длинная, — накинул сеть на старика, стащил его назад со складного стула, опрокинул на песок. Бедный сэра Оуэн, наверное, был очень похож в ту минуту на большую белую моль. Убийца наклонился к нему. В одной руке у него был сачок, в другой — молоток геолога. Острым концом молотка он ударил жертву в то место, которое подсказал ему врачебный опыт. Рана такая странная именно потому, что убийца и убитый находились в очень странных позах. Убийца наносил удар, когда голова жертвы была перевернута. Так было бы, если бы Крам стоял на голове, но жертвы не часто ожидают убийцу в этой позе. Когда Уилкс снимал сачок, оттуда выпала звезда. Она и открыла мне все — я никак не мог понять, как же она очутилась так далеко на берегу, и стал думать о приливах. Наконец я понял, что прилив и смысл следы; а все она, желто-алое чудище о пяти лучах!

— Значит, — спросил Гарт, — тень акулы здесь ни при чем?

— Нет, — сказал Гейл, — не значит. Убийца спрятался в этой тени, ударил из-под ее покрова. Я не думаю, что он ударил бы вообще, если бы ее не было. Потому он и раздул миф о бедном Буна, пляшущем перед Дагоном. Помните, рыба заглянула в окно? Она была как живая — ведь он взял модель из своей коллекции и оставил ее в холле, в мешке. Это очень просто: он поднял тревогу, выбежал, надел эту маску и заглянул в окно. Тем самым он навел сэра Оуэна на мысль о каком-то враге. Ему были нужны кумиры и тайна, чтобы никто не заметил его разумного убийства. Как видите, так и получилось. Вы сами сказали мне, что Буна вот-вот схватят.

Гарт вскочил.

— Что же делать? — спросил он.

— Вам виднее, что делать, — сказал поэт. — Вы хороший и справедливый человек, а главное, вы — человек практичный. Я непрактичен...

Он встал и виновато добавил:

— Видите ли, некоторые вещи понимают только непрактичные люди.

И он заглянул в бездну, лежавшую у его ног.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ГЭБРИЕЛА ГЕЙЛА

Доктор Баттерворт, знаменитый лондонский врач, сидел без пиджака, отдыхая после тенниса, потому что играл в жару на залитой солнцем лужайке. Плотный, приветливый с виду, он повсюду вносил дух бодрости и здоровья, что внушало доверие пациентам, но не слишком занимало его самого, ибо он был не из тех, кто ставит заботу о собственном здоровье превыше всего. Он играл в мяч, когда хотел, и бросал игру, когда х о т е л, — например, сейчас он бросил ее и ушел в тень покурить. Игра развлекала его, как хорошая шутка. Для многих это значило, что он никогда не станет теннисистом, для него же — что он никогда не перестанет играть. Шутки он очень любил и замечал их там, где другой не заметит; так и теперь он заметил смешное, как шутка, сочетание красок. В темной рамке дверей, как в рамке сцены, сверкала золотом дорожка, по бокам ее рдели и пылали веселые тюльпаны, и четкостью своей, и яркостью подобные орнаменту персидской миниатюры, а посередине шел совершенно черный человек. И шляпа его, и костюм, и зонтик были черными, словно сам Черный Тюльпан ожил и двинулся в путь. Однако минуты через две все стало на свои места: доктор узнал лицо под черными полями и, присмотревшись, понял, что шуткой тут и не пахнет.

— Здравствуйте, Гарт,— приветливо сказал о н . — Что это с вами? Вы как на похороны собрались!

— Я и собрался, — отвечал доктор Гарт, кладя на стул черную шляпу. Он был невелик ростом, рыжеволос, а умное его лицо осунулось и поблекло.

— Простите,— быстро сказал Баттерворт, — я не подумал...

— Это похороны особые,— мрачно пояснил Г а р т . — В таких случаях мы, врачи, делаем все, чтобы закопать пациента живым.

— Что вы такое говорите? — ужаснулся его коллега.

— А чтобы закопать его ж и в ы м , — с жутким спокойствием продолжал Г а р т , — нужны два врача.

Баттерворт беззвучно присвистнул, глядя на сверкающую дорожку.

— Ах вон оно что! — проговорил он и отрывисто прибавил: — Да, дело неприятное. Но вам как будто особенно тяжко. Что, близкий друг?

— Лучший мой друг, кроме вас, — отвечал Г а р т . — Лучший из нынешних молодых. Я давно этого боялся, но не думал, что это проявится в такой острой форме.

Он помолчал и быстро выговорил:

— Это Гейл. Он перестарался.

— В каком смысле? — спросил Баттерворт.

— Трудно объяснить, если вы с ним не знакомы, — сказал Г а р т . — Он пишет стихи и картины и много странного делает, но главное — он решил, что может лечить сумасшедших. Лечил, лечил и сам свихнулся. Беда ужасная, но кто его просил их лечить?

— Я все-таки не пойму, — терпеливо сказал Баттерворт.

— Он считал, — ответил Г а р т , — что у него свой метод: сочувствие. Нет, не в житейском смысле слова! Он думал и чувствовал с ними вместе, шел с ними, так сказать, куда мог. Я дразнил его, беднягу: если больной думает, что он стеклянный, Гейл постарается стать попрозрачней. Он действительно верил, что умеет смотреть на мир глазами безумца и говорить с ним на его языке. Я его методу не доверял.

— Еще бы! — откликнулся Баттерворт. — Что ж, если пациент хромает, и врачу хромать прикажете? Если пациент ослеп, и врачу слепнуть?

— Слепой ведет слепого... — мрачно процитировал Г а р т . — Вот Гейл и упал в яму.

— Что же с ним случилось? — спросил Баттерворт.

— Если он не попадет в больницу, — сказал Г а р т , — он попадет в тюрьму. Потому я и приехал за вами так спешно. Видит Бог, не люблю я этой процедуры. Гейл всегда был чудаковат, но ум у него был крепкий, здоровый. А теперь он такого натворил, что я в его болезни не сомневаюсь. Он набросился на человека и чуть не убил его вилами. Но я его знаю, и меня особенно поражает, что он напал на совершенно безобидную тварь, на истинную овцу. Это неуклюжий студент-богослов из Кембриджа. В здравом уме Гэбриел никогда бы такого не сделал. Он схватывался — и то словесно, не в драке — с людьми категоричными, важными, властными, как этот брезгливый доктор Уилкс или тот русский профессор. Он не мог обидеть нелепого Сондерса, как не мог ударить ребенка. А он его обидел на моих глазах. Значит, он был не в себе.

И еще одно убедило меня в том, что он заболел. Погода была тяжкая, стояла жара, надвигалась гроза, но раньше на него такие вещи не действовали. Каких он только глупостей не делал! Мне говорили, он стоял в саду на голове, но это он хотел

показать, что грозы не боится. А тут он был очень возбужден, даже разговор о грозе его возбуждал. Собственно, все ужасы и начались с простого разговора о погоде.

Как-то мы были у леди Флэмборо в саду. Накрапывал дождь, и хозяйка сказала одному из гостей: «Вы принесли плохую погоду». Слова эти самые банальные, но тут она сказала их Герберту Сондерсу, а он очень робкий, неуклюжий — знаете, такой долговязый юнец с большими ногами. Сондерс страшно смутился и что-то хмыкнул, но Гейла эта фраза взвинтила. Потом он встретил леди Флэмборо в гостях. Снова шел дождь, и Гейл показал на долговязого Сондерса и шепнул, словно заговорщик: «Это все он». И вот наконец его сразило простое совпадение — они ведь бывают, но на сумасшедших слишком сильно действуют. В следующий раз мы с ним были у миссис Блэки. Погода стояла прекрасная, и хозяин показывал нам свой сад и теплицы. Потом мы пошли пить чай в большую синевато-зеленую комнату, и тут явился запоздавший Сондерс. Когда он усаживался за стол, все подшучивали над ним, говорили о погоде и радовались, что примета не сработала. Мы встали и разбрелись по комнатам. Гейл направился к выходу в сад, но вдруг застыл на месте, указывая куда-то. Этот жест испугал меня, но когда я взглянул, я был поражен не меньше: окна, еще недавно ярко-голубые, были черными от дождя. Десять минут назад сад сиял, как сад Гесперид, а сейчас ливень лил так, словно начался в прошлом столетии. Гейл постоял, поглядел, обернулся и взглядом, которого мне не забыть, пронзил Герберта Сондерса.

Сами понимаете, я не верю в колдовство или в ведьм, призывающих бурю, но здесь и впрямь выходило забавно. Конечно, это простое совпадение, но я боялся, что оно повлияет на психику моего бедного друга. Они с Сондерсом стояли и смотрели в одно и то же окно на залитый ливнем сад и мечущиеся ветви. Простодушное лицо студента выражало лишь незлобивое удивление, он даже смущенно улыбался, как будто его похвалили. Он ведь из тех, кого похвала смущает больше, чем обида. Конечно, он видел только смешную сторону дела и думал, что наш климат снова подшучивает над ним. Лицо же Гейла было ужасно. Когда белый свет молнии разорвал тьму, я увидел, что оно искажено гримасой торжества; загредел гром, мгновенно стемнело, но я знал, что Гейл непонятно и зловеще ликует. И я услышал сквозь раскаты: «Ощущаешь себя Богом!»

Прямо под окном начиналась тропинка, бегущая к саду через луг, где недавно косили сено, и сейчас большая копна возвышалась темным холмом на фоне свинцовых небес, а большие вилы, воткнутые в нее, чернели довольно зловеще. Это, я думаю, тоже возбудило воображение Гейла, он вообще принимает странные зрелища как знамения. Тут прибежали хозяйка. Старый Блэки боялся, что сено погибнет, а жена его больше тревожилась о каких-то особенных креслах, которые остались за лугом, под огромной яблоней, чьи ветви извивались и бились на ветру.

Когда Гэбриел Гейл здоров, он — рыцарь без страха и упрека. Но тут он не побежал за креслами, а устоял на бедного Сондерса. Тот растерялся вконец, как теряются застенчивые люди, которые боятся и поступить неправильно, и поступить правильно. Наконец он решился, кинулся вперед, с трудом распахнул дверь и выбежал под дождь. Гейл встал в дверях и что-то крикнул ему вслед. Никто ничего не разобрал, а если бы разобрал, не понял бы. Но я услышал и, боюсь, понял слишком хорошо. Гейл крикнул сквозь бурю: «Что ж вы их не кликнете? Сами прибегут». Несомненно, он имел в виду кресла.

Немного погодя он прибавил: «Можно и дерево позвать...» Конечно, Сондерс не ответил ему — то ли по нелепости своей, то ли из-за ливня он сбился с пути и бежал через луг не к дереву, а куда-то левее. Я и сейчас вижу, как темнеют на фоне неба его длинные ноги и неуклюжие локти. И тут случилось самое непонятное и страшное. На земле валялась веревка. Гейл выпрыгнул из двери, схватил ее и с какой-то дикой, дикарской быстротой завязал петлю. Веревка, словно лассо, мелькнула на светлом небе. Неуклюжий студент споткнулся и попятился. Гейл зааркачил его.

Я хотел позвать на помощь и удивился, даже испугался, увидев, что никого нет. Хозяева и гости послали за креслами услужливого Сондерса и убежали закрывать окна, звать слуг или смотреть, не мокнет ли еще что-нибудь под ливнем. Я остался один на один с бессмысленною бедою. На моих глазах Гейл протасил Сондерса, словно мешок с картошкой, вдоль всего фасада, и оба они скрылись за углом. Но я совсем похолодел от страха, увидев, что, пробегая мимо копны, Гейл схватил вилы и взмахнул ими, как черт в аду. Я кинулся за ним, поскользнулся на мокрых камнях, ударил ногу и заковылял. Буря поглотила бедного безумца, и не скоро обнаружилось, чем кончились его безумства. Герберта Сондерса нашли у яблони. Он был жив и невредим, но прикручен к стволу веревкой и пригвожден вилами, вернее — охвачен с двух сторон зубцами. Гейла не видели до тех пор, пока гроза не улеглась и не выглянуло солнце. Он медленно ходил по дальнему лугу и дул на одуванчики. Я редко видел его таким умиротворенным.

— А как ваш Сондерс? — не сразу спросил Баттерворт. — Очень плох?

— Еще не совсем пришел в себя, — ответил Г а р т . — Уехал домой отдохнуть. Он вполне здоров, но я боюсь, что возбудят дело, если мы с вами не вызволим Гейла. Он тут, ждет в машине.

— Прекрасно, — сказал знаменитый врач, резко встал и застегнул пиджак. — Пойдем осмотрим его.

Беседа Гейла с докторами была так коротка и удивительна, что после нее у них сильно кружилась голова. Гейл не выказал и в малой степени легкомыслия и простодушия, которые, судя по одуванчикам, были теперь свойственны ему. Он слушал тихо

и терпеливо, а улыбался так кротко, что говорившим казалось, будто он намного их старше, хотя на самом деле они были старше его. Когда же Гарт осторожно предположил, что ему ради собственного блага надо отдохнуть, он весело рассмеялся и пресек дальнейшие иносказания.

— Не волнуйтесь вы так! — воскликнул он. — Значит, по-вашему, мне самое место в сумасшедшем доме?

— Вы знаете, что я вам друг, — серьезно сказал Г а р т, — и все ваши друзья согласятся со мною.

— Еще бы! — улыбнулся Г е й л. — Что ж, спросим тогда врагов.

— Что это значит? — спросил Г а р т. — Каких врагов?

— Ну врага, — покладисто сказал Г е й л. — Того, кого я так обидел. Я большего и не прошу: не загоняйте меня в больницу, пока не спросите Сондерса.

Он нахмурился, что-то обдумывая, и прибавил:

— Пошлем ему сейчас телеграмму... скажем, такую: «Лассо любите?»... или «Как вам вилы?»... или...

— Можно и позвонить, — перебил его Гарт.

Поэт покачал головой.

— Нет. Таким, как он, писать гораздо легче. По телефону он слова не вымолвит. Даже того не скажет, чего вы ждете, просто промычит. А в кабинке на телеграфе он будет свободен, как у исповедальни.

Врачи удивились, но телеграмму послали, очень обстоятельную. Сондерс был теперь дома у матери, и они спросили его, что он думает о странных поступках Гэбриела Гейла. Ответ пришел в тот же день, и гласил он следующее: «Бесконечно благодарен Гейлу доброту, спасение жизни».

Гарт и Баттерворт молча поглядели друг на друга, молча сели в машину и поехали туда, где гостил Гейл со своим подопечным, к мистеру и миссис Блэгни.

Они миновали холмы и спустились в большую долину, в которой стоял над рекой дом, приютивший опасного поэта. Гарт помнил, а Баттерворт мог представить себе, как странно и смешно выглядела драма на такой неподходящей сцене. Дом был из тех, которые поражают взор старомодностью, но не стариной. Он был недостаточно стар, чтобы считаться красивым, но тем, кто помнит времена Виктории, напоминал об этих временах. Высокие колонны были так бесцветны, сквозь высокие окна так слабо белели высокие потолки, гардины по сторонам окон, строго параллельные колоннам, висели такими ровными складками и пурпур их был таким унылым, что склонный к юмору Баттерворт еще издали твердо знал, какие тяжелые и ненужные кисти увидит он, войдя в комнаты. Трудно было совместить все это с безумием убийства, еще труднее — совместить с безумием милосердия. Чинный сад, ряды деревьев, темные аллеи, густой кустарник, наполовину скошенный луг, отданные в тот дикий

вечер ликования стихий, мирно лежали теперь в золотой летней тишине, а синие небеса были так высоки и спокойны, что гудение шмеля раздавалось вокруг звонко, как пение жаворонка.

Весь реквизит отвратительного фарса радостно сверкал. Гарт увидел пустые окна, залитые в тот вечер темными потоками ливня, увидел дерево, к которому была прикручена жертва, и черные дыры в стволе, похожие на глазницы, словно яблоня обратилась в карлика с высокими рогами. Копна была невредима, хотя и растрепана ветром, а за ней зеленой стеною стояла высокая трава. Из этих безопасных джунглей, из карликового леса, тянулась к небесам белая струйка, будто в самом низу горел крохотный костер из травинок. Нигде не было ни души, но Гарт понял, откуда идет дым, и крикнул: «Это вы, Гэбриел?»

Над высокой травой взметнулись длинные ноги, помахали новоприбывшим, исчезли, и Гэбриел Гейл вынырнул из трав, благодушно улыбаясь. Он курил длинную сигару, это и был огонь, без которого нет дыма. Новостям он не удивился и даже не обрадовался. Покинув травяное гнездо, он сел в кресло, тоже сыгравшее свою роль в таинственной драме, и, возвращая телеграмму Гарту, чуть-чуть улыбнулся.

— Ну как, — спросил о н , — все еще считаете меня сумасшедшим?

— Я думаю, — ответил Баттерворт, — не сошел ли Сондерс с ума.

Тут Гейл впервые стал серьезным.

— Н е т , — сказал о н , — хотя и побывал рядом с безумием.

Он медленно откинулся на спинку кресла и, отрешенно глядя на ромашку, как бы забыл о том, что он не один. Потом заговорил негромко и ровно, словно читал лекцию.

— Очень много молодых людей подходит к безумию вплотную. Подходят, но останавливаются, а потом исцеляются вполне. Собственно, мы вправе сказать, что нормально побывать ненормальным. Наступает это тогда, когда внутренний и внешний мир существуют отдельно, сами по себе. Долговязые, здоровые юнцы, которым вроде бы и дело есть только до крикета и школьного кафе, жить не могут от скрытого и страшного недуга. У Сондерса это даже видно, он как будто вырос из брюк и пиджака. Внутренняя жизнь в такую пору неизмеримо больше внешней. Человек не знает, как сообразовать их, а чаще всего и не пытается. Его ум, его «я» кажутся ему огромными и всеобъемлющими, все прочее далеким и маленьким. Но есть и другое: мир огромен и страшен, а собственные мысли так хрупки, что их надо поглубже спрятать. Вы знаете сами, школьники часто молчат о мерзостях, которые творят с ними в школе. Говорят, что девушка не держит тайны; не берусь судить, верно ли это, но юноша себя погубит, лишь бы тайну сохранить.

В эту темную пору особенно опасен один час: тот, когда внутреннее и внешнее столкнутся, перекинется мост между ми-

ром и сознанием. И тут бывает по-разному. Это может углубить застенчивость, а может укрепить мальчишескую манию величия. Сондерса никто не замечал, пока леди Флэмборо не сказала, что он меняет погоду. Попало это на такой момент, что у него все сдвинулось. Я в первый раз подумал, что он... да, кстати, когда подумали вы, что я сумасшедший?

— Кажется,— медленно сказал Г а р т , — когда вы глядели в окно на грозу.

— На грозу? А что, была гроза? — спросил Г е й л . — Ах да, помню, была!..

— Господи! — вскричал Г а р т . — На что же вы еще смотрели в окно?

— Я не смотрел в окно,— ответил Г е й л . — Я смотрел на окно. Я часто на них смотрю.

— Ну, что это в ы . . . — заволновался Гарт.

— Мало кто глядит на окна,— продолжал Г е й л , — разве что на витражи. А ведь стекло красиво, как алмаз, и прозрачность — цвет запредельного. Но тут было и другое, очень страшное, гораздо страшнее молнии.

— Что же именно? — спросил Гарт.

— Две капли воды,— ответил Г е й л . — Я увидел их, и еще я увидел, что на них смотрит Сондерс.

— Вы же знаете,— продолжал он все серьезней и горячее , — я всегда смотрю на небольшие предметы — на птицу, на камень, на морскую звезду. Только они и помогают мне понять. Когда я увидел, куда глядят Сондерс, я содрогнулся — я все понял. Он глядел на стекло и странно, застенчиво улыбался.

Говорят, завзятые игроки ставят иногда на такие капли. Но игра тем и хороша, что не зависит от нашей воли. Если вам нравится шотландский терьер, а не ирландский, вы поймете, что не всесильны, когда ирландский победит. А эти прозрачные шарики равны, как чаши весов. Какая из них ни победи, вы можете подумать, что на нее и ставили. Более того, вам покажется, что вы ее сами пригнали. Потому я и сказал: «Ощущаешь себя Богом». Неужели вы решили, что это о грозе? При чем она тут, что в ней такого? Скорей уж, глядя на нее, поймешь, что ты — не Бог. Я знал, что Сондерс вот-вот возомнит себя всемогущим. Он уже наполовину поверил, что меняет погоду. Капли могли довершить дело. Он ощущал себя Вседержителем, глядящим на летучие звезды, и верил, что они подвластны ему.

Вспомните, что большая душа как бы раздвоена. Она толкает себя к безумию и не совсем верит в него. Ей хочется себя обмануть, но точной, полной проверки она избегает и не решится пожелать того, что и впрямь невозможно, — скажем, не велит дереву пуститься в пляс. Она боится, что оно не запляшет, и боится, что оно запляшет. Я знал, я точно понял в ту минуту, что Сондерса надо остановить резко, сразу. Я знал: он должен позвать дерево и увидеть, что оно стоит на месте.

Тогда я и крикнул ему, чтобы он позвал кресла и дерево. Он не услышал. Он выбежал в сад, забыл о креслах и помчался диким козлом куда-то в сторону. Тут я понял, что он уже порвал с реальностью, выскочил из мира и будет носиться по лугам под грохот грома, с грозой в сердце. Когда же он вернется, он уже не будет прежним. Ничто не угасит его дикой радости, не остановит дикой пляски. И я решил остановить его, осадить, ударить об реальность. Я увидел веревку, метнул ее и заарканил беднягу, как дикого коня. Когда он попятился, мне показалось, что я вижу стреноженного кентавра; ведь кентавр, как все в язычестве, — и естествен, и неестествен. Он — часть обожествленной природы, но он же — чудище. Я действовал, твердо веря, что прав, а сейчас и Сондерс в это верит. Никто не знал, как я, куда зашел он по своей дороге. Оставалось одно: он должен был сразу, рывком, узнать, что ему неподвластны стихии, что он не волен сдвигать деревья и отторгать вилы, что даже веревка сильнее его, сколько он с ней ни возись.

Средство страшное, что и говорить, но ему есть оправдание: Сондерс спасен. Я глубоко уверен, что ничто другое не вылечило бы его. Если бы его утешали и уговаривали, он бы еще дальше ушел в себя и больше о себе возомнил. Что же до смеха — нельзя высмеивать тех, кто потерял чувство юмора. Сондерс только начинал неверно думать о себе, но я еще мог показать ему, в чем неправда.

— Вы считаете, — хмурясь, спросил Баттерворт, — что у него начиналась религиозная мания?

— Припомните, — сказал Гейл, — что он изучал богословие. Наверное, он часто думал о боговдохновенности и даре пророчества, и размышления эти наконец как бы вывернулись наизнанку. Лучшее всегда рядом с худшим. На свете есть вера, которая гораздо хуже атеизма. Зовут ее сатанизмом, а заключается она в том, что человек считает Богом самого себя. С философской же, не богословской, точки зрения вера эта ближе, чем вам кажется, к самой сути мышления. Потому-то ее так трудно опознать и остановить. Потому-то я и сказал, что понимаю бедного Сондерса. В конце концов, кто из нас не ошибался!

— Ну Гейл! — возроптал Гарт. — Не хватит ли парадоксов? Какая-то личинка священника возомнила себя всемогущей, а вы говорите, что всякий может так ошибиться.

— Вы лежали когда-нибудь в поле, — спросил поэт, — глядели в небо и били пятками в воздухе?

— Вроде бы нет... — отвечал врач. — Это ведь не принято. А если бы лежал?

— Вы удивились бы, почему вам подвластно одно и неподвластно другое. Когда вы задерете ноги, они далеко, в небесах, но ими вы двигать можете, а деревьями — нет. Не так уж странно вообразить, что весь материальный мир — твое тело. В сущности, и он, и оно — вне твоего сознания. Когда же мы вообразим, что он внутри сознания, мы окажемся в аду.

— Я не силен в таких вопросах,— сказал Баттерворт. — Честно говоря, я их не понимаю. Когда человек сходит с ума, мне ясно, что он — вне сознания. А в метафизике я не разбираюсь. Боюсь, я — материалист.

— Боитесь! — воскликнул Гейл. — Боитесь, что вы материалист! Значит, вы не понимаете, чего надо бояться. Материалисты — в порядке, они достаточно близки к небу, чтобы принимать землю и не думать, что они ее создали. Страшны не сомнения материалиста. Страшны, ужасны, греховны сомнения идеалиста.

— Я всегда считал вас идеалистом, — сказал Гарт.

— Слово «идеалист», — отвечал Гейл, — я употребил в философском смысле. Я имею в виду того, кто сомневается во всем, кроме своего сознания. Было это и со мной, со мной ведь было почти все, что есть греховного и глупого на свете. Я только тем и полезен, что побывал в шкуре любого идиота. Поверьте мне, самый страшный и самый несчастный идиот тот, кто считает себя Творцом и Вседержителем. Человек сотворен, в этом вся его радость. Спаситель велел нам стать детьми, и радость наша в том, что мы получаем дары, подарки, сюрпризы. Подарок предполагает, что есть еще что-то и кто-то, кроме нас, и только тогда возможна благодарность. Подарок кладут в почтовый ящик, бросают в окно или через стену. Без этих весомых и четких граней для человека нет радости.

Я тоже считал, что мир — в моем сознании. Я тоже дарил себе звезды, солнце и луну, и без меня ничто не начало быть, что начало быть. Всякий, кто побывал в таком сердце мира, знает, что там — ад. Выйти из него можно только одним способом. Я знаю, сколько елейной лжи написано в оправдание зла. Я знаю доводы в пользу страданий, и не дай нам Господь умножить эту кощунственную болтовню! Но один довод подтвержден практикой, проверен на опыте: от кошмара всемогущества средство одно — боль. Мы не потерпели бы ее, если бы все было нам подвластно. Человек должен оказаться там, откуда бы он вырвался, если бы мог; только тогда он поймет, что не все на свете исходит из него. Это и значила безумная притча, разыгравшаяся здесь, словно старинное действо. Порой мне кажется, что все наши действия — действия, а истину можно выразить только в притче. Был человек, он вознесся над всем, и ангелы служили ему в одеяниях туч и молний, в облачении стихий. Но сам он встал превыше их, и лик его заполнял небо. А я, прости мне, Господи, кощунство, пригвоздил его к дереву.

Гейл поднялся. Лицо его было бледно в солнечном свете. Он говорил притчами, а мысли его витали далеко, в другом саду, и слышал он раскаты другого грома. За обнаженной аркой старого аббатства белело предгрозовое небо, за темной рекой, в камышах, ютился жалкий кабачок, и это неяркое видение было для него прекрасным и пестрым, словно потерянный рай.

— Другого пути нет, — сказал он. — Тому, кто верит во всевластие мысли, надо разбить сердце. Благодарение Богу за твердые камни и жестокие факты! Благодарение Богу за тернии, преграды, долгие годы и пустые дни! Теперь я знаю, что не я — сильнейший. Теперь я знаю, что не все могу вызвать мыслью.

— Что с вами такое? — спросил его друг.

— Теперь я это знаю, — говорил Гейл. — Если бы воля и мысль были всемогущи, нас было бы здесь не трое, а четверо.

Наступило молчание, и стало слышно, как в синем воздухе жужжит муха. А когда поэт заговорил снова, врачи ощутили, что в его сознании приоткрылась дверь и звонко захлопнулась.

— Все мы привязаны к дереву, пригвождены вилами. Пока это так, мы знаем, что не упадут звезды и не растает земля. Неужели вы не поняли, какую хвалу вознес Сондерс, когда, простояв у дерева ночь, узнал благую весть, гласившую, что он — человек?

Доктор Баттерворт смотрел на него со сдержанным любопытством. Глаза у Гейла сияли, словно светильники, и говорил он так, как говорят люди, читающие стихи.

— Я знаю как врач, что вы здоровы, — сказал он наконец. — Иначе бы я в этом усомнился.

Гэбриел Гейл остро взглянул на него и сказал другим тоном:

— Не надо! Вот она, единственная моя опасность.

— Какая? — спросил Баттерворт. — Вы боитесь, что вас признают сумасшедшим?

— Да признавайте на здоровье! — воскликнул Гейл. — Неужели вы думаете, что я бы особенно расстроился? Неужели вы думаете, что я не радовался бы в больнице пыли в луче или тени на стене? Неужели вы думаете, что я не благодарил бы Бога за красный нос санитаря? Наверное, в сумасшедшем доме очень легко быть нормальным. Мне было бы гораздо лучше в тихом затворе больницы, чем в высокоумных клубах, кишасих неумными людьми. Не так уж важно, где размышлять остаток дней, лишь бы мысли были здравы. А то, о чем сейчас сказали вы, — истинная моя опасность. Именно в этом смысле прав Гарт — мне вредно быть с сумасшедшими. Когда мне говорят, что меня не понимают, что не видят простейшей истины: «Человеку опасно считать себя Богом»; когда мне говорят, что это — метафизика и собственные мои выдумки, тогда я в опасности. Я могу подумать о том, что хуже веры в свое всемогущие.

— Я все-таки не понял, — сказал Баттерворт.

— Я могу подумать, — сказал Гейл, — что я один нормален.

Через много лет Гарт узнал продолжение этой истории, странный эпилог нелепого действия о вилах и яблоне. В отличие от Гейла, Гарт прежде всего руководствовался разумом и мог считаться рационалистом. Он часто спорил в ученых обществах и клубах с разными скептиками, которые нравились ему, хотя утомляли его своим упорством, а иногда и глупостью.

В одной деревне пустовало место сельского безбожника: сапожник, по прискорбной своей извращенности, верил в Бога. Правда, обязанности его исполнял преуспевающий шляпник, прославившийся игрой в крикет. На крикетном поле он часто сражался с другим искусным игроком, местным священником. На поле богословских споров они сражались реже — священник был из тех, кого очень любят, главным образом за спортивные успехи, и хвалят, говоря, что они совсем не похожи на священников. Он был высокий, веселый, крепкий, у него было много сыновей-подростков, и сам он больше напоминал подростка, чем взрослого. И все же иногда они со шляпником спорили. Жалеть поборника веры не надо — уколы поборника науки не трогали его. Веселость и бодрость были как бы завернуты в кокон или защищены толстой, как у слона, кожей. Но один странный разговор запал шляпнику в душу, и он рассказал о нем Гарту тем растерянным тоном, каким рассказывает материалист о встрече с привидением. Священник играл с ним однажды в крикет и все время над ним подшучивал. Быть может, шутки эти проняли наконец достойного вольнодумца, а может быть, сам священник вдруг заговорил серьезней, что тоже не доставило радости его противнику. Как бы то ни было, священник вдруг высказал свой символ веры.

— Бог хочет, — сказал он, — чтобы мы играли честно. Да, это Ему и нужно от нас: чтоб мы честно играли.

— Откуда вы знаете? — с необычным раздражением спросил шляпник. — Откуда вам знать, чего хочет Бог? Вы-то Богом не бывали!

Наступило молчание, и люди видели, что безбожник удивленно глядит на румяное лицо пастыря.

— Нет, бывал, — странно и тихо ответил священник. — Я был Богом часов четырнадцать. А потом бросил. Очень уж трудно.

Достопочтенный Герберт Сондерс ушел с площадки к поджидавшим его деревенским детям и заговорил с ними весело и сердечно, как всегда. А мистер Понд, безбожник и шляпник, долго не мог прийти в себя, словно увидел чудо. Позже он признался Гарту, что из широкого румяного лица как из маски выглянули на миг чужие глаза, пустые и страшные, и теперь, когда он их вспоминает, ему мерещится глухая аллея, дом с пустыми окнами и бледное лицо безумца в одном из этих окон.

РУБИНОВЫЙ СВЕТ

Гэбриел Гейл писал стихи и картины, но никогда даже не думал стать хотя бы частным сыщиком. Правда, ему довелось раскрыть несколько тайн, но они скорее привлекли бы не сыщика, а тайновидца. Раза два он вынырнул из мглы тайновидения в бодрящую атмосферу преступлений. Ему удалось доказать, что убийство было самоубийством, а самоубийство — убийством, и даже вникнуть в такие мелочи, как воровство и подлог. Но касался он всего этого по чистой случайности; его увлекали человеческие странности и безумства, и, следуя за ними, он вступал порой на землю беззакония. Бывало это нечасто, ибо, как он утверждал, мотивы убийц и воров совершенно здравы и даже подчинены условностям.

— Я не гожусь для таких разумных дел, — говаривал о н . — Полицейские сразу увидят, как мало я смыслю в тех вещах, о которых вечно толкуют авторы детективов. Стоит ли мне измерять следы чьих-то ног? Я ничего из них не выведу. Вот если вы покажете мне следы рук, я догадаюсь, почему человек встал на руки. Я ведь сам — из сумасшедших и часто хожу на руках.

Вероятно, братство в безумии и связало его с тайной исчезновения Финаса Солта. Прославленный поэт был из тех, чья частная жизнь интересна всем и каждому, как жизнь Д'Аннунцио или Байрона. Он был человек замечательный, то есть очень заметный, а не очень достойный. Многие в нем по праву вызывало восхищение, а многое вызывало восхищение без права. Критики-пессимисты считали его великим пессимистом и ссылались на это, доказывая, что он покончил с собой. Критики-оптимисты упорно считали его истинным оптимистом (вероятно, они знали, что это такое) и потому склонялись к утешительной гипотезе убийства. Жизнь его была столь необычной, что никто во всей Европе не смел помыслить о том, как он падает в колодец или тонет в море, потому что ему свело судорогой ногу. Семьи

у него не было, остался только брат, державший лавочку в каком-то захолустье, но они почти не общались. Однако со многими людьми он был связан духовно или материально. Остался издатель, чью печаль несколько смягчали мысли о рекламе и о том, что прославленный поэт не принесет новых стихов. Издателем этот, сэр Уолтер Драммонд, и сам был человеком известным в нынешнем смысле слова и принадлежал к той разновидности преуспевающих шотландцев, которые опровергают популярное мнение о внутреннем сродстве приветливости и деловитости. Остался антрепренер, как раз готовивший к постановке трагедию об Александре и персах, талантливый и покладистый человек по имени Изидор Маркс, размышлявший о том, хорошо или плохо, когда некому ответить на крики «Автора!». Осталась ослепительная и склочная примадонна, уповавшая на успех в роли персидской царевны; как говорится, имена их связывали, хотя вообще его имя связывали со множеством имен. Остались друзья-писатели, среди которых было несколько писателей и один-два друга. Но жизнь его так походила на сенсационную пьесу, что все удивились теперь, как мало известно о ней и о нем. А без ключа исчезновение Солта оставалось таким же мятежным и загадочным, каким бывало прежде его присутствие.

Гэбриел Гейл вращался в тех же кругах и достаточно хорошо знал эту сторону жизни прославленного поэта. Он тоже печатался у сэра Уолтера Драммонда. Ему тоже заказывал пьесы в стихах Изидор Маркс. Он ухитрился не связать свое имя с именем Херты Хетауэй, но был с ней знаком, как знакомы все в литературном и театральном мире. Он был вхож в блестящие внешние круги финансовой жизни, хотя не придавал тому значения; и беззлобно посмеялся, войдя в ее сокровенный и неприметный центр. Позвали его не потому, что и он был поэтом, а по чистой случайности: друг его, доктор Гарт, лечил при жизни Финеаса Солта. Когда Гейл пришел на семейный совет, он поневоле улыбнулся, увидев, как тут все по-домашнему, как далеко от сенсационных сплетен, бушевавших за стенами. Он напомнил себе, что частные дела и должны быть частными, и глупо думать, что у мятежного поэта — мятежный поверенный и врач. Доктор Гарт в своем обычном черном костюме был беспредельно домашним; поверенный, седой и широколобый мистер Гантер, дышал незатейливой простотой, и не верилось, что в его аккуратных папках скрываются безумства Финеаса Солта. Джозеф Солт, брат исчезнувшего, специально приехал из провинции и выглядел совершеннейшим провинциалом. Трудно было поверить, что молчаливый, неуклюжий, рыжеволосый и растерянный торговец в немодном костюме — единственный наследник такого имени. Был тут и секретарь, чья прискорбная прозаичность никак не вязалась с чудачествами его хозяина. Гейл снова напомнил себе, что даже поэты могут сходить с ума только в том случае, если окружающие их люди останутся нормальными. Он подумал не без

удивления, что у Байрона был дворецкий, наверное — очень хороший, а Шелли лечил зубы у самого обыкновенного зубного врача.

Сам он чувствовал себя не совсем на месте. Он знал, что не годится для деловых советов и не умеет улаживать дела с секретарем или поверенным. Гарт пригласил его, и он терпеливо слушал, глядя на Гарта, как Гантер разъясняет собравшимся общее положение дел.

— Мистер Хэтт сообщил н а м , — сказал поверенный, бросив быстрый взгляд на секретаря, — что он в последний раз видел мистера Солта на его квартире в пятницу, через два часа после обеда. Еще сегодня я считал, что их короткая встреча была последней, о которой нам что-нибудь известно. Но часа полтора тому назад мне позвонил незнакомый человек и сообщил, что он провел с мистером Солтом шесть или семь последних часов. Сейчас он явится сюда в контору и все нам изложит.

— Кажется, он уже явился, — сказал доктор Г а р т . — Я слышу чей-то голос внизу, а вот чьи-то ноги ступают по крутой лестнице закона.

Тут в контору скользнул, а не вошел высокий человек. Ему было лет под сорок. Его скромный серый костюм порядком износился, но сохранил последний отблеск элегантности; волосы у него были длинные, темные, расчесанные на прямой пробор, а длинное темное лицо обрамляла борода, тоже расчесанная на две стороны. Он положил на стул черную шляпу с очень широкими полями и очень низкой тульей, наводившую на мысль о ночных кафе и разноцветных огнях Парижа.

— Я — Флоренс, — изысканно и четко выговорил о н , — старый друг Финеаса Солта. В молодости мы много путешествовали по Европе. Смеею предположить, нет — уверен, что сопровождал его в последнее путешествие.

— Последнее, — повторил Гантер, с холодным вниманием глядя на н е г о . — Вы хотите сказать, что мистер Солт умер, или хотите нас поразить?

— Если он не умер, — отвечал Ф л о р е н с , — с ним случилось что-то еще более поразительное.

— Что вы имеете в виду? — резко спросил законник. — Что поразительней смерти?

— Сам не знаю, — просто сказал пришелец. — Все думаю и никак не пойму.

Гантер помолчал.

— Что ж, — сказал он н а к о н е ц , — рассказывайте. Вы знаете, что я — поверенный мистера Солта, а это его брат, мистер Джозеф Солт, и доктор Гарт, его врач, и мистер Гейл.

Незнакомец поклонился всем сразу и доверчиво уселся в кресло.

— Я пришел к Солту в пятницу, — начал о н , — часам к пяти. Когда я входил, секретарь собирался д о м о й . — Он взглянул на

мистера Хэтта, с американской сдержанностью скрывавшего имя Хирам, но не сумевшего скрыть ни очков, ни длинного подбородка, а мистер Хэтт непроницаемо взглянул на него и ничего не сказал. — Финеас был очень взволнован и сердит больше, чем всегда. По-видимому, кто-то буянил у него, статуэтка валялась на полу, ваза с ирисами была перевернута. Сам он шагал по комнате, как лев в клетке. Рыжая грива развевалась, борода пылала, словно костер. Я подумал, что он — в экстазе вдохновения, но он сказал мне, что это от общения с дамой. Мисс Херта Хетауэй только что ушла от него.

— Простите! — прервал его поверенный. — Мистер Хэтт тоже только что ушел. Вы ничего не сказали нам о госте, мистер Хэтт.

— Такое у меня правило, — отвечал непробиваемый Хэтт. — Вы меня о ней не спрашивали. Я свое дело сделал и ушел домой.

— Однако это очень важно, — медленно проговорил Гантер. — Если Солт с актрисой швыряли друг в друга статуэтками и вазами, мы вправе предполагать, что у них дошло до размолвки.

— У них дошло до разрыва, — честно сказал Флоренс. — Он признался мне, что с него хватит — и ее, и всего остального. Сердился он сильно; кажется, он выпил, но и при мне извлек пыльную бутылку абсента и предложил выпить за старые парижские дни, потому что это последний раз... или последний день... точно не помню. Сам я давно не видел абсента, но достаточно знаю это зелье, чтобы понять, как много Финеас пил. Абсент — не вино и не бренди, от него пьянешь иначе, вроде бы сходишь с ума, хотя голова ясная. Больше похоже на гашиш, чем на выпивку. Когда Финеас выскочил из дому и кинулся к своей машине, мозг его полыхал этим зеленым огнем. Вел он машину хорошо, ровно, — от абсента в голове светлеет, — но ехал все быстрее по Олд-Кент-роуд, на юго-восток. Признаюсь, не так уж приятно мчаться по сельским дорогам, когда темнеет. Несколько раз мы чуть не разбились, но я не думаю, что он искал смерти, — во всяком случае, он не хотел просто разбиться в машине. Он кричал, что ему нужны высоты земные, скалы, и бездны, и башни. Что он готов взлететь как орел или упасть как камень. Все это было особенно странно и смешно, потому что ехали мы по самым плоским местам. И вдруг, через несколько часов, он вскрикнул иначе; а я увидел в последнем луче над плоской землей башни Кентерберийского собора.

— Интересно, — сказал Гэбриел Гейл, словно вдруг проснулся, — как они свалили статуэтку?.. Конечно, это дама ее бросила, если ее бросили вообще. Он бы и пьяный так не сделал.

Гейл обернулся и без особого смысла посмотрел на секретаря, но не добавил ничего. А мужчина по имени Флоренс, нетерпеливо помолчав, продолжил свой рассказ.

— Я знал, что готические башни собора сольются с бредовым видением, завершат его, увенчают. Не могу сказать, нарочно

ли Финеас избрал эту дорогу, но ничто на свете не подошло бы настолько к его словам о высоте и крутизне. Он снова ухватился за свою безумную притчу и стал говорить о том, что хорошо бы пуститься вскачь на химере, как на адском коне, или затеять охоту с бесами вместо гончих. К собору мы подъехали очень поздно. Он стоит в самом городе, однако случилось так, что все дома рядом с ним были темны и тихи. Мы с Финеасом вышли из машины и подошли к тому месту, где стены сходятся углом. Уже взошла луна, и свет ее окружил голову Солта тускло-красным сиянием. Я помню очень хорошо это грешное сияние, потому что Финеас без устали воспевал лунный свет и говорил о том, что при луне витражи лучше, чем при солнце. Он упорно хотел проникнуть внутрь, посмотреть на витражи, и клялся, что они — единственное, что дала нам вера. Когда же он понял, что собор заперт (чего и ждать в такое позднее время?), он страшно разозлился и стал ругать настоятеля, и священников, и весь причт. Вдруг в уме его мелькнуло школьное воспоминание. Он схватил камень и стал колотить им в дверь, как молотом, громко крича: «Где изменник? Где изменник? Мы пришли убить архиепископа!» Тут он засмеялся и сказал: «Кто захочет убить доктора Рокуолла Дэвидсона!.. А Фому Бекета стоило убивать. Он во истину жил! Он сумел прожить двойную жизнь — не воровато, как ханжи, а полностью, открыто, до конца. Он облачался в золото и пурпур, стяжал лавры, сражал великих воинов, а потом стал святым, раздал все бедным, постился, принял мученическую смерть. Вот как надо жить! Вот что такое двойная жизнь! Не удивляюсь, что на его могиле творятся чудеса». Финеас отшвырнул камень, лицо его стало печальным и серьезным, словно каменные лица готической резьбы, и он произнес: «Сегодня и я совершу чудо». А потом добавил: «После того, как умру».

Я спросил его, что это значит. Он не ответил. Он вдруг заговорил приветливо, мирно, даже ласково — благодарил меня за дружбу, прощался и сказал почему-то, что его время пришло. Я спросил его, куда он собрался. Он показал пальцем вверх, и я не понял, имеет он в виду небо или башню. На башню взобраться можно только изнутри. Я не мог представить, как же он проникнет в собор, спросил об этом, и он ответил: «Ничего, я поднимусь... вознесусь... но на моей могиле чудес не будет, тела моего не найдут».

Я и двинуться не успел, как он подпрыгнул и повис на арке; потом сел на нее; потом встал и — скрылся во мраке. Снова услышал я откуда-то сверху: «Вознесусь!..», и все затихло. Не знаю, вознесся ли он. Знаю одно: он не спустился.

— Вы хотите сказать, — серьезно вымолвил Гантер, — что с тех пор его не видели?

— Я хочу сказать, — так же серьезно ответил Флоренс, — что, наверное, никто на свете не видел его с тех пор.

— Вы спрашивали местных жителей? — спросил юрист.

Мужчина по имени Флоренс растерянно засмеялся.

— Спрашивал, — сказал он, — стучал в дома, был и в полиции. Никто мне не верил. Все говорили, что я напился. В сущности, так оно и было, но им казалось, что у меня просто двойится в глазах и я гоняюсь за призраком. Теперь они знают, что я был прав, в газетах прочитали. А тогда, ничего не добившись, я уехал последним поездом в Лондон.

— А как же машина? — спросил Гарт.

Флоренс удивился.

— Ах ты Господи! — воскликнул он. — Я про нее и забыл. Она стояла у самого собора, между двумя домами. Так и забыл, ничего не помнил до самой этой минуты.

Гантер встал, ушел в соседнюю комнату и кому-то позвонил. Когда он вернулся, Флоренс растерянно держал в руке черную шляпу и говорил, что ему пора, он ведь все сказал, что знает. Юрист с любопытством смотрел ему вслед, как бы сомневаясь в его последней фразе. Потом он обернулся к остальным и сказал:

— Занятный человек... Да, очень занятный... И еще об одном занятом предмете я хочу потолковать. — Он как будто впервые заметил добропорядочного Джозефа Солта. — Не знаете ли вы, мистер Солт, какие именно средства были у вашего брата?

— Нет, — лаконично ответил провинциальный лавочник. — Вы понимаете, господа, что здесь я ради чести семьи. Мы с братом не были тесно связаны. А эти газетные сплетни мне сильно вредят. Конечно, красиво, когда поэт пьет зеленый огонь и летает с башен, но не очень-то хочется покупать провизию у его родственника. Я только что открыл лавочку в Крайдоне. Кроме того, — он опустил глаза, и сельское смущение ничуть не убавило в нем мужественности, — я собираюсь жениться, а избранница моя очень набожна.

Гарт улыбнулся; слишком уж разными были братья.

— Понимаю, — сказал он. — А публика — что ж, как ей не взволноваться!..

— Я хотел бы спросить, — вмешался юрист, — какие доходы были у вашего брата? Был ли у него капитал?

Джозеф Солт подумал.

— Как вам сказать... — проговорил он. — Наверное, были деньги, которые нам отец оставил, по пяти тысяч ему и мне. Жил он широко, денег не считал. Иногда он получал очень много за книгу или за пьесу, но и тратил он много. Думаю, у него осталось в банке тысячи две-три.

— Совершенно точно, — серьезно сказал юрист. — Ко дню исчезновения на его счете числилось две с половиной тысячи. В тот день он их взял. Они исчезли вместе с ним.

— Вы думаете, что он уехал за границу? — спросил брат поэта.

— Вполне возможно, — отвечал юрист. — Возможно также, что он собрался и не уехал.

— Почему же тогда исчезли деньги? — удивился врач.

— Они могли исчезнуть, — сказал юрист, — когда нетрезвый Финеас порол чепуху божественному субъекту, одаренному немалым талантом рассказчика.

Гарт и Гейл взглянули на него, каждый по-своему, и оба заметили, что лицо его слишком сурово, чтобы казаться циничным.

— А! — воскликнул врач и осекся, словно у него перехватило дыхание. — По-вашему, это не только кража...

— Я не вправе говорить с уверенностью и о краже, — все так же сурово сказал юрист, — но вправе подозревать, и подозрения мои печальны. Начнем с того, что начало рассказа подтверждается, а конец — нет. Мистер Флоренс сообщил, что видел мистера Хэтта; вероятно, и мистер Хэтт видел мистера Флоренса.

Мистер Хэтт не возразил, что можно было принять за согласие.

— Но никто не видел, — продолжал юрист, — безумств на дорогах Кента. Посмею предположить, что кончились они не в храме, а в притоне. Сейчас я звонил и спрашивал, не обнаружена ли машина в Кентербери, и ответили мне отрицательно. К тому же этот Флоренс вообще о ней забыл и, сам себе противореча, сказал, что вернулся поездом. Это одно уничтожает весь рассказ.

— Неужели? — спросил Гейл с детским удивлением. — А мне казалось, это одно его подтверждает.

— То есть как? — не понял Гантер. — Подтверждает?

— Да, — сказал Гейл. — Деталь такая правдивая, что всему поверишь, даже если бы он описывал, как Финеас улетел с башни на каменном драконе.

Он помолчал и довольно пылко добавил:

— Как вы не поймете? Именно так и должен ошибиться такой человек. У него нет денег, он ездит только поездом, для него машина — сказочный дракон. Финеас втащил его в безумный, подобный сновидению мир, а проснувшись, он увидел, что друг вознесся на небо, все же прочие уверены, что это ему померещилось. Когда он, сам себя не помня, говорил с высокомерным полицейским, он забыл про машину, словно это колесница, запряженная грифонами. Она осталась там, во сне. По привычке, как всегда, он взял билет третьего класса. Но если бы он историю выдумал, он бы не допустил такой несообразности. Как только я это услышал, я понял: все правда.

Врач и юрист удивленно смотрели на Гейла, пока в соседней комнате не зазвонил телефон. Гантер кинулся туда, и несколько минут доносился только неясный гул вопросов и ответов. Потом он вернулся; на его строгом лице застыла растерянность.

— Поразительное совпадение, — сказала она. — Вынужден признать, что вы правы. Следы машины нашли. Она стояла именно там, где он сказал. Что еще удивительнее — она исчезла. Следы

ее ведут на юго-восток. Можно предположить, что правил ею Финеас Солт.

— На юго-восток!..— воскликнул Гейл и вскочил. — Так я и думал.

Он прошелся по комнате, потом сказал:

— Спешить не надо. Рассудим обстоятельно. И дурак поймет, что Финеас поехал на восток: светало, он повел машину прямо в рассвет. Что ж тут еще сделаешь? Но земля там к востоку — плоская, все равнины, а он стремился к пропастям и высотам. Значит, он держал путь к югу, к меловым скалам. Кроме того, я думаю, он хотел взглянуть с высоты на людей, а с кентерберийских башен ему взглянуть не удалось. Ту дорогу я знаю...

Он серьезно оглядел всех и сказал так, словно поверял священную тайну:

— Она ведет в Маргейт.

— Ну и что? — спросил Гарт.

— По-видимому, новый вид самоубийства, — сухо заметил Гантер. — Что такому человеку делать в Маргейте, если он не решил умереть?

— Что там вообще делать, если ты хочешь жить? — сказал Гарт.

— Миллионы образов Божиих,— сказал Гейл, — ищут там радости. Странно другое: почему среди них был Финеас Солт. Конечно, если смотришь с белых утесов, эти толпы кишат, как муравьи... наверное, пессимисту легче презирать их... Быть может, он видит в страшном видении, как их заливают древнее, темное море... или хочет прославить бедный Маргейт, окрасить его имя в цвета высокой трагедии. У таких людей бывают такие грезы. Но, как бы то ни было, поехал он в Маргейт.

Пристойный крайдонский лавочник встал вслед за Гейлом и в замешательстве теребил лацкан старомодного пиджака.

— Вы уж простите,— сказал он наконец, — это все не по мне. Химеры, драконы, пессимисты... Не мое это дело. В общем, ясно, что поехал он в Маргейт. Если спросите меня, я скажу, что надо нам поговорить, когда полиция больше разузнает.

— Мистер Солт совершенно прав, — добродушно согласился юрист. — Вот что значит деловой человек! Сразу вернул к сути дела. Я приглашу вас, господа, когда узнаю что-нибудь еще.

Если Гэбриелу Гейлу было не по себе среди кожаных кресел и толстых папок суровой деловой конторы, еще меньше, казалось бы, подойдет ему пригородная лавка. Обиталище последнего представителя Солтов было в высшей степени пригородным. В лавке продавались, главным образом, сласти. Перед окном на маленьких столиках стояли безвреднейшие напитки, в основном — светло-зеленый лимонад, а в самой витрине узором были разложены леденцы. Стекло занимало почти всю стену, и в комнату лился холодный свет.

Но трудно было предсказать, что именно заинтересует Гейла. По какой-то одному ему известной причине он больше интересовался лавкой, чем делом, ради которого пришел. Как зачарованный глядел он на фарфоровых собачек, а раньше, когда он проходил через лавку, его с трудом оттащили от окна, в котором сверкали малиновые и лимонные леденцы. Посмотрел он и на лимонад, словно тот был так же важен для дела, как бледно-зеленый полынный напиток, сыгравший немалую роль в трагедии Финеаса Солта.

Гейл с утра был необычно весел — то ли его радовала погода, то ли у него нашлись другие, свои причины. По улицам лондонского пригорода он шел быстро и бодро и увидел по пути, как праведный лавочник выходит из домика, где жили, несомненно, люди, стоящие чуть выше его на общественной лестнице. Его проводила до калитки серьезная и добрая девушка в венце каштановых кос. Гейл догадался, что именно она отличается набожностью, и посмотрел на светлые квадраты травы и тоненькие деревья с таким умилением, словно сам был влюблен. Не утратил он веселости и тогда, когда, миновав несколько фонарных столбов, увидел резкие черты и ехидную улыбку Хирама Хэтта. Влюбленный, как ему и положено, задержался у калитки, а Гейл и Хэтт, не дожидаясь его, пошли к его дому.

— Вы понимаете, — спросил поэт, — тех, кто мечтает о любви Клеопатры?

Хэтт отвечал, что американцы не склонны так сильно опаздывать.

— Что вы! — сказал Гейл. — Теперь полно Клеопатр. И мужчин полно, которым почему-то хочется стать сотым самым египетской кошки. Нет, что делать такому человеку, как он, с женщиной вроде Херты Хетауэй?

— Тут я с вами согласен, — кивнул Хэтт. — Я про нее не говорил, это дело не мое, но вам скажу, что она — сушая ведьма. А ваш адвокат решил, что я с ней в сговоре! Не иначе как подозревает нас обоих.

Гейл твердо посмотрел на его твердое лицо и спросил неизвестно почему:

— Вы бы удивились, если бы Солт поехал в Маргейт?

— Нет, — ответил секретарь. — Я ничему уже не удивляюсь. Его носило повсюду. Он совсем не работал последнее время. Сидит, бывало, и смотрит на белый лист бумаги, как будто у него нет ни одной мысли.

— Или как будто у него их слишком много, — сказал Гэбриел Гейл.

Они вошли в лавку и обнаружили там только что прибывшего Гарта. Сзади, в гостиной, они увидели Гантера, такого мрачного, словно он приехал на похороны. Сидел он строго и прямо, не снял цилиндра и был так напряжен, как будто вот-вот пустит смертоносную стрелу.

— Где Джозеф Солт? — спросил юрист. — Он обещал быть к одиннадцати.

— Он прощается, — сказал поэт. — Это дело долгое.

— Начнем без него, — сказал юрист. — Быть может, оно и лучше.

— У вас для него плохие новости? — тихо спросил врач. — Последние новости о его брате?

— Именно, что последние, — сухо ответил юрист. — Мистер Гейл, очень бы вас попросил, оставьте в покое эти безделушки. Кое-кому предстоит многое объяснить...

— Да, — быстро согласился Гейл. — Не это ли надо ему объяснить?

Он взял с камина и поставил на стол экспонат, не совсем уместный в мрачном музее преступления: дешевую детскую розовую кружку с малиновой надписью: «Привет из Маргейта».

— Внутри написано ч и с л о , — сказал он, отрешенно глядя в ее глубины. — Год нынешний. И месяц тоже.

— Что ж, и это относится к делу, — сказал юрист. — Но у меня есть и другие подарки из Маргейта.

Он вынул из нагрудного кармана какие-то листки и положил их на стол.

— Начнем с того, — сказал он, — что загадка не решена, человек исчез. Не думайте, что легко пропасть в современной толпе. Полиция проследила путь машины и выследила бы Солта, если бы он из машины вышел. Не так просто ехать по сельским дорогам, выбрасывая трупы из машины. Всегда найдутся люди, которые такой пустяк заметят. Что бы ты ни сделал, это узнают; и мы узнали, что он сделал.

Гейл поставил кружку и посмотрел на Гантера все еще удивленно, но и радостно.

— Правда знаете? — спросил он. — Правда разгадали тайну рубинового света?

— Нет, простите! — возмутился врач. — На тайну я согласен, но в мелодрамах не участвую. Мы что, гоняемся за королевским рубином? Только не говорите, что он — у жрецов бога Вишну!

— Н е т , — ответил Гейл. — Ону того, кто его узрел.

— Вы о чем? — спросил Гантер. — Не понимаю, что вы имеете в виду, но не исключаю и кражи. Однако дело намного серьезнее.

Он вынул из пачки листов две-три фотографии, похожие на моментальные пляжные снимки.

— Мы нашли свидетеля в Маргейте, — сказал он. — Пляжный фотограф показал, что видел рыжебородого человека на скале, над толпой. Потом человек этот спустился по выбитым в скале ступенькам, прошел сквозь толпу и заговорил с каким-то неприметным субъектом, похожим на клерка, проводящего у моря свой короткий отпуск. Они беседовали несколько минут, после чего направились к кабинкам, вероятно, решили выкупаться.

Фотограф предполагает, что видел, как они вошли в воду, но с достоверностью утверждать не решается. Зато он точно помнит, что неприметный субъект вернулся в кабинку и вышел оттуда в чрезвычайно скромном костюме. Так он его и сфотографировал. Вот снимок.

Он протянул фотографию Гарту, и тот высоко поднял брови. Широкоплечий человек с квадратной челюстью глядел куда-то, закинув голову. Жесткие поля соломенной шляпы отбрасывали тень, и трудно было понять, какого оттенка его светлые волосы. Но доктору не нужно было дожидаться усовершенствования цветной фотографии: он знал, что они тускло-рыжие. Человек в соломенной шляпе был Джозеф Солт.

— Значит, Финеас поехал в Маргейт, чтобы встретиться с братом... — сказал Г а р т . — Что ж, не удивляюсь. Самое подходящее место для Джозефа Солта.

— Да, — кивнул Г а н т е р . — Джозеф поехал туда в автобусе — знаете, их специально нанимают на праздничные дни. Вечером он вернулся тем же автобусом. Но никто не знает, когда и как вернулся его брат.

— Судя по вашему тону, — сказал Г а р т , — вы считаете, что брат его не вернулся.

— И не вернется, — сказал Г а н т е р . — Даже тело вряд ли при-бьет к берегу, там проходит сильное течение.

— Как все усложняется... — проговорил врач.

— Б о ю с ь , — сказал ю р и с т , — что все упрощается.

— Упрощается? — переспросил Гарт.

— Д а , — ответил Гантер и встал, крепко вцепившись в ручки кресла. — История эта проста, как история Каина и Авеля.

Все молчали, пока Гейл, глядевший на кружку, не воскликнул как-то по-детски:

— Нет, какая кружка! — и прибавил: — Наверное, купил перед автобусом. Что ж еще и делать, когда только что убил брата?

— Странное преступление, — нахмурился доктор Гарт. — Как его совершили, объяснить не трудно — легко утопить человека во время купания, — но я не пойму, зачем было его совершать.

— Причина проста и стара, — ответил юрист. — В данном случае налицо все составные части ненависти — медленной, разъедающей ненависти, которую породила зависть. Два брата родились в одной и той же провинциальной семье, учились в одной и той же школе, общались с одними и теми же людьми. Они почти ровесники, они даже внешне похожи — оба крепкие, рыжие, не слишком красивые, только Финеас обыграл свою внешность, отпустил эту бунтарскую бороду, вообще оброс. Словом, в юности они мало отличались друг от друга и, наверное, ссорились не больше, чем все братья. Но потом — сами видите! Один прославился на весь мир, увенчан лаврами, как Петрарка, женщины поклоняются ему, как киноактеру. Другой же... достаточно сказать, что он обречен провести всю жизнь в такой вот комнате.

— А что, вам не нравится комната? — заинтересовался Гейл. — Смотрите, какие приятные игрушки!

— Не совсем ясно, — продолжал Гантер, не обращая на него внимания, — как Джозеф заманил Финеаса в Маргейт и вынудил купаться. Конечно, поэт метался в те дни, не мог работать, и, кроме того, вряд ли он подозревал, что брат его ненавидит. Остальное просто: нетрудно держать жертву под водой и плыть туда, где течение отнесет тело в открытое море. Потом Джозеф вышел на пляж, оделся и сел в автобус.

— Не забудьте кружку! — мягко напомнил Гейл. — Он ее купил, а потом уж поехал домой. Вы прекрасно все разъяснили, дорогой Гантер. Но даже в самых лучших теориях есть слабое место. Есть оно и у вас. Вы пошли не в ту сторону.

— Что вы имеете в виду? — резко спросил юрист.

— Сейчас скажу, — покладисто ответил Гейл. — Вы считаете, что Джозеф завидовал Финеасу. На самом деле Финеас завидовал Джозефу.

— Гейл, сейчас не до шуток, — нетерпеливо вставил Гарт. — Нам и так нелегко сидеть у человека в доме и знать, что он — убийца.

— Это просто ужасно!.. — сказал Гантер и взглянул вверх, весь сжавшись, словно боялся, что со скучного, простого потолка свисает веревка.

В эту секунду дверь отворилась и убийца вошел в комнату. Глаза у него сияли, как у ребенка, увидевшего елку, лицо пламенело до самых корней волос, широкие плечи были откинuty назад, а в петлице пылал цветок. Такие самые цветы Гейл видел недавно на клумбе и без труда догадался, чему так радуется Солт.

Однако, увидев сумрачные лица, тот стал немного спокойнее.

— Ну как, — непонятым тоном спросил он, — нашли что-нибудь?

По-видимому, юрист собрался задать ему вопрос, который был некогда задан Каину, но Гейл откинулся на спинку кресла и засмеялся.

— Я больше не ищущу, — сказал он. — Стоит ли?

— Вы поняли, — откликнулся лавочник, — что не найдете Финеаса Солта.

— Я понял, — сказал поэт, — что нашел его.

Гарт вскочил.

— Да, — продолжал Гейл. — Я сейчас с ним говорю, — и он улыбнулся хозяину, словно их только что представили друг другу. — Не расскажете ли вы нам эту историю, мистер Солт?

Тот помолчал.

— Расскажите вы, — проговорил он наконец, — вы ведь знаете все.

— Я знаю все,— сказал Гейл, — только потому, что сам бы так сделал. Говорят, я понимаю сумасшедших, в том числе — поэтов.

— Минутку! — прервал их Гантер. — Пока вы не скрылись в поэтических дебрях, скажите мне попросту: надо ли понимать, что владелец этой лавки — сам Финеас Солт? Где же тогда его брат?

— Путешествует, наверное,— ответил Гейл. — Уехал за границу поразвлечься. И развлекаться ему помогут две тысячи пятьсот фунтов, которые дал ему бывший поэт. Это все было легко: Джозеф доплыл вдоль берега до того места, где они спрятали другой костюм, а Финеас вернулся, побрился и переоделся в кабинке. Братья достаточно похожи, чтобы случайные попутчики ничего не заметили. А потом, как видите, он открыл лавочку в новом месте.

— Почему? — закричал Гарт. — Ради Бога, объясните, зачем ему это? Не понимаю.

— Я объясню вам,— сказал Гейл, — но вы все равно не поймете.

Он поглядел на кружку и начал:

— Это нелепая история, и вы поймете ее лишь тогда, когда поймете нелепицу или, вежливо говоря, поэзию. Поэт Финеас Солт стал властелином всему, он помешался на свободе и всевластии. Он хотел все испытать, все вообразить, все перечувствовать. И узнал, как всякий, кто этого хотел, что беспредельная свобода сама по себе страшна, словно окружность, которая и символ вечности, и символ закрытого пространства. Но Солт стремился не только все испытать — он стремился всем и всеми стать. Для пантеиста Бог — это все, для христианина — Кто-то. Тот, кто хочет всего, ничего не хочет. Мистер Хэтт говорил мне, что Финеас подолгу глядел на лист бумаги. Причина не в том, что ему было не о чем писать, а в том, что он мог писать о чем угодно. Когда он смотрел с утеса на толпу, такую пошлую и такую сложную, он знал, что ему под силу написать десять тысяч историй, и не стал писать ни одной. У него не было оснований предпочесть какую-нибудь из них.

Что же делать дальше? Куда это ведет? Говорю вам, возможны лишь два выхода. Можно броситься вниз и стать никем. Можно спуститься вниз и стать кем-то. Воплотиться; начать сначала. Если человек не родится снова...

Финеас выбрал второй путь и понял, что прав. Он обрел то, чего много лет не видел, маленькие радости бедных: леденцы, лимонад, любовь к девушке, которая живет за углом, застенчивость, молодость. Только этого не знал человек, перевернувшийся вверх дном все семь небес. Он поставил последний опыт; и, смею предположить, опыт удался.

— Да,— твердо и радостно подтвердил Финеас Солт. — В высшей степени.

Мистер Гантер, юрист, встал и сказал в отчаянии:

— Хоть я и знаю все, я ничего не понимаю. Наверное, вы правы, но как вы догадались?

— Мне помогли леденцы в витрине,— ответил Гейл. — Я не мог на них наглядеться, они такие красивые. Дети правы, леденцы лучше драгоценного камня. Как хорошо есть изумруды и аметисты! Я глядел на леденцы и знал, что они о чем-то говорят. Они сверкали, как рубин, тут, в лавке. Снаружи, с улицы, они темные, тусклые. Чтобы привлечь покупателя, можно выставить много других сладостей — скажем, позолоченные пряники. И тут я вспомнил о человеке, который рвался в собор, чтобы посмотреть изнутри, как свет проходит через витраж; и все понял. Витрину украшал не лавочник. Он думал не о тех, кто глядит с улицы, а о самом себе. Отсюда, из лавки, он видел рубиновый свет. А мысль о соборе напомнила мне и о другом. Поэт говорил там о двойной жизни святого Фомы Кентерберийского, который познал земную славу и отрешился от нее. Святой Финеас Крайдонский тоже избрал двойную жизнь.

— Так...— тяжело переведев дух, вымолвил мистер Гантер. — Со всем почтением предположу, что он свихнулся.

— Нет,— сказал Гейл. — Многие мои друзья свихнулись, и я их понимаю. Но это — история о человеке, который вправил вывих.

ПАВЛИНИЙ ДОМ

Несколько лет назад по солнечной пустынной улице лондонского предместья, мимо садов и домиков, шел молодой человек. Одет он был не по-столичному, шляпу его мы вправе назвать доисторической, а прибыл он из дальнего, сонного, западного селения. Больше в нем не было ничего примечательного, кроме разве его судьбы, весьма примечательной и даже прискорбной. Навстречу ему во весь дух мчался пожилой и лысый джентльмен во фраке. Врезавшись в него, как снаряд, он схватил его за немодные лацканы и пригласил к обеду, — вернее, он слезно молил его пообедать с ним, что было довольно странно, поскольку незнакомец не знал ни его, ни кого другого на много миль вокруг. Однако испуганный сельский житель решил, что так уж принято в диковинной столице, где улицы вымощены золотом, — и принял приглашение. Он вошел в гостеприимный дом, который был совсем рядом, и больше его никто никогда не видел.

Обычные объяснения здесь не подходили. Люди эти знакомы не были. Приезжий не привез ни ценностей, ни денег, ни мало-мальски важных бумаг, и с первого взгляда было ясно, что у него их нет. Настойчивый же хозяин просто сиял благополучием. Манишка его так сверкала, запонки и булавка так мерцали, сигара так благоухала, что никто не заподозрил бы его в мошенничестве или воровстве. И впрямь, мотивы его преступления были на редкость странными — столь странными, что даже с со-той попытки вы вряд ли угадали бы их.

Вероятно, никто бы их не угадал, если бы еще один молодой человек, проходивший в тот же солнечный день по той же улице, часа через два, не отличался некоторой чужаковатостью. Не надо думать, что он проявил особое сыщицкое чутье, — меньше всего на свете он был похож на сыщика из детективного романа, который отгадывает загадки благодаря своей собранности и сосредоточенности. Точнее будет сказать, что наш герой нередко отгадывал загадки благодаря своей рассеянности. Иногда какой-

нибудь предмет неизвестно почему запечатлевался в его сознании, словно талисман, и он глядел и глядел на него, пока тот не начинал вещать, словно оракул. В прежних случаях его привлекали камень, канарейка и морская звезда. То, что привлекло его сейчас, было еще удивительней с обычной точки зрения; но сам он до такой точки зрения дошел не скоро.

Он медленно шествовал по залитой солнцем дороге и с сонной радостью подмечал, как прорезают яркую зелень золотые нити раkitника, а белый и алый шиповник светится в первых предзакатных тенях. Ему нравилось, что полумесяцы газонов повторяются снова и снова, как узор на гардинах, ибо он не считал повторение однообразным. Но вдруг он почти бессознательно заметил, что один газон — немного другого оттенка, вернее — что на нем нечетко выделяется почти синее пятно. Он присмотрелся, пятно задвигалось и превратилось в крохотную головку на изогнутой шее. Это был павлин.

Прежде чем подумать о вещах обычных, прохожий подумал о тысяче необычных вещей. Пламенная синева павлиньей шеи напомнила ему о синем пламени, а синее пламя — о преисподней, и только тогда он понял, что смотрит на павлина. Затканый глазками хвост увлек его рассеянный ум к таинственным и дивным чудищам Апокалипсиса, у которых очей еще больше, чем крыльев; и только тогда он вспомнил, что в прозаическом предместье павлинов быть не должно.

Гэбриел Гейл (а именно так звали молодого прохожего) был второстепенным поэтом, но первоклассным и знаменитым живописцем, и, зная его пристрастие к красивым видам, аристократы часто приглашали его в те живописные поместья, где павлины не такая уж редкость. Подумав о поместьях, он вспомнил одно, заброшенное и запущенное, но для него невыносимо прекрасное, словно потерянный рай. Он увидел в сверкающей траве девушку величавей павлина, и пламенная синева ее платья светилась печалью, какой не сыщешь и в аду. Быстро справившись с нелегким воспоминанием, он все же не успокоился, хотя мысли его были на сей раз довольно здоровыми. Что ни говори, в палисадниках лондонских предместий павлинов не разводят. А этот павлин был особенно велик и горделив для здешних мест: казалось, поведи он хвостом — и все деревца вокруг сломаются. Наверное, такое же чувство испытываешь, зайдя к старой деве, любящей птичек, и увидев у нее страуса.

Эти размышления сменились еще более здоровыми — Гейл обнаружил, что уже минут пять стоит лениво и беспечно, опершись на чужую калитку, как сельский житель, мечтающий у изгороди. Если бы хозяин вышел в сад, пришлось бы с ним объясняться; но никто не выходил. Зато кое-кто вошел. Когда павлин отвернул от него увенчанную крохотной короной головку и величаво двинулся к дому, Гейл спокойно отворил калитку и пошел за ним прямо по траве. Здесь было темнее, потому что

садик зарос алым боярышником, а дом неожиданно оказался совсем не живописным. То ли его недостроили, то ли перестраивали: у стены стояла стремянка, приготовленная, вероятно, для рабочих, а кусты местами были повырублены: охапка веток алела на подоконнике второго этажа, и на перекладинах стремянки лежали лепестки. Гейл отметил все это, растерянно стоя у лестницы и думая о том, как неуместны этот дом и эта стремянка в прекрасном саду, по которому бродит павлин. Чувство у него было такое, словно к изысканно-красивым кустам и птицам силою ворвались известка и кирпичи.

Гейлу была присуща та редкостная непосредственность, которая многим казалась просто-напросто наглостью. Как и все люди, он мог поступить дурно, прекрасно это зная и стыдясь этого. Но когда он думал, что поступает правильно, ему и в голову не приходило устыдиться. Он считал взломщиком только вора и, не собираясь красть, без зазрения совести проник бы по дымоходу хоть к самому королю. Лестница и окно искушали его слишком сильно, приглашали так явно, что это и приключением не назовешь; и он пошел по стремянке, словно по ступенькам отеля. Однако на самом верху он приостановился, нахмурился и поспешил перемахнуть через подоконник.

После золотого предзакатного света комната казалась полутемной, и Гейл не сразу различил предметы в неярких отблесках зеркала. Все, что он увидел, представилось ему каким-то убогим, даже уродливым: темные сине-зеленые гардины, усеянные глазками, были много тусклее, чем хвост павлина в саду, а зеркало, когда он присмотрелся, оказалось разбитым. И все же комната была приготовлена к приему: на красиво накрытом столе у каждого прибора стояло несколько причудливых бокалов для разных вин, а в синих вазах красовался все тот же алый и белый боярышник. Но и на столе не все было ладно, — Гейл даже подумал, что кто-то здесь дрался или убежал отсюда, перевернув на бегу солонку и разбив зеркало. Потом он взглянул на нож и стал было кое-что понимать, но тут открылась дверь и в комнату быстро вошел коренастый седой человек.

Именно в этот миг Гейла окатило холодом здравомыслия, словно он прыгнул в море с летучего корабля. Он вспомнил, где он и как сюда попал. Обычно он не сразу улавливал практическую сторону дела, он вообще слишком поздно улавливал ее, но уж тогда она вставала перед ним со всею четкостью. Он понимал, что никто не поверит, будто у него были основания проникнуть в диковинный дом через окно. У него их и не было, во всяком случае — таких, которые можно изложить, не вдаваясь в поэзию или философию. Глядя на себя со стороны, он отметил даже самую гнусную подробность: он, чужой человек, подозрительно возится с хозяйским серебром. Поколебавшись немного, он положил нож, вежливо приподнял шляпу и сказал чуть позже и чуть насмешливей, чем следовало:

— Я бы на вашем месте не стрелял. Лучше позвоните в полицию.

Однако и хозяин застыл в довольно странной позе. Открыв дверь, он дернулся, разинул рот, но не закричал, а упрямо сжал губы, словно решил вовсе не говорить. Его энергичное умное лицо портили глаза навывкате, налитые кровью, как будто он всегда на кого-то сердился. Но сонные синие глаза беззаконного пришельца глядели не на них, а пониже — туда, где мерцал молочным светом огромный опал.

— Вы кто, вор? — заговорил наконец и хозяин.

— Строго говоря, нет, — ответил Гейл. — Но если вы спросите, кто же я, я скажу, что и сам не знаю.

Хозяин торопливо обогнул стол и как-то нерешительно протянул к нему руку, а может, и обе руки.

— Конечно, вор, — сказал он. — Ну и ладно. Обедать будете?

Он помолчал, явно волнуясь, и начал снова:

— Правда, победайте с нами. Вот и ваш прибор.

Гейл внимательно оглядел стол и сосчитал приборы. Число их рассеяло последние его сомнения. Теперь он знал, почему у хозяина в запонках и в галстук опалы, почему разбито зеркало, рассыпана соль, ножи и вилки лежат крест-накрест, почему в доме раскидан боярышник и валяются павлиньи перья, а в саду расхаживает павлин. Он понял, что стремянка стоит так странно не для того, чтобы по ней лазали в окно, а для того, чтобы под ней проходили к двери. И еще он понял, что прибор его — тринадцатый.

— Сейчас будем обедать, — с нервным радушием говорил украшенный опалами хозяин. — Я как раз шел вниз, звать остальных гостей. Очень занятные люди, вы уж мне поверьте. В самом деле, умные, здравомыслящие, ничего на свете не боятся. Меня зовут Крэндел, Хэмфри Крэндел, в деловом мире я довольно известен. Пришлось представиться самому, чтобы представить вам других.

Гейл припомнил, что часто в рассеянности скользил глазами по буквам этого имени, и связано оно не то с мылом, не то с лекарством, не то с вечными перьями. Он мало разбирался в этих делах, но все же мог себе представить, что бизнесмену такого калибра вполне по карману и вина, и павлины, хоть он и живет в невзрачном особняке. Но другие мысли мучили его, и он невесело глядел в окно, в павлиний сад, где умирали на траве последние лучи заката.

Тем временем члены «Клуба тринадцати» входили в комнату и рассаживались по местам. Большинство из них отличалось бойкостью, а некоторые — и наглостью. У самых молодых, с виду похожих на очень мелких служащих, лица были глупые и беспокойные, словно они участвовали в опасной игре. И только двое из двенадцати были явно приличными людьми: сухонький морщинистый старичок в огромном рыжем парике и высокий

крепкий человек неопределенного возраста и несомненного ума. Первый оказался сэром Дэниелом Кридом, в свое (довольно давнее) время прославившемся в суде. Второй звался просто мистер Ноэл, но сразу было видно, что он умнее и значительней старика. Лицо у него было крупное, резкое и красивое, а впалые виски и глубокие глазницы говорили о духовной, а не о телесной усталости. Чутье подсказало поэту, что он и впрямь устал; что прежде чем присоединиться к этой странной компании, он перевидал много других и, наверное, еще не нашел достаточно странной.

Однако нервная словоохотливость хозяина долго не давала гостям проявить себя. Он говорил один за всех, лучась радостью, вертелся, ерзал в кресле, словно достиг наконец долгожданной цели. Неловко было смотреть, как резвится седой коммерсант, и нелегко было понять, что же его так радует. Он то и дело говорил невпопад, но сам был чрезвычайно доволен каждым своим словом; а Гейл с тревогой думал о том, как разойдется хозяин, осушив все пять стоявших перед ним бокалов. Однако ему еще не раз суждено было удивить своих гостей, прежде чем он отведал последнего из своих вин.

Повторив в очередной раз, что рассказы о дурных приметах — несусветная чушь, он вынужден был замолчать, ибо в разговор вступил старый адвокат.

— Дражайший Крэндл, — заговорил он нетвердым, но резким голосом. — Я хотел бы внести уточнение. Да, все это чушь, но чушь ведь тоже бывает разная. С исторической точки зрения, суеверия неоднородны. Происхождение одних — ясно, происхождение других — смутно. Страх перед пятницей, крестом или числом тринадцать, вероятно, связан с религией. Но с чем, разрешите спросить, связан страх перед павлином?

Крэндл благодушно и громогласно возвестил, что это еще какая-нибудь немислимая ерунда, но вдруг в разговор вмешался Гейл, сидевший рядом с Ноэлом.

— Кажется, я могу кое-что объяснить, — сказал он. — Я как-то рассматривал рукописи девятого или десятого века с очень интересными заставками в строгом византийском стиле. Изображали они два воинства перед небесной битвой. Архистратиг Михаил раздает ангелам копьа, а Сатана своим воинам — перья павлина.

Ноэл резко повернулся к нему, и Гейл увидел его глубокие глазницы.

— Очень интересно, — сказал Ноэл. — Вы считаете, дело тут в осуждении гордыни?

— Что ж! — выкрикнул Крэндл. — Вот вам павлин! Можете его ощипать, если вздумаете сразиться с ангелами.

— Перья — плохое оружие, — серьезно заметил Гейл. — Видимо, это и хотел поведать нам средневековый художник. Он поражает воинственность в самом сердце: правые вооружаются

для истинной борьбы, чей исход всегда неизвестен; неправые заранее распределяют награды. А наградой сражаться нельзя.

Пока они беседовали, Крэндл почему-то все больше мрачнел. Глаза его загорались и гасли, губы беззвучно шевелились, пальцы нервно барабанили по скатерти. Наконец его прорвало:

— Что за ерунда! Можно подумать, вы сами во все это верите! Seriously говорить про такую чушь...

— Прошу прощения, — вставил Крид, по-судейски радуясь, что вносит в дело ясность. — Мои слова были крайне просты. Я говорил о причинах, а не о достоверности предрассудков. Я сказал, что страх перед павлинами труднее объяснить, чем, скажем, страх перед крестом.

— Вы считаете, что крест приносит беду? — спросил Крэндл, и глаза его затравленно и зло впились в поэта.

— Нет, не считаю, — отвечал Гейл. — У христиан бывают суеверия попроще, но креста они не боятся. Иначе они не поклонились бы ему.

— Да ну их к черту, ваших христиан... — яростно начал Крэндл, но его прервал голос, перед которым все крики Крэндла показались беспомощным лепетом.

— Я не христианин, — твердо сказал Ноэл. — Сейчас бесполезно спрашивать, жалею я об этом или нет. Но я считаю, что мистер Гейл совершенно прав: вера может перебороть суеверие. Более того — если бы я верил в Бога, то уж не в такого, который ставит человеческое счастье в зависимость от солонки или павлиньего пера. Чему бы христианство не учило, вряд ли оно учит, что Создатель безумен.

Гейл задумчиво кивнул, словно не во всем соглашался с ним, но ответил ему одному, как будто лишь его миновало охватившее всех безумие:

— В этом смысле вы правы. Но это еще не все. Мне кажется, многие смотрят на предрассудки очень легко, чуть ли не легче вашего, и связывают их с мелкими бедами, неловкостями, житейской неразберихой, которая зависит скорее от эльфов, чем от ангелов. Но ведь и христиане верят, что ангелы бывают разные; есть ангелы падшие — те, что сражались павлиньими перьями. Какие-то мелкие силы двигают столы и блюдечки — почему бы им не заняться ножом или солонкой? Конечно, наша душа не зависит от трещины в зеркале; но нечистые силы хотели бы нас этим напугать. А преуспеют ли они, зависит от того, что чувствуем мы сами, когда разбиваем зеркало. Быть может, разбивая его в гневе или в злом презрении, мы действительно вступаем в связь с чем-то недобрым. Быть может, на доме, где мы это сделали, остается след, и нечистые духи слетаются на него.

Наступило странное молчание, и Гейлу показалось, что оно висит над домом и оседает на соседние садики и улицы. Молчали все, и вдруг тишину прорезал хриплый крик павлина.

Именно тогда Хэмфри Крэндл поразил гостей в первый раз. Слушая Гейла, он упорно глядел на него, и глаза его все больше

наливались кровью, а сейчас, обретя голос, он поначалу издавал нечеловеческие, почти павлиньи звуки. Он заикался, он захлебывался от гнева, и лишь к концу первой фразы стало понятно, о чем он говорит.

— ...приходят, видите ли... порют черт те что... пьют мое вино... и еще смеют... против наших... против самых первых... Добивайте нас, чего там, добивайте!

— Ну-ну,— по-прежнему твердо вмешался Н о э л . — Это просто неразумно. По-моему, вы сами пригласили мистера Гейла вместо одного из наших друзей.

— Как я понял,— уточнил К р и д , — Артур Бейли телеграфировал, что не приедет, и мистер Гейл любезно согласился занять его место.

— Да,— огрызнулся К р э н д л . — Я пригласил его тринадцатым. Вот вам и ваши суеверия. Он ведь тринадцатый, и прошел под лестницей, а ему повезло, он неплохо пообедал.

Ноэл снова хотел вмешаться, но Гейл вскочил. На вид он был не обижен, а рассеян, и обратился он к Криду и к Ноэлу, а не к пылкому Крэндлу.

— Благодарю вас,— сказал о н , — мне пора идти. Да, меня пригласили к обеду, но в дом меня не приглашали. И что-то мне кажется... — Он потрогал ножи, поглядел в окно и закончил: — По правде говоря, я не уверен, что тринадцатому гостю так уж повезло.

— Что такое? — вскрикнул К р э н д л . — Вы что, недовольны обедом? Отравили вас?

Глядя в окно и не меняя позы, Гейл ответил ему:

— Я четырнадцатый гость, и я не проходил под лестницей.

Крид умел следить лишь за логическими доводами и не замечал ни знамений, ни перепадов в атмосфере, как замечал их более тонкий Ноэл. Впервые законник в рыжем парике показался совсем дряхлым. Он уставился на Гейла и ворчливо спросил:

— Вы что же, считаете нужным соблюдать все эти глупости?

— Да нет,— отвечал Г е й л . — Вряд ли я считаю это нужным. Но я уж точно не считаю нужным их намеренно нарушать. Начнешь — и столько всего нарушишь, порушишь, разобьешь... Многое на свете не прочнее з е р к а л а . — Он помолчал и виновато прибавил: — Например, десять заповедей...

Все снова внезапно замолкли, и Гейл вдруг понял, что почему-то настойчиво ждет уродливого павлиньего крика. Но павлин не кричал, и Гейлу почему-то представилось, что его задушили там, в темноте.

Тогда поэт впервые обернулся к Крэндлу и посмотрел прямо в налитые кровью глаза.

— Быть может, павлины и не приносят беды,— сказал о н , — но гордыня беду приносит. Вы из гордыни и презренья нарушали нелепые приметы смиреннейших, чем вы; и вот, вам пришлось нарушить священный запрет. Быть может, разбитое зеркало и не приносит беды, но безумие беду приносит. Вы помешались на

логике и здравом смысле, и вот, вы стали наконец преступным безумцем. Быть может, красный цвет и не приносит беды, но я не зря почуял беду, когда увидел красные пятна на подоконнике и на ступеньках. Сначала я подумал, что это лепестки.

Впервые за этот суетливый день человек, сидевший во главе стола, ни разу не шелохнулся. Он застыл и сжался так внезапно, что все остальные пробудились и повскакали с мест, крича и спрашивая наперебой. Один лишь Ноэл оставался спокойным.

— Мистер Гейл, вы сказали слишком много или слишком мало. Нетрудно решить, что все это — просто вздор, но мне кажется, что вы не всегда говорите ерунду. Если же вы не докажете ваших слов, это будет клевета. В сущности, вы сказали нам, что здесь произошло убийство. Кого же вы обвиняете? Нас всех?

— Не вас, — ответил Гейл. — И вот доказательство: если надо все проверить, лучше всего сделать это именно вам. Идите и взгляните сами, что там за пятна. Они есть и внизу, на траве, у подножья лестницы, и дальше, до мусорного ящика в углу сада. Загляните и в ящик. Быть может, на нем окончатся ваши поиски.

Крэндел сидел неподвижно, как идол, и гости почему-то поняли, что его налитые кровью глаза глядят теперь внутрь. Он думал о чем-то своем, решал и не мог решить какую-то загадку, не замечая ничего вокруг. Крид и Ноэл вышли из комнаты, шаги их простучали по лестнице, голоса негромко прозвучали под окном и затихли, удаляясь в угол сада. Хозяин же сидел неподвижно, и опал в его галстук светился, словно священное око восточного божества. Вдруг он как будто стал больше и сам изнутри засветился. Он вскочил, высоко поднял бокал, но сразу поставил его, и тонкие стенки задрожали, а вино расплылось по скатерти кроваво-алой звездой.

— Я все понял! — в самозабвении крикнул он. — Я был прав. Да, да! Я прав! Как вы не видите? Как же вы все не видите? Тот человек не тринадцатый. Он — четырнадцатый, а этот — пятнадцатый. Тринадцатый — Артур Бейли, а он жив и здоров. Он сюда не пришел, но это ничего не значит. Совершенно ничего не значит. Он ведь у нас тринадцатый. Каких же нам еще тринадцатых? Все остальное не важно. Зовите меня как хотите. Делайте со мной что хотите. Этот ваш поэт сам не знает, что говорит, — ведь в ящике никакой не тринадцатый, и пускай кто-нибудь мне...

Ноэл и Крид стояли в дверях, и лица их были мрачны, а человек во главе стола распался все больше. Когда ему не хватило воздуха и он запнулся, захлебнувшись словами, Ноэл произнес железным голосом:

— Как ни жаль, вы правы.

— В жизни такого ужаса не видел, — сказал Крид, поскорее сел к столу и поднял рюмку с ликером дрожащей старческой рукой.

— Тело в мусорном ящике, — безжизненно продолжал Ноэл. — Горло перерезано. Судя по меткам на костюме, бедняга приехал из Сток-андер-Хэма. Кстати, сам он молодой, а костюм у него старомодный.

— Какой он с виду? — вдруг оживился Гейл.

Ноэл с интересом посмотрел на него и ответил:

— Он долговязый, тощий... волосы у него как пакля. А почему вы спросили?

— Я подумал, — ответил поэт, — что он немножко похож на меня.

Крэндл тяжело обвис в кресле и не пытался ни объясняться, ни бежать. После бурной вспышки губы его еще шевелились, но говорил он сам с собой, доказывая все убедительней, что убитый им человек не вправе именоваться тринадцатым. Сэр Дэниел Крид тоже сидел неподвижно, но молчание нарушил именно он.

— Кровь вопиет о справедливости, — сказал он, поднимая голову в нелепом, огромном парике. — Я старый человек, но я готов судить убийцу, будь он мне хоть братом.

— Сейчас позвоню в полицию, — сказал Ноэл. — Медлить незачем.

Он выпрямился, его тяжелое лицо оживилось, и в глубоких глазницах засветился свет.

Тут председательское или судейское место занял некто Булл — крупный, краснолицый человек, похожий на коммивояжера, который во время обеда шумно веселился на другом конце стола. Сейчас он подождал, не прикажут ли ему чего-нибудь люди пообразованней, и, не дождавшись, решил приказывать им.

— Нам не до колебаний. Нам не до чувств, — затрубил он, словно слон. — Конечно, дело нелегкое — все ж старый член клуба!.. Но мне, повторяю, не до чувств. Убийцу надо казнить, кто бы он ни был. Да что там! Ясно, кто он такой. Он сам только что во всем признался, когда Ноэл и Крид вышли.

— Никогда его не любил, — сказал один из мелких служащих, у которого, вероятно, были с Крэндлом старые счеты.

— Действовать надо быстро, — сказал Ноэл. — Где телефон?

Гэбриел Гейл встал перед креслом, где неподвижно сидел хозяин, и обернулся к наступающим на него людям.

— Стойте! — крикнул он. — Дайте мне сказать!

— В чем дело? — терпеливо спросил Ноэл.

— Не люблю хвастаться, — отвечал Гейл, — но придется, иначе не объяснишь. Мне, в отличие от мистера Булла, до чувств. Мое дело — чувства, я ведь пишу чувствительные стишки. Вы — люди серьезные, разумные, практические, вы смеетесь над суевериями и цените здравый смысл. Однако здравый смысл не помог вам обнаружить мертвое тело. Вы разумно докурили бы сигары, разумно допили грог и ушли домой, а оно осталось бы гнить на помойке. Вы никогда не думали о том, куда может завести путь разума и насмешки. Вам помог стихоплет, чужак, мечтатель, — быть может, потому, что он не презирает чувств. Ведь я и впрямь чужак и знаю по себе, что сводит с ума таких, как этот лопочущий безумец. Потому я и могу следовать за ним. А теперь счастливый поборник чувств обязан выступить в защиту несчастного.

— В защиту преступника? — спросил Крид резким и нетвердым голосом.

— Да, — отвечал Гейл. — Я разоблачил его, мне его и защищать.

— Вы что, защищаете убийц? — удивился Булл.

— Не всех, — спокойно ответил Гейл. — Этот убийца — особенный. Я вообще не уверен, убийца ли он. Быть может, это несчастный случай. Быть может, он это сделал случайно, машинально, автоматически.

Старческие глаза загорелись — Крид вспомнил очные ставки, и его резкий голос больше не дрожал.

— Вы хотите сказать, — начал он, — что Крэндл прочитал телеграмму, вышел на улицу, схватил первого встречного, затащил сюда, отлучился, взял где-то бритву или нож, перерезал гостю горло, понес труп вниз, уложил его в мусорный ящик и заботливо прикрыл крышкой машинально, по несчастной случайности?

— Вы прекрасно изложили дело, сэр Дэниел, — ответил Гейл. — А теперь, если разрешите, я задам вам вопрос в том же логическом стиле. Как говорите вы, законники, где же тут мотив? По-вашему, нельзя случайно убить совершенно незнакомого человека. А зачем, скажите мне, убивать знакомого намеренно? Какое тут намерение? Крэндлу это ни в чем не помогло, это все ему испортило, — он ведь потерял своего тринадцатого гостя. С какой стати ему, именно ему, хотеть, чтобы с тринадцатым и впрямь случилась беда? Его преступление никак не вяжется с его верой, с его суеверием, безумием — зовите это как хотите.

— Вы правы, — признал Ноэл. — В чем же тут дело?

— Мне кажется, — ответил Гейл, — никто не может ответить вам, кроме меня. И вот почему. Заметили вы, как часто мы принимаем самые дурацкие позы? Их можно увидеть на ментальных снимках. Кажется, новые, уродливые школы живописи пытаются схватить именно это — как мы валимся на бок, хватаемся за воздух, стоим на одной ноге. Неловкая поза — страшная вещь. Я это знаю, потому что сегодня я сам стоял в нелепейшей позе.

Я влез в окно из глупого любопытства и стоял как дурак у стола, раскладывая поровней ножи. Шляпы я не снял, а когда вошел Крэндл, снял было ее, не выпуская ножа, но одумался и положил его на стол. Вы знаете, как иногда глупо двинешь или дернешь рукой. И вот, когда Крэндл меня увидел, но еще не разглядел как следует, он остолбенел, словно сам Господь или палач забрался к нему в столовую. Мне кажется, я знаю, почему он так испугался. Я тоже неловок и высок, как тот, первый. Наверное, Крэндлу показалось, что труп поднял крышку ящика, вскарабкался по лестнице и встал на прежнее место. А я заметил, как неловко я поднял руку с ножом, — и это мне помогло. Это подсказало мне, что же здесь случилось.

Когда наш несчастный сельский житель вошел сюда, он — в отличие от нас — страшно испугался. Такие люди, как он, верят

в приметы. И вот он принялся поскорее раскладывать ровно ножи, как вдруг увидел рассыпанную соль. Может быть, он подумал, что сам опрокинул солонку. В эту роковую минуту вошел Крэнгл, и бедняга смутился еще больше и еще сильнее заторопился. Не забывайте, он делал два дела сразу. Не выпуская ножа, он взял щепотку соли и попытался бросить ее через плечо. Но фанатик кинулся на него и схватил его за руку.

Ведь в эту минуту рушился весь безумный миропорядок Крэнгла. Вы толкуете о суевериях, а заметили вы, что это — дом колдуна? Поняли вы, что здесь на каждом шагу — заклинания, обряды, ритуалы, только задом наперед? Ведьмы читают задом наперед молитву Господню. Как вы думаете, что почувствует ведьма, если хотя бы два слова случайно окажутся на своих местах? Крэнгл увидел, что несуразный поселянин вот-вот разрушит чары его черной магии. Если бы он бросил соль через плечо, вся сложная постройка обрушилась бы. Со всей силой, какую он мог призвать из ада, Крэнгл повис на руке, державшей нож, чтобы несколько серебряных пылинок не опустились на пол.

Бог его знает, случай ли это. Да, именно т а к , — ту секунду, и все, что за ней скрыто, видел только Бог. Только перед Ним она открыта и светла, как вечность. Но мы — просто люди, и я, и наш хозяин. А я, если смогу, не дам казнить человека за то, что он сделал случайно, или машинально, или даже, можно сказать, защищая себя. Возьмите щепотку соли, встаньте, как стоял убитый, и вы поймете, что произошло. Наверное, такого не случилось нигде и никогда; наверное, еще не бывало, чтобы лезвие ножа приблизилось вплотную к горлу, когда об убийстве никто и не думал. Но так было здесь, и цепочка мелких действий привела к страшной беде. Больше я ничего не утверждаю. Странно подумать, что бедняга выбрался из дальнего селенья, прихватив с собою лишь горстку местных преданий, а этот безумный гордец и обличитель, выскочив в гнев за калитку, наткнулся именно на него, и они встретились в небывалых, немыслимых обстоятельствах — и так схлестнулись не на жизнь, а на смерть два вида суеверий.

Человека, сидевшего во главе стола, никто уже не замечал, словно он превратился в стол или кресло. Однако Ноэл медленно повернулся к нему и спросил его с тем холодным терпением, с каким обращаются к невыносимому ребенку:

— Верно все это?

Крэнгл вскочил на ноги, пошатнулся, несколько раз беззвучно открыл рот, и все увидели клочок пены в углу его губ.

— Я хотел бы у з н а т ь , — гулко начал он, но голос изменил ему, он дважды покачнулся и упал лицом на стол, сокрушая свой хрусталь и разливая вино.

— Не знаю, нужно ли звать полицию, — сказал Н о э л , — а вот врач не помешал бы.

— Тут нужны два в р а ч а , — сказал Гейл и направился к окну, через которое вошел.

Ноэл проводил его до калитки, мимо павлина и островка травы, синеватой, как павлин, в ярком лунном свете. Выйдя за ограду, Гейл обернулся и сказал напоследок:

— Я думаю, вы — Норман Ноэл, прославленный путешественник. Вы интересней мне, чем бедный безумец, и я задам вам вопрос. Простите, если навывдумывал за вас, такая уж у меня привычка. Вы изучали суеверия по всему свету и видели вещи, по сравнению с которыми все эти толки о ножах и о солонках — просто детская игра. Вы побывали в темных лесах, где верят в вампиров, которые громадней дракона, и в горах, где боятся оборотней и ждут, что на лице подруги или друга вдруг засветятся звериные глаза. Вы знали истинных суеверов, веривших в черные, жуткие вещи, вы жили среди них, и я хочу спросить вас о них.

— Мне кажется, вы сами немало о них знаете, — заметил Норман Ноэл, — но я отвечу вам на любой вопрос.

— Вам не кажется, что эти суеверные люди счастливее вас?

Гейл спросил это и помолчал, а потом начал снова:

— Вам не кажется, что они пели больше песен, и плясали больше плясок, и пили больше вина, и радовались искренней, чем вы? А все потому, что они верили в зло. Пускай всего лишь в злые чары, в недобрый глаз, в дурную примету — да, зло является им под глупыми и несообразными обличьями. Но они думают о нем! Они ясно видят белое и черное, и жизнь для них — поле битвы. А вы несчастны потому, что в зло не верили и считали, что истинный философ обязан видеть все в сером свете. И вот, я говорю с вами, ибо сейчас, сегодня, вы проснулись. Вы увидели достойное ненависти и познали радость. Обычное убийство не разбудило бы вас. Если бы убитый был пожилым светским человеком или даже молодым светским человеком, это бы вас не потрясло. Но я знаю, что случилось с вами теперь. В смерти этого сельского бедняги было что-то беспредельно постыдное.

Ноэл кивнул.

— Наверное, это из-за того, что у него такие нелепые фалды, — сказал он.

— Да, наверное, — сказал Гейл. — Что ж, вот она, дорога к действительности. Спокойной ночи.

И он пошел по улице пригорода, бессознательно отмечая, как меняется цвет травы в ярком лунном свете. Павлинов он больше не встретил, и мы вправе предположить, что он об этом не жалел.

УДИВИТЕЛЬНОЕ УБЕЖИЩЕ

Маленькая похоронная процессия пересекла маленькое кладбище, расположенное на скалистом берегу Корнуолла, и опустила маленький гроб в могилу у стены. Ничего необычного во всем этом не было, но рыбаки и крестьяне смотрели на гроб с суевренным страхом, словно в нем лежало чудовище. На самом деле в нем лежал человек, который долго жил среди них и ни разу им не показался.

Зато единственный его друг показывался им часто. Он жил в одном доме с невидимкой, но бывал и на улице. Загадочный же незнакомец, по всей вероятности, вошел в дом ночью, а покинул его в гробу. За этим гробом шел высокий человек в черном, и морской ветер шевелил его светлые волосы, похожие на бледные водоросли. Он был не стар, и черное ему шло, но те, кто видел его раньше, ощущали, как он изменился. Обычно он одевался удобно и небрежно, как пейзажист на этюдах, и это подчеркивало его приветливую отрешенность. В черном он стал собранней и строже. Таким изображают Гамлета — светлые волосы, черное платье, рассеянный в з о р , — только у датского принца вряд ли был упрямый, торчащий вперед подбородок.

С кладбища герой нашего рассказа отправился на почту. Шел он все легче, не в силах скрыть, что с него свалилось тяжкое бремя.

— Стыдно сказать, — говорил он про с е б я , — но я просто веселый вдовец какой-то...

На почте он отправил телеграмму: «Уэстермейнское аббатство. Диане Уэстермейн. Буду завтра. Расскажу, как обещал, историю диковинной дружбы».

С почты он пошел прямо на восток все тем же легким шагом, и вскоре его черные одежды замелькали на фоне пестрых осенних лесов. Шел он долго, выпил пива в кабачке, закусил его сыром и двинулся дальше; но тут с ним случилось странное происшеств-

вие. Дорога вилась вдоль реки, бежавшей среди холмов, и с одной стороны возникла стена, сложенная из крупных камней и утыканная поверху великаными зубами камней. Герой наш не стал бы ее разглядывать, да он и не стал, но вдруг увидел, что камень, вздымая пыль, упал прямо перед ним. Пролетая, камень этот задел отнесенную ветром прядь светлых волос.

Немного испугавшись, он взглянул наверх и успел заметить, как в темной дыре мелькнуло хитрое лицо.

— Я вас вижу! — крикнул он. — За такие дела в тюрьму сажают!

— Только не меня, — отвечал незнакомец и быстро, как белка, скрылся в пестрой листве.

Человек в черном, именовавшийся Гэбриелом Гейлом, посмотрел на стену и определил, что влезть на нее невозможно и ненужно, ибо странный преступник уже далеко.

«Интересно, почему он это сделал? — подумал Гейл, вдруг нахмурился и гораздо серьезнее прибавил про себя: — Интересно, почему он это сказал?»

Три слова, которые он только что услышал, напомнили ему о том, как началась повесть, закончившаяся на корнуоллском кладбище. Именно эту повесть он и собирался рассказать леди Диане.

За четырнадцать лет до того Гэбриел Гейл достиг совершеннолетия и вступил во владение небольшими долгами и небольшой фермой своего покойного отца. Хотя он и вырос в деревне, взгляды его нельзя было назвать по-сельски отсталыми: он был истинным бунтовщиком и не давал покою всей округе. Он вступался за браконьеров и цыган; он писал в местные газеты письма, которые ни один редактор не решался напечатать; он обличал местный суд и местные власти. Обнаружив, что, как ни странно, власти эти — против него и ходу его речам не дадут, он изобрел особый вид гласности, чрезвычайно веселивший его и огорчавший начальство. Он уже знал, что наделен двумя дарами: хорошо рисует и хорошо угадывает истинную суть человека. Оба эти дара весьма полезны портретисту; но портретистом он стал весьма своеобразным. На его участке было несколько построек, и какие-то сараи с белеными стенами стояли прямо у дороги. Когда кто-нибудь из помещиков или власть имущих вызывал его негодование, Гейл немедленно писал его портрет на белой стене — не карикатуру, а именно портрет, изображение души. Казалось бы, крупному торговцу, получившему дворянство, обижаться не на что — и смотрит он именно так, исподлобья, и пробор у него прямой; но сразу было видно, что улыбается он улыбкой угодливого приказчика. Полковник Феррарс, гроза округи, тоже пожаловаться не мог — художник отдал дань

тонкости его черт, выписал суровые брови и пышные усы; но сразу было видно, что перед вами — круглый дурак, да еще такой, который тщательно это скрывает.

Своими живописными прокламациями Гейл украшал местность и пленял сердца ближних. Сделать ему ничего не могли. Клеветой это не было — как ее докажешь? Не было и порчей общественного имущества — стены, что ни говори, принадлежали ему. Среди тех, кто приходил полюбоваться на его работу, был краснолицый усатый фермер по фамилии Бэнкс; по-видимому, он принадлежал к людям, которые рады любому происшествию и глухи к любому мнению. Не вникая в политическую подоплеку занятых картин, он глядел на них разинув рот, как глядел бы на теленка о пяти ногах или на призрак повешенного. Размышлять он не любил, но дураком не был и умел порассказать немало смешных и страшных историй из местной жизни. Так и случилось, что они с мятежным Гейлом часто толковали за кружкой пива и часто бродили вместе, заглядывая на кладбища и в кабаки. Однажды на такой прогулке Бэнкс встретил двух своих примечательных знакомых — точнее, он встретил одного, а потом они нашли другого, так что всего их стало четверо.

Первый из знакомых фермера, называвшийся Старки, был невысоким проворным человечком со щетинистой бородкой. Разговаривая, он остро глядел на собеседника и насмешливо улыбался. И он, и Бэнкс с интересом слушали Гейла, хотя, может быть, его бунт занимал их просто как хорошая шутка. Им не терпелось познакомиться его с другим их приятелем, каким-то Симом, который, по их словам, разбирался в таких вещах. Гейл не протестовал, они отправились искать Сима и нашли его в маленькой сельской гостинице, называвшейся «Виноградная гроздь» и стоявшей у реки.

Туда они плыли на лодке. Греб новый знакомый. Стояло ясное осеннее утро. Над рекой нависали деревья, и в одном из просветов вдруг показался невысокий дом. Перед ним их ждал седой, кудрявый человек, похожий на печального актера. Он улыбнулся им и с привычной властью повел к гостинице, сообщая на ходу, что завтрак готов.

Гэбриел Гейл замыкал маленькое шествие, взбиравшееся вверх по прямой мощеной дорожке. Его блуждающий взор подмечал особенности сада, и что-то творилось с его блуждающей душой. Вдоль тропинки росли деревца, и Гейлу не нравилось, что они аккуратны, как вышивка, а сама тропинка так неумолимо пряма. Ему бы хотелось позавтракать не в доме, а за одним из выцветших столиков, стоявших в густой траве. Он был бы счастлив, если бы мог забраться в темный угол сада, где, наполовину скрытые плющом, виднелись старый стол и полукруглая скамья. Его привлекали детские качели. Последнему искушению он воспротивиться не смог и, крикнув: «Я сейчас!», кинулся к ним, схватился на бегу за веревку, вскочил на сиденье, раскачался как

следует и собрался прыгнуть, но веревка оборвалась, и он упал на спину, задрав кверху ноги. Трое спутников подбежали к нему. Первым бежал Старки, и в острых его глазах светилось веселое участие.

— Плохие качели! — сказал он. — На куски разваливаются. — Оборвал вторую веревку и прибавил: — Хотите, позавтракаем за тем столом? Прекрасно! Тогда идите первым, прорвите паутину. Когда оберете всех пауков, пойду и я.

Гейл весело нырнул в темный угол сада и сел на полукруглую скамью. Практичный Бэнкс явно не стремился в увитую листьями пещеру, но оба других туда пришли и уселись по обе стороны от Гейла.

— Насколько я понимаю, — сказал печальный человек, — вы поддались внезапному импульсу. У вас, поэтов, это часто бывает.

— Не знаю, поэт ли я, — ответил Гейл, — но описать это может только поэт. Я бы не мог. Тут надо сложить поэму о качелях и поэму о плюще и вставить их, обе, в длинную поэму о саде. А поэму сразу не сложишь, хотя мне всегда казалось, что истинный поэт не может говорить прозой. Он говорит о погоде стансами, подобными тучам, и просит передать картошку стихами, легкими, как цветок картофеля.

— Что ж, создайте поэму в прозе, — сказал человек, которого звали Симеоном Вольфом. — Расскажите нам, что вы чувствуете, глядя на качели и на этот сад.

Гэбриел Гейл был приветлив и общителен; он много говорил о себе, потому что не страдал эгоизмом. И сейчас он заговорил о себе, радуясь, что умные люди с интересом слушают его, и пытаясь выразить словами, как влияют на него неожиданные очертания, цвета и загадки. Он пытался объяснить, чем привлекли его качели и почему, взлетая на них к небу, взрослый чувствует себя ребенком, а ребенок — птицей. Он растолковывал, что стол под навесом хорош именно тем, что это — угол, закуток. Он рассказывал о том, что старые ветхие вещи поднимают дух, если он и без того стремится вверх. Собеседники его тоже что-то говорили, и к концу завтрака Гейл немало о них узнал. Вольф много путешествовал, Старки разбирался в местных делах, весьма интересных, а оба они хорошо разбирались в людях и помнили много занятных историй. И тот, и другой считали, что Гейл мыслит своеобразно, и все же — он не единственный в своем роде.

— Такой тип мышления я встречал, — заметил Симеон Вольф. — А вы, Старки?

— Я тоже, — кивнул тот.

Именно тогда Гейл, рассеянно глядевший на залитую солнцем траву, все и понял. У него так бывало — он сразу понимал все.

На серебряном фоне воздуха чернели, словно виселица, бывшие качели. Ни веревки, ни сиденья рядом с ними не было. Медленно переводя взгляд, Гейл обнаружил, что они лежат

аккуратной горкой внизу, у скамьи. Теперь он знал, чем занимаются те, кто сидит справа и слева от него. Он знал, почему они просили описать, что он чувствует. Он знал, что скоро они вынут и подпишут бумагу; и больше он от них не уйдет.

— Значит, вы психиатры, — весело сказал он, — а я для вас сумасшедший.

— Вы ненаучно выражаетесь, — мягко возразил Вольф. — Скажем так: вы принадлежите к тому типу людей, с которыми друзья их и почитатели должны обращаться определенным образом. Нет, нет, не враждебно! Вы — поэт, а поэтический темперамент неизбежно связан с манией величия. Отсюда — тяга к крупному, преувеличенному. Вы не можете спокойно видеть большую белую плоскость: вас непременно тянет нарисовать на ней большое лицо. Вы не можете спокойно видеть качели, вам тут же приходит в голову небо и полет. Позволю себе предположить, что, увидев кошку, вы думаете о тигре, а увидев ящерицу — о драконе.

— Вы совершенно правы, — сказал Гейл. Он криво усмехнулся и продолжал: — Хорошая штука психология. Учит, как залезть другому в душу. Вот у вас тоже интересный склад ума. Я встречал таких, как вы, и знаю, что с вами. Вы в том состоянии, когда замечают все, кроме сути. У нас противоположные болезни: я вижу в кошке тигра, а вы хотите доказать, что она даже и не кошка, так, неполноценная тварь. Но кошка — это кошка! Просто мы недостаточно здоровы, чтобы ее увидеть. Ваш мир лишен хребта, лишен сердцевины. Вы атеист, вот в чем ваша беда.

— Я вам не говорил, что я атеист, — сказал Вольф.

— Я вам не говорил, что я поэт, — ответил Гейл. — Но вот что я вам скажу: мне дано преувеличивать только в нужную, верную сторону. Вы вкрадчивы, как кошка, но я знаю, что вы в любой миг обратитесь в тигра. А эта юркая ящерка, силою ведовства, обернется драконом.

Перед ним, за зловещими останками качелей, сверкали багрец и серебро потерянного рая. Но Гейл, даже утратив надежду, не утрачивал логики; он хотел, пусть только словом, разбить своих врагов.

— Вы изучали медицину, — говорил он, улыбаясь, — но неужели вы думаете, что я не найду болезней у вас? Я вижу вас лучше, чем вы меня; портретист смотрит глубже психиатра. Я знаю, доктор Вольф, что в вашем мозгу — лишь хаос исключений. Вы признаете ненормальным что угодно, потому что для вас нет нормы. Вы признаете ненормальным кого угодно... А вот почему вы хотите признать ненормальным меня — вопрос другой. Трудно вам, атеистам! Вы не верите, что рано или поздно придет отмщение за гнусное предательство.

— Что ж, — усмехнулся Вольф, — болезнь ваша очевидна.

— Вы похожи на актера, — спокойно сказал Гейл, — но играете вы плохо. Я вижу, что угадал. Ростовщики и несправедные

судьи, угнетающие бедных в моих родных местах, не нашли закона, который запретил бы мне рисовать на белой стене их души в аду. Вот они и подкупили вас. Я встречал таких, как вы. Я знаю, не в первый раз вы выручаете богатых. Вы на все пойдете за деньги. Быть может, даже на убийство нерожденных.

Вольф все еще ухмылялся, но лицо его пожелтело. Старки визгливо и резко крикнул:

— Помните, с кем говорите!

— А, есть еще доктор Старки!.. — отрешенно продолжал Гейл. — Обследуем и его психику.

Он медленно перевел взгляд и увидел, что в раме качелей, по-птичьи склонив набок голову, стоит невысокий человек. Гейл подумал, что это — случайный постоялец, и помощи от него ждать не стоит: закон, вероятно, на стороне врачей. И продолжал:

— Умственная неполноценность доктора Старки в том, что он забыл истину. Вы, Старки, не мыслитель и не скептик. Вы — человек дела. Но вы так часто и давно лжете, что видите уже не сами вещи, а тень их, мнимый облик, который надо создать. Зрение у вас хорошее. Вы сразу подмечаете, что на руку вашей лжи. Такие, как вы, идут прямо по кривой дороге. Вы быстро заметили, что веревки от качелей помогут меня связать, если я стану драться, а здесь, под этим навесом, я буду буквально загнан в угол. Однако и качели, и навес первым заметил я. Это очень для вас характерно. Вы не ученый, как тот, другой подлец. Вы ловите на лету чужие мысли. В сущности, вы не можете спокойно видеть мысль, вас так и тянет стащить ее. Этим вы и больны; вам хочется быть умным, и вы крадете чужой ум. Отсюда можно вывести, что некогда ваш собственный ум принес вам беду. Вид у вас потрепанный, чести у вас нет... наверное, вы сидели в тюрьме.

Старки вскочил и швырнул на стол веревки.

— Свяжите его! — закричал он. — Заткните ему рот!

— И тут я вас понимаю, — продолжал Гейл. — Вы сообразили, что за полдня, а то и за полчаса, я угадаю очень много и погублю вас вконец.

Говоря это, он следил за странными действиями невысокого человека. Тот пересек лужайку, взял какое-то кресло от одного из столов и теперь нес его прямо к ним. Дойдя до навеса, он поставил кресло в траву, сел напротив поэта и уставился на него, держа руки в карманах. Лицо его было в тени, а квадратные плечи и короткие волосы не говорили ни о чем.

— Надеюсь, не помешал? — спросил он. — Точнее, да и честнее, скажу: надеюсь, помешал? Вы, доктора, глупо сделаете, если станете его связывать.

— То есть как? — удивился Старки.

— А так, что я вас тогда у бью, — ответил незнакомец.

Все долго глядели на него; потом Вольф усмехнулся.

— Нелегко убить двоих сразу, — сказал он.

Незнакомец вынул руки из карманов, и в воздухе одновременно дважды сверкнула сталь. В каждой руке он держал по револьверу.

— Я вас убью, — благодушно сообщил он, нацелив на врачей длинные стальные пальцы, — если вы тронете его или будете кричать.

— За убийство вешают, — сказал Вольф.

— Только не меня, — откликнулся незнакомец. — Разве что вы оживете и повесите меня на этой штуке. Мне убивать разрешено. Закон такой есть: убивай — не хочу!.. Говоря строго, я — король Англии. Что ни сделаю, все хорошо.

— Вы, наверное, сумасшедший... — проговорил Старки.

Незнакомец засмеялся так радостно и громко, что и листья, и нервы его собеседников затрепетали от страха.

— Вот именно! — крикнул он. — Ваш приятель сказал, что вы ловите мысли. Верно, ловите. Я сумасшедший вон из той больницы, куда вы хотите его загнать. Зашел я к главному врачу, его нет, а в ящике как раз лежат револьверы. Поймать меня можно, а повесить нельзя. Схватить меня можно, а вот его хватать не нужно. У него вся жизнь впереди. Я не хочу, чтобы он мучился, как я. Нравится он мне... хорошо швырнул вам обратно ваши докторские штучки... В общем, сами понимаете, сейчас у меня — полная власть. Не будете сидеть тихо, пробью вам головы, а его связать не дам. Свяжу лучше вас, так-то оно вернее.

Того, что было дальше, Гейл почти не помнил. Походило это на сон или на балаган, но плоды дало вполне ощутимые. Десять минут спустя и сам он, и его спаситель шагали по лесу, оставив под сенью плюща беспомощных, как мешки с картошкой, служителей науки.

Для Гэбриела Гейла все, что он видел, было страной чудес. Каждое дерево сверкало, как рождественская елка, каждая полянка была волшебной, как кукольный театр в просвете занавеса. Только что все это чуть не исчезло во тьме, которая хуже смерти, но небо послало ему ангела, сбегавшего из сумасшедшего дома.

Гейл был молод, и свободы его еще не сковала и не окрылила любовь. Он ходил на юного рыцаря, который клянется не стричь волос, пока не увидит Иерусалима. Ему хотелось чем-нибудь себя связать; и сейчас он знал, чем именно.

Пройдя ярдов двести по лесу вдоль реки, он остановился и сказал:

— Вы дали мне все. С Божьей помощью, на всю мою жизнь, вы создали небо и землю. Вы украсили мой победный путь семисвечниками деревьев, чьи серые ветки сверкают, словно серебро. Вы бросили мне под ноги багряные листья, которые лучше любого цветка. Вы создали это облако. Вы сотворили тех птиц.

Смогу ли я радоваться вашим дарам, если вы вернетесь в преисподнюю? Нет, я не дам отнять у вас то, что вы дали мне. Я буду вас защищать. Я спасу вас, как вы меня спасли. Вам я обязан жизнью, вам ее и дарю. Клянусь разделить с вами все, что вам выпадет. Да покарает меня Господь, если я вас покину, пока смерть не разлучит нас.

Так в диком лесу прозвучали дикие слова, изменившие жизнь Гэбриела Гейла. Друзья побывали во многих местах, а враги их тем временем соблюдали вооруженное перемирие. Гейл не обличал психиатров, чтобы они не тронули его друга, а психиатры не трогали их обоих, страшась обличения. Тянулось это до того дня, описанного в начале повествования, когда Гейл влюбился, а его друг чуть не убил человека.

В этот страшный день Гейл стал и мудрее, и печальней. Он понял, что слов и обетов — мало, увез друга в дальнюю деревню и жил с ним вместе, а когда ненадолго отлучался, оставлял его под присмотром верного слуги. Друг его, Джеймс Харрел, когда-то смело и успешно занимался делами, пока замыслы умещались у него в голове. Потом он попал в больницу, потом бродил с Гейлом; потом счастливо и мирно жил в Корнуолле, строя все новые и новые проекты; потом умер, тоже мирно и счастливо, а Гейл вернулся свободным с его похорон.

На следующее утро поэт шел по лесу еще несколько часов и увидел наконец, что вот-вот ступит на зачарованную землю. Он вспомнил, что именно эти деревья, сбившись в кучу и привстав на цыпочки, глядят в райскую долину. Он узнал увивавшую холм дорогу, по которой шли они с Харрелом, пошел по ней и увидел, что уступы холма, словно плоские крыши, спускаются к широкой реке и к переправе, и к мрачному кабачку, именуемому «Всходящим солнцем».

Мрачного кабачка уже не было, он устроился где-то конюхом, а кабачик поживее, с виду вылитый конюх, терпеливо слушал, как воспевают Гейл красоту этих мест. Поэт подробно рассказывал ему, как прекрасно небо над его домом, и сообщил, что видел здесь совершенно неповторимый закат, а гроза тут была такая, какой нигде не увидишь. Наконец кабачик прервал его, вручив ему письмо из замка за переправой. Начиналось оно не совсем вежливо, словно автор не знал, как обратиться к адресату, а написано в нем было вот что:

«Очень хочу услышать вашу повесть. Приходите завтра (в четверг). Сегодня я, к сожалению, уезжаю в Уимблдон. Меня ждет д-р Уилсон, это насчет работы. Она мне очень нужна, вы, наверное, знаете, что мы совсем обнищали. Д. У.»

Прославленное небо потемнело, и поэт, положив письмо в карман, сказал кабачику:

— Простите, ошибся. Мне надо уехать. Собственно, славятся красотой не здешние, а уимблдонские закаты. А грозу в Уимблдоне я и вообразить не решусь!.. Надеюсь, что еще приеду сюда. Всего хорошего.

После этого Гейл повел себя и разумней, и удивительней. Сперва он сел на забор и долго думал. Потом послал телеграмму доктору Гарту и еще двум людям. Прибыв в Лондон, он направился в редакцию самой дешевой бульварной газеты и просмотрел много номеров, изучая нераскрытые преступления. Доехав до пригорода, славящегося закатами, он побеседовал с жилищным агентом; и только под вечер добрался по широкой, тихой дороге до какого-то сада. Он потрогал пальцем зеленую калитку, словно проверял, давно ли она выкрашена; калитка распахнулась, являя взору яркие клумбы, и он, не закрывая ее, пошел по саду, пробормотав:

— Так я и думал.

Семья, собирающаяся взять в услужение обедневшую Диану Уэстермейн, сочетала современную деловитость со старинной тягой к удобствам и даже роскоши. В оранжереях цвели дорогие редкие цветы, в центре сада стояла посеревшая и выщербленная статуя. Неподалеку от нее Гейл увидел на траве крокетные молотки и дужки; а подалее, под деревом, стол, со вкусом и знанием дела накрытый к чаю.

Все это было связано с людьми, но люди куда-то отлучились, и сад казался от этого бессмысленно пустым. Вернее, он казался бы пустым, если бы вдруг не ожил. Из глубины сада кто-то шел сюда, к Гейлу. Диана дошла до увитой плющом арки, и они наконец встретились. Невообразимую важность этой встречи подчеркивало то, что оба они — в трауре.

Гейл когда угодно мог вспомнить, как темны ее брови и как оттеняет смуглую кожу синева костюма. Но сейчас он удивился, что вспоминал что-то, кроме ее лица. Она взглянула на него ясным, печальным взором и сказала:

— Ну что это вы... Не могли подождать...

— Да, — отвечало н, — хотя и ждал четыре года.

— Сейчас они выйдут к чаю, — неловко сообщила о н а . — Наверное, надо вас им представить. Я работаю первый день, уехать не могу. Как раз собиралась послать вам телеграмму...

— Слава Богу, что я приехал! — воскликнул о н . — Она бы отсюда не дошла.

— Почему? — спросила Д и а н а . — И почему вы приехали?

— Мне не понравился ваш а д р е с , — ответил он; и странные люди, один за другим, стали выходить в сад.

Диана повела Гейла к столу. Лицо ее было еще бледней и печальней, но в серых глазах светились и любопытство, и вызов. Когда она дошла до стола, там уже сидели трое, и незваный гость с подчеркнутой вежливостью поклонился им.

Хозяев еще не было. За столом, по всей видимости, сидели званые гости, быть может — друзья, гостящие в этом доме. Один, мистер Вулмер, молодой человек со светлыми усиками, был таким высоким и тощим, что голова его казалась непомерно маленькой; зато нос у него был большой, орлиный, а глаза — навывкате, как у попугая. Другой, майор Брюс, коротышка с длинным черепом, поросшим тускло-седыми волосами, сидел, плотно сжав губы, словно зарекся говорить. Третий, лысый старик в черной шелковой шапочке, с редкой рыжей бородкой, отличался важностью и звался профессором Паттерсоном.

Гейл подсел к столу и включился в пустую беседу. Диана разливала чай. Все шло нормально, только Вулмер вел себя суетливо. Наконец он встал и принялся гонять шары по лужайке. Поэт, с интересом взиравший на него, тоже взял молоток и решил загнать в ворота два шара сразу. Это нелегко, и ему пришлось встать на четвереньки.

— Вы еще голову в дужку суньте! — фыркнул Вулмер, суетившийся еще больше, словно вынести не мог незваного пришельца.

— Зачем же? — добродушно откликнулся тот. — Неудобная, наверное, поза! Как на гильотине.

Вулмер пробурчал:

— Там вам и место... — и вдруг, замахнувшись молотком, как топором, загнал дужку в землю по самую перекладину. Все вздрогнули от ужаса: только что они представили себе, что в дужке — человеческая голова.

— Положите-ка молоток, — сказал профессор, коснувшись дрожащими пальцами его руки.

— Сейчас, сейчас... — ответил Вулмер и швырнул молоток так, как швыряют молот. Тот пролетел над садом, угодил прямо в статую, а Вулмер расхохотался и убежал в дом.

Диана все больше бледнела и все сильнее хмурилась. Прочие неловко молчали; потом заговорил майор Брюс.

— Место такое, — сказал он. — Нездоровое.

В саду было тихо, светло и весело, и Диана, не понимая его слов, оглядела пестрые клумбы и газоны, позлащенные предвечерним солнцем.

— А может, это мне тут плохо... — рассуждал майор. — Что-то со мной неладно. При моей болезни трудно в таких домах...

— Что вы хотите сказать? — быстро спросила Диана.

Майор немного помолчал, потом бесстрастно ответил:

— Я нормален.

Диана посмотрела на теплый, залитый солнцем сад и задрожала от холода. Она вспомнила сотни мелких событий, случившихся в этот день, и поняла, почему ей тут не нравилось. Она поняла, что только в одном месте люди сообщают о своей нормальности.

Когда невысокий человечек с длинным черепом ровно, как автомат, направился к дому, Диана обернулась и увидела, что Гейла нет. Жуткая пустота разверзлась перед ней, невыносимая пустота кошмара. В ту минуту она поняла многое, о чем прежде не думала в полную силу, и ничто не было для нее так важно, как ушедший в пустоту человек. Ей показалось, что она сошла с ума, потом — что она одна нормальна, и тут она увидела в просвет изгороди странное шествие. Старый профессор двинулся нетвердо, но быстро, словно бежал на цыпочках, болтая руками, как ластами, и встряхивая рыжей бахромой бородки. За ним, незаметно для него, мягко и ловко крался Гэбриел Гейл. Диана ничего не понимала, только глядела. Между нею и ними пестрели клумбы, пылали дорогие цветы за стеклами оранжерей, серела разбитая статуя; и ей показалось, что здесь, в саду, очень уместно безголовое божество.

В эту минуту на тропинке показался Гейл. Он шел к ней, улыбаясь, залитый солнечным светом, но остановился и помрачнел, увидев, как она бледна.

— Вы знаете, где мы? — спросила она т и х о . — Это сумасшедший дом.

— Убежать отсюда нетрудно, — отвечал Г е й л . — Вот, профессор убежал. Он постоянно убегает, по средам и субботам.

— Сейчас не до шуток! — закричала о н а . — Мы в сумасшедшем доме!

— Ничего, мы скоро выйдем, — спокойно сказал о н . — Придется вам узнать: как ни жаль, это — не сумасшедший дом.

— Расскажите мне все, — попросила о н а . — Расскажите все, что вы знаете об этом страшном месте.

— Для меня это место всегда будет священным, — сказал о н . — Вон там, под аркою, вы возникли из бездны моей памяти. Да и вообще, сад красивый, мне жаль отсюда уходить. И дом красивый; нам было бы тут неплохо, если бы только в нем обитали сумасшедшие...

Он печально вздохнул, помолчал и заговорил снова:

— Я сказал бы вам то, что скажу, в добром старом невинном приюте для безумцев, но не здесь, не в таком месте. Тут надо делать дело. Вот — те, кто его сделает.

Ничего не понимая, она увидела, что к ним идут по дорожке какие-то люди. Первого из них, рыжеватого, с умным лицом, она где-то встречала. За ним два полисмена в штатском вели профессора в наручниках.

— Дом поджигал, — быстро проговорил чем-то знакомый ей человек. — Хотел уничтожить важные бумаги.

Позже, в тот же немислимый день, Гейл и Гарт присели у стола, чтобы все ей объяснить.

— Вы помните доктора Гарта? — спросил п о э т . — Он мне и помог раскрыть это странное дело. Полиция давно подозревала, что здесь что-то неладно. Это не сумасшедший дом, а убе-

жище для преступников. Они признаны невменяемыми, им ничего не грозит, разве что врача упрекнут за то, что он их плохо сторожил. Я понял все это, когда, по счастью, угадал, откуда пришла эта мысль. Кстати, не этот ли человек нанял вас секретаршей?

Юркий человечек шел прямо к ним по траве. Его жесткая борodka торчала ключьями, как у терьера.

— Да, — сказала Диана. — Это доктор Уилсон.

Доктор остановился перед ними, покрутил головой, как терьер, и, прищурившись, взгляделся в Гейла.

— Ах, это доктор Уилсон! — вежливо воскликнул Гейл. — Здравствуйте, доктор Старки!

Полицейские шагнули к нему, а Гейл задумчиво прибавил:

— Я знал, что вы не упустите такую мысль.

Квартала за два от удивительного убежища был садик, не больше огорода, украшенный кустами и тропинками оазис для кочевниц-нянь. Там стояли красивые скамейки, а на одной из них сидели мужчина и женщина в черном. Времени прошло немного, еще не стемнело, последние лучи освещали тихий садик, оглашаемый лишь звонкими, но слабыми выкриками заигравшихся детей.

Здесь и рассказал Гэбриел Диане странную повесть, от уви-того плющом навеса на берегу реки до корнуоллского кладбища.

— Одного я не пойму, — сказала она. — Почему вы решили, что я именно в этом доме? Как вы догадались, что есть такой дом?

— Я не хвастался, — ответил он, немного растерянно глядя на усыпанную гравием дорожку, — когда говорил Старки, что знаю таких, как он. Люди такого типа не упустят хорошей идеи, особенно — чужой.

Бедный Джимми Харрел сказал, что ему ничего не будет, потому что он сумасшедший, и я понял, что это семя прорастет у Старки в мозгу. Пока Харрел был жив, он знал, что я буду молчать; когда тот умер, он решил убить меня. Он очень торопился. У него ум как молния — быстрый, но не прямой. Он послал одного из своих подопечных, чтобы тот свалил мне на голову камень, когда я шел к вам. Он как-то сумел прочитать мою телеграмму и вызвал вас, пока я вам всего не рассказал. Но это не важно. Важно другое: что вы скажете о моей повести?

— Вы опрометчиво дали обет, — сказала она. — Все эти годы вы могли писать картины, видеть людей... Нет, нельзя, чтобы хороший человек связывал себя с сумасшедшим неосторожными словами!

Он выпрямился.

— Ради Бога, не говорите так! — воскликнул он . — Что хотите, что угодно, только не это! Какая дурацкая мысль!

— Почему? — спросила она.

— Я хочу, — ответил он , — чтобы вы связали себя с сумасшедшим неосторожными словами.

Диана помолчала, потом улыбнулась и взяла его за руку.

— Какой вы сумасшедший! — сказала она . — Вы просто глупый. Но я любила вас и тогда, когда считала сумасшедшим... ну, когда вы встали на голову. А слова... не такие уж они опрометчивые... Господи, что это вы?

— Что же мне сейчас делать? — спокойно спросил он.

Дети, игравшие в садике, с восторгом смотрели на человека в черном, стоявшего на голове.

ЧЕСТНЫЙ ШАРЛАТАН

ПРОЛОГ У ДЕРЕВА

Уолтер Уиндраш, прославленный поэт и художник, жил в Лондоне, и в саду у него росло удивительное дерево. Конечно, сами по себе эти факты не вызвали бы тех странных событий, о которых мы расскажем. Многие сажают в саду и в огороде невиданные растения. Но тут были две особенности: во-первых, Уиндраш считал, что этим деревом должны любоваться толпы со всех концов света; во-вторых, если бы они явились, он бы их не пустил.

Начнем с того, что дерева он не сажал. Тем, кто видел дерево, могло показаться, что он тщетно пытался посадить его или, вернее, тщетно пытался вытащить из земли. Люди холодного, классического склада говорили, что последнее желание много естественней первого. Дело в том, что дерево было совершенно нелепое. Ствол был такой короткий, что казалось, будто ветки растут из корней, или корни — прямо из веток. Корни извивались не в земле, а над землей, и между ними белели просветы, потому что землю вымывал бывший рядом источник. В обхвате же дерево было огромным, словно каракатица, раскинувшая щупальца. Могло показаться, что мощная рука небожителя пытается выдернуть его из земли, как морковку.

Никто не сажал его. Оно выросло само, как трава, как буйные травы прерий. Оно никогда не росло ни в чьем саду. Все выросло вокруг него — и сад, и ограда, и дом. Улица выросла вокруг него и сам пригород. Можно даже сказать, что Лондон вырос вокруг него. Теперь эти кварталы так прочно вписались в город, что всем кажется, будто они всегда были частью столицы; на самом же деле она поглотила их за несколько лет, и не так уж давно диковинное дерево стояло на лугу, открытое всем ветрам.

В неволю — или под опеку — оно попало при следующих обстоятельствах. Много лет тому назад студент Уиндраш шел по большому лугу с двумя знакомыми. Один из них учился в том же

колледже, только не искусствам, а медицине. Другой, постарше, был дельцом, и молодые люди собирались поговорить с ним по делу. Дело это — связанное отчасти с полной неделовитостью молодых людей — решили обсудить в трактире «Три павлина», который и находился по ту сторону луга. Старший из путников явно торопился туда — ветер дул все сильнее, день кончался.

Именно тогда их задержала возмутительная выходка Уиндраша. Он шел торопливо, как и все, но вдруг увидел причудливое дерево, остановился и поднял руки к небу — не только в знак удивления, как француз или итальянец, но и в знак поклонения, как язычник. Его ученый приятель признал, что дерево действительно растет необычно и потому представляет научный интерес, но и без науки ясно, что причиной тому — источник, пробивший себе дорогу сквозь путаницу корней. Из любознательности он даже встал на толстый корень и подтянулся на ветке, но, небрежно бросив, что дерево — полупустое, слез и пошел вперед. Третий путник, делец, нетерпеливо поджидал их. Но Уолтер Уиндраш никак не мог прийти в себя. Он все кружил у дерева, глядя то вниз, на лужицу воды, то вверх, на тяжелое гнездо переплетенных веток.

— Сперва я не понял, что со мной, — сказал он наконец, — теперь понимаю.

— А я — нет, — отрезал второй студент. — Может, вы свихнулись?

Уиндраш помолчал; потом ответил так:

— До сих пор я не видел ничего, что мне хотелось бы назвать своим.

— Вы что, шутите? — возмутился делец. — На что вам эта трухлявая швабра?

Но Уиндраш продолжал, словно и не слышал:

— Я много бродил, но еще не видел места, где я хотел бы осесть и сказать: «Вот мой дом». Нигде на свете нет такого сочетания земли, воды и неба. Это дерево стоит на воде, как Венеция. Свет белеет меж его корней, как в Мильтоновой поэме. Подземный поток подмывает его, а оно встает из вязкой земли, как мертвые на трубный глас. Я никогда не видел такого. И больше ничего не хочу видеть.

Быть может, причуды его воображения отчасти оправдывались тем, что погода резко изменилась и окрасила тайной причуду природы. Неспокойное небо стало из серого багровым, а потом темно-лиловым, и только у горизонта сверкала алая полоска заката. На этом фоне разлапистое дерево казалось сверхъестественным, зловещим, словно допотопное чудовище, вылезающее из топи, чтобы взлететь. Но даже если бы спутники Уиндраша питали большую склонность к таким фантазиям, они бы удивились той решительности, с какой он опустился на кочку и закурил, словно, придя в клуб, усаживался в кресло.

— Разрешите узнать, что вы делаете? — спросил второй студент.

— Вступаю в права владения, — отвечал он.

Они ругали его, пока не поняли, что он вполне серьезен, хотя не вполне разумен. Делец резко сказал, что, если ему приспичило купить эту пустошь, надо обратиться к земельному агенту. К его удивлению, поэт серьезно поблагодарил и записал на листке бумаге фамилию и адрес.

— Вот что, — твердо сказал д е л е ц , — тут мы дела не сделаем. Хотите со мной поговорить — идем к «Трем павлинам».

— Не дурите, Уиндраш, — подхватил д р у г о й . — Вы что, всю ночь думаете просидеть?

— Да, — сказал У и н д р а ш . — Я видел, как солнце опускается в этот пруд, и хочу увидеть, как месяц встанет из него.

Делец уже ушел вперед; его темная, плотная спина, дышавшая презрением, исчезла из виду. Медик было задержался, но безрассудная рассудительность последней фразы спугнула и его.

А поэт стал смотреть как зачарованный на лужицы воды, похожие в свете заката на лужи крови. Так просидел он много часов и видел, как они из красных стали черными, а из черных — светлыми. Но когда наутро он встал, его обуяла неожиданная деловитость. Он пошел к земельному агенту; он объяснялся и улаживал дела много месяцев подряд и в конце концов стал законным владельцем двух с небольшим акров земли, включающих его любимое дерево. Тогда он обнес их оградой аккуратно, как золотоискатель, отмечающий вехами границы участка. Он построил коттедж, поселился в нем и прилежно писал стихи. Как обычные люди, он упрочил свою респектабельность женитьбой; но жена умерла, рожая ему дочь. Дочери жилось очень хорошо в этих сельских, но далеко не диких условиях, и отцу тоже жилось неплохо, пока его не настигла беда.

Имя этой беде — город. Лондон как море затопил холмы и луга; и остаток своей жизни Уиндраш посвятил сооружению плотин. Он клялся всеми музами, что отвратительный лабиринт, подступивший к его святилищу, не коснется заветного дерева. Он построил до смешного высокую стену и стал подозревать в дурных намерениях всех, кто хотел попасть в сад. Некоторые опрометчиво считали, что его сад — это сад, а дерево — дерево. Но Уиндраш гордился тем, что его сад — последний приют поэзии и свободы в затопленной прозою Англии. Наконец он запер ворота и положил ключи в карман. Во всем остальном он был и добр, и радушен, особенно с дочерью; но в сад никого не пускал. И ничто не нарушало покоя заветных мест, только хозяин и днем, и ночью одиноко кружил по саду.

ЧЕЛОВЕК С ЧЕРНЫМ САКВОЯЖЕМ

Энид Уиндраш, очень хорошенькая девушка со светлыми волосами и веселым, смелым лицом, отстала от своего спутника, чтобы купить конфет в маленькой кондитерской. Дорога перед

ней круто поднималась вверх и уходила обрубленной белой кривой в лежащий за холмом парк. Узкий белый краешек огромного облака выглядывал из-за холма, и, глядя на него, почти можно было поверить, что земля круглая. На фоне синего неба, белой дороги и белого облака встретились два человека. Шли они порознь и абсолютно ни в чем не были похожи. Тем не менее не прошло и секунды, как девушка испуганно бросилась в перед, — перед ней на холме, в ярком солнечном свете, свершалось едва ли не самое странное нападение в мире.

Один из этих людей был высоким, длинноволосым, длиннобородым, в широкополой шляпе и широком пиджаке, и шел он широкими шагами по самой середине дороги. Дойдя до гребня, он обернулся и беспечно посмотрел назад. Другой шел как следует, по тротуару, и на вид был гораздо серьезней и скучней, чем первый. Коренастый и незаметный, в аккуратном темном костюме и черном цилиндре, он шагал энергично, но спокойно, держа в руке черный саквояж. Он глядел прямо перед собой и, по-видимому, не интересовался окружающим.

Вдруг он резко свернул, прыгнул на мостовую и стал душить человека в шляпе. Он был ниже своей жертвы, но гораздо моложе, да и прыгнул внезапно и ловко, как черный кот. Высокий отпрянул к другому тротуару и, в свою очередь, кинулся на врага. В эту секунду из-за гребня холма вынырнул автомобиль и скрыл от девушки сцену боя, а когда он проехал, схватка уже перешла в третью стадию. Человек в черном костюме и немного покосившемся цилиндре, крепко сжимая свой саквояж, пытался, по-видимому, прекратить военные действия. Он отступал, размахивая саквояжем, и даже на таком расстоянии было видно, что он не угрожает, а скорее убеждает. Но высокий (он был без шляпы, и волосы его развевались по ветру) явно не шел на мировую. Тогда коротенький отшвырнул саквояж, засучил аккуратные манжеты и быстро, со знанием дела обработал противника. Все это заняло меньше минуты, но девушка уже со всех ног взбегала на холм, а кондитер удивленно глядел ей вслед, и пакетик раскачивался у него на пальце. Надо сказать, что мисс Энид Уиндраш принимала близко к сердцу судьбу бородатого человека, хотя многие сочли бы ее чувства отсталыми. Он приходился ей отцом.

Когда она подбежала к сражающимся — а может, потому, что она подбежала, — дела шли тише, хотя оба еще пыхтали со страстью истинных воинов. Человек в цилиндре при ближайшем рассмотрении оказался молодым и темноволосым; квадратные плечи и квадратный подбородок придавали ему сходство с Наполеоном, но вид у него был самый пристойный, скорее уж сдержанный, чем наглый, и никак не объяснял его дикой выходки.

— Ну, знаете! — говорил он, отдуваясь. — Видел я старых ослов, но...

— Этот человек, — надменно воскликнул Уиндраш, — напал на меня посреди дороги без всякой причины!

— Вот именно! — с победоносным ехидством закричал его враг. — Посреди дороги! И он еще говорит — «без причин»!

— Какая же у вас причина? — попыталась вмешаться мисс Уиндраш.

— Та самая, что он шел посреди дороги! — взорвался он. — Идет, видите ли, по современному шоссе и оборачивается любоваться пейзажем! Теперь каждый деревенский дурак знает, что шофер не видит его снизу. Если бы я не услышал, что идет машина...

— Машина! — сказал поэт тем сурово-удивленным тоном, каким взрослый увещевает расфантазировавшегося ребенка. — Какая машина? — Он величаво повернулся и оглядел сверху улицу. — Ну, где ваша машина? — язвительно спросил он.

— Судя по скорости, — сказал его враг, — милях в семи отсюда.

Уолтер Уиндраш был истинным джентльменом; к тому же он гордился превосходными манерами. Но надо быть просто ангелом, чтобы сразу примириться с человеком, который только что отдубасил вас, как боксер, и увидеть в том же самом существе, с тем же лицом и голосом, дорогого друга и доброго спасителя. Первые его фразы были несколько натянуты; но дочь вела себя мягче и великодушной. По здравом размышлении она решила, что молодой человек ей скорее нравится, — аккуратность и сдержанность не всегда раздражают женщин, навидавшихся высшей божественной свободы. К тому же не ее схватили за горло посреди шоссе.

Бывшие враги представились друг другу; молодой человек с удивлением узнал, что оскорбил или спас знаменитого поэта, а поэт, — что его обидчик и спаситель начинающий врач, чью медную дощечку он уже видел где-то неподалеку.

— Ну, если вы врач, — опрометчиво пошутил Уиндраш, — вы нанесли урон своим коллегам. Я думал, вы, медики, любите несчастные случаи: Если бы шофер меня недодавил, вы бы меня прикончили ланцетом.

Видимо, этим двоим было суждено говорить друг другу не то, что нужно. Молодой врач хмуро улыбнулся, и в глазах его сверкнул боевой огонь.

— Мы, врачи, всем помогаем — нам что канава, что дворец. Правда, я не знал, что вы поэт. Я думал, что спасаю обычного, полезного человека.

Надо признать, как ни горько, что по этому принципу строились и дальнейшие их беседы. Отчасти это можно объяснить тем, что каждый из них впервые встретил полную свою противоположность. Уиндраш был поэтом в старом добром духе Уитмена или Шелли. Поэзия была для него синонимом свободы. Он запер дерево в смирном пригородном садике, но только для того, чтобы оно могло расти поистине дико. Он обнес лужайку оградой по той же самой причине, по какой иной раз

огораживают часть леса и называют парком. Он любил одиночество, потому что люди мешали ему делать то, что он хочет. Механическая цивилизация обступила его, но он изо всех сил притворился, что ее нет, — даже, как мы знаем, стоял спиной к машине.

Самые глупые из друзей Джадсона говорили, что он пойдет далеко, потому что верит в себя. Это была клевета. Он верил не только в себя; он верил в вещи, в которые много трудней поверить: в современную технику, и в разделение труда, и в авторитет специалистов. А больше всего он верил в свое дело — в свое умение и в свою науку. Он был достаточно прост, чтобы не забывать о своих убеждениях в частной жизни, и излагал их Энид часами, шагая по гостиной, пока хозяин дома кружил по садику и поклонялся дереву. Шагал он не случайно; тем, кто видел его, бросалась в глаза не только профессиональная аккуратность, доходящая до чопорности, но и неудержимая энергия. Нередко со свойственной ему прямоотой он нападал на поэта и его дурацкое дерево, которое поэт называл образом животворящих сил природы.

— Нет, какая от него польза? — в отчаянии вопрошал врач. — Зачем оно вам?

— Польза? — переспрашивал хозяин. — Да никакой. В вашем смысле оно абсолютно бесполезно. Но если стихи или картины бесполезны, это не значит, что они не нужны.

— Не путайте! — болезненно морщился Джадсон. — Это не стихи и не картина! Ну, что тут красивого? Трухлявое дерево посреди кирпичей. Если вы его срубите, у вас будет место для гаража, и вы сможете посмотреть все леса в Англии.

— Да, — отвечал Уиндраш, — и по всей дороге я увижу не деревья, а бензиновые колонки.

— Надо просто знать, где ехать, — не унимался Джадсон. — И вообще, кто родился в век автомобилей, не питает к ним такого отвращения, как вы. Я думаю, в этом и заключается разница поколений.

— Прекрасно, — язвительно отвечал поэт. — Вам — автомобили, нам — здравый смысл.

— Вот что, — не выдерживал его собеседник. — Если бы вы приспособились к машинам, мне не пришлось бы вас спасать.

— А если бы не было машин, — спокойно отвечал поэт, — некому было бы меня давить.

После этого Джадсон терял терпение и говорил, что Уиндраш не в себе; а потом извинялся перед его дочерью и говорил, что, конечно, поэт — человек другого поколения, но она (тут он становился серьезней) должна бы сочувствовать новым надеждам человечества. Потом он уходил, кипя от досады, и спорил по пути домой с невидимым противником. Он действительно верил в пророчества науки. У него было много своих теорий, и ему не терпелось отдать их миру. Если судить поверхностно, можно сказать, что у него были все недостатки деятельного человека,

в том числе — постоянный соблазн честолюбия. Но в глубине его сознания неустанно и напряженно работала мысль. И тот, кому удалось бы заглянуть в этот омут, догадался бы, что в один прекрасный час оттуда может вынырнуть чудовище.

В Энид совершенно не было ни омутов, ни сложных мыслей — казалось, она всегда на ярком, дневном свету. Она была здоровая, добродушная, крепкая; любила спорт, играла в теннис, плавала. И все же, может быть, и в ней рождались порой причудливые образы ее отца. Во всяком случае, много позже, когда все уже кончилось и яркий солнечный свет снова сиял для нее, она пыталась иногда разглядеть прошлое сквозь темную бурю тайн и ужасов и думала: так ли уж нелепа старая вера в знамения? Ей казалось, что все было бы проще, если бы она разгадала значение двух темных силуэтов, сразившихся на белом фоне облака; прочитала их, как две живые буквы, которые борются, чтобы составить слово.

ВТОРЖЕНИЕ В САД

По разным причинам, накопившимся в его мятежном сознании, доктор Джадсон набрался смелости и решил посоветоваться с Дуном.

Тот, с кем Джадсон решил посоветоваться, прошел в свое время фазы мистера Дуна, доктора Дуна и профессора Дуна, а теперь достиг высшей славы и звался просто Дуном. Еще не прошло и двадцати лет с тех пор, как Дун опубликовал свой славный труд о параллельных заболеваниях обезьяны и человека и стал самым знаменитым ученым в Англии и одним из первых пяти — в Европе. Джадсон учился у него когда-то и предположил поначалу, что это дает ему небольшое преимущество в бесконечных спорах о Дуне. Но для того, чтобы понять, почему о Дуне спорили, необходимо, подражая Джадсону, еще раз зайти к Уиндрашам.

Когда доктор Джадсон пришел к ним впервые, у них сидел гость, как выяснилось — сосед, заглядывавший к ним очень часто в последнее время. Каковы бы ни были пороки и добродетели доктора Джадсона (а он был человеком разносторонним), терпением он не отличался. По какой-то неясной нам причине он невзлюбил этого соседа. Ему не понравилось, что тот не стрижется и завитки волос торчат у него на висках, словно он отпускает бакенбарды. Ему не понравилось, что тот вежливо улыбается, когда говорят другие. Ему не понравилось, как бесстрастно и смело тот судит об искусстве, науке и спорте, словно все это одинаково важно или одинаково не важно для него. Ему не нравилось, что, критикуя стихи, тот извиняется перед поэтом, а рассуждая о науке — перед ним самим. Ему не очень нравилось, что сосед чуть не на голову выше его ростом; не нравилось и то,

что он сутулится, почти сводя на нет эту разницу. Если бы Джадсон разбирался в своей психике так же хорошо, как в чужой, он бы знал, о чем говорят эти симптомы. Только в одном состоянии нас раздражают и пороки, и достоинства ближнего.

Как он понял, соседа звали Уилмот. По-видимому, у него было только одно занятие: вольная игра ума. Он интересовался поэзией, и, может быть, именно это сблизило его с Уиндрашем. К несчастью, он интересовался и наукой — но это ни в коей мере не сблизило его с Джадсоном. Ученые очень не любят, когда им любезно сообщают сведения из их собственной науки, особенно же, если эти сведения они сами рассмотрели и отвергли десять лет назад. Вряд ли нужно объяснять, что Дуна, как и многих других ученых, восхваляли в газетах за мнения, прямо противоположные тем, которые сам он излагал в лекциях и книгах. Джадсон бывал на его лекциях, Джадсон читал его книги. Но Уилмот читал газеты, и, конечно, это давало ему огромное преимущество в глазах современных интеллектуалов.

Спор начался с того, что поэт рассказал между прочим о своих первых шагах в живописи. Он показал гостям свои старые картины, на которых были изображены симметричные извилистые линии, и сказал, что часто пытался писать обеими руками сразу, причем замечал, что иногда руки рисуют по-разному.

— Новый вариант евангельской притчи, — довольно хмуро заметил Джадсон. — Левая рука не знает, что делает правая. По-моему, очень опасная штука.

— Мне кажется, — небрежно протянул Уилмот, — ваш Дун это одобрил бы. Ведь наши драгоценные предки пользуются всеми четырьмя конечностями.

Джадсон взорвался.

— Дун занимается мозгом людей и обезьян, — сказал он. — Я не виноват, если у некоторых людей — обезьяньи мозги.

Когда он ушел, Уиндраш осудил его резкость, но Уилмот был невозмутим.

— С ним просто невозможно разговаривать, — негодовал поэт. — Каждый разговор он превращает в спор, а каждый спор — в ссору. Неужели так важно в конце концов, что Дун действительно сказал?

Однако сердитому Джадсону это было очень важно. Быть может, он с болезненным упорством хотел доказать свою правоту — ведь он был из тех, кто не терпит неоконченных споров; быть может, у него были другие причины. Во всяком случае, он ринулся к ученому святилищу или трибуналу, предоставив Уиндрашу сердиться, Уилмоту — брезгливо морщиться, а Энид — огорчаться.

Величественный дом со строгими колоннами и похоронными жалюзи не отпугнул молодого врача; он решительно взбежал по ступеням и нетерпеливо позвонил. Его провели в кабинет, а когда

он напомнил о себе, хозяин величаво и благосклонно признал его. Великий Дун — красивый джентльмен с седыми кудрями и орлиным носом — выглядел ненамного старше, чем на портретах. Джадсон быстро выяснил, кто был прав в споре с Уилмотом. Но все время, пока они беседовали, его темные беспокойные глаза обегали кабинет — по-видимому, ему не терпелось узнать последние новости науки. Он даже полистал машинально несколько книг и журналов, пока Дун по-стариковски распространялся о старых друзьях и старых недругах.

— Таковую же ошибку, — говорил он, оживляясь, — сделал этот идиот Гросмарк. Вы помните Гросмарка? Видел я дутые величины, но такого...

— Вот теперь раздувают Ку б и т а, — вставил Джадсон.

— Бывает, бывает, — не без раздражения сказал Д у н . — Нет, Гросмарк буквально опозорился в древесной дискуссии! Он не ответил ни на один из моих тезисов. Брандерс был все-таки сильнее. Брандерс в свое время кое-что дал. Но Гросмарк — поистине дальше некуда!

Дун откинулся в кресле и благодушно захохотал.

— Спасибо, — сказал Дж а д с о н . — Я вам очень признателен. Я знал, что очень много вынесу из нашего разговора.

— Ну, что вы, что в ы , — сказал великий ученый, поднимаясь, и пожал ему р у к у . — Так, говорите, вы спорили с Уиндрашем? Он, кажется, пейзажист? Встречал его, встречал когда-то, но он меня вряд ли помнит... Способности есть, но чудак, чудак.

Доктор Джон Джадсон вышел от него, глубоко задумавшись. Он не собирался возвращаться к Уиндрашам, но все же почему-то шел к ним, а не к себе. Раньше, чем он это понял, он уже стоял перед их домом; и тут он увидел странные вещи.

Уже стемнело, взошла луна, и все цвета побледнели. Коттедж, построенный некогда в чистом поле, стоял теперь в ряду других домов и все же выделялся. Могло показаться, что он хмуро повернулся к улице спиной. Прямо за ним высились зубцы ограды, похожей на тюремную стену из балаганной пантомимы. Заточенная зелень виднелась только через узкие, решетчатые, вечно запертые ворота. Сейчас прохожий мог даже увидеть блики лунного света на листьях. Мог он увидеть и другое — и это «другое» сильно удивило прохожего по имени Джадсон.

Высокий худой человек лез по воротам, как по лестнице. Он выбирался из сада гибко, словно обезьяна, послужившая поводом для спора. Однако для обезьяны он был высоковат; а когда он влез на самый верх, две длинные пряди заколыхались на ветру, словно это был черт, который умеет шевелить рогами, как ушами. Многие сочли бы эту деталь самой странной и фантастической, но именно она вернула Джадсона на землю. Он слишком хорошо знал эти длинные, нелепые волосы. И действительно, Уилмот легко спрыгнул с решетки и приветливо (или снисходительно) поздоровался с врачом.

— Что вы тут делаете? — сердито спросил Джадсон.

— Ах, это вы, доктор! — фальшиво обрадовался Уилмот. — Что, хотите меня освидетельствовать? Я совсем забыл, что такими поступками интересуются психиатры.

— По-моему, тут больше подходят полисмены, — сказал Джадсон. — Разрешите узнать, что вы делали в этом саду?

— Если не ошибаюсь, — отвечал Уилмот, — вы тут не хозяин. Но, честное слово, доктор, мне не до ссор. Уверяю вас, я вошел сюда по праву.

С этими словами он исчез во тьме; а доктор Джадсон резко повернулся и яростно позвонил в дверь садовладельца.

Уиндраша не было дома — он ушел на пышный литературный банкет. Но против обыкновения доктор повел себя так странно и грубо, что молодая хозяйка чуть было не сочла его пьяным, хотя это и не вязалось с его гигиеническим образом жизни. Он сел прямо напротив Энид с таким решительным видом, словно хотел сказать что-то важное, и не сказал ничего. Он курил, но не двигался, и Энид показалось, что он тлеет. Она не замечала раньше, какой у него большой и выпуклый лоб, как неумолимо ходят его чисто выбритые челюсти, как грозно светятся его темные глаза. И все-таки ей было смешно, что его широкие, сильные руки твердо лежат на ручке зонтика — эмблемы его трезвой, аккуратной жизни. Энид ждала, словно перед ней тикает и курится круглая черная бомба.

Наконец он хмуро сказал:

— Я хотел бы видеть дерево.

— Боюсь, что это невозможно, — сказала Энид.

— Чепуха, — резко сказал врач. — Что он сделает, если я влезу в сад?

— Вы уж простите, — мягко сказала она, — он вас больше не пустит в дом.

Джадсон вскочил, и Энид почувствовала, что сейчас будет взрыв.

— И все-таки он пускает в сад Уилмота. Вижу, у вашего соседа большие права.

Энид молча и удивленно смотрела на него:

— Пускает в сад Уилмота? — повторила она наконец.

— Слава Богу, — сказал врач, — хоть вы об этом не знаете. Уилмот сказал, что он там по праву, и я, конечно, подумал, что это вы его пустили. Может быть... Постойте, постойте... Я позже вам объясню... Ваш отец выгонит меня? Это еще как сказать!

Он вышел из гостиной так же резко, как вошел, и Энид подумала, что вряд ли его манеры сильно утешают больных.

Она поужинала одна, перебирая непростые мысли о странном молодом враче. Потом она вспомнила, что у ее отца совсем другие странности, и почему-то пошла в его студию, выходящую окнами в сад. Здесь висели полотна, из-за которых разгорелся тот спор. У нее самой был ясный и очень здравый ум,

и ей казалось, что спорить из-за таких картин так же бессмысленно, как обсуждать нравственную сторону турецкого ковра. Однако спор ее расстроил — отчасти потому, что огорчил отца; и она подошла к сплошному окну, отделявшему студию от запертого сада, и хмуро взгляделась во мглу.

Сперва ее удивило, что ветра нет, а листья, освещенные луной, шевелятся. Потом она поняла, что в саду тихо и шевелятся только ветви безымянного дерева. На секунду ей стало страшно, как в детстве, — ей показалось, что оно умеет двигаться, словно зверь, или шевелить сучьями, словно гигантский веер. Вдруг его силуэт изменился, будто внезапно выросла новая ветка, и Энид увидела, что на дереве кто-то сидит. Он раскачивался, как обезьяна, потом спрыгнул, пошел к окну, и она поняла, что это человек. Непонятный ужас охватил ее — так бывает, когда лицо друга искажается в страшном сне. Джон Джадсон подошел к закрытому окну и заговорил, но она не услышала слов. Губы, беззвучно шевелящиеся у невидимой преграды, были ужасней всего, словно Джадсон стал немым, как рыба; и лицо его было бледным, как брюхо глубоководных рыб.

Энид быстро открыла окно. Но рассердиться она не успела — Джадсон крикнул:

— Ваш отец... Он, должно быть, сумасшедший!

Вдруг он замолчал, словно удивился собственным словам, провел рукой по крутому лбу, пригладил короткие волосы и сказал иначе:

— Он должен быть сумасшедшим.

Энид почувствовала, что эта фраза — другая, чем первая. Но не скоро, очень не скоро поняла она, в чем разница и что произошло между первой фразой и второй.

ДУОДИАПСИХОЗ

Энид Уиндраш была не чужда человеческих слабостей. Она умела сердиться по-всякому; но сейчас ее обуял гнев всех степеней и оттенков. Ее рассердило, что к ним зашли так поздно и при этом через окно; ее рассердило, что пренебрегли желаньями ее отца; ее рассердило, что она испугалась; ее рассердило, наконец, что бояться было нечего. Но, повторяем, она была не чужда человеческих слабостей, и больше всего ее рассердило, что неурочный гость не обращает на ее гнев ни малейшего внимания. Он сидел, упершись локтями в колени и сжав кулаками голову, и не скоро, очень не скоро бросил нетерпеливо:

— Вы что, не видите? Я думаю.

Тут он вскочил, как всегда, энергично, подбежал к одному из неоконченных полотен и уставился на него. Потом осмотрел второе, третье, четвертое. Потом обернулся к Энид — лицо его внушало не больше бодрости, чем череп и кости, — и сказал:

— Ну, попросту говоря, у вашего отца дуодиапсикоз.

— Вы считаете, что это и значит «говорить попросту»? — поинтересовалась она.

Но он продолжал глухо и тихо:

— Это началось с древесного атавизма.

Ученым не следует говорить понятно. Последние два слова были ей знакомы — как-никак, мы живем в эру популярной науки и , — и она взвилась, как пламя.

— Вы смеее намекаать, — закричала она , — что папа хочет жить на дереве, как обезьяна?

— Хорошего тут мало, — мрачно сказал он . — Но только эта гипотеза покрывает все факты. Почему он всегда стремился остаться с деревом один на один? Почему он патологически боялся города? Почему его фанатически тянуло к зелени? Какова природа импульса, приковавшего его к дереву с первого взгляда? Такая сильная тяга может идти только из глубин наследственности. Да, это тяга антропоида. Печальное, но весьма убедительное подтверждение теории Дуна.

— Что за бред! — крикнула Э н и д . — По-вашему, он раньше не видел деревьев?

— Вспомните, — отвечал он все так же глухо и мрачно , — вспомните, что это за дерево. Оно просто создано, чтобы пробудить смутную память о прежнем обиталище людей. Сплошные ветви, даже корни — словно ветви: лезь, как по лестнице. Эти первые импульсы, так сказать, основные инстинкты, несложны; но, к несчастью, они развились в типичную получетверорукость.

— Раньше вы говорили другое , — недоверчиво сказала она.

— Да, — сказал он и вздрогнул . — В определенном смысле, это мое открытие.

— А вы так гордитесь, — сказала она , — своими гнусными открытиями, что вам ничего не стоит принести им в жертву кого угодно — папу, меня...

— Нет, не вас! — перебил ее Джадсон и снова вздрогнул, но овладел собой и продолжал с убийственной размеренностью лектора: — Комплекс антропоида влечет за собой стремление восстановить функцию всех четырех конечностей. Как мы знаем, ваш отец писал и рисовал обеими руками. На более поздней стадии, вполне возможно, он попытался бы писать ногами.

Они посмотрели друг на друга; и так чудовищна была эта беседа, что ни один не рассмеялся.

— В результате, — продолжал он , — возникает опасность разобщения функций. Равное пользование конечностями не соответствует данной фазе эволюции человека и может привести к тому, что полушария большого мозга утратят координацию. Такой большой невменяем и должен находиться под присмотром.

— Все равно не в е р ю , — сердито сказала она.

Он поднял палец и мрачно показал на темные полотна, на которых получетверорукый гений запечатлел в огненных красках свои видения.

— Взгляните,— сказал о н . — Мотив дерева, снова и снова. А дерево — это прямая, от которой в обе стороны вверх идут линии. Так и видишь, как обе руки действуют кистью враз. Однако дерево — не чертеж. Ветви эти разные. Вот тут-то и таится главная беда.

Воцарилось злое молчание. Дждасон прервал его сам и продолжал свою лекцию:

— Попытка добиться разных очертаний при одновременном действии обеих рук ведет к диссоциации единства и непрерывности сознания, ослабляет контроль больного над собой и координацию последова...

Молния догадки сверкнула во тьме ее смятенного ума.

— Это месть? — спросила она.

Он остановился на середине очередного длинного слова, и даже губы у него побелели.

— Вы обманщик! — закричала она, трясясь от гнева. — Вы шарлатан! Думаете, я не знаю, почему вы хотите доказать, что папа сумасшедший? Потому что я сказала, что он вас выгонит, а вы...

Белые губы дернулись, и Дждасон спросил:

— Почему же я так не хочу, чтобы он меня выгнал?

— Потому... — начала она и резко остановилась. В ней самой открылась пропасть, куда она не смела заглянуть.

— Да! — крикнул он и вскочил. — Да, вы правы! Это из-за вас. Я не могу вас с ним оставить. Поверьте мне! Я повторяю: ваш отец должен быть сумасшедшим. — И добавил новым, звонким голосом: — Мне страшно, что вы умрете по его вине. Разве я смогу тогда жить?

— Если вы так беспокоитесь обо мне,— сказала Энид, — оставьте его в покое.

Каменное бесстрашие вернулось к нему, и он сказал глухо:

— Вы забываете, что я врач. Мой долг перед обществом...

— Теперь я точно знаю, что вы мерзавец,— сказала о н а . — У них всегда долг перед обществом.

Наступило молчание, и они услышали те единственные звуки, которые могли положить конец их поединку. По легким, не совсем твердым шагам и голосу, напевающему застольную песню, Энид сразу поняла, кто пришел. А через несколько секунд ее отец, праздничный и даже великолепный в своем вечернем костюме, уже стоял на пороге комнаты. Он был высок и красив, хоть немолод, и мрачный доктор выглядел рядом с ним не только невзрачным, но и неотесанным. Поэт обвел комнату взглядом, увидел открытое окно, и праздничное довольство слетело с его лица.

— Я был у вас в с а д у, — мягко сказал врач.

— Что ж, будьте добры покинуть мой д о м , — сказал поэт.

Он побледнел — от гнева, по иной ли причине, — но говорил ясно и твердо.

— Нет, — сказал Джадсон, — это вы его покинете. — И кончил с непонятной жестокостью: — Я сделаю все, чтобы вас признали сумасшедшим.

Он выскочил из комнаты, а старый поэт повернулся к дочери. Та смотрела на него широко открытыми глазами; но лицо у нее было такого странного цвета, что он испугался на секунду, не умерла ли она.

Энид никогда не удавалось вспомнить всего, что случилось в страшные тридцать шесть часов, отделявшие угрозу от беды. Лучше всего она помнила, как в темноте, а может, на рассвете, в самый длинный час своей бессонной ночи, она стояла в дверях и смотрела на улицу, словно ждала, что соседи спасут ее, как спасают от огня. Именно тогда ее охватил холод, более жестокий, чем пламя: она поняла, что в такой беде от соседей не дождешься помощи и ничем не переборешь современной слепой тирании. У фонаря перед соседним домом стоял полисмен, и она чуть не позвала его, словно ей грозил взломщик, но тут же поняла, что с таким же успехом может взывать к фонарю. Если двум врачам заблагорассудится признать ее отца сумасшедшим, весь свет будет с ними, включая полицию. Вдруг она осознала, что раньше здесь полисмена не было. И тут ее сосед, мистер Уилмот, вышел из дому с легким чемоданом в руке.

Ей захотелось с ним посоветоваться — наверное, в тот час она посоветовалась бы с кем угодно. Она кинулась к нему и попросила уделить ей минутку. Он, кажется, торопился, но вежливо кивнул и вернулся с ней в дом. Входя, она почему-то смутилась. Кроме того, знакомое лицо и манеры мистера Уилмота стали какими-то другими. Он был в роговых очках, но взгляд его стал зорче. Одет он был так же, но выглядел как-то подтянуто и двигался ловчее.

От смущения и растерянности она заговорила так, словно все это случилось не с ней. Она спросила, не посоветует ли он, как быть ее знакомому, у которого нашли дуодиапсихоз. Не скажет ли он, есть ли такая болезнь? Ведь он много знает!

Он выслушал ее и согласился, что кое-что действительно знает. Он спешил, явно спешил куда-то, и все же быстро проглядел толстый справочник. Нет, сказал он, ему не кажется, что есть такая болезнь.

— Я подозреваю, — закончил он, серьезно глядя на нее сквозь очки, — что вашего знакомого надул шарлатан.

Сомнения ее подтвердились, и она пошла домой. Он вышел с ней, не скрывая нетерпения. Полисмен поздоровался с ним; в этом не было ничего странного — полисмены здоровались и с ее отцом, и с другими здешними жителями. Но Энид удивило, что сам он, проходя, бросил полисмену:

— До моей телеграммы — все по-прежнему.

Подойдя к своему дому, она поняла, что случилось самое худшее. У калитки стояло черное такси, и она чуть ли не с завистью подумала о похоронах. Если бы она знала, кто в такси, она бы тут же устроила скандал. Но она не знала, и вошла в дом, и увидела, что по обе стороны стола сидят два доктора в черном. Один из них — статный и среброволосый, в элегантном пальто — уже поднес перо к бумаге. Другой был гнусный Джон Джадсон.

Она остановилась у дверей и услышала конец их беседы.

— Мы с вами, конечно, знаем, — говорил Джадсон, — насколько вертикальное деление важнее прежнего, горизонтального, различавшего сознание и подсознание. Но профаны вряд ли слышали об этом.

— Вот именно, — ровно и мягко промолвил Дун.

Он говорил на удивление мягко и старался как мог утешить Энид.

— Скажу одно, — говорил он. — Все, что может смягчить удар, будет сделано. Не стану скрывать — ваш отец уже в машине, под опекой в высшей степени гуманных служителей. Все это ужасно, дитя мое, но, быть может, мы сплотимся особенно тесно, когда нас постигла...

— Ладно, подписывайте скорей! — грубо прервал его Джадсон.

— Молчите, сэр! — достойно и гневно ответил Дун. — У вас не хватает гуманности, чтобы разговаривать с людьми, которых постигла беда. Но мне, к счастью, не раз приходилось это делать. Мисс Уиндраш, я глубоко скорблю...

Он протянул руку. Энид растерянно взглянула на него и отступила назад. Ей стало страшно — так страшно, что она обернулась к Джадсону.

— Выгоните его! — закричала она пронзительно, как истеричка. — Он еще ужасней, чем...

— Ужасней, чем... — повторил Джадсон.

— Чем вы, — закончила она.

— Подписали вы или нет? — нетерпеливо крикнул Джадсон.

Дун подписал, как только от него отвернулись; и Джадсон, схватив бумагу, выбежал из дому.

Сбега по ступенькам, он подпрыгнул, как школьник, вырвавшийся из школы, или как человек, добившийся своего. А Энид почувствовала, что могла бы простить ему все, кроме этого прыжка.

Позже — Энид не знала, сколько прошло времени, — она сидела у окна и смотрела на улицу. Горе ее достигло той степени, когда кажется: хуже быть не может. Но это было не так. Двое в форме и один в штатском поднялись по ступенькам, извинились и предъявили ордер на арест Уолтера Уиндраша по обвинению в убийстве.

Побуждения простых душ тоньше, чем побуждения сложных. Те, кто не копается в себе, способны почувствовать вдруг что-нибудь совсем неожиданное и непонятное. Энид была по-настоящему простодушной и никогда до тех пор не попадала в такой водоворот мыслей и чувств. И когда на нее свалился последний удар, она почувствовала: с такой сложной бедой ей не справиться, надо найти друга.

Она вышла из дому и пошла искать друга. Она пошла за шарлатаном, обманщиком, отвратительным лицемером и поймала его, когда он входил в дверь с медной дощечкой. Что-то подсказало ей, что он — на ее стороне и сможет все, если захочет. И, остановив отрицательного героя своей повести, она заговорила с ним просто, как с братом.

— Зайдите к нам на минутку, — сказала о н а . — Случилось еще одно несчастье, и я совсем запуталась.

Он быстро обернулся и взгляделся в улицу.

— А! — сказал о н . — Значит, уже пришли.

— Вы знали, что они придут? — крикнула она и вдруг, словно вспыхнул свет, увидела все сразу. Вероятно, это было что-то странное, потому что она сказала удивленно и не совсем уверенно: — Ох, какой же вы плохой!

— Я средний, — отвечал о н . — Да, я знаю, это называют преступлением. Но что же еще я мог сделать? Оставалось мало времени.

Она глубоко вздохнула. Смутно, как вдалеке, встало перед ней воспоминание, и она его поняла.

— Да, — сказала о н а . — Это совсем как тогда... Ну, когда вы спасли его от машины.

— Боюсь, я слишком горяч, — сказал о н . — Чуть что, кидаюсь на человека.

— И тогда, и теперь, — отвечала о н а , — вы кинулись в самое время.

Она вошла одна в его дом. Страх громоздился на страх в ее несложной душе — она представляла отца то обезьяной, то маньяком, то убийцей. Но в самом уголке притаилась радость, потому что ее друг оказался не плохим, а средним.

Через десять минут, когда инспектор Брэндон, рыжий, медлительный и быстроглазый, вошел в гостиную Уиндрашей, его встретил квадратный молодой врач с непроницаемой улыбкой. Те, кто видел Джадсона в часы недавних треволнений, не узнали бы его в сдержанном друге дома, безмятежно глядевшем на пришельца.

— Я уверен, инспектор, — вежливо начал о н , — что вы, как и я, хотите оградить от потрясений несчастную дочь Уиндраша. И отец, и она — мои пациенты, я отвечаю за ее состояние. Но, конечно, я сознаю мою гражданскую ответственность и, поверь-

те, не помешаю вам выполнять ваш долг. Надеюсь, вы вправе объяснить мне в общих чертах суть вашего дела.

— Что ж, сэр,— сказал инспектор, — в таких делах даже как-то легче, если можешь поделиться с кем-нибудь. Конечно, сами понимаете, говорить будем прямо, без обиняков.

— Я готов говорить прямо,— сдержанно ответил врач. — Насколько мне известно, у вас есть ордер на арест Уиндраша.

Инспектор кивнул.

— По обвинению в убийстве Морса,— сказал он. — Вы не знаете, где сейчас Уиндраш?

— Знаю,— сказал Джадсон. — Если хотите, я вас к нему отведу.

— Это не прятки и не кошки-мышки,— сказал инспектор. — Если он убежит, ответственность падет на вас.

— Он не убежит,— сказал Джадсон.

Оба помолчали. За дверью послышались легкие шаги, и юный почтальон, избежав по ступенькам, вручил инспектору телеграмму. Тот прочел, удивленно нахмурился и поднял глаза на собеседника.

— Можно сказать, кстати,— улыбнулся он. — Дает нам право тут задержаться, если вы отвечаете за свои слова.

Он протянул телеграмму, и доктор жадно пробежал ее. Там было написано:

«Не предпринимайте ничего У. У. моего приезда. Буду полчаса. Харрингтон».

— Это от начальника,— сказал инспектор. — Он у нас главный. Да и во всем мире он, можно сказать, главный сыщик.

— Так,— сухо сказал доктор. — Не жил ли он случайно тут, по соседству, под именем Уилмот?

— Вижу, вам кое-что известно,— снова улыбнулся Брэндон.

— Понимаете,— сказал Джадсон, — ваш начальник вел себя как вор, я и подумал, что он сыщик. Он сказал, что влез в сад по праву. Хозяева ему такого права не давали, и я понял, что он имеет в виду закон.

— Он зря не скажет, вы уж поверьте,— сказал инспектор. — В конечном счете он почти ни разу не ошибся. А в этом деле он нашел именно то, что думал.

— Он нашел,— сказал доктор, — человеческий скелет, засунутый в дупло дерева, с насильственным повреждением затылка, нанесенным левой рукой.

Брэндон удивленно посмотрел на него.

— Откуда вы знаете? — спросил он.

— Я сам это нашел,— ответил Джадсон. Он помолчал, потом прибавил: — Да, инспектор, мне действительно кое-что известно по этому делу. Как я уже говорил, я могу отвести вас к Уиндрашу. Однако услуга за услугу. Не расскажете ли вы мне эту историю? Или, может быть, лучше сказать, эту теорию?

Лицо у Брэндона было не только приятное и добродушное — оно становилось умным, когда лак официальной солидности сходил с него. Инспектор пристально посмотрел на доктора и сказал, улыбаясь:

— Вы, наверное, из сыщиков-любителей, которые читают, а то и пишут детективные рассказы. Что ж, спорить не буду, дело похоже на такой рассказ. — Он сделал паузу. — С нашей точки зрения, самое трудное — спрятать тело. Думаю, эта трудность многим сохранила жизнь. Мертвый враг опасней живого. Чего только не пробовали: и расчленили тело, и растворяли, и сжигали в печи, и заливали бетоном. Но тут придумано лучше, сразу видно — гений.

Тридцать с лишним лет назад жил в Лондоне некто Морс, посредник в денежных делах. Думаю, вы знаете, что это такое. Прямо скажем, он давал деньги в рост и расцвел, как говорится, пышным цветом. Плохой был человек. Процветал он, процветал за чужой счет, и, что греха таить, не очень его любили те, кто не слишком процветал. Среди них были два студента. Один — обыкновенный медик по фамилии Дувин. А другой учился всяким искусствам, и звали его Уиндраш.

Однажды этот Морс допустил большую оплошность. Он отослал шофера домой и пошел пешком к местной гостинице — у него тут были дела с этими самыми студентами. И туда, и обратно они проходили пустынной местностью, где росло только одно дерево. Что тут сделает рядовой, бездарный убийца? Убьет, когда третий не видит, а потом будет ковыряться в земле, чтобы зарыть труп. Или попытается увезти его, хотя любой гостиничный лакей может его накрыть. Но человек талантливый поступит иначе! Уиндраш додумался до абсолютно нового способа. Вроде бы нелепо, а хватило на тридцать лет. Он заявил, что с ходу влюбился в это место и хочет его купить. Так он и сделал — купил, и жил тут, и скрыл свое преступление. Понимаете, когда медик ушел вперед, к дороге, он нанес Морсу удар и бросил тело в дупло. Место было тогда пустынное, и никто их не видел. Но вечером, накануне, один прохожий заметил, что Уиндраш сидит и смотрит на дерево, явно обдумывая свой план. Любопытная деталь: прохожему показалось, что он похож на Каина, а лужи в красном свете заката похожи на кровь.

Потом все пошло как по маслу. Он притворился ненормальным и избежал подозрения в убийстве. Дерево он посадил в клетку, как дикого зверя, и никто не увидел в этом ничего, кроме дурацкой причуды. Заметьте, он изолировал дерево все строже и строже. В последние годы он выгонял из дому всех, кто хотел на него посмотреть. Всех, кроме Харрингтона и, по-видимому, вас.

— Я полагаю, — сказал Джадсон, — что Харрингтон, или Уилмот, или как вы его еще зовете, сообщил вам, что Уиндраш левша, точнее — и левша, и правша одновременно.

— Конечно,— ответил инспектор. — Ну, доктор, я вашу просьбу выполнил. Может, вы знаете что-нибудь еще? Не обес­судьте, напомню — теперь ваша очередь. Это серьезное дело, речь идет о жизни и смерти.

— Нет,— медленно сказал Джадсон.— Не о смерти. — Ин­спектор удивленно воззрился на него, и он прибавил: — Вы не повесите Уолтера Уиндраша.

— Что вы имеете в виду? — спросил инспектор новым, рез­ким тоном;

— Дело в том,— отвечал доктор, любезно улыбаясь, — что Уиндраш сидит в сумасшедшем доме. Он признан невменяемым по всей ф о р м е, — продолжал он так спокойно, словно все это случи­лось сто лет назад,— Дун и я освидетельствовали его и обнаружили симптомы дуодиапсихоза и некоторую переразвитость левой руки.

Ошеломленный инспектор не отрывал взгляда от мило улыбающегося врача, а тот направился к выходу. Но в дверях стоял человек, и доктор снова увидел длинноватые волосы и длинное, ехидное лицо того, кто так раздражал его под именем Уилмота.

— Вот и я, — сказал Уилмот, он же Харрингтон, и широко улыбнулся. — Кажется, вовремя.

Инспектор вскочил и спросил:

— Что-нибудь не так?

— Нет,— отвечал сыщик, — все так, только убийца не тот.

Он удобно уселся в кресло и улыбнулся инспектору; но, обернувшись к доктору, стал серьезен и деловит.

— Доктор,— начал о н , — вы человек науки и понимаете, что такое гипотеза. Вам приходилось, наверное, создавать очень разработанную, очень связную и убедительную концепцию.

— Бывало,— угрюмо улыбнулся Дж а д с о н . — Что-что, а та­кую концепцию мне довелось создать.

— И тем не менее,— серьезно продолжал сыщик, — вы, как настоящий ученый, допускали — пусть с чрезвычайно ма­лой вероятностью, — что ваша концепция может оказаться не­верной.

— И это бывало, — сказал Джадсон, улыбаясь еще уг­рюмей.

— Ну вот. Каюсь, моя концепция неожиданно рухнула, — сказал сыщик и улыбнулся еще приятней.— Инспектор не виноват. Это я выдумал поэта-преступника и его гениальный план. Не мне говорить, конечно, но — великолепная мысль! Не придерешься. Одно плохо: на самом деле все было не так. Да, нет на свете совершенства...

— Почему же не так? — спросил Брэндон.

— По т о м у, — отвечал е г о ш е ф , — что я обнаружил убийцу.

Его собеседники молчали, а он продолжал мечтательно, словно рассуждал на отвлеченные темы:

— Наше гениальное, смелое убийство, как многие шедевры, слишком прекрасно для этого мира. Быть может, в раю или в утопии убивают так талантливо. Но тут, у нас, все делается проще. Я занялся вторым студентом, Брэндон. Конечно, вы знаете о нем еще меньше, чем о первом.

— Простите, — обиделся инспектор, — мы проследили дальнейшие действия всех, кто замешан в этом деле. Он уехал в Лондон, потом в Нью-Йорк, а оттуда в Аргентину. Дальше его следы теряются.

— Вот именно, — сказал Харрингтон. — Он сделал именно ту необходимую, скучную вещь, которую делают преступники. Он удрал.

Кажется, только теперь к Джадсону вернулся дар речи.

— Вы совершенно уверены, — спросил о н , — что Уиндраш невиновен?

— Совершенно, — серьезно ответил с ы щ и к . — Это не гипотеза, а факт. Сошлись десятки деталей. Я приведу вам несколько на выбор. Удар нанесен очень редким хирургическим инструментом. Место выбрано исключительно точно — так не выберешь без специальных знаний. Человек по имени Дувин, несомненно, был в тот день с убитым. Мотивы у него посильней, чем у поэта , — он тогда завяз в долгах. Наконец, он — медик, искусный хирург. Кроме того, он левша.

— Если вы уверены, сэр, дело кончено, — не без грусти сказал инспектор. — Правда, доктор мне объяснил, что Уиндраш тоже левша. Это входит в его болезнь, как она там называется...

— Согласитесь, — сказал Харрингтон, — что я никогда не был твердо уверен в виновности Уиндраша. А сейчас я убежден в его невиновности.

— Доктор Джадсон говорит... — начал инспектор.

— Доктор Джадсон говорит, — сказал доктор Джадсон и вскочил, как на пружинах, — что все его слова за последние двое суток — чистое вранье. Уолтер Уиндраш не безумней нас с вами. Прошу вас, сообщите всем, что знаменитый древесный атавизм — зверская чушь, ею и ребенка не купишь. Дуодиапсихоз! Ну, знаете! — и он трубно, вызывающе фыркнул.

— Все это очень странно, — сказал инспектор.

— Еще бы, — сказал в р а ч . — Мы все, кажется, наделали глупостей от лишнего ума, но я — на первом месте. Надо немедленно его вытащить! Мисс Уиндраш и так совсем измучилась. Я сейчас напишу, что он выздоровел, или что я ошибся, или еще что-нибудь.

— Насколько я понял, — серьезно сказал с ы щ и к , — такой авторитет, как Дун, тоже подписал заключение.

— Дун! — закричал Джадсон, и голос его зазвенел неопишым презрением. — Дун подпишет что угодно. Дун скажет что хотите. Дун давно выжил из ума. Он написал одну книгу, когда

я ходил в школу, о ней растрезвонили, и с тех пор он не прочитал ни строчки. Я видел у него кипы книг — все не разрезаны. Его болтовня о доисторическом человеке допотопней мамонта. Да ни один ученый теперь не верит в его древесных людей! Господи, Дун! Это мне было раз плюнуть. Польстил ему, приплел его теорию и стал говорить непонятно — спросить он не смел. Очень интересный метод. Поновой психоанализа.

— Тем не менее,— сказал Харрингтон, — Дун подписал ту бумагу, и теперь не обойтись без его подписи.

— А, ладно! — крикнул пылкий Джадсон, строча что-то на листке. — Уломаю как-нибудь.

— Я бы хотел с вами пойти, — сказал сыщик.

Едва поспевая за нетерпеливым врачом, они довольно быстро добрались до величественного дома, где уже побывал наш герой, и не без интереса послушали беседу с величественным хозяином. Теперь, войдя в курс дела, они смогли оценить уклончивость прославленного ученого и напористость еще не прославленного. По-видимому, Дун решил, что умнее согласиться. Он небрежно взял вечное перо и подписал бумагу левой рукой.

ЭПИЛЮГ В САДУ

Две недели спустя Уолтер Уиндраш гулял в своем любимом саду, улыбаясь и покуривая, словно ничего не случилось. В этом и состояла тайна Уиндраша, которая была не под силу ни врачам, ни законникам. Эту загадку не разгадал бы ни один сыщик.

Старого поэта выставили чудищем перед самым близким человеком. Его дочери доказывали, что он обезьяна и маньяк, а позже — что он безжалостный убийца, построивший всю свою жизнь на сокрытом злодеянии. Он прошел через все гнуснейшие муки и ждал еще более гнусных. Он узнал, что его частный рай — место преступления, а друг способен поверить в его виновность. Он побывал в сумасшедшем доме. Он чуть не угодил на виселицу. Но все это, вместе взятое, значило для него много меньше, чем форма и цвет огромного утреннего облака, выплывавшего на востоке, и внезапный щебет птиц в ветвях многострадального дерева. Одни сказали бы, что его душа мелка для таких трагедий; другие, видевшие зорче, сказали бы, что слишком глубока. Быть может, инспектор Брэндон все же не совсем разобрался в чудовище, именуемом гением.

Но недолго он гулял один: вскоре к нему присоединился его друг, молодой врач, весьма смущенный и хмурый.

— Вот что, — сказал доктор Джадсон, еще не утративший мрачной прямоты. — Конечно, мне есть чего стыдиться в этом деле. Но, честное слово, не понимаю, как вы можете тут гулять.

— Милый мой друг, и это вы — холодный человек науки! — беспечно ответил Уиндраш. — Вы просто погрязли в предрассудках! Вы прозябаете в средневековой тьме! Я — только бедный, непрактичный мечтатель, но, поверьте, я вижу дневной свет. Да я и не терял его даже в том уютном санатории, куда вы меня послали. Мне там было хорошо. А сумасшедшие... Что ж, я пришел к выводу, что они нормальней, чем мои друзья на воле.

— Не стоит это все беречь, — угрюмо сказал Джадсон. — Чего не было, того не было — сумасшедшим я вас не считал. А вот убийцей считал, вы уж простите. Но убийца убийце рознь. Мало ли какие были у вас смягчающие обстоятельства! Честно говоря, все, что я с тех пор узнал о покойном мистере Морсе, подсказывает мне, что он — не такая уж большая потеря. Я понял, что Уилмот — сыщик и шныряет у дерева, а это значит, что вас вот-вот схватят. Пришлось и мне действовать быстро, я вообще долго не раздумываю. Установить невменяемость после ареста всегда нелегко, особенно если подсудимый нормален. Но если установить ее раньше, его и арестовать нельзя. Надо было в пять минут выдумать болезнь. Я соорудил ее из обломков наших ученых бесед. Понимаете, я чувствовал, на что Дун клюнет, и потом — это очень хорошо увязывалось с деревом. Но даже сейчас мне противно вспоминать всю эту гадость, хотя я сам ее выдумал. Что же чувствуешь, когда вспоминаешь о гадости невыдуманной?

— Да, — весело сказал поэт, — что вы тогда чувствуете?

— Я чувствую, — ответил Джадсон, — что от этого места надо бежать как от чумы.

— Птицы садятся на дерево, — сказал Уиндраш, — как на плечо святого Франциска.

Наступило молчание; потом Джадсон сказал все так же угрюмо:

— Знаете, просто непонятно, как вы тридцать лет жили около дерева и не нашли, что там внутри. Конечно, скелет обнажился очень быстро — ручей уносил разложившиеся ткани. Но вы ведь, наверное, встряхнули дерево хоть раз?

Уолтер Уиндраш прямо посмотрел на него ясными, стеклянными глазами.

— Я к нему не прикасался, — сказал он. — Я ни разу не подошел к нему ближе, чем на пять шагов.

Врач не ответил; и поэт продолжал:

— Вот вы говорите об эволюции, о развитии человека. Вы, ученые, выше нас, и вам не до легенд. Вы не верите в райский сад. Вы не верите в Адама и Еву. А главное — вы не верите в запретное дерево.

Врач полушутливо кивнул, но поэт продолжал, глядя на него все так же серьезно и пристально:

— А я скажу вам: всегда сохраняйте в саду такое дерево. В жизни должно быть что-то, к чему мы не смеем прикоснуться.

Вот секрет вечной молодости и радости. Но вы трясете дерево познания, заглядываете в него, срываете его плоды — и что же выходит?

— Не такие уж плохие в е щ и , — твердо ответил врач.

— Мой друг, — сказал поэт. — Вы как-то спросили меня, какая польза от дерева. Я ответил, что я не хочу от него пользы. Разве я ошибся? Оно давало мне только радость, потому что не приносило выгоды. Какие же плоды оно принесло тем, кто захотел плодов? Оно принесло пользу Дувину, или Дуну, или как он там зовется, — и что же сорвал он, как не смерть и грех? Оно принесло ему убийство и самоубийство, — сегодня мне сказали, что он принял яд и оставил посмертное признание. Принесло оно пользу и Уилмоту; но что сорвали они с Брэндоном, как не жуткий долг — отправить ближнего на смерть? Оно принесло пользу вам, когда вам понадобилось запретить меня навсегда и принести горе моей дочери. Ваша выдумка была дурным сном, который еще преследует вас. Но я, повторяю, не ждал от дерева пользы, и вот — для меня светит день.

Он еще говорил, когда Джадсон поднял голову и увидел, что Энид, вынырнув из тени дома, идет по освещенной солнцем траве. Лицо ее светилось, волосы сияли пламенем, и казалось, что она вышла из аллегорической картины, изображающей зарю. Она шла быстро, но ее движения были и плавными и сильными, словно изгиб водопада. Вероятно, старый поэт почувствовал, как соответствует она почти космическому размаху их беседы, и беспечно сказал:

— Знаешь, Энид, я опять тут расхвастался, сравнил наш садик с Эдемом. Но на этого несчастного материалиста просто время тратить жаль. Он не верит в Адама и Еву.

Молодой врач не ответил. Он был занят — он смотрел.

— Я не знаю, есть ли тут з м и й , — сказала она, смеясь.

— Только поймите меня правильно, — задумчиво сказал Уиндраш. — Я не против развития, если ты развиваешься тихо, прилично, без этой суматохи. Ничего нет плохого в том, что мы когда-то лазали по деревьям. Но мне кажется, даже у обезьяны хватит ума оставить одно дерево запретным. Эволюция — это ведь просто... А, черт, сигарета кончилась! Пойду покурю теперь в библиотеке.

— Почему вы сказали «теперь»? — спросил Джадсон.

Он уже отошел на несколько шагов, и они не услышали ответа:

— Потому что это — рай.

Сперва они молчали. Потом Джон Джадсон сказал очень серьезно:

— В одном отношении ваш отец недооценивает мою правоту.

Он улыбнулся еще серьезней, когда Энид спросила, что он имеет в виду.

— Я верю в Адама и Еву, — ответил ученый и взял ее за руки.

Не отнимая рук, она смотрела на него очень спокойно и пристально. Только взгляд у нее стал другим.

— Я верю в Адама, — сказала она, — хотя когда-то думала, что он и есть змий.

— Я вас змием не считал, — сказал он медленно, почти напевно. — Я думал, вы — ангел с пламенным мечом.

— Я отбросила меч, — сказала Энид.

— Остался ангел, — сказал он.

А она поправила:

— Осталась женщина.

На ветке некогда поруганного дерева запела птица, и в тот же миг утренний ветер ринулся в сад, согнул кусты, и, как всегда бывает, когда ветер налетит на залитую солнцем зелень, свет сверкающей волной покотился перед ним. А Энид и Джону показалось, что лопнула какая-то нить, последняя связь с тьмой и хаосом, мешающими творенью, и они стоят в густой траве на заре мира.

ВОСТОРЖЕННЫЙ ВОР

ИМЯ НЭДУЭВ

Нэдуэев знали все; можно сказать, что это имя было овеяно славой. Альфред Великий запасся их изделиями, когда бродил по лесам и мечтал об изгнании данов, — во всяком случае, такой вывод напрашивался, когда мы смотрели на плакат, где ослепительно яркий король предлагает бисквиты Нэдуэя взамен горелых лепешек. Это имя гремело трубным гласом Шекспиру — во всяком случае, так сообщала нам реклама, на которой великий драматург приветствовал восторженной улыбкой великие бисквиты. Нельсон в разгар битвы видел его на небе — судя по тем огромным, таким привычным рекламам, изображающим Трафальгарский бой, к которым как нельзя лучше подходят возвышенные строки: «О Нельсон и Нэдуэй, вы дали славу нам!» Привыкли мы и к другой рекламе, на которой моряк строчит из пулемета, осыпая прохожих градом нэдуэевских изделий и преувеличивая тем самым их смертоносную силу. Те, кому посчастливилось вкусить бисквитов, не совсем понимали, что же отличает их от менее прославленных печений. Многие подозревали, что разница — в плакатах, окруживших имя Нэдуэев пылающей пышностью геральдики и красотой праздничных шествий.

Всем этим цветением красок и звуков заправлял невзрачный, хмурый человек в очках, с козлиной бородкой, выходявший из дому только в контору и в кирпичную молельню баптистов. Мистер Джекоб Нэдуэй (позже, конечно, сэр Джекоб Нэдуэй, а еще позже — лорд Нормандэйл) основал фирму и наводнил мир бисквитами. Он жил очень просто, хотя мог позволить себе любую роскошь. Он мог нанять секретаршей высокородную Миллисент Мильтон, дочь разорившихся аристократов, с которыми был когда-то слегка знаком. С тех пор они поменялись местами, и теперь мистер Нэдуэй мог позволить себе роскошь и помочь осиротевшей Миллисент. К сожалению, Миллисент не позволила себе отказаться от его помощи.

Однако она нередко мечтала об этой роскоши. Нельзя сказать, чтобы старый Нэдуэй плохо обращался с ней или мало

платил. Благочестивый радикал был не так прост. Он прекрасно понимал всю сложность отношений между разбогатевшим плебеєм и обедневшей патрицианкой. Миллисент знала Нэдуэев до того, как пошла к ним в услужение, и с ней приходилось держаться как с другом, хотя вряд ли она, будь ее воля, выбрала бы в друзья именно эту семью. Тем не менее она нашла в ней друзей, а одно время думала даже, что нашла друга.

У Нэдуэя было два сына. Он отдал их в частную школу, потом — в университет, и они, как теперь полагается, безболезненно превратились в джентльменов. Надо сказать, джентльмены из них вышли разные. Характерно, что старшего звали Дж о н о м, — он родился в ту пору, когда отец еще любил простые имена из Писания. Младший, Норман, выражал тягу к изысканности, а может, и предчувствие титула Нормандэйл. Миллисент еще застала то счастливое время, когда Джона звали Джеком. Он долго был настоящим мальчишкой, играл в крикет и лазил по деревьям ловко, как зверек, веселящийся на солнце. Его можно было назвать привлекательным, и он ее привлекал. Но всякий раз, когда он приезжал на каникулы, а позже — отдохнуть от дел, она чувствовала, как вянет в нем что-то, а что-то другое крепнет. Он претерпевал ту таинственную эволюцию, в ходе которой мальчишки становятся дельцами. И Миллисент думала невольно, что в школах и в университетах что-то не так, а может быть, что-то не так в нашей жизни. Казалось, вырастая, Джон становился все меньше.

Норман вошел в силу как раз тогда, когда Джон окончательно поблек. Младший брат был из тех, кто расцветает поздно, — если сравнение с цветком применимо к человеку, который с ранних лет больше всего походил на незрелую репу. Он был большеголовым, лопухим, бледным, с бессмысленным взглядом, и довольно долго его считали дураком. Но в школе он много занимался математикой, а в Кембридже — экономикой. Отсюда оставался один прыжок до социологии, которая, в свою очередь, привела к семейному скандалу.

Прежде всего Норман подвел подкоп под кирпичную молельню, сообщив, что хочет стать англиканским священником. Но отца еще больше потрясли слухи о том, что сын читает курс политической экономии. Экономические взгляды Нэдуэя-младшего так сильно отличались от тех, которыми руководствовался Нэдуэй-старший, что в историческом скандале за завтраком последний обозвал их социализмом.

— Надо поехать в Кембридж и урезонить его! — говорил мистер Нэдуэй, ерзая в кресле и барабаня пальцами по столу. — Поговори с ним, Джон. Или привези, я сам поговорю. А то все дело рухнет.

Пришлось сделать и то, и другое. Джон — младший компаньон фирмы «Нэдуэй и сын» — поговорил с братом, но не урезонил его. Тогда он привез его к отцу, и тот охотно с ним побеседовал, но своего не добился. Разговор вышел очень странный.

Происходил он в кабинете, из которого сквозь окна-фонари виднелись холеные газоны. Дом был очень викторианский; про такие дома в эпоху королевы говорили, что их строят мещане для мещан. Его украшали навесы, шпили, купола, и над каждым входом висело что-то вроде резного фестончатого зонтика. Его украшали, наконец, уродливые витражи и не очень уродливые, хотя и замысловато подстриженные, деревья в кадках. Короче говоря, это был удобный дом, который сочли бы крайне пошлым эстеты прошлого века. Мэтью Арнольд, проходя мимо, вздохнул бы с грустью. Джон Рескин умчался бы в ужасе и призвал на него грома небесные с соседнего холма. Даже Уильям Моррис поворчал бы на ходу насчет ненужных украшений. Но я совсем не так уж уверен в негодовании Сэшеверола Ситуэлла. Мы дожили до времен, когда фонарики и навесы пропитались сонным очарованием прошлого. И я не могу поручиться, что Ситуэлл не стал бы бродить по комнатам, слагая стихи об их пыльной прелести, на удивленье старому Нэдуэю. Быть может, после их беседы он написал бы и о Нэдуэе? Не скажу — не знаю.

Миллисент вошла из сада в кабинет почти одновременно с Джоном. Она была высокой и светловолосой, а небольшой торчащий подбородок придавал значительность ее красивому лицу. На первый взгляд она казалась сонной, на второй — надменной, а в действительности она просто примирилась с обстоятельствами. Миллисент села к своему столу, чтобы приняться за работу, и вскоре поднялась: семейный разговор становился слишком семейным. Но старый Нэдуэй раздраженно-ласково помахал рукой, и она осталась.

Старик начал резко, с места в карьер, словно только что рассердился:

— Я думал, вы уже беседовали.

— Да, отец, — отвечал Джон, глядя на ковер. — Мы поговорили.

— Надеюсь, ты дал понять, — сказал отец немного мягче, — что просто ни к чему так мудрить, пока мы правим фирмой. Мое дело провалится через месяц, если я пойду на это идиотское «участие рабочих в прибылях». Ну разумно ли это? Разве Джон тебе не объяснил, как это неразумно?

Ко всеобщему удивлению, длинное, бледное лицо дернулось в усмешке, и Норман сказал:

— Да, Джек мне объяснил, и я объяснил ему кое-что. Я объяснил, например, что у меня тоже есть дело.

— А отца у тебя нет? — поинтересовался Джекоб.

— Я выполняю дело О т ц а , — резко сказал священник.

Все помолчали.

— Вот что, — хмуро выговорил Джон, изучая узор ковра, — так у нас ничего не выйдет. Я ему говорил все, что вы сами сказали бы. Но он не соглашается.

Старый Нэдуэй дернул шеей, словно проглотил кусок, потом сказал:

— Вы что ж, оба против меня? И против нашей фирмы?

— Я за фирму, в том-то и суть,— сказал Джон. — Все же мне за нее отвечать... когда-нибудь, конечно. Только я не собираюсь отвечать за старые методы.

— Тебе как будто нравились деньги, которые я нажил этими методами,— грубо и зло сказал отец. — А теперь, видите ли, они мне подсовывают какой-то слюнявый социализм!

— Отец! — сказал Джон, удивленно и мирно глядя на него. — Разве я похож на социалиста?

Миллисент окинула его взглядом от сверкающих ботинок до сверкающих волос и чуть не засмеялась.

И тут прозвенел дрожащий, почти страстный голос Нормана:

— Мы должны очистить имя Нэдуэв!

— Вы смеете мне говорить, что мое имя в грязи? — крикнул отец.

— По нынешним стандартам — да, — ответил Джон, помолчав.

Старый делец молча сел и повернулся к секретарше.

— Сегодня работать не будем,— сказал он. — Вы лучше прогуляйте.

Она не очень охотно встала и пошла в сад. Из-за деревьев возшла огромная, яркая луна, бледное небо стало темным, и черные тени упали на серо-зеленую траву. Миллисент всегда удивляло, что и в саду, и в нелепом доме, населенном столь прозаичными людьми, есть что-то романтическое. Стеклопанная дверь осталась приоткрытой, и в сад донесся голос старого Нэдуэя:

— Тяжело карает меня Господь,— говорил он. — У меня три сына, и все они против меня.

— Мы совсем не против вас, отец, — мягко и быстро начал Джон. — Мы просто хотим реорганизовать дело. Теперь ведь новые условия, и общественное мнение изменилось. Ни Нормана, ни меня нельзя обвинить в неблагодарности или непочтительности.

— Эти свойства, — сказал Норман своим глубоким голосом, — ни на йоту не лучше старых методов.

— Вот что,— устало сказал отец, — на сегодня хватит. Мне недолго править фирмой.

Миллисент смотрела на дом не помня себя от удивления. Ни Норман, ни Джон не обратили внимания на одну из отцовских фраз. Но она слышала ясно, что он сказал: «Три сына». И впервые она подумала, не хранят ли тайны эти нелепые и все же романтические стены.

ВЗЛОМЩИК И ФЕРМУАР

История, закончившаяся поразительными открытиями, началась с того, что Миллисент испугалась вора. Кража была неинтересная — вор ничего не успел украсть, его спугнули. Но спугнули, точнее — удивили, не только его.

Джекоб Нэдуэй выделил своей секретарше великолепную комнату, выходящую в холл. Он обеспечил Миллисент все удобства, включая тетку. Правда, Миллисент порой сомневалась, причислить ли тетку к удобствам. У миссис Мильтон-Маубри были две функции: предполагалось, что она ведет дом и придает особый блеск личной секретарше. Характеры у женщин были разные. Племянница с достоинством несла тяготы нового положения, тетка же впадала порой в прежнюю спесь, которую с нее незамедлительно сбивали. Тогда Миллисент весь вечер утешала ее, а потом по мере сил утешалась сама. На сей раз она не легла, а примостилась с книгой у камина и читала до поздней ночи, не замечая, что все давно спят. Вдруг в полной тишине раздался новый, необычный звук. Что-то визжало в холле, словно точили ножи или металл вгрызался в металл. И Миллисент вспомнила, что в углу, между ее дверью и дверью хозяина, стоит сейф.

Она была бессознательно храброй (самый лучший вид храбрости) и вышла в холл посмотреть. То, что она увидела, удивило ее своей простотой. Она сотни раз об этом читала, сотни раз видела это в кино и сейчас не могла поверить, что ЭТО — вот такое. Сейф был открыт, а перед ним, спиной к ней, стоял на коленях какой-то оборванец; она видела только его спину и засаленную мятую шляпу. На полу справа от него сверкала стальное сверло и еще какие-то инструменты. Слева еще ярче сверкала серебряная цепь с драгоценным фермуаром — вероятно, он где-то ее украл. Все было слишком похоже на то, как это представляешь, слишком просто, почти скучно. И Миллисент не притворялась, когда спросила без всякого волнения:

— Что вы тут делаете?

— Сами видите, не лезу в гору и не играю на тромбоне, — глухо проворчал он. — Кажется, ясно, что я делаю. — Он помолчал, потом сказал с угрозой: — И не выдумывайте, что это ваша штука. Она не ваша. Я ее отсюда не брал. Скажем, я ее захватил из другого дома. Красивая, а? Под шестнадцатый век. На ней девиз: «Amor vincit omnia»¹. Хорошо им говорить, что любовь побеждает все, а силой ничего не сделаешь! Однако этот сейф я взял силой. Еще не видел сейфа, который откроешь только любовью к нему.

Можно было застыть на месте оттого, что взломщик как ни в чем не бывало говорит, не оборачиваясь; кроме того, казалось странным, что он разобрал латинскую надпись, как она ни проста. Однако Миллисент не могла ни убежать, ни вскрикнуть, ни прервать его спокойную речь.

— Вероятно, они вспомнили тот фермуар, который носила аббатиса у Чосера. Там такой же девиз. Вам не кажется, что Чосер здорово подметил социальные типы? Многие и сейчас живы. Вот аббатиса, например: две-три черты, и пожалуйста — английская леди, поразительнейшее из существ. Ее отличишь от всех в любом заграничном пансионе. Аббатиса была из самых

¹ Любовь побеждает все (*лат.*).

лучших, но главное налицо: жалеет мышек, трясется над своими собачками, чинно держится за столом — ну все как есть, даже по-французски говорит, причем французы ее не понимают.

Взломщик медленно обернулся и посмотрел на Миллисент.

— Да вы сами английская леди! — воскликнул он. — Вы знаете, их все меньше.

Быть может, мисс Милтон, как и аббатиса, была из самых лучших английских леди. Но надо честно признать, что были у нее и пороки, свойственные этому типу. Один из них — бессознательное классовое чувство. Ничего не поделаешь — как только вор заговорил о литературе, все перевернулось у нее в голове, и она подумала, что он не может быть вором. Если бы она следовала логике, ей пришлось бы признать, что ничего не изменилось. Теоретически у знатока средневековой поэзии не больше прав на чужие сейфы, чем у всех других. Но что-то помимо ее воли сработало в ее сознании, и ей показалось, что теперь все иначе. Ее чувства можно передать расплывчатыми фразами вроде: «Это совсем другое дело» или «Тут что-то не так». В действительности же (к вящему позору своего замкнутого мира) некоторых людей она видела изнутри, а всех остальных — от взломщиков до каменщиков — только снаружи.

Молодой человек, глядевший на нее, был оборван и небрит, но щетина уже так выросла, что ее можно было счесть несовершенной бородкой. Росла она клочками; и, вспомнив неопрятные бородки иностранцев, Миллисент решила, что он похож на интеллигентного шарманщика. Что-то еще было в нем странное — может быть, потому, что губы его насмешливо кривились, а глаза глядели серьезно, более того — восторженно. Если бы нелепая бородка закрыла рот, его можно было бы принять за фанатика, вопиющего в пустыне. Вероятно, он страстно ненавидел общество, если дошел до такой жизни; а может, его погубила женщина. И Миллисент вдруг захотелось узнать, в чем там было дело и как эта женщина выглядит.

— Вы молодец, что здесь со мной стоите. Вот еще одна черта: английские леди — храбрые. Но теперь расплодилось другие племена. Такой фермуар не должен украшать недостойных. Одно это оправдало бы мою профессию. Мы, взломщики, способствуем круговороту вещей, не даем им залежаться не там, где нужно. Если бы его носила аббатиса, я бы его не взял, не думайте. Если бы я встретил такую милую леди, как она, я бы отдал ей эту штуку. Нет, вы мне скажите, почему свежиспеченная графиня, похожая на какаду, должна ее носить? Мало, мало мы воруем, взломщиков не хватает, разбойников, некому имущество перераспределять!.. Переставили бы все по местам, как следует, понимаете, как хозяйки весной, и..

Но его социальную программу прервали на самом интересном месте — кто-то громко, со свистом, задохнулся от удивления. Миллисент оглянулась и увидела своего хозяина. Джекоб Нэдуэй стоял в пурпурном халате. Только сейчас она удивилась, что сама не убежала и спокойно слушает взломщика, у открытого сейфа, словно они сидят за чайным столом.

— О Господи! Взломщик, — проговорил Нэдуэй.

В ту же минуту послышались быстрые шаги, и младший партнер вбежал, отдуваясь, без пиджака, зато с револьвером. Но рука его выпустила револьвер, и он тоже сказал недоверчивым, странным тоном:

— Ах ты черт! Взломщик.

Преподобный Норман Нэдуэй пришел вслед за братом — бледный, торжественный, в наброшенном на пижаму пальто. Но смешней всего было не это: тем же странным, удивленным тоном он проговорил: «Взломщик».

Миллисент показалось, что у всех троих какая-то не та интонация. Взломщик был, без сомнения, взломщиком, так же как сейф был сейфом. Она не сразу поняла, почему они так произносят это слово, как будто перед ними грифон или другое чудище, и вдруг догадалась: они удивляются не тому, что к ним забрался взломщик, а тому, что взломщиком стал этот человек.

— Да, — сказал гость, с улыбкой глядя на них, — я теперь взломщик. Когда мы виделись в последний раз, я, кажется, писал прошения для бедных. Так вот растешь понемногу... То, за что отец меня выгнал, — сущая чепуха по сравнению с этим, а?

— Алан, — очень серьезно сказал Норман Нэдуэй. — Зачем ты пришел сюда? Почему ты решил обокрасть именно наш дом?

— Честно говоря, — ответил Алан, — я думал, что наш уважаемый отец нуждается в моральной поддержке.

— Ты что? — рассердился Джон. — Хорошенькая поддержка!

— Прекрасная, — с гордостью сказал в о р . — Разве вы не видите? Я единственный настоящий сын и наследник. Только я продолжаю дело. Атавизм, так сказать. Возрождаю семейную традицию.

— Не понимаю, о чем ты говоришь! — взорвался старый Нэдуэй.

— Джек и Норман понимают, — хмуро сказал в о р . — Они знают, о чем я говорю. Они, бедняги, уже лет шесть пытаются это заметить.

— Ты родился мне на г о р е , — сказал старый Нэдуэй, дрожа от злости. — Ты бы замарал мое имя грязью, если бы я не отослал тебя в Австралию. Я думал, что избавился от тебя, а ты вернулся вором.

— И достойным продолжателем, — сказал его с ы н , — методов, создавших нашу ф и р м у . — Он помолчал, потом прибавил с горечью: — Вы говорите, что стыдитесь меня. Господи, отец! Разве вы не видите, эти двое стыдятся вас? Посмотрите на них!

Братья быстро отвернулись, но отец успел посмотреть.

— Они стыдятся вас. А я не стыжусь. Мы с вами отчаянные люди.

Норман поднял руку, протестуя, но Алан продолжал язвительно и горько:

— Думаете, я не знаю? Думаете, никто не знает? Вот почему Норман с Джеком вцепились в эти новые методы и общественные

идеалы! Хотят очистить имя Нэдуэев — от него ведь разит на весь свет! Фирма-то стоит на обмане, на потогонной системе — сколько бедных извели, сколько наобижали вдов и сирот! А главное — она стоит на воровстве. Вы, отец, грабили конкурентов, и партнеров, и всех — вот как я вас.

— По-твоему, это пристойно? — в негодовании спросил его брат. — Мало того что ты грабишь отца, — ты его оскорбляешь.

— Я его не оскорбляю, — сказал Алан. — Я его защищаю. Из всех собравшихся я один могу его защитить. Ведь я преступник.

И он заговорил так пылко, что все вздрогнули от испуга.

— Что вы двое об этом знаете? Ты учишься на его средства. Ты стал его партнером. Вы живете на его деньги и стыдитесь, что он их не так нажил. А мы с ним начинали по-другому. Его выкинули в канаву — и меня. Попробуйте, и тогда увидите, сколько нахлебаешься грязи! Вы не знаете, как становятся преступниками, — как крутишься, как отчаиваешься, как надеешься на честную работу и берешься наконец за нечестную. У вас нет никакого права презирать двух воров нашей семьи.

Старый Нэдуэй резко поправил очки, и наблюдательная Миллисент заметила, что он не только удивлен, но и тронут.

— Все это не объясняет, — сказал Джон, — твоего пребывания в доме. Ты, вероятно, знаешь, что в сейфе ничего нет. Эта штука не наша. Не понимаю, что ты задумал!

— Что ж, — усмехнулся Алан, — осмотри получше дом, когда я уйду. Может, сделаешь открытие-другое. А вообще-то я...

И тут прямо над ухом Миллисент раздался смешной и тревожный звук — тот самый пронзительный звук, которого здесь не хватало. Тетка проснулась, чтобы достойно завершить мелодраму. Викторианская традиция дожила до наших дней в лице миссис Мильтон-Маубри. Миллисент все время ждала чего-то. И вот кто-то завизжал, как и подобает, когда в доме взломщик.

Пятеро переглянулись. Вору оставалось одно: скрыться побыстрее. Он кинулся налево, то есть в комнаты Миллисент и миссис Мильтон-Маубри, и визг достиг высшего накала. Наконец где-то хрустнуло стекло — вор вырвался из дома в сад, и все они вздохнули, каждый о своем.

Не стоит и говорить, что Миллисент направилась утешать тетку и визг сменился потоком вопросов. Потом она ушла к себе и увидела, что на ее туалете, словно драгоценности короны на черном бархате, лежит усыпанный бриллиантами фермуар с латинским девизом: «Любовь побеждает все».

УДИВИТЕЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Миллисент Мильтон поневоле думала, особенно в саду, в свободные часы, доведется ли ей снова увидеть взломщика. Обычно взломщики не возвращаются. Но этот был совсем не-

обычно связан с семьей Нэдуэв. Как взломщик он должен был скрыться; как родственник — мог прийти снова. Тем более что он блудный сын, а им возвращаться положено. Она попыталась было подступиться к его братьям, но ничего путного не добилась. Как вы помните, Алан нагло посоветовал осмотреть дом после его ухода. Но, вероятно, он работал очень уж тонко и ловко — никто не мог выяснить, что же он взял. Она билась над этим вопросом и многими другими и ничего не могла понять, как вдруг, случайно взглянув вверх, увидела, что Алан спокойно стоит на садовой стене и смотрит вниз. Ветер шевелил его взъерошенные темные волосы, как листья на дереве.

— Еще один способ проникнуть в дом, — сказал он четко, словно лектор, — перелезть через забор. Просто как будто. Красть вообще просто. Только сейчас я никак не решу, что же мне украсть.

Он помолчал.

— Для начала украду у вас немного времени. Не пугайтесь, хозяин не рассердится. Меня сюда позвали, честное слово.

Он прыгнул и приземлился рядом с ней, не переставая говорить.

— Да, меня вызвали на семейный совет. Будут обсуждать, как меня обратить на путь истинный. Но до обращения, слава Богу, не меньше часа. Пока я еще в преступном состоянии, я бы хотел с вами поболтать.

Она не отвечала и смотрела на нелепые пальмы в кадках у ограды. Странное чувство вернулось к ней: ей снова казалось, что дом и сад романтичны, хотя тут и живут такие люди.

— Надеюсь, вам известно, — сказал Алан Нэдуэй, — что отец меня выгнал, когда мне было восемнадцать лет, и гнал до самой Австралии. Сейчас я понимаю, что кое в чем он был прав. Я дал одному приятелю деньги. Я полагал, что они мои, а отец считал, что они принадлежат фирме. С его точки зрения, я украл. Я тогда мало знал о кражах по сравнению с моими теперешними глубокими познаниями. А вам я хочу рассказать о том, что со мной случилось, когда я уехал из Австралии.

— Может быть, они тоже хотели бы послушать? — не удержалась Миллисент.

— Да уж, наверное, — ответил он. — Только им не понять, так что и слушать ни к чему. — Он задумчиво помолчал. — Понимаете, это слишком просто для них. Слишком просто, чтобы поверить. Прямо как притча, то есть как басня, а не факт. Возьмем моего брата Нормана. Он честный человек и очень серьезный. Каждое воскресенье он читает притчи из Писания. Но он бы в них не поверил, если б это было в жизни.

— Вы хотите сказать, что вы блудный сын? — спросила она. — А Норман — старший?

— Нет, я не то имел в виду, — сказал Алан Нэдуэй. — Во-первых, не хочу преуменьшать великодушия Нормана. Во-вторых, не буду преувеличивать радость моего отца.

Она невольно улыбнулась, но, как образцовая секретарша, удержалась от замечания.

— Я хотел сказать вот что,— продолжал он. — Когда рассказываешь для наглядности простую историю, она всегда кажется неправдоподобной. Возьмем политическую экономию. Норман ею много занимался. Он, несомненно, читал учебники, которые начинаются так: «Представьте, что человек попал на необитаемый остров». Студентам и школьникам всегда кажется, что ничего этого быть не может. А ведь было!

Ей стало немного не по себе.

— Что было? — спросила она.

— Я попал на остров,— сказал Алан. — Вы не верите в такие притчи, потому что это звучит дико.

— Вы хотите сказать,— нетерпеливо перебила она, — что вы были на необитаемом острове?

— Да, и еще кое-что. В том-то и суть, что все шло как надо, пока я не попал на очень обитаемый остров. Начнем с того, что я жил несколько лет в довольно необитаемой части довольно обитаемого острова. На карте он называется Австралией. Я пытался обрабатывать землю, но мне зверски не везло, пришлось сняться с места и ехать в город. На мою удачу лошади пали в пути, и я остался один в пустыне. Шел я шел и ни о чем не думал, как вдруг увидел высокий сине-серый куст, выделявшийся из всех сине-серых кустов, и понял, что это дым. Есть хорошая поговорка: «Нет дыма без огня». Другая поговорка еще лучше: «Нет огня без человека». Короче, мне повстречался человек. В нем ничего особенного не было — вы бы нашли в нем сотни недостатков, если бы встретили в гостях. И все-таки он был колдун. Он мог то, чего не могут ни зверь, ни дерево, ни птица. Он дал мне супу и показал дорогу. Короче говоря, я добрался до порта и нанялся на маленькое судно. Капитан не отличался добротой, и мне было довольно трудно, но не тоска бросила меня за борт — меня просто смыло волной как-то ночью. Уже светало, меня заметили, кричали: «Человек за бортом!» — и четыре часа матросы во главе со свирепым капитаном пытались меня выудить. Это им не удалось. Подобрала меня лодка, вроде каноэ, а в ней сидел сумасшедший, который действительно жил на необитаемом острове. Он дал мне бренди и взял к себе, как будто так и надо. Он был странный человек — белый, то есть белокожий, но совсем одичавший. Носил он только очки и поклонялся старому зонтику. Однако он совсем не удивился, что я прошу его о помощи, и помогал мне как мог. Наконец мы увидели пароход. Я долго кричал, махал полотенцем, раскладывал костры. В конце концов пароход изменил курс и забрал нас. С нами обращались официально, сухо, но они не подумали пройти мимо — это был просто долг. И вот все время, особенно на этом пароходе, я пел про себя старую как мир песню: «На реках вавилонских». Я пел о том, что хорошо человеку дома

и нет ничего тяжелей изгнания. В порт Ливерпуль я вошел с тем самым чувством, с каким приезжаешь домой на рождественские каникулы. Я забыл, что у меня нет денег, и попросил кого-то одолжить мне немного. Тут же меня арестовали за попрошайничество, и с этой ночи в тюрьме началась моя преступная жизнь.

Надеюсь, вы поняли, в чем суть моей экономической притчи. Я побывал на краю света, среди отбросов общества. Я попал к последним подонкам, которые мало могли мне дать и не очень хотели давать. Я махал проходящим судам, обращался к незнакомым людям, и, конечно, они меня ругали от всего сердца. Но никто не увидел ничего странного в том, что я прошу помощи. Никто не считал меня преступником, когда я плыл к кораблю, чтоб не утонуть, или подходил к костру, чтоб не умереть. В этих диких морях и землях люди знали, что надо спасать утопающих и умирающих. Меня ни разу не наказывали за то, что я в беде, пока я не вернулся в цивилизованный мир. Меня не называли преступником за то, что я прошу сочувствия, пока я не пришел домой.

Ну вот. Если вы поняли притчу, вы знаете, почему новый блудный сын считает, что дома его ждали не тельцы, а свиньи. Дальше были в основном стычки с полицией и тому подобное. До моих наконец дошло, что надо бы меня приручить или пристроить. Неудобно в конце концов! Ведь такие, как вы или ваша тетка, уже в курсе дела. Во всяком случае, для части моих родственников это сыграло главную роль. В общем, мы условились сегодня встретиться и обсудить сообща, как сделать из меня приличного человека. Вряд ли они понимают, что на себя берут. Вряд ли они знают, что чувствуют такие, как я. А вам я это все рассказал, пока их нет, потому что я хочу, чтоб вы помнили: пока я был среди чужих, для меня оставалась надежда.

Они уже давно сидели на скамейке. Сейчас Миллисент встала — она увидела, что по траве идут трое в черном. Алан Нэдуэй остался сидеть, и его небрежная поза показалась особенно нарочитой, когда Миллисент поняла, что старый Нэдуэй идет вперед, хмурый, как туча на ясном небе.

— Вероятно, не стоит тебе говорить, — медленно и горько сказал Нэдуэй, — что ограблен еще один дом.

— Еще один? — удивленно сказал А л а н . — Кто же пострадал?

— Вчера, — сурово сказал отец, — миссис Маубри пошла к леди Крэйл, своей приятельнице. Естественно, она рассказала о том, что было ночью у нас, и узнала, что Крэйлов тоже ограбили.

— Что же у них взяли? — терпеливо, хотя и с любопытством, спросил Алан.

— Вора спугнули, — сказал о т е ц . — К несчастью, он кое-что обронил.

— К несчастью! — повторил Алан светским, удивленным тоном . — К чьему несчастью?

— К твоему, — ответил отец.

Повисло тягостное молчание. Наконец Джон Нэдуэй нарушил его, как всегда грубовато и добродушно:

— Вот что, Алан. Если ты хочешь, чтобы тебе помогли, брось эти штуки. Допустим, нас ты хотел разыграть, хотя напугал мисс Миллисент, а миссис Маубри довел до истерики. Но посуди, как мы можем тебя выгородить, если ты лезешь к нашим соседям и оставляешь там визитную карточку с нашим именем?

— Рассеянность все, рассеянность... — огорченно сказал Алан и встал, держа руки в карманах. — Не забывай, что я вор начинающий.

— Кончающий, — сказал отец. — Или ты это бросаешь, или отсидишь пять лет. Леди Крэйл может подать в суд и подаст, скажи я хоть слово. Я пришел, чтобы дать тебе еще один, тысяча первый шанс. Брось воровать, и я тебя пристрою.

— Мы с твоим отцом, — сказал Норман Нэдуэй, четко выговаривая слова, — не всегда сходимся во взглядах. Но сейчас он прав. Я очень тебе сочувствую, но одно дело — красть с голоду, и другое — голодать, чтобы только не жить честно.

— Вот именно! — пылко поддакнул брату положительный Джон. — Мы с удовольствием тебя признаем, если ты бросишь воровать. Или брат, или вор. Кто ты? Наш Алан, которому отец найдет работу, или чужой парень, которого мы должны выдать полиции? Или то, или это — третьего не дано.

Алан обвел взором дом и сад, и глаза его как-то жалобно остановились на Миллисент. Потом он снова сел на скамью и, уперев локти в колени, закрыл лицо руками, словно погрузился в молитву. Отец и братья напряженно смотрели на него.

Наконец он поднял голову, отбросил со лба черные пряди волос, и все увидели, что бледное лицо совершенно изменилось.

— Ну, — сказал отец уже не так сурово, — не будешь больше лазить в чужие дома?

Алан встал.

— Да, папа, — серьезно сказал он. — Я подумал и вижу теперь — вы правы. Не буду.

— Слава Богу, — сказал Норман, и его поставленный голос дрогнул в первый раз. — Не хочу читать нравоучений, но ты увидишь сам, как хорошо, когда не надо прятаться от близких.

— И вообще тяжелая это штука — кража со взломом, — сказал Джон, всегда стремившийся к общему согласию. — Черт знает что! Лезть в чужой дом, да еще не через дверь. Как будто надеваешь чужие брюки. Тебе же будет спокойней, что ни говори.

— Ты прав, — задумчиво сказал Алан. — Зачем усложнять себе жизнь? Раз узнавать где что лежит — да, тяжело... Начну-ка я все заново. Проще выгудить, как-то прямее... Говорят, карманы очищать очень выгодно.

Он мечтательно смотрел на пальцы, все остальные смотрели на него.

— Один мой приятель,— продолжал он,— очень хорошо устроился. Он обрабатывает жителей Ламбета, когда они выходят из метро или кино. Что говорить, они там победней, чем тут у вас, сейфов у них нет, зато их много. Просто удивительно, сколько можно за день собрать... Да, все говорят, что карманником быть доходней.

Они еще помолчали, потом Норман проговорил очень ровным голосом:

— Я очень хотел бы знать, шутка ли это. Я сам люблю юмор.

— Шутка...— рассеянно повторил Алан. — Шутка?.. Нет, что ты! Это деловой разговор. Отец мне не найдет такой хорошей работы.

— А ну, вон из моего дома! — заорал старый Нэдуэй. — Убирайся отсюда, пока я не вызвал полицию!

С этими словами он повернулся и пошел к дому. За ним направились Норман и Джон. Алан остался стоять у скамьи неподвижно, как статуя в саду.

Уже вечерело, стало тихо, и сад не казался таким ярким — деревья и цветы подернулись предвечерним туманом, поднимавшимся с лугов, все посерело, только блестящие точки звезд сверкали на светлом небе. Звезды сверкали все ярче, сумерки сгущались, но не двигались две статуи, забытые в саду. Наконец одна из них — женщина — быстро пошла по траве к другой — мужчине у скамейки. И тот увидел еще одну странность: ее лицо, обычно серьезное, было веселым и лукавым, как у эльфа.

— Ну вот, — сказала Миллисент. — Вы с этим покончили.

— Вы хотите сказать, что я покончил с надеждами на помощь? — спросил он. — У меня их и не было.

— Нет, я не то хочу сказать, — ответила она. — Вы перегнули палку.

— Какую палку? — спросил он все так же строго.

— Перелгали, если хотите, — улыбнулась она. — Переиграли. Я не знаю, что это все значит, но это неправда. Я могла поверить с грехом пополам, что вы взломщик и грабите богатых. Но вы сказали, что вы карманник и будете грабить бедных, которые выходят из кино, а я знаю, что это неправда. Этот мазок испортил всю картину.

— Так кто же я, по-вашему? — резко спросил он.

— Может, вы мне скажете? — просто сказала она.

Он напряженно молчал, потом произнес странным тоном:

— Я сделаю для вас все, что угодно.

— Всем известно, — сказала она, — что нас, женщин, губит любопытство.

Он снова закрыл глаза рукой, помолчал и глубоко вздохнул.

— Amor vincit omnia, — сказал он.

Потом он поднял голову, заговорил, и глаза его собеседницы сверкали все ярче и ярче, пока она слушала его под сверкающими звездами.

Питер Прайс, частный сыщик, не питал особой склонности к английским леди, столь милым сердцу и разуму Джеффри Чосера и Алана Нэдуэя. Английская леди подобна бриллианту или, быть может, цветку, меняющему цвет. Мистеру Прайсу нередко доводилось видеть ту грань, которая повернута к лакеям, бестактным кебменам, попутчикам, не вовремя открывшим окно, и прочим отъявленным врагам рода человеческого. Сейчас он понемногу приходил в себя после беседы с типичнейшей представительницей племени — некоей миссис Мильтон-Маубри, которая высоким, уверенным голосом без малого час порола чепуху.

Насколько он понял, говорила она примерно следующее: ограбили Нэдуэев, у которых она живет со своей племянницей, но ей ничего не сказали, чтобы она не обнаружила своих потерь. В том, что Нэдуэев ограбили, сомнений нет — визитную карточку Нэдуэя-младшего нашли в соседнем доме, который, кстати, тоже ограбили. Этот дом принадлежит леди Крэйл, и вор пошел туда от Нэдуэев, прихватив их вещи, а там в спешке обронил. Строго говоря, кое-что он обронил и у Нэдуэев — она видела у племянницы фермуар, которого раньше не было. Но племянница молчит; весь дом ее обманывает — не племянницу, конечно, а негодующую миссис Мильтон-Маубри.

— Рассеянный у нас вор, — сказал сыщик, глядя в потолок. — Как говорится, не из удачливых. Сперва он что-то у кого-то крадет и теряет у Нэдуэев. Потом он крадет у Нэдуэев и теряет к Крэйлов. Кстати, что он украл у леди Крэйл?

Сыщик был кругленький, лысый, а лицо у него странно морщилось, так что нельзя было понять, улыбается он или нет. Но его собеседнице и в голову бы не пришло, что он смеется над ней.

— Вот именно! — победоносно воскликнула она. — Мои слова! От меня абсолютно все скрывают. Они какие-то уклончивые... Даже леди Крэйл говорит: «Наверное, что-нибудь украли. Иначе зачем ему скрываться?» А Нэдуэи просто молчат. Сколько раз я им повторяла: «Не щадите меня, я выдержу». В конце концов имею же я право узнать, обокрали меня или нет!

— Может быть, им будет легче, — сказал сыщик, — если вы сами подскажите, что у вас украли? Удивительно странное дело! Никак не могу выяснить, кто чего лишился. Допустим, было две кражи. Допустим, что их совершил один и тот же человек. Мы называем его грабителем, потому что он оставляет у потерпевших незнакомые им вещи. Ни одна из этих вещей, насколько мне известно, не принадлежит тем, кого он посетил, — вам, например.

— Откуда мне знать? — сказала леди и недоуменно повела рукой. — Никто мне не скажет. От меня все...

— Простите,— сказал мистер Прайс, на этот раз твердо. — Кому же знать, как не вам? Украли у вас что-нибудь? Украли что-нибудь у вашей соседки?

— Разве она заметит? — с внезапной желчностью сказала миссис Маубри. — При ее рассеянности...

— Та-ак...— задумчиво кивнул сыщик. — Леди Крэйл не способна заметить, обокрали ее или нет. Насколько я понял, вы тоже.

И раньше, чем до нее дошло, как ее оскорбили, прибавил:

— А мне говорили, что она умная женщина, общественный деятель и прочее.

— Ах, Господи, конечно, она умеет устраивать всякие митинги! — поморщилась викторианка. — Возьмите, например, ее лигу «Долой табак» или эту дискуссию о том, что считать наркотиком, а что лекарством. Но у себя дома она абсолютно ничего не замечает.

— А мужа она замечает? — поинтересовался Прайс. — Кажется, в свое время он слыл интересным собеседником. Говорят, он сильно пострадал на одном займе... Да и жене, конечно, не платят за борьбу с табаком. Следовательно, они люди бедные, хоть и древнего рода. Как же они не заметили, все ли у них цело?

Он помолчал, подумал и вдруг сказал резким, как выстрел, тоном:

— Что именно они нашли, когда взломщик исчез?

— Кажется, только сигары,— отвечала миссис Маубри. — Очень много сигар. Там была карточка Нэдуэя, вот мы и решились...

— Да, да,— сказал Прайс. — Что же этот вор еще украл у Нэдуэя? Надеюсь, вы понимаете, что я не смогу помочь вам, если мы оба не будем откровенны. Ваша племянница — секретарь мистера Нэдуэя-старшего. Смею предположить, что она пошла на это, потому что ей надо зарабатывать.

— Я была против,— сказала миссис Маубри. — Служить у таких людей! Но чего вы хотите? Эти социалисты нас абсолютно обобрали.

— Конечно, конечно, — согласился сыщик, рассеянно кивая, и снова уставился в потолок, словно унесся мыслью за тысячи миль. Наконец он сказал: — Когда мы смотрим на картину, мы не думаем о конкретных, знакомых людях. Попробуем и сейчас представить себе, что говорим о чужих. Одна девушка выросла в роскоши и привыкла к красивым вещам. Потом ей пришлось жить скучно и просто — выхода у нее не было. Ей платит жалованье черствый старик, и ей не на что надеяться. А вот еще один сюжет. Светский человек привык жить широко, а живет более чем скромно. Он обеднел, да и жена-пуританка не терпит невинных радостей, особенно табака. Вам это ни о чем не говорит?

— Нет, — сказала миссис Маубри и встала, шурша платьем. — Все это в высшей степени странно. Не понимаю, что вы имеете в виду.

— Да, непрактичный этот вор... — сказал сыщик. — Если бы он знал, на что идет, он бы обронил два фермуара.

Миссис Мильтон-Маубри отряхнула со своих ног прах и пыль конторы и отправилась за утешением в другие места. А мистер Прайс подошел к телефону, улыбаясь так, словно он скрывал улыбку от самого себя, позвонил другу в Скотланд-Ярд и долго, обстоятельно говорил с ним о карманных кражах, которые участились с недавних пор в беднейших кварталах Лондона. Как ни странно, повесив трубку, мистер Прайс записал новые сведения на том же листке, на котором он делал заметки во время беседы с миссис Маубри.

Потом он снова откинулся в кресле и уставился в потолок. В эти минуты он был похож на Наполеона. Что ни говори, Наполеон тоже был невысок, а в пожилые годы тучен; вполне можно допустить, что и Прайс стоял больше, чем казалось с виду.

Сыщик ждал еще одного посетителя. Оба посещения были тесно связаны, хотя миссис Маубри сильно бы удивилась, если бы встретила здесь хорошо знакомого ей младшего партнера фирмы «Нэдуэй и сын».

Дело в том, что Алан Нэдуэй не действовал больше тайно, как тать в ночи. Он намеренно выдал себя — еще откровенней, чем в тот раз, когда оставил карточку у Крэйлов. Если ему суждено попасть в тюрьму и в газеты, заявил преступник, он будет фигурировать там под собственным именем. В письме к брату он серьезно сообщал, что не видит в карманных кражах ничего дурного, но совесть (быть может, слишком чувствительная) не позволит ему обмануть доверчивого полисмена. Трижды пытался он назваться Ногглуопом, и всякий раз голос у него срывался от смущения.

Гром разразился дня через три после этого письма. Имя Нэдуэев снова замелькало в шапках всех вечерних газет, но контекст был совсем не тот, что обычно. Алан Нэдуэй, старший сын сэра Джекоба Нэдуэя (так звали к тому дню его отца), привлёкся к суду по обвинению в воровстве, которым он прилежно и успешно занимался несколько недель.

Дело осложнилось тем, что вор не только цинично и безжалостно обирал бедняков, но выбрал к тому же тот самый квартал, где его брат, почтенный Норман Нэдуэй, подвизался с недавних пор в качестве приходского священника и неустанно творил добро, снискав заслуженную любовь прихожан.

— Просто не верится! — сокрушенно и веско сказал Джон Нэдуэй. — Неужели человек способен на такую гнусность?

— Да, — немного сонно откликнулся Питер Прайс, — просто не верится.

Не вынимая рук из карманов, он встал, посмотрел в окно и прибавил:

— Да, лучше не скажешь! Вот именно: «просто не верится».

— И все же это правда, — сказал Джон и тяжело вздохнул.

Питер Прайс не отвечал так долго, что Джон вскочил на ноги.

— Что с вами, черт побери? — крикнул он. — Разве это не правда?

Сыщик кивнул.

— Когда вы говорите «это правда», я с вами согласен. Но если вы спросите, что именно правда, я отвечу: «Не знаю». Я только догадываюсь, в самых общих чертах.

Он снова помолчал, потом сказал резко:

— Вот что. Не хотел бы заранее возбуждать ни надежд, ни сомнений, но, если вы разрешите мне повидаться с теми, кто готовит дело, я, кажется, кое что им подскажу.

Джон Нэдуэй медленно вышел из конторы. Он был сильно озадачен и не опомнился до вечера, то есть до самого отчего дома. Машину он вел как всегда умело, но лицо его против обыкновения было мрачным и растерянным. Все так запуталось и осложнилось, словно его загнали на самый край пропасти, а это нечасто бывает с людьми его склада. Он охотно сознался бы со всем простодушием, что он не мыслитель и ничего не видит странного, если человек не задумался ни разу в жизни. Но сейчас все стало непонятным, вплоть до этого деловитого коренастого сыщика. Даже темные деревья перед загородным домом изогнулись вопросительными знаками. Единственное окно, светившееся на темной глыбе дома, напоминало любопытный глаз. Джон слишком хорошо знал, что позор и беда нависли над их семьей, как грозовая туча. Именно эту беду он всегда пытался предотвратить; а сейчас, когда она пришла, он даже не мог назвать ее незаслуженной.

На темной веранде, в полной тишине он наткнулся на Миллисент. Она сидела в плетеном кресле и смотрела в темнеющий сад. Ее лицо было самой непонятной из всех загадок этого дома — оно сияло счастьем.

Когда она поняла, что сумрак сада заслонила черная фигура дельца, ее глаза затуманились — не печально, а растроганно. Она пожалела этого сильного, удачливого, несчастного человека, как жалеют немых и слепых; но она никак не могла понять, почему ее сердце и дрогнуло, и очерствело, пока не вспомнила, как чуть не влюбилась когда-то в этом самом саду. Однако она не знала, почему так сильно, почти мучительно радуется, что не влюбилась и никогда, ни за что не сможет влюбиться в такого. В какого же? Ведь он добродушный, а говорить правду для него так же естественно, как чистить зубы. Но влюбиться в него не лучше, чем в двухмерное, плоское существо. А в ней самой, чувствовала она, открылись новые измерения. Она еще не заглянула в них, еще не знала, что у нее есть; зато она знала, чего нет: любви к Джону Нэдуэю. И потому она пожалела его, бесстрастно, словно брата.

— Мне так жаль! — сказала она. — Вам сейчас очень трудно. Наверное, вам кажется, что это страшный позор.

— Благодарю вас, — растроганно сказал он. — Да, нам нелегко. Спасибо на добром слове.

— Я знаю, какой вы хороший, — сказала она. — Вы всегда старались избежать дурных слухов. А это, наверное, кажется вам страшным позором.

Он был тугодум, но и его удивило, что она второй раз говорит «кажется».

— Боюсь, мне не только кажется, — сказал он. — Карманник Нэдуэй! Да, хуже не придумаешь!

— Вот-вот, — сказала она, как-то непонятно кивая. — Через плохое, но вероятное, приходишь к невероятно хорошему.

— Я не совсем понимаю, — сказал Нэдуэй-младший.

— Можно прийти к самому лучшему через самое худшее, — сказала она. — Ну, как на запад через восток. Ведь там, на другой стороне мира, действительно есть место, где запад и восток — одно. Неужели не понимаете? Предельно хорошие вещи непременно кажутся плохими.

Он тупо смотрел на нее, а она продолжала, словно думала вслух:

— Ослепительный свет отпечатывается в глазу, как черное пятно.

Нэдуэй-младший пошел дальше тяжелой походкой. К его несчастьям прибавилось еще одно: Миллисент сошла с ума.

ВОР ПЕРЕД СУДОМ

Дело Алана Нэдуэя вызвало гораздо больше хлопот и проволочек, чем обычное разбирательство карманных краж. Поначалу ходили слухи — по-видимому, из надежных источников, — что обвиняемый признает себя виновным. Потом засуетились те слои общества, к которым он когда-то принадлежал, и ему разрешили свидания с родными. Но только тогда, когда отец обвиняемого, престарелый сэр Джекоб Нэдуэй, стал посылать в тюрьму для переговоров личного секретаря, выяснилось, что обвиняемый собирается сказать: «Не виновен». Затем пошли разговоры о том, какого он выберет защитника. Наконец стало известным, что он поведет защиту сам.

Следствие велось формально. Только в суде, перед лицом судьи и присяжных, предъявили развернутое обвинение. Тон задал прокурор — он начал речь сокрушенно и сурово.

— Подсудимый, — сказал он, — как это ни прискорбно, является членом весьма уважаемой семьи и запятнал своим преступлением щит знатного, благородного и добродетельного рода. Всем известно, какие преобразования навсегда прославили имя его брата, мистера Джона Нэдуэя. Даже те, кто не признает

обрядов и не подчиняет интеллект догме, уважают другого брата, преподобного Нормана Нэдуэя, за его общественное рвение и активную благотворительность. Но английский закон не знает лицеприятия и карает преступление в любых, самых высоких слоях общества. Несчастный Алан Нэдуэй всегда был неудачником и тяжким бременем для своей семьи. Его подозревали, и не без оснований, в попытке совершить кражу со взломом в доме своего отца и у близких друзей.

Тут вмешался судья.

— Это к делу не относится,— заявил о н . — В обвинительном материале нет упоминаний о краже со взломом.

Подсудимый весело откликнулся:

— Да ладно, милорд!

Но никто в его слова не вникал — до того ли, когда нарушена процедура! И прокурор долго препирался с судьей, пока наконец не извинился.

— Во всяком случае,— закончил о н , — в карманной краже сомневаться не приходится, — и посулил представить свидетелей.

Вызвали констебля Бриндла. Он дал показания на одной ноте, словно все, что он говорил, было одной фразой, более того — одним словом.

— Согласно донесению я пошел за обвиняемым от дома преподобного Нормана Нэдуэя до кино «Гиперион» на расстоянии двухсот шагов и видел, как обвиняемый сунул руку в карман человека, который стоял под фонарем, и я сказал, чтобы тот человек проверил свои карманы, и опять пошел за обвиняемым, который смешался с толпой, а один, который выходил из кино, повернулся к обвиняемому и хотел его бить, а я подошел и сказал: вы что, обвиняете этого человека, а он сказал: да, а обвиняемый сказал: а я обвиняю его, что он на меня напал, и, пока я с тем говорил, обвиняемый отошел и сунул руку в карман одному в очереди. Тогда я сказал, чтобы тот проверил карманы, и задержал обвиняемого.

— Желаете ли вы подвергнуть свидетеля допросу? — спросил судья.

— Я уверен,— сказал подсудимый, — что вы, милорд, не поставите мне в вину незнание процедуры. Могу ли я спросить сейчас, вызовет ли обвинение тех троих, которых я, по слухам, обокрал?

— Я вправе сообщить,— сказал прокурор, — что мы вызываем Гарри Гэмбла, служащего в букмекерской конторе, который, по словам Бриндла, угрожал подсудимому побоями, а также Изидора Грина, учителя музыки, последнего из пострадавших.

— А что же с первым? — спросил подсудимый. — Почему его не вызвали?

— Понимаете, милорд,— сказал прокурор с у д ь е , — полиции не удалось установить его имени и адреса.

— Могу ли я спросить,— сказал Алан Нэдуэй, — как же так получилось?

— Ну, — сказал полисмен, — отвернулся я, а он убежал.

— Как так? — спросил подсудимый. — Вы говорите человеку, что его обворовали, и обещаете вернуть деньги, а он бежит, как вор?

— Я и сам не понимаю, — сказал полисмен.

— С вашего разрешения, милорд, — сказал подсудимый, — я спрошу еще об одном. Свидетелей двое, но только один из них предъявляет иск. С другим что-то неясно. Верно, констебль?

Несмотря на невыносимую нудность роли, в которой он сейчас выступал, полисмен был человеком и умел смеяться.

— Именно что неясно, — робко усмехнулся он. — Он из этих, музыкантов, так что деньги считать не умеет. Я ему говорю: «Сколько у вас украли?», а он считал, считал, и все выходило по-разному. То два шиллинга шесть пенсов, то три шиллинга четыре пенсы, а то и все четыре шиллинга. Так что мы решили, что он большой раззява.

— В высшей степени странно, — сказал судья. — Насколько мне известно, свидетель Грин сам даст показания. Надо вызвать его и Гэмбла.

Мистер Гарри Гэмбл, в очень пестром галстуке, сиял сдержанной приветливостью, отличающей тех, кто и в пивной не теряет уважения к себе. Однако он был не чужд горячности и не отрицал, что впел как следует этому типу, когда тот залез ему в карман. Отвечая суду, он рассказал в общих чертах то же самое, что и полисмен, и признал, что сразу после происшествия действительно отправился в «Свинью и Свисток».

Прокурор вскочил и спросил в негодовании, что это обозначает.

— Мне кажется, — строго сказал судья, — подсудимый хочет доказать, что свидетель не знал точно, сколько у него украли.

— Да, — сказал Алан Нэдуэй, и его глубокий голос прозвучал неожиданно серьезно. — Я хочу доказать, что свидетель не знает, сколько у него украли.

И, обернувшись к свидетелю, спросил:

— Вы угощали народ в «Свинье и Свистке»?

— Милорд, — вмешался прокурор, — я протестую. Подсудимый оскорбляет свидетеля.

— Оскорбляю? Да я ему лыщу! — весело откликнулся Нэдуэй. — Я его хвалю, воспеваю! Я предположил, что ему присуща древняя доблесть гостеприимства. Если я скажу, что вы дали банкет, разве я оскорблю вас? Если я угощу шесть стряпчих хорошим завтраком, разве я их обижу? Неужели вы стыдитесь своей щедрости, мистер Гэмбл? Неужели вы трясетесь над деньгами и не любите людей?

— Ну, что вы, сэр! — отвечал слегка растерянный свидетель. — Нет, сэр, что вы! — прибавил он твердо.

— Я думаю, — продолжал подсудимый, — что вы любите своих ближних, особенно собутыльников. Вы всегда рады их угостить и угощаете, когда можете.

— Не без этого, с э р , — отвечал добродетельный Гэмбл.

— Конечно, вы редко это делаете, — продолжал А л а н . — Вы не всегда можете. Почему вы угостили их в тот день?

— Как вам сказать, — снова растерялся свидетель. — Деньги, наверное, были.

— Вас же обокрали! — сказал Нэдуэй. — Спасибо, это все, что я хотел узнать.

Мистер Ииздор Грин, учитель музыки, длинноволосый человек в выцветшем бутылочно-зеленом пальто, был, по меткому выражению полицейского, истинным раззявой. На вступительные вопросы он ответил сравнительно гладко и сообщил, что почувствовал тогда что-то в кармане. Но когда Нэдуэй — очень мягко и приветливо — стал допрашивать его, он заметался в страхе. По его словам, он высчитал наконец (при помощи своих друзей, более способных к математике), что у него было после кражи три шиллинга семь пенсов. Однако эти сведения не принесли пользы, так как он абсолютно не мог предстать, сколько было у него раньше.

— Я занят творчеством, — сказал он не без гордости. — Может быть, жена знает.

— Прекрасная мысль, мистер Г р и н , — обрадовался Нэдуэй . — Я как раз вызвал вашу жену свидетелем защиты.

Все ахнули, но подсудимый, несомненно, не ш у т и л , — учтиво и серьезно он приступил к допросу свидетельниц защиты, которые приходились женами свидетелям обвинения.

Показания жены скрипача были просты и ясны во всем, кроме одного. Сама она оказалась миловидной и толстой, вроде кухарки из богатого д о м а , — вероятно, именно такая женщина могла присматривать как следует за неспособным к математике Грином. Приятным, уверенным голосом она сказала, что знает все про мужнины деньги, если они есть. А в тот день у него было два шиллинга восемь пенсов.

— Миссис Грин, — сказал А л а н . — Ваш муж пересчитал их после кражи с помощью своих друзей-математиков и обнаружил три шиллинга семь пенсов.

— Он у меня г е н и й , — гордо сказала она.

Миссис Гэмбл невыгодно отличалась от миссис Грин. Такие длинные, унылые лица и поджатые губы нередко бывают у тех, чьи мужья посещают «Свинью и Свисток». На вопрос Нэдуэя, запомнился ли ей тот день, она хмуро ответила:

— Как не запомнить! Жалованья ему прибавили, только он не сказал.

— Насколько мне известно, — спросил Нэдуэй , — он угощал в тот день своих друзей?

— Угощал! — взревела свидетельница. — Угощал, еще чего! Даром, наверное, пили. Напился как пес, а платить-то не стал.

— Почему вы так думаете? — спросил Нэдуэй.

— А потому, что всю получку домой принес, и еще с добавкой. Прибавили, значит.

— Все это очень странно, — сказал судья и откинулся в кресле.

— Я могу объяснить, — сказал Алан Нэдуэй, — если вы разрешите мне, милорд.

Ему, конечно, разрешили. Алан принес присягу и спокойно смотрел на прокурора.

— Признаете ли вы, — спросил прокурор, — что полисмен задержал вас, когда вы лезли в карман к этим людям?

— Да, — сказал Алан Нэдуэй. — Признаю.

— Странно, — сказал прокурор. — Насколько мне помнится, вы сказали: «Не виновен».

— Да, — грустно согласился Нэдуэй. — Сказал.

— Что же это значит? — вскричал судья.

— Милорд, — сказал Алан Нэдуэй, — я могу объяснить вам. Только тут, в суде, никак не скажешь просто — все надо, как говорится, доказывать. Да, я лез им в карманы. Только я не брал деньги, а клал.

— Господи, зачем вы это делали? — спросил судья.

— А! — сказал Нэдуэй. — Это объяснить долго, да и не место здесь.

Однако в своей защитной речи подсудимый многое объяснил. Он разрешил, например, первую загадку: почему исчез один потерпевший? Безмянный экономист оказался хитрее кутилы Гэмбла и гения Грина. Обнаружив лишние деньги, он вспомнил, что такое полиция, и усомнился, разрешат ли ему их сохранить. Тогда он благоразумно исчез, словно колдун или фея. Мистер Гэмбл, находившийся в приятном, располагающем к добру состоянии, увидел не без удивленья, что неразмненные деньги текут из его карманов, и, к величайшей своей чести, потратил их в основном на своих друзей. Однако и после этого у него осталось больше, чем он получал в неделю, что и вызвало темные подозрения жены. Наконец, как это ни странно, мистер Грин, при помощи друзей, сосчитал свои деньги. На взгляд его жены их оказалось многовато — просто потому, что он разбогател с той поры, как она, застегнув его и почистив, выпустила утром в мир. Короче говоря, факты подтверждали поразительное признание: Алан Нэдуэй клал деньги в карманы, а не воровал.

Все растерянно молчали. Судье оставалось одно: предложить присяжным вынести оправдательный приговор, что они и сделали. И мистер Алан Нэдуэй, благополучно ускользнув от прессы и семьи, поскорее выбрался из суда. Он увидел в толпе двух остроносых субъектов в очках, в высшей степени похожих на психиатров.

ИМЯ ОЧИЩЕЮ

Суд над Аланом Нэдуэем и оправдательный приговор были только эпилогом драмы или, как сказал бы он сам, фарсом в конце сказки. Но настоящий эпилог, или апофеоз, был разыгран

на зеленых подмостках нэдуэевского сада. Как ни странно, Миллисент всегда казалось, что этот сад похож на декорацию. Он был и чопорным, и причудливым; и все же Миллисент чувствовала, что в нем есть какая-то почти оперная, но, несомненно, истинная прелесть. Здесь сохранилась частица той неподдельной страсти, которая жила в сердцах викторианцев под покровом их сдержанности. Здесь еще не совсем выветрился невинный, неверный и начисто лишенный цинизма дух романтической школы. У человека, который сейчас стоял перед Миллисент, была старинная или иностранная борода; что-то, чего не выразишь словами, делало его похожим на Шопена или Мюссе. Миллисент не знала, в какой узор складываются ее смутные мысли, но чувствовала, что современным его не назовешь.

Она только сказала:

— Не надо молчать, это несправедливо. Несправедливо по отношению к вам.

Он ответил:

— Наверное, вы скажете, что все это очень странно...

— Я не сержусь, когда вы говорите загадками, — не сдавалась Миллисент, — но поймите, это несправедливо и по отношению ко мне.

Он помолчал, потом ответил тихо:

— Да, на этом я и попался. Это меня и сломило. Я встретил на пути то, что не входило в мои планы. Что ж, придется вам все рассказать.

Она несмело улыбнулась.

— Я думала, вы уже рассказали.

— Рассказал, — ответил А л а н . — Все, кроме главного.

— Ну, — сказала Миллисент, — я бы охотно послушала полный вариант.

— Понимаете, — сказал о н , — главного не опишешь. Слова уводят от правды, когда говоришь о таких вещах.

Он снова помолчал, потом заговорил медленно, словно подыскивая новые слова:

— Когда я тонул там, в океане, у меня, кажется, было видение. Меня вынесло в третий раз, и я кое-что увидел. Должно быть, это и есть вера.

Английская леди инстинктивно сжалась и даже как-то внутренне поморщилась. Те, кто, явившись с края света, говорят, что обрели веру, почти всегда имеют в виду, что побывали где-нибудь на сборище сектантов, — а это удивительно не подходило к умному, ученому Алану. Это ничуть не было похоже на Альфреда Мюссе.

Острым взглядом мистика он увидел, о чем она думает, и весело сказал:

— Нет, я не встретил баптиста-миссионера! Миссионеры бывают двух видов: умные и глупые. И те, и другие глупы. Во всяком случае, ни те, ни другие не понимают того, что я понял.

Глупый миссионер говорит, что дикари отправятся в ад за идолопоклонство, если не станут трезвенниками и не наденут шляп. Умный миссионер говорит, что дикари даровиты и нередко чисты сердцем. Это правда, но ведь не в этом суть! Миссионеры не видят, что у дикарей очень часто есть вера, а у наших высоко- нравственных людей никакой веры нет. Они бы взвыли от ужаса, если бы на миг ее узрели. Вера — страшная штука.

— Я кое-что о ней узнал от того сумасшедшего. Вы уже слышали, что он совсем свихнулся и совсем одичал. Но у него можно было научиться тому, чему не научат этические общества и популярные проповедники. Он спасся, потому что вцепился в допотопный зонтик с ручкой. Когда он хоть немного опомнился, он вообразил, что этот зонтик — божество, воткнул его в землю, поклонялся ему, приносил ему жертвы. Вот оно, главное! Жертвы. Когда он был голоден, он сжигал перед зонтом немного пищи. Когда ему хотелось пить, он выливал немного пива, которое сам варил. Наверное, он мог и меня принести зонту в жертву. Что там — он принес бы в жертву себя! Нет, — еще медленней и задумчивей продолжал А л а н , — я не хочу сказать, что людоеды правы. Они не правы, совсем не правы — ведь люди не хотят, чтобы их ели. Но если я захочу стать жертвой, кто меня остановит? Никто. Может, я хочу пострадать несправедливо. Тот, кто это мне запретит, будет несправедливей всех.

— Вы говорите не очень связно, — сказала Миллисент, — но я, кажется, понимаю. Надеюсь, вы не зонтик увидели, когда тонули?

— Что ж, по-вашему, — спросил о н , — я увидел ангелочков с арфами из семейной Библии? Я увидел — то есть глазами увидел — Джекоба Нэдуэя во главе стола. Вероятно, это был банкет или совещание директоров. Все они, кажется, пили шампанское за его здоровье, а он серьезно улыбался и держал бокал с водой. Он ведь не пьет. О, Господи!

— Д а , — сказала Миллисент, и улыбка медленно вернулась на ее л и ц о . — Это непохоже на ангелочков с арфами.

— А я, — продолжал А л а н , — болтался на воде, как обрывок водоросли, и должен был пойти ко дну.

К большому ее удивлению, он легкомысленно рассмеялся.

— Вы думаете, я им завидовал? — крикнул о н . — Хорошенькое начало для веры! Нет, совсем не то. Я глянул вниз с гребня волны и увидел отца ясным и страшным взглядом жалости. И я взмолился, чтобы моя бесславная смерть спасла его из этого ада.

Люди спивались, мерли от голода и отчаяния в тюрьмах, богадельнях, сумасшедших домах, потому что его гнусное дело разорило тысячи во имя свое. Страшный грабеж, страшная власть, страшная победа. А страшнее всего было то, что я любил отца.

Он заботился обо мне, когда я был много моложе, а он — беднее и проще. Позже, подростком, я поклонялся его успеху.

Яркие рекламы стали для меня тем, чем бывают для других детей книжки с картинками. Это была сказка; но увы! — в такую сказку долго верить нельзя. Так уж оно вышло: любил я сильно, а знал много. Надо любить, как я, и ненавидеть, как я, чтобы увидеть хоть отблеск того, что зовут верой и жертвой.

— Но ведь сейчас, — сказала Миллисент, — все стало гораздо лучше.

— Да, — сказал он, — все стало лучше, и это хуже всего.

Он помолчал, потом начал снова, проще и тише:

— Джек и Норман — хорошие ребята, очень хорошие. Они сделали все, что могли. Что ж они сделали? Они замазали зло. Многое надо забыть, не упоминать в разговоре — нужно считать, что все стало лучше, милосердней. В конце концов, это старая история. Но что тут общего с тем, что есть, с реальным миром? Никто не просил прощения. Никто не раскаялся. Никто ничего не искупил. И вот тогда, на гребне волны, я взмолился, чтобы мне дали покаяться — ну, утонуть хотя бы... Неужели вы не поняли? Все были неправы, весь мир, а ложь моего отца красовалась как лавровый куст. Разве такое искупишь респектабельностью? Тут нужна жертва, нужна мука. Кто-то должен стать нестерпимо хорошим, чтобы уравновесить такое зло. Кто-то должен стать бесполезно хорошим, чтобы дрогнула чаша весов. Отец жесток — и приобрел уважение. Кто-то должен быть добрым и не получить ничего. Неужели и сейчас непонятно?

— Начинаю понимать, — сказала она. — Трудно поверить, что может быть такой человек, как вы.

— Тогда я поклялся, — сказал Алан, — что меня назовут всем, чем не называли его. Меня назовут вором, потому что он вор. Меня обольют презрением, осудят, отправят в тюрьму. Я стану его преемником. Завершу его дело.

Последние слова он произнес так громко, что Миллисент, сидевшая тихо, как статуя, вздрогнула и рванулась к нему.

— Вы самый лучший, самый немислимый человек на свете! — крикнула она. — Господи! Сделать такую глупость!

Он твердо и резко сжал ее руки и ответил:

— А вы — самая лучшая и немислимая женщина. Вы оставили меня.

— Ужасно! — сказала она. — Страшно подумать, что ты излечила человека от такого прекрасного безумия. Может, все-таки я не права? Но ведь дальше идти было некуда, вы же сами видите!

Он серьезно кивнул, глядя в ее глаза, которые никто не назвал бы сейчас ни сонными, ни гордыми.

— Ну вот, теперь вы знаете все изнутри, — сказал он. — Сперва я стал Дедом Морозом — влезал в дом и оставлял подарки в шкафах или в сейфах. Мне было жаль старого Крэйла — ведь эта интеллектуальная идиотка не даст ему курить, — и я подбросил ему сигар. Правда, кажется, вышло только хуже. И вас я пожалел. Я пожалел бы всякого, кто нанялся в нашу семью.

Она засмеялась.

— И вы мне подбросили в утешение серебряную цепь с застежкой.

— На этот раз,— сказал он , — цепь сомкнулась и держит крепко.

— Она немножко поцарапала мою т е т ю , — сказала Миллисент . — И вообще причинила немало хлопот. А с этими бедными... Мне как-то кажется, что вы им тоже причинили немало неприятностей.

— У бедных всегда неприятности,— мрачно сказал он . — Они все, как говорится, на заметке. Помните, я вам рассказывал, что у нас не разрешают просить? Вот я и стал помогать им без спроса. Писал под чужим именем и помогал. А вообще вы правы — долго так тянуться не могло. Когда я это понял, я понял еще одно — о людях и об истории. Те, кто хочет исправить наш злой мир, искупить его грехи, не могут действовать как попало. Тут нужна дисциплина, нужно правило.

— Алан,— сказала она , — вы опять меня пугаете. Как будто вы сами из них: странный, одинокий...

Он понял и покачал головой.

— Нет,— сказал он . — Я разобрался и в себе. Многие ошибаются так в молодости. А на самом деле не все такие. Одни такие, другие нет. Вот и я не такой. Помните, как мы встретились и говорили о Чосере и о девизе: «Amor vincit omnia».

И, не выпуская ее руки, глядя ей в глаза, он повторил слова Тезея о великом таинстве брака, просто, будто это не стихи, а продолжение беседы. Так я их и запишу, на горе комментаторам Чосера:

— «Великий Перводвигатель небесный, создав впервые цепь любви прелестной с высокой целью, с действием благим, причину знал и смысл делам своим: любви прелестной цепью он сковал твердь, воздух, и огонь, и моря вал, чтобы вовек не разошлись они» ...

Тут он быстро склонился к Миллисент, и она поняла, почему ей всегда казалось, что сад хранит тайну и ждет чуда.

¹ Перевод И. Кашкина.

Из сборника «Скандалное происшествие с отцом Брауном»

ПРЕСТУПЛЕНИЕ КОММУНИСТА

Из-под хмурой тюдоровой арки умудренного Мандевильского колледжа на яркий свет бесконечно долгого летнего вечера вышли трое и остановились среди белого дня, точно громом пораженные. То, что они увидели, потрясло их необычайно.

Надвигающейся катастрофы они не почувствовали; но им бросилось в глаза одно разительное противоречие. Сами они ненавязчиво гармонировали с окружением. Тюдоровы арки, обещающие университетские сады монастырской стеной, были возведены четыре столетия назад, когда готика низверглась с небес и низко склонилась, едва ли не сжалась перед уютными вместилищами гуманизма и Возрождения; эти же трое одеты были по моде (иными словами — так, что уродству их одеяний подивилось бы любое из четырех столетий), но все же что-то объединяло их с духом этого места. Сады были разбиты столь искусно, что казались естественными; цветы излучали нечаянную прелесть, словно прекрасные сорняки; а современный костюм был хорош хотя бы своей небрежностью. Первый из трех, высокий, лысый, бородатый, слыл человеком известным в квадратных двориках университета. На нем была мантия и докторская шапочка; мантия то и дело соскальзывала с узких плеч. Второй был невероятно широкоплеч, невысок и крепко сбит. На нем была обычная куртка; он жизнерадостно улыбался, а мантию перекинул через руку. Третий, в черной священнической рясе, был и ростом ниже, и одет попроще. Но все они превосходно смотрелись на фоне Мандевильского колледжа и вполне соответствовали непередаваемой атмосфере одного из старейших университетов Англии. Они так прекрасно отвечали его духу, что казались незаметными; а это здесь любят больше всего.

Два человека, сидевших в садовых креслах за столиком, выделялись черным пятном на серо-зеленом фоне. Одеты они были только в черное и все же сверкали от шелковых цилиндров до лакированных ботинок. Здесь, в тщательно выпестованной

свободе Мандевильского колледжа, было почти неприлично одеваться так хорошо. Спасало их только одно — они были иностранцы. Первый, американский миллионер по имени Хейк, отличался тем безукоризненным, истинно джентльменским блеском, который ведом лишь богачам Нью-Йорка. Другой, чьи грехи отягчались еще и каракулевой накидкой (не говоря уж о рыжих бакенбардах), был очень богатым немецким графом, и самая краткая часть его фамилии звучала так: фон Циммерн. Однако тайна этой истории — не в том, как появились в колледже эти джентльмены. Они появились здесь по причине, легко совмещающей несовместимое: решили дать колледжу денег. Выполняя то, что поддержали финансисты и магнаты разных стран, они собирались создать кафедру экономики и осмотрели колледж с той неутомимой и добросовестной любознательностью, на которую из всех сынов Адамовых способны лишь немцы и американцы. Теперь они отдыхали от своих трудов, торжественно взирая на сады колледжа. Пока все шло хорошо.

Трое других уже виделись сегодня с ними и, слегка кивнув, проследовали далее. Но один из них — коротышка в черной рясе — остановился.

— Знаете, — проговорил он робко, словно к р о л и к , — мне что-то не нравится их вид.

— Боже правый! Да кому он понравится? — воскликнул высокий, оказавшийся Магистром, главой Мандевильского колледжа. — В конце концов у нас найдется несколько состоятельных людей, которые не наряжаются, как манекены.

— Вот, — тихо сказал маленький священник. — Вот именно. Как манекены.

— О чем это вы? — резко спросил средний.

— Они похожи на страшных восковых к у к о л , — едва проговорил священник. — Понимаете, они не шевелятся. Почему они не шевелятся?

Внезапно стряхнув замешательство, он бросился через сад и тронул за локоть немецкого барона. Немецкий барон как сидел, так и свалился. Ноги в черных брюках торчали, словно ножки кресла.

Мистер Гидеон Р. Хейк обозревал сады колледжа стеклянным взором; он и впрямь был похож на восковую куклу, а у них ведь стеклянные глаза. Как бы то ни было, в ярком вечернем свете, на фоне пестрого сада он и впрямь казался шегольски одетой куклой, марионеткой из итальянского театра.

Коротышка в черном — священник по имени Браун — на всякий случай тронул миллионера за плечо. Миллионер свалился не меняя позы, будто он весь был вырезан из цельного куска дерева.

— Rigor montis¹, — произнес отец Браун. — И так быстро... Это уже серьезно.

¹ Оцепенение смерти (лат.).

Причина, по которой первые трое увидели двух других столь поздно (если не слишком поздно), прояснится, когда мы расскажем, что же произошло в здании, по ту сторону тюдоровой арки перед тем, как все они вышли в сад. Они обедали вместе за главным столом профессорской столовой; но иностранные филантропы, рабы своего ревизорского долга, важно удалились в часовню осматривать очередную галерею и очередную лестницу и пообещали присоединиться к остальным в саду, чтобы так же скрупулезно исследовать здешние сигары. Остальные, будучи людьми более здоровыми и почитавшими традицию, собрались за узким дубовым столом, вокруг которого после обеда разносили вино. С тех пор как в средние века сэр Джон Мандевиль основал колледж, считалось, что вино вдохновляет рассказчиков.

Магистр, седобородый и почти лысый, сидел во главе стола, а по левую руку от него — угловатый коротышка (ведь он был казначей, или, скажем иначе, бизнесмен колледжа). Рядом с ним, по ту же сторону стола, сидел странного вида человек с каким-то скрюченным лицом, ибо его усы и брови, расхлывшиеся под разными углами, образовали зигзаг, будто у него пол-лица парализовано. Звали его Байлз, читал он римскую историю и в своих политических убеждениях опирался на Кориолана, не говоря уже о Тарквинии Старшем. Упорный консерватизм и рьяно реакционные взгляды на все, что происходит, не так уж редки среди самых старомодных университетских преподавателей; но у него это было скорее плодом, чем причиной резкости. Тем, кто пристально наблюдал за ним, казалось: что-то у него не в порядке, будто он озабочен какой-то тайной или страшной бедой; будто полуссохшееся лицо и впрямь поразила молния. Рядом с ним сидел отец Браун, а на самом конце стола — профессор химии, крупный, приятный блондин с сонным, несколько хитроватым взглядом. Все знали, что этот служитель натурфилософии считает ретроградами прочих философов, принадлежащих к умеренно классической традиции. По другую сторону стола, как раз напротив отца Брауна, сидел темнолицый и тихий человек, еще молодой, с темной бородкой; он появился в колледже, ибо кому-то вздумалось открыть кафедру персидской словесности. Напротив зловещего Байлза расположился маленький добросердечный Чэплен с яйцеобразной головой. Напротив казначея и справа от Магистра кресло пустовало. Многие были этому рады.

— Я не уверен, что Крейкен появится, — произнес Магистр, бросая на кресло нетерпеливый взгляд, который никак не вязался со спокойствием его свободных манер. — Не люблю никого неволевать, но, признаться, я уже дошел до того, что чувствую себя спокойней, когда он здесь. Спасибо, что не где-нибудь еще!

— Никогда не знаешь, что он выкинет, — воскликнул жизнерадостно казначей. — Особенно, если он обучает студентов.

— Личность он яркая, но уж больно вспыльчив, — сказал Магистр, внезапно обретая былую сдержанность.

— Фейерверк тоже вспылчив, и притом довольно ярок, — проворчал старый Байлз. — Но мне не хотелось бы сгореть в собственной постели, чтобы Крейкен стал истинным Гаем Фоксом.

— Неужели вы думаете, что, начнись революция, он будет участвовать в насилии? — улыбаясь, спросил казначей.

— Во всяком случае, он думает, что будет, — резко отвечал Байлз. — На днях говорил полному залу студентов, что классовая борьба непременно превратится в войну с уличной резней, но это ничего, ибо в конце концов победят коммунисты и рабочий класс.

— Классовая борьба, — задумчиво вымолвил глава колледжа, давно знакомый с учением Уильяма Морриса и неплохо разбирающийся в идеях самых изысканных и досужих социалистов. Расстояние погасило его брезгливую интонацию. — Никак не возьму в толк, что это за классовая борьба. Когда я был молод, считали, что при социализме нет классов.

— Все равно что сказать: социалисты — это не класс, — кисло, если не едко заметил Байлз.

— Несомненно, вы настроены против них сильнее, чем я, — задумчиво произнес глава колледжа. — А вообще-то мой социализм так же старомоден, как и ваш консерватизм. Любопытно, что нам скажут наши молодые коллеги. Что вы об этом думаете, Бейкер? — обратился он к казначею, сидящему слева от него.

— Ну, как говорят в народе, я вообще не думаю, — засмеялся казначей. — Не забывайте, я человек совсем простой. Никакой не мыслитель, всего лишь бизнесмен. А как бизнесмен я полагаю, что все это чужь. Нельзя уравнивать людей, и совсем уж дурно платить им поровну, особенно тем, кому платить не за что. Как бы ни выглядел социализм, придется искать практический выход, иначе вообще ничего не выйдет. Не наша вина, что природа все так запутала.

— Тут я с вами согласен, — как-то по-детски шепеляво произнес профессор химии. — Коммунизм хочет быть уж совсем новым, но он отнюдь не нов. Он просто отбрасывает нас к суевериям монахов и первобытных племен. Мыслящее правительство, несущее нравственную ответственность за будущее, всегда ищет путь надежды и прогресса, а не спрямляет его, не сворачивает обратно, в грязь. Социализм — это сентиментальность. Он опасней чумы, поскольку во время чумы самые сильные выживут.

Магистр не без грусти усмехнулся.

— Вы и сами знаете, что мы с вами по-разному относимся к разногласиям. Здесь кто-то недавно рассказывал, как гулял с другом вдоль реки: «Мы соглашались во многом, кроме мнений». Чем не девиз университета? Иметь сотню мнений и ничего о себе не возомнить. Если кто-то у нас не преуспел, причина — в том, какой он, а не в том, что он думает. Возможно, я — пережиток восемнадцатого столетия, но мне по душе старая сентиментальная ересь: «За веру пусть зилот безумный бьется; кто праведно живет — не ошибется». Что вы на это скажете, отец Браун?

Он лукаво покосился на Брауна и немного испугался, ибо привык видеть священника добрым, веселым и приветливым. Его круглое лицо почти всегда светилось юмором; но сейчас оно было хмурым как никогда, — на мгновение простодушный Браун стал напряженной зловещего Байлза. Тучи сразу рассеялись. Но заговорил отец Браун сдержанно и твердо.

— Ну, я в это не верю, — коротко начал он. — Разве может быть праведной жизнь, если представление о жизни ложно? Вся эта нынешняя путаница оттого и возникла, что люди не знают, какими различными бывают представления о жизни. Баптисты и методисты знали, что не слишком расходятся в нравственности; но ведь и в религии, и в философии они не слишком далеки друг от друга. А вот между баптистами и анабаптистами разница огромная; или между теософами и индийской сектой душителей. Если ересь достаточно еретична, она всегда влияет на мораль. Человек может честно верить, что воровать — похвально. Но разумно ли говорить, что он честно верит в бесчестность?

— Черт, как здорово! — сказал Байлз и скорчил злобную гримасу, которую, по мнению многих, считал дружеской улыбкой. — Поэтому я против того, чтобы у нас была кафедра теоретического воровства.

— Вот, все вы нападаете на коммунизм, — вздохнув, произнес Магистр. — Неужели вы думаете, что он так распространен? Стоит ли на него нападать? Неужели хоть одна из наших ересей столь влияет, что представляет опасность?

— Я полагаю, они так влиятельны, — серьезно сказал отец Браун, — что в некоторых кругах их принимают как должное. Их воспринимают бессознательно. Не поверяя сознанием, совестью.

— Это прикончит нашу страну, — вставил Байлз.

— Страну прикончит что-нибудь похуже, — сказал отец Браун.

Вдруг по панели противоположной стены скользнула тень, и в ту же секунду — показался тот, кто ее отбрасывал, длинный сутулый человек, чем-то похожий на хищную птицу. Сходство это усилилось, ибо он появился внезапно, прошемыгнув быстро, словно птица, которая, испугавшись, вспорхнула с ветки. То был длинноногий сутулый мужчина со свисающими усами, хорошо знакомый собравшимся; но из-за тусклых сумерек и слабого света или из-за самих его движений все связали эту быстрюю тень с невольным пророчеством священника, словно тот был авгуром, как в Древнем Риме, а полет птицы — знамением. Должно быть, мистер Байлз мог прочесть лекцию о таких предсказаниях, и особенно — об этой птице, предвестнице несчастий и бед.

Человек пронесся вдоль стены вслед за собственной тенью, опустил в незанятое кресло по правую руку от Магистра и оглядел казначея и всех присутствующих пустым взглядом. Его ниспадающие волосы и висячие усы были почти русыми, но глубоко посаженные глаза казались черными. Все знали или

могли предположить, кто пришел; но сразу по его приходе случилось то, что прекрасно прояснило ситуацию. Профессор римской истории внезапно вскочил и вылетел из комнаты, выражая без лишних тонкостей, что не может сидеть за одним столом с профессором теоретического воровства, то есть — коммунистом, мистером Крейкеном.

Магистр исправил неловкость взволнованно и любезно.

— Дорогой Крейкен, — улыбнулся он. — Я защищал вас или некоторые ваши взгляды. Хотя, конечно, вы бы меня не защищали. Как-никак, я не могу забыть, что у социалистов, друзей моей юности, был прекрасный идеал братства и дружбы. Уильям Моррис выразил это так: «В доброй дружбе — рай небесный, в несогласье — ад кромешный».

— «Профессора как демократы». Недурной заголовок, — скорее неприязненно сказал Крейкен. — Не назовет ли наш узколюбый Хейк кафедру коммерции именем Морриса?

— Видите ли, — ответил глава колледжа, безнадежно пытаясь быть приветливым, — думаю, в каком-то смысле на всех наших кафедрах царит добрососедство.

— О, да! Университетский вариант а ф о р и з м а, — проговорил Крейкен. — «В штатном месте — рай небесный, в увольнение — ад кромешный».

— Оставьте ваши колкости, — прервал его казначей. — Глотите портвейна. Тенби, передайте бутылку мистеру Крейкену.

— Хорошо, вы пью, — чуть вежливей ответил коммунистический профессор. — Вообще-то я шел покурить в сад. Потом выглянул в окно и увидел, что там цветут ваши драгоценные гости, свежие бутоны. Вообще-то не мешало бы поделиться с ними умом...

Приветливо, как велела традиция, Магистр поднялся и с превеликой радостью поспешил оставить казначея на растерзание Дикаря. Поднялись и другие; группы стали распадаться. Казначей и мистер Крейкен остались вдвоем в конце стола; один лишь Браун все сидел, хмуро глядя в пустоту.

— Сказать вам по правде, — начал казначей, — я сам чертовски от них устал. Чуть не весь день копался в цифрах, в фактах, ну во всех этих новых делах. Послушайте, Крейкен, — он наклонился над столом и заговорил с мягкой настойчивостью, — не стоит так разоряться из-за этой кафедры. У вас — одно, у них — другое. Вы — единственный преподаватель политэкономии в Мандевиле. Я не разделяю ваших взглядов, но вы, как-никак, добились европейской известности. А у них будут читать специальный курс, прикладную экономику. Я вам жаловался, сегодня я ужасно много занимался прикладной экономикой, говорил о делах с деловыми людьми. Хотели бы вы этим заниматься? Выдержали бы? Есть чему завидовать! Неужели не ясно, что предмет у них особый, и кафедра будет особая?

— Боже правый! — с атеистическим пылом воскликнул Крейкен. — Неужто вы думаете, что я против прикладной эконо-

мики? Когда ее прикладываем мы, вы кричите о красной угрозе и анархии; а когда прикладываете вы, я возьму на себя смелость назвать это эксплуатацией. Если бы вы ее толком прикладывали, может, меньше бы народ голодал. Мы — люди практичные. Поэтому вы нас боитесь. Поэтому вы и наняли двух сытых капиталистов. И все из-за того, что у меня развязался язык.

— Не язык у вас развязался,— улыбнулся казначей, — а вы сами точно с цепи сорвались.

— А вы меня хотите посадить на золотую цепь? — спросил Крейкен.

— Наверное, мы с вами никогда не столкнемся, — ответил казначей. — А ведь эти гости уже вышли из часовни в сад. Если хотите покурить, идите к ним.

Видимо развлекаясь, он смотрел, как его собеседник рылся по карманам, пока не извлек трубку. Затем, глядя на казначея отсутствующим взглядом, Крейкен поднялся, овладев собой. Мистер Бейкер, казначей, завершил спор примиряющим смехом.

— Да, вы люди практичные, вы способны взорвать целый город. Только забудете подложить динамит, как забыли положить в карман табак. Ничего, возьмите мой. Спички?

Он перебросил кiset и спички через стол, а мистер Крейкен поймал их на лету с проворством, которого не теряет бывший игрок в крикет, даже если взгляды его не слишком похожи на игру. Оба поднялись одновременно; но казначей не удержался и сказал:

— Что ж, кроме вас людей практичных и нет? А как насчет прикладной экономики? Я вот не забываю табак и трубку.

Крейкен бросил на него огненный взгляд и, медленно допив вино, ответил:

— Скажем, это другая практичность. Да, я забываю всякие мелочи. Но вы поймайте. — Он машинально вернул кiset; взгляд его был далек и горяч, почти ужасен, — разум наш стал другим, мы иначе мыслим о добре и потому совершим то, что вам представляется злом. Это будет вполне практично.

— Да,— сказал отец Браун, внезапно приходя в себя. — Именно об этом я и говорил.

Он посмотрел на Крейкена прозрачным, почти призрачным взглядом и прибавил:

— Мы с мистером Крейкеном совершенно согласны.

— Что ж,— подытожил Бейкер, — Крейкен собирается выкурить трубку в компании плутократов. Вряд ли это будет трубка мира.

Он резко повернулся и окликнул престарелого слугу, стоящего поодаль. Мандевиль был одним из последних старомодных колледжей; Крейкен, еще задолго до нынешнего большевизма, считался одним из первых коммунистов.

— Вот что,— сказал казначей, — раз уж вы не пустите по кругу вашу трубку, давайте угостим наших гостей сигарами. Если

они курят, им будет приятно покурить. Они ведь рыскали по часовне чуть ли не с полудня.

Крейкен взорвался оглушительным смехом.

— Отнесу им сигары, отнесу! — крикнул он. — Ведь я всего лишь пролетарий.

Казначей, отец Браун и слуга видели, как коммунист яростно зашагал в сад, к миллионерам. И никто ничего не слышал о них, пока, как мы говорили, священник не обнаружил их трупы.

Условились, что священник и Магистр останутся охранять сцену, где свершилась трагедия, а казначей, более молодой и уж несомненно более быстрый, вызовет врача и полицию. Отец Браун подошел к столу, где лежал окурок одной из сигар, всего в два-три дюйма длиной. Другая сигара выпала из помертвевших рук и рассыпалась тлеющими искорками на потрескавшуюся садовую дорожку. Глава Мандевиля довольно неуклюже опустился на скамейку, стоявшую поодаль от стола, и уткнулся лицом в ладони. Затем он поднял глаза, взглянул, сперва — устало, а потом — испуганно, и тишину сада, словно маленький взрыв, огласил крик ужаса.

Отец Браун обладал одним свойством, которое иногда было поистине жутким. Он всегда думал о том, что делает, и никогда не думал о том, делают ли это. Самую отвратительную, презренную, грязную работу он выполнял со спокойствием хирурга. Там, где обычно располагаются предрассудки и сентиментальности, в его бесхитростном сознании зияла пустота. Он сел в кресло, откуда свалился покойник, поднял сигару, которую тот докурил до половины, аккуратно стряхнул пепел, внимательно рассмотрел другой конец, сунул его в рот и закурил. Все это казалось непристойной, гротескной буффонадой, насмешкой над мертвым; но отец Браун явно считал это вполне здравым. Дым поднимался вверх, словно курения над жертвенником языческого бога; но отец Браун полагал, что самый простой способ узнать все про сигару — выкурить ее. Старый его друг, глава Мандевиля, испугался еще больше, смутно, но мудро заподозрив, что отец Браун рискует жизнью.

— Нет, тут, кажется, все в порядке, — сказал священник, кладя сигару на место. — Отличнейшие сигары. Ваши сигары. Не американские и не немецкие. Сигары сами по себе вряд ли представляют интерес, лучше заняться пеплом. Их отравили какой-то гадостью, от которой мгновенно цепенеют. Кстати, а вот этот человек знает тут больше нас с вами.

Глава колледжа в растерянности сел на скамейку, ибо вслед за крупной тенью, упавшей на дорожку, появился человек, несмотря на свою тучность, легконогий, как тень. Профессор Водэм, крупный ученый с кафедры химии, всегда двигался неслышно. В том, что он прогуливался по саду, ничего странного не было. Странно было другое: стоило помянуть химию, как появлялся Водэм.

Профессор Водэм гордился своей уравновешенностью (другие сказали бы — своей бесчувственностью). На его светлой прилизанной голове и волосок не шевельнулся, широкое жабье лицо было спокойно, — он стоял и безразлично смотрел на трупы. Когда он перевел взгляд на пепел, собранный священником, он приблизился, потрогал его пальцем и стал еще неподвижней; но глаза его на мгновение как-то выдвинулись, точно окуляр микроскопа. Он что-то обнаружил или понял; но не сказал ни слова.

— Не знаю, с чего тут начать, — промолвил глава колледжа.

— Я бы, — ответил отец Браун, — для начала спросил, где эти несчастные провели сегодня день.

— Они довольно долго околачивались у меня в лаборатории, — впервые заговорил Водэм. — Казначей часто приходит поболтать, и на сей раз привел с собой двух своих патронов, посмотреть мой отдел. Наверное, они везде успели побывать. Истинные туристы. Я знаю, что они побывали в часовне, и даже в подземном ходе под склепом, пришлось там зажечь свечи. А могли бы обедать, как нормальные люди! Видимо, Бейкер везде их таскал за собой.

— Интересовались они чем-то у вас? — спросил священник. — Что именно вы тогда делали?

Профессор химии пробормотал химическую формулу, начинающуюся «сульфатом» и заканчивающуюся чем-то вроде «силениум», но непонятную для обоих слушателей. Затем он, скучая, отошел в сторону, где не было тени, сел на скамью, закрыл глаза и с завидной выдержкой подставил широкое лицо солнечным лучам.

В ту же секунду лужайку стремительно пересек человек, ничуть не похожий на Водэма. Он летел прямо и стремительно, точно пуля. По аккуратному черному костюму и умной собачьей физиономии отец Браун узнал в нем полицейского врача, с которым ему приходилось встречаться в самых бедных кварталах. Из официальных лиц он прибыл первым.

— Послушайте, — обратился к священнику глава колледжа еще до того, как врач мог его услышать. — Кажется, я что-то понял. Вы всерьез говорили, что коммунизм опасен и ведет к преступлению?

— Да, — ответил отец Браун и грустно усмехнулся. — Я действительно заметил, что распространились кое-какие коммунистические обычаи. В определенном смысле вот это — коммунистическое преступление.

— Благодарю, — сказал глава колледжа. — Тогда я должен немедленно уйти и кое-что разузнать. Передайте властям, минут через десять я вернусь.

Глава колледжа нырнул под одну из арок как раз в тот момент, когда врач подошел к столу и бодро поздоровался

с отцом Брауном. Священник пригласил его присесть к злополучному столику, но доктор Блейк резко и выразительно покосился на крупного, расплывшегося и словно бы сонного химика, устроившегося на скамье. Отец Браун объяснил ему, кто это, и что этот человек рассказал, а врач выслушал молча, занимаясь предварительным осмотром трупов. Естественно, его больше занимали тела, чем какие-то неопределенные показания, как вдруг одна подробность полностью отвлекла его от анатомии.

— Над чем, сказал профессор, он работает? — спросил он.

Отец Браун спокойно повторил непонятную формулу.

— Что? — вскричал доктор Блейк. — Черт возьми, да ведь это чудовищно!

— Потому что это яд? — спросил отец Браун.

— Потому что это чужь, — ответил доктор Блейк. — Чепуха какая-то. Профессор знаменитый химик. Зачем знаменитому химику сознательно нести такую околесицу?

— Мне кажется, я догадываюсь, в чем здесь дело, — кротко ответил отец Браун. — Он несет околесицу, потому что он лжет. Он что-то скрывает. Особенно — от этих людей и их представителей.

Доктор перевел взгляд с трупов на знаменитого химика, почти неестественно неподвижного. Наверно, он все-таки уснул. Садовый мотылек опустился на него, и он сразу стал похож на каменного идола. Крупные складки его жабьей физиономии напоминали врачу обвислую кожу носорога.

— Да, — тихо произнес отец Браун. — Он плохой человек.

— Черт подери! — воскликнул доктор, глубоко потрясенный. — Вы полагаете, что ученый такого уровня замешан в убийстве?

— Придирчивые критики именно так бы и сказали, — бесстрастно отвечал священник. — Мне и самому не очень нравятся люди, причастные к таким убийствам. Но важнее другое: эти бедолаги — из самых придирчивых его критиков.

— Иными словами, они раскрыли его тайну, а он заставил их замолчать? — нахмурился доктор Блейк. — Но что же, черт возьми, у него за тайны? Как можно убить двух людей, да еще в этой обстановке?

— Я открыл вам его тайну, — сказал священник. — Тайну его души. Он — дурной человек. Ради Бога, не думайте, что я говорю так, потому что мы с ним люди разных школ или традиций. У меня много друзей среди ученых, и большей частью они совершенно, героически бескорыстны. Самые закоренелые скептики — и те неосознанно бескорыстны. Но время от времени натыкаешься на материалиста, в другом смысле слова — на зверя. Повторяю, он плохой человек. Гораздо хуже... — тут отец Браун принялся подыскивать слово.

— Гораздо хуже коммуниста? — подсказал его собеседник.

— Нет, гораздо хуже убийцы, — отвечал отец Браун.

Он рассеянно поднялся и вряд ли заметил, что доктор Блейк пристально на него смотрит.

— Разве вы не считаете, — спросил наконец Блейк, — что Водэм убийца?

— Нет, что вы, — словно обрадовавшись, ответил отец Браун. — Убийца куда приятней, его гораздо легче понять. В конце концов, он был в отчаянии. Он разъярился, он отчаялся — вот его оправдания.

— Значит, это все-таки коммунист? — воскликнул доктор.

В это время весьма кстати подоспела полиция с новостями, подводящими итог расследованию. Она несколько задержалась по той вполне понятной причине, что схватила преступника. Собственно, его схватили прямо у ворот их собственной конторы. Крейкена уже подозревали из-за городских беспорядков; и когда узнали о преступлении, решили арестовать для верности. И были правы. Ибо, радостно объяснил инспектор Кук собравшимся на лужайке профессорам и докторам колледжа, когда пресловутый коммунист был схвачен, при нем тут же обнаружили коробок с отравленными спичками.

Едва отец Браун услышал слово «спички», он вскочил со скамейки, будто зажженную спичку сунули ему на сиденье стула.

— Ах, вон что! — сияюще воскликнул он. — Теперь все ясно.

— Что значит «ясно»? — строго спросил Магистр, снова солидный и властный, как ему и подобает, под стать важным полицейским, наводнившим колледж, точно армия победителей. — Вы теперь уверены, что с обвинениями против Крейкена все чисто?

— Я уверен, что Крейкен чист, — твердо сказал отец Браун, — и все вокруг него расчистилось. Неужели вы считаете, что такой человек способен травить людей спичками?

— Это все превосходно, — печально отвечал Магистр; печаль не покидала его с тех пор, как он узнал о беде. — Но вы же сами утверждали, что фанатики, у которых ложные принципы, способны творить зло. Мало того, — вы заметили, что коммунизм проникает повсюду, а коммунистические обычаи распространяются.

Отец Браун смущенно засмеялся.

— Ну, про обычаи, — сказал он, — тут уж вы меня простите. Вечно я всех путаю своими глупыми шуточками!

— Хороши шуточки! — раздраженно бросил Магистр.

— Видите ли, — стал объяснять священник, почесывая в затылке. — Когда я говорил о коммунистических обычаях, я имел в виду привычку, которую мне случалось замечать раза два-три. Ну, вот хотя бы сегодня. Обычай этот свойствен далеко не только коммунистам. Теперь так очень многие делают, особенно англичане. Они кладут в карман чужие спички, забывают вернуть.

Казалось бы, ерунда, и говорить не о чем. А вот, получилось преступление.

— Что-то уж очень странно, — сказал врач.

— Да, чуть ли не все забывают вернуть спички, — продолжал отец Браун, — а уж Крейкен точно позабудет их вернуть. Вот отравитель и подсунул их Крейкену — одолжил и не получил назад. Поистине великолепный способ свалить вину — ведь Крейкен никогда не вспомнит, откуда они у него взялись. Ничего не подозревая, он дал прикурить от них двум гостям, которых угостил сигарами, — и тут же попался в простую ловушку. Такую простую... Отважный злодей-революционер убил двух миллионов.

— Да, но кому еще нужно их убивать? — спросил доктор.

— И в самом деле, кому? — сказал священник; голос его стал гораздо серьезней. — Мы подходим к тому, другому, о чем я говорил вам, и тут уж, поверьте, я не шутил. Я говорил, что ереси и ложные доктрины стали доступными и привычными. К ним притерпелись; их не замечают. Неужели вы думаете, что я имею в виду коммунизм? Что вы, совсем наоборот. Это вы тут взбеленились из-за коммунизма и решили, что Крейкен — бешеный волк. Без сомнения, коммунизм — ересь; но не из тех ересей, которые вы принимаете как должное. Как должное все принимают капитализм, нет, скорее пороки капитализма, скрытые под маской дарвинизма. Вспомните, о чем вы толковали в столовой: что жизнь — это непрерывная борьба, и выживет сильнейший, и вообще не важно, по справедливости заплатили бедняку или нет. Вот где настоящая ересь, дорогие друзья. К ней вы приспособились, а она во всем страшнее коммунизма. Вы принимаете как должное антихристианскую мораль или отсутствие всякой морали. А сегодня именно отсутствие морали и толкнуло человека на убийство.

— Да какого человека? — воскликнул Магистр, и хриплый его голос сорвался.

— Позвольте подойти с другой стороны, — спокойно продолжал священник. — Вы все решили, будто Крейкен сбежал. Но он не сбежал. Когда эти двое умерли, он помчался вниз по улице, вызвал доктора, крикнул ему в окно и сразу же побежал в полицию. Тут его и взяли. Неужели вас не удивляет, что казначей, мистер Бейкер, разыскивает полицию так долго?

— Чем же он тогда занят? — отрывисто спросил Магистр.

— Вероятно, уничтожает бумаги. Или роется в их вещах, ищет, не оставили ли нам письма. А может, тут что-то связано с Водэмом. Куда он делся? Все очень просто, тоже вроде шутки. Он проводит опыты, готовит для войны отравляющие вещества, и от одного из ядов, если его зажечь, человек внезапно цепенеет. Разумеется, сам он не имеет никакого отношения к этому убийству. Он скрывал свою химическую тайну по очень простой причине: один из ваших гостей — американский пуританин, дру-

гой — еврей без определенного подданства. Такие люди почти всегда убежденные пацифисты. Они бы сказали, что он замыслил убийство и не дали бы колледжу денег. Но казначей — приятель Водэма, и для него не составляло труда обмакнуть спички в новый раствор.

Другая особенность маленького священника заключалась в том, что разум его был цельным и не ведал многих несообразностей. Без тени замешательства мог он перейти от общественного к частному. Сейчас он поразил собеседников, обратившись внезапно к одному из них, хотя только что беседовал со всеми. И ему не важно было, что лишь один мог понять, о чем он ведет речь.

— Простите, доктор, что я запутал вас, углубившись в метафизические рассуждения о грешнике, — виновато начал он. — Понимаете, по правде сказать, я на минуту вообще забыл об убийстве. Я забыл обо всем, я видел только химика, его нечеловеческое лицо среди цветов, — ну, просто незрячий идол каменного века. Я размышлял о том, что бывают какие-то истинные чудища, какие-то каменные люди; но к делу это не имеет отношения. Быть плохим — одно, совершать преступления — другое, это не всегда связано. Самые страшные преступники не совершают никаких преступлений. Практический вопрос в другом: почему *этой* преступник совершил *это* преступление? Зачем казначею Бейкеру их убивать? Больше нам ничто не важно. Ответ — тот же самый, что и на вопрос, который я задал дважды. Где были эти люди почти весь день — тогда, когда не рыскали по часовням и лабораториям? Казначей сказал сам, что они говорили с ним о делах.

Так вот, при всем почтении к покойным, я не думаю, что они были умны. Их представления об экономике и этике — языческие и черствые. Их представления о пацифизме вздорны. Но в одном они разбираются — в делах. Буквально за несколько минут они могли убедиться, что тот, кто отвечает за деньги колледжа, — мошенник. Или иначе — истинный последователь учения о неограниченной борьбе за существование и выживании сильнейшего.

— Вы хотите сказать, что они собирались разоблачить его, а он поспешил их прикончить, — нахмурился доктор. — Остается множество непонятных деталей.

— Остается несколько деталей, которых я и сам не понимаю, — откровенно признался священник. — По видимости, все эти свечи в подземелье придуманы для того, чтобы выкрасть у миллионеров спички или удостовериться, что спичек у них нет. Но в главном я уверен, я просто вижу, как весело и беззаботно казначей перебрал спички рассеянному Крейкену. Так он и убил.

— Одного я не пойму, — сказал инспектор. — Откуда Бейкеру знать, что Крейкен сам не прикурит от его спичек? Все ж лишний труп...

Отец Браун помрачнел от укоризны и заговорил скорбно, но великодушно и приветливо.

— Ну, что это вы! — сказал он. — Он ведь только атеист.

— Я вас не совсем понимаю, — вежливо заметил инспектор.

— Он только хотел отменить Бога, — спокойно и рассудительно объяснил отец Браун. — Он хотел отменить десять заповедей, уничтожить религию и цивилизацию, создавшую его, смыть честь и собственность, сообразные здравому смыслу, чтобы его страну опошлили вконец дикари с края света. Вот и все. Вы не вправе обвинять его еще в чем-то. Ну, Господи, для каждого есть предел! А вы хладнокровно предполагаете, что пожилой ученый из Мандевиля (несмотря на свои взгляды, Крейкен принадлежит к старшему поколению) закурит или даже чиркнет спичкой, когда он еще не допил свой портвейн! Ну уж, нет! У людей есть хоть какой-то закон, какие-то запреты! Я был в столовой. Я видел его. Он не допил вина, а вы спрашиваете, как это он *не закурил!* Стены Мандевильского колледжа не знают такой анархии... Занятое место, этот колледж. Занятое место — Оксфорд. Занятое место — Англия.

— Разве вы связаны с Оксфордом? — вежливо осведомился доктор.

— Я связан с Англией, — ответил отец Браун. — Я родом оттуда. А самое смешное, что можно любить ее, жить в ней и ничего в ней не смыслить.

Из сборника «Парадоксы мистера Понда»

ТРИ ВСАДНИКА ИЗ АПОКАЛИПСИСА

К мистеру Понду, несмотря на его вполне будничную внешность и безукоризненное воспитание, я относился с любопытством, а иногда и с настороженностью, что было, по всей вероятности, связано с какими-то детскими воспоминаниями, а также со смутными ассоциациями, которые вызывали у меня его имя¹. Он был государственным служащим, старинным приятелем моего отца, и в моем младенческом воображении ассоциировался с прудом, тем более что он и в самом деле чем-то неуволимо напоминал пруд в нашем саду: был таким тихим, таким уютным, таким, можно сказать, лучезарным, когда рассуждал о земле, небе и солнечном свете. А между тем я знал, что с нашим прудом иногда творились странные вещи: очень редко, всего раз или два в году, пруд внезапно преображался: его прозрачная гладь вдруг озарялась светом или же набегала мимолетная тень, и на поверхности появлялась рыба, лягушка или какое-нибудь еще более диковинное существо. Точно так же и в мистере Понде таились какие-то чудища, иногда они всплывали со дна его рассудка, на мгновение возникали на поверхности и вновь исчезали. Являлись эти чудища в виде самых невероятных умозаключений, которые время от времени позволял себе этот мягкий и вполне разумный человек. Его замечания выглядели порой настолько чудовищными, что некоторым его собеседникам казалось, будто в процессе самых здравых рассуждений он неожиданно сходит с ума. Но даже такие собеседники вынуждены были признать, что разум возвращается к мистеру Понду столь же внезапно, как и покидает его.

Бывали минуты, когда мистер Понд и сам почему-то напоминал мне рыбу. Мало того что он был крайне обходителен, он умел вдобавок не привлекать к себе внимания; неприметными

¹ Pond — пруд (англ.).

были даже его жесты, если не считать тех редких случаев, когда он, отпустив совершенно невпопад какое-нибудь курьезное замечание и настроившись наконец на серьезный лад, принимался задумчиво теревить бородку. В эти минуты он, точно сова, с отсутствующим видом смотрел перед собой и дергал себя за бороду, а со стороны казалось, будто рот у него открывается, как у куклы, которую дергают за веревочку. Когда он вот так, молча открывал и закрывал рот, то становился похож на пучеглазую, жадно глотающую воздух рыбу. Но продолжалось это всего несколько секунд, уходящих, надо полагать, на то, чтобы переварить неуместную просьбу собеседника, недоумевавшего, что же мистер Понд имел в виду.

Однажды он мирно беседовал с сэром Хьюбертом Уоттоном, известным дипломатом. Сидели они у нас в саду под ярким полосатым навесом и смотрели на тот самый пруд, с которым в моем извращенном воображении ассоциировался мистер Понд. Разговор зашел о бескрайней болотистой равнине, протянувшейся через Померанию, Польшу и Россию чуть ли не до самой Сибири, то есть о той части света, которую оба собеседника, в отличие от большинства западноевропейцев, хорошо знали. И тут мистер Понд припомнил, что там, где разливаются реки и места особенно топкие, по высокой, крутой насыпи проложена прямая, достаточно широкая для пешеходов дорога, на которой, однако, с трудом могли разъехаться два всадника. Такова предыстория.

Случилось это в те недавние времена, когда кавалерия была в гораздо большем почете, чем теперь, хотя кавалеристы уже тогда чаще ездили с донесениями, чем скакали в атаку. Шла война, одна из тех многочисленных войн, что совершенно опустошили эти края, — насколько вообще можно опустошить пустыню. Польша, как вы догадываетесь, находилась под гнетом Пруссии... а впрочем, все эти политические подробности и рассуждения о правых и виноватых в данном случае значения не имеют. Скажем лишь, что мистер Понд предложил собравшимся загадку.

— Вы, должно быть, помните, — начал он, — какой скандал разразился в связи с Павлом Петровским, краковским стихотворцем, который совершил два довольно опрометчивых для своего времени поступка: переехал из Кракова в Познань и попытался совмещать поэзию и политику. В Познани, где поэт тогда жил, стояли пруссаки, поскольку город находился на восточном конце той самой дороги, и прусское командование сочло необходимым захватить столь важный плацдарм. А на западном ее конце разместился штаб прусской армии, осуществившей операцию по захвату города. Командовал войсками легендарный маршал фон Грок, а ближе всего к дороге стояли его любимые Белые гусары — полк, которым в свое время командовал он сам. В полку, понятное дело, царил образцовый порядок, сверкали белые, с иголки, мундиры, огненно-красные ленты через плечо: в то

время ведь еще не принято было одевать солдат всех армий мира в одинаковые грязно-серые гимнастерки. Вообще мне иногда кажется, что геральдика лучше нынешней мимикрии, позаимствованной у обожаемых нами хамелеонов и жуков из учебников по естественной истории. Как бы то ни было, у этого образцового кавалерийского полка сохранилась своя униформа, что, забегая вперед, явилось одной из причин неудачи маршала. Однако дело было не только в униформе, но и в проформе. План маршала не удался из-за образцовой дисциплины в полку. Оттого что солдаты Грока скрупулезно выполняли его приказы, он не смог добиться того, что хотел.

— В ваших словах заложен парадокс, — со вздохом заметил Уоттон. — Не спорю, это остроумно и все такое прочее, но на самом-то деле это же сущий вздор. Да, я знаю, принято думать, будто немцы придают излишне большое значение армейской дисциплине. Но согласитесь, какая же армия без дисциплины?!

— Но я же не говорю о том, что принято думать, — с грустью возразил Понд. — Я имею в виду совершенно конкретный случай. Грок потерпел фиаско потому, что солдаты выполнили его приказ. Вот если бы его приказ выполнил только один солдат, все было бы не так плохо. Но когда его приказ выполнили сразу двое — тут уж бедняга оказался совершенно бессилён.

— Да вы, я смотрю, крупный военный теоретик. — Уоттон гортанно расхохотался. — По-вашему, один солдат в полку еще может выполнить приказ; когда же приказ готовы выполнить два солдата, вы делаете вывод, что в прусской армии излишне строгая дисциплина.

— Речь идет не о теории, а о практике, — спокойно ответил мистер Понд. — Грок потерпел неудачу оттого, что два солдата выполнили его приказ. Не подчинись ему хотя бы один из них, он мог бы добиться успеха. И то, и другое — факты. А всевозможные теории на этот счет вы уж будете строить сами.

— Я не большой охотник до теорий, — сухо произнес Уоттон, словно собеседник хотел его обидеть.

В это время на заливной солнцем лужайке появилась массивная фигура капитана Гэхегена, большого друга и почитателя маленького мистера Понда. В петлице у него пламенел цветок, из-под надетого немного набекрень серого цилиндра выбивались огненно-рыжие волосы, а своей развязной походкой он напоминал, хотя и был относительно молод, бретеров и дуэлистов из давно ушедших времен. На расстоянии его высокая широкоплечая фигура в обрамлении солнечных лучей казалась воплощением крайнего высокомерия, однако когда он подошел ближе, сел и солнце упало ему на лицо, то вдруг обнаружилось, что высокомерный вид никак не вяжется с грустным и даже немного тревожным взглядом его нежно-карих глаз.

— Я как всегда слишком много болтаю, — стал извиняться, прервав свой монолог, мистер Понд. — Дело в том, что

я рассказывал про одного поэта, Петровского, которого чуть было не казнили в Познани. Было это довольно давно. Местные власти не хотели брать на себя ответственность, и, если бы не распоряжение маршала фон Грока или еще более высокого чина, они готовы были Петровского отпустить. Но маршал фон Грок вознамерился во что бы то ни стало лишить поэта жизни и в тот же вечер послал приказ о его казни. Однако вслед за приказом о казни было послано распоряжение об ее отсрочке, а поскольку курьер, который вез второй приказ, по дороге погиб, заключенного освободили.

— А поскольку... — машинально повторил вслед за ним Уоттон.

— ...курьер, который вез второй приказ... — с иронией в голосе продолжал Гэхеген.

— ...по дороге погиб... — пробормотал Уоттон.

— ...заключенного, естественно, освободили! — подытожил Гэхеген, не скрывая своего ликования. — Логично, ничего не скажешь! Ладно, будет вам сказки рассказывать!

— Это вовсе не сказка,— возразил Понд. — И произошло все именно так, как я говорю. Никакого парадокса тут нет. Выслушайте всю историю, и вы убедитесь, насколько она проста.

— Что верно, то верно,— согласился Гэхеген. — Не узнав всю историю целиком, трудно судить о том, проста она или нет.

— Валийте, не тяните, — отрезал Уоттон.

Павел Петровский был одним из тех на редкость непрактичных людей, которым в практике политической борьбы поистине цены нет. Дело в том, что он был не только национальным поэтом, но и всемирно известным певцом. Он обладал очень красивым и звучным голосом, и во всем мире не осталось, кажется, ни одного концертного зала, где бы он не исполнял патриотические песни собственного сочинения. На родине же его почитали глашатаем революции, с его именем связывались самые смелые надежды, в особенности во время международного кризиса, когда на смену профессиональным политикам приходят либо идеалисты, либо прагматики. Ведь у истинного идеалиста и настоящего реалиста есть, по крайней мере, одна общая черта — активность. У преуспевающего же политика любое действие вызывает решительный протест. Идеалист вполне может быть прожектором, равно как и реалист — неразборчивым в средствах, но ни тот, ни другой никогда не добьются успеха, если будут сидеть сложа руки. Именно такие два антипода и находились сейчас на противоположных концах проходившей через болота дороги; на одном ее конце, в городской тюрьме, польский поэт, а на другом, в военном лагере, — прусский солдат.

Маршал фон Грок и впрямь был настоящим прусским солдатом, человеком не только практического, но и сугубо прозаического склада. За всю свою жизнь он не прочел ни единой поэтической

кой строки и при этом был очень не глуп. У него, как и у всякого солдата, было чувство реальности, чего так не хватает прекраснородушным профессиональным политикам. Над иллюзиями он не издевался, он их ненавидел. Поэт или пророк, он понимал, могут представлять опасность не меньшую, чем целая армия. А потому он принял решение казнить поэта, и в этом решении выразилось искреннее уважение маршала к поэтическому ремеслу.

В данный момент он сидел у себя в палатке, а перед ним на столе лежала остроконечная каска, которую он никогда не снимал на людях. Массивный его череп казался совершенно лысым, на самом же деле маршал был просто очень коротко стрижен. Нависшие над переносицей сильные очки в тяжелой оправе придавали его гладко выбритому крупному помятому лицу какое-то загадочное выражение. Он повернулся к стоящему перед ним лейтенанту, светловолосому круглолицему немцу, тупо смотрящему перед собой голубыми, навывкате глазами.

— Лейтенант фон Гохеймер,— произнес он , — вы сказали, Его высочество прибывает в лагерь сегодня вечером?

— Так точно, в семь сорок п я т ь , — пробасил словно бы через силу лейтенант, напомилавший в этот момент ручного медведя, которому нелегко дается человеческая речь.

— В таком случае,— сказал Г р о к , — еще есть время до его приезда отправить вас в город с приказом о смертной казни. Наш долг — служить Его высочеству верой и правдой и делать все возможное, дабы избавить его от лишних хлопот. Его высочеству будет не до Петровского: он произведет смотр войск и через час отправится на следующий аванпост. Проследите, чтобы у Его высочества было все необходимое.

Похожий на медведя лейтенант пробудился от спячки и вяло отдал честь.

— Наш долг — выполнять приказы Его высочества, — отозвался он.

— Наш долг — служить Его высочеству верой и правдой, — повторил маршал.

Более резким, чем обычно, движением он сдернул очки и бросил их на стол. Будь голубоглазый лейтенант немного наблюдательнее, его широко раскрытые глаза раскрылись бы еще шире, ибо его наверняка бы потрясла случившаяся с маршалом перемена. Казалось, в этот момент фон Грок сорвал с лица железную маску. Еще минуту назад маршал со своим оплывшим лицом, дряблыми щеками и мясистым подбородком был как две капли воды похож на носорога. Теперь же он напоминал еще более диковинного зверя: носорога с орлиным взором. Холодный блеск его ослабевших глаз неопровержимо свидетельствовал о том, что маршал не так уж тяжел на подъем и что есть в нем не только железо, но и сталь. Ведь все люди в конечном счете живы духом, пусть даже злым духом, либо таким, про который ни один христианин не скажет, злой он или добрый.

— Мы все должны служить Его высочеству, — повторил Грок. — Скажу больше. Мы все должны оберегать Его высочество. К своим монархам мы должны относиться как к богам. Кому же, как не нам, служить им, оберегать их?

Маршал фон Грок редко говорил да и задумывался не чаще — философом его нельзя было назвать при всем желании. Когда же люди его склада думают вслух, они, обратите внимание, гораздо охотнее разговаривают с собакой, чем с человеком. Они испытывают даже какое-то особое, снисходительное удовольствие, адресуя своему четвероногому собеседнику длинные слова и сложные доводы. Впрочем, сравнивать лейтенанта фон Гохеймера с собакой было бы несправедливо. Несправедливо по отношению к собаке, существу куда более восприимчивому и живому. Точнее было бы сказать, что Грок, погрузившись против обыкновения в раздумье, испытал приятное, успокаивающее чувство от того, что он размышляет вслух в присутствии низшего существа.

— В истории нашего королевского дома, — продолжал Грок, — не раз бывало, что слуга спасал своего господина, за что получал лишь пинки, по крайней мере, от непосвященных, которые всегда подают голос против тех, кто силен, кому сопутствует успех. Мы же назло им одерживали победу за победой, демонстрировали свою силу. Бисмарка обвиняли в том, что он обманул своего господина с Эммской депешей, но ведь в результате его господин стал господствовать над миром. Мы захватили Париж, мы поставили на колени Австрию — мы были спасены. Сегодня Павел Петровский умрет — и мы опять будем спасены. Вот почему я безотлагательно посылаю вас в Познань с приказом о приведении в исполнение смертного приговора. Помните, Петровский должен быть немедленно казнен, а вы должны присутствовать при его казни. Вы меня поняли?

Бессловесный Гохеймер отдал честь. Да, это он понял. Что-то в нем было все-таки от собаки: смелый, как бульдог, готов ради своего хозяина на смерть.

— Садитесь в седло и отправляйтесь в путь, — сказал Грок. — По дороге нигде не останавливайтесь. По моим сведениям, этот болван Арнхейм, если только не придет специальное донесение, собирается сегодня ночью Петровского отпустить. Поторопитесь.

Лейтенант еще раз отдал честь и, выйдя из палатки, растворился во мраке. Вскочив на одного из лучших белых скакунов, какими славился этот славный полк, он поскакал по узкой дороге, возвышавшейся, словно стена, над бескрайней равниной. Впереди чернел горизонт, внизу, в опустившихся сумерках, серебрился болота.

Как только стук копыт стих вдали, фон Грок встал, надел каску и очки и двинулся к выходу из палатки. Курьер его больше не занимал: ему навстречу в парадной форме шли офицеры его

штаба, а по рядам выстроившихся войск уже катилось громогласное эхо команд и приветствий. Приехал Его высочество принц.

Его высочество сильно отличался — по крайней мере, внешне, — от обступившей его свиты. Да и во всем остальном он мало походил на свое окружение. На голове у него тоже была остроночная каска, но другого полка, черная, отливающая вороной сталью; было что-то внешне несообразное, а внутренне, наоборот, глубоко оправданное в несколько старомодном сочетании этой каски с длинной темной окладистой бородой, совершенно не вязавшейся с гладко выбритыми подбородками окружавших его пруссаков. Под стать длинной темной окладистой бороде был и длинный темно-синий широкий плащ с вышитой на нем сверкающей королевской звездой, а из-под синего плаща выглядывал черный мундир. Немец, как и все, он был вместе с тем каким-то совершенно другим немцем, и что-то в его значительном, рассеянном лице свидетельствовало о том, что слухи, будто принц любит музыку, не лишены оснований.

Больше всего, по правде говоря, угрюмый Грок боялся, что из-за этого в высшей степени странного увлечения принц не станет объезжать полки, уже выстроенные по сложной схеме в соответствии с военным этикетом их нации, а заговорит как раз на ту тему, какой Грок особенно не хотел бы касаться, — про этого проклятого поляка, про его славу и про угрожавшую ему опасность. Ведь принц сам слушал песни Петровского во многих оперных залах Европы.

— Казнить такого человека было бы чистым безумием, — сказал принц, бросив на маршала угрюмый взгляд из-под своего черного шлема. — Это же не обычный поляк. Это европейская величина. Его будут оплакивать и боготворить наши союзники, друзья, даже соотечественники. Вы что же, хотите уподобиться безумным вакханкам, что убили Орфея?

— Но Ваше высочество, — возразил маршал, — его будут оплакивать, зато он будет мертв. Его будут боготворить, но он будет мертв. Что бы он ни замышлял, его планам не суждено будет осуществиться. Что бы он ни делал сейчас, больше этого не произойдет. Смерть — это самый непреложный на свете факт, а я факты уважаю.

— Неужели вы не понимаете, что происходит в мире? — грозно спросил принц.

— Меня не интересует, что происходит в мире, — ответил Грок. — Мне безразлично все, что творится за пределами родного отечества.

— Боже милостивый! — вскричал Его высочество. — Да вы бы и Гете повесили, если бы тот поспорил с герцогом Веймарским.

— Ради королевского дома — не колеблясь ни секунды!

— Как вас прикажете понимать? — резко спросил принц после минутной паузы.

— Дело в том,— спокойно ответил маршал, — что я уже послал гонца с приказом казнить Петровского.

Взметнув, словно могучими крыльями, своим широким плащом, принц поднялся и навис над своей свитой наподобие огромного черного орла. Все знали: гнев его настолько велик, что действовать он будет безотлагательно. Не сказав фон Гроку ни слова, он громовым голосом позвал к себе его заместителя, генерала фон Фоглена, коренастого человека с квадратной головой, который стоял поодаль, неподвижный, точно скала.

— У кого в вашей кавалерийской дивизии самая быстрая лошадь? Кто лучший наездник?

— Лошадь Арнольда фон Шахта может обогнать скаковую, Ваше высочество,— выпалил генерал. — А сам он держится в седле как заправский жокей. Он из полка Белых гусар.

— Прекрасно, — тем же громовым голосом откликнулся принц. — Пусть немедленно выезжает и остановит курьера, который везет этот безумный приказ. Я надеюсь фон Шахта полномочиями, которые наш доблестный маршал, надо надеяться, оспаривать не станет. Перо и чернил!

Принц сел, скинул плащ и, когда ему принесли письменный прибор, крупным, размашистым почерком написал приказ, перечеркнувший все предыдущие. Смертную казнь принц распорядился отменить, а поляка Петровского выпустить на свободу.

В воцарившейся тишине, гремя шпагой и волоча за собой длинный плащ, принц рванулся к выходу, даже не взглянув на застывшего у стола старого Грока, который своей неподвижной фигурой и остекленевшим взглядом напоминал в этот момент доисторическое каменное изваяние. Принц пребывал в такой ярости, что никто не осмелился напомнить ему про смотр войск. Тем временем Арнольд фон Шахт, совсем еще молодой офицер с длинными вьющимися волосами, на белом гусарском мундире которого красовалась уже не одна медаль, получив из рук принца сложенную бумагу, щелкнул каблуками, вышел, чеканя шаг, из палатки, вскочил на коня и помчался, словно серебряная стрела или падающая звезда, по высокой узкой дороге.

А старый маршал между тем не торопясь вернулся к себе в палатку, не торопясь снял остроконечную каску и очки и положил их, как и раньше, перед собой на стол. Затем он позвал стоявшего у входа денщика и приказал ему немедленно привести сержанта Шварца из гусарского полка.

Не прошло и минуты, как перед маршалом вырос сухопарый, жилистый мужчина с большим шрамом на подбородке. Для немца он был, пожалуй, чересчур смуглым, хотя, быть может, он просто потемнел с годами от дыма, лишений и плохой погоды. Он отдал честь и, выпятив грудь, вытянулся перед маршалом. Фон Грок медленно поднял на него глаза. И при том, какая

глубокая пропасть разделяла маршала Его высочества, которому подчинялись генералы, и жалкого, побитого жизнью сержанта, эти два человека, единственные в этой истории, поняли друг друга без слов.

— Сержант, — отрывисто сказал маршал, — я видел вас дважды. Первый раз, если мне не изменяет память, когда вы заняли первое место в армии по стрельбе из карабина.

Сержант молча отдал честь.

— А второй раз, — продолжал фон Грок, — на допросе, после того, как вы застрелили эту мерзкую старуху, которая наотрез отказывалась давать нам сведения о засаде. Тогда эта история получила в некоторых кругах громкую огласку. По счастью, многие влиятельные люди были на вашей стороне. В том числе и я.

Сержант во второй раз отдал честь. И вновь молча. А маршал продолжал. Говорил он невыразительно, но на удивление чистосердечно:

— Дело, от которого зависит как безопасность Его высочества принца, так и всего отечества, представили Его высочеству в ложном свете, и Его высочество опрометчиво распорядился отпустить поляка Петровского, которого должны были казнить сегодня ночью. Повторяю, сегодня ночью. Приказываю вам немедленно ехать за фон Шахтом, который везет приказ о помиловании, и остановить его.

— Его вряд ли удастся догнать, Ваше превосходительство, — возразил сержант Шварц. — Фон Шахт — превосходный наездник, к тому же у него самая быстрая лошадь в полку.

— Вы должны не догнать, а остановить его, — возразил Грок. — Остановить человека можно по-разному, — растягивая слова, проговорил маршал. — Можно голосом, а можно и выстрелом. Выстрел из карабина наверняка привлечет его внимание, — уточнил Грок еще более невыразительным голосом.

И в третий раз сержант молча отдал честь. Его суровое лицо по-прежнему оставалось совершенно непроницаемым.

— Мир меняется не от наших слов, — сказал Грок. — Переделывать мир можно не упреками и похвалами, а только делом. Сделанного, говорят, не воротишь. В настоящий момент без убийства нам никак не обойтись. — Маршал метнул на сержанта колючий взгляд своих стальных глаз и добавил: — Я имею в виду Петровского, разумеется.

И тут впервые непроницаемое лицо сержанта Шварца расплылось в мрачной улыбке. Откинув брезентовый козырек палатки, он, как и двое курьеров до него, вышел наружу, вскочил в седло и растворился во мраке.

Последний из трех всадников был еще менее склонен предаваться пустым фантазиям, чем первые двое. Но коль скоро и он до некоторой степени был человеком, мертвая равнина, по которой он скакал темной ночью, да еще с таким поручением,

действовала на него столь же угнетающе. Он словно бы ехал по высокому мосту, под которым разверзлась бездонная и безбрежная пучина, в миллионы раз более страшная, чем море. Здесь ведь нельзя плыть, ни самому, ни в лодке — болото неминуемо затянет вниз. Сержант смутно ощущал присутствие какой-то древней как мир зыбкой субстанции, лишенной всякой формы, не являющейся ни землей, ни водой. В этот момент, мнилось ему, все в природе так же зыбко и непрочно, как эта трясина.

Он был атеистом, как тысячи таких же, как и он, скучных, деловых северных немцев, однако он не принадлежал к тем счастливым язычникам, что воспринимают прогресс человечества как нечто само собой разумеющееся. Мир для него был не зеленым полем, где все распускается, растет, плодоносит, а пропастью, куда со временем, словно в бездонную яму, низвергнется все живое, и эта мысль помогала ему выполнять странные обязанности, возложенные на него в этом чудовищном мире. Серо-зеленые пятна растительности, смотревшие сверху развернутой географической картой, представлялись ему скорее историей болезни, чем историей роста, а водоемы, казалось ему, полны не пресной водой, а ядом. Он помнил, какую суету обычно поднимают все эти гуманисты по поводу отравленных источников.

Впрочем, размышления сержанта, как и всякого, к размышлениям не склонного, вызваны были тем, что этот сугубо практичный человек отчего-то нервничал, испытывал какую-то смутную тревогу. Уходившая вдаль, совершенно прямая дорога казалась ему не только жуткой, но и бесконечной. Странное дело: так долго ехать и даже издали не видеть преследуемого. У фон Шахта, как видно, и впрямь была превосходная лошадь, ведь выехал он немногим раньше. Надежды на то, чтобы догнать фон Шахта, о чем Шварц предупреждал маршала, было мало, однако рассмотреть его вдали он должен был, судя по всему, очень скоро. И вот когда от унылого, пустынного пейзажа повеяло полной безысходностью, сержант наконец увидел того, за кем гнался.

Далеко впереди возникла белая точка, которая постепенно выросла в белую фигурку всадника, стремглав летевшего по равнине. Выросла потому, что прибавил ходу и Шварц, который мчался теперь с такой же бешеной скоростью. Вскоре фигурка увеличилась настолько, что на белом мундире можно было разглядеть оранжевую перевязь, какую носят гусары. Что ж, самому меткому в армии стрелку приходилось поражать цели и поменьше.

Он сдернул карабин, и молчаливые, раскинувшиеся на многие мили вокруг болота содрогнулись от оглушительного грохота, в котором потонул крик поднявшихся в небо птиц. Но сержант Шварц наблюдал не за птицами, а за всадником: даже на таком большом расстоянии видно было, как прямая белая фигурка внезапно скривилась и осела, словно ее переломили пополам.

Теперь она мешком висела на седле, и Шварц, человек зоркий и многоопытный, не сомневался: пуля попала в цель; больше того, он мог поручиться, что пуля попала всаднику прямо в сердце. Вторым выстрелом он уложил коня, а еще через мгновение всадник вместе с лошастью накренились, рухнули вниз, и белое пятно растворилось в темной трясине.

Практичный сержант решил, что дело сделано. Вообще трезво-мыслящие люди его типа, как правило, слишком много думают над тем, как сделать, а потому зачастую не задумываются, что делают. Ведь он предал самое дорогое, что есть в армии — солдатское братство; он убил отважного офицера при исполнении боевого задания; он обманул своего монарха, пренебрег его приказом и хладнокровно убил человека, против которого ничего не имел. Зато он выполнил приказ старшего по чину и способствовал казни поляка. Два последних обстоятельства придавали ему уверенности, когда он, погрузившись в свои мысли, ехал назад доложить маршалу Гроку, что его задание выполнено. А в том, что оно выполнено, не могло быть никаких сомнений. Человек, который вез приказ о помиловании, был безусловно мертв. Если же он каким-то чудом уцелел, то все равно не смог бы на своей мертвой или умирающей лошади добраться до города и предотвратить казнь. Нет, что ни говори, а сейчас всего благоразумнее будет вернуться под крыло своего патрона, которому принадлежал этот дьявольский план. Сержант, человек сильный, решил довериться другому, еще более сильному человеку — великому маршалу.

Маршал и в самом деле был выдающейся личностью — ведь после совершенного им — или по его приказу — чудовищного преступления он счел ниже своего достоинства бояться смотреть правде в глаза и избегать встречи с убийцей. Мало того, не прошло и часа, как они вместе с сержантом поскакали по той же самой дороге. Проехав часть пути, маршал спешил, а своему спутнику приказал ехать дальше. Он хотел, чтобы сержант добрался до города и выяснил, все ли там спокойно после казни, не волнуется ли народ.

— Неужели это здесь, Ваше превосходительство? — еле слышно проговорил сержант. — Мне почему-то казалось, что это гораздо дальше. Когда я ехал, меня, как в кошмарном сне, не покидало ощущение, что эта проклятая дорога не кончится никогда.

— Здесь, — подтвердил Грок, вынул ногу из стремени, тяжело спрыгнул с лошади, подошел к длинному парапету и заглянул вниз.

Над болотами поднялась луна, и в ее ярком, величественном свете из непроницаемого мрака выступила черная вода и зеленая ряска; в камышах, у подножия холма, прямо под насыпью в строгом сиянии луны белели останки одной из лучших лошадей и одного из лучших всадников его бывшего полка. В том, что это

фон Шахт, сомневаться не приходилось: месяц, словно нимбом, осенял вьющиеся светлые волосы юного Арнольда, второго гонца, посланного с приказом о помиловании; тот же таинственный лунный свет выхватил из темноты не только золотые пуговицы и оранжевую перевязь молодого гусара, но и медали, нашивки на мундире, знаки отличия. В ореоле мягкого лунного света убитый напоминал облаченного в белые доспехи сэра Галахада, а над ним, павшим воином с благородным и юным лицом, застыла — по чудовищному контрасту — мрачная фигура безобразного старика, который стоял, облокотившись на парапет, и глядел вниз. Грок вновь снял каску, и хотя он, весьма вероятно, сделал это, дабы почтить память погибшего, при свете луны, упавшей на его гладкий, совершенно лысый череп и длинную шею, он вдруг сделался похож на какого-то жуткого доисторического ящера. Такую сцену мог бы запечатлеть Ропс или какой-нибудь другой живописец гротескной немецкой школы: громадное, бесчувственное чудовище возрилось на поверженного херувима в белой в золоте кольчуге с перебитыми крыльями.

Хотя Грок не прочел молитвы и не пролил слезы над убитым, что-то в его мрачном уме шевельнулось, ведь даже мертвая гладь безбрежных болот иногда шевельнется, точно живая, и, как бывает с такими людьми, когда они испытывают нечто вроде угрызения совести, маршал попытался, бросая вызов безлюдной вселенной и яркой луне, сформулировать свое кредо:

— Воля немца непреклонна и никаким переменам не подвержена. Немец в содеянном не раскаивается никогда. Воля его не подвластна времени, она сродни каменному идолу, чей непроницаемый взгляд устремлен одновременно и вперед, и назад.

Ответом ему была мертвая тишина, которая потешила его холодное тщеславие: он ощутил себя пророком, подавшим голос изваянием. Но вскоре тишину разорвал далекий конский топот, и через мгновение на дороге показался скакавший сломя голову всадник. При свете луны смуглое, изрезанное шрамами лицо сержанта казалось не просто мрачным, а зловещим.

— Ваше превосходительство! — крикнул он, как-то неловко отдавая честь. — Я только что собственными глазами видел поляка Петровского!

— Его еще не похоронили? — обронил маршал, по-прежнему рассеянно смотря вдаль.

— Если его похоронили, значит, он откинул камень и восстал из мертвых.

Сержант, не отрываясь, смотрел на луну и болота, но хотя мечтателем его нельзя было назвать при всем желании, ни луны, ни болот он не видел. У него перед глазами до сих пор стояла залитая ослепительным светом главная улица польского города, по которой ему навстречу быстрым шагом шел Павел Петровский, собственной персоной, целый и невредимый. Не узнать его было невозможно: стройный, вьющиеся волосы, борода кли-

нышком на французский манер — в иллюстрированных журналах и альбомах печаталось великое множество его фотографий. А улицы города были увешаны флагами, запружены ликующими толпами; впрочем, горожане были настроены вполне миролюбиво, ведь они праздновали освобождение своего кумира.

— Вы хотите сказать, — вскричал Грок охрипшим от волнения голосом, — что его посмели выпустить из тюрьмы вопреки моему приказу?!

— Когда я приехал, его уже выпустили, — еще раз прикладывая руку к козырьку, выпалил Шварц. — И никакого приказа они не получали.

— Не пытаетесь ли вы убедить меня в том, что гонца из нашего лагеря не было вовсе?

— Именно так, — отозвался сержант.

— Так что же, черт возьми, произошло?! — прохрипел Грок после еще более продолжительной паузы. — Как бы вы объяснили случившееся?

— Я кое-что видел, — ответил сержант, — и думаю, смогу объяснить случившееся.

Тут мистер Понд умолк. Его лицо в этот момент до обидного ничего не выражало.

— А вы-то сами можете объяснить, что же все-таки произошло? — нетерпеливо спросил Гэхеген.

— Мне кажется, да, — скромно сказал Понд. — Видите ли, когда сведения об этом случае дошли до моего отдела, мне пришлось самому в нем разбираться. Все произошло, как я уже говорил, из-за чрезмерной прусской исполнительности. А также из-за чванства, еще одного чисто прусского недостатка. Ведь из всех страстей, что ослепляют, сводят с ума и сбивают с пути, худшая, наименее пылкая из всех, — чванство.

Со своими подчиненными Грок держался заносчиво. Он терпеть не мог дураков, даже если дураками были офицеры его штаба. К фон Гохеймеру, первому курьеру, он относился как к мебели только потому, что у того был дурацкий вид; на самом же деле лейтенант был совсем не так уж глуп. Что хотел от него маршал, он понял ничуть не хуже циничного сержанта, который такие подлые приказы выполнял всю жизнь. Гохеймер прекрасно понимал, какой оригинальной жизненной позиции придерживается маршал: поступок неопровержим, даже если он недопустим. Он знал, труп Петровского маршалу нужен любой ценой, даже если бы ради этого пришлось обмануть всех на свете принцев и уничтожить всех на свете солдат. Услышав за спиной приближающийся стук копыт, он понял не хуже самого Грока, что второй курьер везет приказ принца о помиловании. Фон Шахт, совсем еще молодой, но отважный офицер, воплощение благородного германского духа, которому в этой истории, увы, не отдали должного, повел себя в данной ситуации как и подобает вестнику доброй воли. Держась в седле с искусством истинного

рыцаря, он нагнал первого курьера и голосом, не менее громоподобным, чем труба герольда, приказал ему остановиться и повернуть коня. И фон Гохеймер повиновался. Он остановил лошадь, повернулся в седле, но рука его незаметно легла на курок карабина, и юноша был убит наповал.

Затем он повернул коня и поехал дальше, со смертным приговором в кармане. За его спиной лошадь и всадник рухнули в болото, и дорога вновь опустела. И вот по этой пустой дороге следом за первыми двумя курьерами пустился в путь третий. Дорога почему-то показалась ему бесконечно длинной. Он скакал в полном одиночестве до тех пор, пока не увидел впереди всадника, который, словно белая звезда, маячил в отдалении. Убедившись, что на всаднике гусарская форма, он тоже спустил курок. Только убил он не второго курьера, а первого.

Вот почему в ту ночь в польский город не прибыл ни один курьер. Вот почему заключенного выпустили живым на свободу. Вот почему я не ошибся, когда сказал, что у фон Грока оказалось слишком много преданных слуг.

ПЕРСТЕНЬ ПРЕЛЮБОДЕЕВ

— Как я уже говорил, — закончил мистер Понд одно из своих интересных, хотя и несколько растянутых повествований, — друг наш Гэхеген — очень правдивый человек. А если придумает что-нибудь, то без всякой для себя пользы. Но как раз эта правдивость...

Капитан Гэхеген махнул затянутой в перчатку рукой, как бы заранее соглашаясь со всем, что о нем скажут. Сегодня он был настроен веселее, чем обычно; яркий цветок празднично пламенел в его петлице. Но сэр Хьюберт Уоттон, третий в этой небольшой компании, внезапно насторожился. В отличие от Гэхегена, который несмотря на свой сияющий вид казался довольно рассеянным, он слушал мистера Понда очень внимательно и серьезно; а такие неожиданные, нелепые заявления всегда раздражали сэра Хьюберта.

— Повторите, пожалуйста, — сказал он не без сарказма.

— Это ведь так очевидно, — настаивал мистер Понд. — Настоящие лгуны никогда не лгут без всякой для себя пользы. Они лгут умно и с определенной целью. Ну зачем, спрашивается, Гэхегену было говорить, что он видел однажды шесть морских змиев, один другого длиннее, и что они поочередно проглатывали друг друга, а последний уже открыл пасть, чтобы проглотить корабль, но оказалось, что он просто зевнул после слишком сытного обеда и тут же погрузился в сон. Не буду останавливать ваше внимание на том, сколько строгой, математической симметрии в этой картине: каждый змий зевает внутри другого змия, и каждый змий засыпает внутри другого змия — кроме самого маленького, голодного, которому пришлось вылезти и отправиться на поиски обеда. Повторяю, вряд ли, рассказывая это, Гэхеген преследовал какую-нибудь цель. Вряд ли также эту историю можно назвать умной. Трудно предположить, чтобы она способствовала светским успехам рассказчика или прославила его как выдающегося исследователя. Ученый мир (право, не знаю

почему) относится с недоверием к рассказам даже об одном морском змие; что уж говорить об этой версии!

Или еще: помните, Гэхеген говорил нам, как он был миссионером Свободной церкви и проповедовал сначала в молельнях нонконформистов, затем в мусульманских мечетях и, наконец, в монастырях Тибета. Особенно теплый прием оказали ему члены некоей мистической секты, пребывавшие в крайней степени религиозного экстаза. Ему воздали божеские почести; но вскоре выяснилось, что люди эти были яркими приверженцами человеческих жертвоприношений и рассматривали его как свою будущую жертву. Эта история также не могла принести Гэхегену никакой пользы. Вряд ли человек, отличавшийся в прошлом такой веротерпимостью, преуспеет в нынешней своей профессии. Я подозреваю, что рассказ этот надо понимать как притчу или аллегорию. Но, так или иначе, он не мог принести рассказчику пользы. С первого взгляда ясно, что это выдумка. А когда перед нами явная выдумка — очевидно, что это не ложь.

— Представьте себе, — перебил его Гэхеген, — что я собираюсь рассказать вам вполне достоверную историю.

— А я отнесусь к ней очень и очень подозрительно, — угрюмо заметил Уоттон.

— Вам покажется, — сказал Гэхеген, — что я выдумываю? Почему?

— Потому, что она наверняка будет похожа на выдумку, — отвечал Уоттон.

— А не кажется ли вам, — задумчиво спросил Гэхеген, — что жизнь и вправду нередко похожа на вымысел?

— Мне кажется, — ответил Уоттон с язвительностью, которую ему на сей раз не удалось скрыть, — что я всегда сумею определить разницу.

— Вы правы, — сказал Понд, — и разница, по-моему, вот в чем. Жизнь подобна вымыслу только в частностях, но не в целом, как будто собраны вместе отрывки из разных книг. Когда все очень уж хорошо пригнано и увязано, мы начинаем сомневаться. Я мог бы даже поверить, что Гэхеген видел шесть морских змиев. Но я ни за что не поверю, что каждый из них был больше предыдущего. Вот если бы он сказал, что первый был крупнее второго, маленького, третий — опять побольше, он еще мог бы нас провести. Мы часто говорим про те или иные жизненные ситуации: «Совсем как в книге». Но они никогда не кончаются, как в книге; во всяком случае, конец их — из других книг.

— Понд, — начал Гэхеген, — иногда мне кажется, что вы ясновидящий или прорицатель. Как странно, что вы это сказали. То, чему я был очевидцем, походило на вымысел, с одной только разницей: уже знакомый мне сюжет мелодрамы внезапно оборвался, и началась новая, более мрачная мелодрама или трагедия. Временами мне казалось, что я стал действующим лицом какого-то детективного рассказа, а потом вдруг оказывалось, что

это уже совсем не тот, а другой рассказ. Как в туманных картинах или в кошмаре. Нет, именно в кошмаре.

— Почему «именно»? — спросил Уоттон.

— Это страшная история, — тихо сказал Гэхеген, — но теперь она уже не кажется такой страшной.

— Ну, конечно, — кивнул Понд. — Теперь вы счастливы и хотите рассказать нам страшную историю.

— А что значит «теперь»? — снова спросил Уоттон.

— Это значит, — отвечал Гэхеген, — что сегодня утром я стал женихом.

— Черт вас... Прошу прощенья, — буркнул Уоттон, краснея. — Разрешите вас поздравить, конечно, и все прочее... Только при чем здесь кошмар?

— Тут есть прямая связь, — задумчиво произнес Гэхеген. — Но вы ведь хотите послушать ту, страшную историю, а не эту, счастливую. Да, это была таинственная история. Во всяком случае — для меня. Все же в конце концов я ее понял.

— И когда вам надоест говорить загадками, вы сообщите нам разгадку?

— Нет. Разгадку сообщит Понд, — коварно ответил Гэхеген. — Видите, он уже гордится, что угадал так много, еще не выслушав моей истории. Если он не сумеет закончить ее после того, как услышит... — Гэхеген оборвал фразу и заговорил снова, более серьезным тоном: — Все началось с холостяцкого обеда у лорда Кроума; мы, собственно, были приглашены не на обед, а на коктейль к его жене. Леди Кроум — высокая, стройная женщина; у нее маленькая гордая головка и темные волосы. Ее муж — полная ей противоположность. И в прямом, и в переносном смысле можно сказать, что он человек с головой. Представьте себе длинное, словно топором высеченное лицо; и кажется, тот же топор высек его голову, всю его фигуру, маленькую и незначительную. Он человек сдержанный и в тот вечер казался рассеянным и немного усталым, — должно быть, его утомили разряженные дамы, которые так и вились вокруг прекрасной хозяйки дома, похожей на стремительную гордую птицу. Возможно, именно поэтому он захотел отдохнуть в более спокойном, мужском обществе. Так или иначе, он попросил нескольких гостей остаться и отобедать с ним. В том числе и меня; но несмотря на это общество было избранное.

Да, избранное; хотя впечатление создавалось такое, что никто намеренно не подбирал его. Имена гостей были достаточно известны; и все же казалось, что лорд Кроум вспомнил их случайно. Первым, на кого я обратил внимание, был капитан Блэнд. Его считают одним из самых блестящих офицеров британской армии. По-моему, он к тому же и самый глупый; вероятно, это необходимо для каких-то стратегических целей. Он великолепен, как статуя Геракла из золота и слоновой кости, и в военное время примерно так же полезен. Я как-то сказал ему, что он

напоминает мне статую из слоновой кости, а он решил, что я сравниваю его со слоном. Вот оно, хваленое образование «белого господина»! Рядом с ним сидел граф Кранц, венгерский ученый и общественный деятель. Он говорит на двадцати семи языках, в том числе на языке философии. Интересно, на каком он беседует с капитаном Блэндом? По другую сторону от Кранца сидел офицер примерно того же типа, что Блэнд, только посмуглее, и постройнее, и не такой надутой, — майор Вустер из какого-то бенгальского полка. Лексикон его тоже не слишком богат, он состоит из одного латинского глагола *polo, polas, polat* — я играю в поло, ты играешь в поло, он играет в поло или (как отрицательная характеристика) — он не играет в поло. Эта игра пришла с Востока; мы угадываем игроков в поло сквозь тонкие золотые линии замысловатых рисунков на полях восточных рукописей. Что-то восточное было и в самом Вустере: так и видишь, как он, словно тигр, продирается сквозь джунгли. Эти двое более или менее подходили друг к другу, потому что Кранц тоже смугл и красив; у него черные, по-ассирийски изогнутые брови, а длинная темная борода похожа на раскрытый веер или на пышный хвост какой-то птицы. Я был соседом Вустера, и мы довольно оживленно беседовали. По другую руку от меня сидел сэр Оскар Маруэлл, знаменитый театральный деятель, весьма изысканный и величественный, с римским носом и кудрями олимпийца. С ним трудно было найти общий язык. Сэр Оскар Маруэлл желал говорить только о сэре Оскаре Маруэлле, а других совсем не интересовала эта тема. Был там еще новый помощник министра иностранных дел, Питт-Палмер, весьма сдержанный молодой человек, похожий на бюст императора Августа. Он-то уж несомненно получил настоящее классическое образование и с легкостью цитировал античных авторов. В числе гостей находились итальянский певец (я не запомнил его фамилию) и польский дипломат (его фамилию никто не способен запомнить). И, глядя на них, я все время твердил про себя: «Ну и коллекция!»

— Я знаю эту историю, — уверенно заявил Уоттон, — шутник-хозяин для забавы собирает у себя самых не подходящих друг к другу людей, чтобы послушать, как они ссорятся. Очень хорошо описано у Антони Беркли, в одном из его детективных романов.

— Нет, — сказал Гэхеген, — по-видимому, это вышло случайно, и Кроум отнюдь не собирался ссорить своих гостей. Напротив, он был чрезвычайно любезным хозяином и скорее не давал им поссориться. Так, например, он очень умно завел разговор о фамильных драгоценностях. Все приглашенные, как они ни отличались друг от друга, были сравнительно богатыми людьми из так называемых «хороших семейств», и эта тема представляла более или менее общий интерес. Польский дипломат, лысый человек с изысканными манерами и бесспорно самый остроум-

ный из гостей, рассказал забавную историю о злоключениях медали Собесских, которая попала сперва к еврейскому ростовщику, потом к прусскому солдату и, наконец, очутилась у казацкого атамана. Не в пример разговорчивому лысому поляку его сосед-итальянец был молчалив и угрюмо поглядывал по сторонам из-под шапки черных волос.

— Какой интересный у вас перстень, лорд Кроум, — учтиво заметил польский дипломат. — Такие перстни обычно очень старинные. Мне кажется, я бы с большим удовольствием носил перстень епископа или, еще лучше, перстень папы. Но только, знаете, все эти утомительные церемонии, к тому же обет безбрачия, а я . . . — И он пожал плечами.

— Конечно, это неприятно, — угрюмо улыбнулся лорд Кроум. — Что касается перстня... да, с ним связано довольно много интересных событий в нашей семье. Подробно я о нем ничего не знаю; но несомненно это шестнадцатый век. Не хотите ли посмотреть? — Он снял с пальца массивный перстень с темно-красным камнем и протянул его сидящему рядом поляку. Камень обрамляли рубины необычайной красоты, а в центре его была вырезана эмблема — сердце и роза. Перстень стали передавать из рук в руки, и, когда он дошел до меня, я разобрал надпись на старофранцузском языке — что-то вроде: «От любящего — любимой».

— Видимо, это связано с какой-то романтической историей в вашей семье, — предположил венгерский граф. — Должно быть, она произошла веке в шестнадцатом... А что это была за история, вы не знаете?

— Нет, — сказал Кроум, — но думаю, что перстень связан, как вы правильно заметили, с какой-то семейной драмой.

Заговорили о любовных историях XVI века; и вдруг Кроум спросил, очень вежливо, не видел ли кто-нибудь из нас, куда делся перстень.

— О, — воскликнул Уоттон, захлебнувшись от восторга, словно школьник, разгадавший секрет фокусника. — Я уже все знаю! Совсем как в детективном рассказе! Кольцо исчезло, и решили обыскать всех гостей, а один из них не дал себя обыскать. И у него были на то ужасно романтические причины!

— Вы правы, — сказал Гэхеген, — правы, но не совсем. Кольцо пропало. Нас обыскали. Мы настаивали на этом. Никто не протестовал. И все-таки кольцо исчезло.

Он резко повернулся и положил локоть на спинку кресла; затем продолжал:

— Я и сам об этом подумал. Мне тоже показалось, что все мы — персонажи романа, и притом довольно устарелого. С той только разницей, о которой говорил Понд: конец был не тот, один роман переходил в другой. Когда перстень исчез, нам уже подали кофе. Весь этот дурацкий обыск занял очень мало времени, и кофе еще не остыл; но Кроум приказал принести горячий.

Мы просили его не беспокоиться, но он все-таки позвал дворецкого, и они довольно долго о чем-то шептались. И как раз в ту минуту, когда Питт-Палмер поднес к губам свою чашку, Кроум резко вскочил, и голос его хлестнул нас, как удар бича.

— Не пейте, джентльмены! — крикнул он. — Кофе отравлен!

— Черт знает что! — перебил Уоттон. — Совсем другой рассказ! Гэхеген, вы уверены, что это было наяву? Наверно, начитались старых журналов, и в голове у вас все перепуталось. Кто из нас не читал рассказов об отравлениях!

— В данном случае все кончилось куда более странно, — спокойно сказал Гэхеген. — Все мы, конечно, застыли на месте, словно каменные статуи. Только молодой Питт-Палмер встал — на его холодном, строгом лице не было и тени волнения — и спокойно сказал:

— Простите. Я не хочу, чтобы мой кофе остыл. — Он залпом осушил свою чашку, и, клянусь Богом, лицо его немедленно почернело, точнее, оно прошло гамму каких-то жутких оттенков; он страшно захрипел и рухнул на пол.

Конечно, мы не поверили своим глазам. Но венгерский ученый был доктором медицины; кроме того, вызвали местного врача, и он тоже констатировал смерть.

— Вы хотите сказать, — перебил Уоттон, — что врачи признали отравление?

Гэхеген покачал головой.

— Я хочу сказать, — повторил он, — что они признали смерть.

— От чего же он умер, если отравления не было?

— Он умер от удущья, — сказал Гэхеген и нервно вздрогнул. Несколько минут все молчали. Наконец Уоттон проговорил:

— Я ничего не понимаю. Кто отравил кофе?

— Никто. Кофе не был отравлен, — ответил Гэхеген. — Лорд Кроум просто хотел обследовать наши чашки, пока мы еще к ним не прикасались. Несчастный Питт-Палмер положил в свой кофе очень большой кусок сахара. Сахар должен был растаять. Но есть вещи, которые не тают.

Сэр Хьюберт Уоттон уставился в одну точку. Наконец в его глазах засветилась какая-то мысль, трезвая, хотя и несколько запоздавая.

— Вы хотите сказать, — начал он, — что Питт-Палмер спрятал кольцо в чашке еще до обыска. Другими словами, вором был Питт-Палмер?

— Питт-Палмер скончался, — серьезно сказал Гэхеген, — и мой долг — защищать его память. Несомненно, он поступил дурно. Теперь я понимаю это гораздо лучше, чем раньше. Вы можете думать что угодно о его поступке. Многие поступают не лучше. Но вором он не был.

— Объясните вы наконец, что все это значит? — вспылил Уоттон.

— Н е т , — ответил Гэхеген, и внезапно его напряженное состояние сменилось усталостью и л е н ь ю . — Я передаю слово мистеру Понду.

— Да ведь Понда там не было! — резко сказал Уоттон.

— Конечно,— сонно ответил Гэхеген, — но по тому, как он нахмурился, я вижу, что он все знает. А кроме того, я уже наговорился и уступаю очередь другому.

Он закрыл глаза, и такое безнадежное спокойствие было в его позе, что бедняге Уоттону, совсем сбитому с толку, пришлось обратиться к третьему собеседнику.

— Вы правда что-нибудь знаете? — спросил он П о н д а . — Что он имел в виду, когда сказал, что человек, спрятавший кольцо, не был вором?

— Кажется, я в самом деле кое-что у г а д а л , — скромно заметил мистер П о н д . — Но лишь потому, что все время помнил наш разговор о вымысле и действительности — о том, как сбивает человека их мнимое сходство. Действительные происшествия никогда не бывают так законченны, как вымышленные. Все несчастье в том, что когда какое-нибудь событие в действительной жизни напоминает нам знакомый роман, мы невольно думаем, что знаем все об этом событии, потому что знаем роман. Мы идем по проторенной дорожке привычного сюжета, и нам кажется, что все перипетии в жизни будут такими же, как эти хорошо знакомые нам перипетии романа. Внутренним взором мы видим все развитие сюжета и не можем взять в толк, что сюжет уже другой. Мы предвосхищаем события, описанные в книге, и ошибаемся. Допустите неверное начало, и вы не только дадите неверный ответ — вы поставите неверный вопрос. В данном случае вы столкнулись с тайной, но ищете разгадку не этой, а другой тайны.

— Гэхеген сказал, что вы беретесь все объяснить, — не без иронии заметил Уоттон. — Разрешите спросить вас: следует ли считать объяснением ваши слова? Это и есть разгадка тайны?

— Тайна перстня,— сказал мистер П о н д , — не в том, куда он исчез, а в том, откуда он взялся.

Уоттон пристально посмотрел на него и сказал совсем другим тоном:

— Продолжайте.

И мистер Понд продолжал:

— Гэхеген сказал правду — бедняга Питт-Палмер не был вором. Питт-Палмер не крал кольца.

— Черт возьми,— взорвался Уоттон, — кто же тогда его украл?

— Кольцо украл лорд К р о у м , — сказал мистер Понд.

Некоторое время все трое молчали. Наконец Гэхеген встал и произнес, сонно потягиваясь:

— Я знал, что вы поймете.

Мистер Понд пояснил кротким, почти извиняющимся тоном:

— Но, видите ли, ему пришлось пустить перстень по рукам, чтобы узнать, у кого он его украл.

Он помолчал; а потом — как всегда рассудительно и логично — заговорил:

— Как я уже сказал, многое кажется вам заранее предопределенным только потому, что об этом рассказано во многих книгах. Когда за обедом хозяин показывает гостям какую-нибудь вещь, вы заранее убеждены, что она принадлежит ему или кому-нибудь из его семьи, что это — фамильная реликвия, потому что так бывает в книгах. Но лорд Кроум имел в виду нечто куда более дурное и темное, когда так зловеще сказал, что перстень связан с романтической историей в его семье.

Лорд Кроум украл кольцо. Он перехватил письмо, адресованное его жене, и нашел там только этот перстень. Адрес был напечатан на машинке; хотя, конечно, не мог же он знать почерк всех своих знакомых. Зато он знал старинную надпись, вырезанную на камне. Такая надпись могла быть сделана только с одной целью. Он собрал гостей, чтобы выяснить, кто послал перстень, другими словами — кто его владелец, понимая, что тот попытается вернуть свою собственность, чтобы предотвратить скандал и скрыть улику. Вероятно, того, кто послал письмо, можно назвать негодяем, но не вором. У язычников, например, он считался бы героем. Не случайно его холодное, волевое лицо напоминало маску императора Августа. Сперва он сделал самое простое и вместе с тем самое благоразумное — бросил кольцо в черный кофе, притворяясь, что кладет сахар. Так он скрыл его, хотя бы ненадолго, и мог спокойно подвергнуться обыску. Когда лорд Кроум крикнул, что кофе отравлен, и все походило уже на кошмар, мы просто присутствовали при последнем отчаянном ходе хозяина, разгадавшего уловку гостя. Кроум понял, что перстень брошен в одну из чашек, и хотел немедленно их обследовать. Но человек с холодным лицом предпочел страшную смерть, — он проглотил перстень и задохся, пытаясь сохранить свою тайну, вернее — тайну леди Кроум. Безумный поступок, но ничего другого ему не оставалось. Во всяком случае, Гэхеген прав, и наша обязанность — защитить от клеветы память несчастного Палмера. Нельзя называть вором джентльмена, который умер, проглотив собственное кольцо.

Закончив свою речь, мистер Понд деликатно кашлянул. Сэр Хьюберт Уоттон не сводил с него глаз; разгадка озадачила его еще больше, чем загадка. Он медленно поднялся; казалось, он стяхивает с себя дурной сон. Но он твердо знал, что это не сон, а явь.

— Ну, мне пора, — сказал он со вздохом облегчения. — Надо еще побывать в Сити, боюсь, что я и так опоздал. Кстати, если все, что вы рассказали, правда, это, видимо, случилось совсем недавно. Насколько мне известно, в прессе не было сообщения

о самоубийстве Питт-Палмера, во всяком случае — сегодня утром еще не было.

— Это случилось вчера вечером, — проговорил Гэхеген, медленно встал с кресла и попрощался с сэром Хьюбертом.

Когда Уоттон ушел, двое других долго молчали, серьезно глядя друг на друга.

— Это случилось вчера вечером, — повторил Гэхеген. — Вот почему я сказал, что это связано с тем, что случилось сегодня утром. Сегодня утром я сделал предложение Джоан Варни.

— Да, — согласился Понд, — мне кажется, я понимаю.

— Я уверен, что понимаете, — сказал Гэхеген. — И все же я попытаюсь вам объяснить. Знаете ли вы, что смерть бедняги Питт-Палмера была еще не самым страшным? Это дошло до меня позднее, когда я был уже в полумиле от проклятого дома. Я понял, почему меня пригласили на обед.

Он замолчал и, стоя спиной к Понду, долго смотрел, как за окном бушевала непогода. Должно быть, это зрелище изменило ход его мыслей, ибо, когда он заговорил снова, казалось, что он говорит о другом; на самом же деле речь шла о том же.

— Я ведь не рассказал вам, как мы пили перед обедом коктейли в саду у леди Кроум. Не рассказал, потому что чувствовал: пока вы не знаете развязки, вы не поймете. Это звучало бы как пустая болтовня о погоде. Погода была плохая, как и сегодня, только ветер дул еще сильнее; а теперь, кажется, буря прошла. И в воздухе в тот день что-то нависло. Конечно, это было просто совпадение, но иногда погода помогает человеку острее почувствовать свое душевное состояние. Небо над садом было странное, зловещее, предгрозовое; последние лучи солнца как молнии прорезали его. Дом с колоннами, еще освещенный тусклым светом, белел на фоне тяжелой тучи, то ярко-синей, словно индиго, то фиолетовой, как чернила. И, помню, я даже вздрогнул: вдруг мне как-то по-ребячески представилось, что Питт-Палмер — белая мраморная статуя, неотъемлемая часть дома. Других предзнаменований было немного — никто не сказал бы, что леди Кроум похожа на статую. Когда она проходила по саду, казалось, горделиво пролетает райская птица. И все же, хотите — верьте, хотите — нет, с самого начала я чувствовал себя плохо, и физически и духовно, особенно — духовно. Когда мы вошли в дом и портьеры столовой отрезали нас от внешнего мира, где бушевала буря, на душе у меня стало еще тяжелее. Портьеры были старомодные, темно-красные, с золотыми кистями, и мне показалось, что все здесь пропитано одноцветной, темной жидкостью. О разъяренном человеке говорят, что у него все красно перед глазами. А для меня все стало темно-красным. Это довольно точно передает мое ощущение, ибо сначала было только ощущение, я ни о чем не догадывался.

Затем у меня на глазах случилось то, страшное. Я вижу темно-красное вино в графинах и тусклый свет затененных ламп. Мне казалось, что я исчез, растворился; я почти не ощущал самого себя. Конечно, всем нам пришлось отвечать на вопросы следователя. Но я не хочу сейчас говорить об этой официальной возне, такой чудовищной рядом с трагедией. Времени на это ушло немного, ведь самоубийство было очевидно; и гости двинулись в ночное ненастье. Когда они шли через сад, мне почудилось, что это другие люди, что их очертания изменились. После той страшной смерти, в духоте ночи, в удушливом, грязном тумане ненависти, я видел их не так, как раньше; может быть, мне открылась их подлинная сущность. Они уже не казались мне разными; напротив, была в них преувеличенная, зловещая близость — как будто они составляли какое-то отвратительное тайное общество. Конечно, это была просто болезненная иллюзия, они сильно отличались друг от друга, но в чем-то они были очень похожи.

Польский дипломат нравился мне больше других. Он был остроумен и прекрасно воспитан. Но я знал, что он имел в виду, когда так учтиво отказался от папской тиары, требующей обета безбрачия. Кроум тоже знал и потому так зловеще улыбнулся. Сравнительно приятным был и майор Вустер, проживший много лет в Индии. Но что-то подсказывало мне, что он настоящий сын джунглей и ему доводилось охотиться не только на тигров, а если сравнивать с тигром его с а м о г о, — не только на ланей. Был среди гостей и венгерский ученый с ассирийскими бровями и ассирийской бородой. Бьюсь об заклад, он скорее семит, чем мадьяр. Но, так или иначе, у него были толстые красные губы, и выражение его миндалевидных глаз совсем не нравилось мне. Он был, пожалуй, хуже всех, собравшихся в тот вечер. О Блэнде я ничего дурного сказать не могу, разве что он слишком туп и ни о чем не способен думать, кроме как о собственном теле. У него не хватает ума даже на то, чтобы понять, что у человека вообще есть ум. Все мы знаем сэра Оскара Маруэлла. Я вспоминаю сейчас, как он шел по саду; его отороченный мехом плащ бился и хлопал на ветру, и казалось, что эхо далеких аплодисментов летит за ним, что ему хлопают восторженные поклонники или, вернее, восторженная толпа глупых поклонниц. А итальянский тенор был удивительно похож на английского актера. Хуже, по-моему, ничего не скажешь.

Но в конце концов общество все же было избранное. Гостей подбирали очень умный человек, хотя, возможно, почти помешанный. Если допустить, что у леди Кроум был любовник, вернее всего его было искать среди этих шестерых. Затем я подумал о себе самом и в ужасе остановился. Я понял, почему оказался среди них. Кроум тщательно отобрал и попросил остаться на обед самых известных волокит Лондона. И он почтил приглашением меня!

Вот, значит, кто я такой. Или, вернее, вот кем считают меня.

Денди, развратник, соблазнитель, волочащийся за чужими женами... Вы знаете, Понд, что на самом деле я не так уж испорчен. Но, может быть, и те, другие, не были подлецами. Все мы были невиновны; и все же туча над садом давила нас, словно приговор. Я не был виновен и тогда, раньше — помните, когда меня чуть не повесили за то, что я часто виделся с женщиной, в которую даже не был влюблен. И тем не менее все мы заслужили кару. Атмосфера вокруг нас была порочна: люди прошлого века называли это духом распутства; нахальные газетчики называют сексуальностью. Вот почему я был близок к виселице. Вот почему в доме, из которого я только что ушел, осталось мертвое тело. И я услышал тяжелую поступь старинных строк о самой прекрасной из всех незаконных любовей. Звонком металла отдались в моих ушах слова Гиневры, расстающейся с Ланселотом:

Ты от греховной жизни жди
Раздора, смуты, и нужды,
И зла, и смерти, и беды.

Я ходил по краю пропасти и не отдавал себе в этом отчета, пока два приговора не поразили меня как гром среди ясного неба. Однажды судья в черной шапочке и кроваво-красной мантии уже почти произнес приговор: «Быть повешенным за шею, пока не умрет». Второй приговор был еще страшнее: меня пригласили на обед к лорду Кроуму.

Он продолжал смотреть в окно. Но мистер Понд все-таки услышал неясное бормотанье, словно гром грохотал где-то вдали: «И зла, и смерти, и беды».

Наступило молчание. Наконец Понд сказал очень тихо:

— Просто вам нравилась незаслуженная дурная слава.

Гэхеген круто обернулся; его огромная спина заслонила окно. Он был очень бледен.

— Вы правы. Я хотел, чтобы меня считали распутным, — сказал он. — Вот до чего я дошел!

Он сделал попытку улынуться и продолжал:

— Да. Это мелкое, грязное тщеславие, которое хуже всех пороков, привлекало меня сильнее, чем любой порок. Сколько людей продали душу за восхищение дураков! Я едва не продал душу за то, чтобы дураки клеветали на меня. Считаться опасным человеком, подозрительной личностью, грозой честных семейств — вот на что я растрчивал жизнь, вот из-за чего чуть не потерял любовь. Я бездельничал, проводил время в праздности, лишь бы не утратить своей дурной славы. И она едва не довела меня до виселицы.

— Так я и думал, — сказал мистер Понд и чопорно поджал губы. А Гэхеген взволнованно продолжал:

— Я был лучше, чем казался. Но это значило только, что я богохульствовал, хотел казаться хуже, чем был. И еще это значило, что я был хуже тех, кто предавался пороку,

ибо я восхищался им. Да, восхищался своей мнимой порочностью. Я был лицемером нового типа. Мое лицемерие было данью, которую добродетель платит греху.

— Насколько я понимаю, — сказал Понд (тон его был холоден и бесстрастен и все же всегда оказывал на собеседника удивительно успокаивающее действие), — насколько я понимаю, теперь вы совсем вылечились.

— Да, вылечился, — мрачно ответил Гэхеген. — Для этого понадобились две смерти и угроза виселицы. Но главное вот в чем: от какой болезни я вылечился? Вы поставили совершенно правильный диагноз, дорогой доктор, — если разрешите мне вас так называть. Скандальная слава доставляла мне тайное наслаждение.

— А теперь, — сказал мистер Понд, — другие соображения вернули вас на тернистую тропу добродетели.

Гэхеген внезапно рассмеялся, нервно и тем не менее радостно. Первые его слова, вероятно, многим показались бы странным продолжением этого смеха.

— Знаете, я исповедовался сегодня утром, — сказал он, — и к вам я тоже пришел исповедаться: в том, что не убивал того человека; в том, что не был любовником его жены. Одним словом, я признаюсь, что я обманщик, что я никому не опасен... Когда я понял все это, мне стало совсем легко, хорошо, как в детстве; и тогда я отправился... ну, я думаю, вы сами знаете, куда я отправился. Есть девушка, с которой я давно должен был бы объясниться, и я всегда хотел это сделать. Парадокс, не так ли? Только куда глупее ваших парадоксов, Понд.

Мистер Понд тихонько засмеялся, как смеялся всегда, когда ему рассказывали то, что он давно понял сам. Он был не так уж стар и не так уж чопорен, как могло показаться, и сразу представил себе, более или менее точно, чем кончится порядком надоевший ему роман капитана Гэхегена.

Мы уже говорили о том, как часто разные истории запутываются в клубок и один сюжет переходит в другой, особенно если это правдивые истории. По началу этого рассказа можно было предположить, что он должен кончиться тем, с чего начался, то есть трагическим и скандальным происшествием в доме лорда Кроума, неожиданной гибелью Питт-Палмера, многообещающего политического деятеля. Рассказ следовало бы завершить описанием его торжественных похорон. Мы должны были бы поведать о хоре восхвалений в официальной прессе; о велеречивых соболезнованиях, возложенных на его могилу руководителями всех партий, представленных в парламенте, — от превосходной речи лидера оппозиции, начинавшейся словами: «Какими бы различными ни были наши политические взгляды», до еще более превосходного (если это возможно) заявления лидера правитель-

ственной партии: «Хотя все мы прекрасно знаем, что успех нашего дела не зависит даже от самой выдающейся личности, я все же выражаю глубочайшее сожаление...»

Как бы то ни было, отступив от основной линии рассказа, мы не станем описывать похороны Питт-Палмера, а перейдем к женитьбе Гэхегена. Уже было сказано, что страшное происшествие вернуло капитана к старой любви (надо заметить, что старая его любовь была достаточно молода). Некая мисс Вайолет Варни занимала в то время выдающееся положение в театральном мире; слово «выдающееся» мы выбрали со всей осторожностью из ряда других возможных прилагательных. С точки зрения света мисс Джоан Варни была сестрой мисс Вайолет Варни. С точки зрения капитана Гэхегена — разумеется, извращенной и субъективной — мисс Вайолет Варни была сестрой мисс Джоан Варни; и нельзя сказать, что его очень радовало это родство. Он любил Джоан; но терпеть не мог Вайолет. Впрочем, нам нет надобности вдаваться в подробности этой, совсем другой, истории. Ведь все это уже описано в Библии.

Достаточно будет сказать, что в то сияющее, светлое утро, наступившее после ночной грозы, капитан Гэхеген вышел из церкви в маленьком переулке и весело направился к дому, где жили сестры Варни. В садике возле дома он нашел мисс Джоан и сказал ей многое и весьма важное для них обоих. Когда мисс Вайолет Варни услышала, что младшая ее сестра помолвлена с капитаном Гэхегеном, она немедленно отправилась в театральный клуб и устроила себе помолвку с одним из подходящих к случаю кретинов достаточно высокого происхождения. Со свойственным ей благоразумием она расторгла ее примерно через месяц. Но главное было сделано: газеты сообщили о ее помолвке раньше, чем о помолвке сестры.

Из сборника «Рассказы, эссе, стихи»

ДЕРЕВЯННЫЙ МЕЧ

В деревне Грейлинг-Эббот еще не знали, что началось Новое время, то время, в котором живем и мы. Никто не подозревал, что все именуемое «современным» прокралось в Англию. Собственно, этого не знали толком и в Лондоне, хотя человека два поумней — лорд Кларендон и, наверное, принц Руперт, печальный любитель химии, — чувствовали, что самый воздух изменился.

Более того, по всем признакам, вернулось Старое время. Вернулось Рождество; пало страшное воинство; молодой темнолицый человек с веселой насмешливой улыбкой, которому кричали «ура!» от Дувра до Уайтхолла, возвратил Англии кровь королей. Все говорили, что пришло доброе старое время; особенно же верили в это жители сомерсетской деревни. Но темнолицый человек в это не верил. Веселый король знал, что при нем веселым временам не бывать. Не без причины считал он свою жизнь комедией, ибо комедия — единственная поэзия компромисса. Он понимал, что сам он — компромисс и, как принц Руперт, развлекался игрушками, которым было суждено превратиться в страшные детища нынешней науки. Так играют с тигрятами, пока они не больше таксы.

В деревне Грейлинг-Эббот было много легче верить в возвращение старых времен. Отсюда они, в сущности, и не уходили. Яростные религиозные схватки XVII века сказались здесь лишь в том, что местные жители иногда пытались изловить ведьму, а это бывало, хотя и реже, в средние века. Помещик, сэр Гай Гриффин, славился мечом, как средневековый рыцарь. Он сражался при Ньюкасле, знал поражение, но местная легенда восхваляла его личную доблесть, и в ближних графствах чтили не столько полководца, сколько воина. Так Брюс или Ричард Львиное Сердце славились силой руки, а не силой ума.

Немного изменилось со средних веков и для учителя Денниса Трайона, прощавшегося со своей школой, ибо сэр Гай

пригласил его учить своих сыновей, которые до сих пор умели только биться на шпагах. Тысячи безымянных нитей связывали Трайона со Старым временем. Он не был пуританином, но ходил в черном. Как Мильтон, он учился в колледже и танцам, и фехтованию, но одевался скромно и не носил шпаги, ибо по неписаному закону учение было как бы служением, а служение — священством. Он носил волосы до плеч, но они были прямые, а дворяне уже водружали на голову вороха чужих кудрей. Его простодушное лицо в ровной рамке волос походило на старую миниатюру. Читал он Джорджа Герберта и Томаса Брауна; и лет ему было немного.

Сейчас он наставлял на прощание ученика, замешкавшегося возле школы, — семилетнего мальчика, смастерившего из двух палочек деревянный меч, которыми мальчишки играют в каждом веке.

— Джереми, — печально и шутливо говорил Трайон, — твои мечи все лучше и лучше. Я вижу, лезвие не слишком остро, без сомнения — по той причине, по какой сэра Орlando притупил меч, сражаясь с дамой, чье имя я запамятовал. Но великана такое лезвие сразит, как меч в руках достославного Джека. Быть может, это сказка, но это — и притча. Тот, кто добр и смел, победит великана. Того, кто зол и низок, бьют палкой. Но ты — добрый мальчик, и меч у тебя добрый. Только помни, — Трайон быстро и ласково склонился к питомцу, — меч несравненно сильнее, когда его держишь за лезвие.

Он перевернул деревянный меч и быстро пошел по белой прямой дороге, а мальчик с крестом в руке смотрел ему вслед.

Когда он услышал шаги, он знал, что это — не Джереми. Оглянувшись, он увидел, что ученик и впрямь остался далеко позади, а вдоль изгороди, старой, как Плантагенеты, бежит какая-то девушка. Одета она была с пуританской скромностью, но не в пуританское платье, а волосы, выбившиеся из-под ее капюшона, были светлыми и кудрявыми по той же причине, по какой его собственные были темными и прямыми. Больше ничего примечательного он в ней не заметил, разве что красоту, торопливость и несколько излишнюю бледность. Но дальше, за ней, он увидел весьма примечательного человека, который был пострашней меченосного Джереми.

Высокий важный кавалер, черный на светлом небе, быстро шел по дороге. Из-под его широкополой шляпы, украшенной перьями, падали на плечи завитые волосы; но не это поразило Трайона. У сэра Гая грива спускалась чуть ли не до пояса, потому что он хотел (без должной необходимости) показать, что не принадлежит к пуританам. Сэр Гай украшал шляпу петушиными перьями, потому что у него не было других птиц. Однако он никогда не позволил бы себе подобные телодвижения. Причудливый человек размахивал шпагой, словно вот-вот метнет ее, как копьё. В отличие от двора, жители Сомерсета не привыкли к такому поведению.

Трайон еще удивлялся, когда девушка проговорила на бегу: — Не сражайтесь с ним! Он всех победил — сэра Гая, сыно-вей... — Тут она оглядела его и вскрикнула: — Где ваша шпага?

— Там же, где мои шпоры, миледи, — отвечал Деннис по всем канонам Ариосто. — Я еще должен их завоевать.

— Его никто не победил в поединке! — жалобно сказала девушка.

Трайон улыбнулся и поднял свою трость.

— Того, у кого нет шпаги, — сказал он, — нельзя победить в поединке.

Девушка смотрела на него, словно на эти минуты остановилось время, потом метнулась куда-то и исчезла, как лань. Ярдов на сто дальше она вынырнула из листвы, остановилась на мгновение и оглянулась. Именно тогда Джереми Бент, не собиравшийся покидать дивной школы, где не надо больше учиться, кинулся вперед. Любопытство их было оправдано: они узрели небывалую схватку. Шпага скрестилась с единственным оружием, которое пригодно только для защиты.

День был ветреный и солнечный, словом — прекрасный, но до сей поры даже склонный к пасторальной поэзии Трайон не замечал особой красоты ни в небе, ни на земле. Сейчас красота мира потрясла его, как видение, ибо он понял, что видение это скоро исчезнет. Он фехтовал неплохо, но никто не продержится долго, когда нечем нападать; к тому же противник его, побуждаемый вином или бесом, бился не на жизнь, а на смерть.

Деннис Трайон видел английскую землю и дивное английское небо во всей их славе. Так видели природу те, кого он любил. Великие поэты Англии, от Чосера до Драйдена, владели искусством, утраченным позднее: они не описывали природу, но ты ее видел. Когда читаешь: «Сбивайтесь в стадо, облака», нет сомнений, что речь идет о кучевых облаках, а не о перистых. Когда узнаешь от Мильтона, что башня принцессы виднелась сквозь хохлатые деревья, не сомневаешься, что речь идет о весне или осени, когда листьев немного, и дерево похоже на метлу, обметающую небеса. Вот так же отчетливо и неосознанно Трайон видел, что круглые утренние облачка, розовые с одного бока, толпятся и клубятся над холмами, а тихий милостивый лес переходит от серого к лиловому прежде, чем слиться с синевой. Смерть в черноперой шляпе осыпала его сверкающими стрелами; и он еще никогда не любил так сильно божьего мира.

Отбивая каждый выпад, он вспоминал какой-нибудь из своих прежних дружеских поединков. Когда блестящее жало смерти, не пронзив его сердца, скользнуло вдоль локтя, он увидел лужайку у Темзы. Когда сверканье стали перед глазами едва не ослепило его, он увидел полянку в Мертоне так ясно, словно трава выросла на белой дороге, у него под ногами. Но видел он и другое. Он все яснее понимал, что, будь у него шпага, он давно поразил бы противника. Будь у него шпага, он пронзил бы его, как пронзают

ножом пудинг; но шпаги у него не было. Его спасала ловкость, противника же спасало только то, что Деннис дрался тростью. У Трайона был четкий и чистый ум, он мог бы играть две шахматные партии сразу; и сейчас, сражаясь, ученый учитель строил цепь силлогизмов. Вывод был прост: если противник думает, что и у него шпага, он — плохой фехтовальщик; если же он знает, что у него палка, он плохой человек (в наши дни сказали бы «плохой спортсмен»).

И Трайон сделал то, что годилось для обоих случаев, — вспомнив нужный выпад, ударил противника по локтю, снизу, и, пока у того висела рука, выбил его шпагу. Судя по выражению лица, противник без шпаги был беспомощен и прекрасно это знал.

— Того, кто низок и подл, — назидательно сказал учитель, — бьют палкой.

Что и выполнил — трижды ударил по спине обезоруженного врага и быстро ушел.

Он не видел, что делал дальше враг, но искренне удивился тому, что делали прочие и златокудрая девушка. Когда Деннис снова двинулся по дороге, толпа взревела, а несколько дворян, находившихся в ней, рьяно замахали шляпами. Как ни странно, после этого все, включая девушку, умчались куда-то, словно спешили сообщить о великой победе.

Когда же он достиг следующей деревни, в каждом окне торчало по десять голов, а женщины бросали цветы, падавшие на дорогу. У ворот помещичьего парка, украшенных каменными грифонами, его поджидали триумфальные арки.

Сам прославленный хозяин вышел к нему навстречу. Как и грифоны, он походил и на льва, и на орла. Его львиная грива была белой, орлиный нос — багровым. Грозный и рассеянный взгляд навел учителя на мысль о возможной причине поражения; но помещик держался так прямо, пожал ему руку так крепко, поздравил его так сердечно, что сомнения исчезли. Будущие ученики глядели на пришельца с обожанием, а он, взглянув на них, отчаялся в том, что они когда-нибудь постигнут латынь и греческий, но ясно понял, что каждый из них мог бы сбить его кеглей. И недавний триумф показался ему непонятным и сказочным, как арки.

«Странно все это, — думал он. — Я неплохо фехтовал, но и не так уж хорошо, Смит и Уилтон меня превосходили. Быть не может, чтобы сэр Гай и его сыновья уступали в поединке тому, кого я побил палкой. Наверное, это шутка знатных вельмож, как в занимательном повествовании мистера Сервантеса».

По этой причине он уклонился от похвал, но его чистая душа недолго могла сомневаться в том, что его хвалят от чистого сердца. Сэр Гай и его сыновья, как малолетний Джереми, видели в нем сказочного рыцаря, освободившего край от чудовища.

Люди, глядевшие из окон, не принадлежали к знати; триумфальные арки не были шуткой. Он и вправду стал местной святыней, но не мог понять, с чего бы.

Три вещи убедили его, что это правда. Во-первых, как ни странно, его новые ученики старались изо всех сил. Хэмфри, самый старший и рослый, три раза кряду просклонял *quis* и сбился лишь на четвертый. Попытки Джеффри различить *finjo* и *figo* тронули бы камень, а младший, Майлс, искренне привязался к несчастному глаголу *ferre*¹. За всем этим Трайон различал то молчаливое почтение, которое дети и дикари питают к победителю. Тогда английская знать не обрела еще столь грубой надменности и радовалась, а не поклонялась тому, что мы зовем спортом. Но мальчики всегда одинаковы, и любимый их спорт — поклонение герою.

Во-вторых, что еще удивительней, его почитал сэр Гай. Помещик ни в коей мере не был приятным человеком. Львиное лицо было прекрасным и уродливым с тех пор, как его рассек страшный шрам; нрав и речь были искренними и злыми с тех пор, как рухнула надежда на воинские успехи. Но Трайон ощущал, что, сложись все иначе, помещик не выказал бы перед ним ни искренности, ни злости.

— Король возвратился, — мрачно говорил Гриффин, — а толку нет. Он привез французских шлюх, которые играют на подмостках, словно мальчики. Он привез ярмарочных шарлатанов, как этот, который побеждал и меня, и всех, пока не встретил победителя, — и он горестно и почитательно улыбнулся Трайону.

— Разве этот джентльмен — из придворных? — робко спросил Трайон.

— Да, — ответил сэр Гай. — Вы видели его лицо?

— Я смотрел ему в глаза, — сказал Трайон.

— Оно размалевано, — сказал сэр Гай. — Вот что делают теперь в Лондоне. И волосы у него чужие. Но дерется он отменно, это я признаю, как признал, что отменно дралось войско старого Нолла. Что мы могли против них?

Сильнее всего убедило Трайона то, как вела себя девушка, Дороти Гуд. Она оказалась дочерью священника и часто бывала с отцом в поместье, но избегала учителя. Он и сам был робок, и тонкость чувств подсказала ему, что она поистине считает его героем. Будь все это шуткой, в нее непременно посвятили бы прекрасную даму (она казалась ему все прекрасней каждый раз, как мелькала в аллее или за дверью), и роль ее была бы проста. Но она не играла роли; и он поймал себя на том, что об этом жалеет. Наконец он услышал ненароком, как она говорила в соседней комнате сэру Гаю:

— Все думают, что он колдун, но Господь помог мистеру Трайону за его чистоту и доброту...

¹ Который; выдумываю; пронзаю; носить (*лат.*).

Однажды, собрав все свое мужество, он остановил ее и поблагодарил за то, что она предупредила его об опасности.

Ее тонкое трепетное лицо стало совсем испуганным.

— Я еще не знала,— сказала она. — Я не знала, что вы сразитесь с бесом.

— Я и сейчас этого не знаю,— сказал Трайон. — Я сражался с человеком, и не очень храбрым.

— Все говорят, что в нем бес, — простодушно возразила она. — Мой отец так говорит.

Она убежала, а Деннис задумался. Чем больше он думал, тем больше убеждался, что рассказ о его поединке превращается в легенду о светлом рыцаре, разрушившем злые чары.

Младший из братьев, Майлс, вечно пропадавший у реки, сообщил, что крестьяне ходят к старой заводи, где некогда топили ведьм. Брат его Хэмфри заметил на это, что ходят они втуне, ибо размалеванный пришелец отбыл в Лондон. Однако часом позже Джефри принес другую весть: колдуна изловили на дороге в Солсбери.

Когда, влекомый любопытством и тревогой, Трайон вышел за ворота, слова эти подтвердились: ему предстал истинный город мертвых. Все жители обеих деревень исчезли с улиц и из окон. Вернулись они под утро и привели человека с заколдованной шпагой.

Нынешние англичане, никогда не видавшие бунта, никогда не видавшие настоящей толпы, не могут себе представить, что творится, когда изловят колдуна. Для тех, кто жил в долине, он был исчадием ада, порабителем, который выше, страшнее, всеильнее и Карла, и Кромвеля. В наше время думают, что ведовства боятся глупые старухи. Для жителей долины суд над чародеем был вызовом Сатане, восстанием добрых ангелов. Дороти Гуд боялась толпы и схватила Денниса за руку с нежностью и доверием, которых хватило бы ему на всю жизнь. Но ей и в голову не пришло пожалеть колдуна.

Колдун стоял на берегу. Руки ему связали, но шпаги не отняли, не решаясь ее тронуть. Парик слетел, голова стала, как у круглоголовых, и размалеванное лицо казалось мерзким, словно личина Вельзевула. В него швыряли кто чем мог, даже маленький Джереми метнул свой меч, но все попадало не в него, а в реку, куда собирались бросить и его самого.

И тогда в ярком, как молния, утреннем свете воцарился тот редкий, но весьма осязаемый дух, ради которого терпят аристократию и разделение людей. Искаженное шрамом лицо стало скорбным до безразличности. Сэр Гай обернулся к сыновьям и сказал сурово:

— Мы уведем его в поместье целым и невредимым. Вы при шпагах. Обнажите их.

— Зачем? — спросил Хэмфри.

— Затем,— отвечал ему отец, — что он их выбил у нас из

рук. — И он вытянул из ножен длинную шпагу, сверкнувшую в утреннем свете.

— Сыновья,— сказал он. — Лишь Богу ведомо, колдун он или нет. Но нам ли мстить дубинкой толпы тому, кто нас победил? Окружим его и выведем отсюда, хотя бы на нас восстала тысяча змиеборцев.

Обнаженные шпаги встали вокруг чародея кольцом остроко-
нечной ограды. Толпа в те дни была смелей, чем сейчас, и меньше
страшилась хозяина. Но Гриффинов почитали за доблесть, и си-
лы были равны. Клинок сэра Гая не знал здесь сильнейшего,
кроме клинка, бессмысленно висевшего на боку у незнакомца.

Раньше, чем пролилась кровь, пленник заговорил.

— Если кто-нибудь соблаговолит опустить руку в мой кар-
ман,— спокойно и холодно сказал он, — мы обойдемся без драки.

Все долго молчали. Все до единого смотрели на того, кто не
убоялся беса. Смотрела и Дороти; и Деннис выступил вперед. Он
извлек из кармана у колдуна сложенный лист бумаги, развернул
его, стал читать, и на его молодом, круглом лице проступило
удивление. Читая третью фразу, он обнажил голову. Толпа гля-
дела на него. Царило молчание, и самый воздух остывал.

— Это частное письмо,— сказал наконец Трайон, — и я не
вправе читать его вслух. Его Величество предлагает и позволяет
сэру Годфри Скини испытать новую шпагу, изготовленную Ко-
ролевским обществом согласно наставлениям лорда Верулама,
основателя натурфилософии и знатока естественных наук. Кли-
нок ее намагничен, и, по предположениям ученых, она может
выбить, точнее, вытянуть из рук любое оружие.

Сэр Гай обернулся к нему.

— Вот такие науки,— спросил он, — называют у вас естест-
венными?

— Да, — растерянно отвечал Трайон.

— Благодарю,— проговорил сэр Г а й . — Моих сыновей мо-
жете им не учить.

Он подошел к пленнику и рванул его шпагу так, что лопнула
перевязь.

— Если бы писал не король,— сказал он, — я бы швырнул
в реку и вас.

И магнитная шпага, изготовленная учеными, исчезла навсег-
да от человеческих взоров; а Трайон, глядя на воду, видел
только, как борется с тяжким течением маленький деревянный
крест.



СТИХИ

Из сборников:

GREYBEARDS AT PLAY

1900

THE WILD KNIGHT

1900

POEMS

1915

ПОСВЯЩЕНИЕ

Э. К. Б.

Мы были не разлей вода,
Два друга — я и он,
Одну сигару мы вдвоем
Курили с двух сторон.

Одну лелеяли мечту,
В два размышляя лба;
Все было общее у нас —
И шляпа, и судьба.

Я помню жар его речей,
Высокий страсти взлет,
Когда сбивался галстук вбок,
А фалды — наперед.

Я помню яростный порыв
К свободе и добру,
Когда он от избытка чувств
Катался по ковру.

Но бури юности прошли
Давно — увы и ах! —
И вновь младенческий пушок
У нас на головах.

И вновь, хоть мы прочли с тобой
Немало мудрых книг,
Нам междометья в трудный час
Приходят на язык.

Что нам до куколок пустых! —
Не выжать из дурех
Ни мысли путной, сколько им
Ни нажимай под вздох.

Мы постарели наконец,
Пора и в детство впасть.
Пускай запишут нас в шуты —
Давай пошутим власть!

И если мир, как говорят,
Раскрашенный фантом,
Прельстимся яркостью даров
И краску их лизнем!

Давным-давно минули дни
Унынья и тоски,
Те прежние года, когда
Мы были старики.

Пусть ныне шустрый вундеркинд
Влезает с головой
В статистику, и в мистику,
И в хаос биржевой.

А наши мысли, старина,
Ребячески просты;
Для счастья нужен мне пустяк —
Вселенная и ты.

Взгляни, как этот старый мир
Необычайно прост, —
Где солнца пышный каравай
И хороводы звезд.

Смелей же в пляс! и пусть из нас
Посыплется песок, —
В песочек славно поиграть
В последний свой часок!

Что, если завтра я умру? —
Подумаешь, урон!
Я слышу зов из облаков:
«Малыш на свет рожден».

ЕДИНЕНИЕ ФИЛОСОФА С ПРИРОДОЙ

Люблю я в небе крошек-звезд
Веселую возню;
Равно и Солнце, и Луну
Я высоко ценю.

Ко мне являются на чай
Деревья и Закат;
И Ниагарский у меня
Ночует водопад.

Лев подтвердить со мною рад
Исконное родство
И разрешает Лёвой звать
По-дружески его.

Гиппопотам спешит в слезах
Припасть ко мне на грудь.
«Крепись, дружище, — я твержу, —
Что было — не вернуть!»

Порой, гуляя между скал,
Встречаю я Свинью —
С улыбкой грустной и смешной,
Похожей на мою.

Гусь на меня косит зрачком,
Точь-в-точь, как я, глазаст.
Слон позаимствовал мой нос
И вряд ли уж отдаст.

Я знаю тайный сон Земли,
Преданье Червяка;
И дальний Зов, и первый Грех —
Легенды и века.

Мне мил не меньше, чем Жираф,
Проныра Кашалот,
Нет для меня дурных зверей
И нет плохих погод.

Люблю я в поле загорать;
А если дождь и гром,
Неплохо и на Бейкер-стрит
Сидеть под фонарем.

Зову я снег! — но если вдруг
Увесистый снежок,
С какого неба он упал —
Ребятам невдомек.

Зову я морось и туман:
Меня не огорчит,
Что кончик носа моего
В дали туманной скрыт.

Скорей сюда, огонь и гром.
И дождь, и снег, и мрак:
Сфотографируемся все
В обнимочку — вот так!

ЧТО ТАКОЕ ЛЯПС?

Что значит Ляпс? Об этом спор
Идет в науке до сих пор.
«Ляпс вызывает передряги», —
Считает доктор Ян из Праги.

Как утверждает мистер Берд
(Авторитетнейший эксперт),
Его укус весьма опасен;
Профессор Кранц с ним несогласен.

Граф Лански пишет: «Ляпс возник
Из грязи». (Граф — большой шутник!)
Но что имел в виду Минотти,
Заметив: «Он скрипит в полете»?

Так что такое Ляпс? — Вопрос!
Жук? Рыба? Редкостный невроз?
Иные говорят, что это —
Коктейль, другие — что планета.

Я тысячу ночей не спал,
Я гору книжек истрепал.
О небеса! О боже правый!
Кто даст ответ мне нелукавый?

ОСЕЛ

Парили рыбы в вышине,
На дубе зрел ранет,
Когда при огненной Луне
Явился я на свет:

С ужасным голосом, с моей
Ушастою башкой —
Насмешка беса надо всей
Скотиной трудовой;

Каприз неведомых владык,
Их воли злой печать, —
Гоняйте, бейте, я привык,
Мне есть о чем молчать.

О дурачье! Мой лучший миг
Отнять вы не смогли:
Я помню стоголосый крик
И ветви пальм в пыли.

УСТАМИ НЕРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА

Если низки — травы, а лес — высок,
Как в безумной книжке какой,
Если море сине взаправду там,
За моею хрупкой стеной,

Если круглый в небе висит огонь,
Чтоб меня обогреть извне,
Если волосы зелены на холмах —
То я знаю, что делать мне.

Я мечтаю, лежа во тьме, что там
Разноцветные есть глаза,
Грохот улиц и двери, с молчаньем их,
И телесные люди — за.

И пускай там бури, но лучше мне
Быть одним из отвергших тьму,
Чем хоть целую вечность повелевать
Государством тьмы одному.

Если только позволено будет мне
Хоть на день оказаться там,
Я за милость эту, за эту честь
Баснословную — все отдам.

И, клянусь, не вырвется из меня
Ни гордыни, ни жалоб с т о н , —
Если только смогу отыскать я дверь,
Если буду-таки — рожден.

РАСТЯЖЕНИЕ ЦВЕТА

Вся в сером предстала моя Госпожа,
Затянутом у подбородка;
Я понял, на буднюю серость греша,
Что великолепье — не кротко.
Поэтому свят серый воин, монах,
Поэтому серы — соборы,
И в серых пронзительнее небесах
Звезда восходящая в гору.

В зеленом предстала моя Госпожа —
Как луг с шевелюрой густою.
И великолепьем взыграла душа
Забытого мной травостоя.
И все, что таилось средь лиственных крон,
Сверкало смарагдовой сказкой;
Я каждой отвешивал ветке поклон,
Траву попирая с опаской.

Предстала моя Госпожа в голубом,
И — как ясновидец невольный —
Узрел я: сапфирным горящий огнем
Тот град Его первопрестольный.
Так вот, для чего засинил Всеблагой
Так щедро все снизу и сверху! —
Он — прежде чем ей подошел голубой —
На Вечности сделал примерку.

У древа Познания, мудр, как сова,
Плел дьявол все ту же интригу;
«Мир — мыльный пузырь», — зачитал он слова
И перелистнул свою книгу.
«Конечно, пузырь! — да храни тебя Бог,
Премудрый, что там ни соври ты!
Скажи, но на нем ты бы выследить мог
Такие, как я, колориты?»

ФОНАРЬ

Смейся, лес, красуйся, чаща!
Я, стоящий на своем,
Здесь по воле человека
Воткнут огненным копьем.

Вот мы строимся в шеренгу:
Наш хозяин в добрый час,
Овладевши звездной силой,
Войско двинул против вас.

Вы, спесивые как утро,
Деревя цветущих рош,
Наши души знают жалость —
Наши стебли копят мощь!

Жуть наводят ваши сказки —
Чей там крик был заглушен
В той бесшумной преисподней,
В бушеванье сочных крон?

Но когда владенья ваши
Смех людской заполнит вдруг
И зажжется свет победный
Там, где сети плел п а у к, —

Что тогда? Один, быть может,
Бесхребетный стихоплет,
Огненным вином познанья
Переполюсь, к вам уйдет.

Он войдет в переговоры
С травами, с ручьем лесным
И родной свой дымный город
Проклянет в угоду им,

Станет слушать птичье пенье,
Лживый шепот тростника...
И кровавый меч отмщенья
Не сразит бунтовщика!

ЭЛЕГИЯ НА СЕЛЬСКОМ КЛАДБИЩЕ

Здесь труженики Британии
Лежат по своим местам,
И птицы со всей Британии
Слетаются к их крестам.

Верны солдаты Британии
Летучей ее звезде,
Зато их могил в Британии,
Увы, не найти нигде.

А тем, кто бразды Британии
Наследует властью шп о р , —
Увы, могилу в Британии
Не вырыли до сих пор.

КНИГА ЕККЛЕЗИАСТА

Одно — греховно: серым пеплом сметь
Назвать листву на иссушенной жерди.
Одно — противно: умолять про смерть,
Преумалая Бога зовом смерти.

Одно — достойно: вызревать плодам
И под крылом у мирового зноя.
Вот это — все, что остается нам,
И суета сует — все остальное.

МОЛЧАЛИВЫЙ НАРОД

Отделяйтесь от нас кивком,
 грошом или взглядом косым,
Но помните: мы — английский народ,
 и мы покуда молчим.
Богаты фермеры за морем,
 да радость у них пресна,
Французы вольны и сыты,
 да пьют они не допьяна;
Но нет на свете народа
 мудрей и беспомощней нас —
Владельцев таких пустых животов,
 таких насмешливых глаз.
Вы нам объясняетесь в любви,
 слезу пустив без труда,
И все-таки вы не знаете нас.
 Ведь мы молчали всегда.

Пришли французские рыцари:
 знамен сплошная стена,
Красивые, дерзкие лица —
 мудреные имена...
Померкла под Босвортом их звезда:
 там кровь лилась ручьем, —
И нищий народ остался
 с нищим своим королем.

А Королевские Слуги
 глядели хищно вокруг,
И с каждым днем тяжелели
 кошельки Королевских Слуг.
Они сжигали аббатства,
 прибежища вдов и калек,
И больше негде было найти
 бродяге хлеб и ночлег.

Пылали Божьи харчевни,
нагих и сырых приют:
Слуги Короны слопали все.
Но мы смолчали и тут.

И вот Королевские Слуги
стали сильней Короля;
Он долго водил их за нос,
прикидываясь и юля.
Но выждала время новая знать,
монахов лишившая сил,
И те, кто Слово Господне
за голенищем но с и л, —
Кольцо сомкнулось, и голоса
слились в угрожающий гул;
Мы видели только спины:
на нас никто не взглянул.
Король взошел на эшафот
перед толпой зевак.
«Свобода!» — кто-то закричал.
И все пошли в кабак.

Война прошла по миру,
словно гигантский плуг:
Ирландия, Франция, Новый Свет —
все забурлило вдруг.
И странные речи о равенстве
звучали опять и опять,
И сквайры заметили нас наконец
и велели нам воевать.
В те времена никто не смел
с презреньем на нас смотреть:
Холопы, подьяремный скот —
мы доблестно шли на смерть.
В кипящем котле Трафальгара,
на Альбуэрских полях
Мы кровь свою проливали
за право остаться в цепях!
Мы падали, и стреляли,
и видели перед собой
Французов, которые знали,
за что они шли на бой;
И тот, кто был раньше непобедим,
пред нами не смог устоять,
И наша свобода рухнула с ним.
И мы смолчали опять.

Давно закончился славный поход,
затих канонады гром;
А сквайры в себя прийти не могли:
видать, повредились умом.
К законнику стали бегать,
цепляться заростовщика, —
Должно быть, при Ватерлоо
их все же задело слегка.
А может, тени монахов
являлись им в эти дни,
Когда монастырские кубки
к губам подносили они.
Мы знали: их время уходит,
подобно иным временам;
И снова земля досталась другим —
и снова, конечно, не нам.

Теперь у нас новые господа —
но холоден их очаг,
О чести и мести они не кричат
и даже не носят шпаг.
Воюют лишь на бумаге,
их взгляд отрешен и сух;
Наш стон и смех для этих людей —
словно жужжанье мух.
Сносить их брезгливую жалость —
трудней, чем рабский труд.
Под вечер они запирают дома
и песен не поют.

О новых законах, о правах
толкуют нам опять,
Но все не попросту — не так,
чтоб каждый мог понять.
Быть может, и мы восстанем,
и гнев наш будет страшной,
Чем ярость мятежных французов
и русских бунтарей;
А может, беспечностью и гульбой
нам выразить суждено
Презренье Божье к властям земным —
и мы предпочтем вино...
Отделяйтесь от нас кивком,
грошом или взглядом косым,
Но помните: мы — английский народ,
и мы слишком долго молчим!

АРИСТОКРАТ

Конечно, дьявол-джентльмен и вас зовет зайти
К себе на дачу в Кактамбишь (это рядом, по пути).
Как истый лорд, он любит спорт — там куча новостей,
Опасных схваток, ярких сцен и дьявольских страстей.

Он в херувима на лету сумеет влечь заряд.
Он для Нептуна ловит в сеть русалок и наяд.
От шелухи никчемных звезд очистит свод небес,
Корону Бога самого утащит ловкий бес,
Ее заткнет он на чердак, задвинув на засов;
Поскольку дьявол — джентльмен и зря не тратит слов.

Ослепнуть лучше было б вам, остаться без рук и ног,
Любви не знать, и сердце разбить, чем переступить порог
Маленькой дачи в Кактамбишь, где богатством полон дом;
Где люди умны и счастья полны, но все идет вверх дном.
Есть вещи, лучше их не знать, они вам не нужны.
От счастья гибнет больше душ, чем с горя и нужды.

Великолепный яркий день встает мрачней темноты,
Шипы останутся от роз, когда увянут цветы.
За синей птицей мы бежим, а это унылый черт.
Он словом своим не дорожит — он джентльмен и лорд.

ПЕСНЬ ПОРАЖЕНИЯ

Рвется цепь, и стрелок опускает ружье,
Господин и слуга объезжают равнину,
Запах битвы напомнил мне хлеб и жнивье,
И опять молодею я наполовину.
Ибо наши вожди восклицали: «Конец!»
Ибо наши пророки зывали напрасно.
Наши пашни погибнут без стойких сердец.
Войны выжгут леса и на пепле погаснут.
Но реют знамена над нами, и снова гремят
барабаны —
Так было уже однажды, я все это слышал и видел,
Вот так я обрел свою юность в проигранной битвы
тумане,
Вот так я обрел свое сердце, войдя к пораженной
в обитель.
Мы вышли на битву под стягом свободным,
Мы жаждали радости, а не победы,
Мы долго топтались на поле бесплодном...
Вопрос — в ожиданье, а в битве — ответы.
И снятся мне дни одиноких скитаний,
От нас ускользали последние корки.
Какая же бедность, тоска испытаний,
И гордость за имя в газетной подборке.
И проклятые буквы сияли во мраке,
Ну, а мы разбегались по грязным подвалам,
Здесь хозяйничал Дьявол и лихие собаки
Пробегали по следу — он был золот на алом.
И мне было двадцать, да, двадцать всего лишь,
А ублюдки, которых на рынке купили,
Меч Английский направили против невольных
И над Африкой скованной бич заносили.
Есть такие ребята — ни купить, ни продать.
Пусть все гладко и сладко — их не взять на зевок.
Их железное слово больше, чем благодать.
Даже ад их почтительно кличет: «Дружок».

Все опять по старинке — визг да лязганье злое.
И Ничтожное Слово на безмерных страницах,
А торгашество слово порочит святое,
Гримируя свой гнев на промасленных лицах.
Вера бедных и сирых и слаба, и пристрастна,
А гордыня богатых постоянно в продаже,
Кто избранники маршалов Англии — ясно,
А реклама из «Дейли» не скрывается даже.
Скряга тот, кто от жадности пухлой пресыщен,
Тот же, кто начеку, хоть и беден — сильнее.
О Труда Вавилон, ты отчаянный нищий,
За твоей нищетой мои песни, за нею.
Мы сражаемся не оттого, что хозяин
Посылает нас в бой, нам не надо покоя.
Мы узнали друг друга, точно Авель и Каин.
С нами раб и свободный — наше дело святое!

Другие стихи

ВАРИАЦИИ НА ОДИН МОТИВ

*Сочинено по случаю явления перед публикой
в костюме дедушки Коля*

*Старый дедушка Коль
Был веселый король.
Громко крикнул он свете своей:
— Эй, налейте нам кубки
Да набейте нам трубки,
Да зовите моих скрипачей, трубачей,
Да зовите моих скрипачей!*

(А. Теннисон)

Король из Кольчестера, старый Коль,
Владыка, не скудеющий весельем
И крепнувшей с годами жаждой жить,
Как обитатель стен — выюнок виргинский,
Что разгорается багрянцем в стужу, —
Велел подать вина и той травы
(Виргинской тоже, кстати), что когда-то
Привез из-за морей отважный Рэли,
Сумевший посрамить испанцев песью, —
И радость новой радостью венчая,
Веселием — веселие, призвал
Трех музыкантов, чьи плащи сверкали,
Как радужные раковины в море;
И заиграли скрипки, и сердца
Изнемогли от сладости мелодий
Изысканных; тут варвары пришли,
И опочил король в земле прибрежной.

(У. Б. Йейтс)

Слышал я рассказ рыбацкий
О старом одном короле,
Безумном, как возглас выпи
В полночной болотной мгле.

Когда луна ударила в гонг
И звезды вышли на зов,
Он трубку набил — и кружку
Наполнил до краев.

Три зыбких тени возникло
Из-за его спины,
И они заиграли на скрипках
Песню волшебной страны.

И от преизбытка желаний,
Неведомых королям,
Сердце его разбилось,
Разбилось напополам.

(Р. Браунинг)

Кто выдыхает с клубом дыма тост
За здоровье царицы Никотин
И, трезвых вышвырнув из-за стола,
Велит мычать смычкам, призвавши трио
Со страдивариями? Догадались —
Иль нужно носом ткнуть? Ну, шевельните
Извилиной — кто, как не старый Коль?
Неужто должен я твердить азы,
Звать дудку просто «дудкой»? Нет уж, дудки!

(Уолт Уитмен)

Вижу тебя
Ясновидящим взором своим,
Вижу тебя насквозь, камарадо.
Лорнеты и телескопы, пенсне и бинокли — театральные
и полевые — это все ерунда,
Мой наметанный глаз шутя проникает двухтысячелетнюю
пелену,
Твоя корона не скроет тебя от меня,
Вся эта чертова амуниция — геральдическая шелуха — не скроет
тебя от меня.
Ага, я вижу — ты пьешь!
(Впрочем, я сам пью с тобой: будь здоров, старина!)
Вижу: ты вдыхаешь табачный дым, попыхиваешь,
пофыркиваешь, поплеываешь.
Плюйся себе на здоровье — не возражаю.
Ты — провозвестник широкой американской души,
Ты — предтеча мужественных манер настоящих янки.
Я также замечаю в тебе эти порывы, слезы, тягу к музыке,
трепет души.
Я приветствую твоих скрипачей, производящих вибрации, —
Мощно, упорно, безостановочно, — их ничем не заткнешь!
Прекрасный аккомпанемент для моих стихов; Впрочем,
аккомпанемент мне не нужен;
Я сам — целый оркестр.
Будь здоров!

ПЕСНИ КОНТОРЩИКОВ

I

Просыпайтесь, утро брезжит,
рассветает в мире.
Звездочки поют, бледнея:
«Дважды два — четыре».

Пусть налоги и проценты
тяжелей, чем гири,
Пусть часы опять в закладе,
дважды два — четыре!

II

На борту переполох —
Банк трещит!
Пьян, как стеньга, рулевой,
Секретарь едва живой,
И кассир, как чумовой,
Верещит.

Не дрожать, орлы! стоять
Заодно!
Пусть легенда прогремит,
Как «Манчестерский кредит»,
Побежден, но не разбит,
Лег на дно!

ПОЭТУ-МОДЕРНИСТУ

Простите,
как это вы
сказали?

Какая-то невыносимая
зеленая боль
грызет
ваш мозг?

Очень сочувствую —
тем более
что она уже, кажется,
сгрызла
его большую часть.

Но я здесь ни при чем.
Не могу ни убавить,
ни прибавить вам
ни зеленой боли,
ни серого вещества.
Это вы, мой головокружительный,
причиняете мне боль —
к сожалению,
не приметил,
какого цвета.

Я вообще ужасно ненаблюдателен.
Если бы не вы,
я бы и не заметил,
что почтовый ящик
похож
на вопящего младенца,
с которого живьем
содрали кожу.
Нет у меня

этакого Поэтического
Взгляда,
умеющего замечать Красоту
во всех вещах.

Здорово это вы выразились про небо:
оно, мол, как огромное нёбо,
утыканное гнилыми зубами,
пасть,
распахнутая
на приеме у дантиста.
Мне это и в голову
не приходило.

Желаю вам и дальше
развлекаться в том же духе,
точнее, раздражаться
в том же духе.
Мне кажется,
что мир внушает вам омерзение,
вас просто корчит от него.

И когда вы обращаетесь
к какому-нибудь
традиционному сюжету,
например,
к Морю,
вы описываете главным образом
морскую болезнь
со всеми ее выворачивающими подробностями.
Вы агитируете
за Новое Искусство,
но ваш призыв
у меня вызывает позыв.

Баллады

БАЛЛАДА САМОУБИЙЦЫ

Я к виселице новенькой в саду
С утра иду, не трепеща нимало;
Вывязываю петлю на ходу,
Как денди вяжет галстук свой для бала;
Соседи (на заборе) ждут сигнала,
Чтоб закричать «ура!». Но, на беду,
Меня смешная прихоть обуяла:
Сегодня не повешусь — подожду.

За жалованьем завтра же зайду...
Приятный звон у этого бокала...
Я вижу алых тучек череду...
И тетушка прийти не обещала...
А в клубе я слышал от Томми Халла,
Что рыбу нужно подержать во льду...
Я не читал шедевров Ювенала!
Сегодня не повешусь — подожду.

Бывают недурные дни в году;
С певцов упадка спесь почти упала;
Уэллс увидел добрую звезду,
И Шоу заскучал без идеала;
«Поэтов разума» и тех не стало —
Все образумились... А там, в пруду,
Так небо голубое засияло!
Сегодня не повешусь — подожду.

Посылка

Принц! Что за шум у зданья Трибунала?
Ведь головы терять — у вас в роду...
Пускай монархов мучит страх финала!
Сегодня не повешусь — подожду.

БАЛЛАДА АНТИПУРИТАНСКАЯ

Там обсуждался автор модный,
Ростки Прогресса, Спад и Взлет...
Я не вопил, как Глас Народный,
И в спор не лез — наоборот:
Всхрапнул часочек без забот
И молвил, пробудясь от сна, я:
«Ваш клуб наскучил мне! так вот,
Где тут поблизости пивная?»

Мужей с осанкой благородной
Вокруг меня — невпроворот...
И что ж? их мысли сумасбродны,
От их суждений смех берет;
Здесь и жратва не лезет в рот,
Не то что колбаса свиная
С картошкой («Запиши на счет!»),
Где тут поблизости пивная?

Там Человек сидит свободный,
Там волю чувствам он дает,
Там — добродетели природной
И дружбы истинной оплот,
Там песней тешится народ,
Там доброта непоказная
С надеждой стойкою цветет, —
Где тут поблизости пивная?

Посылка

Принц, коли знал бы Ланселот,
Кто наши рыцари, — стеная,
Свой меч сломал бы... Ну и сброд!
Где тут поблизости пивная?

БАЛЛАДА АВТОМОБИЛЬНАЯ

Хозяева лихих автомобилей,
Я вас прощаю. Мир вам, гордецы!
Частенько я чихал от вашей пыли,
Стенал при виде сшибленной овцы;
Зато без вас усталые дельцы
Не попадут в леса, где ароматен
Июньский воздух с привкусом пыльцы...
Но звук пробитой шины мне приятен.

Люблю глазеть, как, в мыле от усилий,
Поломку исправляют молодцы, —
А мимо жмет педали юный Билли,
И кляча не сбивается с трусцы...
О, дай вам Бог лететь во все концы,
Не зная переломов, ссадин, вмятин!
Пусть ваш мотор гудит без хрипотцы!
Но звук пробитой шины мне приятен.

Когда разносчик в лужу сядет, или
Рассыплется у дамы леденцы,
Или толстяк расквасит нос в кадрили —
Не улыбнутся разве что слепцы;
Или когда, поднявши тост, юнцы
На фрак друг дружке насажают пятен...
«Что тут смешного?» — скажут мудрецы,
Но звук пробитой шины мне приятен.

Посылка

О принц! Вперед летят твои гонцы:
Их ждет Прогресс, велик и необъятен.
Таких не остановят мертвецы...
Но звук пробитой шины мне приятен!

БАЛЛАДА О ДИКОВИНАХ

Есть в Девоншире человек с рогами;
Есть в Дувре тип, что кушает металл;
Был бильярдист искусный в Ноттингаме,
Что в полной темноте шары катал;
А друг мой в спальне у себя застал
Медведицу, сбежавшую из клетки,
По кличке Крошка Нелл... Вот был скандал!
Но случаи такие очень редки.

Один мужлан протопал сапогами
В отель «Савой» и, оглядевши зал,
Заметил вслух, что в этаким бедламе,
Пожалуй, он давненько не бывал.
Директор школы раз оштрафовал
Сиятельного герцога, чьи детки
Не знали букв на самый низкий б а л л , —
Но случаи такие очень редки.

Бывают люди славные меж нами:
И Жанна Д'Арк, и Нельсон-адмирал,
Рыбак, что в озере за камышами
Акулу встретил — и не заорал;
Аристократ, что продавать не стал
Остатки склепа, где истлели предки
(Деяние, достойное похвал!), —
Но случаи такие очень редки.

Посылка

Принц, есть на свете принцы, я слышал —
Фамильных древ прекраснейшие ветки —
Чью власть благословляют стар и мал;
Но случаи такие очень редки!

БАЛЛАДА ЖУРНАЛИСТСКАЯ

Средь вечных льдов, где царствует Борей,
И в сумерках саванн, под вой шакала,
На островах тропических морей
Среди скучающего персонала,
Куда б нога британца ни ступала, —
В хибаре сельской и во храме муз,
Под сводами таверны и вокзала
Читают «Иллюстрейтед Лондон Ньюс».

Так с незапамятных ведется дней:
Еще Бенгалия не восставала,
Еще не вышел в Ротшильды еврей
И Патти на театре не блистала,
А уж почтенный предок наш, бывало,
Закурит трубку да закрутит ус
И, погружаясь в новости Непала,
Читает «Иллюстрейтед Лондон Ньюс».

Так что же я сижу как дуралей
И жду, ворочая мозгами вяло?
Ведь мне необходимо поскорей
Еще одну заметку для журнала
Придумать. За задержку матерьяла
Меня уволят — вот какой конфуз!
А там найдут другого зубоскала
Писать для «Иллюстрейтед Лондон Ньюс».

Посылка

Принц! Если вдруг хандра на вас напала,
Бегите в кресло от пустых обуз
И, запалив «гавану» для начала,
Читайте «Иллюстрейтед Лондон Ньюс»!

БАЛЛАДА ТЕАТРАЛЬНАЯ

Пускай гремят критические пушки,
Колебля театральный небосклон,
Пусть явно низковата дверь избушки
И замок из холста сооружен,
И толстой феечки полет смешон,
И нитки белые видны в сюжете,
Пусть механизм иллюзий обнажен, —
Есть вещи неподдельные на свете.

Поверьте, и в игре не все — игрушки,
На сцене общий действует закон,
Порой среди театральной заварушки
Вдруг осенит: вон тот паяц, буффон
Под старость будет немощью сражен,
Беде и нищете попавши в сети;
Агностик, вот тебе еще резон —
Есть вещи неподдельные на свете.

Увы, никто не избежит ловушки;
Наступит и последний наш сезон:
Шуты, герои, примы и простушки —
Мы все уйдем с подмостков этих вон,
Покинув пестрой жизни шум и звон,
И всей толпой промаршируем в нети;
Пускай подделок в мире — миллион,
Есть вещи неподдельные на свете.

П о с ы л к а

Мой принц, хоть меч у вас — простой картон,
И задней стенки явно нет в карете,
И слишком шаток бутафорский т р о н , —
Есть вещи неподдельные на свете.

КОММЕНТАРИИ

В третий том включены произведения последних лет жизни Гилберта Кийта Честертона, объединенные между собой образом Дон Кихота и рассуждениями о социальной справедливости и средневековой утопии. Тема Дон Кихота не ограничивается у писателя прямыми сервантесовскими реминисценциями. «Школой средневековья» современники называли еженедельную газету Г.-К. Честертона, авторы которой в век технического прогресса мечтали о тех же временах, что и Дон Кихот. В эпитафии Честертону английский поэт Уолтер де ла Мэр, пользуясь метафорой У. Блейка, сравнил жизнь Честертона со знаменитой битвой Рыцаря Печального Образа: «Он бьется с сатанинскими мельницами». Наконец с героем Сервантеса сравнивали и самого Честертонна, вечно полемизировавшего с Б. Шоу: первого называли Санчо Пансой, второго — Дон Кихотом. По аналогии с пьесой Шоу («Назад к Мафусаилу») название честертоновского романа можно было бы перевести «Назад, к Дон Кихоту», если бы в Англии 20—30-х гг. нашего века не объявилась целая когорта Дон Кихотов, несущаяся под штандартом средневековой утопии на бой с обезличенной технократией, как герой Сервантеса — с ветряными мельницами. Имя этой когорте — дистрогистское движение.

Все началось с литературных пятниц в лондонском кафе Деверэ, где собирались журналисты и писатели Дж. Хэзелтайн, Д. Хейвуд, Б. Титтертон (будущий исследователь творчества Честертонна), редактор «Католик эвиденс» Дж. Колдуэлл, викарий колледжа Крайст Черч Дж. Гроузер и знаменитый доминиканец, преподобный Макнэбб, которым восхищался Честертон. Что можно противопоставить, вопрошали участники вечеров, растущему отчуждению продукта труда от труженика или катастрофической для здоровья страны централизации производства? В радиобеседе Шоу и Честертонна «Согласны ли мы?» последний «великий пуританин» Шоу запальчиво отвечал: социалистическое хозяйство. Но чем, в свою очередь спрашивал Честертон, социалистичес-

кая уравниловка лучше пороков капитализма? Нет, только идеалы средневекового рыцарства спасут страну от цинизма современной политики, и только семейная ферма — от социальной несправедливости. Девиз был принят, идеалы утверждены, и здесь же, в лондонской кофейне, была образована дистрибутистская лига (от англ. «to distribute» — «распределять»), избран ее секретарь, а в марте 1925 года появился первый номер газеты, «Г. К.'с уикли» ставшей ее глашатаем. Честертон в немалой степени идеализировал средневековую теологию и Англию до ее отпадения от католического мира; теперь идея «золотого века» распространилась и на средневековое хозяйство. Дистрибутистские клубы легко узнаются в Лиге Льва («Возвращение Дон Кихота») и Лиге охотников («Охотничьи рассказы»). В «Г. К.'с уикли» появляются отдельные главы «Возвращения...» (1925—1926), а на страницах романа побеждают люди «нового средневековья», рыцари благородной политики. Но Честертон неумолимый рационалист: любую, даже очень дорогую ему мысль он доводит до конца. В 1929 году он познакомится с Муссолини и поймет, к чему на деле приводит «средневековое возрождение». В 1933-м, следя за событиями в Германии, он узнает, чем оканчивается встреча средневековой романтики и социализма (предсказанная, по сути, в романе «Возвращение Дон Кихота»). Собственно, предчувствуя грядущие катастрофы, писатель уже в 1927 году отказывается верить в спасительность своей утопии: в романе «Возвращение Дон Кихота» сказочный средневековый мир рассеивается, как лондонский туман.

Идея терпит крах, но это не означает, что она никуда не годится. Разочаровавшись в большой политике, честертоновские Дон Кихоты, как странствующие монахи, уходят к людям.

Мир последних рассказов Честертон удивительно красив. Мир этот весел — в «Охотничьих рассказах» оживает стихия английской поэзии нонсенса (Э. Лир, Л. Кэррол, Х. Беллок). Честертон снова обращается к жанру сказки; его Дон Кихоты обретают в стенах английского дома то незаметное счастье и тихий уют, которые превращают его в старинную крепость («Четыре праведных преступника»). В прекрасном и радостном мире должны звучать стихи — поэтому так логично их появление в конце третьего тома; хотя включены сюда стихи самых разных лет.

Исследователи находят в стихотворениях Честертон многочисленные влияния: Р. Киплинга (ритмический рисунок и темп), У. Морриса (медиевистская тематика, балладный жанр), А. Суинберна (аллитерации), Э. Лира (мудрость нонсенса), Р. Браунинга («бытовизмы»). Однако поэзия Честертон не столько подражательна, сколько пародийна: за всеми влияниями в ней явственно различим голос самого писателя, веселый, как улыбка Чеширского кота. Так веселиться может только здравый ум, не согласный с диагнозом, поставленным в поэзии Г.-С. Элиота: «Для нас, больных, весь мир — больница, которую содержит мот, давно успевший разориться». Не случайно Честертону так нравилось, когда окружающие называли его «Дон Кихотом здравого смысла».

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОН КИХОТА

1927

Стр. 8. *Львиное Сердце* — английский король Ричард I (1157—1199), коронован в 1189 г., возглавил крестовый поход на Иерусалим (1191), пленен графом Австрийским; по легенде, освобожден из плена трубадуром Блонделем (см. коммент. к с. 10).

Стр. 10. *Туссен Лувертюр* (1743—1803) — вождь гаитянской революции, которого Наполеон назначил генералом повстанческих армий; в последние годы жизни — единоличным диктатор. *Букер Вашингтон* (1858—1915) — американский политический деятель.

Дядя Том — персонаж романа Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» (1852), старик негр, истинно-христианский мученик. *Дядюшка Римус* — персонаж американского фольклора, старик негр, сочинитель сказок о братце Лисе и братце Кролике, собранных Дж. Хэррисом в книги «Песни и сказки дядюшки Римуса» (1881), «Дядюшка Римус и братец Кролик» (1907).

Бернард Шоу (1856—1950) — английский писатель и драматург; друг и постоянный оппонент Честертона, противник брака, курения, спиртных напитков и мяса. *Доктор Сэлиби* (1878—1949) — референт министра пищевой промышленности Великобритании, автор книги «Солнце и здоровье» (1923), выступал за самоограничение в еде. *Лорд Даусон* Джон Уильям (1820—1899) — президент Британской и Американской корпораций по развитию науки.

Артур Пинеро (1855—1934) — английский драматург. Артур Стреттел *Каминс Кэрр* (1882—1959) — английский переводчик и драматург, в 20-е г. г. — член парламента.

Оливер Лодж (1851—1940) — английский физик, электромеханик, пытался примирить религиозное и научное мировоззрение, автор книги «Эволюция и творение» (1927); в мистическом духе выдержано его сочинение «Раймонд, или Жизнь и Смерть» (1925). *Мэри Корелли* (1855—1924) — псевдоним английской писательницы и пианистки Мэри Маккей, перу которой принадлежали популярные в свое время мелодраматические романы «Варрава» (1893) и «Тревоги Сатаны» (1895), характеризующиеся нагромождением мистических явлений и чудес. *Джозеф Маккейб* (1867—1955) — британский философ ирландского происхождения, монах-францисканец, с 1895 г. — ректор университетского колледжа, в 1896 г. отказался от сана, вышел из ордена и стал решительно критиковать католическое учение с позиций рационалистической философии. Автор труда «12 лет в монастыре» (1897).

Трубадур Блондель — любимый трубадур Ричарда Львиное Сердце; бродил по Европе и пел песни, в надежде, что сидевший в темнице король услышит и узнает его.

Битва при Азенкуре (1415) — решающий эпизод Столетней войны (1337—1453), когда лучники английского короля Генриха V разбили тяжеловооруженную французскую армию.

Стр. 12. *Ворами часто становятся те, кто любит высшее обще-*

ство — ср. сходные рассуждения из проповеди отца Брауна в финале рассказа «Странные шаги».

Стр. 13. ...*объявил забастовку*. — Тема эта подсказана крупнейшей в истории Англии забастовкой шахтеров (1925—1926).

Стр. 15. *Северн* — судоходная река на западе Англии, протекает по равнине Гроустер.

...*как боевой конь в Писании*. — Иов, 39, 24.

Стр. 17. *Дарвин* Чарльз Роберт (1809—1882) — английский естествоиспытатель, основоположник эволюционного учения. Честертон критиковал дарвинизм как проявление позитивистского толкования феномена человека. Критику дарвинизма у Честертонна см. подробнее в эссе «О поклонении успеху» (сб. «При всем при том») и в книге «Вечный человек».

Стр. 19. «*Лесные любовники*» (1898) — повесть английского писателя М.-Г. Хьюлетта (1861—1923).

Четвертый крестовый поход — организован в 1199 г. папой Иннокентием III, увенчался захватом Константинополя (1204).

Балиоль — один из Оксфордских колледжей, основанный вдовой Джона Балиоля (?—1290) — регента Шотландии в годы несовершеннолетия короля Александра III.

Маколей Томас Бабингтон (1800—1859) — английский историк, публицист, литератор и политический деятель.

Стр. 23. *Толстой, Тэппер*. — Л. Н. Толстому Честертон посвятил эссе «Толстой и культ опрощения» (сб. «Всякая всячина») и др.; Тэппер Мартин Фарквар (1810—1889) — английский писатель, поэт и моралист, автор дидактического трактата, написанного белым стихом и выходявшего по частям в 1838—1867 гг.

Стр. 24. *Левиафан* — библейское морское чудовище.

...*где двадцать или тридцать соберутся во имя снобизма*. — Ср. «где двое или трое соберутся в Имя Мое...» Мтф., 18, 20.

Стр. 25. *Росетти* Данте Габриэль (1828—1882) — английский поэт и живописец, глава «Братства прерафаэлитов», чья рыцарская символика и цветовая гамма оказали влияние на Честертонна. *Бердсли* Обри Винсент (1872—1898) — английский график, один из родоначальников графики стиля «модерн». «Хрупкие девушки» с гравюр Бердсли — прототипы «хрупкой девушки с тонким лицом» Оливии Эшли из «Возвращения Дон Кихота».

Литти Филиппо (1406—1469) — итальянский художник эпохи Возрождения.

Рескин Джон (1819—1900) — английский писатель, искусствовед, социолог и экономист, автор пятитомной работы «Современные художники». К сборнику стихотворений Рескина Честертон написал предисловие, вошедшее в сборник «Пригоршня писателей». *Пейтер* Уолтер (1839—1894) — английский писатель, критик, профессор Оксфордского университета, чья книга «Очерки по истории Ренессанса» (1873, рус. пер. в. — 1910) стала одним из манифестов эстетизма.

Стр. 26. ...*в Корнуолле... поработал известный Джек*. — Джек из Корнуолла — персонаж английского фольклора; освободил Уэллс от

злых великанов. Известен русскому читателю по пересказам К. И. Чуковского.

Теннисон Альфред (1809—1892) — поэт-викторианец, продолжавший традиции «озерной школы». Поэт-лауреат с 1850 г. Честертон нередко ссылался на его стихотворный цикл «Королевские идиллии» (1859) — стилизованный пересказ легенд о короле Артуре. «*Королева мая*» — поэма Теннисона (1853). В соавторстве с Р. Гариетом Честертон написал эссе о Теннисоне.

Браунинг Роберт (1812—1889) — английский поэт, творчеству которого Честертон посвятил свою первую биографическую и критическую книгу.

Карлейль Томас (1795—1881) — английский писатель, философ и историк, автор фундаментальной 3-х томной «Истории французской революции» и блистательных сатирических нравоописаний викторианской Англии. В 1903 г. в соавторстве с Дж. Ходдер Уильямсом Честертон написал очерк о Карлейле.

Гладстон Уильям Юарт, *Парнелл* Чарлз Стюарт. См. коммент. к с. 234, 350 2 тома наст. изд.

Теккерей Уильям Мейкпис (1811—1863) — английский писатель; Честертон посвятил ему главу в книге «Викторианский век в литературе» и написал предисловие к его «Книге снобов».

...мысль ...принадлежит Христу... — См. «притчу о работниках на винограднике» («...о динариях»): Христос дал по динарию и тем, кто рано вышел работать, и тем, кто проработал всего один час. Мтф., 20, 1—16.

Стр. 27. «*Мир, мир, смятенный дух!*» — «Гамлет», акт 1, сцена 4. Пер. М. Лозинского.

Беллок Джозеф Хилэри (1870—1953) — английский поэт, писатель, историк. Ближайший друг Честертон, католик, Беллок оказал значительное влияние на становление взглядов писателя.

Стр. 38. *Беренгария Наваррская* (1165—1230) — жена Ричарда Львиное Сердце.

Стр. 40. *Святой Людовик*. — Людовик IX (1214—1270), король Франции с 1226 г.

Хеймаркет — лондонская улица в районе Пикадилли.

Стр. 42. ...разоблачит козни *Иоанна*. — Имеется в виду Иоанн Безземельный (1167—1216) — английский король с 1199 г. Спорил с папой Иннокентием III из-за того, кому стать архиепископом Кентерберийским; подписал «Великую хартию вольностей» (1215).

Стр. 43. *Рюдель и принцесса Триполитанская* — персонажи романа английского писателя Майкла Баррингтона «Принцесса Триполитанская» (1910); *Рюдель* — знаменитый трубадур, воспетый Петраркой, Браунингом и Суинберном.

Альбигойские учения — еретическая доктрина дуалистического характера, считающая мир и плоть порождением злого начала; пользовалась особой популярностью в XI—XIII вв.

...о походе *Монфора и Доминика*. — Речь идет о походе Симона де Монфора (П-я пол. XII в. — 1218 г.) против альбигойцев. *Доминик* —

Доменико Гусман (1170—1221), испанский проповедник, обличавший альбигойскую ересь; основатель ордена доминиканцев.

Стр. 57. ...как *Стенли искал Ливингстона*. — Стенли Генри Мортон (1841—1904) — английский путешественник, отправившийся в 1871 г. в Африку на поиски английского путешественника Дэвида Ливингстона (1813—1873).

Стр. 58. *Поттер* Джордж Уильям (1867—1941) — английский писатель и поэт.

Стр. 78. *Макиавелли* Николо де Бернардо (1464—1527) — итальянский политический мыслитель и историк.

Стр. 84. *Чимабуэ*, настоящее имя — Ченни ди Пено (1240 — ок. 1302) — итальянский живописец; Честертон видел его фрески в Ассизи, на родине св. Франциска. *Джотто* ди Бондоне (1266—1337) — итальянский живописец, расписывал флорентийские церкви на темы из жития св. Франциска. *Боттичелли*, настоящее имя Алессандро ди Мариано Филлипелли (1445—1510) — итальянский художник, представитель раннего Возрождения. О Джотто и Боттичелли см. эссе Честертон «Споры о Диккенсе» (сб. «Вкус к жизни»).

Черный Принц. — Эдуард, принц Уэльский (1330—1376), старший сын Эдуарда III. Называют так и другого Эдуарда (1453—1471), тоже принца Уэльского, которому друг Честертон Морис Беринг посвятил пьесу.

Стр. 85. ...*славословие св. Франциска*. — Речь идет о т. н. «Песни Солнцу», в которой св. Франциск благодарит Господа за все вещи мира и всякую тварь земную.

Стр. 87. *Саладин* (1138—1193) — султан из династии Айюбов, во главе объединенных войск мусульманских стран завоевал Египет и Сирию, потерпел поражение в битвах с Ричардом I, в том числе под Арзуфом в 1191 г. Прославился благородством и мудростью.

Стр. 88. «*Назад к Мафусаилу*» — пьеса Б. Шоу (1921), где под именем «Имменсо» — неуклюжего, рассеянного и сбивчиво говорящего персонажа — выведен Честертон.

Стр. 89. ...*не снимать шляпы в присутствии короля*. — Ср. эпизод, описанный в романе М. Твена «Принц и нищий». Право это восходит, вероятно, ко времени правления Эдуарда III (1327—1377).

Стр. 93. *Архистратиг* — архангел Михаил, глава небесного воинства.

Стр. 98. *Мэлори, Ланселот и Гинебра, Камелот*. — Томас Мэлори (ок. 1417—1471) — крупнейший английский писатель XV в., обработал легенды Артуровского цикла и издал их в 1485 г. в виде книги «Смерть Артура», в немалой мере сформировавшей так называемый «британский дух». Ланселот и Гинебра — персонажи VI книги романа, восходящей к французским редакциям «Романа о Мерлине». Камелот — дворец короля Артура, где, согласно преданию, и по сей день стоит Круглый стол Артура рыцарства.

Стр. 102. *Авалон* — земной рай кельтских легенд, куда был увезен раненый король Артур.

Пиль, Роберт (1788—1850) — английский политический деятель.

Стр. 105. *Статуи Питта и Фокса*. — Питт, Уильям («Питт Младший», 1759—1806), английский премьер-министр, лидер «новых тори»; Фокс, Чарльз Джеймс (1749—1806), английский государственный деятель, лидер левых вигов. Прославленные парламентские ораторы, постоянно спорившие друг с другом.

...суд Мэнсфилда, последнее слово Эммета. — Томас Аддис Эммет (1764—1827)— ирландский патриот, адвокат, блистательный оратор, защищавший в период обострения англо-ирландских отношений (1795) одного из членов Объединенного общества ирландцев Мэнсфилда, подписавшегося под текстом клятвы Общества. Эммет прочитал пламенную речь в защиту обвиняемого и сам демонстративно подписался под текстом клятвы.

Альба — герцог Альба (1507—1582) — испанский военачальник, фаворит Филиппа II. *Фридрих* — Фридрих Вильгельм I (1688—1740) прусский король (1713—1740), родоначальник прусского милитаризма.

РАССКАЗЫ

Стр. 127. *Как святой Мартин отдал плащ*. — Св. Мартин (316?—397), епископ Турский. Однажды св. Мартин, увидев раздетого и нищего человека, снял с себя плащ, рассек его мечом надвое и половину отдал нищему.

Стр. 129. *...как и врач, оказались на распутье*. — Ср. пьесу Б. Шоу «Врач на распутье».

Стр. 130. *...безумен, как мартовский заяц... безумен, как шляпник*. — Ср. сказку Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес», гл. «Безумное чаепитие» и др.

Стр. 131. *Бритомарта* — женщина-рыцарь из II книги аллегорической поэмы Э. Спенсера «Королева фей» (1590—1596).

Стр. 132. *Меня зовут Роберт Оуэн Гуд... Наводит на всякие мысли*. — Намек на Роберта Оуэна (1771—1858), английского социалиста-утописта, теоретика педагогики, организатора трудовых коммун, активного участника профсоюзного движения 30-х гг.

Стр. 133. *Легенды о Граале* — легенды о таинственном сосуде, на поиски которого в разное время отправлялись Парсифаль, Ланселот, сэр Галаад. Чудесное явление Грааля рыцарям Круглого Стола — один из сюжетов Артуровского цикла.

Стр. 134. *...это просто рай...* — Элитарному английскому саду (см. рассказы «Преступление коммуниста», «Летучие звезды», «Вещая собака») Честертон предпочитает демократический огород свободного крестьянина. Подробнее об этом — в эссе «Морской огород» (сб. «Смятения и шатания»).

Стр. 139. *Трубе придется нелегко...* — Речь идет о трубах Апокалипсиса. Откр., 8, 2.

Стр. 140. *Уолтон* Исаак (1593—1683) — английский поэт, автор биографии английских поэтов эпохи барокко, любитель рыбной ловли, оправдывавший свое пристрастие тем, что из двенадцати четверо

апостолов были рыбаками. Автор поэмы «Искусный рыболов, или Досуг человека, склонного к размышлениям» (1653). На окнах гостиницы «Комплит Энглер» (Виндзор) и по сей день сохранились витражные изображения красочных рыб его работы.

...кита, проглотившего Иону. — Книга Пророка Ионы, 2, I, 2, II.

Стр. 144. *Генрих III* (1207—1272) — король Англии с 1216 г.

Стр. 145. ...*мерзость запустения*. — Мтф., 24, 25.

Стр. 148. «Теки, река, пока не кончу петь». — Перифраза строки из «Буколик» Вергилия.

Стр. 150. ...*сродни... йомену* — т. е. сродни тому английскому свободному крестьянину XIV—XVIII вв., который работал на земле, являвшейся его наследственной собственностью. Йомен — центральный персонаж социальной утопии Честертона.

Коббет Уильям (1763—1835) — английский журналист, издатель, член парламента, реформатор. В его книге «Деревенские поездки» (1830) и «Советы молодому человеку» (1829) осмысляется английский национальный характер. Честертон посвятил ему книгу «Уильям Коббет». Имя Коббета упомянуто в сонете на смерть Честертона, принадлежащем перу священника и критика Роналда Нокса: «Со м н о й, — воскликнул К об б е т, — бунтовал».

Стр. 151. «Сгорели свечи, и веселый день»... — Шекспир, «Ромео и Джульетта». Акт III, сцена 5.

Стр. 152. ...*перевезти в Мичиган, как пытались перевезти аббатство Гластонбери*. — В аббатстве Гластонбери находилась первая христианская церковь на земле Англии; здесь, по легенде, сохранилась гробница короля Артура.

Гурт-Свинопас — персонаж романа В. Скотта «Айвенго».

Стр. 153. ...*под знаменем Борова*... — Ср. эссе Честертона «О комнатных свиньях».

Стр. 156. ...*облако похоже на свинью... или на кита*. — Комическая перифраза из беседы Гамлета с Полонием. «Гамлет», акт III, сцена 2.

Стр. 158. «О, дай мне крылья свиньи!». — Ср.: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? — Пс., 54, 7.

Стр. 164. *Пророчества Мерлина*. — Герой легенд Артуровского цикла, волшебник Мерлин, предсказал рыцарям трагическую судьбу, которой нельзя было избежать.

Стр. 168. *Роджер де Каверли* — См. коммент. к с. 50, 2 тома наст. изд.

Стр. 170. *Друидизм* — система языческих верований у кельтов, населявших Британские острова.

Стр. 185. *Вельд* — пастбища на юге Африки.

Стр. 194. ...*в их безумии есть метод*. — «В его безумии есть метод», — говорит Полоний о Гамлете. «Гамлет», акт II, сцена 2.

Стр. 196. «Поэт всегда в небесах, но там же и молния». — Честертон цитирует по памяти стихотворение В. Гюго «Веселая жизнь» (сб. «Возмездие», 1853): «Отбросы дикарей... твердят мне: «Ты поэт — пари под небесами!» Но в небе гром живет!» (пер. Вс. Рождественского).

Стр. 205. *Брат Тук* (точнее, отец Тук) — персонаж легенды о Робин Гуде.

Стр. 206. *...посыпались с неба камни.* — Парафраза новозаветного изречения «И говорит громам и камням: падите на нас» (Откр., 6, 16).

...мятежники использовали деревья как пращи... — Намек на Бирнамский лес из «Макбета»: зная о страшном предсказании Макбету «Ты невредим, пока на Дунсиан Бирнамский лес пойдет» (пер. Ю. Корнеева), войско Малькольма, под прикрытием зеленых ветвей, двинулось на войско Макбета. «Макбет», акт V, сцена 5.

...с литовским пророком... образовать Всемирную Крестьянскую Республику. — В 1927 г. Честертон посетил Польшу и проездом познакомился с Литвой (точнее, был в Вильнюсе, принадлежавшем тогда Польше и называвшемся Вильной). Ср. упоминание о литовцах в эссе «Упорствующий в правоверии» (сб. «Истина») и «Все наоборот». Несомненно, Честертон симпатизировал маленькой, крестьянской, католической Литве.

Гептархия — термин, введенный английскими историками в XVI в. для обозначения периода английской истории с VI по IX вв., характеризующегося отсутствием политического единства страны. Дословно «Гептархия» означает «семь царств»: саксов — Уэссекс, Суссекс, Эссекс; англов — Мерсия, Нортумбрия и Восточная Англия; ютов — Кент.

Стр. 207. *«Правь морями»...* — Слова из написанного в 1740 г. стихотворения Джеймса Томсона (1700—1748), «Правь, Британия», ставшего впоследствии английским гимном.

Стр. 208. *Приап* — в античной мифологии — божество производительных сил природы; в римскую эпоху — страж садов, но и покровитель распутников (изначально — фаллос).

Аполлон, служащий Адмету. — Речь идет о легенде, согласно которой Аполлон, второй после Зевса бог древнегреческого пантеона, целый год находился в услужении у царя Адмета, где пас овец и лошадей.

Беатриче кивнула Данте. — «Vita Nova», гл. II. Беатриче и Данте — постоянный сюжет живописных работ «Братства прерафаэлитов», считавшихся классиками современного искусства в пору обучения Честертона в художественной школе.

«Vita Nova». — «Новая жизнь» — «малая книга памяти» Данте, написанная в начале 90-х годов XIII в. Считается первым психологическим романом в Европе после гибели античной цивилизации.

Стр. 209. *Агиография.* — Жизнеописания святых. Честертон — автор двух житий: «Св. Франциск Ассизский» (1923) и «Св. Фома Аквинский» (1935).

Стр. 211. *Джек Быстроногий.* — Намек на Джека Потрошителя, таинственного английского преступника конца XIX в., совершившего в Лондоне ряд убийств и оставшегося непоиманным.

Стр. 213. *«Как хлопотливая пчела».* — «Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера, рассказ второй монахини.

Стр. 220. *«Нынче же будешь со мною в раю».* — Лк., 23, 43.

Стр. 221. ...«*поющих зодчих этих крыш златых*». — Шекспир, «Генрих V», акт I, сцена 2.

Стр. 230. *Годива* — персонаж одноименной поэмы А. Теннисона (1842), супруга Леофрика, графа Ковентри. Чтобы добиться от своего мужа сокращения налогов, согласилась обнаженной проехать верхом через весь город и стала «бессмертной в памяти народа».

Стр. 234. ...*табачник выращивает картофель. ...витает дух Уолтера Рэли*. — Речь идет об Уолтере Рэли, английском мореплавателе, поэте, историке и государственном деятеле, который ввел в Англии употребление табака и картофеля.

Стр. 240. *Меру* — в древнеиндийской мифологии огромная золотая гора, центр земли и вселенной, место обитания верховных богов.

Френолог — представитель учения, согласно которому характер и судьбу человека можно установить по «черепным шишкам». Для Честертона — очередная попытка вульгарно-биологической экспансии в исследовании человеческой души.

Стр. 243. *Неверный Фома* — См. Ин., 20, 24—29. По-английски Фома — Томас.

Стр. 244. ...*в мифологии гностиков*. — Имеется в виду еретическая доктрина, развивавшаяся вместе с ранним христианством и вылившаяся в ряд еретических движений II—III вв. н. э. В гностической мифологии видимый мир — плод деятельности ущербных божеств, произошедших от совершенного бога.

Манихей — См. коммент. к с. 338 2 тома наст. изд.

Стр. 246. *Поликратов перстень*. — Перстень, принадлежавший по легенде древнегреческому тирану Поликрату (VI в. до н. э.). Страхась своей постоянной удачи, тиран бросил его в море, но перстень вернулся к нему, т. к. его проглотила рыба, а ее поймали рыбаки.

Стр. 250. *Камень... остался у воров*. — Здесь, как и в «Возвращении Дон Кихота», речь идет о том, что Генрих VIII (1491—1547) отнял аббатства у монахов и отдал их лордам.

Стр. 254. «*Небесные близнецы*» — роман английской писательницы Сары Гранд (1855—1943), издан в 1893 г.

Стр. 275. *Черный тюльпан* — роман А. Дюма-отца (1802—1880).

...*нужны два врача*. — См. коммент. к с. 113 I тома наст. изд., а также рассказы «Удивительное убежище» и «Честный шарлатан».

Стр. 276. *Слепой ведет слепого*. — Лк., 6, 39.

Стр. 277. ...*как сад Гесперид*. — В греческой мифологии — сад, расположенный на крайнем западе у берегов реки Океан, где нимфы-Геспериды охраняют золотые яблоки вечной молодости.

Стр. 286. ...*жизнь д'Аннунцио или Байрона*. — Габриэле д'Аннунцио (1863—1938), итальянский поэт, драматург, романист, центральная фигура итальянской литературной жизни начала XX в. Байрон Джордж Нэйл Гордон (1788—1824) — английский поэт. Честертон писал о нем в эссе «Оптимизм Байрона» и некоторых других.

Стр. 290. *Фому Бекета стоило убивать*. — Фома Бекет (1118—1170), с 1155 г. — канцлер Англии, личный советник короля Генриха II, с 1162 г. — архиепископ Кентерберийский. Отказавшись признать ко-

ролевские установления, навлек на себя гнев короля и пал от рук наемных убийц. В 1172 г. папа Александр причислил его к лику святых.

Стр. 293. *Маргейт* — приморский курорт в 16 милях от Кентерберри.

Стр. 295. *Бог Вишну* — один из трех высших богов индийского пантеона, хранитель мироздания.

Стр. 300. ...*благодаря своей рассеянности*. — Рассеянность — характерная черта любимых героев Честертона — отца Брауна, Фомы Аквинского, Гэбриела Гейла. Сам он был очень рассеян.

Стр. 301. *Канарейка*. — Имеется в виду рассказ из этого же цикла, «Желтая птичка».

...*дивным чудицам из Апокалипсиса*. — См. Откр., 13, 1—18.

Стр. 312. *Корнуолл* — графство на юго-западе Великобритании.

Стр. 326. *Свет белеет меж его корней, как в Мильтоновой поэме*. — «Потерянный рай», кн. IV.

...*как мертвые на трубный глас*. — Откр., 20, 12—13.

Стр. 327. ...*но в сад никого не пускал*. — Двойная аллюзия: на героя сказки О. Уайльда «Жадный великан», не пускавшего детей в сад, и на изгнание Адама из райского сада. Быт., 3, 24.

Стр. 345. *Понюхей психоанализа*. — Честертону были глубоко противны фрейдистские попытки биологизировать человеческую душу. См. его эссе «Гамлет и психоанализ» (сб. «Пристрастие — не причуда»).

Стр. 346. *Птицы садятся на дерево ...как на плечо святого Франциска*. — Проповедь св. Франциска птицам описана в книге Честертона «Св. Франциск Ассизский» (гл. «Маленький нищий человек»).

Стр. 347. ...*оставить одно дерево запретным*. — Быт., 3, 2—7.

Стр. 348. *Ангел с пламенным мечом* — ангел, охраняющий древо познания: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни». Быт., 3, 24.

Стр. 349. *Нельсон* Горацио (1758—1805) — английский адмирал, под руководством которого английский флот разбил франко-испанскую эскадру в битве у Трафальгарского мыса (1805).

Стр. 351. *Мэтью Арнольд* (1827—1888) — английский поэт и критик.

Джон Рескин. — См. коммент. к с. 25.

Эшверол Ситвелл (1897—1964) — английский писатель, этнограф, литературный критик и поэт.

Стр. 353. ...*фермуар, который носила аббатиса у Чосера*. — Речь идет о персонаже «Кентерберийских рассказов» Чосера, представленном в прологе как «страж знатных послушниц и директриса». На ее золотом фермуаре был щит с короной и девиз «Amor vincit omnia», т. е. «любовь побеждает все». Латинское изречение в свою очередь взято из «Буколик» Вергилия, X эклога.

Стр. 359. ...*дома его ждали не тельцы, а свиньи*. — В притче о блудном сыне отец приказывает заколоть откормленного теленка. Лк., 15, 23.

Стр. 371. *Шопен или Мюссе*. — Фредерик Шопен (1810—1849) — польский композитор и пианист; Альфред Мюссе (1810—1857) — французский поэт и драматург.

Стр. 375. *Тюдорова арка*. — То есть арка в стиле эпохи Тюдоров (конец XV—XVI в.). Для этого архитектурного стиля характерно сочетание камня и кирпича.

Стр. 377. *Кориолан* Гай Марк (V в. до н. э.) — легендарный герой Древнего Рима, презирающий плебс; воплощение презрительного отношения к страдающему народу; герой шекспировского «Кориолана» (1623).

Тарквиний Старший — последний из легендарных царей Рима, отменивший привилегии, предоставленные ранее плебеем.

Стр. 378. *Гай Фокс* (1570—1606) — участник т. н. «Порохового заговора», неудавшейся попытки взорвать 5 ноября 1605 г. Парламент; был разоблачен и казнен вместе с другими заговорщиками. День 5 ноября до начала XX в. отмечался в Англии праздничным фейерверком.

Стр. 379. *Баттисты... методисты* — секты, возникшие в английском пуританстве.

Анабаптисты — строгая протестантская секта, сторонники которой настаивают на вторичном крещении тех, кто крещен без понимания сущности доктрины.

Стр. 389. *Три всадника* — точнее, четыре всадника. См. Откр., 6, 2—8.

Стр. 391. *...еще не принято было одевать солдат... в одинаковые грязно-серые гимнастерки*. — Впервые в мировой военной практике форма защитного цвета была введена во время англо-бургской войны 1899—1902 гг.

Стр. 394. *...Бисмарка обвиняли... обманул... с Эмской депешей*. — Эмская депеша — провокационное послание Бисмарка (1815—1898), будущего канцлера Германии, вынудившее Францию объявить войну Германии.

Стр. 395. *...уподобиться безумным вакханкам, что убили Орфея*. — Мифический певец и музыкант, Орфей не почитал бога Диониса. Разгневанный Дионис наслал на Орфея менад-вакханок, которые разорвали его тело в клочья.

Стр. 400. *Ропс* Фелисьен (1833—1898) — бельгийский живописец и график.

Стр. 406. *Беркли* Антони (1893—1970) — английский писатель, автор детективных романов.

Стр. 413. *...слова Гинекры, растающей с Ланселотом*. — См. поэму А. Теннисона «Королевские идиллии» (1859).

Стр. 415. *...все это уже описано в Библии*. — Имеется в виду история соперничества Лии и Рахили. Быт., 29 и 30.

Стр. 416. *Кларендон* Эдвард Хайд (1609—1674) — английский политический деятель и историк.

Руперт, печальный любитель химии. — Имеется в виду принц Руперт (1619—1682), двоюродный брат Карла II, пытавшийся усовершенствовать порох и изобретший новый сплав меди.

...вернулось Старое время. — Речь идет о т. н. Реставрации — возвращении королевской власти (1660) после падения республиканской власти.

...молодой темнлицый человек... возвратил Англии кровь королей. — Имеется в виду Карл II Стюарт (1630—1685).

Стр. 417. *Герберт* Джордж (1593—1633) — английский поэт.

Браун Томас (1663—1709) — английский поэт-сатирик.

Орландо — герой поэмы итальянского поэта Лодовико Ариосто (1474—1533) «Неистовый Орландо» (1516).

Стр. 418. *Драйден* Джон (1631—1700) — английский поэт.

Стр. 422. *Королевское общество* — самое старое научное общество Великобритании, основано официально в 1660 г.

Верулам — Фрэнсис Бэкон барон Верулам (1561—1626) — английский философ, государственный деятель и ученый.

СТИХИ

Стр. 425. Э. К. Б. — Эдмонд Клерихью Бентли — см. коммент. к с. 147. I тома наст. изд.

Стр. 428. *Бейкер-стрит* — улица Лондона между Гайд-Парком и Риджентс-Парком, где на рубеже веков проживал по воле Конан Дойла сыщик Шерлок Холмс.

Стр. 435. *Элегия на сельском кладбище* (1751). — Ср. одноименное стихотворение английского поэта Томаса Грея (1716—1771).

Стр. 437. *Молчаливый народ*. — Эту метафору Честертона многократно использовали в английской литературе О. Хаксли, Дж. Оруэлл, Г. Грин и др.

Французские рыцари. — Речь идет о войсках герцога Нормандии Вильгельма (прозванного Завоевателем), которые в битве при Гастингсе (1066) одержали победу над войском англосаксонского короля Гарольда II.

Померкла под Босвортом их звезда. — Речь идет о завершающей битве войны Алой и Белой роз (1485), в которой граф Ричмонд, будущий король Генрих VII Тюдор нанес поражение королю Ричарду III.

...смешали аббатства. — Здесь, как и в «Алой луне Меру», и в «Возвращении Дон Кихота», речь идет о ликвидации монастырского землевладения (1536—1539), начавшейся после того, как король Генрих VIII порвал с католицизмом и объявил себя главой англиканской церкви.

Стр. 438. ...кто Слово Господне // за голенищем носил. — Солдаты-пуритане Оливера Кромвеля прятали Библию за голенищами высоких (до бедер) сапог.

Ирландия, Франция, Новый Свет // все забурило вокруг. — Намек на подъем революционных движений в XVII—XVIII вв., последовавший после английской буржуазной революции 1640 г.

...на Альбуэрских полях. — В сражении под деревушкой Альбуэра 16 мая 1811 г. объединенные англо-испанско-португальские войска разбили

французскую армию под командованием наполеоновского маршала Сульта.

И тот, кто был раньше непобедим. — Имеется в виду Наполеон Бонапарт.

Стр. 439. *К законнику стали бегать.* — Речь идет об Уильяме Гладстоне (1809—1889), премьер-министре Великобритании, лидере либеральной партии.

...цепляться за ростовщика... — Речь идет о Бенджамине Дизраэли (1804—1881), замешанном в торгово-финансовых махинациях банкирского дома Ротшильдов.

Стр. 443. *Старый дедушка Коль.* — Старинная английская детская песенка.

Стр. 451. *Ювенал* Децим Юний (ок. 60 — ок. 127) — римский поэт-сатирик.

Стр. 454. *«Савой»* — одна из самых дорогих гостиниц Лондона, расположенная на улице Стрэнд.

Стр. 455. *Борей* — бог северного ветра в древнегреческой мифологии.

«Иллюстриред Лондон Ньюс» — газета, в которой Честертон тридцать лет вел рубрику «Блокнот».

Патти Аделина (1843—1919) — итальянская оперная певица.

И. Петровский

ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ГИЛБЕРТА КИЙТА ЧЕСТЕРТОНА

- 1874 Родился 29 мая в Лондоне, в доме жилищного агента на Кенсингтон-роуд.
- 1887 Поступает в Сент-Полз, одну из старейших привилегированных школ в Англии. Учителя жалуются на рассеянность, нерасторопность и забывчивость Честертон. Первые поэтические опыты. Мильтоновская премия за стихотворение «Св. Франциск Ксаверий».
- 1890 1 июля Честертон с одноклассниками основывает юношеский клуб «Спорщик», двенадцать членов которого читают вслух английскую классику и свод законов Древнего Рима, ставят Шекспира и защищают русских нигилистов.
- 1891—1893 Выходит газета «Спорщик», печатный орган одноименного клуба, на страницах которой публикуется юмористическое эпистолярное наследие вымышленных героев, подготовленное членами клуба и возрождающее традиции английской журналистики XVIII в.
- 1892—1895 Обучается в художественном училище Слейда и в Университетском колледже. Испытывает влияние идей эстетизма (У. Пейтер, О. Уайльд). Увлекается поэзией и живописью прерафаэлитов (Дж. Милле, Д.-Г. Росетти).
- 1896—1899 Сотрудничает в журнале «Спикер». Сочиняет книгу детской поэзии нонсенса «Бестиарий для непослушных детей» (неизд.).
- 1900 Публикует поэтический сборник «Дикий рыцарь» (пьеса и стихи), который высоко оценивает Р. Киплинг. Сотрудники «Спикера» знакомят Честертон с Хилэрмом Беллоком, впоследствии — самым близким другом писателя. Публикует книгу стихотворений «Седобородые развлекаются», имевшую успех у публики.
- 1901 Женитьба на Фрэнсис Блогг, воспитанной в англокатолических традициях. Присутствует на заседаниях фабианского общества в Клиффордз-Инн, впервые слушает выступления Б. Шоу. Редакция «Дейли Ньюс» заказывает Честертону «популярные и полемические статьи о литературе» (сотрудничество с этой газетой продлится до 1913 г.). Публикует сборник эссе «Защитник».

- 1902 Выходит сборник эссе «Двенадцать типов».
- 1903 Дж. Морлей, редактор издательства «Макмиллан», заказывает Честертону книгу «Роберт Браунинг», имевшую шумный успех. Честертон сказал: «Эта книга — скорей моя юность, чем биография Браунинга».
- 1903—1904 Полемизирует на страницах газеты «Клернион» с журналистом Робертом Блечфордом, отстаивая достоинства христианской теологии.
- 1904 Знакомится с Дж. О'Коннором, католическим священником (прототипом отца Брауна). Публикует книгу «Дж.-Ф. Уоттс» и роман «Наполеон Ноттингхильский». Иллюстрирует книгу Х. Беллока «Эммануэль Берден». Впоследствии с иллюстрациями Честертона выйдут книги Беллока «Милосердие Аллаха» (1922), «Эсмеральда» (1926), «Утраченный шедевр» (1929), «Человек, который делал золото» (1930) и др.
- 1905 Ведет рубрику «Блокнот» для журнала «Иллюстрейтед Лондон Ньюс» (сотрудничество продлится до 1936 г.; за это время Честертон напишет для этой рубрики 1535 заметок). Публикует сборник эссе «Еретики».
- 1906—1909 Публикует книгу «Чарльз Диккенс», которую Т.-С. Элиот назовет «лучшей из всех книг, написанных о Диккенсе». Полемизирует с Б. Шоу и Г. Уэллсом в газете «Нью Эйдж» о нищезанстве, дарвинизме, техническом прогрессе, религиозно-нравственных традициях.
- 1908 Публикует роман «Человек, который был Четвергом», сборник эссе «При всем при том» и книгу теологических статей «Ортодоксия», впоследствии высоко оцененную и частично переведенную французским католическим писателем Полем Клоделем.
- 1909 Переезжает в Биконсфилд, недалеко от Лондона, где впоследствии его посещают деятели английской культуры — Б. Шоу, Г. Уэллс, М. Беринг, К. Мастермен, М. Бирбом. Публикует сборник эссе «Непустяшные пустяки».
- 1910 Публикует роман «Шар и крест», сборники эссе «Что стряслось с миром», «Смятения и шатания», книгу «Уильям Блейк».
- 1911 Знакомится с текстом лекции Б. Шоу в Кембриджском университете («Будущее религии») и вступает с ним в полемику. Радиобеседы, диалоги и публичные споры с Шоу продлятся до 1927 г. Публикует книгу «Оценка и критика творчества Чарльза Диккенса», сборник рассказов «Неведение отца Брауна», «Балладу о Белом коне». Позже баллада стала любимым произведением премьер-министра Англии У. Черчилля.
- 1911—1912 Публикует статьи и эссе в газете своего брата Сесила Честертона «Уитнесс».
- 1912— Публикует роман «Жив-человек», книгу эссе «Людская смесь».
- 1912—1913 Вместе с Г. Уэллсом и Б. Шоу публикует статьи и эссе в новой газете Сесила Честертона «Нью Уитнесс».
- 1913 Сесил Честертон вмешивается в скандал, связанный с торгово-финансовыми махинациями английского правительства и телеграфной компании. Сесил обвинен в диффамации; его судят (так называемое

- «дело Маркони»). Честертон защищает брата на страницах «Нью Уитнесс». Публикует книгу «Викторианский век в литературе».
- 1914 Издает роман «Перелетный кабак», сборник рассказов «Мудрость отца Брауна», книгу политических памфлетов «Берлинское варварство».
- 1915 Нервный стресс, за которым следует загадочная и мучительная болезнь. Несколько месяцев длится коматозное состояние. Не менее загадочное выздоровление.
- 1916 Публикует сборник стихотворений «Ветер, вино и вода», сборник эссе «Преступления Англии». Принимает на себя издание «Нью Уитнесс», что, по словам близких, еще больше обостряет состояние его здоровья.
- 1917 Публикует книгу «Краткая история Англии», имевшую большой успех.
- 1918 Путешествует по Ирландии. Лекции и выступления в защиту ирландского национального возрождения.
- 1919 Публикует книгу «Ирландские впечатления». Путешествует по Палестине. Поклонение Святым местам и Гробу Господню.
- 1920 Публикует сборники эссе «Польза от различий», «Развод как суеверие», трактат «Новый Иерусалим». Совершает первое лекционное турне по США.
- 1922 Принимает католичество (крещение состоялось в Биконсфилде; крестил его отец Джон О'Коннор). Публикует сборники эссе «Что я увидел в Америке», «Евгеника и прочее зло», сборник рассказов «Человек, который знал слишком много», стихотворение «Баллада о св. Варваре».
- 1923 Публикует сборник эссе «Пристрастие — не причуда» и теологический трактат «Св. Франциск Ассизский», высоко оцененный папой римским Пием XI.
- 1925 Ведет еженедельную газету «Г. К.'с уикли» (с 21 марта по 1936 г.), пропагандирующую дистрибутизм. Готовит для нее рубрики «Голова», «Хвост», «Объявления о пропажах». В газете сотрудничает Х. Беллок. Публикует сборник эссе «Суеверия скептиков», сборник «Охотничьи рассказы». Полемизируя с книгой Г. Уэллса «Очерк истории» (1925), выпускает теологический трактат «Вечный человек», который английский писатель Грэм Грин назвал «одной из величайших книг столетья».
- 1926 Издает трактат «Очерк о здравомыслии».
- 1927 Посещает Польшу. В Варшаве его встречает конный эскорт гвардейских офицеров. Останавливается во Львове и Вильносе. Публикует роман «Возвращение Дон Кихота», сборник «Избранных стихотворений», сборник рассказов «Тайна отца Брауна», пьесу «Суждение доктора Джонсона», книгу «Роберт Льюис Стивенсон», сборник теологических эссе «Католическая церковь и обращение».
- 1928 Издает сборник эссе «В общих чертах» и книгу — запись радиобеседы с Шоу «Согласны ли мы?» (при участии Х. Беллока).
- 1929 Путешествует по Италии. Гостит у Эзры Паунда, Макса Бирбома. Посещает Рим и Ватикан. Публикует сборник теологических эссе

- «Истина», который Х. Беллок назвал «главной книгой, без которой нельзя его понять».
- 1930 Публикует сборник рассказов «Четыре праведных преступника», книгу «Воскресение Рима», сборник эссе «Давайте поразмыслим».
- 1930—1931 По приглашению университета Нотрдам (штат Индиана) совершает второе лекционное турне по США.
- 1931 Публикует сборник эссе «Все к лучшему», литературную биографию «Чосер», книгу эссе «Христианский мир Дублина».
- 1932—1936 Принимает участие в программах радиовещания для Европы и США.
- 1933 Публикует теологический трактат «Св. Фома Аквинский», который французский философ Этьен Жильсон назвал «лучшей книгой о мышлении Фомы».
- 1935 Публикует сборник эссе «Признания и опровержения», сборник рассказов «Скандальное происшествие с отцом Брауном».
- 1935—1936 Публикует антифашистские статьи в журнале «Лисэнер».
- 1936 Публикует сборник эссе «Как я уже сказал». 14 июля после десятидневной болезни умирает в Биконсфилде. В эпитафиях, написанных английскими поэтами, его называют «ребенком, попавшим на небо» и «рыцарем Святого Духа». После смерти Честертона его личный секретарь Д. Коллинз подготовила и опубликовала 11 его книг, наиболее важные из которых:
- 1936 «Автобиография»
- 1937 Сборник рассказов «Парадоксы мистера Понда»
- 1953 Сборник эссе «Пригоршня писателей».
- 1958 Сборник эссе «Безумие и ученость»
- 1963 Сборник эссе «Вкус к жизни».

СОДЕРЖАНИЕ¹

* ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОН КИХОТА. Роман. <i>Перевод П. Трауберг</i>	7
---	---

РАССКАЗЫ

* Охотничьи рассказы. *Перевод Н. Трауберг*

Неприглядный наряд полковника Крейна	125
Нежданная удача Озуна Гуда	138
Драгоценные дары капитана Пирса	150
Загадочный зверь пастора Уайта	160
Исключительная изобретательность Еноха Оутса	170
Удивительное учение профессора Грина	179
Причудливые постройки майора Блейра	188
Победа любителей нелепицы	200

Из сборника «Тайна отца Брауна»

Человек о двух бородах. <i>Перевод Е. Фрадкиной</i>	209
Исчезновение Водри. <i>Перевод Р. Цапенко</i>	224
* Алая луна Меру. <i>Перевод Н. Трауберг</i>	240

Из сборника «Поэт и безумцы». *Перевод Н. Трауберг*

* Диковинные друзья	251
* Тень акулы	264
* Преступление Гэбриела Гейла	275
* Рубиновый свет	286
* Павлиний дом	300
* Удивительное убежище	312

Из сборника «Четыре праведных преступника». *Перевод Н. Трауберг*

Честный шарлатан	325
------------------------	-----

1 © Переводы, отмеченные знаком *. Трауберг Н. Л. 1990 г.

© Перевод. Цапенко Р. И. 1990 г.

© Перевод. Петровский И. М. 1990 г.

© Перевод. Яковлев А. Я. 1990 г.

© Перевод стихов. См. содержание. 1990 г.

Восторженный вор	349
Из сборника «Скандальное происшествие с отцом Брауном»	
Преступление коммуниста. <i>Перевод И. Петровского</i>	375
Из сборника «Парадоксы мистера Понда»	
Три всадника из Апокалипсиса. <i>Перевод А. Яковлева</i>	389
Перстень прелюбодеев. <i>Перевод Н. Трауберг</i>	403
* Деревянный меч. <i>Перевод Н. Трауберг</i>	416

СТИХИ

Из сборника «Седобородые развлекаются». <i>Перевод Г. Кружкова.</i>	
Посвящение	425
Единение философа с природой	427
Что такое Ляпс?	429
Из сборника «Дикий рыцарь»	
Осел. <i>Перевод М. Бородицкой</i>	430
Устами нерожденного ребенка. <i>Перевод И. Кутика</i>	431
Растяжение цвета. <i>Перевод И. Кутика</i>	432
Фонарь. <i>Перевод М. Бородицкой</i>	433
Элегия на сельском кладбище. <i>Перевод М. Бородицкой</i>	435
Книга Екклезиаста. <i>Перевод И. Кутика</i>	436
Из сборника «Стихи»	
Молчаливый народ. <i>Перевод М. Бородицкой</i>	437
Аристократ. <i>Перевод Ю. Шрейдера</i>	440
Песнь поражения. <i>Перевод Е. Рейна</i>	441
Другие стихи. <i>Перевод Г. Кружкова</i>	
Вариации на один мотив	443
Песни конторщиков	448
Поэту-модернисту	449
Баллады	
Баллада самоубийцы. <i>Перевод М. Бородицкой</i>	451
Баллада антипуританская. <i>Перевод М. Бородицкой</i>	452
Баллада автомобильная. <i>Перевод М. Бородицкой</i>	453
Баллада о диковинах. <i>Перевод М. Бородицкой</i>	454
Баллада журналистская. <i>Перевод Г. Кружкова</i>	455
Баллада театральная. <i>Перевод Г. Кружкова</i>	456
Комментарии <i>И. Петровского</i>	459
Даты жизни и творчества Гилберта Кийта Честертонна	473

Честертон Г.-К.

Ч-51 Избранные произведения. В 3 т. Т. 3. Возвращение Дон Кихота: Роман; Рассказы; Стихи: Пер. с англ. / Редкол.: С. Аверинцев, В. Скороденко, Н. Трауберг; Сост. Н. Трауберг; Коммент. И. Петровского; Ил. худож. В. Носкова. — М.: Худож. лит., 1990. — 478 с., ил.

ISBN 5-280-01204-1 (Т. 3)

В третий том «Избранных произведений» Гилберта Кийта Честертон (1874—1936) входят роман «Возвращение Дон Кихота», лучшие рассказы из разных сборников и стихи.

Ч $\frac{4703010100-239}{028(01)-90}$ 126-90

ББК 84.4 Вл

ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ТРЕХ ТОМАХ
ТОМ 3

Редактор Э. Шахова
Художественный редактор Л. Калитовская
Технический редактор Л. Витушкина
Корректоры
Т. Калинина, И. Филатова

ИБ № 5883

Сдано в набор 25.12.89. Подписано к печати 17.05.90. Формат 60x90¹/₁₆. Бумага офсетная № 2. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 30. Усл. кр.-отт. 30,5. Уч.-изд. л. 31,35. Тираж 200 000 экз. Изд. № VI-3262. Заказ № 3535. Цена 6 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература».
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО
«Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати.
113054, Москва, Валовая, 28.